
В.ЯН


В·ЯН
4
ТОМ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЁК»

В. ЯН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЁХ ТОМАХ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА 1989

БИБЛИОТЕКА „ОГОНЁК"

В. ЯН

ЮНОСТЬ ПОЛКОВОДЦА
МОЛОТОБОЙЦЫ
РАССКАЗЫ
ЗАПИСКИ ПЕШЕХОДА
ГОЛУБЫЕ ДАЛИ АЗИИ



ТОМ 4

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА" МОСКВА 1989

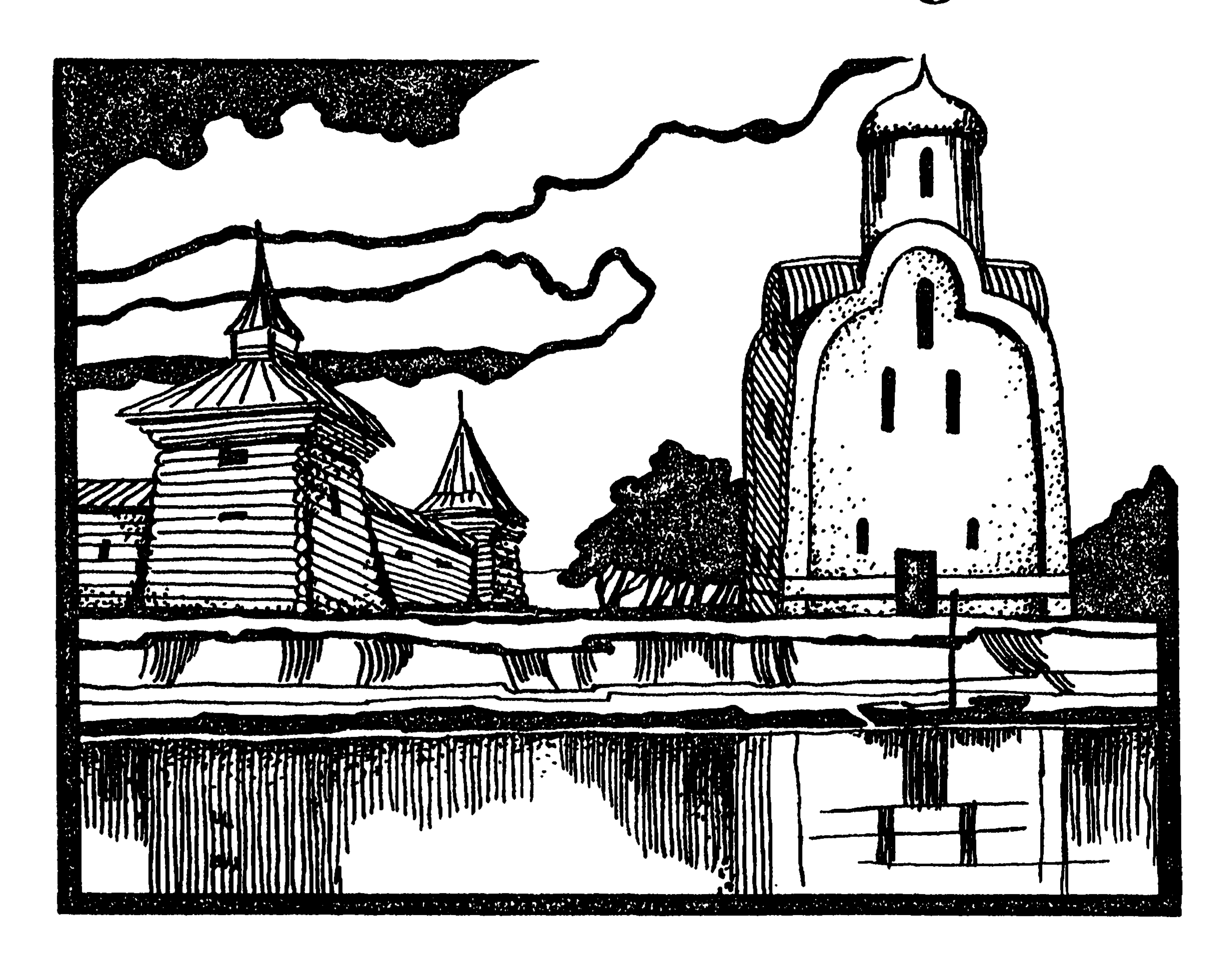
84Р7
Я 60

Собрание сочинений
выходит
под редакцией
председателя Комиссии
по литературному наследию В. Яна
Н. Т. Федоренко

Составление и подготовка текста
М. В. Янчевецкого

Я $\frac{4702010200—1917}{080(02)—89}$ 1917—89

Юность полководца



Историческая повесть из жизни Александра Невского

ГЛАВА I

СОКОЛ УЛЕТЕЛ

ПЕРВАЯ ОПАСНОСТЬ

В этот день, с утра, оба княжича, Федор и Александр, рано пришли в свою светлицу, где их уже поджидал иеромонах Варсонофий со старой книгой псалтыри. Усевшись за стол и водя деревянными «указками» по строкам, оба мальчика стали читать нараспев старинные псалмы. Косой луч утреннего солнца, пробившись сквозь оконце с заморскими цветными стеклышками, яркими пятнами падал на пожелтевшие страницы большой книги.

Когда чтение окончилось, отец Варсонофий положил перед мальчиками по небольшому листу харатьи́ [1], и княжичи стали выводить гусиными перьями замысловатые буквицы, стараясь подражать буквам псалтыри.

— Теперь пишите, будто вы сами ведете летопись, что было у нас в Новгороде этой зимой: «В 6737 году [2] южный ветер разметал лед на Ильмень-озере и погнал его в реку Волхов, сорвав девять устоев главного моста...»

Младший княжич, Александр, недовольно сказал:

— Отче Варсонофий! Зачем нам писать про ненастье, про ветер? Не буду я этого писать! Ты нам лучше прочти, как наш батюшка с чудью, емью [3] и немцами воевал.

— Ладно, сынок! Сейчас я вам поведаю о походах князя Ярослава Всеволодовича, а потом вы, не торопясь, запишете это на своих харатьях.

Варсонофий достал из небольшого окованного сундучка, стоявшего под скамьей, толстую книгу и стал медленно читать:

— «В 6731 году (1223 г.) прибыл князь Ярослав в Новгород, и новгородцы были рады.

---

[1] Харатья́ — квадратный кусок бараньей или козлиной кожи, вываренной и выскобленной, на которой в то время писались документы и книги.

[2] Тогдашнее летосчисление велось «от сотворения мира». Для перевода на наше летосчисление следует из древней даты вычесть 5508.

[3] Чудь — эсты, емь — финны.

В ту же зиму пришли литовцы и воевали около Торжка. Их было семь тысяч. Они захватили всю Торопецкую волость и причинили Торжку много бед. Но пришел князь Ярослав, и Литва отступила, а Ярослав погнался за ними, отнял у них коней, разбил их и многих порубил. Литва ушла обратно, а сам Ярослав вернулся невредимым, и дружина его — с огромной добычей».

Александр заколотил руками по столу и воскликнул:

— Отче Варсонофий, родненький! Прочти еще что-нибудь про воинские походы батюшки! А потом я все запишу.

Варсонофий задумался и сказал:

— Трудное житие вашего батюшки, мудрого князя Ярослава Всеволодовича. Много походов совершил он и всегда возвращался с честью и славной победой. Не позволял никому вторгаться в наши исконные дедовские земли. Вот, к примеру, что записано в нашей летописи: «В 6736 году (1228 г.) приплыли в лодьях враги из племени емь воевать в Ладожское озеро, и об этом пришла весть в Новгород. Новгородцы, сев на насады [1], поплыли на веслах в Ладожское озеро под начальством князя Ярослава. Он погнался за врагами и бился с ними до ночи, когда емь отступила в Островлец. В ту же ночь враги запросили мира, а сами убежали в лес, бросив свои лодьи. Тогда много их пало...»

Княжич Федор слушал рассказ равнодушно. Александр же запрыгал на скамье:

— Спасибо тебе, отче Варсонофий! Любо мне узнавать про войну и про походы смелого батюшки нашего. Скорей бы мне вырасти! Тогда он меня с собой возьмет, а уж я покажу...

Худое лицо Варсонофия осветилось ласковой улыбкой:

— Ладно, вояка! Придет и твой час! А теперь берите да переписывайте то, что я вам прочел, да пишите внимательно, чтобы ничего не пропустить.

Он положил на стол книгу в кожаном темном переплете. Две русые головки склонились над ней, и мальчики принялись за письмо, старательно выводя затейливые буквицы.

Скромного наставника радовали успехи мальчиков, особенно пытливого и любознательного Александра, но в этот день на душе его было тревожно.

---

[1] Насады — большие лодки с прибитыми (насаженными) по сторонам досками.

В это утро, подходя к мосту через Волхов, Варсонофий задержался. Телеги с кладью, перехваченной веревками, громыхали, проезжая по поперечным бревнам деревянной мостовой. Рядом с прежним мостом строился новый. Плотники, стуча молотками и топорами, тащили бревна и доски и ловко, искусно их соединяли с помощью деревянных же клиньев. Прохожие столпились при въезде на мост. В образовавшемся заторе два степенных новгородца, пожилых, по виду — бояре или богатые купцы,— громко разговаривали, не обращая внимания на окружающую их толпу:

— Переяславцы нынче с умыслом задерживают наши ладьи с хлебом. Слыхал я, что на волоках [1] проезд совсем остановился. Это ими делается, чтобы поднять цену на жито.

— Надобно просить князя Переяславльского Ярослава Всеволодовича облегчить нашу участь. Ведь он крепко обещал всегда поддерживать новгородцев в нужде. Да только теперь ему не до нас. Видно, махнул он рукой на Новгород с той поры, как нас покинул.

— Нет, он поможет! — уверенно ответил другой.— Иначе зачем бы он оставил своих обоих сынков у нас в Новгороде, словно в талех! [2]

— А что с того, что в талех? Они живут на свободе в городище [3]. Долго ли им сбежать в Переяславль?

— Что же нам, по-твоему, остается делать?

— Немедля заточить обоих княжат в монастырь. Тогда и князь Ярослав опомнится и пришлет выкуп. Вот тут и двинутся к нам опять из Суздаля и Переяславля торговые насады и привезут жита.

— Сегодня же скажем на вече, чтобы привели напоказ обоих княжат, а там все и сделаем.

— Не знаешь ты, что ли, князя Ярослава? Он только пуще гневом распалится.

— Видать, на вече сегодня дело миром не кончится. Будет встань [4] промеж сторонников Ярослава и его врагами.

---

[1] Волок — так назывался перевал с верховьев рек различных бассейнов, через который суда волочили (тащили) сухим путем, «волоком». Одним из главных волоков был новгородский, между реками Мстой и Тверцой. От этого получил свое название город Вышний Волочек.

[2] В талех — заложниками.

[3] Городище — подразумевается «Рюриково городище» — усадьба, обнесенная стеной, где жили князья, правители Новгорода. Городищс находилось в трех верстах к югу от города.

[4] Встань — мятеж, междоусобица.

В это время телеги двинулись, людской затор рассосался, и обеспокоенный Варсонофий поспешил дальше. С горечью он думал: «Не могут новгородцы жить без неурядиц и споров! А что им надобно? Два малолетних княжича, сынки Ярослава Всеволодовича, у нас уже сидят, никому они не мешают, а правят за них наш старый посадник да вече. Оно наш главный хозяин».

Урок подходил к концу. Топот ног на скрипучей лестнице заставил всех прислушаться. В светлицу вбежал Шостак Орешко, любимый дружинник-медвежатник князя Ярослава. Заложив дверь засовом, Орешко отер вспотевшее лицо полой кафтана.

— Беда! Ой, беда надвинулась! — говорил он, задыхаясь.— Надо княжатам немедля бежать из Новгорода! Люди бесчинствуют, кричат: «Пора вытравить племя Ярославово и призвать Мстиславичей!»

Варсонофий в ужасе соединил ладони:

— Какая же вина может быть на малых детях?

— Да та, что сейчас Борисова чадь, сторонники боярина Бориса Негóчевича, договариваются с князем Мстиславом; хотят спиною повернуться к Суздалю и Владимиру, а стало быть, и к великому князю Ярославу. А откуда тогда новгородцы будут хлеб для себя привозить? Ведь с хлебом у нас скудно: в прошлые годы заморозками все хлеба побило.

Говоря это, Шостак Орешко высунулся в окно, выходящее на задний двор, и свистнул.

Послышался ответный свист, Шостак крикнул:

— Мы готовы, сейчас придем! — Потом, обратившись к мальчикам, сказал: — Боярина Федора Даниловича, вашего пестуна[1], я уже предупредил; это он вместе с тиуном [2] Якимом ждет вас с конями... Одевайтесь скорее и поспешайте!..

Крики и шум во дворе усилились.

Оба мальчика пытались тоже выглянуть в окно, но отец Варсонофий оттаскивал их и торопил, помогая одеваться.

Лестница снова заскрипела, и глухие удары потрясли дверь.

---

[1] Пестун — воспитатель.

[2] Тиун — должностное лицо, выполнявшее различные поручения князя, в том числе решавшее и судебные дела.

— Что вам надо? Уходите, откуда пришли! — закричал Орешко.

— Открывай, или я высажу дверь!..

Дверь шаталась, трещала и наконец соскочила с кожаных петель.

В светлицу ввалился толстый, грузный Фома Полуэктов, богатырь с большой бородой, падавшей на грудь. Все в Новгороде знали этого богатого мясника. Его крепкая рука, обросшая рыжими волосами, сжимала длинный узкий блестящий нож, каким он обычно колол свиней.

— Это, что ли, княжата? — сказал мясник, делая шаг в сторону мальчиков.

Федя и Олекса, прижавшись друг к другу, стояли в углу позади стола.

— Я не хочу! Не хочу! — закричал Фёдор.

Княжич Александр блестящим взглядом расширенных глаз молча внимательно следил за всем происходящим, и страха не было на его лице.

Фома Полуэктов пришел не один. Его молодой подручный, разинув рот, с мешком в руке стоял, загораживая двери, готовый исполнить приказание хозяина.

— Эй, вы, жеребятки, подьте-ка сюда! — прогудел Полуэктов.

— Побойся бога! Что ты замыслил? — закричал Варсонофий, шагнув вперед и высоко подняв серебряное распятье.— Отойди, безбожник!

— Не вступайся не в свое дело, отец честной! Мне велел боярин Борис Негочевич привести на вече обоих княжат, а если заупрямятся, то принести их. Вот и два мешка наготове.

— Не посмеешь ты такой смертный грех взять на душу! — кричал в испуге Варсонофий, загораживая дорогу мяснику с ножом.

— Не я тут хозяин. Ежели вече решило притащить обоих княжат для показу...

— Врешь ты! Не вече решило, а Борисова чадь, кучка бояр, приспешников Негочевича.

Мясник хотел оттолкнуть монаха, но тут вмешался Шостак Орешко. Высокий, сильный и ловкий, он не раз один на один выходил на медведя... Набросившись на Фому Полуэктова, он сбил его с ног.

Полуэктов охнул, грузно осел на пол, затем, хрипя, повалился на спину. Его подручный, видя неудачу хозяина, кинулся вон из светелки и загромыхал, скатываясь по лестнице.

Шостак зацепил веревкой под мышками сперва Федора, потом Александра и поочередно спустил мальчиков через окно во двор.

— Слушай, отец Варсонофий! — сказал Шостак перепуганному монаху.— Наверное, сейчас сюда придут бояре или другие смутьяны новгородские. Скажи им, что мясника Полуэктова за бесчинство в княжеских палатах маленько помял княжий ловчий-медвежатник Шостак Орешко... Желаю тебе здравствовать, а я с княжатами буду держать путь на Переяславль, к великому князю. Оттуда, быть может, князь вернется сам, чтобы навести в Новгороде суд и расправу над здешними лиходеями и отогнать напирающих на нашу землю недругов.

Привязав веревку за ножки тяжелого дубового стола, Шостак земно поклонился отцу Варсонофию, коснувшись пальцами пола, и, с трудом протиснувшись в окно, спустился во двор.

Отец Варсонофий, обратившись к темной иконе, крестясь, шептал:

— Пронеси мимо нас, о господи, грозную тучу сию!..

А тем временем, быстро удаляясь от Новгорода, глухими лесными тропами уже мчалась по направлению к Переславлю-Залесскому группа всадников.

— Нынче вы увидели,— говорил Шостак княжатам,— какие у нас бывают смутьяны. Будьте впредь сторожкими, а ежели когда-либо станете править Новгородом, то таких смутьянов, как бояре Негочевичи да Ноздрилины, и их бесчестных подвывал остерегайтесь, ровно лютых зверей. С простыми же новгородцами вы поладите — они народ прямой и душевный.

ГЛАВА II

МЕДВЕЖОНОК РАСТЕТ

УЧИТЕЛЬ-ЗВЕРОБОЙ

Благополучно добравшись из Новгорода до Переяславля-Залесского, оба княжича поселились у отца, князя Ярослава Всеволодовича, и мирно там прожили несколько лет, обучаясь книжному разумению у иеромонаха Варсонофия. Александр подрастал высоким, стройным отроком. Слишком задумчивый для своих лет, от своих братьев он держался как-то в стороне. Любил один уходить на озеро и, взяв лодку, забирался в камыши, где все норовил стрелой подшибить птицу. Отец не раз тревожился, когда он пропадал подолгу, и поручил старому дружиннику Афанасию Тыре следовать повсюду за беспокойным отроком и его оберегать. Но Александр просил отца освободить его от докучного надзора:

— Прости меня, государь батюшка! Очень уж Афоня мне помеха: я заберусь в камыши и затаюсь там, как мертвый, чтобы не вспугнуть птицы, Афоня же дремлет и сопит, словно бык, а то ворочается, шуршит без надобы. Утица и взлетает до сроку, и хорошая каленая стрелка зря пропадает.

— Ладно, потерпи! — отмахивался отец. — Знаю, кого тебе надо.

И когда прошли весенние деньки, князь Ярослав призвал к себе сына. В думной горнице у двери стоял прославленный охотник Ерема-медвежатник. Он принес в дар князю две связки рыжих лисьих шкур, а на полу перед ним лежала еще большая, как теленок, козуля с темно-синими полуоткрытыми мертвыми глазами. Охотник держал в руках облезлый собачий треух. На голове взлохматились густые серебряные кудри. На грудь спускалась окладистая борода. Окинув охотника пытливым взглядом, Александр заметил, что он не намного выше его, но пошире в плечах и что потертый зипун на нем испещрен заплатами. На ногах прочные кожаные порты, а ступни обернуты звериными шкурками.

Ерема уставился на Александра прищуренными острыми глазками.

— Вот тебе тот знающий матёрый зверобой, какого ты ищешь,— сказал князь, сдерживая улыбку.— Поезжай смело с Еремой в его лесную берлогу. Можешь погостить там одну седмицу [1]. Ерема тебе покажет все: и как он ставит ляпцы на ряпов [2], и как ловит западней лося и оленя. Он же научит тебя различать в чаще медвежье логово и узнавать по следам, какой зверь прошел. А твой дядька Афанасий Тыря все же с тобой поедет, нельзя тебя оставлять без заботливого глаза. Можешь взять с собой пегого мерина и еще одного конька для вьюков.

Александр бросился к своему степенному, всегда строгому отцу, упал на колени и припал к его большой и сильной руке:

— Спасибо, батюшка! Обещаю тебе привезти домой медвежью шкуру. Только позволь пробыть у Еремы еще деньков с пяток.

— Не надо мне, сынок, от тебя никакой медвежьей шкуры! Смотри лучше, чтобы свою привезти домой без изъяна... А ты на коне приехал или прибежал пешой? — обратился князь к охотнику.

— На твою милость надеялся и приехал на Гнедке. Мучки и жита удели мне толику, княже господине. А уж я отблагодарю тебя к осени бортяным медом. Вот из-за этой мучки я еще и кобылку свою захватил. А то стежками через болотца я пешой враз бы пробежал, где коню и не пройти.

— Ладно! Скажи ключнику, чтобы из клети муки тебе, и жита, и соли отпустил сколько понадобится и для тебя, и заодно для княжича с дядькой.

Охотник тряхнул седыми космами и поклонился, коснувшись пальцами пола:

— Благодарю за щедрую милость, княже! Дозволь только молвить: ежели княжич хочет на лесных зверушек взглянуть поближе своима очима, то пусть червленые [3] сапожки дома повесит на гвоздок. Лесной зверь сторожкий: сразу почует и на хвое и в мураве духовитый след от сафьянового сапожка. Оттого я и хожу по лесу в пóшевнях[4] из сурковых шкурок.

---

1 Седмица — семь дней недели.

2 Ляпцы на ряпов — ловушки на рябчиков.

3 Червленые — темно-красного цвета.

4 Пóшевни, или пóстолы — мягкая обувь без каблуков, сшитая из невыделанной шкуры.

— Ладно, всякому охотницкому обычаю сынка научи... А ты постой, Олекса! Будет тебе от меня вот еще какой приказ. Получил я слезное моление от неведомого мне книжника Даниила. Он для покаяния содержится в монастырском выселке на Черном озере, неподалеку от того места, где живет охотник Ерема. Так вот, тебе я поручаю поехать на это Черное озеро, разыскать там книжника Даниила и выяснить, что это за человек. Не верь одним чужим слухам, а сам поговори с ним и затем, если признаешь нужным, приведи его сюда, ко мне. Понял?

— Понял, батюшка, и все сделаю, как ты сказал.

На следующий день Александр выехал верхом на упитанном меринке с крутой шеей и черным хвостом. За ним следовал старый дружинник Афанасий Тыря на коне, нагруженном кожаными переметными сумами. Путь указывал Ерема, ведя за конец недоуздка старую рыжую кобылу, тоже с мешками на деревянном самодельном седле. Большой черный с подпалинами пес Буян, загнув крючком хвост, бежал впереди, огрызаясь и трепля на ходу собак, бросавшихся с лаем из всех подворотен.

Александр, ликуя, напевал веселую песенку и с довольным видом посматривал на свои всунутые в стремена длинные ноги, которые ему тщательно обернул звериными шкурками опытный охотник Ерема.

В ЛЕСНОЙ ГЛУШИ

Избенка Еремы затаилась в самой глубине густого леса. Пришлось обойти много болот по тропкам, известным только старому охотнику. Изба, сложенная «в лапу» из необтесанных грубых бревен с обрубленными сучьями, была крыта не соломой, а тоже прочными бревнами. Ерема объяснил княжичу, почему у нее такой вид:

— Медведи влезают на избу-то и скребут когтями — всё норовят крышу отодрать. Потому я и сложил ее подобротнее.

Из избы выбежала девушка лет пятнадцати, с белокурой косой и ясными серыми глазами. Пестрядинный сарафанчик подпоясан цветной тесемкой, на шее пестрые бусы.

— Устя, принимай гостей! — крикнул Ерема.— Сам княжич Александр из Переяславля к нам пожаловал. Стаскивай бабку с печи, пущай огонь раздувает.

Девушка остановилась, обдергивая сарафанчик, степен-

но подошла к отцу и стыдливо поцеловала его в плечо, искоса поглядывая на Александра.

— Сейчас разбужу бабку,— прошептала Устя и убежала в избу.

Невысокая почерневшая дверь жалобно заскрипела; на крыльцо вышла мелкими шажками сгорбленная старуха, повязанная темным платком. Она упала на колени, коснувшись головой земли.

Александр соскочил с коня, подошел к старухе и помог ей подняться. Прикрывая от солнца глаза морщинистой рукой, она пристально вглядывалась в лицо княжича.

— Жить тебе и здравствовать много лет! Устя баит, что ты сынок князя нашего Ярослава Всеволодовича. А я и деда твоего, князя Всеволода Юрьевича, знавала. Когда он в нашу глухомань на охоту приезжал, я блинками его потчевала. И ты в него пошел — добрым молодцем растешь.

Александр вслед за Еремой, согнувшись, вошел в избу. Половину ее занимала большая печь. Лавки тянулись вокруг темных стен. В красном углу, убранный узорчатым полотенцем, висел закоптелый образок, писанный на покоробившейся дощечке. Под бревенчатым потолком на бечевках сушились пучки целебных трав.

— Мою хозяйку бог прибрал. За нее теперь Устя и бабка хлопочут. Ты, княжич, посиди маленько, пока нам к столу соберут.

— Неохота сидеть. Пойду лучше ноги размять да посмотрю, какое твое хозяйство.

В углу избы стояло несколько рогатин. Железные лезвия на концах, отточенные до блеска, были искусно прикручены к древку толстыми жилами. Александр выбрал себе по руке легкую рогатину и с ней вышел. Столкнулся на крыльце с Устей, которая нацепляла на коромысло деревянные ведра. Они переглянулись. Тыря, расседлывая коней, сказал:

— Подожди меня, Ярославич, и я с тобой пойду. Далеко ль до беды в таком медвежьем углу!

Александр вспыхнул. Ему совестно стало перед Устей.

— Мы не в Переяславле! И батюшкины тревоги позабудь!

Около избы, окруженной плетнем, протянулся небольшой огород. Там зеленели стебли гороха, редьки, лука и расползлись по грядкам шершавые листья огурцов. Посмотрев, куда пошла Устя, Александр направился в другую сторону. Сразу между старыми елями начинались сплош-

ные заросли орешника, бузины, дикой смородины и малинник, окруженный буйно растущей высокой крапивой.

Продравшись через кусты, Александр увидел тропинку и пошел по ней. Она вилась среди густых, ветвистых деревьев и привела его на холм с высокими, голыми, как свечи, соснами. На них сохранились только небольшие кудрявые верхушки. Александр остановился и прислушался. Откуда-то доносилось заунывное, протяжное пение. Сойдя с тропинки, Александр осторожно пошел на эти звуки. Открылась полянка, окруженная кольцом густых елей. Посреди тлел костер. Сутулый старичок с седой бородой, в длинной белой рубахе ниже колен и новых лыковых лапотках то и дело подкидывал в огонь сушеные стебли трав и еловые ветви. Они тлели, трещали в тихом воздухе, и душистые клубы сладкого дыма тянулись к небу.

По обе стороны полянки стояли, слегка наклоненные к середине, большие пузатые деревянные столбы. Александр догадался, что это древние боги, языческие истуканы. Он не раз о них слышал, а сейчас видел впервые.

Человеческие по пояс фигуры, грубо вырубленные в бревне, со сложенными на животе руками, смотрели выпученными глазами, повернув страшные лица в сторону огня. Истуканы были раскрашены яркими красками. Около одного из них сидели рядком на траве женщины в причудливых головных уборах и белых одеждах, расшитых красными и зелеными тесемками, с цветными костяными бусами на шеях.

Обняв руками колени и раскачиваясь из стороны в сторону, они протяжно и заунывно пели.

Александр бесшумно попятился и спустился с холма. Другая тропинка повела его к речке, извивавшейся среди зеленых кустов. Стая уток, громко хлопая крыльями, взлетела и унеслась через прогалину. Усти не было видно, и княжич вернулся в избу.

НЕЖДАННАЯ БЕДА

Александр с Еремой исходили все окрестности. Старый охотник показывал западни, силки и петли, поставленные на белок, лисиц, соболей, куниц и других обитателей леса.

— А разве ты их не бьешь стрелами? — спросил Александр.

— Одними стрелами не проживешь. Иной раз десяток дней проходишь по лесу и ни единого зверушки не встре-

тишь. А ляпцы и без меня свое дело сделают и уж кого-нибудь мне да подарят — иной раз даже соболька, либо куницу, а с ними и счастье привалит. В верховьях речки, среди самой глухой чащи, лежит моховое бездонное Черное озеро. Выход из него запрудили бобры, но попросту до них не доберешься и, чтобы разыскать их плотины и жилье, надо наперед добыть колдовской корень. Даже зимою это озеро паром дышит. Сколько охотников утонуло, пробираясь через трясину, и не перечесть. А ведь бобра убить — доброго коня добыть.

Дружинник Тыря первый день попробовал ходить с ними, но вскоре взмолился:

— Я же весь изрублен в ратных боях, и прежней легкости в ногах нет. Где мне за тобой угнаться? Позволь мне, княжич, коней стеречь да на солнышке греть старые кости. А тебя Ерема сам устережет.

— Грейся, грейся, Афоня! За меня не бойся! — ответил Александр, радуясь внезапно открывшейся свободе.

Много чудес и тайников почти первобытного бора показал Ерема Александру. А тот не знал устали: все ему здесь казалось занятным, привлекательным и важным. Они выходили и на рассвете, и под вечер. Все ляпцы и западни надо было обойти, проверить и не упустить ни одного дня, иначе сороки и хорьки могут вмиг исклевать или изгрызть попавшую в силок белку, а то и соболя.

В ту памятную ночь шел непрерывный дождь. Падавшие капли шуршали по листьям, как бесконечный шепот затаившихся людей. С вечера Ерема ушел, обещав вернуться к утру. На рассвете дождь прекратился, тучи унеслись, небо стало ясным и веселым.

Александр, взяв рогатину, углубился в ту сторону леса, откуда должен был вернуться Ерема. Тропки спутались, и княжич долго брел новыми для него местами. Упавшее поперек тропы дерево с рыжим клоком шерсти пробиравшегося здесь неведомого зверя и другие лесные великаны, сломанные или вырванные с корнем, говорили о недавней грозной буре, пронесшейся над лесом.

Александр старался идти бесшумно, мягко ступая по сырой, скользкой траве, прислушиваясь к каждому шороху и к разнообразным птичьим голосам, перекликавшимся в густой чаще. Иногда он садился на пень и, безмолвный, зачарованный, следил, как перелетала с дерева на дерево проворная белка, как степенно ползал, деловито постукивая клювом по стволу, черный дятел или пестрые малень-

кие птички, оживленно чирикая, ссорились на ветках совсем близко от него.

Он пробирался так тихо, что увидел, как по краю оврага невдалеке прошел гордый олень, склонив голову с ветвистыми рогами, и, спокойно пощипывая свежие листочки, скрылся, не заметив человека.

Ерема не раз указывал ему свои «приметы» и «затесы», сделанные на стволах деревьев, по которым в дремучем лесу можно было найти заветные охотничьи места, а также обратный путь к дому.

Но в этот день Александр потерял тропу и все затесы и приметы и долго плутал, пробираясь сквозь незнакомую чащу.

Странный шум привлек его внимание. Осторожно раздвигая ореховые кусты, он увидел впереди груду валежника. За нею чернела большая глубокая яма. Шум слышался оттуда. В ней то подпрыгивала, то исчезала рыжая спина большого зверя. С радостно забившимся сердцем, сжимая рогатину, Александр стал подкрадываться, как вдруг гнилой валежник под ногами проломился, и княжич полетел куда-то вниз. Там, на дне глинистой, намокшей от дождя ямы-западни, он оказался вдвоем с высоким горбатым теленком сохатого[1].

Длинноногий зверь, увидев своего недруга — человека, стал изо всех сил прыгать, стараясь выбраться из ямы, но глинистая, сырая почва обрывалась под копытами, и лосенок сваливался обратно. Тогда, обезумев от страха и злобы к человеку, он бросился на Александра с такой яростью, что подмял его под себя и начал топтать передними острыми раздвоенными копытцами. Борьба становилась долгой и ожесточенной. Александр, собрав последние силы, старался подняться, заслоняя от ударов лицо, и наконец, изловчившись, вытащил нож из-за пояса и всадил его лосенку в бок, но сам тут же упал под тяжестью навалившейся на него туши.

Только к вечеру его нашла Устя. Обеспокоенная, что княжича долго нет, вместе с собакой Буяном она бегала по лесу и звала Александра. Чуткий пес по следам привел ее к западне, и Устя увидела рыжую спину убитого лосенка, придавившего залитого кровью княжича.

Спустив в яму жерди, она помогла очнувшемуся Александру выбраться и довела до ручья. Там обмыла и вытер-

---

[1] Сохатый — лось.

ла своим платком кровавые ссадины, перевязала разбитую голову. Долго сидели они рядом на мшистом берегу, обсуждая, что делать, чтобы дружинник Тыря не поднял шума.

— Теперь твой дядька, наверное, захочет отвезти тебя немедля назад в Переяславль?

— А ты б не хотела, чтобы я сейчас уехал? — спросил Александр, пытливо вглядываясь в лицо девушки.

Устя вспыхнула, потупилась.

— У нас ведь скоро праздник Ивана Купалы. Будут гулянки и сбеганья. Девки и парни станут всю ночь песни петь, хороводы водить, костры жечь и через огонь прыгать. Венки по воде пускать, чтобы узнать свою судьбу. Может, и ты захочешь по лесу побродить? Коли счастье придет — найдешь цвет огненный папоротника-купальника.

— С тобой вместе, пожалуй, найду.— Александр поднялся.— Прежде чем в избу вернемся, с меня этот платок сними. Негоже мне в девичьем платке отцу твоему показываться.

Устя развязала окровавленный платок и налепила на голову Александра большие прохладные листья мать-и-мачехи, прикрыв ими ссадины. Придерживая листья рукой, а другой опираясь на рогатину, Александр медленно заковылял по тропинке.

Устя старательно выполоскала свой платок в ручье, затем догнала хромавшего Александра, но, подходя к дому, отстала и следила за ним издали, прячась за деревом.

В НОЧЬ ПОД ИВАНА КУПАЛУ

Всегда спокойный дружинник Афанасий Тыря крайне всполошился, увидев израненного питомца. Ерема давно вернулся и уже несколько раз выбегал в лес и аукал, призывая Устю и молодого гостя.

Александр поднялся в избу, бормоча:

— Пустое! Скоро заживет...

Он долго сидел на скамье под образами и отмалчивался, пока Ерема с бабкой перевязывали ему голову тряпицами, смоченными отваром из лечебных трав. Тыря охал и причитал, всхлипывая:

— Что-то мне теперь будет! Твоя головушка заживет, а моей, горемычной, целой не бывать! Разгневается

князь-батюшка и сошлет меня по гроб жизни моей на Черное озеро — не уберег я тебя, Олексанька!

Стиснув зубы, стараясь скрыть острую боль, Александр сказал:

— Хватит тебе скулить! А на озеро вскоре мы оба поедем. Перед тобой, Ерема, я повинюсь: западню ты копал на оленя али на медведя, а свалился-то в нее по недосмотру я сам, тетеря!

И Александр рассказал, как он упал на лосенка-годовика, как тот его чуть не забил острыми копытцами и как ему пришлось, чтобы самому не погибнуть, заколоть его ножом.

Ерема качал головой:

— Говорил я тебе, княжич: зорко посматривай на затесы, что я на деревьях метил. А лучше не ходи ты один! У меня ведь западни изготовлены повсюду и на всякого зверя... Долго ль до беды. Ладно еще, что не на медведя ты свалился. А тушу лосиную я из ямы немедля достану, а то ночью волки ее почуют и сожрут. Зато теперь я попотчую тебя вареным лосиным языком и поджаренной печенкой. Устя, приведи поскорей с поскотины[1] коня — поеду за лосенком.

Александр пролежал на медвежьей шкуре три дня и три ночи в сильном жару, метался и бредил. Все его избитое тело нестерпимо ныло. Тыря, бабка и Устя поочередно сидели возле княжича, подавая ковш с квасом или смачивая его пылающую голову студеной водой.

Подошла ночь под Ивана Купалу. Александр очнулся. В раскрытое оконце падал жемчужный луч месяца, освещая расшитый красными узорами край Устиной рубахи. Девушка тихо сидела на скамье и сучила бесконечную нитку из льняной кудели.

— Где я? — спросил, с трудом приподнимаясь, Александр.

— Ох, Олексаша,— сказала Устя,— не вовремя ты захворал! Чаяла я с тобой в лес пойти сегодня искать огневой купальный цвет. Слышишь, как уже по лесу гуляют наши девушки, счастья ищут?

Княжич прислушался: где-то далеко звенели веселые песни и перекликались девичьи голоса:

— А где у вас костры жгут?

— Недалече. Там, где Перунова горка.

---

[1] Поскотина — огороженный жердями в лесу участок, где пасется молодняк: телята, жеребята.

В избу вошел Тыря и прошептал, наклоняясь к Усте:

— За тобой там подружки пришли. Зовут на гулянку. Ты к ним ступай, а с княжичем я посижу.

Александр воскликнул:

— Невтерпеж больше лежать!.. Ступай себе, Устя! Со мной Афоня посидит и расскажет что-нибудь.

Отодвинув в угол прялку, Устя со вздохом выскользнула из избы. Потом послышались молодые голоса, звонкий смех и песня, постепенно затихавшая вдали.

Среди ночи Александр встал, разбудил дремавшего на скамье Тырю, и вместе они вышли в темноту. Держась за дружинника, княжич медленно шел лесом. Знакомой тропинкой они подошли к Перуновой горке. Ее легко было найти: оттуда слышались песни, сквозь деревья мелькали отблески огней. Раздвигая кусты, Александр приблизился и замер, ухватившись за дерево. Вокруг раскрашенных истуканов двигался хоровод. То он разбивался на пары, то вновь смыкался и шел в обратную сторону. Княжич с завистью, мысленно проклиная так не ко времени приключившуюся с ним хворобу, наблюдал, как плавными движениями скользили девушки и лихо отплясывали парни.

Он заметил, что Устя, с венком цветов на голове, шла рядом с кудрявым, веселым молодцом. Она беспечно распевала и задорно смеялась. Оба взялись за руки и быстро побежали кругом полянки, где посредине пылали красные огни и пары перепрыгивали через пламя. На мгновенье они скрылись в густом дыму, перескочив через костер, потом снова смешались с толпой.

Утром Александр приказал седлать коней. Бабка уже сварила лосиный язык и приглашала откушать дичинки. Княжич торопился и хмурился, стараясь не смотреть на Устю.

Они выехали, когда солнце ярко светило и лес звенел от гомона птичьих голосов. Влажным блеском сверкали обрызганные росой зеленые листья. Впереди весело бежал Буян, обнюхивая следы.

Александр, стиснув зубы, перемогая ноющую боль во всем теле, сидел на коне, надвинув соболью шапку до самых бровей. За поскотиной, на песчаном бугре, стояла Устя в длинной белой рубахе с ярко расшитыми красными цветами на широких рукавах. Доехав до поворота, Александр оглянулся. Она махнула ему рукой.

— Прощай, лесовичка! — крикнул княжич.

— Прощай! Приезжай опять! — откликнулась Устя.

К вечеру всадники добрались до озера. Нашли утлый челнок, выдолбленный из цельного ствола. Коней взялся стеречь вместе с Тырей старый рыбак, обещавший также сварить ушицу к возвращению княжича с острова. На расспросы о том, кто живет на островке Затерянном, рыбак объяснил:

— Не про Даниила ли Острословца ты спрашиваешь? Есть у нас такой; то ли мних, то ли калика перехожий, то ли юродивый. Очень скудно живет, бедует, а красно говорит про всякие земли и диковинные народы. Всюду он побывал, все видел. Я его иной раз подкармливаю рыбешкой али сухарями, чтобы не голодал. Там, на острову, в часовенке, ты его и найдешь.

Княжич с Еремой поплыли через озеро на старом, валком челноке. Ерема, сидя на дощечке-распорке, сильно и умело загребал широким веслом то справа, то слева и покрикивал на Буяна, который увязался за ними, и теперь, стоя на высоко выгнутом носу челнока, дрожал мелкой дрожью, видя вблизи стаи диких уток, низко проносившихся над водой.

Вдали какие-то люди на двух больших набойных [1] лодках вытаскивали из воды длинный бредень, и серебристые рыбки, захваченные сетью, бились и трепетали, ярко поблескивая на солнце.

— Это чернецы здешние рыбкой промышляют,— пояснил Ерема.— Кажись, и сам старшóй с ними.

ДАНИИЛ ОСТРОСЛОВЕЦ

На затерянном среди старого леса уединенном озере поднимался в середине небольшой островок. Обомшелые скалы образовали причудливую груду, похожую на развалины древнего рухнувшего храма. На берегу чернела ветхая избенка с покосившимся крестом на очелье крыши. Неподалеку паслись несколько белых, и одна черная коза.

Высокий, очень тощий человек в черной камилавке и длинном выцветшем подряснике вышел из двери, с торжественным видом неся перед собой пустую деревянную кадку. Он шел медленными шагами, высоко поднимая ноги, точно переступал через порог.

---

[1] В древние времена лодки (челны, лодейки) выдалбливались из одного цельного дерева. Были еще лодки «набойные», у которых на краях набивались вверх по нескольку рядов доски («набои»). Такие лодки могли поднять двадцать — сорок человек. Доски скреплялись деревянными гвоздями и просмаливались.

Увидев подходившего Александра, тощий человек остановился, удивленно всматриваясь, затем быстро поставил кадку на землю и, словно переломившись, поклонился в пояс. Потом он стал неподвижно, сложив руки на животе.

Александр направился к избе и, нагнувшись, вошел в нее. Это была молельня. Солнечный луч через раскрытую дверь осветил несколько икон, написанных на покоробившихся досках. Перед ними на трех шнурах висела, коптя, глиняная лампадка с конопляным маслом.

Рядом, на аналое, сбитом из грубо обтесанных жердей, лежала большая развернутая книга с пожелтевшими, на углах замусоленными страницами.

Оглянувшись и видя, что никто не следует за ним, княжич, перемогая боль и сдерживая стоны, опустился на колени перед образом и, широко крестясь, трижды поклонился, коснувшись земляного пола, устланного свежими еловыми ветвями. Шепотом он стал молиться:

— Святая матерь божья! Земно кланяюсь тебе за то, что, осенив покровом своим, ты уберегла меня от гибели под острыми копытами глупого теляти лосиного! Не оставь меня и дальше милостью своей и защити и от зверя лютого, и от врага неведомого! Обещаю тебе, святая матерь божья, сотворять милость без меры тому, кто попросит у меня жалости, правды и защиты...

Александр с трудом встал и, стараясь держаться прямо и гордо, вышел из молельни.

Возле входа Ерема шептался с человеком, несшим кадку. Они замолкли, и неизвестный снова переломился, поклонившись до земли.

— Выслушай меня, княже, мой господине! — жалобным голосом завопил он.

— Кто ты? О чем твоя забота? — Александр засунул руки за ременный пояс и остановился. Он увидел перед собой длинный нос с горбинкой, мохнатые брови, впалые щеки и дрожащие сухие губы.

— Ржа ест железо, а печаль — ум человеку. Печальну человеку засохнут кости. Тем и аз вжадах милосердия твоего...

Александр более внимательно и пытливо взглянул на странного просителя и, стараясь сдержать улыбку, глубже надвинул меховую шапку на правую бровь.

— Помяни мя, в неисправнем вретище [1] лежащего, зимою умирающего и каплями дождевыми, яко стрелами, пронизаема...

---

[1] Вретище — рубище, убогое платье.

— Говори мне вразумительно! — прервал княжич.— Кто ты? Как твое имя? И о чем ты просишь?

— Не слушай ты его, княже, мой господине! — раздался ржавый, хриплый от злости голос пожилого монаха с седой растрепанной бородой. Он быстро подходил со стороны, придерживая рукой большой крест, висящий на груди.— Это суеслов, великий грешник. Всех-то он осуждает! — продолжал монах, задыхаясь от ходьбы.— Он прислан сюда для покаяния и должен в посте и молитвах просить господа об изгнании из него духа гордыни и грешных помыслов... Остерегайся его, княже, мой господине! — Монах, держа в руке медный крест, выдвигал его, ожидая, что Александр приложится.— Отойди отсюда, нечестивец! — махнул он рукой на просившего бедняка.

Александр, стараясь сохранить достоинство, подобающее сыну знатного князя, не торопясь подошел к монаху и, перекрестясь, поцеловал его медный крест. Затем отступил на шаг и сказал громко и резко:

— Повремени, отец! Не с тобой нынче я речь веду. Скажешь, когда твой черед придет... Ты кто? — обратился он снова к просителю.— Чернец или послушник?

— Даниил, холоп, раб холопа,— скорбное имя, мне от юности дарованное. Аз не в Афинех ростóх, ни от философ́ научихся, но бысть падая, аки пчела по различным цветам и оттуда избирая сладость словесную. Како речеши, княже! Мне ли, недостойному, пострижчися в чернцы? Лучше мне тако в скудости скончати живот свой, нежели восприимше ангельский образ, богу солгати! — И он направил указательный палец на монаха.

Старый монах воскликнул:

— Отврати очи твои от него, княже! Обычаем он зловреден. Да разве святой владыка наш допустит его к приятию сана? Ступай, ступай скорее отсюда, мерзкий человек! — с яростью обратился монах к покорно стоявшему просителю, пытаясь его оттолкнуть.

— Погоди, отец! Не сказал ли я, что не с тобою речь веду?.. Чего бы ты хотел, о чем просишь? — спросил Александр.

— Княже, мой господине! — снова нараспев заговорил странный человек.— Орел-птица — царь над всеми птицами, а осетёр — над рыбами, а лев над зверьми. А твой отец, преславный князь Ярослав Всеволодович,— над русичами. Но златом князь мужей добрых не добудет, а мужми и злато, и сребро, и градов он добудет...

— Постой, велеречивый златоуст! Я обещаю поговорить с батюшкой и просить его призвать тебя к себе.

— Нет, нет, княже, мой господине! Пощади меня! Заклюют меня здесь черные вороны. Лучше бы ми смерть, нежели здесь продолжен живот в нищете. Возьми меня с собою! Молю тебя, сыне великого князя Ярослава!

— Да помолчи, Данииле! Наш княжич возлюбленный тебе же добра желает! — сказал вкрадчивым и ласковым голосом второй чернец, бесшумно подошедший к говорившим.

У Александра загорелись мысли, которые давно беспокоили и одолевали его.

— Какую работу ты мог бы делать в Переяславле? Знаешь ли ты книжную премудрость? Сможешь ли переписывать книги? В монастыре в Переяславле хранятся древние книги. Смог бы ты переписать те, в коих описываются деяния ратных мужей, преславных воителей?

Он ожидал ответа Даниила. Тот, переминаясь с ноги на ногу, заикаясь, проговорил:

— Все гораздо могу. Искусно тебе перепишу, княже, мой господине. И сам я многое знаю. К примеру: прочел я всю книгу «Эллинского и Римского летописца», в коей помещено сказание об Александре, царе Македонском, его же пестун и учитель бе Леонид — полководец и Аристотель — философ премудрый, и како отпущаемый от школьного учения домови. Александр-отрок учаше других отроков да ся биють, разделившиеся на дружины... И сам со другие отроцы творяше брань[1] ту... Это сказание про Александра все для тебя перепишу. Повели, княже, мой господине, да пойду за тобой следом, на хвост коня твоего взирающе. А ежели отринешь мя здесь, то аз, аки пес шелудивый, издохну и замерзну под вретищем...

— Вот окаянный, пристал, аки смола! — шептал старый монах, исподлобья поводя злыми глазами.

Александр сдвинул брови и, сделав не по летам строгое лицо, поднял голову:

— Разрешаю тебе, Даниил-книжник, следовать за мной, не отставая от моего коня, в Переяславль на суд и на последний приговор княжий.

Александр повернулся и медленно направился к берегу, где стояли рядом челны, наполовину вытащенные из воды. Все тело его болело и ныло, в ушах шумело, но он старался, несмотря на это, сохранить гордую, торжественную поступь и прошел к челну, как подобает сыну преславного князя.

---

[1] Брань — война.

ГЛАВА III

ПОД НАЧАЛОМ РАТШИ

ГРОЗНЫЙ КНЯЗЬ-БАТЮШКА

Александр подъезжал к княжьему двору, когда первые косые лучи восходящего солнца уже пробивались сквозь густые ветви старых яблонь.

Знакомый с детства дружинник стоял у ворот и, узнав княжича, весело крикнул ему:

— С прибыльной охотой! Долго промышлял! Какую животинку на обед привез? Али зверя добыл?

— Сохатого подбил. Только я его охотнику Ереме оставил. Не везти же по такой жаре.

Александр говорил небрежно, отвернув в сторону лицо, не желая, чтобы, заметив ссадины и синяки, все заохали.

К крыльцу подбежали челядинцы, подхватили под уздцы коня. Княжич соскочил с седла и, степенно поднимаясь по ступеням, остановился и сказал Тыре:

— Послушай, Афоня! Поди-ка в поварню да скажи, чтобы нас обоих накормили. А ты, Даниил, пока повремени здесь на крыльце. Наверное, князь-батюшка скоро тебя кликнет.

— Ярослав Всеволодович ведет беседу с гонцами из Полоцка,— сказал старый дружинник, открывая входную дверь.— Ох, батюшки светы! Кто это тебя, наш пресветлый княжич, так обидел?

— Загулял! — небрежно сказал Александр, обдергивая кафтан и оправляя пояс.— С лешим подрался!

— Быль молодцу не в укор! — Старик засуетился, спеша оповестить князя о приезде сына.

С робостью вошел Александр в гридницу [1], где у слюдяного окошка в большом резном кресле с высокой спинкой сидел грозный, осанистый отец. Его сухое горбоносое лицо с темными пронизывающими глазами напоминало голову большой хищной птицы. Перед ним стоял молодой гонец

[1] Гридница — одна из комнат княжеского дворца, где обычно находилась княжеская дружина; гридь — дружинник.

в запыленной одежде, с изогнутым луком, выглядывающим из кожаного чехла за спиной. Кривым ножом он распарывал подкладку шапки из волчьего меха. Осторожно достал он оттуда завернутый в тряпицу сложенный пергаментный листок.

— Где же дьяк Онуфрий? — спросил князь, разворачивая послание и как бы не замечая сына.

— Здесь я, здесь! — откликнулся старый княжий дьяк.

Он быстро подошел к креслу, стал по левую руку и, нахмурив седые брови, впился острым взглядом в письмо.

Александр встал позади полоцкого гонца. Почтительный и безмолвный, ожидал он милостивого разрешения отца с ним поздороваться.

Пока дьяк разбирал письмо, князь, проведя рукой по волнистым полуседым кудрям, наконец взглянул на сына. Брови его удивленно поднялись, потом грозно сдвинулись. Он гневно крикнул:

— Это кто же тебя так разукрасил? Не чаял я, что моему сыну придется быть биту! А дал ли ты сдачи обидчику?

Александр нерешительно мял шапку в руках и только мог пробормотать:

— Прости меня, батюшка. Виновен. Недоглядел.

— А Тыря чего смотрел? Почему не стал на твою защиту? Да я Афоньку за это в порубе [1] сгною!

— Тыря здесь ни при чем, батюшка. Это только моя вина!

И, слегка запинаясь, Александр стал рассказывать, как он ушел один в лес, не заметил затесов и примет на древесной коре, упал в западню, где его избил лосенок, и как ему удалось в конце концов заколоть зверя.

Грозно молчал князь. Затем еще более грозно он спросил:

— Но как же тебе посчастливилось выбраться? Хорошо я знаю эти западни — легко в них упасть, да трудно выкарабкаться. Тебя, поди, Ерема и Афонька вытащили?

— Нет, батюшка. Устя меня спасла.

— Устя? — удивленно протянул князь.— Это кто ж такая Устя? И как она к западне пришла?

Александр смущенно продолжал:

— Устя — это дочка Еремина, а к лосиной западне ее наш пес Буян привел по моему следу.

Лицо князя все светлело, и вдруг он загудел добродуш-

---

[1] Поруб — опущенный в землю деревянный сруб, куда сажали преступников.

ным раскатистым смехом, замечая, как еще более смущается сын, мнет шапку и кусает губы.

— Так, говоришь, Устя вытащила? И добрая девка? И тоже в яму на тебя свалилась?

— Перестань, князь-батюшка, а то осерчаю!

— Ой ли! А коли осерчаешь, что со мной сделаешь? Неужто побьешь?

— Уйду от тебя...

— Не с ушкуйниками [1] ли на Волгу пойдешь?

— А хотя бы!..— И Александр, резко повернувшись, направился к двери.

Князь быстро встал, нагнал сына и, обняв за плечи могучими руками, потащил назад к своему широкому креслу.

— Стой тут рядом с гонцом и слушай, о чем пишет мне князь Брячислав из Полоцка. Это будет пострашнее твоего лосенка... Давно я так не смеялся! — продолжал он, покачивая головой.— Такого богатыря, как ты, спасла от зверя девчонка!

— Лосенка я еще до нее заколол! — крикнул в бешенстве Александр.— Да вылезть не смог: яма глубокая, края обмокли после дождя, обрывались, а руки и ноги были разбиты.

— Ну ладно, ладно, сынок! Не стану больше! — И князь обратился к дьяку Онуфрию:— Так что же мне пишет князь Полоцкий?

Когда дьячок прочел длинное витиеватое письмо, князь Ярослав помолчал, подумал и сказал:

— Да, сынок!.. То, что ты сейчас слыхал, не шуточное, не малое дело. Как мы сейчас узнали из письма, на Полоцк напирают литовцы, а внизу, по реке Двине, немцы замыслили недоброе: на Полоцкой земле свои крепости строят, мечи на нас вострят. Видно, скоро на нас навалятся. Хватит тебе, Олекса, ляпцами ряпов ловить да затесы на деревьях в лесу разыскивать. Я хочу, чтобы ты отправился туда, где сможешь научиться метать копье и мечом охранять наши рубежи. Пора тебе, сынок, начать учиться воинскому делу...

Александр, сверкнув глазами, радостно сказал:

— Спасибо, князь-батюшка! Только об этом и все думы мои!

Ярослав задумчиво продолжал:

---

[1] Ушкуйник — так назывались разбойные люди, плававшие по Волгс в «ушкуях» — больших длинных многовесельных лодках.

— Но только я пошлю тебя не на забаву, а на подвиг ратный. И к нему приступать надо благословясь. Ты начнёшь с того, что вступишь в первую сотню моей дружины простым конником. А сотником твоим будет Ратша, муж строгий, честный и храбрый. Когда покажешь отменную доблесть, то он тебя поставит во главе десятка. А дальше все пойдет от твоего усердия и воинской доблести... Одну сотню я посылаю сейчас для охраны гонца полоцкого князя. Терпимо ли, чтобы его вместе с моим письмом вдруг перехватили наши недруги!

СТАРЫЙ ВОЕВОДА РАТША

Александр давно, с самого раннего детства, знал заботливого дружинника Ратшу. На своих руках тот его вынянчил. Суровый с виду, с длинными обвисшими усами, он никогда не носил бороды, а берег и холил усы, подражая во всем своему князю Мстиславу Мстиславичу, прозванному Удатным[1].

Сколько песен пропел, сколько сказок-бывальщин рассказал Ратша!

Теперь Ратше уже много лет. Из его рассказов узнал Александр, каким молодым удальцом вступил он в дружину к храброму князю Мстиславу. Ратша сопровождал его на княжение в Великий Новгород, с ним же он пришел в Переяславль-Залесский, когда князь привез туда свою дочь, красавицу Ростиславу, рожденную от чернобровой половецкой княжны Кончаковны. Там он и выдал ее замуж за князя Переяславльского Ярослава, а Ратша держал золоченый венец и пел «славу» на веселом свадебном пиру.

Состоял Ратша при князе Мстиславе и в злополучной битве на реке Липице, где Ярослав, домогаясь княжения во Владимире на Клязьме, выступил против своего тестя Мстислава и своего же брата Константина Всеволодовича.

Страшной и грозной была эта битва. Брат на брата подняли мечи, споря из-за города. Князья натравливали крестьян переяславльских на суздальских и владимирских, и полегло в этой битве семь тысяч русских голов...

Вскоре после этого побоища Мстислав Удатной с Константином Всеволодовичем уже въезжали в покорившийся Переяславль. Князь Ярослав принес союзникам повинную, но разгневанный тесть приказал Ратше выкрасть дочь

[1] Удатной — удалой.

Ростиславу и привезти ее обратно в отчий дом. Только год спустя, вняв мольбам дочери, он наконец смягчился и поручил тому же Ратше отвезти молодую княгиню снова в Переяславль. Там Ратша и остался, вступив в дружину переяславльского князя.

Все это вспомнил Александр, когда явился в Детинец [1], где жила княжеская дружина.

Он нашел Ратшу под навесом конюшни. Тот стоял подбоченясь и сурово попрекал за нерадивость двух конюхов, выгребавших навоз.

Из-под навеса выступал длинный ряд конских крупов,— рыжих, гнедых, вороных и пегих, выхоленных и разжиревших на княжеских кормах, гладких, с нарядно заплетенными хвостами.

Тут сберегались лучшие кони, отделенные один от другого жердями, чтобы не дрались и не баловались. Некоторые особенно беспокойные жеребцы имели на задней ноге железную цепь, прикованную к столбу.

Александр хотел по-старому обнять Ратшу за плечи, но тот, повернувшись, сделал два шага в сторону и стал крутить длинный сивый ус, всматриваясь в княжича.

— Князь-батюшка мне сказал, что я поступаю к тебе в сотню и буду под твоим началом...

— Знаю, говорил мне об этом Ярослав Всеволодович. Но он же мне строго-настрого повелел, чтобы тебе никакой поблажки не давать, а закалить на работе так, чтобы вышел из тебя крепкий, лихой конник. А что такое «поблажки не давать»? Это — следить, чтобы ты честно, исправно, не мешкая, делал все то, что обязан делать каждый конник. Верно ли я сказал?

— Верно. И я стану делать все, что ты мне прикажешь.

— Что нужно перво-наперво коннику?

— Коня! Но я молю: выбери для меня не какого-нибудь смирного коня, а чтобы был как огонь.

— Постой, княжич Олекса, меня не учи! Знаю, что тебе нужно. Помнишь, когда тебе четыре годочка исполнилось, я тебя впервые посадил на боевого коня в настоящее седло и вложил в твои рученьки повод. А все собравшиеся родные и гости зорко смотрели, как мальчонка будет сидеть, не испугается ли, не заплачет. Но ты стал ножками стучать по бокам коня, дергать поводья и требо-

[1] Детинец (от древнеславянского слова «дедина», владение) — то же самое, что кремль, то есть укрепленная центральная часть поселения.

вать витня [1], чтобы его стегануть. Тогда князь Ярослав Всеволодович взял коня под уздцы с одной стороны, а я — с другой, и мы повели его вокруг двора. Ты сидел крепко, покуда конь трижды обошел двор, а напоследях даже прибавил ходу, чтобы перейти в скок. «Славным воином да будет младенец Александр!» — сказал тогда отец Варсонофий. Он отрезал у тебя прядку волос, передал твоей матери и прибавил: «Как преславный святый Егорий Победоносец, да будет твой сын Александр хранителем родной земли на страх врагам».

— Коня! Скорей дай мне коня! — нетерпеливо воскликнул Александр.

— Теперь не такого коня тебе нужно. На смирном коне пристойно ехать на богомолье старому деду. Но и твой конь должен быть тебе верным и покорным. Норовистый конь хорош лишь тогда, когда он злобен в бою с недругами. В твоих же руках конь должен быть послушен, как верный пес. Запомни, что молодой конь делается послушным не оттого, что ты его витнем стегать будешь, а через то, что ты его выпестуешь, как дите; когда он приучится слушаться твоего голоса и выполнять твою волю...

— Выбери мне такого коня!

— Я уже наметил одного. Твой дед, князь Мстислав Мстиславич, прислал твоему князю-батюшке целый табун отборных половецких коней. Среди них я приметил одного горячего жеребца-игрунчика — хоть под Егория Хороброго!..

— Скорей, скорей, Ратша! Где же конь?

— Одно запомни, княжич Олекса: те, кто знают лошадиный нрав, никогда не бьют коней, пока на них не сядут.

— Не терпится мне, Ратша! Больно уж охота коня посмотреть.

— Потерпи малость... Эй, друже! — крикнул Ратша.— Выведи-ка гнедого Серчана, что сегодня привели.

Один из конюхов, босой, с подоткнутыми полами кафтана, бросил лопату и прошел под навес. Громко застучали копыта по деревянному настилу, когда большой широкозадый гнедой жеребец вылетел, почуяв свободу. Вцепившись в его недоуздок, конюх висел, волочась ногами по земле. Остальные конюхи бросились наперерез. Ухватив коня за недоуздок с другой стороны, они его остановили.

---

[1] Витень — кнут, плеть.

— Ну, как? — спросил Ратша, косясь на Александра.— Люб али не люб тебе такой зверь?

— Вот такой мне по сердцу! — прошептал Александр, задыхаясь от радости.

— Попробуй теперь его стегнуть витнем,— заметил Ратша,— так он этого тебе до последнего своего смертного часа не забудет... А ежели ты его огладишь, успокоишь, да еще ржаную лепешку дашь, помазав медом, конь почует в тебе друга и хозяина, а потом и сесть на себя позволит. На таком коне ты любого врага догонишь, он тебя и сквозь сечу пронесет, а если ты, раненый, упадешь в поле, конь тебя не покинет, а возле стоять будет.

Александр подошел ближе к гнедому жеребцу. Княжичу очень хотелось, чтобы конь посмотрел ему в глаза, протянул к руке теплые, мягкие губы. Но гнедой, подняв голову, смотрел куда-то вдаль. Конюшня находилась на самой вершине холма, где стоял детинец. Отсюда было видно далеко вокруг: и синие дальние леса, и часть Плещеева озера, и зеленые луга за ним... Там рассы́пались разномастные кобылицы княжеского табуна. К ним стремилось сердце гнедого жеребца, и он звонко заржал, содрогаясь всем своим напряженным, блестящим на солнце мускулистым телом...

НАКАЗ ДАНИИЛУ ОСТРОСЛОВЦУ

Князь Ярослав не забыл о Данииле Острословце и приказал челядинцу его привести.

Темнолицый, с беспокойными черными глазами, с космами полуседых волос, Даниил стоял, крутя в руках старый собачий треух, подаренный ему медвежатником Еремой.

Князь окинул Даниила недоверчивым строгим взглядом и стал всматриваться в его длинный сухой нос и лохматые брови, как у святителей на иконах.

— Ты из греков, что ли?

— Нет, пресветлый князь-батюшка. Я с Волыни.

— Ты и тестя моего, князя Мстислава Мстиславича, поди видел?

— Сподобил господь увидеть. Ткнул он меня перстом в лоб и сказал: «Не поёшь ты, а орешь, аки петух половец-

кий». Я еще тогда в монастыре крылошанином [1] стихиры пел, когда князь Мстислав Мстиславич приехал к нам и заупокойную обедню велел отслужить по убиенным воинам, живот свой за родину положившим в бою с татарами в Диком поле близ реки Калки.

— Скорбная для нас была битва... Уже двенадцать лет прошло, а мы все ждем и не знаем, придут ли сюда к нам опять татары, или они навсегда затаились за Волгой.

— Придут, княже, мой господине: однажды нашей русской кровушки попробовав, татарин, что медведь-шатун сыроядец, от нас не отстанет!

— И то правда! Вести дошли до меня, что царь татарский Батыга полонил великий город Булгар, по всей булгарской земле своих тиунов поставил и опять в степи Половецкие обратно ушел.

— А может, господь нас помилует и орда татарская в Суздальское Залесье больше не заглянет: ведь тут самый дремучий медвежий угол.

Князь Ярослав задумался и снова стал разглядывать беспокойное лицо Даниила.

— А летопись ты сможешь писать?

— Почему не могу? Я книжному делу с малолетства обучен, только воинские сказы-бывальщины писать я более приобык.

— Воинские сказы? — оживился князь.

— Тщусь по мере сил моих.

— Так вот что, Данииле, я сейчас надумал. Посылаю я на подмогу князю Полоцкому Брячиславу три сотни моих дружинников на óборонь Русской земли. С ними поедет мой сын, княжич Александр. Посажу я тебя на смирного конька и пошлю вместе с дружинниками. Мой сын не горазд сказы и письма писать, так ты ему поможешь мне вести присылать, а заодно будешь писать о том, как мой сын ратному делу обучается и в боях себе славы добывает. Обо всем ты по совести мне отпишешь.

— Только бы портище новое мне ты пожаловал, княже, мой господине, а то моя одежонка вся поизодралась. На коня взбираться стыжусь.

— С богом, Данииле! Ступай в детинец, разыщи там воеводу Ратшу и скажи ему, что я приказал тебе с ним

---

[1] Крылошанин — клирошанин, церковный прислужник, певчий, стоящий на клиросе (боковом возвышении) во время церковной службы.

в Полоцк следовать и написать сказ о борьбе с немчинами и литовцами.

— Для твоей милости, княже, мой господине, я посердствую.

НАПАДАЙТЕ ОТВАЖНО ПЕРВЫМИ

Ратное дело сразу захватило Александра. Очарованный своим гнедым красавцем Серчаном, сперва он не знал, как бы его понежнее обласкать — и чистил скребницей, и растирал ветошкой лоснящуюся шерсть, и расчесывал деревянным гребнем, и заплетал в косы длинную густую гриву. Сам кормил и поил жеребца и даже был бы рад ночевать возле него на соломе в конюшне.

Но Ратша быстро забрал княжича в крепкие руки, не давая передышки и поблажки. Одним ближайшим утром Александр с другими недавно собранными детскими дружинниками [1] был призван строгим воеводой. Десять молодцов, еще очень нескладных и росту разного, двинулись гурьбой к Ратше. Он медленно проходил по княжьему двору и остановился, искоса поглядывая и покручивая длинный ус.

— Чего валом валите? Не за сеном пришли, а по воинскому кличу!

Парни переглянулись.

— Это бычки идут и мычат, бодаясь! — проговорил раздраженным голосом Ратша.— Становись в затылок да выровняйся! Ты, Гаврила Олексич, самый высокий — будешь в десятке отныне стоять первым.— Он указал рукой на высокого нескладного увальня, такого белобрысого, что волосы и брови на сильно загорелом его лице казались седыми.— А прочие становись рядком, чтобы самый малый пришелся с другого краю.

Парни сами перестроились и стали в затылок. Александр по росту оказался вторым.

Медленно Ратша обошел весь ряд, сурово оглядывая каждого с головы до пят, и отрывисто крикнул:

— Повернись!

Парни быстро повернулись лицом к Ратше.

— Слушай, молодцы, мое слово. Пойдете сейчас в воинскую кладовую. Там выбирайте себе каждый подходящую кольчугу или калантырь [2]. Натяните ее на себя, да смотри-

---

[1] Детские дружинники — молодые дружинники.

[2] Калантырь — кожаная рубаха с нашитыми металлическими пластинками.

те, чтобы в ней вольготно было мечом рубить. Выберите себе также лук, десяток стрел и шелом подходящий, чтобы держался крепко на голове и от удара в бою не соскочил. Да запомните еще: и шелом, и кольчуга, и меч, и наконечники копий должны блистать, как на иконе у архангела Михаила! Без этого не возвращайтесь! А ежели я найду на воинской справе грязь и ржавчину, то я вытолкаю неряху на скотный двор мусор выгребать. И не бывать ему дружинником! Все меня поняли?

Один из юношей робко проговорил:

— Там, в погребу, в кладовой видел я кольчуги. Только все они гораздо черные да ржавые. Пока начистишь этакую, скоро не обернешься!

— Нынче я вас и не жду,— ответил Ратша.— Придете в новом воинском виде завтра поутру.

— А чем чистить-то?

— А ты спроси у старых дружинников, чем твой затылок скрести. Они тебе по затылку и нагреют. Чем чистить, эка задача! Золой либо пылью! Понял? Возьми два обломка горшка и три их один о другой. Пыль посыплется, а ты ее наскреби и будешь этой пылью шелом чистить. Да не ходите отныне как сонные тетери! А бегайте борзыми кобелями! На коне же соколами летайте!.. Какой же будет от всех вас толк, ежели станете ходить с потягушками да с развальцем, когда враг лютый отовсюду наседает и только глядит, как бы на нас врасплох навалиться! Тут зевать нам не придется...— Ратша обвел всех внимательным строгим взглядом.— Всё поняли?

— Поняли! — прошептали оробевшие юноши.

— То-то же!.. Слушай, сынки: скоро вы нос к носу с немцами-рыделями[1] повстречаетесь. Ежели вы сами на них не наброситесь отважно первыми, то клыкастые рыдели легко в клочья вас порвут. А мы должны немца перехитрить, опередить, схватить за глотку и поставить его на колени. Отвечайте: хотите, чтобы вам мое ученье в науку пошло?

— Учи нас воинскому делу! — сказал Александр.

— Учи нас! — подхватили остальные дружинники.

Ратша нахмурился:

— А ежели кто не хочет быть под моим началом, пускай отваливает домой, к бабке на печку! На место каждого целый десяток охотников найдется... Ступайте, да живо!

---

[1] Ры́дель — переделанное немецкое слово Ritter — рыцарь.

— Хотим под твоим началом быть! — воскликнули все юноши и бросились бегом к кладовой князя.

ТРЕВОГА НА ЛИТОВСКОМ РУБЕЖЕ

Ратша не давал покоя молодым дружинникам. Он всячески изгонял из них то, что он называл «мамкиными и нянькиными потягушечками». Его обучение скоро приняло неожиданный оборот. К князю Ярославу стали прибывать новые гонцы из Полоцка, Изборска, Пскова и других мест с мольбой о помощи. Разбойные литовские и немецкие отряды на быстрых конях врывались в исконные русские земли, захватывая немалую добычу — и скотину, и женщин, и детей,— и угоняли возы, нагруженные всяким добром. Всех, безжалостно избивая, вороги волокли к себе в болотистые дремучие леса.

Беженцы с той стороны говорили, что возы тянулись медленно по размытым осенними дождями дорогам. Перегруженные телеги застревали на топких местах. Захваченные в плен русские люди, с закрученными за спиной руками, избитые и израненные, смотрели с затаенной яростью, ожидая подмоги и выручки или счастливого случая, чтобы вырваться из неволи и убежать лесными тропами назад, в родную землю.

Князь Ярослав призвал на военный совет своих бояр. Все, покачивая головами, вздыхали, соглашаясь, что помочь нужно. Но как? Вороги навалились в большой силе, и одолеть их трудно.

Александр и его младший брат Андрей[1] тоже присутствовали на совете; они стояли по сторонам резного кресла своего отца. Андрей скучал, опустив глаза, равнодушный и усталый.

Александр же переминался с ноги на ногу, жадно вслушиваясь в речи и отдельные замечания бояр и особенно в сетования прибывших гонцов.

— Поспешайте, люди добрые,— говорили они, низко кланяясь.— Навалилось на нас из своих болот лихо литовское. Угоняют наших жен и детей!.. Немцы стариков приканчивают без жалости. Как звери, лютуют они над нами и всех пленных погнали к себе; забрали также все, что у нас нашли. Продадут они наших жен и ребятишек в дальнюю сторонку, коли те дойдут живыми. В пути вороги

[1] Старший из братьев, Федор, умер в юных годах.

окаянные ведь никого не кормят. Долго ли выдюжат, сердечные? Поспешайте, люди добрые!

Ярослав слушал, сдвинув брови, молчаливый, заставляя поочередно каждого боярина сказать свое мнение. Когда все высказались, князь неожиданно повернулся к Александру:

— А ты? Как смекаешь, сынок? Что бы ты сделал? Поспешил бы нагнать ворогов и отбить обратно наших братьев и скотину нашу или решил бы, что нам самим пора готовиться к обороне? Не захотят ли вороги после первой удачи сделать и на нас набег?

Александр, не ожидавший вопроса, сначала вспыхнул, но, быстро овладев собой, звенящим, юношеским голосом торопливо заговорил:

— По-моему, князь-батюшка, не след догонять ворогов, а надо поспешить обходными тропами, чтобы встретить их в засаде, там, где они нас не ждут... Все тропы лесные нам знакомы, а болота и реки зимой не страшны... Разбойники, на радостях от богатой поживы, теперь, наверное, идут хмельные и песни орут. Тут одна наша сотня наделает такого переполоху, что...

— Довольно, понял! — прервал Ярослав и стукнул кулаком по ручке кресла.— Послушаемся первого твоего совета: воевода Ратша поведет в обход передовой отряд, а сзади буду подпирать я сам со всей ратью, какую успею собрать. Ты, друже Ратша, останься: с тобою мы сейчас еще кое о чем потолкуем...

— Князь-батюшка, позволь...— перебил Александр.

— Помолчи, сынок! Наперед знаю, о чем хочешь просить. Захвати, Ратша, с собой в поход и этого моего беспокойного сынка. Только помни, что он больно горячий, держи его на коротком поводу.

— Сделаю как надо! — ответил уверенно Ратша.

* * *

Ратша выполнил данное князю обещание «сделать как надо». С передовым отрядом дружинников и охочих людей он поспешил окольными путями и, непримеченный, обогнал немецко-литовское войско, которому богатый полон мешал быстро продвигаться, и напал на их передние обозы.

Кровавый путь вражеского набега был виден издалека: днем черные клубы дыма поднимались высоко к небу, а ночью багровые отблески полыхали на облаках, указывая, где хозяйничали дерзкие вороги.

Ошеломленные стремительным, смелым нападением, немцы и литовцы, не подозревая, как незначительны силы напавших, в ужасе побросали все нагруженные возы и рассеялись, уходя в лесную чащу.

Совершив трудный путь, Ратша со своими удалыми сотнями прибыл в город Полоцк. Князь Брячислав с семьей и боярами встречал победителей, стоя на широком, украшенном резьбою крыльце княжеских хором. Жители города в праздничных одеждах стояли по сторонам дороги.

Воины проезжали стройными рядами по пять всадников. Дружинники Ратши щеголяли блистающим оружием, молодцеватой выправкой, лихостью и красотой коней.

Князь Брячислав и полоцкие горожане выставили перед своими домами столы с угощением и наперебой потчевали прибывших, не скупясь на мед, брагу, жареную птицу и жирные пироги.

Вечером того же дня княгиня Евпраксия, жена князя Брячислава, говорила своей дочери Александре:

— Мне сказывали, что с первой сотней должен приехать молодой княжич Переяславльский Александр Ярославич. Завтра, моя доченька, ты его, наверное, увидишь в соборе, за обедней, а потом мы будем у нас дома его потчевать.

— А я уже княжича Александра сегодня видела.

— Как же ты, Санюшка, его заприметила?

— Я его сразу узнала: он ехал вторым с краю в первом десятке на гнедом лихом коне.

— А как же ты признала, что это княжич Александр?

Девушка опустила глаза с поволокой и сказала, застенчиво прикрываясь рукавом:

— Он был самый пригожий из конников, смотрел только на меня и мне улыбнулся.

ВОЕННЫЙ СОВЕТ В ПОЛОЦКЕ

В Полоцке княжич Александр пробыл недолго, но за это время сделал немаловажное дело.

Полоцкий князь Брячислав предложил Александру обсудить план похода на воинском совете. Александр охотно согласился. Князь Брячислав призвал ближних бояр и некоторых своих дружинников, опытных в воинском деле. Он очень боялся, что юный князь Александр, еще не побывавший в боях, по неопытности может попасть в беду.

На совет Александр явился с воеводой Ратшей, приве-

дя еще двух дружинников, которых сперва оставил на крыльце. Он имел свой тайный замысел и, когда все собравшиеся разместились на скамьях, сказал:

— В пословице говорится: «На охоту едучи — поздно псов кормить»,— но сейчас дело столь боевое и спешное, что можно эту пословицу и позабыть. Вот почему я хочу вам кое-что поведать...

— Говори, говори, друже!— сказал Брячислав.

— Привел я с собою двух дружинников, которые могут нам мудрый совет подать. Разреши, княже, мой господине, им на этом совете слово держать.

— Ежели ты считаешь, Ярославич, что они могут нам слово дельное сказать, то пусть говорят.

По указанию Александра, челядинец ввел в гридницу двух дружинников: уже не молодого Яшу Полочанина и лихого Гаврилу Олексича. Они остановились близ дверей.

Гаврила Олексич казался сказочным богатырем: высокий ростом, осанистый, с медвежьими ухватками и открытым, ясным лицом. Оба стояли молча, внимательно слушая беседу.

Сперва говорил князь Брячислав, указывал на трудности похода, но все же выступать против врагов литовских советовал не мешкая, потому что раза два они уже приближались к самому Полоцку. Затем говорили бояре, высказывали свои опасения, некоторые предлагали даже подождать, пока подойдет князь Ярослав Всеволодович с сильными своими воинами.

— А ты что скажешь, Ярославич? — обратился Брячислав к Александру.

— Коли мне дозволите слово молвить, то я...

— Говори, говори!— раздались голоса.

— О литовских воинах я слышал от моего батюшки. Он не раз мне говорил, что Литва налетает всегда на быстрых конях. Ворвавшись в село, разбойники быстро захватывают скот, коней, все, что под руку попадется, а затем торопятся ускакать обратно и укрыться в свои леса дремучие. Я не спрашиваю, сколько литовцев,— я хочу знать только, где они сейчас, далеко ли ушли. Какой тропой тянутся они к своему дому? Они еще не могли уйти далеко — им приходится гнать уведенных коров, взятых в полон женщин и малых ребят. Да и возы они нагрузили сверх меры всяким нашим добром. Батюшка говорил, что обычно верховодят этими набегами немецкие рыдели: они подбивают литовцев нападать на наши земли, а сами прячутся за литовскими спинами. В первую очередь надо

ударить на ту часть литовского войска, где едут немецкие рыдели. Если их захватить и разметать, то остальная часть хищников не встанет на их защиту. Чтобы прикончить змею, надо отсечь ей голову.

Один из полоцких бояр заметил:

— У тебя, княже, отваги много, но быть сторожким тоже необходимо. Уж очень много сейчас налетело литовцев. Не подождать ли переяславцев, обещанной подмоги твоего батюшки, грозного князя Ярослава?

Александр вскипел:

— Ну и разгневается же мой отец, скажет: «Эх вы, вояки! Боитесь за ворота выйти! Полезайте на печку и ждите там, пока литовцы придут к вам во двор!» Выступить надо тотчас, завтра поутру, не теряя ни часу времени. Пойти надо им наперерез, пока болота скованы льдом, чтобы встретить литовцев далеко впереди — там, где они нас никак не ожидают. Когда настанет ростепель, тогда через литовские леса не пробиться.

— Смелые речи отрадно слушать,— сказал князь Брячислав.— И я мыслю так же, как наш молодой гость.

— Поэтому мы и должны торопиться,— продолжал Александр.— Мы должны выступить завтра же, без всякого обоза, без повозок. Мы должны обойти и обогнать литовцев. Мы двинемся двумя потоками: один, большой, пойдет догонять, подбирая упавших и замученных, а другой двинется в обход, чтобы встретить их невзначай на переправе. Речушек по пути немало: и Ушач, и Нача, и Плиса, и другие. Я же весь путь в Литву доподлинно знаю...

— Откуда же ты все проведал, княже Александр? Кто тебе рассказал?

— А вот он стоит перед тобой, Яша Полочанин... А ну-ка, Яша, подойди! — обратился Александр к одному из дружинников.

Тот сделал шаг вперед и остановился. Это был человек лет сорока. В нем сразу видна была иная кровь, иное племя. Он был так смугл, точно вышел из кузницы. На темном лице особенно белыми казались зубы и белки глаз. Волосы черные, как вороново крыло, тоже говорили, что он откуда-то издалека.

— Откуда ты такой черный? — спросил князь Брячислав.— Над костром, что ли, тебя литовцы коптили?

Дружинник ответил:

— Прозываюсь я Полочанин Яша, и родом мы из-под Полоцка. Отец мой еще у твоего батюшки дружинником

был, а после похода в Дикое поле привел одну полонянку, отбив ее от черных клобуков[1], да и женился на ней. Она была черноглазая да черноволосая, вот, видно, и я в нее пошел. А Литву я знаю вот откуда. Захватили меня как-то раз во время набега литовцы и увели с собой. Был я у них сперва подпаском, коней стерег у одного князька, потом за моим хозяином по всей Литве бродил. А когда литовцы однажды сделали набег почти до самого Переяславля, я от них отбился и вступил в дружину князя Ярослава Всеволодовича. Он пригрел меня, как отец родной. Теперь я служу его сыну, князю Александру Ярославичу, и много ему порассказал, как и где литовцы живут.

— А как теперь? Сумел бы ты нынче провести нашу дружину по Литве и назад вывести?

— Вестимо, могу. Все переправы и безопасные дороги в обход болотам мне известны. Я проведу дружину хоть до самых Трок, где самое главное гнездо литовских князьков: ригасов и кунингасов.

Князь Брячислав сказал:

— Ну, бог в помощь! Пусть воеводой всей рати будет наш смелый сокол, князь Александр Ярославич.

Александр наотрез отказался быть главным воеводой:

— Я еще только начинаю учиться ратному делу, и негоже мне указывать многоопытному Ратше, сделай так али этак. Только ему подобает повести всю нашу рать, только под его началом мы разобьем врага.

Старый Ратша ответил:

— Я возле тебя буду всегда неотлучно. Но поведешь нашу дружину ты сам, княже Александр Ярославич. Это будет твой первый боевой почин. Дай боже тебе удачи и славной победы.

— Верно! Пусть так и будет! — подтвердил князь Брячислав.

Бояре, поклонившись в пояс хозяину, ушли. Остались только Александр и Ратша на последний совет. Брячислав сказал:

— Я хочу еще поведать тебе, княже, какие такие литовцы, и в чем их сила, и какие у них обычаи. Вся земля Литовская заросла искони дремучими лесами. В них литовцы охотятся, собирают бортяной мед, на лесных прогалинах сеют рожь и лен, а поклоняются, как богам, змеям, ужам и старому дубу.

— Какому дубу? — удивился Александр.

---

[1] Черные клобуки — среднеазиатские кочевники, осевшие в X — XI веках в Приднепровье.

— Так, простому дубу, и кланяются, называя кормильцем, и говорят, что еще их деды и прадеды из дубовых желудей растирали муку, подбавляя в хлеб, которого всегда литовцам не хватало. Ты сам увидишь скоро и древние многоветвистые дубы, и негасимый священный огонь «знич» перед ними на каменном жертвеннике, и их языческих волхвов, и главного из них — Криве-Кривейто, и их богатырей, наряженных медведями.

— Почему наряженных медведями?

— Эти медвежатники — самые лихие, отчаянные литовцы, и в бою они никогда не отступают. Обычай у них такой: они надевают на себя медвежью шкуру и мертвую голову медведя с раскрытой пастью. Эта голова им заместо шеломца служит. Вот таких противников тебе и придется встретить в лесу. Дерзай, княже, и завтра выступай в поход.

На том и порешили.

«ВЕСТИ ОГНЕННЫЕ»

Прошло немало дней, как юный князь Александр с дружинниками и Ратшей ускакали в погоню за литовцами и немцами. Уже снег запорошил поля, когда в Переяславль прибыл первый долгожданный гонец с вестью от князя Полоцкого. Ярослав Всеволодович прочел письмо, задумавшись, погладил бороду и сказал:

— Узнаю речь Даниила Острословца. По-прежнему кудревато пишет. Неизменна повадка его!

Вот что стояло в этом письме:

«Преславный государь мой, княже Ярослав Всеволодович! То не туры лесные утром возревели — загремели мечи булатные, трубы запели воевод сильных, полки русские сзывающе.

Появились снова серые волки, числа-края нет: и великие силы литовские, и рыдели немецкие, алчущие крови нашей, желая пройти войной по земле святорусской. А дороги им ведомы, и перевозы на реках у них уже поставлены.

На реке Двине грозные тучи собираются. Из туч выступают кровавые зори, а в них трепещут синие молнии. Быть стуку и грому великому. Потекут слезы материнские, и вдовьи, и сиротские. Вороны вещие каркают, а галки свою речь так ведут:

«Что там шумит, что гремит рано перед зорями? То князь Переяславльский Ярослав Всеволодович полки свои собирает. Князь могучий вступил в позлащенное стремя,

взявши меч в правую руку, помолился господу Богу и Пречистой Его Матери. Он ведет полки свои на помощь князю Полоцкому и так к нему взывает:

«Друже любимый, государь мой княже Брячислав! Не уступай волкам литовским и клыкастым рыделям немецким! Теперь воеводы у нас крепкие, а дружина грозная. Имеет она под собой борзых коней и на себе калантыри злаченые, и мечи булатные, и шеломы непробиваемые, как солнце блистающие, и щиты алые. Хотят наши дружинники головы свои положити за землю Русскую, за веру христианскую, ищут себе чести и князю своему славу.

Двина, река быстрая! Замкни свои ворота, чтобы злые вороги к нам не бывали, чтобы литовские полки из болота на свет не выбегали, а немцы не радовались, из-за синя моря на земли наши напираючи».

И так же говорил князь Брячислав из восставшего на битву Полоцка:

«Не отставай от нас, брате милый, преславный княже Ярослав Всеволодович, постоять за правду своими полками. Уже враги сильные наступают, стрелы и камни мечут, ворота городские разбивают, грозя нам погибелью.

Сын твой, смелый княжич Александр, как сокол, не зная устали, летал на гнедом коне быстроногом, добывая себе чести и воинской славы. От него уже немецкие рыдели убегали, скрежеща зубами и покрывая руками главы свои.

Русские сыновья наши широко поля кликом своим огласили и злачеными доспехами осветили. Уже готовы они отбросить злую вражескую силу.

Поспешай, друже любимый, княже пресветлый, Ярослав Всеволодович! Повеяли на нас вести огненные, неся великую обиду. Поспешай!»

— Не опоздаю! — сказал князь Ярослав и обратился к стоявшему близ него дьяку: — Сзывай опять бояр! Обсудим и решим, как помочь Полоцку и поспешить на защиту родной земли.

Князь Ярослав спешно собрал вторую рать из переяславцев и суздальцев и повел ее к рубежам литовским на помощь сыну Александру и полоцкому князю Брячиславу.

Пятнадцать побед одержали соединенные русские силы и загнали врагов литовских и немецких в такие лесные дебри и болота, что от них спешно прибыли послы, прося дружбы и вечного мира. Но тайно немецкие рыцари продолжали по-прежнему точить мечи и готовиться к новым нападениям на Русь, и «вечный мир» был только на словах.

ГЛАВА IV

АЛЕКСАНДР В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ

ВРАГИ СО ВСЕХ СТОРОН

Время настало еще более тревожное. Изо дня в день приходили вести, что со всех сторон вороги напирают на Русскую землю: на востоке — булгары, с запада — немецкие рыцари, свеи (шведы) и литовцы-лесовики, а с юга приближаются загадочные, страшные татары. Особенно усердно точили свои мечи немецкие рыцари, подстрекаемые злобным дьявольским стариком — римским папой и его велеречивыми бискупами (епископами).

Из Новгорода — в который уже раз! — спешно примчалось в Переяславль посольство к князю Ярославу Всеволодовичу.

— Приходи к нам, княже, со своими удалыми дружинниками, мы тебя всем ублаготворим! — земно кланялись новгородцы переяславльскому князю.

Ярослав внимательно слушал речистых новгородских бояр, хлебосольно угощал их, но ответа не давал. Распивая с послами старые меды, он про себя вспоминал былые споры и раздоры с непокорными новгородцами, буйные веча, ропоты и шепоты переветников за спиной.

Наконец, после долгих переговоров и уговоров, Ярослав решительно заявил послам:

— Нет, не станет дело по-вашему. Хоть и приеду я к вам, но знайте, не надолго; ведь теперь нужно мне быть в далеком Киеве. А вот если хотите, вместо себя пошлю я вам сына своего Александра. Он даром что молод, а смел и умен. Вернулся он недавно из Полоцка, где побил и немецких рыцарей, и литовских разбойников, отобрал их обозы с награбленным добром, освободил захваченных ими пленных. Сильна десница[1] его, и в вашем Новгороде он тоже встанет на защиту земли Русской.

— Присылай, княже, своего сына, скорее присылай! — хором загудели обрадованные послы.— Пусть он укрепит

[1] Десница — правая рука.

наши столбы и подпорочки, покажет свою десницу могучую и проявит умодержавие.

Послы уехали, а Ярослав стал собираться в путь.

— Довольно тебе,— сказал он Александру,— непокорных жеребят объезжать да учить мишку косолапого в обнимку бороться. Собирайся-ка и ты в путь-дороженьку. Настало время тяжелое, видно, придется созывать молодших да сажать и их на коней. Снова грозит страшная, небывалая война. Вся Русь заколебалася. Уже машет над нею лихо крылами черными, нетопырьими.

— Зачем мне ехать с тобой в Новгород? — возразил княжич.— И так малым ребенком я чуть было не сложил там свою голову. Или думаешь, что теперь новгородцы пощадят меня?

— Оставь, Олекса! Ведь не все же новгородцы лиходеи. Поверь мне, сынок, добрых людей на свете немало, побольше, чем злых. Ты только сумей отличить да к себе притянуть ласковым словом, добрым делом, прямотой и отвагой. Ну, а с лиходеями управишься. Будь только всегда сторожким, как бы не получить удара предательской руки.

— Не больно-то меня тянет в этот Новгород,— раздумчиво сказал Александр.— Боюсь, не справлюсь я с делами новгородскими.

— Справишься. Знаю — дурости ты никакой не сделаешь, а земля наша стоном стонет повсюду и зовет к себе на помощь. С тобой в Новгород поедут верный Ратша и внук его, лихой Гаврила Олексич; они помогут тебе и копьем и советом. Да вот тебе еще мой завет: коли ворога откроешь где, без колебания — не жалей его, не милуй! Ради земли родной будь грозен и непреклонен. Запомни: нет врага хуже врага недобитого.

В Новгороде Ярослав все обстоятельно обсудил и с посадником, и с тысяцким, и с другими людьми думы и опыта. Потом созвал большое вече, обещал новгородцам верную помощь и ратной силой, и хлебом, а под конец объявил, что взамен себя оставляет Новгороду сына своего Александра, недавнего победителя литовцев.

В Новгороде уже знали об этом, и вече зашумело:

— Ну что ж, пускай остается у нас, выбираем его с полной охотой! Лишь бы он не теснил нас, как ты, бывало. Ведь длань у тебя, княже, тяжела и прижимиста.

— Да и у сынка моего,— засмеялся Ярослав,— рука

тоже не легкая, зато ежели кто в Новгородскую землю попробует сунуться, он, не сомневайтесь, спуску никому не даст!

ОПЯТЬ В НОВГОРОДЕ

Князь Александр прибыл в Новгород хмурый и суровый. Он ехал во главе своей дружины переяславльских всадников-копейщиков. Копья они держали, воткнув нижний конец в петлю у стремени. На каждом копье был цветной треугольный флажок: в первой сотне — красный, во второй — синий, в третьей — пестрый и в четвертой — черный. В четвертой сотне были перешедшие на службу к русским степняки-кочевники с Дикого поля, о которых на севере все слышали, но мало кто видел. У кочевников все было иное: и кони лохматые, с длинными гривами, и седла с высокой лукой. На седлах они сидели, высоко подобрав ноги и согнувшись, как дикая рысь перед прыжком. И колпаки у них были рысьи, а у иных — волчьи.

Новгородцы смотрели на прибывших из Дикого поля всадников и перешептывались:

— Вот они какие, степняки эти! Небось прибежали к нам за помощью, когда навалились на них татары.

— А разве мало их служило и раньше в дружинах наших князей!

Весь отряд проследовал на княжий двор в Городище, и там задымили костры.

Александр был еще молод, едва ли ему было восемнадцать лет, но лицо его уже носило отпечаток пережитых суровых боевых дней. Между сдвинутыми черными бровями легла чуть заметная складка.

Дружинники расположились в Городище, где начали жить своей особой жизнью, не смешиваясь с новгородцами. Те же дружинники, что остались от прежних князей, собрались на княжьем дворе в ожидании новых приказов.

— Новый князь — новая гроза! — говорили они.

Александр вышел к ним решительными, большими шагами и остановился на крыльце, пристально оглядывая собравшихся. Он поздоровался с некоторыми пожилыми воинами, которых помнил по имени, и сказал:

— Нашей родине нужны опытные дружинники. Опять грозят нам набеги иноземцев. Довольно они нас ворошили. Пора положить этому конец. Нужно быть готовыми к жестоким схваткам. Кто из вас остарел, изранен и не может

драться, пусть уходит домой на заслуженный покой. Тех же, кто останется, ждет слава и благодарность всей земли Русской.

Александр еще раз окинул всех пристальным взглядом и, все такой же хмурый, вернулся в княжеские палаты, где его поджидали посадник, тысяцкий и новгородские бояре.

Со всеми ими он держался холодно и даже сурово и довольно долго объяснял, что предстоят жестокие схватки с угрожающими Новгороду иноземцами, напирающими с запада.

— Надо быть готовыми к упорной и длительной борьбе. Но нам это не впервой, и мы, даст бог, справимся.

— Справимся! Справимся! — воскликнули присутствующие, невольно чувствуя уважение к спокойному и уверенному молодому князю.

Он вдруг, резко оборвав свою речь, кивнул головой, повернулся и ушел к себе.

Бояре постояли, поговорили и разошлись, решив, что с князем Александром Ярославичем запросто держаться не придется.

На другой день по приезде Александра в Новгород было созвано большое вече, на которое он явился с несколькими своими дружинниками. Даже среди рослых, статных воинов в блестящих, как серебро, шеломцах и кольчужных рубахах Александр выделялся своим величавым обликом.

— Вече ожидает твоего слова! — обратился к нему подошедший старый посадник Степан Твердиславич.

Князь поднялся по ступеням на каменный помост. Он стоял спокойный и смотрел куда-то вдаль, поверх шумной, медленно затихавшей толпы. Его лицо с большими, такими же суровыми, как у отца, глазами было еще очень юным: над верхней губой протянулась едва заметная темная полоска.

Он молчал. Его лицо осталось невозмутимым и тогда, когда к нему снова обратился посадник, держа в руках серебряный поднос, на котором лежала княжеская шапка с парчовым верхом, отороченная куньим мехом.

— Орленок! — вполголоса прошептал кто-то из бояр.

— В отца пошел!

— Княже Александр Ярославич! Вече новгородское призывает тебя быть нашим князем. Челом тебе бьет! — сказал, кланяясь, посадник.

Александр еще больше выпрямился и обвел спокойным взглядом незнакомую многоликую толпу. Тысячи глаз с тревогой и любопытством глядели на него.

Посадник приблизился еще на шаг и вторично повторил:

— Княже Александр Ярославич! Новгородцы челом тебе бьют. Аль не видишь?

— Не вижу! Вижу только, что новгородцы стоят со своими треухами и колпаками на затылке. Так князя не призывают!

Посадник повернулся в сторону бирючей[1] и крикнул:

— Призовите новгородцев снять колпаки!

Бирючи проревели:

— Кто призывает князя Александра Ярославича княжить в Новгороде, выполняйте древний дедовский обычай — скидавайте колпаки!

Вече зашевелилось, и вся толпа, затихнув, обнажила головы.

Точно очнувшись, Александр снял свой шелом и передал его дружиннику. Он заговорил. Его слова звучали искренностью и волей. Могучий голос разносил их по всей площади:

— Слушай меня, Господин Великий Новгород! Я пришел сюда к вам с моей верной дружиной не своей вольной волей, а только по наказу моего батюшки, великого князя Ярослава Всеволодовича. «Поезжай,— сказал он мне,— и помоги Новгороду в трудном ратном деле. Теперь время настало тревожное, и я должен поспешать в Киев на съезд князей, чтобы решать, как спасти от татарских недругов святую землю нашу. Со всех концов на нее надвигаются лютые вороги и несут смерть, полон и разорение. Надобно всем нам дружно встать плечом к плечу, чтобы легче было отбросить злых иноплеменников». Так наказывал мне мой батюшка.

Александр остановился и снова обвел взглядом толпу.

— Я пришел сюда не править вами, не о нуждах ваших житейских заботиться — для этого у вас имеется всеми почитаемый многоопытный посадник Степан Твердиславич и другие мудрые люди думы и совета. Я же только воин, и мне дело — это ратное дело. Я недавно прибыл из Полоцка, откуда вместе с князем Брячиславом мы гонялись за хищными рыделями, поднявшими против нас неразумных литовцев, не ведающих, кто их и наш главный враг. Наши переяславльские и суздальские рати напали на литовцев, освободили русских пленных, которых те гнали, как скотину, в свои леса, и отбили обозы с награбленным

---

[1] Бирюч — вестник, глашатай.

добром. Но там, на литовском рубеже, борьба еще не кончена и предстоят жаркие схватки. Немцы продолжают точить мечи и собирают на своей земле всё новые отряды разбойников с черными крестами на груди и волчьей злобой в сердце. Вот для борьбы с ними я и приехал сюда, об этом будет моя главная дума и забота.

Из толпы раздались дружные голоса:

— Ты люб нам! Оставайся у нас! Призываем тебя княжить в Новгороде!

Тогда Александр повернулся к посаднику, взял княжескую шапку, перекрестился и надел ее на голову.

ТАТАРЫ У ОКОЛИЦЫ

В день своего отъезда Ярослав обнимал и мял сына сильными руками:

— Рад я тому, что о тебе уже добрая слава идет, что назад от ворогов ты не пятишься и на недругов налетаешь соколом. Рад я и тому, что вернулся ты изо всех боев с литовцами и немцами цел и невредим и все у тебя на своем месте: и голова на плечах, и руки не посечены. Теперь ты можешь по праву отдохнуть и сердце потешить охотой.

— Нет, князь-батюшка! Беспокойна душа моя, гнетет меня неугасимая тоска. Чую я, что у тебя покою нет и что та же дума тебя тревожит.

— Ты к чему это речь клонишь?

— Ведь к самой нашей околице уже подходят татары. Того и гляди, даже сюда, в Новгород, нагрянут.

Ярослав, подумав, спокойно ответил:

— А мыслится мне, что хан Батый уже упустил в эту весну время и что не дойдут татары до Новгорода. Ты же знаешь, что сейчас нет ни проходу, ни проезду через Селигерские болота. Где же пройти целой рати? Реки скоро вскроются, кормов для коней нет. А какой же татарин без коня?

— А если доберутся, ведь горюшком зальется вся наша земля. Не так ли? — спросил, опустив глаза, Александр.

Они помолчали.

— Потому-то нет у меня ни отдыха, ни веселья,— продолжал Александр,— и я молю тебя: дозволь мне...— И он замолчал, закусив губу.

— Что надумал, говори! — приказал Ярослав.

Александр тряхнул темными кудрями и прямо взглянул в глаза отцу:

— Дозволь — я им навстречу выйду.

— Ты что ж, сдурел? Или, как старый богатырь Илья Муромец, хочешь один опрокинуть орду несметную?

— Нет, князь-батюшка! Не о том моя забота. Хочу я посмотреть вблизи, в упор, татарских воинов. Посмотреть и смекнуть: как, на какую уловку смог бы я поймать и одолеть татарского зверя? В чем их несказанная сила? Ужели они пострашнее всех наших врагов: и рыделей немецких, и свеев, и литовских разбойников? Может ли то быть? Скопом ли берут татары или хитростью? Больно уж, говорят, их много. А ежели бы один на один с ними повстречаться, то, ей-ей, мы бы их в землю вбили. Не верю я, чтобы каждый татарин был в два раза выше и могутнее нашего ратника или новгородского бойца кулачного.

— Зачем же задумал ты выйти навстречу татарам?

— Хочу узнать, чтó в них есть отличное от того, что мы видели у других наших врагов. Какая это у татар своя повадка, своя уловка, чем они в бою всех одолевают. Как я моих медведей прирученных на землю валю, подставляя им подножку, так, думаю, можно чем-нибудь и татарина свалить...

Князь Ярослав встал, медленно прошелся по горнице раз, другой, что-то обдумывая, потом снова уселся в кресло.

— Боюсь я за тебя, сынок! Больно ты горяч и неукротим. Еще, не ровен час, сцепишься с каким-нибудь передовым татарским разъездом и без надобы пропадешь. Не это сейчас нам нужно.

— Клятву даю тебе, князь-батюшка, что, если бы даже я самого царя Батыгу встретил, я бы нонче схоронился, как зверь в чащобе, и только издали бы за ним следил. А все нужное для себя я бы запомнил.

— Упаси тебя бог с Батыгой встретиться! Схватят тебя татары и посадят на кол. Нет! Нет! Оставь эту затею! Боюсь я тебя отпустить!

— Встречался я в лесу с медведями, подглядывал, как они там бродят и коряги из земли выдирают. Подстерегал я и рысей, и кабана клыкастого. Неужели татарин будет их похитрее? Да не может того быть!

После долгих уговоров князь Ярослав наконец уступил.

НАВСТРЕЧУ ТАТАРАМ

Александр с Гаврилой Олексичем и Яшей Полочанином ранним утром двинулись в путь. Вскоре они пересекли по льду Ильмень-озеро и к вечеру сделали остановку в устье реки Ловати.

Уже навстречу им тянулись беженцы с возами, груженными домашним скарбом. Некоторые гнали отощавших коровенок, подталкивая их сзади.

На берегу Ловати дымили костры, невдалеке стояли понурые кони. Вокруг огней сидели женщины и дети.

Александр подошел к одному костру:

— Издалека ли?

— Из Осташкова. Бежали, услышав, что татары близко.

— А татар не видели?

— Мы-то их не видели, а вон там сидят сицкие, с реки Сити, так их татары потрепали. Сказывают, едва спаслись, все побросали.

Александр перешел к костру сицких беженцев:

— Татар видели?

— Как же не видели! От них и бежим.

— Какие они? Большие, страшные, лютые?

— Они дюже лютые, а ростом не больше наших мужиков, есть и поменьше. Только с виду страшные. На мохнатых коньках сидят, подобрав высоко ноги. Все в овчинных долгополых шубах. В бою визжат и воют, что волки зимней порой. Рубят кривыми мечами либо колют короткими копьями. Я свалился в сугроб и скрючился, что мертвый. Через меня проскакало много татар. Чудо, что меня кони не растоптали.

— Где ж ты их видел?

— Возле реки Сити. Была там страшная сеча. Не приведи бог, какая сеча! Много наших полегло. Целые завалы выросли из покойников. Наши ратники поклялись и крест целовали: не уступить татарам, не покориться. Все равно одна смерть — татары пощады не знают. Налетели они, как туча, и, как туча, понеслись дальше. Я выбрался, бог меня спас, и вот плетусь в Новгород. Там наймусь в лесорубы.

— А ты знаешь здесь кругом лесные тропы?

— Как же не знать? Весь край исходил вдоль и поперек. Я здесь охотничал, белковал и бобровничал. Тут везде кругом изобильные бобровники. Только добраться до них

трудно. Хитер бобер: строит гати в таких трущобах, куда и не доберешься.

— А как звать тебя?

— Кондрат-бобровник[1]. Так все меня кличут. А зачем тебе меня нужно?

— Я хочу пробраться к Осташкову.

Сидевший рядом белобрысый голубоглазый мужик сказал:

— Не-е! Не проедешь! Там всюду татары рыскают, людей ловят. Враз к ним в полон угодишь.

— А может, не угожу,— сказал Александр.— Как змея проползу.

— Татары сюда напирают, хотят в Новгород пройти.

— Мало ли что хотят, а не дойдут. Близок локоть, а вот на, укуси его!.. А кто ты такой? — спросил Александр белобрысого мужика.

— Сицкарь, Фомка-охотник с реки Сити. Аль по говору не узнал? Мы, сицкие, все шепелявые.

— Он тебе расскажет, как его «зонка пирозок в пецку посадила...».

— А ты чего потерял? Чего привязался? — рассердился белобрысый.

— Ты не сердись, а послушай, какое я тебе дело предложу,— сказал Александр.— Если ты меня проводишь на Сить или к Игнач-Кресту, через топи и бобровники, то я тебе подарю коня, дюжего, здорового коня.

— Чего смеешься? Что я, ума решился? Да разве слыхано, чтобы коня дарили за то, что дорогу человек указал? Я, кажись, не сосунок. Знаю, только в сказке такие даровья́ даются.

— Что я обещал, то и сделаю. Хочешь, пойдем к здешнему попу, и у него я сегодня же для тебя коня оставлю.

— Ишь ты! А конь не порченый?

— Самый первейший конь. Вон он стоит. Видишь?

Сицкарь вскочил, подбежал к коню, осмотрел его, заглянул в зубы, поднял и ноги и хвост. Потом стал хихикать:

— И взаправду это будет мой конь? Ни у меня, ни у моего батьки и деда такого коня отроду не бывало! Да я за такого коня не только через бобровник тебя проведу, но и к самому черту и лешему в медвежью берлогу доставлю и оттуда обратно живы́м приведу!

---

[1] Бобровник — охотник, промышляющий ловлей бобров.

НАД БЕЗДОННЫМ БОЛОТОМ

В путь отправились вчетвером: впереди охотник Фомка, за ним Александр, далее дружинник Гаврила Олексич и ловчий Яша Полочанин, знавший хорошо кипчакский и другие языки кочевников Дикого поля.

Они шли один за другим на лыжах, стараясь держаться след в след. Сицкарь шел медленно и осторожно, помогая себе двумя длинными тонкими палками. Александр старался придерживаться колеи, оставляемой Фомкой, следя за ним и подражая ему во всех его движениях. Кругом тянулся редкий еловый лес, какой бывает обыкновенно на болотах. Молодые елки часто стояли покосившись, и в таких местах Фомка был особенно осторожен: прежде чем передвинуть лыжу, прощупывал снег. Александр знал, что покосившаяся елка означает, что твердая почва под ней неглубока и корням не за что уцепиться. Деревца постарше часто были засохшими и закутанными седой паутиной.

Около полудня Фомка вдруг остановился, потом присел и, осторожно придвинувшись к елке, припал за нею. Рукой он указывал, чтобы и остальные опустились на снег.

Лес был редкий. Везде поляны чередовались с группами деревьев, образовавших островки. Поляны были самыми страшными местами — там находились болотные «окна» с черной лужей, «глазком», посредине. Над лужами клубился пар. Александр уже не рад был, что отправился на эти поиски, но сицкарь до сих пор шел с такой уверенностью, что княжич всецело полагался на него. Теперь, опустившись на колени и на руки, Александр почувствовал, как под замерзшей почвой и тонким льдом колышется топь.

Сицкарь указал рукой вперед. Привычным взглядом охотника Александр тотчас различил далеко впереди, около островков молодых елей, несколько темных точек. Сицкарь утвердительно кивал головой. Александр подполз ближе.

— Татары! — шепнул Фомка.

Жадно всматривался Александр, но враги были слишком далеко. Видно было только, что какие-то люди шевелились, размахивали руками. На них были длинные одежды, за спиною — луки, в руках — короткие копья. Они медленно приближались, с трудом вытягивая ноги из глубокого снега.

— А можно пройти дальше?

— Можно дальше по этой хребтовине,— ответил сицкарь и, пригнувшись, пополз через ельник в сторону.

Из куста метнулся небольшой пушистый рыжий зверек. Он бросился в одну сторону, потом, испугавшись, метнулся в другую, взбивая снег и наполовину зарываясь в нем.

— Куница! — заметил сицкарь.— Здесь я хорошо знаю дорогу: хребтовина сухая и прочная.

Сделав полукруг, приблизились к татарам. Теперь они были уже ясно видны: несколько пеших, остальные конные. Сицкарь сказал:

— Татары идут из Торопца на Новгород главным торговым путем. Только далеко не уйдут: в болоте утонут. Вода разлилась, и каждый день прибывает. Впереди, видишь, высокий крест, и подле него часовня. Там всегда молятся купцы и другие путники, когда им нужно перейти болото.

— А можно ли к ней пройти, к часовне?

— Не-е!..— безнадежно махнул рукой Фомка.— Все мы тут утопнем, ежели прямо пойдем.

Александр заметил, как из толпы татар выбежал один, направился к одинокой сосне и быстро, как кошка, вскарабкался наверх.Он что-то кричал, а сосна стала наклоняться и рухнула. Татарин, пробив снег, оказался в воде.

Татары заметались, забегали. Один, на коне, поскакал к тонувшему и тотчас же провалился с конем в болото. Несколько татар бросились на помощь, метнули арканы и потащили всадника к себе. Конь и татарин, отчаянно барахтаясь, скрылись в черной луже, которая все расширялась.

— А нас не затянет? — спросил Александр.

— Не-е! Я эти места знаю. Тут и на коне можно проехать, только зимой, в лютый мороз.

— А можешь ли ты еще ближе подползти к татарам?

— Почему не можно? Все можно. Ежели обойти этой гривой мимо Игнач-Креста, а там обогнуть еще большую лужу, то можно выйти на большак, на дорогу к Торопцу.

Они снова двинулись вперед: делая широкий обход, пробрались через рощицы и наконец приблизились к тому месту, которое сицкарь назвал большаком. Только такой опытный охотник, как Фомка, мог здесь находить тропы среди занесенных густым снегом полян. Но ведь охотники имеют всюду свои затесы и приметы, которые помогают им не заблудиться.

Миновав чахлую рощицу, путники вдруг оказались лицом к лицу с татарами. Их было человек десять, на конях — небольших, мохнатых, с длинными гривами[1].

---

[1] Эта же сцена (с татарской точки зрения) описана автором в его повести «Батый» (часть VIII, глава 17 «Остановка близ Игнач-Креста»).

Передние татары, видимо, были крайне удивлены, а может быть, испуганы, так как выхватили из колчанов луки и наставили длинные стрелы. Послышался крик:

— Эй вы, охотнички удалые! Подьте-ка сюда, к нам!

Кричал это, видимо, человек русский, а не татарин: у него была широкая черная, как смоль, борода, на голове меховая шапка и одежда русского покроя.

— А вы что тут потеряли? Куда путь держите? — ответил Александр.

— Мы люди торговые, нас не бойтесь! — продолжал чернобородый всадник.— Мы хотим проехать до Новгорода: добра купить, свое продать. Подойдите сюда, к нам поближе! В убытке не останетесь!

— Зря зовете: нам и здесь неплохо! — ответил Александр.

— А далеко ли еще до Новгорода?

— Верст сто будет [1]. А вам и в сто лет до него не добраться. На торговых людей вы что-то не похожи: с мечами да копьями торговать не ездят. Не передовой ли вы отряд войска татарского, лютого зверюги Батыги? Не покорять ли Новгород он собрался?

— А ждут ли его там?

— Был бы он для нас гость желанный, то ему и пирогов и блинов мы бы напекли и песни на гулянках спели. А только слышали мы, что царь Батыга татарский везет нам щедрые дары: петлю на шею, и дымные пожарища, и неволю для наших жен и детей. Вот и придется его встречать честь честью: мечами и топорами. А брагой мы его такой хмельной угостим, что он как ляжет, так больше никогда и не встанет.

Татары, видимо, начали между собой переговариваться, указывая руками в сторону русских. Несколько стрел просвистело над головой Александра. Одна, длинная, красная, впилась ему в руку, пробив кожаную перстатицу. Сицкарь сильно потянул княжича за рукав:

— Уходи назад! Убьют! Метко бьют, черти! Уйдем скорее, пока живы!

Все повернули обратно. Еще несколько стрел впилось поблизости в снег...

---

[1] Верста в XIII веке равнялась двум верстам нынешним, то есть 2,3 километра.

ПОМНИ ТАТАРСКУЮ СТРЕЛУ!

В Новгород Александр вернулся не без труда. Всюду набухшие ручьи разлились. Не раз приходилось переправляться вброд через стремительные потоки.

Старый Ратша с тревогой ожидал возвращения своего питомца. Он внимательно выслушал рассказ Александра о встрече с татарами, расспрашивал обо всех мелочах, подивился красной татарской стреле — длинной, камышовой, с трехгранным наконечником.

— Такое закаленное на огне жало как вопьется, так его с трудом выдернешь. Счастье твое, что стрела не попала тебе в голову, не вышибла глаза. Слышал я, что такие красные стрелы — ханские. Не с ханом ли Батыгой безжалостным ты встретился? Не он ли это был возле Игнач-Креста? Не он ли сам и запустил в тебя стрелу? Помни, Ярославич, что теперь ты уже «меченый» татарской стрелой, как добрый конь выжженным тавром. И это тебе хорошая памятка до самой смерти, чтобы ты не забыл татарской угрозы всему русскому люду.

НА КНЯЖЬЕМ ДВОРЕ

Широкое течение темного Волхова пересекала большая осмоленная лодка. Два мужика гребли длинными тяжелыми веслами. Мальчик лет двенадцати сидел на корме и правил небольшим широколопастным веслом.

Посреди лодки сидел глубокий старец в черном клобуке, с медным крестом на цепочке, ниспадавшим на впалую грудь. Лодка подплыла к пристани, где толпилось много таких же насадов, и врезалась между ними. Крепкие словечки и ругань послышались с разных сторон, но прибывшие, не обращая на это внимания, привязали лодку к свае мостков, сложили весла и достали два деревянных ведерка, полных рыбы (из одного ведерка даже торчал длинный хвост сига). С большой бережностью оба гребца помогли старцу взойти на мостки. Несмотря на свой преклонный возраст, старец довольно легко и твердо поднялся на берег. Его задержали лодочники. Прыгая с лодки на лодку, они гурьбой бросились к нему, прося его благословения. Он каждого истово осенял крестным знамением и целовал

в голову. Затем пошел вслед за лодочником, которого остановил, уцепившись за рукав, приехавший в лодке мальчик:

— Тятька! Дозволь я проведу дедушку к князю Ярославичу — я знаю дорогу. А ты постереги лодку.

— Ладно, ступай!

Толпа желающих получить благословение все росла, и идти вперед становилось трудно. Но тут показался высокий детина с шапкой набекрень и громко крикнул:

— Эй, новгородские вечники, скворешники-пересмешники! Разойдись и дай отцу Варсонофию пройти к князю Ярославичу! Он его по срочному делу ждет.

Больше не уговаривая, детина начал расталкивать встречных направо и налево так, что некоторые даже полетели кубарем на землю, и отец Варсонофий быстро дошел до княжьего двора. У ворот стояли два дружинника с копьями. Они приоткрыли ворота и сказали:

— Отец святой, проходи осторожно вдоль стенки, иначе тебя может постичь беда.

Вслед за старцем юркнул во двор и приехавший вместе с ним мальчик.

Вероятно, отец Варсонофий забыл или не расслышал предупреждения, потому что он не пошел вдоль стенки, а прямо стал пересекать двор.

Посреди двора рос старый дуб с обломанной верхушкой и ветвями почти без листьев. По стволу дерева с необычайной быстротой скатилась черная туша большого медведя. Зверь проворными скачками направился к тихо проходившему старику, который, увидев его, остановился, выжидая. За медведем волочилась бренчавшая железная цепь.

— Уходи! Уходи в сторону! — раздались крики с разных концов двора.

Но отец Варсонофий не двигался, а спокойно стоял, подняв для благословения руку. Медведь подбежал, обнюхал потертые сапоги старца, поднялся на задние лапы, передние положил ему на плечи и, радостно урча, стал облизывать розовым языком лицо Варсонофия.

Тот, благословив голову медведя, ласково потрепал его по мохнатой морде:

— Егорка, Егорушка! Во где нам довелось встретиться! Спасибо тебе, что не запамятовал меня.

И старец достал из глубокого кармана рясы краюху ржаного хлеба и поднял ее над головой медведя. Медведь опустился на четвереньки, затем сел, размахивая передними лапами, как бы прося.

Отец Варсонофий отдал ему хлеб и теми же спокойными шагами направился к крыльцу княжеского дома. Оттуда навстречу легкой походкой спешил высокий, стройный юноша с вьющимися кудрями и шапкой на затылке. Большие темные глаза смотрели пристально и пытливо, а все лицо было освещено радостной, приветливой улыбкой. Он подошел к старику, склонился на одно колено, и отец Варсонофий широким крестом благословил его.

— Привет и благословение дому твоему, княже Александр Ярославич! Давно я не видел тебя. В лесу, отшельником пустыни, провел я два года. Строим там монастырек новый.

Александр встал, взял отца Варсонофия под руку, и вместе они направились к крыльцу. Крики в воротах заставили Александра остановиться. Там мальчик отбивался от стоящего на страже дружинника.

— Кто это? Что там такое? — крикнул Александр.

— Это мой питомец,— сказал Варсонофий,— сын лодочника, что меня привез. Хочу вразумить его книжной премудрости.

— Эй, молодец-удалец! Подойди-ка сюда!

Мальчик быстро обежал двор вдоль стенки и, сняв шапку, остановился перед Александром.

— Как звать тебя?

— А Семка!

— Медведя боишься?

— А чего их бояться? Я с отцом не раз ходил к медвежьей берлоге и даже принес в избу медвежонка.

— Ишь ты какой смелый и прыткий! Хочешь, молодец, служить у меня?

— Кабы мне потом стать дружинником, уж я бы старался, старался!

— А что ты умеешь?

— Я умею скворцов и снегирей ловить, на дудке играть и медведя из берлоги выманивать.

— А где твой отец?

— На Волхове лодку сторожит. Как только я вернусь к нему, он понесет сигов на торг.

— Ты беги сейчас к отцу и скажи, что я беру тебя к себе, передам монаху-книжнику, вот отцу Варсонофию, он тебя научит книги читать и писать по-ученому, а твой отец пусть придет сюда договориться и сигов притащит.

Отец Варсонофий с Александром поднялись по ступенькам. Мальчик опрометью кинулся к выходу, а медведь продолжал сидеть на задних лапах, обмахиваясь передними и протягивая их вперед, как бы прося подачки.

НЕМЕЦКИЙ ТОРГОВЫЙ ДВОР

В Великом Новгороде, неподалеку от многоводного задумчивого Волхова, находилось большое, обнесенное высоким тыном владение с крепкими воротами, охраняемыми вооруженной стражей. Это был немецкий торговый двор — обширный участок, на котором стояло много построек. Жизнь там проходила по своим особым правилам и обычаям.

Внутри торгового двора тянулся ряд двухэтажных лавок. На высоких подклетях стояли дома для приезжающих иноземных купцов и их приказчиков. Несколько отдельно были расположены мельница, пивоварня, баня, церковь св. Петра и дом священника.

В верхних ярусах лавок немцы продавали покупателям товар в розницу, в нижних — принималось от русских разное сырье.

Опасаясь неприятности со стороны недобрых людей, немецкие торговцы требовали, чтобы никто из русских купцов не устраивал близ их двора своих лавок и чтобы поблизости не происходили излюбленные новгородцами кулачные бои.

У себя во дворе немцы не подпускали никого чужого к своей церкви, где хранились самые дорогие их товары, а также всячески оберегали склады вина и пива.

На ночь немецкий двор запирался, наиболее ценные товары переносились в церковь и ее подвалы. Поочередно один купец и один приказчик всю ночь дежурили в церкви, запертой изнутри и снаружи, а у дверей ее ставилась стража.

Покончив с дневными делами, все приказчики собирались ужинать в просторной горнице. На ночь во двор спускали больших сторожевых собак.

В каждом доме тесно размещались купцы-земляки с приказчиками и слугами.

В одном доме, более нарядном, жил альдерман (старшина). Он с четырьмя товарищами-соправителями пользовался большой властью. Альдерман мог приговорить виновного в убийстве даже к смерти, за воровство отрубали

руку. Священник был одновременно и секретарем альдермана.

Лишь немногие служащие немецкого торгового двора жили вне его стен и только в зданиях, принадлежавших иноземцам. Вообще немецкий торговый двор представлял собою особый мир, и с местным населением иноземцев связывала исключительно торговля, иногда тяжба — всегда в русском суде.

Немецкие купцы жили в Новгороде не постоянно. Два раза в год одна партия купцов сменяла другую. При отъезде очередной партии немецкий двор опечатывался, а ключи передавались на хранение в Софийский собор новгородскому владыке.

Однажды дождливым темным вечером к немецкому торговому двору в необычно позднее время пробирались какие-то люди. Сказав что-то сторожу, пришедшие остановились у запертых ворот.

Наконец из ворот вышел высокий человек. Он нес в руке фонарь с зажженной свечой и, подняв его, поочередно осветил лица прибывших. Все это были известные купцы в богатых нарядных кафтанах с собольими и бобровыми воротниками, прикрытых темными плащами.

— Господин альдерман Генрикус Вулленпунт приглашает вас войти в свой дом. Пожалуйста, почтенные господа, следуйте за мной.

Все вошли в ворота и направились к крыльцу главного здания. Кругом двора виднелось много амбаров, отдельно стояло несколько жилых зданий. Окна этих зданий, с цветными заморскими стеклами, пропускали тусклый свет.

Все поднялись по узкой лестнице на второй ярус и оказались в большой комнате. На стенах горели свечи в изогнутых подсвечниках. Посреди комнаты протянулся узкий, длинный стол, крытый темно-коричневым сукном с бахромой.

Вошедшие издали поклонились старшине. Он сидел в конце стола в широком кресле с резной спинкой, изображающей двух львов, поднявших в лапах круглый щит с гербом города Бремена. Перед альдерманом лежала большая раскрытая книга в кожаном переплете с серебряными застежками. Он был одет в просторный зеленый бархатный кафтан с бобровым воротником и такой же опушкой по подолу; на голове — шапочка-берет, нависавшая на глаза; на указательном пальце — золотое кольцо с большим сверкающим алмазом. Его белые ширококостные руки опирались на палку с резным серебряным набалдашником.

На низкие поклоны вошедших Вулленпунт только небрежно кивнул головой, повел рукой по воздуху, приглашая сесть, и снова погрузился в просмотр книги.

Все тихо сидели и терпеливо ждали. Наконец старшина заговорил:

— Сегодня мы будем беседовать не о наших обычных торговых делах, а по вопросу более неотложному и крайне важному.

— Мы слушаем тебя, почтенный господин альдерман Вулленпунт! — ответило несколько голосов.

— Мы не раз обсуждали с вами нужды наших купцов, и все вы соглашались, что торговля Новгорода с иноземными странами могла бы развернуться гораздо шире и куда выгоднее для нас, если бы мы сумели устроить другое, новое управление Новгородом, в которое входили бы на равных началах и русские, и немецкие, и шведские, и другие иноземные купеческие старшины. И это было бы прежде всего прибыльнее и для нас и для новгородцев. Чем, скажите, держится Новгород? В чем его богатство и сила? Главным образом в его торговле. А кто больше всего приносит дохода и богатства Новгороду? Купцы. Какие купцы? В равной мере и русские и столько же, если не больше, иноземные. Значит, нужно привлечь как-нибудь иноземцев к управлению Новгородом, для того чтобы они создали новые правила, новые законы для управления этим большим богатым городом.

— Что верно, то верно! — раздались голоса.

— Как же ты думаешь устроить это полурусское-полуиноземное управление Новгородом? — спросил один из присутствующих.

Другой добавил:

— Новгород всегда гордился тем, что он «Господин Великий Новгород». Примирятся ли свободолюбивые новгородцы, если им навяжут иноземцев, отняв таким образом половину их вольностей?

Старшина Вулленпунт закашлялся и проворчал:

— Почему ты говоришь «навяжут»? Надо все так устроить и объяснить, что это будет дружеский совет, дружеское управление для общей пользы.

— Очень уж это неожиданно! — сказал первый голос.— Надо продумать, не таится ли здесь какая-нибудь ловушка, хитрая западня.

— Опять страхи! — зашипел старшина.— Так вот вы теперь послушайте: сейчас я вам объясню главную причи-

ну, почему я пригласил сюда моих уважаемых дорогих гостей.

— Говори, не томи нас, господин Вулленпунт!

— Я только что получил с гонцом письмо, в котором мне сообщают, что, по-видимому, шведский король Эрик, желая развить торговые и всякие другие связи между шведским и русским народом, собирается в скором времени отправить в Новгород большое посольство с целью установления новых, более тесных дружеских отношений. Насколько важные цели имеет это посольство, вы можете судить хотя бы по тому, что во главе его прибудут зять короля ярл[1] Биргер и с ним несколько епископов.

— Ну что ж, примем их! — раздались голоса.— Угостим щедро и обсудим, что лучше всего нам предпринять. Но, конечно, мы, германцы, не хотим, чтобы в Новгороде засели и стали хозяйничать одни шведы. Ведь для нас на первом месте должны быть интересы наших торговых городов: Бремена, Любека и других.

Посетители молчали. Наконец кто-то спросил:

— Что же ты посоветуешь нам, почтенный господин альдерман?

Старшина обвел всех выцветшими голубыми глазами и сказал:

— Прежде всего надо, чтобы об этом посольстве не проведал новый новгородский князь Александер. Это молодой кочеток, у которого острый коготок. Он может вдруг наделать всем иноземцам больших неприятностей. Было бы хорошо, если бы на время приезда посольства он отправился на свою любимую медвежью охоту. А тем временем следует собрать совет влиятельных бояр и купцов новгородских и совместно обсудить, как устроить торжественную встречу знатным гостям. Не забывайте: ведь приедет сам зять короля, ярл Биргер. Хорошо было бы отправить встречное посольство: впереди — певчие, хоругви, иконы, духовенство в золотом облачении. И мы, немецкие купцы, также примем участие в этой встрече. В ближайшие дни в покоях владыки Спиридона состоится совещание знатнейших, лучших людей Новгорода. На нем будет обсуждаться желательность нового русско-немецкого содружества для развития торговых дел Новгорода с иноземцами.

---

[1] Ярл (первоначальное значение — благородный) — в норманно-скандинавских государствах начальник или наместник области (герцог); звание личное, но некоторые могущественные ярлы обращали его в наследственное.

Обдумайте все это, а на совете вы скажете свои пожелания. Но только помните: ни слова не говорите никому о предполагаемом прибытии шведского посольства, чтобы не проведал князь Александер.

Гости поклялись сохранить все услышанное в тайне и стали расходиться.

ПЕРЕВЕТНИК

По бревенчатой мостовой улиц Софийской стороны, подбирая длинные полы, быстро шагали новгородские жители. На мосту, где особенно много скопилось народу, все спорили, затем направлялись вверх по береговому склону — к палатам архиепископа Спиридона. На каменном крыльце владычьего дома продолжали разгораться споры. Сторонники боярина Жирославича громко кричали, потрясая кулаками, угрожая невидимым врагам.

Все споры сводились к одному:

— Сбросить княжича Александра Ярославича!

— Молод еще он, беспокойный, неуёмный! Ему девятнадцать лет — где ему и дружину в руках держать, и управлять делами нашего вольного Новгорода! Пускай поживет, посмотрит, поучится, как другие делами ворочают... Пригласить же надо другого князя, помогутнее и поопытнее...

— А где княжич?

— Говорят, там — в покоях владыки.

В покоях архиепископа Спиридона было тесно до отказа. Сам владыка, в темно-синей шелковой мантии, сидел в высоком кресле. В руках он держал посох, иногда стучал им об пол:

— Довольно, довольно суесловий! Пора приниматься за решение великого дела!

Все посматривали в один угол покоя, где, безмолвно прислонясь к стене, стоял князь Александр. Его глаза смотрели сурово. Он не отвечал на упреки, которые ему бросали некоторые новгородские бояре. Внимательно слушал все, что говорилось кругом.

Яростнее всех нападал на него старый богатый боярин Жирославич, высокий, величавый, с большой полуседой бородой, рассыпавшейся по груди.

— Вот он, молодой княжич! Гордый, заносчивый! И отвечать не хочет, а дело неотложное, и мы должны решить его по всей строгости.

— Смелей, смелей! — говорил владыка.— Объясни нам, в чем дело. Ты лучше все это понимаешь, а я вот занят молитвами, мне и невдомек.

Жирославич горячился — видимо, хотел всем растолковать, чтобы склонить на свою сторону.

— Внимайте, православные! Шли на Новгород татары, казалось — конец пришел святой Руси, а вот и не дошли. Бог не допустил нехристей-сыроядцев до святой Софии.

— И впредь не допустит! — вмешался владыка.— Коли мы будем горячо молиться, коли будем соблюдать посты и все уставы церковные исполнять в кротости и послушании, господь нас обережет!

— Татары далеко! Увязли в болотах! — продолжал кричать Жирославич.

И всем присутствующим приходило на ум: что заставляет Жирославича так настаивать, так горячиться?

— А пока мы должны приготовиться и верных друзей себе обрести на случай, если враги все же пойдут на старый Новгород.

— Говори, говори яснее, как это ты приготовишься? — вдруг сказал Александр.

— Есть иные неразумные,— продолжал Жирославич,— так они говорят, что у нас врагов немало и что мы должны всех их выгнать. А меня все время беспокоит другая мысль: верно ли мы врагами считаем тех, кто наши хорошие покупатели, богатые плательщики и много лет ведут с нами большие мирные торговые дела... Почему их почитать врагами, когда они идут к нам с раскрытым сердцем, в руках держат большой кошель с серебром, а корабли их в каждом году и не раз и не два приплывут: заберут и зерно, и кудель, и лен, и мед, и воск, и кожи, и хвосты конские, и бревна...

Александр заговорил резко:

— Не крути, Жирославич! Говори прямо: что затеял, что задумал? Расскажи нам, как немцы и свеи тебя купили. Много ли тебе дали?

— Помолчи, кочеток! Дойдет до тебя очередь, тогда и тебя спросим.

— Говори попроще, Жирославич, выкладывай!

— Вот что я вам расскажу, вот что мне предложил старшина немецкого торгового двора почтенный Генрикус Вулленпунт. Он говорит: «У вас в Новгороде беспорядку

много. Какой ваш князь? Еще птенец! Ему ли управлять городом и всей землей Новгородской, когда его любимая потеха — травить медведей и объезжать коней».

Александр крикнул:

— Эй, Гаврило Олексич! Где ж ты запропастился?

— Тут я, княже, только меня народ стеснил! Сейчас до тебя доберусь!

Жирославич продолжал:

— Старшина немецкого торгового двора предлагает, что он будет держать в порядке весь город, что он привезет сюда сотню-другую своих конных меченосцев, что эти конники будут разъезжать по городу и наблюдать, чтобы никакого бесчинства и драки не было. И за все это он никакой платы не требует, а взамен платы просит разрешить его приказчикам свободно разъезжать по Новгородской земле, и тогда они будут закупать все, что бояре и купцы в коробьях и в клетях держат. А когда немецкие купцы и их приказчики сами к нам приедут и сами товары заберут, то тут же и серебро отсыпят.

— А княжеская дружина в Новгороде останется? Или вместо нее тоже немецкие меченосцы будут здесь порядок наводить?

— Это уж как Господин Великий Новгород решит: оставить ли княжескую дружину или показать ей путь-дорогу.

— А если на нас пойдет все немецкое войско? — спросил Александр.— Не ты ли с твоим немецким почтенным старшиной Вулленпунтом станешь от него отбиваться? — И он швырнул свою рукавицу в лицо Жирославичу.

Жирославич завопил:

— Владыка Спиридон! Люди честные! Да ведь это бесчинство! Достойно ли молодому воеводе так позорить старого, именитого боярина?

Толпа затихла, ожидая, чем все окончится.

Один из сторонников Жирославича, новгородский боярин Борис Негочевич, высокий, в нарядном, расшитом шелками кафтане, заговорил горячо:

— Постойте, послушайте меня! Все, что разъяснил нам мудростно Жирославич,— это не на ветер сказано. Наш Великий Новгород стоит здесь на болотах, на отлете от братьев суздальцев или полочан, и следовало бы подумать: не устроить ли взаправду нам здесь русско-немецкую богатую торговую общину, со своими законами, со своим войском? А другую такую русско-немецкую общину уже задумал сделать Твердило Иванкович во Пскове. И будет у нас

несколько еще таких торговых общин: и в Ладоге, и в Копорье, и в Ижоре. Тогда мы начнем с немцами жить в крепкой дружбе. Мы станем им собирать и хлеб, и кудель, и лен, и хмель, и мед, и кожи, и меха, и все прочее, а немцы нам будут привозить морем в обмен свои товары: и оружие, и полотно, и суконные кафтаны, и заморские сапоги, и за все купленное они платить станут в тот же час.

— Дай-то господи, только прожить в мире, без войны и резни! — простонал владыка Спиридон.

А Негочевич опять рассыпáлся соловьем, продолжая свою речь:

— Все то, что я сказал и объяснил вам боярин Жирославич,— разве это не на пользу Новгороду? А если найдутся безумливые у́ноши, в нашем большом торговом деле еще не понимающие и только желающие смуту внести, вражду посеять и войну с иноземцами разжечь, когда они идут к нам с полной дружбой и открытой душой, то таких нужно гнать с нашей земли! Скатертью дорога!

Александр, стараясь сдержать ярость, прогремел:

— Ты о ком это сказал, как о неразумном юноше? Не обо мне ли?

— А о ком же, как не о тебе? — вызывающе ответил Негочевич.

— Так слушайте ж меня, люди почтенные, владыка Спиридон и весь Господин Великий Новгород! Пока я здесь князем, пока дружина моя наготове и мечи отточены, я таких речей, какие сейчас говорили переветники Жирославич и его подвывала, такой же злодей Негочевич, говорить не позволю и буду отрезать переветникам языки и носы. А чтобы Жирославич запомнил навсегда, как он сейчас предлагал без бою и без чести отдать родную землю немецким купцам и клыкастым меченосцам, я сейчас ему... навек печать приложу!

— Ах ты птенец! — закричал в бешенстве Жирославич.— Люди добрые, вступитесь!

Александр, решительно расталкивая толпу, двинулся к тому месту, где стоял Жирославич.

Раздался звук оплеухи, и Жирославич упал. Все, разинув рты, смотрели друг на друга. Александр выхватил из-за пояса большой нож с костяной ручкой, с которым ходил на медведя, и опустился коленом на грудь упавшего Жирославича, который барахтался, стараясь встать. Александр крепко держал его пятерней за нос.

Вмешался владыка Спиридон. Он бросился вперед и, одной рукой обхватив Александра за шею, другой пытался удержать его руку:

— Побойся Бога, Ярославич! Оставь старика! Именем господа заклинаю тебя: остановись! Не уродуй лика человеческого!

Александр встал, и все зашептали:

— Не тронул!

Обращаясь к владыке Спиридону, Александр решительно сказал:

— Пока я здесь, в Новгороде, я буду поступать так же с каждым Иудой-переветником, и пусть они пощады от меня не ждут.

Потом князь, обращаясь к Олексичу, крикнул:

— Гаврила, мы уходим!

В КНЯЖЕСКИХ ХОРОМАХ

Вернувшись на Рюриково городище, Ярославич поднялся к себе в хоромы, в главную гридницу, где юная княгиня Александра Брячиславна уже ожидала его за столом. Перед ней дымилась миска с ухой и рядом, прикрытый расшитым красными узорами полотенцем, красовался пышный пирог.

По одну сторону Брячиславны сидел Вадим, сверстник Александра, всегда скромный и обходительный.

Когда-то отец Вадима был любимым ловчим князя Брячислава Полоцкого и сопровождал его на медвежью охоту и волчьи облавы. Вадим отроком подрастал среди дружинников, постоянно бывал в княжеских хоромах, играл вместе с княжескими детьми. Они его любили за покладистый и кроткий нрав, а главное, за то, что он искусно вырезал ножом из липового дерева коньков, птичек и мужичка с дудкой. Не раз княгиня за это награждала Вадима медовым пряником.

Однажды на охоте разъяренный медведь подмял под себя ловчего, отца Вадима, и задрал его. Князь Брячислав захотел помочь осиротевшему мальчику и сказал Вадиму: «Дружинник из тебя не выйдет, я знаю, а иконописцем, быть может, ты станешь искусным. Будешь расписывать стены наших церквей, а это светлое, высокое дело. В Новгороде имеется хорошая иконописная мастерская, и в ней давно работает опытный изограф, отец Досифей. Вот к нему-то я тебя в науку и пошлю».

Вскоре Вадим поселился в Новгороде вместе со своей старой нянюшкой и начал работать под руководством отца Досифея, а когда прибыл князь Александр Ярославич со

своей молодой женой, Вадим стал частым гостем в княжеских хоромах. С Александром его сближала любовь к книгам, и он каждый раз с волнением ждал, что князь покажет ему какую-нибудь новинку.

— Что, друже, давно не был? — обратился Александр к Вадиму, усаживаясь за стол.— Давно мы с тобой не толковали! Расскажи-ка нам теперь, многих ли святителей ты уже переписал? Мой тебе дружеский совет: учись у опытных стариков иконописному делу — и сам станешь большим искусником.

— Стараюсь и уже кое-чего достиг. Только отец Досифей, мой наставник, постоянно сердится, что я отхожу от установленных образцов; а я все хочу писать образа посвоему, как моя душа мне подсказывает. Много хожу по церквам и соборам здешним. Многое мне нравится. Какие краски дивные! Всё в новгородских церквах радует глаз и снаружи и внутри. В Полоцке у нас такого не было.

Когда обед кончился, Александр, взяв Вадима под руку, шепнул ему:

— Есть новое сокровище!

Они прошли в соседнюю горницу. Там находилась вивлиофика — книги, собранные Ярославом Всеволодовичем и подаренные им сыну.

Вдоль стен стояли окованные сундуки. В них бережно хранились книги, искусно переписанные умельцами. Каждая такая книжица представляла собой большую ценность.

В вивлиофике обычно работал один, а то и два опытных переписчика.

Подойдя к одному из сундуков и подняв тяжелую крышку, Александр доставал одну за другой разные книги и раскладывал их на столе.

Протянув Вадиму толстую книгу в темном кожаном переплете, он сказал:

— Вот книга о походах царя эллинского Александра Великого, завоевавшего когда-то полмира. Хорошо мне ее переписали! Какие красивые рисунки, узорные заставки, затейливые буквицы! Смотри, Вадим, какие у нас замечательные искусники появились. Вот бы и ты занялся рисунками, где показал бы наших воинов, громящих немецкие орды на Омовже, под Юрьевом, под Изборском и Псковом.

Вадим попросил разрешения у Александра переписать понравившиеся ему затейливые узоры буквиц в свою харатейную тетрадь.

Они еще долго сидели и говорили о том тяжелом времени, которое переживает Русская земля и Новгород — последний оплот русской воли.

Когда Вадим ушел, Александр поднялся в светелку Брячиславны. Княгиня жаловалась на свое одиночество:

— Все ты делами занят, а со мной тебе и побыть некогда!

Александр обнял жену, усадил ее на лавке рядом с собой и стал гладить ее маленькие руки.

— Пока мне еще не время отдыхать. За мной охотятся и явные и тайные враги. Я должен быть всегда готов к борьбе и походу.

— А я буду всегда твоим верным другом. Сердце говорит мне, что твое дело правое, ты одолеешь всех врагов, и я буду гордиться тобой.

ГЛАВА V

НЕВСКАЯ БИТВА

Хмельна для них славянов кровь,
Но тяжко будет им похмелье...

А. Пушкин

С БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПАПЫ РИМСКОГО

Крутобокие двухмачтовые корабли, готовые к отплытию, столпились в шведской гавани Сигтуна[1]. Всюду развевались флаги с изображением желтых львов на синем фоне, грозящих мечом. Все жители столицы пришли посмотреть на отплытие воинов, непобедимых удальцов, обещавших подарить своему народу богатейшие новые земли русов: беспредельные поля и густые, дремучие леса, широкие реки и несколько многолюдных цветущих городов, в том числе богатый, знаменитый мировой торговлей великий Хольмгорд, как тогда шведы называли Новгород.

Сам король Эрик Эриксон-Лепсе (Шепелявый), несмотря на болезнь, прибыл в гавань проводить боевые корабли, отправлявшиеся в этот смелый набег. Несколько разряженных слуг принесли короля на носилках. Впереди трубили трубачи и мерно шагал отряд рослых воинов с копьями и цветными флажками.

Все корабли были обвиты зелеными гирляндами из еловых ветвей и полевых цветов. Матросы взобрались на мачты и реи и кричали оттуда приветствия стоящей на берегу толпе.

Воины расположились на палубе. Каждый имел копье, прямой длинный меч, кинжал и щит. Многие были в блестевших на солнце доспехах и кольчугах; как будто уже готовые к бою, они казались очень воинственными. Некоторые спускались на берег, где городские, разодетые по-праздничному девушки окружали их шумной толпой и дарили на счастье резные костяные и медные крестики и ме-

---

[1] Сигтуна — в то время (1240 год) считалась столицей Швеции (находилась близ нынешнего Стокгольма). Невдалеке от Сигтуны был королевский дворец.

дальоны с изображением богоматери. Они желали отплывавшим смельчакам блестящих побед и благополучного возвращения после разгрома русских схизматиков[1].

На кораблях находились воины разных племен: шведы, немцы, датчане, финны. С ними плыли два величественных бискупа, тоже в панцирях и с оружием, и много католических бритых монахов. Стоя на корме кораблей, они высоко поднимали к небу кресты, пели священные гимны и призывали шведских воинов, крестоносцев, по повелению святейшего папы римского, «с помощью огня и меча покорить русских еретиков и обратить их в католическую веру».

Среди нарядных воинов особенно выделялся своей могучей фигурой зять короля, ярл Биргер. За время длительной болезни короля он единолично правил всей страной. И сейчас на корабль к нему пришли шведские сановники за последними его распоряжениями перед отъездом.

Ветер был попутный. Корабли, подняв паруса, при общих криках толпы и моряков двинулись в открытое море. Провожающие долго еще шли берегом и пели военные песни.

Вдали от земли, на море, ветер усилился, стал раскачивать корабли, которые то погружались, то поднимались на пенистые гребни волн. В пути ветер менялся, и раза два приходилось бросать якоря в финских скалистых шхерах, выжидая попутного ветра.

ШВЕДСКИЙ ЛАГЕРЬ НА НЕВЕ

> ...Приидоша свеи в силе велице: и мурмане, и сумь, и емь, в кораблех множество много зело, свеи с князёмь и с бискупы своими.
>
> И сташа усть Ижоры, хотяче восприяти и Ладогу, и Новгород, и всю область Новгородскую.
>
> *Новгородская летопись*

Наконец шведские корабли прибыли к устью многоводной Невы и поплыли вверх по течению до впадения в нее речки Ижоры. Берега болотистые и пустынные, заросшие вековым, густым лесом.

Ярл Биргер и рядом с ним бискупы стояли на передней палубе главного корабля, украшенного, как и другие ко-

[1] Схизматик — еретик, вероотступник; с точки зрения шведов, тогда католиков, русские, как православные, были еретиками.

рабли, деревянными резными фигурами крылатых змей и морских дев. У бортов кораблей стояли вооруженные мечами монахи. Все они чувствовали себя новыми апостолами, так как сам «наместник бога на земле» — римский папа благословил их на этот морской набег и назвал его «новым великим крестовым походом», имеющим целью обратить в истинную веру диких язычников финнов и упрямых схизматиков русских.

Более всех был доволен ярл Биргер, самоуверенный и наглый. Он указывал рукой на берега реки:

— Там ждет нас великая победа. Она принесет нам горячую благодарность шведского народа. Мы подарим нашему любимому королю новые земли, а вы, смелые воины, крестоносцы, привезете с собой богатую добычу.

Новые крестоносцы поднимали мечи и кричали:

— Слава храброму, непобедимому ярлу Биргеру!

— А с дерзкого, самонадеянного мальчишки принца Александера я собью спесь и вытряхну его из Хольмгорда! Я пошлю ему короткое письмо, от которого он задрожит, вскарабкается на коня и умчится прочь к отцу.

На берегу Невы вскоре вырос большой нарядный шатер из красного шелка с вышитыми на нем львами. Близ шатра на высоком шесте развевался на ветру шведский флаг, синий с желтым львом, держащим в поднятой лапе меч.

В этом шатре были разостланы ковры и приготовлена постель с меховым покрывалом. Ярл Биргер сидел снаружи шатра в складном ременчатом кресле и, веселый, пил вино из большого серебряного кубка, окуная в напиток рыжие усы. Он с любопытством слушал рассказы двух щеголеватых новгородцев, по виду — бояр или купцов, только что примчавшихся, чтобы, как они сказали, «показать шведскому отряду путь в Новгород»[1]. Рядом с ним стоял переводчик. Один из прибывших рассказывал:

— Наш новый князь Александр еще совсем юноша, ему всего двадцать лет, а замыслов и гордости у него выше головы, как у бывалого воеводы. Он стариков ни во что не ставит, никому не верит, один хочет так же властно княжить, как правил его отец, Ярослав Всеволодович. Но ведь тот был голова да имел еще могучую, твердую руку. Весь Новгород держал в своем кулаке. Александр же с именитыми боярами

[1] Иностранные морские корабли обыкновенно, приплывая в Неву, делали остановку близ устья Ижоры и поджидали лодочников из Ладоги, доставлявших множество больших плоскодонных лодок. Грузы складывали в лодки, которые подымались до Ладоги, откуда лоцманы направляли лодки в Новгород по Волхову, осторожно обходя опасные волховские пороги.

горячий спорщик, а особливо с теми, кто дружит с иноземцами. Со многими боярами и с именитыми купцами он уже перессорился. Скоро дождется он, что мы держать его не станем и проводим честью обратно в Переяславль — медведей ловить.

— Медведей ловить? — удивился Биргер.— Что же он с ними делает?

— Учит их под дудочку плясать. Разве это княжеское дело?

— А что же медлят так долго бояре? — спросил недовольно Биргер.— Они, как я потребовал, должны были явиться сюда встретить меня, затем вместе подняться до Ладоги, а оттуда спуститься в Новгород. Там мы повеселимся, да и вас я тогда не забуду — всех награжу по-королевски! — засмеялся Биргер и, подмигнув бискупу, тихо сказал ему: — А забравшись в Новгород, мы никогда уж его не оставим: и он, и вся огромная область Новгородская навеки станут шведскими.

— Да пошлет господь бог вам такую удачу! — прошептал бискуп.— Вот когда святейший отец возрадуется!

Стоявший возле Биргера секретарь с гусиным пером за ухом уже приготовил дощечку и лист пергамента. Биргер сказал:

— Напиши так: «Князь Александер! Если можешь — сопротивляйся! Но я уже здесь и пленю землю твою!»

Ярл подписал широким росчерком свое имя, секретарь свернул письмо в трубку и завязал шнурком с синей восковой печатью на его конце.

Воины приволокли к шатру двух отчаянно упиравшихся русских новгородских охотников, захваченных в лесу.

Переводчик старался их успокоить:

— Идите смело, ничего не бойтесь! Воевода свейский по своей великой милости вас сейчас отпустит на волю, но приказывает быстро бежать в Новгород и там передать это письмо в собственные руки князя Новгородского Александера. Знаете ли вы его?

— Как же не знать! Александр Ярославич — грозные очи! Молодой еще, а дюже строгий; чуть что не по нем — берегись, всю душу вытряхнет.

Переводчик небрежно заметил:

— Нам-то князь Александер не страшен.

— В собственные руки князя эту грамоту передадим!

Ярл Биргер немедленно подозвал трех шведских воинов и приказал:

— Проводите этих разбойников до первого русского

селения и там, не заходя в селение, их отпустите, не причинив никакого вреда. Постарайтесь остаться незамеченными и поскорее возвращайтесь.

Русские пленные в сопровождении охраны быстро зашагали по лесной тропинке.

ПЕСНИ ШВЕДСКИХ СКАЛЬДОВ[1]

Шведские корабли, слегка покачиваясь, растянулись вдоль берега Невы. Никто из шведов не ожидал нападения на их грозное войско. Они спустились по сходням на берег и со смехом и прибаутками стали разводить костры. Все чувствовали себя радостно, отдыхая после сильной качки на бурном море, говорили о предстоящем походе на богатый Новгород и о той несметной добыче, которую каждый там захватит и привезет домой.

Одни рубили сучья, варили в котелках обед, другие купались в реке и стирали белье, развешивая на кустах рубахи и полосатые шерстяные чулки. Кое-где слышались песни и веселый смех.

Несколько воинов разводили огонь близ малинового шатра с золотой маковкой.

Мальчик-слуга Биргера вычистил высокие желтые сапоги с золотыми шпорами и повесил их неподалеку на вбитых колышках.

Задымили костры. Возле старого скальда, усевшегося с гуслями под огромной вековой сосной, собралось особенно много воинов, чтобы послушать древние саги[2] о смелых предках — норманнских викингах-мореходах, совершавших дерзкие набеги на далекие земли.

Слегка хрипловатым голосом старик запел о знаменитом разбойнике Гере Педере:

Он рано расчесывал кольца кудрей,
Он рано вставал поутру.
Скажи мне,— он матери молвил своей,—
Какою я смертью умру?..

К певцу быстро подошел Биргер и сердито закричал:

— Ты что это похоронную песню завел, глупый старик! Мы пришли сюда для славной победы, для разгула и веселья. Спой другую песню, веселую, а не каркай, как зловещий ворон, иначе я разобью твою дурацкую голову!

---

[1] Скальд — народный певец.

[2] Сага — древняя шведская и норвежская былина, песня про старину.

Испуганный скальд уронил зазвеневшие гусли и, заикаясь, сказал:

— Отцы и деды нас так учили! Прости, но я пою только старые песни.

— Найдутся у нас певцы, которые споют получше тебя! Эй, Кнут Андерсен, где ты?

— Сейчас, мой господин! — откликнулся чей-то голос.

Пожилой воин с висячими седыми усами поднялся из задних рядов и прошел вперед, шагая через лежавших. Андерсен сел на корень старой сосны близ только что певшего скальда.

Ярл Биргер опустился на складной ременчатый стул, принесенный слугой, и приказал:

— Спой-ка нам песню про нашу близкую победу над русскими медведями в устье Невы!

Андерсен протянул руку к первому певцу:

— А ну-ка, Густав, передай мне твои гусли!

Зазвучали переборы струн под ловкими пальцами, и Андерсен начал петь, сохраняя знакомый всем напев древней саги:

Я вышел из детства суров, нелюдим,
Уже насчитал девятнадцать я зим.
Блистает мой меч в богатырской руке —
Помчусь я сразиться на русской реке.

Все слушавшие воины хором подхватили припев:

Летим мы, как стрелы с тугой тетивы,
С врагами сразиться у хладной Невы.

Кнут Андерсен продолжал:

Мы знаем, что вскоре близ устья реки
Напорются русы на наши клинки.
И каждый из нас и уверен и горд,
Что мы одолеем могучий Хольмгорд.
С тех пор как бесстрашные дедов ладьи
Впервые пустились в походы свои,
Земля не рождала таких удальцов,
Как славный ярл Биргер, король храбрецов.

Ярл Биргер, довольный, что певец назвал его «славным королем храбрецов», приказал мальчику-слуге принести из шатра глиняную пузатую бутыль и сам налил певцу Кнуту Андерсену вина в серебряную кружку. Тот выпил, крякнул и сказал:

— Не вино, а огненная радость! Слава великому викингу ярлу Биргеру!

— Кто приведет мне живым русского принца Алек-

сандера,— сказал Биргер,— тот получит полную бутыль вина и вдобавок собственную усадьбу с садом на родине.

Послышался звук медной трубы. Бискуп произнес вечернюю молитву. Все шведы хором спели псалом, и лагерь стал постепенно затихать.

Молочный туман затянул поверхность реки и тихо подвигался при слабых порывах ветра. Казалось, что женщины с распущенными волосами, в длинных белых одеждах медленно поплыли над рекой.

Лагерь шведов погрузился в мирный сон; только кое-где потрескивали костры, возле которых полулежа дремали часовые.

ЧТО УВИДЕЛ РЫБАК ЕВСТАФИЙ

Черная многоводная Нева-река. Берега заросли густыми кустами ольхи и орешника. Далее начинается труднопроходимый вековой бор. Сосны, ели и березы чуть не до облаков, некоторые — в три обхвата.

В узком выдолбленном челноке по Неве плывет старый рыбак Евстафий, морщинистый, с растрепанной седой бородой, засунутой за воротник. Он выгребает одним веслом, подъезжает к зарослям камыша, тянущимся вдоль берега, вытаскивает мережи и вытряхивает в большое берестяное лукошко извивающихся серебристых рыбок.

— Опять пришли! — пробормотал рыбак, задерживая лодку в густом камыше.

На берегу, на высоком бугре, шевелилось несколько темных мохнатых медведей. Хозяин, «бык», остановился на вершине бугра и, помахивая головой, точно прислушивался к звукам леса. Медведица лежала на животе, вытянув все четыре лапы. Около нее возились два медвежонка и отдельно бродил, пытаясь влезть на дерево, двухлетний пестун.

Вдруг что-то обеспокоило медведя. Он насторожился. Поднялся на задние лапы, обнюхал воздух и грузно опустился на землю. Ускоренной рысцой, с перевальцем, медведь сбежал с бугра и направился в чащу. За ним ушла и медведица с медвежатами.

«Чего это они забеспокоились?» — подумал Евстафий и оглянулся на широкую реку.

То, что он увидел, заставило его быстро задвинуть челнок глубоко в камыши и, взяв берестяное лукошко с рыбками, выбраться на топкий берег.

Евстафий знал строгий наказ воеводы новгородской дружины — молодого князя Александра Ярославича: объезжать в лодке и обходить побережье и следить зорко и неустанно, не появятся ли вражеские отряды и корабли. Уже не раз сюда пробирались шведские и финские лазутчики, разводили костры и даже ставили свои шалаши. Пелгусий, старшина ижорской земли и начальник морской новгородской стражи, ответственный за береговую охрану, вместе с другими тамошними жителями старался их отучить от приездов, ночью пугая дикими криками, гуканьем лешего и поджогами шалашей.

У него союзниками была семья бурых медведей. Они любили приходить на берег, где поднимался бугор с расщепленной ударом молнии старой вековой сосной, и там баловались, отламывая от ствола щепки.

Пелгусий никогда не пугал медведей, а, напротив, старался их привадить на бугор, считая, что они пригодятся после, в случае, если приедет сам княжич Александр, страстный медвежатник. Ему Пелгусий уже рассказывал про медведей и обещал сберечь их для охоты.

В этот теплый июльский день Евстафий, объезжая побережье, проверял поставленные мережи.

Невиданное зрелище поразило его и заставило стремглав спрятаться в густом орешнике. Затем он осторожно выполз на тропинку, протоптанную медведями, и поднялся на бугор, откуда, скрываясь за упавшей сосной, он мог наблюдать за всем, что происходило на реке.

Евстафий увидел, что по Неве плывет множество кораблей, разукрашенных пестрыми флагами и цветными парусами. Они были двухмачтовые, и на них виднелись иноземные воины. Корабли стали приставать к берегу, одни — бросая якоря, другие — закручивая канаты за вековые сосны и березы. День был солнечный, жаркий; многие воины, сойдя на берег по сходням, углубились в лес, собирая крупную чернику.

Евстафий, видя, что незваные гости приближаются к медвежьему бугру, быстро скрылся в орешнике и, прихрамывая, побежал по знакомым ему тропкам к своему поселку.

Старшину Пелгусия крайне встревожила нежданная весть о прибытии иноземных кораблей. Следом за Евстафием, запыхавшись, прибежали два парня с реки и тоже рассказали дивное дело: что к устью Ижоры приплыли три с половиной десятка чужеземных воинских кораблей, полных ратниками. Заглядевшись на них, оба охотника и не

почуяли, как к ним из лесу подкрались невиданные воины, схватили их и потащили к шатру на бугре. Там с ними говорил, видно, знатный воевода и приказал отнести грамоту с синей печатью в Новгород и передать в собственные руки князю Александру.

Увидев грамоту с печатью, Пелгусий сейчас же распорядился дать коней и отправить обоих парней с Евстафием известить князя Александра о надвинувшейся беде.

То ускоренной рысью, то волчьим скоком все три всадника помчались в сторону Новгорода. В одном из следующих селений Евстафий опять достал новых коней, уверяя мужиков, что «жеребий господень исполняется, пришли враги неведомые, хотят всех православных подогнуть под свое колено и затолкать в поганую латинскую веру и что надо подниматься всем народом, всем скопом против иноверцев».

Но оставалась надежда: в Новгороде сидят знатные многоопытные мужи: и посадник, и тысяцкий, и бояре именитые, и лучшие старые и молодшие люди... Они всё уразумеют, подымут всю Новгородскую землю... Тогда осерчает русский люд, возьмется за мечи, сулицы[1] и топоры, и плохо тогда придется ворвавшимся непрошеным иноземцам.

Бешеная скачка растрясла старика. Он должен был сделать передышку в другом встречном селении, у своей сестры. Она стала его уговаривать переждать седмицу, пока успокоятся растревоженные косточки. Но Евстафий рассвирепел, ругался и требовал свежих коней.

— В Новгороде я растолкую, что зевать и мешкать нельзя! Враг очень силен!

Однако же и сестра Евстафия была под стать ему.

— Да куда тебе ехать? Тебе уже восьмой десяток пошел! Сигов ловить мережей ты можешь, а коли готовишься скакать вершником на коне, то лучше и не думай: ты и сюда доехал, лежа животом на холке коня и держась за гриву. Еще свалишься в пути, и зверь тебя задерет. А мы лучше тебя сами повезем, как возили израненного медведем нашего рыбака,— в люльке.

— Давайте люльку, давайте самого бешеного коня: мне надобно немедля поспешать к княжичу Александру в Новгород!

Старая сестра Евстафия — добро, что и ей было тоже лет немало,— быстро распорядилась. Появились два коня,

---

[1] Сулица — короткое копье с наконечником, как у стрелы, предназначенное для метания.

между ними была подвешена в рыболовных сетях, продетых на две прочные жерди, постель из бараньего тулупа. В ней улегся Евстафий и сейчас же захрапел. Его сопровождали несколько вершников и внучка Анютка, сидевшая с хворостиной на переднем коне.

НАД СЕДЫМ ВОЛХОВОМ

Время приближалось к полудню. Вольный город гудел хаосом разнообразных звуков: криком, ржаньем лошадей, грохотом телег, проезжавших по деревянной бревенчатой мостовой. Люди двигались густым потоком по мосту через Волхов. Они рассыпались по всему берегу и толпились перед лавками, которые длинными рядами выстроились вдоль реки. На прилавках красовались булгарские пестрые сафьяновые сапоги, мордовские расшитые полотенца, карельские полосатые шерстяные чулки, яркие восточные шали, кольца, ушные подвески, кожаные сумки, широкие цветные пояса из Хорезма и всякие иные товары, привезенные из разных стран. Из-под навесов спускались цветные узорные платки и домотканые рубахи.

В железном ряду были выложены на лотках и топоры, и тесла, и засапожные ножи, и гвозди всех размеров, крюки, кольца, косы-горбуши, чугунные котелки и другие железные предметы.

Были и еще торговые ряды: медный, седельный, шорный, глиняной посуды и другие.

В этих лавках Новгород показывал богатства и разнообразие товаров, как местных, так и привезенных с запада настойчивыми и напористыми в торговле немцами и шведами, и с востока, откуда прибывали с кожаными товарами и бумажными и шелковыми тканями булгарские, ургенчские и персидские гости[1].

Тут же невдалеке было несколько арабских лавок; возле них сидели на широких низких скамьях смуглолицые купцы в пестрых одеждах и в намотанных на головы белых и цветных тюрбанах.

Два человека упрямо шли через толпу, расталкивая встречных. Некоторые признавали их, делали быстрый шаг в сторону и, снимая шапки, кланялись в пояс.

— Это, кажись, князь Александр со своим племянником?

---

[1] Гость — купец.

— Будет врать-то! Какой племянник? Вишь, парнишка-то совсем захудалый. Это Семка, рыбацкий сын.

— Какая им тут надоба?

Мальчик Семка быстро шагал, стараясь поспевать за Александром.

— Шагай, шагай, Семка! — подбадривал Александр.— Еще много тебе предстоит трудов впереди. Если хочешь стать смелым воином, надо сперва книжной премудрости хорошенько обучиться.

— Шагать и на коне скакать я могу, а вот читаю еще еле-еле,— со вздохом сказал мальчик.

Они подошли к Софийскому собору. Александр, нагнувшись, постучал в маленькое окошко пристройки, где жил звонарь. Из низенькой двери вышел старик и радостно приветствовал князя:

— Свет ты наш Ярославич! Какая забота тебя привела сюда? Чем могу послужить тебе?

— Отопри звонницу. Мне надо подняться на колокольню.

— Сейчас, княже, сейчас! — бормотал звонарь, гремя ключами и открывая тяжелую, обитую железом дверь.

— Семка, иди за мной! — сказал Александр и стал подниматься по очень узкой лестнице, придерживаясь рукой за сырую каменную стену.

Они прошли два пролета, затем пришлось идти по крутым приставным деревянным лестницам. Когда они достигли верхней площадки, над ними с сухим шорохом пролетели испуганные вороны. Летучая мышь, скользнув, метнулась в сторону. Александр подошел к перилам и долго молча смотрел вдаль. Мальчик с особым любопытством стал осматривать большой медный колокол и постучал по нему рукой. Александр сказал:

— Вот этот колокол — в Новгороде наш господин и хозяин: начнет говорить — всех поднимет.

Прямо перед ними расстилался весь Новгород. За ним тянулась бесконечная даль синих лесов, лугов и пашен. Точно беседуя сам с собой, Александр заговорил:

— Отсюда виден весь наш и буйный, и прекрасный, и непокорный вольный Новгород. Все у нас мощное, сильное, хочет жить по своей воле, и сюда мы не допустим пронырливых чужеземцев с жадными руками. Вон там, направо, совсем вдали, раскинулось большое богатое рыбное озеро Ильмень. Оно всех нас кормит. Из того озера и вытекает многоводный глубокий Волхов. Он разрезает Новгород пополам. Эта сторона, где мы стоим, называется

детинец и Софийская сторона, а другая, по ту сторону Волхова, зовется Торговой. Там живут бесчисленные торговцы и их подручные, искусные ремесленники с учениками. Там находится бóльшая часть работного люда новгородского.

Семка жадно слушал, разинув рот и посматривая то на Александра, то на раскинувшийся город. Князь продолжал:

— Ты видишь, какое богатство, какая сила в нашем Новгороде! Точно лучами от святой Софии уходят вдаль улицы, и в каждой улице — сотни домиков. И все это новгородцы создали своим горбом, своим домыслом, своими руками...

— А сколько людей в Новгороде! — прошептал Семка.— Поди и не сосчитать! Ежели каждый возьмет топор и сулицу, так никто нас не одолеет! Никакая вражья сила!

— Верно, верно, Семка! Только надо, чтобы все крепко стояли, плечом к плечу.

Снизу послышались крики:

— Княже Ярославич! Спускайся скорее! Вести больно тревожные пришли!

На площадку взобрался дружинник. Высокий Александр наклонился к нему, и тот ему что-то прошептал на ухо.

— Ладно, ладно,— сказал Александр.— Иду. А там видно будет.

Все трое стали быстро спускаться со звонницы.

Евстафий был доставлен в Новгород вскачь, сперва на Городище, к самому крыльцу княжеских хором, а когда князя там не оказалось, то все помчались к Софийскому собору, куда князь Александр собирался с утра. Молодой князь вышел из низкой двери колокольни и, сдвинув брови, покосился на спавшего Евстафия.

— Кто это? Не признаю что-то!

— Что ты, князь-батюшка! Ведь это с Ижоры, старый охотник и рыбак Евстафий. Его прислал сюда старшина Пелгусий. Вот очнется, так он тебе расскажет такое, что быль от небылиц не отличишь.

— Чего же он лежит как мертвый?

— Признаться по совести, мы его в последнем селении Долгушине напоили малость, а то боялись, что не довезем.

— Для чего вы все же ко мне его привезли?

Александр подошел к люльке и наклонился к лежавшему:

— Ты зачем ко мне примчался, старче? Что за кручина тебя погнала?

Анютка, сидевшая на переднем коне, крикнула:

— Дедушка видел, как на реку Неву корабли вражеские приплыли!

Евстафий медленно приходил в себя.

— Да неужто я вижу тебя, свет наш ясный Александр Ярославич? — зашептал он.— Вызволи меня из этой посудины... Недобрые вести привез я тебе.

Александр схватил Евстафия в охапку, вытащил из люльки и усадил на ступеньке собора.

Рассказ Евстафия о приплывших иноземных кораблях заставил глубоко задуматься Александра.

— Ты, старик, доброе дело сделал, что на борзе[1] примчался сюда и сгомонил меня. Это пришел враг сильный, злобный и безжалостный. Мы должны его принять в мечи и топоры... А вы откуда будете? — обратился он к сопровождавшим Евстафия парням.

— Мы тебе еще в придачу грамотку привезли.

И парни рассказали, как их схватили иноземцы, привели к прибывшему знатному воеводе и как он приказал передать грамотку в собственные руки князя.

Один из парней достал из-за пазухи тряпицу. В ней он сберег письмо ярла Биргера. С удивлением князь Александр развернул послание, написанное на узком листе пергамента и завязанное красным шнурком с висящей синей восковой печатью. Там было написано четким, видно, умелым росчерком и затейливыми буквицами:

«Князь Александер! Если можешь — сопротивляйся! Но я уже здесь и пленю землю твою. *Ярл Биргер*».

Александр выпрямился и оглянулся. Подозвал двух дружинников, обычно его сопровождавших, и сказал одному из них:

— Беги к воеводе Ратше и скажи, чтобы тот сейчас же пришел ко мне в Городище. Скажи ему только одно: «Овин горит!» Так и скажи: «Овин горит!»

— Овин горит? — повторил удивленно дружинник и, повернувшись, побежал во весь дух.

— А вы не приметили, не было ли близ свейского воеводы кого-либо из наших новгородских хитрецов-переветников?

---

[1] На борзе — поспешно.

— Один был за писаря. Он-то и написал эту грамотку. А еще было два купчины, а может, бояре в нарядных кафтанах из заморского сукна. Что-то мне памятны их рожи и бороды. Кажись, видал я их на помосте на большом вече.

— Не был ли это Жирославич со своим прихвостнем?

— Кажись, что он! — подтвердил парень.

— Друже Евстафий, поспешай за мной в мои хоромы в Городище. Там все обсудим.

СКОРЕЙ В ПОХОД!

Дружинники Александра, не раз уже побывавшие в кровавых опасных схватках в литовских лесах и уже томившиеся без воинского дела, сразу зашевелились и принялись точить мечи и готовить оружие с того часа, как пришла весть о предстоящем походе. Они с удивлением посматривали на юного князя.

— Радостен и светел лик его! — говорили они.— Нашел он опять свою любимую потеху. С ним весело в поход двинуться. Скоро начнем лихих недругов трепать.

Александр проявил кипучую деятельность.

— Надо не пустить к нам злобного зверя,— объяснял он Ратше и Гавриле Олексичу, с которыми был более откровенным.— Если проклятый свей проберется окольным путем в Новгород и ворвется в детинец, тогда он здесь засядет надолго.

Александр созвал всех старых дружинников, соратников его отца, грозного князя Ярослава Всеволодовича, которые четырнадцать лет назад [1] прошли грозой по северным от Новгорода областям, где тогда и финны, и подошедшие шведы, и немцы познакомились с силой неотразимого русского меча. Со старыми дружинниками стал Александр держать совет, какими путями быстрее и лучше пройти в сторону шведского лагеря, и подробно расспросил их, какие повадки они заметили у иноземцев. Каждому своему опытному дружиннику он приказал, не делая шума и суматохи, привести десяток верных, надежных работных людей, которые смогли бы стать в ряды воинов.

Отовсюду спешно потянулись в Рюриково городище люди, побросав свои дела, готовые встать на защиту родной земли.

---

[1] В 1226 году.

А на всех дорогах, идущих к устью Ижоры и к Неве, Александр немедленно поставил стражников, которые, не пропуская никого, ловили и отправляли в Городище всех тех, кто пытался пробраться со стороны шведских пришельцев.

БОЕВОЙ ЗАМЫСЕЛ АЛЕКСАНДРА

В вечерних сумерках князь Александр Ярославич, вслед за старшиной Пелгусием и Евстафием, осторожно пробрался к заросшему кустами орешника берегу Невы. Александр пристально всматривался в расположение отдыхавших шведских отрядов и убедился, что Евстафий правильно рассказал, как шведы разместились на широком берегу. Обдумывая, откуда лучше всего наброситься на врага, князь заметил, что шведы совершенно не ожидают нападения и не приняли никаких мер предосторожности.

Все их отряды держались отдельно. Возле каждого на шесте развевался флажок. Особо спали шведы, особо — финны и небольшой отряд полудиких мурманцев в островерхих меховых колпаках.

Невдалеке от впадения Ижоры в Неву, среди густого леса, Александр, окруженный дружинниками, расположился на бугре под старой искривленной березой, которая под непрерывными порывами ветра размахивала длинными, гибкими ветвями.

Александр обратился к окружавшим его десятникам и старейшим дружинникам. Речь звучала тихо, но четко и твердо:

— Ветер крепчает. Кажись, быть буре. Ну, да кому эта буря на горе, а нам она должна послужить к удаче. Знайте, что сейчас, может быть, еще этой ночью, решится судьба наша: быть или не быть свободной воле новгородской. Что мы должны сделать даже в такой тьме, даже в бурю?

Несколько мгновений все молчали, затем чей-то голос прошептал:

— Положись на нас, Ярославич! Все, что скажешь, то и сделаем!

Александр продолжал речь, и пламенное чувство горело в нем:

— Если ты приходишь домой в ночь, в бурю, и видишь в оконную щель, что в твоей избе хозяйничают воровские люди, буйствуют, хотят зарезать и детей, и мать, и жену…

станешь ли ты раздумывать да высчитывать: сколько злодеев в избе, да справлюсь ли я с ними али не осилю? Нет, ты ворвешься в избу с топором или простым дрекольем и набросишься на охальников-злодеев, сколько бы их ни было! Верно ли я говорю?

— Это верно! Так бы и мы сделали, Ярославич! — послышались тихие голоса.

— Сейчас не время нам высчитывать да прикидывать, много ли свеев и немцев и остры ли у них копья и мечи... Да, увидел я, что бой будет не на жизнь, а на смерть, но мы должны их осилить. Мы должны подползти к ним неслышно, незримо, в самый свейский лагерь, и навалиться на них, как мы наваливаемся на охоте на волка, ловя его за уши. В эту ночь, думая, что мы далеко, вороги наши спят, не ждут гостей, а храпят, накрывшись чем попало. А мы набросимся на них и споем им «вечную память»!

Совещание продолжалось недолго. Все молча стали разбирать оружие.

Александр торопливо отдавал последние приказания своим дружинникам:

— Подойдя к вражескому стану, сперва стойте наготове, ни слова, ни шороха! Ждите, пока наши обойдут кругом свеев: Ратша с верхнего конца, а Гаврила Олексич — с нижнего, а еще с Ижоры подплывут в ладьях ижорцы. Когда услышите звонкий посвист новгородский, бросайтесь вперед, рубите сходни и канаты, чтобы корабли отплыли и свеям сойти на берег было уже невозможно. На берегу бейте врага нещадно, тесните к воде. А ижорцы начнут прорубать днища у кораблей, чтобы утопить их. Торопитесь, чтобы враги не успели распознать, как нас мало. Когда же вы услышите второй посвист, то быстро уходите и скрывайтесь в лесу. Нынче мы их одолеем: наше дело правое!

— А ты сам где будешь, Ярославич? — спросил кто-то.— Не потерять бы тебя в темноте.

— Вы меня все время будете видеть: я на гнедом разыщу главного их воеводу Биргера, чтобы посчитаться с ним. Все ли меня поняли?

— Как не понять! — отвечали воины.

— Теперь, други смелые, вперед! — приказал Александр.— Пробирайтесь тихо, как на медвежьей облаве, чтобы не вспугнуть до времени обложенного зверя.

Все поднялись, оправляя оружие.

БУРЯ

Надвигалась буря. Быстро темнело. Тучи на небе сгущались и неслись куда-то вдаль над бескрайними лесными трущобами. Порывистый ветер с шумом раскачивал вершины столетних сосен и огромных развесистых берез.

Упали тяжелые капли дождя. Они падали наискось и стали учащаться. Вспыхнула молния и на мгновенье осветила весь шведский лагерь, растянувшийся вдоль берега. На миг стало светло, как днем, и тотчас снова все потонуло во мраке, который казался еще гуще, еще чернее. Где-то вдали прогремели первые раскаты грома. Вскоре гром прокатился уже над самой головой.

Молнии вспыхивали одна за другой, и грохот свирепствовал не переставая.

Буря усилилась. Высокие сосны со скрипом и стоном раскачивались, точно негодуя, что их потревожили. Осины трепетали всеми своими листьями, которые, отрываясь, неслись на лагерь, осыпая лежащих шведских воинов. Они теснее жались друг к другу, кутаясь в широкие плащи. Дождь лил непрерывно. Разведенные костры погасли. Буря проносилась через вековой лес, где слышался треск и грохот ломающихся и вырываемых с корнями деревьев. Только березы, крепко уцепившись корнями за землю, раскачивались, склоняясь, точно в земном поклоне, затем снова выпрямлялись.

По Неве катились высокие валы и выплескивались на берег. Корабли раскачивались, скрипя мачтами, грозя порвать канаты.

— Это русские колдуны призвали всех своих дьяволов, чтобы не пустить нас в свой город! Но нас не так-то легко прогнать! Мы скоро вволю погуляем в богатом Хольмгорде!..

Ярл Биргер тоже проклинал всех русских колдунов и святых, укрывшись в своем шатре. Он приказал слугам сидеть снаружи шатра и следить, чтобы буря не порвала веревок, которыми шатер был привязан к вбитым в землю приколам.

Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. Буря промчалась, и только вдали слышались слабые раскаты грома.

Еще туман не рассеялся. Еще шведы крепко спали и в лагере была тишина, когда русские воины бесшумно

набросились на незваных гостей, поражая их топорами, мечами и рогатинами.

Услышав раздавшийся в двух концах лагеря пронзительный свист, проснувшиеся шведы сперва не могли ничего понять, но внезапная беда уже навалилась и привела их в ужас, вызвав общий беспорядок. Русские воины ворвались в шведский лагерь, не разбирая дороги, прыгая через лежавших иноземцев, и стали рубить их с бешеной яростью.

Те просыпались, испуганные и растерянные, вскакивали, пытаясь бежать, сами не зная куда, и падали под ударами новгородцев.

Опомнившись, схватив оружие, шведы и их союзники бросились в битву, но у них не было никакого порядка. Им казалось, что русских бесконечно много — они неожиданно возникали из тумана во всех концах лагеря.

— Откуда появились эти русские дьяволы? — в бешенстве отбиваясь, бормотали шведы.

Дикие крики неслись по лагерю. Слышались вопли раненых, стоны умирающих и возгласы на непонятном шведам языке:

— Вперед, братья, за землю Русскую!

Бой разгорался по всему берегу. А из леса появлялись все новые русские воины и кричали:

— Вперед, новгородцы! Бей врагов, Ладога! Руби, Ижора!

Становилось светлее. Уже было заметно, как все союзники шведов — мурманцы, сумь и емь — в одеждах из звериных шкур, мехом вверх, одни убегали вдоль берега и старались скрыться в лесной чаще, другие, прыгая в воду, хотели добраться до своих кораблей; но сходни кораблей были подрублены, и корабли с воинами уплывали. Множество лодок, приплывших с Ижоры, цеплялись баграми за шведские корабли. Ижорцы прорубали топорами их борты, и корабли стали накреняться и тонуть.

Подул ветер, светало, и туман стал медленно таять и уплывать. Тогда Александр, наблюдавший за битвой, хлестнул гнедого коня Серчана и бросился в середину вражеского лагеря. Он мчался, блистая железными латами, пригнувшись и направив вперед копье. За ним неслись его конные дружинники. Они врубались в гущу боя, поражая тяжелыми прямыми мечами отчаянно бившихся шведов, и проносились дальше по лагерю, где всюду разгоралась бешеная схватка.

Александр, с трудом пробившись вперед, направил коня

к тому месту, где возвышался красный шатер с золотой маковкой. Он заметил, как высокий человек, торопливо надев на голову шлем со стальным наконечником, схватился за меч.

Александр догадался, что это ярл Биргер. Он налетел на него и ударом копья сбросил на землю. Со всех сторон на помощь своему воеводе спешили телохранители. Князь с трудом вырывался от наседавших на него шведов. Подоспевшие русские дружинники теснили их к реке.

— Савва, чего медлишь? — крикнул Александр.— Руби скорее!

— Уже подрубаю! — ответил Савва, и высокий, нарядный шатер Биргера рухнул, сползая к воде.

Гаврила Олексич бился в другом месте. Преследуя шведского воеводу, он верхом на коне по сходням ворвался на корабль. Там его встретила толпа шведов и столкнула вместе с конем в воду.

Сильный чубарый вынес Гаврилу на берег, где на него набросились бискуп и шведский воевода. Одним ударом Гаврила отсек бискупу голову с отвалом (с правой рукой), а затем поразил и воеводу.

Новгородцы во главе со своим удальцом Мишей, знаменитым в кулачных боях, лихим Збыславом Якуновичем и Яшей Полочанином взобрались на три шведских корабля, прорубили днища и потопили их.

Кузька Шолох со своей ватагой корабельных грузчиков неудержимой лавиной проносился по берегу, избивая сопротивлявшихся и стараясь не дать им добраться до кораблей.

Новый пронзительный свист донесся из лесу, заглушая крики. Все новгородские воины, твердо помня наказ Александра, стали быстро отходить в лесную чащу, следя издали за дальнейшими действиями шведов.

Последним по лагерю промчался на чубаром коне Гаврила Олексич. Задержавшись близ упавшего шатра, он поднял желтые сапоги ярла Биргера. Заметив, что привязанный на приколе огромный оседланный конь шведского полководца ржет и бесится, Гаврила отвязал его и увлек за собой, кинувшись догонять Александра.

Многие шведские воины отчаянно дрались и мужественно пали в бою, другие вскарабкались на корабли и, подрубив канаты, успели отплыть вниз по реке. Остальные разбежались по лесной чаще и позже, изможденные и голодные, были переловлены Пелгусием и другими охотниками и доставлены в Новгород.

На еще волновавшейся от бури Неве множество черных лодок кружило близ того места, где ижорские рыбаки затопили несколько шведских кораблей. Они снимали с торчавших из воды покосившихся мачт шведских матросов и воинов, уцепившихся за реи. Пленные отчаянно ругали ярла Биргера, который затащил их в русские лесные дебри.

Александр еще долго наблюдал с бугра, стараясь понять, как дальше поступят шведы. Он не препятствовал им забирать раненых, которых они переносили на корабли. Шведы, видимо, торопились удалиться от неприветливых невских берегов.

Александр оставил небольшой сторожевой отряд наблюдать за рекой, а остальным воинам приказал возвращаться в Новгород.

— Там тебя ждет новый бой — с нашими переветниками,— сказал Ратша.

— Не впервой, поборемся! — ответил Александр.— Простой народ меня поддержит.

Раненый ярл Биргер лежал на палубе корабля, раскинувшись на подостланной медвежьей шкуре, и тяжко стонал. Лицо его было перевязано. Придворный лекарь стоял близ ярла на коленях и убеждал его отпить целебной настойки. Тот скрежетал зубами и ругался.

Приближенные старались успокоить своего неудачливого полководца:

— Ты доблестно дрался, высокочтимый ярл Биргер. О тебе будут в народе петь песни.

— Это великое счастье, что мы не погибли все до последнего. Разве можно было что-либо поделать с русскими полчищами? Все же вы видели, сколько их было,— и не сосчитать!

Последние шведские корабли, отчалившие от берега, плыли вниз, к холодному Варяжскому морю[1].

ЗАСЛУЖЕННЫЙ КОНЕЦ

Прошло два дня. Часть шведских кораблей, будто устыдившись своего поспешного бегства, возвратилась на Неву и поднялась вверх по реке, к месту битвы. Сильно поредев-

---

[1] Варяжское море — Балтийское море.

шие в числе, воины стояли на палубе стройными рядами, готовые снова вступить в бой.

Мрачный ярл Биргер с перевязанным лицом стоял на носу переднего корабля и всматривался в приближающийся негостеприимный берег. Он все еще надеялся увидеть обещанное переветниками почетное посольство новгородских богатеев, которые должны были провести шведов в будто бы покорно ожидающий их Новгород.

Но побережье было пусто. Всюду лежали тела убитых. Над ними стаями уже кружили черные птицы.

Вдруг шведские воины стали громко ругаться:

— Какие чудовища! Смотрите, что они делают!

Впереди, на бугре, несколько больших мохнатых медведей, громко рыча, терзали и грызли тела павших в битве воинов.

Корабли пристали к берегу. Медведи, испугавшись, скрылись. Ярл Биргер приказал переносить на корабли тела погибших.

Все бросились исполнять приказание. Число убитых шведов оказалось очень велико: ими были наполнены пять кораблей.

Затем все суда повернули обратно в море, и там, отплыв подальше от берега, шведы прорубили днища погребальных кораблей, и они медленно погрузились в холодные свинцовые волны.

Под заунывные похоронные молитвы монахов шведы, обнажив головы, мрачно провожали глазами исчезающие в волнах высокие стройные мачты.

К вечеру, собираясь группами на корме, несколько воинов вполголоса, чтобы не услышал ярл Биргер, пели старинную песню скальдов:

Кто на берег, братцы, вернется домой
И спросит у него невеста моя,—
Скажите, что сплю я под синей волной...
Пускай не забудет меня!

Им вторили холодный печальный ветер и рокот волн сурового моря.

Шведские народные певцы, скальды, никогда впоследствии не слагали песен о бесславном походе на Русь надменного ярла Биргера, разбитого двадцатилетним новгород-

ским князем Александром, поднявшим на защиту родной земли всю дружину и всех беззаветно преданных своей родине смелых русских людей.

Но наши сказители и былинники не забыли подвигов и заслуг молодого новгородского князя, прозвав его «Александр Невский», «Александр — грозные очи», «Александр — грозные плечи» и «Александр непобедимый», и в своих сказах и былинах говорили о том, как юный князь, всегда одерживая победы, стоял на защите родной земли.

ГЛАВА VI

НЕПРИЗНАННЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ

СПОР НА БОЛЬШОМ ВЕЧЕ

Оба вечевых колокола — и на Софийской и на Торговой стороне — с утра яростно вызванивали, созывая народ на большое вече. Все новгородцы боялись раздоров во время вечевых сборищ, иногда кончавшихся схватками.

Некоторые надеялись, что в этот день, согласно древнему обычаю, по улицам будут выставлены столы и все станут пировать: есть, пить и веселиться по случаю нежданной победы над шведами.

Возможен был и другой повод для созыва веча: многие именитые бояре смертельно враждовали между собой, и преданные им новгородцы уже засучив рукава ожидали, когда начнется встань. Вся площадь волновалась и шумела. Но на этот раз причина созыва веча была иная.

Несколько новгородцев стали, захлебываясь, кричать, что битва на Неве была неправильная, что со шведами можно и нужно было поладить миром: они-де везли богатые товары, ценные сукна, сладкие вина, а доставить их к месту в Новгород так и не удалось, так как молодой княжич Александр, беспричинно напав на них, разгромил все шведское войско и разграбил их корабли.

Другие спорщики ругали и опровергали первых, говоря, что нельзя было спокойно и беззаботно доверять большому войску отлично вооруженных иноземцев, которые ехали, конечно, не для торговли, а чтобы водвориться хозяевами в новгородских землях.

— Князь Александр похвально сделал, что разбил дерзких пришельцев, но он повинен в другом,— говорили третьи,— в том, что, распалясь жадностью, присвоил все шведские товары и роздал их только своим дружинникам, а нас, прочих новгородцев, оставил ни при чем.

На прилегающих к площади улицах тоже разгорались споры.

Некоторые монахи-черноризцы обвиняли князя

в крайней, непомерной гордости, в том, что, по-видимому, он себя одного считает победителем шведов.

— Никогда бы княжич в битве со свейскими воинами не справился,— поучал мрачный тощий монах, взобравшийся на груду бревен.— Чудо чудное свершилось: многие люди богомольные и праведные видели своима очима, что на помощь князю прилетели сонмы ангелов и архангелов и, по великой милости божьей, поражали огненными мечами нечестивых иноземцев. Сами воины созерцали все это. Не княжич Александр, а небесное воинство опрокинуло вражеские шатры, разметало как пыль шведскую рать. А оставшиеся в живых иноверцы, полные ужаса, одни разбежались по лесу, а другие, взобравшись на корабли, уплыли обратно в свою далекую землю.

Вече шумело. Однако крики еще более усилились, когда бояре стали требовать появления на вече победителя — непокорного и самовольного князя Александра Ярославича. За ним отправились выборные, и скоро все увидели знакомую высокую складную фигуру Александра, шагавшего в сторону вечевого помоста. Общее ликование и крики вызвал шедший за князем дружинник Гаврила Олексич в шведских желтых сапогах выше колен с огромными золотыми шпорами.

— Гляньте-ка, наш Гаврила нарядился свейским боярином!

Александр поднялся на каменный помост и сперва как будто равнодушно выслушивал обвинения, с которыми на него обрушивались некоторые бояре и их сторонники. Он тихо сказал что-то стоявшему близ него Гавриле Олексичу, который быстро ушел и вскоре вернулся с полусотней переяславльских дружинников. Они растолкали народ и, опираясь на тонкие копья, выстроились близ ступеней помоста.

Александр высоко поднял руку, и по всей площади пронеслись крики бирючей:

— Слушайте, вечники! Тише, православные! Князь Александр Ярославич вам слово скажет!

Толпа сгрудилась еще теснее. Александр выпрямился и заговорил медленно и четко:

— Господин Великий вольный Новгород! Вы сами меня призвали править вами. Думал я сперва, что разговоры наши будут толковые, деловитые... А мне приходится слушать здесь всякий вздорный лай бессовестных подвывал. Не будь здесь такого шума, то вы бы все услышали, как в глубоких карманах некоторых переветников звенит сереб-

ро, которое им туда отсыпали немецкие или шведские торговые гости... Честно ли я сделал, что побил иноземцев? Пусть один из вечевых писцов прочтет вам ту бесстыдную грамотку, какую прислал мне вражеский воевода, зять шведского короля ярл Биргер.

Александр вынул из-за пазухи свернутое в трубку шведское послание с болтавшейся на шнурке синей печатью, развернул его и передал подошедшему старому писцу. Тот приблизил грамоту к глазам, зычно крякнул и, откашлявшись, стал читать громким, сиплым голосом:

— «Князь Александер! Если сможешь — сопротивляйся! — Писец остановился, посмотрел направо и налево, покачал головой и, снова кашлянув, продолжал: — Если можешь — сопротивляйся...» Вот оно как! «Но я уже здесь и пленю землю твою! *Ярл Биргер*».

Несколько рук протянулось, желая взять грамотку, но писец оттолкнул их локтем и вернул письмо Александру. Тот снова обратился к вечу:

— Слыхали, что пишет заносчивый шведский воевода? Пленить нашу землю грозит! Гляди, куда махнул! А посему с теми, кто меня бранит за то, что я шведскую рать отогнал, я даже спорить не стану, а просто крепко запомню лисьи морды тех, кто так горячо распинался за иноземцев. Этих переветников судить буду я сам и всех засажу в поруб... Ну-ка, помолчите малость! Пусть говорит кто-либо один.

— Ноздрилин! — раздалось несколько голосов.

— Хорошо! — сказал Александр.— Послушаем, что надумал боярин Ноздрилин.

Полуседой, сутулый, с узкими, хитрыми, как у хорька, глазками и румяными щеками, в долгополом узорчатом кафтане, старый боярин поднялся по ступенькам и стал рядом с Александром. Тот резко отшатнулся.

— Други мои милые, Господин Великий вольный Новгород! Здесь немало уже говорилось о самоуправстве молодого княжича. Не раз жаловались, что он не почитает старых бояр и делает что ему вздумается. Ох, зело сие для нас опасно! Княжич Александр еще уноша. Послушал бы советов опытных бояр. А пока не видать этого, я предлагаю Великому Новгороду то же самое, что мы когда-то потребовали от отца его, князя Ярослава Всеволодовича: чтобы княжич Александр Ярославич поклялся на святом евангелии строго соблюдать грамоты Ярославовы и древние уставы новгородские. И еще потребуем от него клятвы, чтобы

без согласия веча и посадника княжич Александр самочинно войной ни на кого не шел.

Толпа затихла, выжидая ответа юного князя, которого Ноздрилин настойчиво называл уменьшительным именем «княжич».

— Что мне вам ответить на это? — сказал Александр.— Когда ко мне примчались изгоном лесные сторожа на сменных конях и поведали, что в устье Ижоры прибыли свейские воины на тридцати пяти кораблях, и заносчивый воевода прислал мне вот эту грамотку,— князь высоко поднял письмо и снова спрятал его за пазуху,— то я тогда понял, что нет уже времени думать да гадать и спорить на вече, а надо немедля браться за мечи и топоры и выгонять незваных гостей!

— Верно, Ярославич, верно! — раздались голоса.

— С мечом в руке торговать не ездят! — продолжал Александр.— Хорошо запомни это, хитроумный Ноздрилин! Я поговорил и с посадником, и с тысяцким, и с владыкой Спиридоном. И что же они мне сказали? Какой совет изрекли? Надо-де сперва подумать и посоветоваться, что нам делать, как ласковей принять непрошеных гостей. Чуя беду неминучую, я поднял дружину, прихватил еще смелых охочих молодцов, и все мы на борзе двинулись к устью Ижоры. Спешил я, боясь, что узнают вражеские переветники,— он кивнул головой в сторону Ноздрилина,— и оповестят свеев. Моя верная дружина, взметнувшись на коней, вместе с подоспевшими на мой призыв ижорцами примчалась к свейскому лагерю и ночью свалилась, как буря, на иноземных разбойников. С божьей помощью мы разметали позарившихся на наши земли свеев и опрокинули их в реку. Верно ли я сделал?

— Верно! Верно! Правильно сделал! — зашумело вече.

— А тем, кто меня винит, почему-де я дозволил воинам поделить добычу, захваченную во вражьем лагере, а не приказал притащить ее сюда, чтобы раздать лежебокам, тем, кто отсиживался на печи в час боевой грозы,— то им отвечу, что так я и впредь стану делать!

С разных сторон послышались крики боярских подвывал:

— Ты не наш! Уходи от нас! Ты сам по себе, а мы сами по себе! Найдем другого князя, он будет почитать древние грамоты новгородские!

Крики сторонников Александра стали заглушать первые:

— Ты, пресветлый князь Александр, наша защита! Ты не отдал иноземцам нашей родной земли! Исполать тебе[1], наша надежда! Так же и впредь поступай!

Александр, нахмурясь, смотрел на напиравшую толпу. «Какие разные лица! Одни приветливые, ласковые, с дружеским взором, другие злобные,— кажись, поддайся им, тут и разорвут».

А хриплые голоса продолжали кричать:

— Ты не наш! Уходи из Новгорода! Не хотим тебя!

И тут же он вдруг услышал странно знакомый женский голос, нежный и душевный, совсем где-то близко:

— Сокол ты наш ясный! Никуды не уходи! Пропадем мы без тебя, родимый!

Кто это сказал? Не эта ли девушка с узорчатым темным платком, надвинутым до собольих бровей? Но она уже затерялась среди напирающей толпы зипунов и кафтанов.

Несколько человек взобрались на вечевой помост. Крича и размахивая кулаками, они лезли на Александра. Князь обернулся и сказал два слова своим дружинникам. Те, с пронзительным гиканьем выхватив мечи, взмахнули ими над головами и бросились вперед на помост, отчего крикуны испуганно скатились обратно в толпу.

Александр поднял руку, и всюду снова закричали:

— Слушайте! Слушайте!

Площадь затихла. Александр заговорил отчетливо, стараясь скрыть кипевшее в нем бешенство:

— Выслушайте теперь мой последний сказ, хлебосольные и слишком доверчивые к недругам братья новгородцы! Хоть недолго потрудился я для Великого Новгорода, но зато при мне никто нас не бил, а мы сами били и рыделей немецких, и разбойников литовских, и шведов, и чудь, и емь. За это, что ли, хотели вы в награду посадить мне на шею немецкого кума Жирославича или хитреца Ноздрилина и их горластых подручных? Надоело мне все это! Довольно! Ухожу от вас! В Переяславле мне легче будет приручать медведей и укрощать норовистых коней, чем слушать ваши поучения и попреки! Здесь же останется на страже мой старый верный друг — вот этот вечевой колокол. И тебе, медный недремлющий звонкий глашатай, я поклянусь: знай, что если ты начнешь гудеть и бить тревогу во дни беды народной и звать меня, то я услышу твой голос и в Переяславле, и в Суздальских лесах, и во Владимире

---

[1] Исполать тебе — древнее выражение, переделанное с греческого, означающее «на многие лета».

и примчусь к тебе на помощь, на борьбу с недругами, на защиту родной земли! И я знаю, что все честные русские люди пойдут за мной. Всем, кто был мне опорой, и впредь дай бог радости, прибыли и удачи! А тем, кто только лукавил и мне вредил, скажу на прощанье: не будет вам удачи!

Резко повернувшись и не оглядываясь, отбрасывая встречных, просивших его остаться, Александр быстро направился к своим хоромам.

— Кремень! А жаль, что покинул нас! — говорили, расходясь, новгородцы.— С ним мы были как за каменной стеной!

«УКРОЩАЙ ИСПОДВОЛЬ, НЕ СГОРЯЧА!»

Александр Ярославич покинул Новгород и уехал в родную вотчину отца, Переяславль-Залесский. Однажды во дворе княжеской усадьбы он укрощал большого, еще нескладного жеребчика, стараясь научить его ходить в хомуте и оглоблях. Темно-серый рослый конь пятился, бросался в стороны. Два конюха держали его под уздцы. Княжич сидел на низком передке телеги, упираясь в землю длинными сухопарыми ногами в кожаных постолах, и то натягивал, то отпускал ременные вожжи.

— Не нажимай, не толкай! Легче! Легче! — покрикивал конюхам Александр.— Укрощай зверя исподволь, не сгоряча — так меня и князь-батюшка учил. Веди жеребчика сперва вокруг двора, пусть приобыкнет.

— Лютый зверь, а не конь! — отвечал дюжий конюх.— Все укусить норовит.

Жеребец, двухлетка, сильный и костистый, мышиного цвета, подогнув голову, грыз железные удила, поводя свирепо глазом, косясь назад на Александра, который то осторожно подхлестывал вожжами по бокам, то стегал витнем, когда конь, поддав задом, выбрасывал ногу и попадал ею за оглоблю.

Третий конюх заботливо, чтобы не спугнуть, поджимал ногу коня, выпрастывал ее и ставил между оглоблями.

Медленно конюхи водили жеребчика вокруг княжьего двора. Иногда конь пытался подняться на дыбы, вырваться, но постепенно понимал, что его спасение в медленном шаге вдоль бревенчатого забора. Только проходя мимо крыльца с раскрытой дверью, из которой валил густой

дым — стряпухи топили печь на творожные сканцы[1],— конь бросался в сторону, увлекая всех за собой.

— В поле бы его, на волюшку! — говорил один конюх.

— Рано еще,— отвечал Александр, с трудом удерживаясь на мотавшемся из стороны в сторону передке телеги.

— Он те покажет волюшку! Пусти его только в поле!..

В это время во двор вошел чужеземец в диковинной зеленой с красными рукавами одежде, в черных длинных, до колен, чулках и в башмаках из желтой кожи с пышными завязками. Он остановился у ворот, сняв широкополую шляпу, и ждал, пока на него обратит внимание князь Александр. Возле чужеземца стоял его слуга с кожаной сумкой и держал на привязи рыжего криволапого пса с тупой мордой и торчащими наружу клыками. Гость заговорил мягко и вкрадчиво, слегка нараспев:

— Вот пришел я, скромный путник из далекой земли, чтобы принести доброжелательный привет и пожелания высшего блага тебе, о достойнейший принц, отмеченный мужеством, воинской и другими неисчерпаемыми доблестями!

— В чем дело? — холодно прервал Александр.

— Зачем вы мучаетесь? — сказал чужеземец.— Этот прекрасный конь хорош только под седлом. А телегу он в момент изломает. В нем нетерпенья много.

— Ладно! Пой другому! — ответил Александр.— Когда научится в оглоблях ходить, тогда и в поле и в бою не сплошает.— Александр натянул поводья, остановился и обратил внимание на рыжего пса:

— Это что за чудище? Продаешь?

— Твоему милостивому достоинству привел я в дар этого рыжего дьявола.— Держа шляпу в руках, чужеземец подошел ближе.— Каждого волка загрызет.

— А ну-ка, подведи его ко мне.

— Осторожно, достоуважаемый принц Александер! Чужих он не любит. Если же вы сами его кормить будете, то он верным сторожем вашим станет и на охоте в нужную минуту выручит.

Александр встал и подошел к чужеземцу.

— Ты сам из какой страны будешь? — спросил он, не сводя пристального взгляда с рыжего пса, который ощетинился и глухо заворчал.

— Я торговый гость, именем Конрад, и заодно я книжник из славного Кракова, земли Ляшской. Пришел к вашей

---

[1] Сканец — тонко раскатанная лепешка в масле.

благосклонной милости с просьбой, если вы меня выслушаете.

— Это не ко мне обращаться следует, а к моему батюшке, когда он вернется, к переяславльскому князю Ярославу Всеволодовичу: он здесь хозяин.

— Знаю, высокочтимый принц Александер. Я сначала вас в Новгороде искал. Жил я в нем раньше когда-то и там по-вашему, по-русски, говорить научился. Теперь хотел бы у вас получить разрешение свободно ездить по деревням и закупать кожи, волос, пеньку, сало.

— Ишь чего захотел! Откуда у нас сало? После татарского погрома скотина едва ноги волочит.

— Что-нибудь татары да оставили. Не всё же увезли. А мы, люди торговые, уж смекнем, что купить, что продать. Только бы вы нам спутника надежного проводником дали.

— Молодцы здесь удалые, только славушка лиха! — добавил стоявший вблизи конюх.

— Я тебе, пожалуй, помогу,— сказал Александр.— А ты мне поможешь. За пса лютого сколько возьмешь?

— Ничего не возьму, этому псу цены нет. Примите в подарок от моего чистого сердца.

— Я тебе за это рыжее чудище подарю медвежью шкуру. Намедни я поднял на рогатину еще одного медведя — быка. И провожатого с тобой пошлю, одного из своих ловчих, чтобы он всюду помог проехать и от лиходеев встречных уберег. А ты мне, любезный, вот чем удружи...

Лицо иноземца стало строгим, брови внимательно сдвинулись.

— Что прикажете, принц Александер? Все, что могу, сделаю.

— У моего батюшки есть старый монах-летописец, отец Пафнутий. Жалуется он, что писать ему уже не на чем. А записи он ведет изо дня в день очень важные: какие церкви где строятся и какому святителю, какой князь родился али преставился, хлеб ли, ячмень ли стали дороже али упали в цене. Так не достанешь ли ты для этого монаха-летописца харатьи хорошей сколько можешь или цельную книжицу, еще не исписанную?

— Почему для вашего высокого достоинства не принести? Дам я для записей, для хроники[1] книгу самую доброт-

---

[1] Хроника — так назывались западные иностранные летописи.

ную — в переплете из телячьей кожи с медными застежками. Будет новая, чистая, неисписанная книга. Сегодня же принесу.

— А в цене сойдемся,— сказал Александр.— Других забот у тебя нет?

— Если не забота, то вопрос есть. Можно ли мне или другому же нашему иноземному купцу проехать в низовья великой реки Волги в стоянку хана татарского? Не поможете ли хотя бы советом?

— А ты не побоишься проехать по безлюдным берегам?

— Наши торговые смельчаки, чтобы провезти свой красный товар, или наши мудрые ученые книжники, чтобы описать жизнь иноземных владык, на опасности не смотрят и готовы проехать даже на край света. Трудна ли дорога к понизовьям Волги, к Хвалынскому морю?[1]

— Не легкая! Обожди. Одному ехать зря. Не доедешь. Вот если наш обоз туда пойдет, на плотах и ладьях повезет хану татарскому наши даровья́, тогда и вашим людям торговым или мудрецам книжным вместе с ними легче будет пробраться. А как тебя хан татарский примет — честь честью или твою голову срубит,— за это ручаться не могу. Да к тому же моя слава у хана Батыя, пожалуй, лихая слава.

— А что это значит?

— Сам смекни, что такое лихая слава у татар. Это когда за мои ратные дела, за мое радение на пользу родины кривой татарский меч уже занесен над моей головой... А ты приходи ко мне вечерком с твоей летописной книгой. Медом я тебя угощу, заодно и потолкуем... Эй! Спросите-ка у стряпухи говяжью кость, да с мясцом. Надо нового пса, Рыжка, приручить.

Один из конюхов побежал вокруг дома и вскоре вернулся с большой говяжьей костью. Александр уверенно подошел к рыжему псу. У того ощетинился загривок, но Александр взял в полу своей длинной рубахи конец ремня, на котором купец держал собаку, и протянул другой рукой говяжью кость. Пес завилял хвостом, и шерсть на его спине улеглась. Он опустился на землю и, положив кость между передними лапами, принялся ее грызть.

— Нового хозяина почуял,— сказал один из конюхов.— У твоего хозяина, Рыжуха, рука крепкая и верная.

---

[1] Хвалынское море — Каспийское море.

В ПЕРЕЯСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМ КРУЧИНЯТСЯ

Летописец князя Переяславльского старый монах Пафнутий вписывал на большом листе толстой книги в желтом переплете телячьей кожи:

«...В лето 6746[1] приидоша иноплеменицы, глаголемые татарове, на землю Рязанскую, множество без числа, аки прузы...[2] И все люди секуще, аки траву...»

Он остановился, вытер гусиное перо о полуседые волосы, смазанные лампадным маслом, и прислушался. Кто-то настойчиво ударял в дверь.

— Отче Пафнутий, отомкни задвижку! Это я!

Сильным, тяжелым кулаком кто-то бил в старую потемневшую дверь. Она от древности казалась сморщенной, столько в ней образовалось трещин.

Старик поднялся и встревоженно спросил:

— Кому до меня надоба?

— Да это я, Александр!

— Сейчас, сейчас, родимый!

Послышался кашель, дверь распахнулась, криво повиснув на ременной петле, и высокий князь Александр, согнувшись насколько мог, боком протиснулся в келью монаха.

Отец Пафнутий, в выцветшем подряснике, перетянутом кожаным поясом, в черной камилавке на растрепанных волосах, заплетенных на затылке в косицу, стоял, всматриваясь моргающими глазами из-под нависших темных бровей. Разглаживая широкую полуседую бороду, ниспадавшую на грудь, монах низко поклонился, коснувшись толстыми пальцами неровного бревенчатого пола.

Александр быстро окинул глазами келью. Заметил ложе около глиняной правой стены («Задняя сторона печи... Значит, греется»); тусклое оконце, затянутое бычьим пузырем («Как старик пишет? Несподручно здесь ему!»); слева на бревенчатой стене, на деревянном крюке,— длинная черная ряса, желтый бараний полушубок и грубое домотканое полотенце с красными узорами на концах; стол в виде двух досок на широких чурбаках; на столе — толстая книга в потемневшем кожаном переплете, тут же — глиняная чернильница с гусиным пером, краюха житного хлеба, деревянная корявая большая расческа со сломанными зубцами; на полу — деревянный поставец с по-

---

[1] В лето 6746 — в 1238 году, когда татары вторглись в русские пределы и пытались добраться до Новгорода.

[2] Прузы — саранча.

тухшей лучиной, под ней — глиняная миска с водой и рядом — набросанные еловые ветки, на которых лежит связка тонко нащепленных лучин.

Александр хотел выпрямиться, но стукнулся головой в поперечное бревно — матицу — низкого закоптелого потолка. Полусогнувшись, князь несколько раз перекрестился на небольшой образ, прикрепленный в углу, где перед ним, на аналое, лежала большая церковная книга с замусоленными до черноты нижними углами страниц.

Перед иконой теплилась глиняная лампадка, подвешенная на трех железных цепочках, спускавшихся с потолка. Огонек фитиля мигал и потрескивал, чадя тонкой струйкой дыма.

— Здравствуй, сынок, князь Александр Ярославич! Жив буди на многие лета! — Пафнутий снова поклонился низко, коснувшись пальцами еловых веток на полу.— Что же ты не предупредил? Я бы приготовился. Оболокся бы в рясу. Принес бы тебе святую просвирку. А то я встречаю тебя нечесаный, аки зверь лесной.

Александр, окинув живыми веселыми глазами все кругом, подыскивал место, куда бы сесть, заметил, что ложе монаха сделано из переплетенного хвороста и прикрыто овчиной («Пожалуй, не выдержит»), и уселся на широком пне, служившем Пафнутию столиком для брашна (еды).

— Как здравствуешь, отче Пафнутий? Пришел тебя проведать. Почему давно в дом моего батюшки не жалуешь? Много ли пишешь? Может, в чем скудость одолела?

Монах кланялся и говорил:

— Милостью великого князя, батюшки твоего, все есть у меня: и хлеб и рыба к празднику. Только вот соли редко вкушаю. Иногда молельщики кое-чего приносят: молочка топленого али лучку. Всё есть, одна только у меня кручина...

— Какая кручина? Говори!

Голос князя так громко гудел, что слышно было, как в избе затихли голоса и подле двери затопали шаги любопытных. Послышался шепот:

— О чем там бают? Сам княжич пришел своими ножками к отцу Пафнутию.

Князь Александр встал, прикрыл плотно дверь и задвинул ее на задвижку. Он снова присел на чурбаке.

— Харатьи́ нет! — сказал монах.— Вся прикончилась. Записи делаю на священной книге, где по краям просветы.

— И это вся твоя кручина? Эх ты, отче! А лет тебе

сколько? Семьдесят? А сердце у тебя в груди стучит и только о харатье кручинится?

Монах опешил. Крепко задумался. И косматые брови у него то сжимались, то раздвигались, как усы у таракана, от непосильной задачи понять, что хотел сказать князь Александр.

А молодой сухопарый богатырь, положив большие крепкие ладони на расставленные колени, пристально вглядывался в лицо монаха. Вдруг он обернулся, прислушался и крикнул зычным голосом:

— Эй, кто там под дверью стоит? Уходите, пока я вам головы не расшиб!

Топот убегающих ног и стук двери показали, что грозный оклик могучего гостя напугал любопытных.

Князь продолжал приглушенным шепотом, наклонясь к мясистому уху монаха:

— Ты, отче, раньше был воином и преславным воеводой. Не ты ли мне не раз сказывал, как в поле полевал, как бился с литовцами, и с булгарами, и с половцами, и даже на Волге и по морю Хвалынскому плавал?

— Было, все было, о господи! — вздыхал, кивая головой, старик.

— Есть тебе о чем вспомнить, есть что записать,— сказал Александр.— А сейчас-то писать не о чем? Туга[1] одолела?

— Вот что я записал: «В лето от сотворения мира шесть тысяч семьсот сорок восьмого (1240 г.) приидоша свеи в силе велице, и мурмане, и сумь, и емь в кораблех множество много зело. Свеи с княземь и бискупы своими. И сташа в Неве, усть Ижоры, хотяче восприяти Ладогу, и Новгород, и всю область Новгородскую... Князь же Олександр неумедли ни мало с новгородцы и с ладожаны, приде на ня, и победи я силою святыя София... и ту бысть великая сеча свеем... и в ту нощь, не дождавшись света, посрамлени свеи отидоша...»

— Да, верно, так и было! —сказал задумчиво Александр.

— А ты, князь, не кручинься, что распрелся[2] с новгородцами. Они же опять к тебе с поклоном придут.

— Перестань, отче! Разве твоя голова уже на плечах плохо держится? Ветром ее, что ли, качает?

— Прости, княжич, меня, скудоумного! В толк я не возьму, к чему ты речь клонишь. О какой туге говоришь?

---

[1] Туга — скорбь, тоска.

[2] Распрелся — рассорился.

— Проснись, отче Пафнутий! Сердце-то у тебя разве не русское? Или ты забыл, из какого корня вырос, из какого колодца воду пил? Не из рязанского ли?

Монах поежился, опустил глаза, снова поднял и прошептал:

— Верно сказал: из Рязани я родом!

— А где Рязань?

— Нет Рязани! Воронье только летает на яру, где стояла родная Рязань. Боже, помяни ее защитников, павших на стенах рязанских и буйные головы свои под ними сложивших!

Князь Александр заговорил с глубокой грустью:

— Была Русь привольная, многолюдная. Лежит она теперь придавленная, сиротливая. Свободно по ней ветер гуляет и ездят татарские баскаки, наши головы пересчитывают, сколько дани на кого наложить.

— Верно, княже, верно! Неужели ты дерзаешь так мыслить? — И старик перекрестился на икону, прошептав: — Боже милостивый, обереги княжича Александра от неверного шага!

— Помолчи, отче! Послушай мою кручину. Думаешь, я из Новгорода уехал без памяти, без домысла, чтобы у моего отца жеребцов объезжать? Сердце мое не вытерпело! Иные бояре новгородские родину забыли. А некоторые псковские бояре даже в кафтаны иноземные оделись, шапки набекрень сдвинули и на площади без стыда похаживают, словно гости заморские. А враг злобный, жадный напирает на нас отовсюду: и от свейских земель, и от немецких крепостей. И литовцы радуются, что Русь окровавленная лежит, в муках корчась, в голоде, разрухе и скорби. Враги замыслили навсегда стереть с земли нашу милую Русь, чтобы внуки наши забыли, какая была она и красная и пресветлая.

— Верно, княже, верно! — продолжал кивать седой головой монах и, подняв полу рясы, вытер щеки, по которым стекали слезы. Он вдруг выпрямился и пристально взглянул на Александра.— Неужто, княже, ты замыслил поднять меч на него... на татарина?

— Чуден ты, отче! Разве я к этому речь веду? Разве сохранилась на это сила в руках? Нынче хан татарский сильнее и свея, и немца, и литвина, и кого хошь. Он теперь до конца вселенной с победой пройдет.

— О господи! Когда же конец нашему долготерпению?

— Когда? Еще не скоро! Дай, господи, только бы нам выдержать. А я сыну накажу, пусть он и своему сыну

передаст, чтоб затаил в сердце, как надо готовиться и строить Русь крепкую, единую и дружную, чтобы, когда день великий настанет, тогда мечи были бы вострые, очи зоркие и рука бы не дрогнула.

— Исполать тебе, княже Александр, за слово твое! Ты еще уноша, а говоришь, как воин, как муж многоопытный.

Александр помолчал и вдруг спросил, впиваясь горящим взглядом в задумчивое и печальное лицо старого монаха:

— Скажи мне, отче Пафнутий, что такое слава?

Старик помолчал немного, потом тихо, но уверенно сказал:

— Слава — это любовь народная. Слава — это гордость народная, это радость, что есть у нас богатыри, что смело стоят они за родную землю.

— А что такое мудрость?

— Я не раз думал об этом и вспоминал тех, кто поступал мудро. И я смекаю так: ежели ты делаешь то, что нужно, то ты делаешь мудро. А ежели делаешь то, что не нужно,— ты безумец!

— Верно, отче! А если у тебя много врагов: и сильных, и самых сильных, и всяких. Что бы ты сделал?

— Не знаю, княже. Стал бы я тогда господу молиться: «Да минует меня чаша сия!»

— Эх ты, отче Пафнутий! А еще был раньше храбрым воеводой!

Раздался сильный стук в дверь. Монах подошел к двери и спросил:

— Кто там? Чего надо? Ась?

Старик отодвинул засов и повернулся снова к Александру:

— Княже, княгинюшка Александра прислала Гаврилу Олексича.

Дверь распахнулась. На пороге стоял дружинник и, весело улыбаясь, говорил:

— Княгинюшка Брячиславна приказала, чтобы я не отходил от тебя, княже, пока ты домой не придешь.

Александр сидел, глубоко задумавшись. Монах осторожно и ласково коснулся старческой рукой богатырского плеча:

— Ну и строгая же у тебя княгинюшка!

— Строгая, да отходчивая! Спасибо тебе, отче Пафнутий. Пирогов постных с рыбой сейчас Гаврило принесет. А заодно пришлю я тебе и книгу новую — даст бог, еще впишешь в нее не одну нашу победу.

— Да хранит тебя господь, княже Александр, и даст славу немеркнущую!

ПОЕЗДКА В СТАРЫЙ БОР

Несколько саней потянулось гуськом в сторону леса. Каждые сани были запряжены тремя небольшими, но крепкими княжескими коньками. На переднем сидел верхом детина в коротком полушубке и собачьем треухе и свистом и гиканьем подгонял коней. Княжич Александр, завернувшись в медвежью шубу, лежал в коробе передних саней. Он часто приподымался, осматривал затихшие поляны, давал указания конюхам. Еще накануне были посланы вперед ловчие, чтобы проложить след в глубоком снегу и приготовить встречу на месте задуманной охоты. Кони мчались. Слышались скрип деревянных полозьев, возгласы конюхов.

Иногда попадались небольшие затихшие селения. Избы, казалось, совсем утонули в снегу. Жители попрятались. Кое-где сквозь натянутые пузыри тускло светились желтые огоньки лучин. Доносился обрывок женской песни. Стаями вылетали лохматые собаки и, ныряя в снегу, некоторое время мчались рядом с санями, хриплым яростным лаем провожая незнакомых им путников.

Несколько раз проезжали через замерзшие озера, где неподкованные кони скользили по гладкому льду. Свежий морозный воздух, запах сыромятной кожи, вспотевших коней и смолистый аромат вековых сосен и елей дурманили Александра, и этот путь казался ему необычайной сказкой.

К ночи вдали показались багровые костры и темные фигуры поджидавших охотников.

Они были в коротких полушубках, в кожаных лаптях, шерстяных онучах, перевитых ремнями до колен. И меховые рукавицы, и шапки с наушниками — все это казалось удобным и для охоты и для войны.

Выйдя из короба, княжич Александр подошел к костру, где вокруг огня были разостланы звериные шкуры, а на углях дымилась горячая похлебка в глиняных горшках; кругом были расставлены деревянные блюда с лосиным окороком и пирогами.

Александр подозвал к себе старшего из ловчих, Никиту Корня:

— Как зверь?

Никита Корень, богатырского вида, с большой русой

бородой, запрятанной за воротник, опустился на шкуру возле Александра и стал шепотом рассказывать.

— Вся семейка здесь,— говорил Никита.— И старый бык-шатун сидит в берлоге. По временам встает на дыбки и смотрит в заиндевевшую щель под упавшей кокорой, не грозит ли ему кто. Зверь уже почуял, что люди близко, и выжидает. А его хозяюшка, старая медведица, с пестуном и двумя медвежатами залегла подальше, в песчаной яме под буреломом.

— А они до времени не уйдут?

— Я поставил охотников кругом. Если звери забеспокоятся и встанут, то наши молодцы их погонят в твою сторону.

Александр, сдвинув брови, всматривался в Никиту.

— Какой медведь: старый стервятник?

— Старый шатун. И улегся он поздно. С ним сладить будет нелегко. Осенью он уже задрал одного мужика, ехавшего за дровами. Всю кожу с черепушки снял.

— Будет веселая потеха! Придется всем показать свою силушку. А вы уж глядите в оба, чтобы медведь никого не обидел. Будет вам тогда позор и стыд, что друг друга не уберегли.

Вдруг издали послышался голос:

— Гей, ребятушки! Мы ищем князя Александра Ярославича!

— Идите сюда!

Из темноты выехали на свет костра три всадника. Соскочили с коней; один взял поводья и отошел с конями в сторону, двое прошли прямо к огню. Они были в нарядных зеленых шубах чужого покроя, у пояса — прямые мечи, отделанные серебром. Сняв шапки, отороченные соболем, оба незнакомца остановились, освещенные вспышками багрового пламени.

Александр быстро поднялся и направился к гостям.

— По платью вижу, что издалека приехали. Не с Волыни ли, из Галича?

— От князя Михаила Черниговского. Шлет тебе наш князь гостинцы: сивого коня ветроногого и сулею угорского вина.— Старый гость, указывая на молодого, добавил:— Князь Михаил прислал своего старшего сына Ростислава, а я при нем нахожусь.

— Проходите к нам, гости желанные! Отведайте нашего хлеба-соли.

Александр усадил прибывших на почетное место — на шкуру большого медведя и персидский цветной ковер. Он

сам наливал гостям из глиняного кувшина в серебряные ковши золотистый мед и темное вино мальвазию и первый поднял чару за здравие славного князя Черниговского. Выпив до дна, Александр смотрел, чтобы прибывшие тоже пили честно, до последней капли, и подмигнул Никите Корню, чтобы тот занялся их угощением.

— Сегодня вы тут, в лесу, переночуете, а завтра с рассветом пойдем поднимать зверя. Я приготовил отменную охоту и покажу моим дорогим гостям, как наши удальцы добывают медведя, шатуна-людоеда.

Черниговский боярин стал шептать Александру:

— А мы к тебе, княже, по делу приехали. Спешное, жгучее дело.

Александр, подумав, ответил:

— Завтра будем говорить о деле — утро вечера мудренее. А сегодня отдохнем. Жаль только, что петь нельзя здесь — можно зверя спугнуть.

Постепенно лагерь охотников затихал. Одни продолжали сидеть возле костров, подбрасывая сучья в огонь и рассказывая самые необычайные случаи на охоте, другие ложились на вороха наломанных веток и засыпали.

Александр поднялся, приказал достать из саней и принести запасную меховую шубу и прикрыл с головой своего молодого гостя. Тот крепко заснул, опьяненный морозным воздухом и выпитым вином.

Когда гость проснулся, уже светало. Александр, нагнувшись, тряс его за плечо:

— Если, княжич, ты не раздумал идти на зверя, то сейчас пойдем его поднимать. А может быть, ты хочешь остаться здесь, возле огня?

Княжич Черниговский вскочил бодрый, готовый ко всяким опасным приключениям. Опоясываясь ремнем с прямым мечом, он с удивлением заметил, что на Александре меча нет, а только короткий широкий нож и в руках копье с поперечиной, перевитое ремнями.

— Ты не берешь с собой меча?

— С медведем нужно иметь свою сноровку: это зверь проворный и напористый. Его удержит только такая рогатина.

Молодой черниговец все же не решился оставить меч и, захватив лук и колчан со стрелами, последовал за Александром, углубляясь в лес.

Там пришлось встать на лыжи. Александр легко заскользил вперед, останавливаясь, чтобы не оторваться от

гостя. Пришлось идти довольно долго узкой лесной тропой, местами с трудом продираясь между елями.

Солнце, багровое и негреющее, виднелось между засыпанными снегом деревьями; розовые лучи скользили по голубоватым сугробам снега.

Александр остановился возле толстой вековой сосны. Снег лежал клочьями на ветвях, а под сосной оставалась сухая площадка, засыпанная желтой хвоей. Здесь поджидал с луком за плечами, опираясь на рогатину, старый охотник. Он молча указал рукой в сторону, где лежали упавшие во время бурелома деревья. Александр внимательно всматривался туда, отыскивая признаки зверя. Он высвободил ноги из лыжных ремней и шагнул на сухую площадку. Все трое стояли в тишине леса молча, полные затаенного волнения.

Александр показал рукой на свои глаза, потом еще раз протянул ее в сторону бурелома. Черниговский князь взглянул в направлении руки, думая увидеть где-то темную шкуру медведя, но там были только кусты, засыпанные снегом. А внизу, под огромным вывороченным корнем, он заметил узкую темную щель и под ней — ледяные сосульки на ветвях, образовавшиеся от горячего дыхания зверя.

В этой темной щели неясно блеснули две точки и мокрый нос затаившегося медведя, который внимательно следил за появлением неведомых людей. Сознавая свою неодолимую силу, он выжидал.

Гость невольно вздрогнул, вытащил из ножен свой прямой отточенный меч и прислонил его к сосне, потом выхватил из колчана три стрелы и переложил их в левую руку.

Александр сделал предостерегающий жест, означавший, что надо выждать.

В это время приблизился отставший от опекаемого им княжича черниговский боярин со своим слугой. Александр безмолвно приказал им остановиться возле другого дерева, потом повел бровями и, взглянув на стоявшего позади ловчего, приглушенным голосом сказал:

— Начинай!

Ловчий выхватил из-за пояса витой турий рог. В тихом неподвижном воздухе прозвучал звонкий призыв, означавший начало охоты.

И вдруг с разных сторон леса откликнулись дикие звуки, грохот трещоток, крики загонщиков:

— Эй, Михайло толстолапый! Полно спать! Выходи! Принимай гостей! Го-го-го!

Зашевелились и затрещали сучья наваленного бурело-

ма, закивала ветвями лежащая елка, и, как темная глыба, запорошенная снегом, свирепо рыча, выскочил из своей берлоги огромный бурый медведь.

С двух сторон с громкими криками выдвинулись из кустов скрывавшиеся там охотники. Медведь бросился в одну, потом в другую сторону, но опять наткнулся на охотников; они орали и звонко стучали дубинками по стволам деревьев.

Медведь заметался и бесшумно понесся, вздымая снег, на ту прогалину, где неподвижно стоял, широко расставив ноги, князь Александр и за ним два черниговских гостя.

Видя несущегося на них зверя, княжич Ростислав натянул лук и пустил стрелу. Она впилась в медведя, и хвост стрелы замотался у него на загривке. Медведь взревел. Могучие звуки, повторяемые эхом, прокатились по лесу. На мгновенье он остановился, растерянно мотая головой и стараясь лапой сбить стрелу, но в это время две новые впились в его мохнатую шкуру. Поднявшись на задние лапы, зверь быстрыми неуклюжими скачками понесся в сторону прогалины.

Черниговский княжич не выдержал. Схватив стоявший рядом меч, он сделал несколько шагов навстречу медведю. Стремительным прыжком зверь упал на человека и подмял его под себя.

— Пегаш! Пегаш! — закричал Александр, бросаясь к медведю и сжимая в руке отточенную рогатину.

Откуда-то из-за кустов с необычайно тонким визгом вылетел огромный пегий волкодав, перепрыгнул через медведя, кувырнулся в снег и, вцепившись в мягкие окорока зверя, стал их яростно трепать.

Медведь, оставив человека, завертелся, стараясь охватить лапами собаку.

Александр, проваливаясь в снег, подбежал к медведю, ткнул его рогатиной в бок и отскочил назад. Он пригнулся к земле, выставив вперед рогатину и придавив ногой нижний ее конец, воткнутый в снег.

Примчались еще две собаки и тоже вцепились в зад медведю. Зверь, обезумев от боли, не знал, на ком сорвать ярость. Увидев перед собой неподвижно стоявшего Александра, он на дыбках, волоча за собой трех собак, решил схватить и разорвать дерзкого противника. Князь уверенно направил конец рогатины в «настоящее место», как говорят охотники,— под левый сосок, и зверь всей тяжестью упал вперед, стараясь лапами достать ненавистного человека.

Рогатина глубоко вонзилась в грудь. Медведь повалился на бок. Подбежавшие ловчие обухами топоров добивали зверя. Обильно вытекавшая кровь алой струей окрашивала голубоватый снег.

Александр, оставив медведя, подбежал к неподвижно лежавшему черниговскому княжичу. Сильный удар медвежьей лапы лишил его сознания. Вся шуба на спине была разодрана от плеча до пояса, и виднелась стальная кольчуга.

Княжич медленно приходил в себя, еще плохо соображая, что с ним произошло. Его уложили на сухой прогалине. Ловчий принес глиняную сулею и налил вина в серебряный ковш. Александр сам большими длинными пальцами разжал стиснутые зубы княжича и ждал, пока тот не начал жадно пить.

В полузакрытые глаза возвращалось сознание. Нахмурив брови, молодой черниговский княжич осмотрелся и вскочил.

— Где медведь? — были его первые слова.

Александр засмеялся:

— Уложил ты его своим мечом, своей смелой рукой. Вот он валяется. Смотри, с каким матерым зверем справился.

— А где мое оружие?

Старый боярин подал меч. Руки у него дрожали, он еще не верил, что его питомец спасся от страшной беды.

В это время к Александру быстро подбежал на лыжах охотник.

— Прости ты нас, княже! Не смогли мы удержать до твоего прихода медведицу. Уже мы стрелы в нее пущали, а она с медвежатами все же ушла. Но далеко не скроется, мы ее разыщем!

— Жаль, что на нас ее не погнали!

— Как услышала матка, что заревел ее хозяин-бык, выскочила из берлоги как полоумная. Где же с ней было совладать? А убить ее ты же не дозволил.

— Ладно и так! Хорошо, что гостя мы оберегли.

Александр отошел к стоявшим в стороне черниговцам. Княжич прошептал:

— Пресветлый князь Александр Ярославич! Дозволь слово сказать, пока другой никто нас не слышит. По важному ведь делу мы приехали.

— Слушаю тебя, говори!

— Батюшка мой, князь Михаил, прислал тебя молить, чтобы ты точил мечи вострые, собирал воинов. Можем ли мы терпеть над собой власть татарскую? Пора сбросить басурманское иго! Все князья — и Волынские, и Галицкие, и другие — между собой совет держат, чтобы разом пойти на татар войной и землю нашу от них очистить.

Александр сказал с грустью:

— Запомни слово мое и передай его твоему отцу-батюшке, а ты, боярин, тоже поясни толком мою речь. Видишь, вот медведь, наш лесной хозяин, убит, и заменить его некому. Медведица увела детей в чащу, чтобы вскормить их и своим молоком вспоить, а сама она ранена и человечьими слезами исходит. Где ты у нас видишь столько воинов, чтобы сломить могучие рати татарские? Медвежата малы, и вся наша забота — медвежат вырастить. Нужно время долгое, пока медведица оправится, а медвежата медведями станут. Тогда и разговор будет другой. Такова сейчас и наша земля. Вот и смекни, что я хотел сказать!

НУЖНА ЖЕЛЕЗНАЯ РУКА

Узнав, что князь Ярослав Всеволодович прибыл из Владимира снова в Переяславль, восемь бояр, два дьяка и сам владыка архиепископ Спиридон приехали туда из Новгорода в крытых возках, запряженных гуськом, по три коня, морда в хвост, с возницей, скачущим верхом на переднем коне.

— Чертова дюжина! — говорили суеверные встречные, по привычке пересчитывая число возков.— Не иначе, как где-то трус земной, церкви пообвалились али, может, опять бабку вещую жгут на можжевеловом костре.

Но посольство, не говоря, куда и зачем оно едет, проследовало в Переяславль-Залесский, где расположилось в монастыре.

Утром другого дня, расчесав деревянным гребнем подстриженные «под горшок» намасленные волосы и холеные шелковистые бороды, посольство явилось в бревенчатые хоромы князя Ярослава Всеволодовича.

На широком резном крыльце, поднятом десятью ступенями, уже ждали несколько дружинников в начищенных до блеска калантырях и шеломцах. Они заставили посольство повременить некоторую толику на широкой лестнице, за-

тем пропустили по одному внутрь и провели в гридницу. Там посольство чинно выровнялось вдоль стенки. Новгородцы долго крестились и кланялись в сторону красного угла, увешанного образами в серебряных ризах с вышитыми полотенцами. Послы перешептывались, громко вздыхали, широко зевая и крестя рот торопливым мелким крестом.

В окна, тусклые, слюдяные, лился утренний голубоватый свет. Несколько лампад, налитых конопляным маслом, горели, мигая и потрескивая.

Наконец вошли два молодых дружинника с короткими копьями. Они вытянулись по сторонам тяжелой дубовой двери. Оттуда вышел быстрой решительной походкой и остановился, положив широкую ладонь на рукоять меча, князь Ярослав Всеволодович. Из-под густых, круто изломленных черных бровей пристально всматривались холодные, властные глаза. Он узнал владыку Спиридона и двоих бояр. Князь Ярослав подошел к ним, сильный, осанистый, обнял и трижды облобызал.

Другие послы низко кланялись, стараясь перегнуть дородное чрево и дотронуться пальцами до пола.

— Какая нужда, какая кручина привела вас опять ко мне, в мой захудалый, разоренный татарами Переяславль? Садитесь, гости почтенные!

Все уселись вокруг стен на длинных скамьях, покрытых узорчатыми половецкими коврами. Владыка Спиридон начал:

— Время настало тревожное, трудное и для нас, сынов Великого Новгорода, и для всего православного люда. В народе ходят речи, что господь бог оставил нас и враги торопятся нас раздавить, чтобы стереть всякую память и самое имя земли Русской.

— Да что ты, владыко, до времени затянул отходную! — прервал низким сильным голосом князь Ярослав жалобную речь Спиридона.— Зря ты пророчишь кару господню. А может быть, враг еще и подавится русской костью: станет она ему поперек горла.

Много говорили гости, жаловались и вздыхали, упрашивая князя Ярослава вернуться в Новгород, обещая ему всякие блага.

— Очень у вас густой дым новгородский,— отвечал Ярослав.— В этом мутном дыму не разберешь, кто друг, кто крутила, кто скрытый недруг. Да мне и не ко времени снова браться за новгородские дела.

Бояре горячо настаивали на своей просьбе и упрашивали приехать.

— А вы попросите лучше опять моего сынка.

— Был у нас недолго твой второй сынок, князь Андрей Ярославич, да вот не спелся и покинул нас. А нам нужна рука железная и воля булатная.

— Так в чем же заминка? Попросите снова князя Александра!

— Мы бы рады его просить, да боимся — он едва ли захочет и разговаривать с нами.

— А мы сейчас попробуем уговорить Александра... А ну,— обратился Ярослав к дружиннику, стоявшему у дверей,— попроси-ка к нам князя Александра Ярославича.

Вскоре пришел Александр и стал у стенки, прислонившись к зеленой изразцовой печке. Он ласково кивнул всем головой и стал внимательно слушать, как новгородские послы жаловались на трудные времена.

Заговорил сумрачный владыка Спиридон:

— Я припомню тебе, княже Александр, твои же слова. И я слыхал о том последнем большом вече, где неразумники тебе говорили попреки и словеса обидные. А ты в ответ отрубил им, что «в Новгороде все же остался один твой друг — вечевой колокол», и ты обещал, что приедешь немедля, если в тяжкие дни этот колокол начнет бить тревогу и звать тебя на помощь. Вот теперь такие дни и настали! Ты поди уже слышал, что немецкие рыдели напирают на наши исконные земли в силе великой. А кто сейчас сможет встать в челе русских ратей? Кто, кроме тебя? И теперь все новгородцы уже зовут только тебя. Неверно ты сказал, будто в Новгороде у тебя остался только один друг — вечевой колокол! Нет, княже, твоими верными друзьями остались те, кто бился под твоим стягом на Неве со шведами. И по первому зову твоему к тебе так же дружно поспешат все, у кого в груди бьется русское сердце. Вслушайся, княже Ярославич: вечевой колокол уже выбивает тревогу и зовет тебя!

Все затихли и ждали от Александра, что он ответит.

Долго он стоял молча, опустив глаза, затем выпрямился и сказал спокойно и тихо:

— Ладно! Приеду! Но не сейчас, с вами, а немного погодя. Хочу подготовить к походу мою дружину.

ЗАБЫТЫЕ БРАТЬЯ В БЕДЕ

По Новгороду пробежали тревожные слухи: князь Александр со своей дружиной грабят всех богатеев, бояр, купцов, но не пропускают и мелкого люда. Слухи эти распускали враги князя.

И впрямь вскоре все увидели, как по улицам двигаются возы, покрытые большими кожами и увязанные веревками, окруженные княжескими дружинниками. Из домов выносили покрывала, кафтаны, сапоги, шубы, серебряные братины[1] и другое ценное добро. Все складывалось на подводы, которые переезжали к следующему дому.

В воскресенье, после обедни, в церквах на амвон вышли бояре, сторонники князя Александра.

— Слушайте, православные! — говорили они.— Вы живете спокойно, и никто вас не притесняет, но вы забыли о наших братьях, которые умирают с голоду в татарской неволе. Вы здесь не видели плена, его кровавых слез: татары не дошли до Новгорода. Святая София, премудрость божия, сохранила вас, хотя по грехам вашим вы того не заслужили. Но тысячи и тысячи наших братьев татары угнали к себе в низовья Волги, где царь Батыга заставляет русских пленных строить ему новый город и стенобитные камнеметальницы для нового похода. Верные люди привезли сюда слезные письма и нас извещают, что татарский царь за большой выкуп готов отпустить пленных на родину. Можем ли мы остаться без сердца и не помочь нашим измученным братьям? Вы здесь едите пироги с кашей и жирной рыбой, а пленные наши голодают и побираются, прося милостыню у сыроядцев-татар.

Князь Александр и сам появлялся во всех церквах и призывал новгородцев жертвовать, не жалея, кто сколько может для выкупа пленных.

— Ты хочешь дань уплатить татарам? — слышались голоса из задних рядов.— Мы вольный город и никому еще дани не платили!

Александр отвечал гневно:

— Вы, крикуны, для наших пленных ничего не сделали! Стыдно вам не помочь братьям в беде!

— Да мы рады, мы что! Лишь бы татары к нам сюда не пожаловали!

— Вы можете уделить на выкуп наших братьев и кожи,

---

[1] Братина — род ковша.

и рухлядь[1], и мешки с зерном и мукой. Всё мы сложим на возы и прочно увяжем, чтобы в целости доставить хану татарскому.

Больше всего хлопот и шуму было в Рюриковом городище, на княжьем дворе, где дружинники Александра разбирали все пожертвованное добро и складывали прямо под навесом.

В это время к княжескому дому пришел человек и настойчиво требовал, чтобы его пропустили к Александру. Князь вышел на крыльцо. Увидев пришельца, он сразу позвал его с собой в горницу.

— Ну, рассказывай, что тебя привело сюда?

Странник стоял высокий, строгий, с седыми вьющимися волосами, падавшими на плечи. Лицом он походил на святого, сошедшего с иконы. Несмотря на теплый весенний день, на нем был полушубок нерусского покроя, за поясом заткнут обернутый в тряпицу топор и подвешен на веревке небольшой глиняный горшок. В руках он держал половецкую волчью шапку с отворотами. Видимо, он очень волновался и вдруг упал на колени, кланяясь до земли.

— Тебе пришел поклониться, наша надежда, наше солнышко ясное! Ты один вспомянул мучеников, попавших в татарский полон. И моих два сына там у татар. Живы ли они али нет — кто скажет? Вещуньи старые мне нагадали, что сынки мои живы. Я сам хотел было пробраться в волжские низовья, да попал в половецкий аркан. Половцы заставили меня пасти их быков. Только хитростью, в бурю, уведя двух половецких коней, я спасся и, укрываясь по оврагам, добрался до Русской земли.

Александр поднял странника и усадил его рядом на скамье.

— Ну, старик, рассказывай, откуда ты родом и как звать тебя.

Странник бросил свой колпак на пол и отер лицо заплатанным рукавом:

— Зовут меня Авксентий. Родом я из Ростова. Плавал и гребцом и плотовщиком. Два моих сына были в дружине князя Владимирского Юрия Всеволодовича и попали в полон, когда татары жгли Суздальскую землю. Говорил мне один странник, бежавший из татарской неволи, будто видел их, да едва признал — больно уж отощали они на тяжелой

---

[1] Рухлядь — платье, шубы, меха.

работе да худых кормах. И все наши, сказывают, ходят там сухие, как смерть. В мои молодые годы и мне довелось не раз бывать в низовьях Волги. Тогда о татарах никто еще и не слыхивал.

— Ты с товарищами, видно, ушкуйничал? Персидские берега шарпал?

— Вроде того,— нехотя протянул старик.— Да что вспоминать! Давно это было. А теперь земно кланяюсь тебе: пошли меня с обозом! Уж я постараюсь, услужу тебе, Волгу я хорошо знаю и плоты по ней гонять умею.

— Если ты можешь плоты гонять, то пошлю тебя. Ты там пригодишься. Я дам тебе два десятка лесорубов-плотовщиков. С ними ты свяжешь плоты, на которые мы все, что нужно, погрузим. Сможешь ли ты спустить эти плоты в низовье Волги, прямо к стоянке татарского хана?

— А почему не смогу? Мне на реке Волге-матушке каждый поворот известен.

— Ладно, Авксентий, пошлю тебя с нашим обозом.

К Александру подходило много встревоженных людей. Все расспрашивали, когда и какой обоз пойдет в татары, где в плену томились их сыновья, братья, отцы и близкие.

Александр многим позволил сопровождать выкуп: обоз собирался большой и нужны были люди, чтобы присматривать за конями и груженными подводами.

С первым обозом отправился Ратша, обещав Александру позаботиться, чтобы обоз благополучно добрался до места, и все, что можно, рассмотреть и разузнать в ставке татарского хана.[1]

---

[1] Трагический конец Ратши и его посольства — см. том 3 наст. изд., роман «К „Последнему морю“», ч. IV, гл. 5 «Скорбный путь». (*Прим. М. В. Янчевецкого.*)

ГЛАВА VII

РЫЦАРИ МЕЧИ ВОСТРЯТ

ЭТО БЫЛО В БРЕМЕНЕ

В узком переулке, выходящем на пристань города Бремена, медленно проходил бритый пожилой католический монах в белой сутане и черном плаще с капюшоном, ниспадающим на спину. Он спрашивал встречных, где кузнечная мастерская Бернгарда Брудегама. Целый день в переулке слышался непрерывный грохот кузнечных молотков, рабочие тащили на спине тяжелые мешки, пробегали вымазанные сажей подмастерья. Монах посматривал по сторонам и старательно обходил лужи и груды угля. Встречные указали монаху, где мастерская, которую он ищет. Сам владелец кузницы, с седыми космами волос, охваченных ремешком вокруг головы, в кожаном переднике, вышел, держа в длинных клещах кусок раскаленного железа.

— Что вам от меня нужно, почтенный отец? Я уже внес более чем достаточно капеллану нашей общинной церкви святой Бригитты, и только с ним я имею дело. Да-да, хватит с меня!

— Я пришел не за пожертвованиями, почтенный мастер Брудегам, а привез вам письмо от вашего сына Теодориха, да хранит его всевышний!

— Как! Он жив еще? Впрочем, это все равно: я давно уже отрекся от него и не хочу о нем слышать. Какое новое преступление он сделал? — И Брудегам прикрыл глаза выпачканной в саже рукой.— Новая ужасная весть!

— Не огорчайтесь, почтенный мастер. Ничего дурного ваш сын не сделал. Напротив: он занимается теперь очень почетным делом.

Кузнец с недоверием взглянул на монаха и швырнул раскаленное железо в кадку с водой, где оно зашипело.

А монах, не торопясь, расшнуровал висевшую через плечо кожаную сумку и достал письмо, зашитое в красный лоскуток.

Кузнец осторожно взял письмо.

— Я не силен в грамоте, и мне трудно будет прочесть то, что написал мой сын. Может быть, вы, достопочтенный отец, согласитесь пройти в мой дом — я живу совсем близко. Там мы с моей женой Матильдой будем рады узнать, что пишет наш легкомысленный блудный сын. А может быть, вы и сами еще нам расскажете, где и как вы с ним встретились. Много горя он доставлял нам до сих пор!

— Я очень тороплюсь, меня ждет наш епископ. Но если это недалеко, то я охотно пойду с вами.

В домах близ пристани жили купцы и ремесленники. Дома эти похожи один на другой: узкие, в два-три этажа, под черепичной остроконечной крышей. Под гребнем крыши висели на толстых канатах большие железные крюки, чтобы втаскивать товары на чердак. По узкой и крутой лестнице Брудегам и монах поднялись в третий этаж. Хозяин постучал висевшим на двери железным молотком. Дверь приоткрылась, и выглянуло лицо женщины в большом белом чепце:

— Входите, входите!

В комнате, куда они вошли, их встретила хозяйка в синем клетчатом переднике с двумя карманами, откуда торчали деревянные ложки.

— Опять сбор на церковь! О небо! — воскликнула она, всплеснув руками.

— Успокойся, Матильда! — сурово сказал кузнец.— Слушай и, прошу тебя, от изумления не упади на пол.

— Неужто опять наш Дорих?

— Письмо от вашего сына,— прошептал монах.— Я привез очень хорошие, радостные для вас вести.

— Ах, спаси вас милостивый господь! — воскликнула хозяйка и пошатнулась, едва не упав.

Хозяин ее поддержал и усадил в кресло у окна.

Середину комнаты занимал квадратный стол; у одной стены протянулась скамья, покрытая полосатым одеялом, у другой стояла полка с посудой.

Монах осторожно вскрыл письмо, зашитое толстыми нитками, и вынул несколько сложенных пергаментных листков.

— Где и как вы встретились с нашим сыном? Не томите меня! — простонала мамаша Брудегам.

— Я впервые увидел Теодориха на корабле, плывшем из Бремена. Меня поразил звучный голос одного из путников, сидевших в трюме. Он пел наши, германские, песни. Я разговорился с ним и узнал, что он учился в Бремене.

— Совершенно верно,— подтвердила хозяйка.— Наш Дорих учился, и даже очень хорошо, у каноника при церкви святой Бригитты. Но он не кончил школы, спутавшись с очень плохими людьми, а потом...— Она остановилась, вытирая глаза концом передника.

— Одним словом, попал в тюрьму за воровство и грабеж! — сердито проворчал отец.

— Не рассказывайте мне, госпожа Брудегам. Ваш сын исповедовался у меня, и я отлично знаю всю его жизнь и все печальные ошибки, которые он совершил, и как он был сурово за это наказан. Но ведь теперь все уже в прошлом. Он стал пилигримом[1] и, кроме того, помогает мне в церковной службе — отлично поет молитвы. За это ему все простится.

— О милостивый господь! — шептала Матильда Брудегам.— Как вы нас обрадовали таким известием! Чем мы сможем отблагодарить вас?

— Мне ничего не нужно. На днях я покидаю Бремен, так как должен ехать к престолу его святейшества папы.

— Где же вы расстались с нашим сыном?

— В новом городе Риге, на большой реке Двине. Там он остался воином-меченосцем в крепости.

— Будьте добры, прочтите нам письмо сына. Мы сами не сумеем этого сделать.

— Охотно. Слушайте.

— Милый мой мальчик! — всхлипнула Матильда.— Он все же вспомнил о нас.

Монах стал читать:

— «Дорогие мои почтенные родители! Приезжайте ко мне в город Ригу. Я здесь уже не бродяга и не преступник, а пилигрим, меченосец и делаю важное дело: вместе с другими меченосцами из нашей славной Германии мы покоряем диких язычников — леттов, куронов и ливов — и обращаем их в наших старательных, покорных рабов. Вы, конечно, помните тот страшный день, когда меня вместе с другими заключенными вывели из бременской тюрьмы и когда половина из нас была в железных оковах, а другая половина шла со связанными руками. Мы все уже тогда думали, что нас ведут на площадь, чтобы повесить. Но стража с обнаженными мечами погнала всех в гавань, где нас погрузили в трюмы шести кораблей. Там было и сыро и темно. К нам спустились несколько монахов с зажженны-

[1] Пилигрим — богомолец, ходивший на поклонение так называемым «святым местам».

ми свечами и спели молитвы, а каноник сказал проповедь о том, что мы едем на великое, святое дело — обращать в Христову католическую веру диких язычников. Каноник нам объявил также, что если мы поклянемся стать усердными пилигримами и пришьем на плечо и спину кресты, то нам простятся все наши самые тяжелые грехи и преступления: и прошедшие, и настоящие, и будущие. Конечно, все мы сейчас же объявили о своем согласии. Тогда нам принесли котел вареных бобов, хлеба и два ведра пива, так что мы в первый раз за много дней досыта поели.

Затем наши корабли отправились в путь. Нас сильно качало, пока мы не прибыли сперва на остров Готланд, а затем вошли в устье большой реки Двины. По ней мы поднялись вверх по течению до новой, теперь нашей, германской, крепости Риги. В ней уже выстроена высокая церковь святого Петра с недремлющим жестяным петухом на конце шпиля. В церкви состоялось торжественное богослужение по случаю нашего приезда и вступления в ряды меченосцев. А наши цепи пригодились: их надели на пленных туземцев, которых здесь много. Они строят дома, распахивают землю и вообще исполняют для нас всякие самые трудные работы.

Приезжайте сюда, дорогие родители. Отец, как опытный мастер, отлично будет здесь зарабатывать, изготовляя цепи, кандалы и оружие.

Ваш любящий сын пилигрим-меченосец Теодорих Брудегам».

Монах сказал:

— Я тоже вам советую поехать в Ригу. Там вы окажетесь очень полезны.

Старый Брудегам нахмурился и мрачно сказал:

— Я очень вас благодарю за привезенное письмо, но оно не доставило мне той радости, какую я ожидал, а наоборот. Я скромный и бедный кузнец, но всегда был честным немцем, и меня никто не сможет обвинить, что я делаю черное, постыдное дело. Я изготовляю плуги, лопаты, топоры, подковы, но до сих пор я никогда не ковал кандалов и цепей. Эти туземцы-ливы, насколько я понимаю, виновны лишь в том, что они не хотят принимать католическую веру. Положим, что они язычники, но это их воля... Я не хочу больше ничего слышать о моем блудном сыне. Нацепив на себя крест, он не стал от этого лучше.

И старый Брудегам быстро вышел из комнаты, оставив открытой дверь.

— О боже милостивый! — всхлипнула Матильда, вытирая концом передника глаза.— Простите моему старику его грубые слова! Он бешеный человек и очень огорчен, что наш Теодорих не сделался кузнецом, а стал усмирителем жителей того края. Вот, пожалуйста, возьмите от меня на нужды церкви.

— Бог милостив! Он наставит неразумного. Благодарю за ваше подаяние!

ЧТО ТАКОЕ ГЕРМАНСКАЯ СЛАВА

В Риге, на верхней площадке высокой каменной башни с четырьмя узкими бойницами, выходящими на четыре стороны света, собралась группа немецких рыцарей. Они стояли полукругом и мрачно слушали речь своего магистра[1]. Высокий, с суровым, тщательно выбритым лицом, магистр ливонского ордена меченосцев обращался твердо и властно к воинам в белых плащах с нашитым на плече изображением черного креста. Он объяснил, в чем заключаются обязанности рыцарей:

— Я говорил не раз и повторяю снова: вам предстоит биться безжалостно и неуклонно с неверными язычниками — леттами, ливами и литовцами, и с особенно сильным врагом — русскими еретиками. Вам надо биться за славу германского имени, продвинуть на восток грозный германский кулак и так им ударить, чтобы раздавить всех, кто осмелится стать у нас на пути. Истребляйте всех встречных, как сорную траву, как бурьян, и вы заслужите этим бессмертную славу. Ведь тем, кто падет в битве, предстоит светлое райское блаженство и царствие небесное. А победители получат и собственные замки, и усадьбы, и покорных рабов, скот и коней. Но все богатства сперва надо завоевать. И мы всего добьемся своим мечом. Непобедимая грозная Германия превыше всего!

— Непобедимая грозная Германия превыше всего! — воскликнули высокомерные рыцари и подняли кверху правую руку, сжав ее в кулак.

— В вашей руке, сильной, как наша воля,— непобедимый немецкий меч. Переверните его! Разве рукоять меча

[1] Магистр, или мейстер — избранный глава военно-монашеского ордена.

не похожа на крест господень? Ужасом и беспощадной твердостью вы должны опрокинуть всех, кто сопротивляется святому кресту, всех, кто не покоряется слову католического главы, римского папы. Сам великий господь, покровитель непобедимых германцев, всегда будет с нами. Он с облаков благословляет наши несокрушимые отряды. Вам он принесет победы, богатство и бессмертную славу. Клянитесь, что ваша рука не дрогнет, что ваше сердце не поколеблется, что вы будете поражать врагов, как архангел господен, как святой Гавриил!

Рыцари поднимали мечи рукоятками вверх и кричали:

— Клянемся светлым, могучим крестом господним!

— Посмотрите на новый город Ригу, весь построенный руками покоренных нами лесных дикарей. Видите эти каменные дома? Видите наверху, под каждой крышей, на прочной балке приделан надежный блок? По нему поднимаются на чердаки наших домов товары, привезенные из Германии, изготовленные германскими руками, но на этих же канатах будут повешены все упрямые враги германцев. Мы разобьем и уничтожим самые для нас опасные сильные русские полки и затем пойдем все дальше и дальше на восток, до Пскова и Новгорода, покоряя новые земли для водворения нашей власти и величия.

— Да здравствует великая Германия!

— Вы, начальники отдельных отрядов, держи́те своих покоренных в таком ужасе, чтобы они слушались одного вашего взгляда, одного движения бровей, а не только слова. Труды и лишения сейчас только временно сопутствуют вам, но, раздвинув германские пределы, мы станем богатыми повелителями новых земель.

Магистр обратился к молодому дозорному воину, стоявшему на выступе бойницы и отвернувшемуся в сторону остроконечных красных черепичных крыш, над которыми реяли стаи белых голубей:

— Эй ты, Теодорих Брудегам! Слышал ли ты, что я говорил?

Воин выпрямился, сдвинул ноги в высоких желтых сапогах и, откинув в сторону руку, сжимавшую копье, громко отчеканил:

— Слышал и запомнил, мой благородный начальник!

— А понял ли ты, что такое германская слава?

— Слава? Наша германская слава — это тяжелый германский кулак, который ударит по башке каждого встречного, это наша цепкая рука, которая сжала горло летта или лива и душит его, чтобы тот стал на колени!

Магистр и рыцари расхохотались:

— Он не такой простак, наш Брудегам, как кажется, и он отлично понял, что такое германская рыцарская слава!

ЛЕТТЫ В КОГТЯХ НЕМЕЦКИХ РЫЦАРЕЙ

В июне 1241 года много народу собралось на берегу многоводной реки Двины, где немецкие надменные меченосцы выстроили грозную каменную крепость Ригу. Конечно, немецкие рыцари строили крепость не своими руками: ни один меченосец не принес для постройки города ни одного камня. Но их усердие к латинской вере проявлялось в том, что рыцарские отряды постоянно объезжали и ближние и дальние поселки леттских и ливских «дикарей» и требовали, чтобы каждые четыре избы присылали в Ригу одного рабочего для постройки крепости и храма божьего.

— А кто будет кормить рабочего и платить ему?

— Кто? Ясно: ведь один рабочий является от четырех «дымов», они и должны его содержать, кормить и даже платить, если у них на это явится охота.

Старики, всегда самые упрямые, объясняли немцам:

— А на что нам немецкий храм божий? Мы до сих пор обходились без вашего небесного бога. У нас имеются свои, старые, испытанные боги, и с ними мы жили привольно и беззаботно. А ваш германский бог злой, и он идет против наших добрых старых богов.

— Не болтайте вздора! Теперь у вас явились новые заботы: вы будете точно исполнять все, что мы вам прикажем. Мы ведь тоже не только свою волю исполняем: нам приказывают наш германский император и великий глава нашей церкви — святой отец, живущий в столице всего мира — городе Риме. А папа — безгрешный толкователь воли божьей и заместитель бога на земле.

Леттские старики упрямо продолжали спорить:

— Мы-то хорошо знаем волю божью, а откуда ваш папа может ее знать? Где живет ваш бог?

— Как ты смеешь, старая глупая голова, так непочтительно говорить о всемогущем боге! Он живет на небе, за облаками, и оттуда наблюдает за всем миром и управляет им. Тебя мы накажем за дерзкие речи!

— Вы сами должны понять,— отвечали леттские старики,— как далек от вас бог и как нелегко вашему папе беседовать с ним. Надо лезть за облака, а туда и не всякая

ворона долетит. У нас же боги близко, около нашей деревни, стоят под елями в лесу. Мы шепчем им наши просьбы на ухо, мажем их губы маслом, сметаной или творогом, и боги с нами не спорят, а нам всегда помогают.

— За то, что ты так дерзко споришь, вот тебе! — рассердился начальник рыцарей и так ударил старика по голове, что тот замертво свалился на землю.

После этого разговора десять старых леттов были отведены на опушку леса, где паслись рыжие и пегие телята, и там немецкие рыцари повесили упрямых спорщиков на березах.

Немцы вешали стариков быстро и ловко,— видимо, это им приходилось делать не в первый раз.

Старики висели, склонив головы набок, точно чему-то удивлялись. Глаза у одних были широко раскрыты, другие их закрыли, безропотно покоряясь своей злополучной судьбе. Только длинные седые волосы, обычно ниспадавшие на плечи, теперь трепались по ветру — это бог гнева Пеко, прилетевший спасать своих леттских сыновей, старался разбудить их, изо всех сил обдувая ветром.

Рыцари проезжали из селения в селение на крепких, откормленных конях, неразговорчивые и суровые, как и подобает служителям грозного бога, кутаясь в длинные белые плащи с нашитым черным крестом на плече. Когда они откидывали плащи, под ними блестели железные латы.

— Нашей костяной стрелой такую железную рубаху не пробьешь! — вздыхали крестьяне и убегали в леса, завидя приближающихся меченосцев.

Тогда рыцари сжигали покинутые жителями селения и посылали в леса отряды, сопровождаемые большими черными и темно-рыжими собаками-ищейками с торчащими ушами. Они быстро отыскивали прятавшихся крестьян. Одних немцы тут же убивали, других, более крепких, отправляли для работы в Ригу. Уничтожали они также каменных и деревянных идолов, стоявших полукругом на лужайках под вековыми елями и березами.

Рыцари вели упорные бои с населением, которое с проклятьями притворно покорялось и только внешне соглашалось принять латинскую веру. В городе и крепости Риге, воздвигаемых леттскими рабочими, стали быстро возникать дома, узкие, в два-три окна, высокие, в несколько этажей. Некоторые крыши из красной черепицы имели острый шпиль и на нем жестяного петушка, который вертелся, показывая направление ветра.

ВЕСЕЛАЯ ЯРМАРКА

Уже задолго до начала ярмарки на большой базарной площади, растянувшейся вдоль берега Двины, стали возводиться увеселительные постройки: балаганы, крытые парусиной, где показывали свои представления фокусники и веселые шуты; были также маленькие переносные театры кукол и зверинец с несколькими голодными волками, змеями, рысью и медведем. Строились также качели и карусель, где на невиданных зверях могли быстро кружиться веселые посетители. Высокие столбы, смазанные салом, приманивали колесом на верхушке, где были развешаны премии: новые сапоги, рубашки, шапки, женские платья, кольца колбас, жареные гусь и поросенок. Все это, заплатив небольшую сумму хозяину столба, мог получить ловкий удалец, сумевший взобраться по скользкому бревну до верхнего колеса. Но это было нелегко, и большинство самонадеянных юношей слетали вниз, уже почти достигнув цели, под громкий хохот довольных зрителей.

Накануне ярмарки разряженные в пестрые костюмы шуты с накрашенными лицами или в смешных масках ходили по узким улицам города и вдоль берега, зазывая горожан и моряков, прибывших на парусных шняках[1] и лайбах[2], посетить ярмарку, обещая показать пляски и проделки отчаянных смельчаков, ходивших по канату, туго натянутому высоко над толпой. Зрителей соблазняли также представления глотателей шпаг, огня, живых рыбок, лягушек и змей, которые невредимыми потом выскакивали обратно изо рта.

Моряков было много. Одни приплыли на больших лодках сверху по реке Двине из Полоцка и Литвы, другие — с холодного, сурового моря на крутобоких двухмачтовых кораблях с высоко поднятыми кормой и носом. Корабли привозили разнообразные ценные товары и богатых купцов в диковинных одеждах из германских городов Любека и Бремена и шведских Сигтуны и Висби. Часто приезжали и русские купцы из богатого Великого Новгорода.

Ярмарка начиналась с вечера. По всему берегу пылали веселые костры, возле них сидели и толпились люди всех национальностей в нарядных одеждах.

Слышалась разноязычная речь, распевались всевоз-

---

[1] Шняка — лодка.

[2] Лайба — большая лодка, иногда с палубой, с одной или двумя мачтами.

можные песни. Люди группами бродили по площади, многие в обнимку, останавливались возле лотков, где продавались всякие угощения и «древесные овощи»[1], привезенные из других стран,— яблоки, чернослив, изюм, винные ягоды, орехи. На других лотках были выставлены ковши с пивом, хмельной брагой, медом и рейнским вином. Повсюду красовались груды пряников, кренделей, пирожков и медовых лепешек с миндалиной посередине. Коптя и дымя, повсюду длинными цепочками горели глиняные плошки с топленым салом.

Веселый гомон толпы покрывался пронзительными переливчатыми звуками леттских и литовских волынок, сделанных из надутых цельных козьих шкур с двумя дудками, на которых, искусно перебирая пальцами и раздувая щеки, дудели вспотевшие усердные музыканты.

Сквозь расступавшуюся толпу медленно проходили важные немецкие рыцари, всегда группами по три-четыре человека, с высокомерными, суровыми лицами. Они сознавали себя чуждыми этой разряженной, веселой массе «второсортных людей», знатными гостями на простонародном пиру. Но и их невольно захватывало общее веселье, и когда стоявшие рядом волынщики при их приближении вдруг замолкли, один из рыцарей крикнул:

— Эй, дудельзаки![2] А знаете ли вы нашу рейнскую песню «Рейнлендер»?

— Еще бы не знать!

Волынщики задудели изо всей мочи старинную немецкую мелодию народного танца.

Услышав знакомые звуки, подошли другие немецкие воины. Они растолкали толпу, очистили место, оттеснили зрителей в стороны и стали двумя шеренгами лицом друг к другу.

С той же важной надменностью, сохраняя суровую невозмутимость, они начали выделывать ногами коленца и выкрутасы, то приближаясь друг к другу, то расходясь. Иногда они делились на пары и, взявшись за руки, кружились на месте, затем опять расходились двумя шеренгами, лицом друг к другу, сохраняя такую же важность, как будто бы и тут они продолжали выполнять свое главное обязательство: распространять всеми способами власть германского кулака и «свет» католической веры.

---

[1] Древесные овощи — так назывались в то время фрукты.

[2] Дудельзак — кожаный надувной мешок (волынка) с двумя дудками, на которых одновременно играл искусный музыкант — волынщик.

В это время к танцующим быстро протиснулись сквозь толпу еще несколько молодых немцев, из купцов. С ними была стройная девушка в шелковом праздничном платье. Она невольно привлекала внимание красотой слегка разрумянившегося лица и темными горящими глазами.

— Фрейлейн, идите к нам! Ко мне! Ко мне! Нет, ко мне! — закричали танцевавшие.

Старший из них, пожилой рыцарь, высокий и тощий, подошел к девушке и, с важностью выставив ногу, снял шляпу с перьями, поклонился, взял ее за руку и крикнул волынщикам:

— Живее, дудельзаки! Живее! Полу́чите на пиво!

Волынщики заиграли еще веселее и пронзительнее. Девушка, подобрав тяжелое шелковое платье, танцевала со всеми, переходя из рук в руки, кружась в беззаботном упоении радостной юности.

По окончании танца старый рыцарь снова склонился перед девушкой, взмахнул шляпой и пригласил ее посетить их пирушку, устраиваемую по случаю скорого выступления в поход против русских еретиков.

— Эти дерзкие русские медведи вздумали стать перед нами на победоносном пути нашего крестового похода на восток. Придите, фрейлейн, к нам; сегодня мы выпьем за нашу родину и нашу победу.

— К моему глубокому сожалению,— ответила девушка,— я не могу принять ваше любезное приглашение. Я должна своевременно вернуться к моей дорогой и доброй матушке! — И девушка, церемонно поклонившись, хотела скрыться в толпе.

— Нет, нет! Вы нас не покинете. Идемте к нам! Это недалеко!

Девушка со смехом стала метаться, стараясь убежать. Несколько рыцарей погнались за ней. Она бросилась в сторону, в темноту, и вдруг пронзительно закричала:

— Что это? Спасите!

Один рыцарь, высоко подняв факел, поспешил на зов. Показался ряд виселиц, на которых, склонив головы, висели десятка два леттов в лохмотьях, с босыми, напряженно вытянутыми ногами. Рыцари взяли под руки полубесчувственную девушку. Она, задыхаясь, говорила:

— Я ударилась лицом в босые, холодные, как лед, ноги, и мне показалось, что мертвец ударил меня в лицо ногой.

— Это висят лесные разбойники, самый отчаянные летты — дикари, безбожники. Они нападали на наших ме-

ченосцев. Мы их рядком и повесили, чтобы проучить дерзких леттов.

— Умоляю, отведите меня к матушке! Вот она уже идет сюда...

На площади появилась длинная процессия германских воинов в белых плащах с нашитыми на плече черными крестами. Воины высоко держали горящие факелы, сплетенные из просмоленных веревок. Факелы ярко пылали в клубах черного дыма, придавая всему окружающему зловещий вид. Воины грубыми, нестройными голосами пели мрачную песню меченосцев:

Вперед, тевтон!
Сквозь плач и стон
Иди, как смерть, иди, как месть!
Вперед, тевтон! Ийя́-хо-хо́!

Разноязычная толпа, собравшаяся на ярмарочной площади, в страхе расступалась перед мрачно шагавшими меченосцами и безмолвно слушала непонятную, но внушавшую страх немецкую песню.

Вся процессия направилась к угрюмой каменной крепости, возвышавшейся прочными башнями посреди города, еще шумного от праздничного веселья, криков и песен разгулявшихся рижских горожан.

Пирушка крестоносцев была веселой. Все ликовали, уверенные в скорой победе над русскими медведями и над плохо вооруженными упрямыми «лесными братьями» — леттами. Старый председатель пирушки ударил тяжелым кулаком по столу. Кружки и бокалы задребезжали. Все затихли.

— Я рад тому, что вы так смелы, бодры и уверены в победе, что нет у вас глупой жалости к леттам или страха перед русскими. Мы не смеем колебаться или горевать! Да! Там, на Рейне, осталась наша древняя родина, Германия, все мы по ней тоскуем. Но здесь мы создаем себе новую молодую родину, Ливонию, завоеванную нашим острым, грозным мечом. Теперь мы продвинем далеко в глубь русских лесов власть великой Германии, беспощадно сметая всех, кто нам попадется на пути. Слава о непобедимости германцев разнесется по всему свету. Я поднимаю мою кружку за новый победоносный поход через озеро Пейпус для захвата богатого русского Новгорода. Я пью за полный разгром русских войск, за гибель опасного для нас русского народа!

— Ийя́-хо-хо́! Вперед, смелые меченосцы! — сдвигая кружки, кричали пирующие.

НАТИСК НЕМЦЕВ НА ВОСТОК

Едва справились новгородцы со шведами, как узнали о новой, еще более грозной опасности: немецкие рыцари-меченосцы напали на пограничную русскую крепость Изборск, захватили ее и подошли к Пскову, но сразу взять его не могли, задержанные крепкими, высокими стенами. И только вследствие измены посадника Твердилы Иванковича и кучки бояр немцам удалось проникнуть в детинец, но половина Пскова еще не покорилась.

Рыцари продолжали всюду сооружать укрепления и заставы, приближаясь к Новгороду.

Александр спешил их уничтожить. В первую очередь он направил свою дружину на одно из сильнейших и наиболее угрожающих укреплений врага — на захваченную немцами крепость Копорье. Он взял ее стремительным натиском и разрушил. Захваченных в плен немцев он частью отпустил на волю. Имея в виду, что в немецких руках находится много русских заложников, главным образом детей, он другую часть немцев отправил в Новгород. Что же касается переветников, изменников родины, то с ними Александр расправился беспощадно: не разбирая, русский или чудинец, он приказывал отреза́ть им носы и вешать на городских стенах.

Александр продолжал собирать войско и требовал новых подкреплений. Учитывая, что одним новгородцам не устоять под напором очень сильного врага, он обратился за помощью к отцу, и великий князь Ярослав немедленно отправил к Александру своего второго сына, Андрея, как говорит летопись, «во множестве дружины».

ПСКОВИЧИ ЗАПРОСИЛИ ПОДМОГИ

В Новгород, на княжий двор, один за другим стали прибывать гонцы, спешно посланные из Пскова и Гдова. Им сторожа говорили:

— Для ча вы на княжьем дворе коней ставите? Мало вам в Новгороде постоялых дворов? Там примают заезжий люд, идите туда!

— Мы же не именитые бояре, чтобы на постоялых дворах мошной трясти. Вести дошли и до нас, что князь Олександр дюже хлебосольный: ежели с просьбой какой челобитьем кто к нему придет, он его выслушает и брагой

уважит, да еще и сенца из своей конюшни взять позволит, коня подкормить. Не к посаднику же или тысяцкому нам идти!

А вести приходили всё тревожнее, одна другой смутнее. Наконец прискакала вдова бывшего посадника во Пскове, принявшая монашеский сан, почтенная мать Ираклея. Она для скорости ехала не в возке, а верхом на чубаром длинногривом коне с отвислой нижней губой. Мать Ираклея была в мужских сапогах и в широких, добротного сукна шароварах, занятых для трудной поездки у отца дьякона. А длинную свою мантию она подобрала, заправила в шаровары и прихватила кожаным поясом.

Мать Ираклея так закоченела в пути, что слуги Александра осторожно сняли ее с коня и поставили на крыльцо, и там долго она стояла, не в силах двинуть ни рукой, ни ногой, едва шевеля онемевшими губами. Наконец она пришла в себя. Сам князь Александр вышел к ней на крыльцо и под руку повел в гридницу, где усадил в отцовское мягкое кресло возле изразцовой печки, а сам до поры удалился в свои покои.

Когда же мать Ираклея с помощью прибежавших девушек и княгини Брячиславны привела в порядок свое одеяние, переоблачилась в мантию и клобук, Александр вернулся. Тут мать Ираклея стала говорить без умолку. Из того, что она поведала князю, и половины было бы достаточно, чтобы привести каждого русского в отчаяние или ярость. Александр внимал молча, лицо же его все более темнело и становилось печальным.

Наконец, отогревшись, мать Ираклея заснула, опустив голову на грудь. Князь тихо встал и прошел в соседнюю светлицу. Там он приказал сейчас же позвать Гаврилу Олексича и нового десятника — Кузьму Шолоха. Оба вскоре явились. Они застали Александра возле печи. Он грел руки у огня. Через раскрытую дверцу пламя бросало багровый отблеск на лицо Александра. Глаза его сверкали гневом.

— Садитесь поближе и слушайте. Из Пскова вести опять пришли недобрые. Наш молодший брат, пригород Псков, от нас отложился. Посадник Твердила Иванкович вокруг города охрану поставил не от немцев, а чтобы к нам гонцов не допустить. Все же, пробравшись через огороды, к нам прискакала монахиня Ираклея, вдова бывшего посадника,— вот рядом в горнице задремала, умаявшись после трудного пути. Она плакалась, что немцы обступили Псков и пригрозили всех вырезать. Некоторые бояре,

сторонники Твердилы, думали мирком да ладком ублажить врагов немилостивых. Они открыли ворота и с хлебом-солью встретили иноверцев. А те вошли, заняли детинец, по ближним погостам[1] тиунов своих — фо́хтов — поставили. Для большей верности, чтобы Псков держать в своих когтях, немцы забрали десятка три сыновей у именитых бояр и отослали этих сосунков к себе в Ригу, чтобы в своем гнезде приучить их к немецким обычаям и латинской вере. Ведь эти ребята для нас будут потеряны, ежели сейчас не вернутся в Русскую землю.

— Не иначе, что будет так! — сказал Олексич.

— Сплоховали псковичи! Без боя такую неодолимую крепость отдали! — вздохнул Александр.— Прочная твердыня. Год целый, а то и три могли бы псковичи держаться, а тем временем новгородцы с ладожанами, ижорцами, копорцами и другими призванными воинами в большой силе подошли бы и немцев отшибли.

— А ты как думаешь выбить немцев, свет наш княже Александр?

— Я все прикидываю, что ответил бы псковичам мой грозный князь-батюшка и как бы он научил их уму-разуму.

— Знамо дело! — сказал Олексич.— Князь Ярослав Всеволодович всегда нас учил: «Кто только отбивается, будет вдвое битым». Надо самому наброситься дерзостно, да с хитрой уловкой. Рыдели во Пскове николи не остановятся, а уже готовятся идти дальше в нашу сторону, сперва на Гдов, затем на Копорье, а там захотят подобраться ближе к самому Новгороду.

— И я так же думаю! — сказал Александр и выпрямился.— Что твои молодцы делают? — обратился он к Кузьме Шолоху.

— С твоего соизволения выбрали мы из боярских табунов добрых коней и готовим седла...

— А какие седла? Наши новгородские седла дальнего пути не выдюжат, а только спины коням набьют. Хорошие седла половецкие. Ты вели здешним седельникам в две седмицы... нет, в семь дней изготовить седла по половецкому образцу. Скажи, что это я приказал для воинского похода и награжу их. Ты, Шолох, со своими молодцами пойдешь со мной.

— Только кольчуг у нас нету,— сказал Шолох.

— Кольчуг дать вам не могу. Нет их у меня, а с дру-

---

[1] Погост — первоначально: место, куда съезжались для торговли гости (купцы); позднее: церковь с кладбищем, тоже вне села.

жинников снимать не стану. Позаботься сам. Обойди в оружейном ряду мастеров, найдешь у них рубашки кожаные или сплетенные из кудельных веревок и прикажи, чтобы нашили железки на плечи и на грудь. А на спину не надо...

— Вестимо: тылу врагам не покажем!..

— Через семь дней идем изгоном на Псков. Смотрите же, чтобы все были готовы.

— Не задержим! В срок будем готовы.

Александр не замедлил усилить сторожевые заставы на всем пути от Новгорода до Чудского озера и Пскова. Оттуда стали прибывать встревоженные вестники, сообщая, что немцы всюду зашереперились, что по их вызову начали стекаться отряды ливов, и чудь, и емь, для постройки укреплений, начиная от Юрьева, все более вклиниваясь в русскую сторону.

Князь настойчиво и не раз говорил об этом с новгородским Советом лучших[1], указывая, что со стороны немцев надвигается что-то страшное. Что пора подымать весь русский народ.

Богатые и властные бояре мало придавали значения этим указаниям Александра, более всего занятые своими земельными делами и торговыми сделками с иноземцами. Они высокомерно отвечали, что желают одного: «была бы тишь, да гладь, да божья благодать. Разбил же ты на Неве свеев с малыми силами. Так же и теперь расколотишь немцев».

Наперекор боярскому благодушию, Александр настойчиво продолжал требовать от новгородского Совета лучших, чтобы поскорее присылался из Ладоги, Ижоры и дальних новгородских селений работный люд, чтобы начал укрепляться заставами большак и другие пути, идущие в сторону Чудского озера.

НАДО НАВЕСТИ ГРОЗУ!

Александр прибыл во Псков по Гдовскому пути. Из-за глубокого снега его дружина растянулась на несколько верст, и затем ей пришлось свернуть на Чудское озеро, оттуда — на теплый пролив, затем на Талабское озеро, пробираясь близ берега по льду. Здесь продвигаться все же было легче. Весь путь к Новгороду был забит санями, всадниками, навьюченными конями. Пешие беженцы та-

---

[1] Совет лучших — орган городского управления в Новгороде.

щили салазки, нагруженные домашним скарбом и малыми детьми. Люди опасались нашествия безжалостных немецких рыделей-меченосцев, угрожавших пленом и гибелью.

Передавали слухи, что отряды немцев недавно снова переходили реку Нарову, налетали на чудские селения, поджигали избы, щадя только дома принявших латинскую веру, уводили скот и людей. Все боялись, что это только грозное начало, что немцы непременно двинутся дальше, на Новгород. Вся Новгородская земля закачалась! А вдруг рухнет и погибнет!

К Пскову Александр подъезжал по льду реки Великой. Раньше он бывал здесь не раз. По обе стороны реки помнил он зажиточные поселки, нарядные избы, украшенные резными ставенками и деревянными петушками на венцах. Раньше каждый хозяин хвалился своим садиком и огородом. Теперь селения уже не имели прежнего, спокойного, привольного вида. Всюду люди шли торопливо, собирались кучками, толковали, размахивая руками, и быстро разбегались. Даже собаки перестали лаять на прохожих: опустив нос и поджав хвост, они бежали куда-то трусцой, боясь потерять своих хозяев. И петухи не перекликались больше. Жалобно мычали коровы — хозяева угоняли их в другие, более спокойные места.

Колокола псковских церквей стали неистово поднимать тревогу, неожиданно в полдень созывая псковичей на вече, которое на этот раз собиралось в поле.

— Что приключилось? Верно, навалилась опять немаловажная забота, ежели бояре сзывают народ среди бела дня! — говорили и старики и молодые, запахивая шубы и охабни[1] и затягивая туже кушаки.

Все спешили на сход народный.

Бабы и девушки, накинув на плечи шубейки или зипуны и на ходу покрываясь платками, собирались кучками у колодцев, у ворот и близ перелазов, обменивались новостями, услышанными от своих мужиков. Все всполошились, стараясь предугадать, что дальше будет.

— Немец опять закручивает али другое что? Может, снова литовцы идут? А куда же те немцы денутся, что засели заправилами у нас в городе?

— А ихние тиуны, фохты, надолго ли посажены по нашим погостам? Может, тоже не остались тут на вечные времена, а побегут отселева?

— Видала я, как проехал молодой князь Новгородский

---

[1] Охабень — мужская верхняя теплая одежда.

Александр,— говорила пышнотелая, румяная Степанида, жена богатого торговца красным товаром.— Это он всполошил всех. Молодой, а, думаю, озорной.

— И я видела,— протянула, вздохнув, пожилая пономариха с истощенным, грустным лицом.— Молодой-то он молодой, а крутым нравом, говорят, пошел в своего батюшку, князя Ярослава. А глазищи-то какие черные и грозные! Не на расправу ли с нашими тяжкодумами он приехал?

— Немцам мы почти без боя и детинец отдали! Разве старый князь Ярослав простил бы нам это?

— Слышала я от моего хозяина,— нагнувшись, шепотом стала пояснять Степанида,— что князь Александр сечу любит: коли что не по нем, сразу кулаком как вдарит, так и с ног собьет. Он ведь дюжой и в гневе злой шибко...

— Ох-хо-хо! Ой, недоброе будет! — вздыхали бабы и продолжали гадать: что-то расскажут им мужики, вернувшись с веча?

Александр, без остановок миновав все пригородные выселки, направился прямо к детинцу, где засели осажденные немцы. Заранее он отправил гонца с требованием, чтобы все псковские ратники были в сборе и выстроились близ детинца. Он проезжал узкими улицами Пскова, закутавшись до пят в длинный красный плащ, подбитый лисьим мехом. На лоб надвинул кожаный легкий шеломец. Перед каждой церковью он снимал его и медленно, истово крестился, освободив правую руку от железной перстатицы. Он ни на кого не смотрел и не отвечал на низкие поклоны псковичей, быстро ломавших при встрече шапки. Его грозный, задумчивый взгляд как будто скользил поверх голов, поверх толпы, но он все видел, все замечал: взволнованное любопытство и тревогу псковичей, понимал причину этой тревоги; сдвинув брови, смотрел на главную башню детинца, над которой развевалось немецкое знамя. Александр еще не решил, что станет говорить на вече, но одно знал твердо: что, может быть, он и голову свою сложит в неравной схватке, но грозу на подлых переветников нагонит...

Александр примчался вскачь на площадь, где осадил взмыленного, разгоряченного гнедого Серчана.

Дружинники стояли в два ряда, пешие, возле своих оседланных коней, держа их под уздцы правой рукой, а левой сжимая копье. Они смотрели настороженно, ожидая, как станет с ними речь вести этот двадцатидвухлетний ястреб, как его в насмешку именовали псковские бояре. Александр с псковичами не поздоровался, только обвел

гневным, взбешенным взглядом. Он выжидал, пока его охранная полусотня, подскакав, выравнялась позади него.

— Кто голова дружины?

— Я голова дружины! — отозвался молодой, статный воин в серебристом блестящем шеломе, державший под уздцы серого в яблоках коня.

— Подъезжай поближе!

Воин, легко вскочив на коня, хлестнул его плетью, вылетел вперед и остановился перед Александром.

— Я Домаш, начальник отряда псковской дружины. Привет тебе, княже, мой господине Александр Ярославич!

— Не боярина ли Твердилы ты сын?

— Нет! И не сын и не брат. И он враг мне. Это он впустил немцев в детинец.

— Как же ты впустил врагов в Русскую землю, в наш отчий дом? Как впустил без боя в детинец?

— Совет бояр решил, а меня и не известил.

— Жди меня здесь.

Князь отъехал в сторону.

— Гаврила Олексич! — окликнул он.

— Я слышу, княже, мой господине!

— Ко мне, ближе!

Гаврила подъехал вплотную и тихо сказал:

— Жду приказа твоего.

Александр, тоже вполголоса, сказал:

— Сейчас я буду на вече. Сотню выстрой возле думного помоста, где соберутся бояре, и жди меня.

— Исполню, княже!

— Псковских ратников не распускать. Пусть и они будут наготове. Завтра выйдем в поход. Мне и псковичи там пригодятся. Сейчас каждое копье надо держать на счету.

— Понял, княже, мой господине!

НА ПСКОВСКОМ БОЛЬШОМ ВЕЧЕ

Не на Кром, к обычному месту большого веча, а на поле уже валом валил народ, толковал меж собой и теснился, желая проникнуть ближе к тому месту, где уже собрались главные именитые правители города.

Александр подъехал туда вслед за несколькими дружинниками, пробившими ему путь сквозь толпу. Он сбросил на руки слуги-оруженосца красный плащ — корзно, оправил пояс и поднялся по каменным ступеням на площадку, где

стояли псковские бояре. Они безмолвно взирали на молодого, но грозного Новгородского князя.

— Я не кладу поклона вам ни по-писаному, ни поученому! — Голос Александра звучал вызовом, полным ненависти и гнева.— Я хочу узнать, по чьему извету, по чьему наговору вы впустили без боя в старый вольный Псков наших вековечных врагов — немцев-хищников? — Александр говорил громко и отчетливо, и слова его далеко были слышны в затихшей толпе.

Впереди бояр стоял богатырского вида благообразный старик с длинной серебристо-белой бородой, в малиновой бархатной шубе до пят. Двумя руками опираясь на высокий посох с золотым набалдашником, он суровым взглядом темных глаз из-под нависших густых бровей всматривался в новгородского дерзкого пришельца.

Он заговорил хриплым от гнева голосом, стуча посохом:

— Вижу я, что ты приехал к нам, как молодой кочет, как неуч и невежа! Нашему псковскому вечу ты поклона не кладешь, ровно иноземец некрещеный. Не ты ли учить нас собираешься?

Александр, прищурив глаза, всматривался в старика и молчал. Старик продолжал:

— По чьему наказу ты сюда пожаловал и как звать тебя по имени? Ежели скажешь, то мы и ответ тебе держать будем.

— Зовут меня князь Новгородский Александр Ярославич. А приехал я по наказу отца моего, князя Суздальского и Владимирского Ярослава Всеволодовича, для суда и расправы...

Старик задрожал от гнева и стукнул посохом о землю:

— Прежде чем творить суд и расправу, надобно всю правду-истину узнать и ума-разума набраться, дерзостный буян переяславльский! Не тебе нас уму-разуму учить! Вот ежели бы отец твой, князь Ярослав Всеволодович, воевода преславный, прибыл сюда и судить и рядить нас пожелал, тогда бы мы с охотою все горести наши и нужды ему поведали, и, может, он похвалил бы нас за то, что мы, умудренные долгими бедами, крови христианской без надобы не проливали и древний вольный Псков со всеми его слободами нетронутым сохранили. Немец пришел сюда в такой силе тяжцей, грозя все сжечь, все разграбить, что мог благодатную землю Русскую обратить в угли и пепел. И вот мы, думные бояре, с тремя немецкими фохтами потолковали, мирком да ладком договорились, чтобы даль-

ше в дружбе жить и сто лет по суседству торговать и добра наживать...

В толпе послышались отдельные голоса и смешки.

Александр резко оборвал старика:

— Ты, старый лис, мне своего имени и отчества не сказал, а я по хитрым уловкам тебя узнаю, по длинному пушистому хвосту, что у тебя из-под шубы вылез и помахивает. Не ты ли боярин Твердило Иванкович?

— Я самый, псковский посадник Твердило Иванкович, и сейчас правлю городом и ведаю всеми делами его.

— Был раньше заправилой, а теперь ты стал холопом немецким и продал им родную землю... Не бывать тебе боле ни посадником, ни тысяцким, ни простым дружинником, а будешь ты повешен на каменной псковской стене и расклеван черными воронами...

— Ах ты разбойник, ах злодей! — крикнул старик, замахнувшись посохом.

— Гаврила! Окружить этих бояр и перевязать всех! — Александр сделал два шага назад и вдруг набросился на старика.

Твердило был силен и богатырского склада. Они схватились, но княжич, более ловкий, сбил с ног Твердилу, повалил на спину, ухватил левой рукой за лицо, а правой вытащил из-за пояса охотничий нож. Старик кричал, выл, как раненый бык, и барахтался изо всей мочи.

В толпе послышались крики и шумные возгласы. Началась свалка между сторонниками Твердилы Иванковича и защитниками исконной дружбы Пскова со своим старшим братом Новгородом.

Дружинники Александра были наготове: они окружили бояр, притиснули их к стене и стали вязать.

— Кузьма Шолох! — Александр оглянулся. Шолох был уже возле него.— Повесить этого злодея на городских въездных воротах, под святым образом божьим!

— Будет сделано, княже, мой господине! — отвечал Шолох и вполголоса добавил:— В шубе повесить? Больно уж шуба хороша — из бурнастых лисиц.

— Так в этой поганой шубе и повесишь!

Твердило отчаянно кричал и плакал:

— Пожалей, княже, старика!

— А ты щадил родной город? Пощадил тех наших братьев, которых отослал немцу на выучку?

Александр поднялся, засунул обратно за пояс нож и направился к своему коню.

Новгородские дружинники боролись с псковскими переветниками, ловили убегавших и вязали им руки.

Главные виновники сговора с немцами были повешены рядком на каменных стенах Пскова. Хитрый Твердило сумел скрыться и потом обнаружился у немцев в Изборске.

Бирючи прошли по улицам города и выкрикивали, что спешно собирается войско из охочих людей. Это псковское войско соединится с новгородцами, переяславльцами, ладожанами, ижорцами и ратниками из других мест. Чудь и емь также шлют своих воинов. Все должны спешить к Чудскому озеру и ожидать там немцев, уже скопившихся в городе Юрьеве и готовых к походу на Русь.

Александр вызвал к себе молодого Домаша:

— Я расспросил верных людей и убедился, что у тебя сговора с немцами не было. Родной земле сейчас дорог каждый воин. И ты назначаешься снова воеводой того псковского отряда, что выступает завтра на Чудское озеро. Покажи своей отвагой, что ты нам брат, а не коварный недруг, что ты верный сын земли родной. Вся Русь подымается нынче против грозного немецкого врага. С богом, воевода Домаш!

ОПЯТЬ УСТЯ

Закутанная в темный платок женщина проскользнула незамеченной сквозь ворота, где двое часовых играли в зернь, и робко стала пробираться вдоль стенки, озираясь на дружинников. Они ходили по двору; некоторые водили лошадей, остальные грелись у костра.

Женщина постояла и обратилась к проходившему мимо молодому воину:

— Выслушай меня, браток!

— Чего тебе надобно, молодуха? Кого ты ищешь?

— Мне нужно увидеть князя Олександра Ярославича. До крайности нужно

— В хоромы к нему не пустят. Утром он пойдет к обедне, тут ты его и увидишь. Он всем неимущим помогает.

— Да мне никакой милости от него не надобно — сама пока кормлюсь.

— Так что же тебе нужно от князя Александра?

— Только ему самому могу поведать!

— Чудна́я ты, голубушка! Как звать-то тебя?

— Все одно, как меня зовут. Скажи, Устя пришла.

— Пожалуй, я тебе подсоблю, а ты повремени здесь. Ежели я разыщу князя, он тебя, может, и призовет.

— Поторопись, браток! Тебя-то как величать?

— Кузька! — бросил молодой дружинник и утонул в вечерних сумерках.

Долго стояла закутанная женщина и терпеливо ждала. Наконец, к ней подошли двое.

— Ступай, Кузьма, и позови ко мне Гаврилу. А что ты хотела мне поведать? — обратился князь к женщине.— Я князь Александр, а тебя как звать?

— Устинья! Али не признал меня?

— Устинья; Еремина Устя? — сказал удивленно Александр.— Ты как сюда попала?

— Замуж я вышла за охотника, псковича. Да приехали мы в Псков себе на горе в самое суматошное время. Я с моим мужем остановились у его дяди, Антипа Евстигнеича, церковного сторожа в церкви святого Симеона, сродника господнего...

— Я слушаю, Устя. Что же случилось? Говори все, не бойся.

— Беда грозит тебе. А ведь ты один теперь наш защитник!

— Стараюсь, как могу, уберечь землю нашу. Какая же беда грозит мне?

— Слушай, Ярославич. Пришел намедни домой хозяин, Антип, спросил кваску, выпил, а сам, вижу, как будто не свой: оглядывается, руки трясутся, и квас расплескал. «Что с тобой приключилось?» — спрашиваю. А он и говорит мне: «Тебе, Устюшка, немедля надо бежать и разыскать князя Новгородского Олександра Ярославича и сказать только ему самому на ухо».— «Ладно, побегу,— говорю я.— А ты сам-то что ж?» — «Самому мне к нему идти туда не след, говорит, беду себе на голову только накликать. А тебя там не заприметят».

— А почему Антип сам не посмел ко мне прийти?

— Да ведь церковку Симеона, сродника господня, выстроил боярин Твердило Иванкович,— это вроде его домовая церковь. И вот сегодня там собрались все свойственники и подручные Твердилы Иванковича и панихиду заказали по убиенным, петлей удавленным боярам, что на детинце повешены. «Панихиду,— говорит Антип Евстигнеич,— честь честью отпели, а потом — страшно и выговорить! — они провозгласили анафему князю Олександру Ярославичу и всей его дружине».

— Ну и что ж с того, что мне анафему провозгласили? Я слыхал, что тот, на кого несправедливо анафема наложена, два века живет..

— Ой ли? Я слышала, будто от нее человек сохнет и довеку погибает.

— Так это все, что ты хотела мне на ухо сказать? Стоило ли тебе о том беспокоиться?

— Нет, не все. Еще более страшное впереди...

— Говори, не бойся. Меня лось бодал, медведь драл, бурные волны трепали, и теперь мне ничто не страшно.

— Так слушай, Ярославич! После панихиды все свойственники и сподручные беглого боярина Твердилы устроили в церкви тайный совет: как бы князя Олександра загубить? И тут же сделали складчину: целую молочную крынку доверху серебра набрали и решили наградить этим серебром того, кто тебя, свет наш, убьет. Тут и поклялись некоторые охотиться за тобой и тебя заколоть или ядом отравить, как проклятого анафемой.

— Постой, постой, Устя! Вестимо, все мои недруги от злобы пальцы кусают и меня со свету сжить хотят. Ну и пусть злобствуют. А я буду жить, поживать и тебя вместе с Антипом Евстигнеичем добром поминать за то, что вы от меня беду хотели отвести. Только никогда никому не сказывай, что ты узнала, а то и тебе плохо будет. Возьми от меня этот кошелек и беги скорее домой.

— Свет наш Ярославич! Денег твоих я не возьму, нет!.. Правда моя, что тебе я сказала, не купленная... Прощай!

Устя быстро побежала обратно к воротам и скрылась в темноте...

— Устя...— задумчиво прошептал Александр.— Опять она, как добрый друг, встречается на моем пути. Не спасла ли уже меня однажды Устя от беды неминучей?.. Теперь снова кругом кипит и змеится неуемная злоба. Другая забота у меня!

Подошел Гаврила Олексич:

— Ты звал меня, княже, мой господине?

— Сейчас услышал я, что здешние переветники поклялись меня со свету сжить.

— Не удастся им, княже, нас обойти: мы настороже и не допустим.

— Мы должны выбить из детинца немцев, а затем ждать здесь я не стану, а отправлюсь вниз по реке Великой к Чудскому озеру. Хочу заранее посмотреть места, где нам придется с немцами мечи скрестить.

— Боюсь я за тебя, княже!

— Бог не без милости, молодец не без счастья!

* * *

Главной задачей Александра было немедленно освободить от немцев Псков, лишив тем самым рыцарей важной точки опоры. С этой целью князь отрезал все ведущие ко Пскову пути и пошел на приступ крепости.

В Пскове, в детинце, еще находился отряд немецких меченосцев, оказавший бешеное сопротивление. Однако детинец был взят. В плен вместе с рядовыми рыцарями попали и два фохта, присланные орденом для управления покоренным краем. Всех их Александр в оковах отправил в Новгород, где некоторых казнили.

Псковская область была быстро очищена от ненавистных захватчиков. Однако главное оставалось еще впереди. Меченосцы, как сообщали лазутчики, готовили крупные силы. Новые подкрепления прибывали из Германии, прислали воинов и короли Швеции и Дании. Вдобавок ко всему рыцари заставили явиться подвластных им ливов, леттов и других покоренных ими местных жителей. Объединенное немецкое войско направлялось к Чудскому озеру.

Для Александра было самым важным определить путь, по которому враг мог направить свой главный удар против Новгорода, чтобы заранее выбрать наиболее благоприятное место битвы. Молодой полководец так решил эту задачу.

Учитывая, что самоуверенные рыцари, несомненно, изберут кратчайший путь от Юрьева к Новгороду, он стал стягивать свои силы к Чудскому озеру, на его противоположном, гдовском, берегу и кликнул клич по всей Новгородской земле, сзывая ратников от каждого селения. Вооружившись кто чем мог, новгородские люди двинулись к Чудскому озеру, веря, что с таким смелым и удачливым вождем, который уже разбил прекрасно вооруженных шведов, поражения быть не может.

Псковский отряд, под начальством Домаша отправившийся на разведку по западному берегу озера, попал в окружение главных сил врага и на реке Омовже был разбит. Погиб и сам Домаш в отчаянной, неравной схватке. Лишь небольшая часть отряда спаслась и известила Александра о наступлении крупных немецких сил.

Немцы, упоенные своей победой, двинулись против Александра, считая, что и с ним они справятся так же легко.

ГЛАВА VIII

НА ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ

ТРЕВОГА В НОВГОРОДЕ

Новгород кипел всевозможными слухами. Говорили, что немцы и шведы, и датчане, и всякие бездомные бродяги со всего света, именующие себя меченосцами, готовятся напасть на Новгород в силе великой.

В городе уже появились беженцы с детьми. Все они жаловались, что немецкие разъезды в железной броне уже навалились на Изборск, ворвались в Псков и там засели в детинце, что один немецкий отряд захватил Копорье, другой — Лугу, третий — Тесово. А от Тесова ведь всего тридцать верст до Новгорода!

Что же медлит князь Александр Ярославич?

Именитые бояре, владельцы огромных вотчин, разбросанных по всей Новгородской земле, и купцы именитые, те, что раньше вели большие торговые дела с иноземными гостями, собирались и, вздыхая, обсуждали: как быть, что делать?

— Разве мы не исполнили уже просьбу черного люда, разве не призвали опять князем новгородским юного Ярославича? Но теперь все же оторопь берет: а что, если не справится княжич с надвигающейся грозой? Не лучше ли начать мирные переговоры с иноземцами? Время-то уже совсем подходит к весне. Скоро корабли заморские придут, гости приедут к нам. Разве в ларях наших не лежит давно без пользы и без прибыли многое множество всякого добра? Не время теперь спорить с иноземцами!

Однако старые вести сменялись новыми, волнуя новгородцев:

— А Ярославич-то — слышали? — опять бушует! Из Тесова немчинов уже всех повыгнал, а главных виновников сговора, тех, кто сдал Тесово немцам, повесил на городских стенах! Пленных немецких рыделей прислал сюда к нам. Скоро увидим, как они приплетутся в Новгород босые,

в самую лютую стужу. Больно горяч Ярославич, молодая кровь в нем кипит, как бы не перессорил нас со всеми соседями.

В Новгород не переставали прибывать новые гонцы на покрытых пеной конях и продолжали сеять тревогу.

Но Александр не медлил — требовал всполошить всю землю Новгородскую, созывать всех, кто может держать в руке меч или тяжелый топор.

«Присылайте всех! Подымайте всю землю Русскую! Бой предстоит лютый, не на жизнь, а на смерть. Надвигается на нас страшное чудище звериное в броне железной. Если мы не встанем плечо к плечу на защиту родной земли, то вся сила вражеская навалится на Новгород, и тогда на сто лет будет всем уготовлен один конец — быть нам раздавленными под иноземной пятой. Все подымемся на защиту родины, и тогда никакой враг нам не страшен: всех опрокинем! Посылайте все ратные силы прямо к Чудскому озеру. Там мы встретим грудью железной гостей непрошеных».

Для чего Ярославич требует поголовного ополчения? Разве не справился он в малой силе со свеями, когда воевода Биргер приплыл на Неву с отборными своими воинами! Разгромил же тогда Ярославич свеев своей небольшой дружиной и затолкал все их воинство в реку! Господь бог помог тогда Ярославичу. Неужели теперь не поможет?

В Новгород приплелись новые беженцы с семьями, язычники-лесовики из Чуди и Летьголы, раздетые и голодные. Они говорили, что леттским, и ливским, и другим вековечным свободным старосельцам теперь ничего более не остается, как спасаться на русскую сторону от немецких меченосцев с волчьими утробами.

— Немцы сжигают на своем пути все наши поселки,— рассказывали леттские беженцы.— Всех мужиков, не желающих принять их латынскую веру, безжалостно убивают. Наших женщин большую часть тоже убивают, а некоторых молодых и детей наших гонят к себе в полон, в рижскую сторону. Жители нашего поселка укрылись в дремучем лесу. Там мы выкопали для жилья под землей и ходы и пещеры, чтобы перетерпеть беду. А немцы стали нас разыскивать с помощью больших собак. Найдя наши подземные тайники, немцы разложили костры у входов и старались удушить нас огнем и дымом. Тех, кто выбегал

из тайников, немцы рубили мечами, детей подхватывали на копья и бросали в огонь[1]. Придите к нам на помощь, русские ратники! Пустите нас к себе, спасите от беды! Вы одни можете выручить нас!

Князь Александр внезапно примчался со своей конной дружиной в Копорье, ворвался в город и жестоко расправился с засевшими там немцами.

По требованию Александра разрушенные деревянные стены города Копорья спешно стали возводиться снова. Копорцам помогали прибывавшие из Новгородской земли ратники.

Как в дни невского разгрома шведов, Александр действовал с дерзкой отвагой, не колеблясь, уверенно и быстро.

Он промчался по большаку, по тому пути, по которому должны были пройти немецкие отряды, и пересек озеро. Была пустынна и молчалива засыпанная снегом оледенелая равнина озера, только кое-где еще чернели ряды шалашей, поставленных рыбаками для лова рыбы через проруби.

* * *

Немцы тоже торопились, укрепляя и строя новые бу́рги[2]. Все работы для них исполняли пригнанные отовсюду пленные. Новые свирепые хозяева — рыцари подгоняли их ударами палок и плетей. На многих пленных немцы надевали цепи, так как летты при первой возможности убегали в лесные чащи.

Уверенные в предстоящей победе и захвате Новгорода, немцы для разрушения его крепких стен уже приволокли с собой огромные осадные машины, стенобитные тараны и камнеметы, швыряющие большие, тяжелые камни.

Видевшие немецких рыцарей-меченосцев рассказывали, что все они имели устрашающий вид: каждый рыцарь был закован в железную броню, конь его тоже был покрыт железными латами, на голове воина красовался железный шлем, наглухо закрывающий лицо, с узкими прорезями для глаз и рта.

---

[1] Об этом зверском, мучительном избиении меченосцами леттов сообщает «Ливонская хроника» Генриха Латыша.

[2] Бурги — укрепления.

Дружинники высказывали Александру опасения, что бой с такими противниками будет непосильный:

— Как же нам одолеть такое страшилище? Как нашим ратникам, в пеньковых нагрудниках, сермягах и овчинных зипунах, сразить такого рыделя? Его ни меч, ни копье не возьмет!

Александр в гневе отвечал:

— Немец больше всего за свою шкуру боится, потому он и напяливает на себя броню, а на голову железную кадку! Медведь пострашнее немца, а на него ты идешь не в броне, а всего с рогатиной и засапожным ножом да в своем полушубке, чтобы сподручнее было. Скоро мы собьем с немца спесь!

Совет лучших с тревогой выслушивал призыв Александра. Одни бояре говорили:

— Да верно ли все это? К чему ворошить людей? На что Ярославичу столько людей ратных? Удалью и милостью господней побеждает дерзостный князь, и теперь снова он разобьет всех немецких рыделей.

Купцы вздыхали и рассуждали:

— Подходит уже время весеннее. Все наши работнички готовятся и к пахоте и к лесосплаву. А бондари, кузнецы, горшечники, лесные звероловы и прочие труженики — все готовятся встретить иноземные корабли. Когда они приплывут, а купцы товары свои заморские покажут, то мы в обмен товары наши перед ними выложим.

На созванном вече эти рассуждения в гневе и скорби прервал всеми чтимый Степан Твердиславич. Недаром он много лет бессменно оставался посадником Новгорода. Горячо и не боясь своих резких слов, он стал упрекать уклончивых и хитроумных спорщиков:

— О чем вы спорите без стыда и совести? Ведь с огнем шутите! Опять тяжелая доля после татарской угрозы может выпасть Русской земле. Вы хотите сберечь ваше накопленное добро, вотчины ваши, думая, что они далеко запрятаны и враги до них не доберутся? А если к нам все же ворвется жадный немец с крестом на груди и мечом в руке, то ведь вас он не помилует, а вытрясет вас из ваших насиженных мест. Без жалости и милости начнет он всех теснить. А больше всего будет насиловать черный люд, требуя, чтобы наши смерды работали на них до кровавого пота, как это они уже сделали с леттами, ливами, чудью, емью, заставляя строить им крепкие замки — бурги. Бе-

женцы из лесных леттских братьев это нам поведали и уже показали свои кровавые раны.

Но не всех ему удавалось убедить.

— Зачем пугаешь, Твердиславич! — раздавались голоса.— Никогда такого бесстыдства у нас не будет! Господь бог и силы небесные до сих пор оберегали землю Новгородскую, выручили и от прихода татарской орды, и от разгрома свеями, и теперь сохранит господь всех усердных молельщиков православных!

Посадник горячо продолжал призывать новгородских вечников:

— Ежели мы все встанем одной стеной, то такого позора и беды от злых недругов не будет. Но если мы не отзовемся немешкотно на призыв смелого князя нашего Ярославича, то горе горемычное навалится на нас и всех разметает, как буря.

Посадник Степан Твердиславич продолжал упорно настаивать на необходимости всеми возможными силами помочь Ярославичу. Он наконец убедил вече и Совет лучших выполнить требование князя Александра.

Гонцы понеслись вскачь по всей земле Новгородской, будоража народ и требуя, чтобы все, кто может держать в руках топор-колун, копье и рогатину, спешили на берега Чудского озера, где их встретит славный невский победитель, князь Александр Ярославич. Там он уже их ждет и готовит великий отпор нашествию хищных иноплеменников.

А князь Александр, сознавая грозную опасность, даром времени не тратил. Он послал вестника с письмом во Владимир к своему отцу князю Ярославу Всеволодовичу, прося немедленной поддержки ратными силами и воинского совета, как ему одолеть напирающую немецкую силу.

Князь Ярослав ответил сыну всего двумя словами: «Дерзай. Одолеешь!»

В то же время Ярослав приказал своему младшему сыну, Андрею, поспешить на помощь брату и привести туда конную дружину переяславльцев.

ЗОЛОТОЕ ДНО

«Какая задумчивая, величавая тишина!» — скажет путник, прибывший зимою на берег Чудского озера. Но это тишина только кажущаяся. Под ледяной броней таится,

кипит и движется своя особая жизнь. Богатейшее озеро — кормилец множества людей с его побережья; из-за богатств озера спорят и летты, и ливы, и чудь, и емь, и русские старожилы-поселенцы. Всех этих выносливых и смелых рыбаков кормит озеро, и огромные скрипучие обозы с мороженой рыбой и мешками серебристых крошечных снетков (величиной с мизинец) всю зиму тянутся во все стороны от Чудь-озера, разнося славу о его обильных рыбных богатствах.

Зимой рыбаки выходят на промысел, пробираясь по льду озера до его середины, в десяти — пятнадцати верстах от берега, и высекают длинный ряд прорубей. Вокруг них ставят шалаши, собранные и сшитые из лубья (древесной коры). В них до весны рыбаки укрываются от непогоды и отдыхают в долгие зимние ночи.

В шалашах живут бок о бок и дружно работают и русские рыбаки, и чудские полуверцы, одновременно почитающие и православного бога, и своих деревянных идолов. Всех щедро подкармливает большая и малая рыбка с Чудь-озера.

А рыба здесь всякая: судак, лосось, налим, огромные лещи, плотва и окуни и даже миноги и угри, проскальзывающие в озеро через пороги стремительной Наровы. Глубокого Чудского озера никогда не покидает юркая ряпушка, в то время как всякая крупная рыба любит «забегать» через Теплый пролив в очень мелкое Псковское (Талабское) озеро только для метания икры, в определенное время года. Снеток, наоборот, ужился в Псковском озере, где дно илистое, густо покрытое жирными водорослями, и от их цветения летом вода этого озера всегда мутная. Северное же, Чудское, озеро очень глубокое: в середине его — до ста и более сажен, дно каменистое и песчаное, а вода чистая и прозрачная.

Ветры и вьюги часто гуляют по озеру, поднимают большую волну, особенно когда начинает свирепствовать южный ветер «мокри́к». Тогда большие темные валы, длинные и однообразные, катятся один за другим, поднимая тяжелые лодки — насады, ставя их то на нос, но на корму, грозя вывернуть вместе с грузом смелых, выносливых чудских рыбаков. Зимой Чудь-озеро, засыпанное снегом, становится белой гладкой равниной. Лишь кое-где чернеет корявое дерево, принесенное с реки Великой из-под Пскова и застывшее посреди ледяной равнины.

К такой коряге тянутся ровные, словно проведенные по ниточке, следы «звериного бродяги», как здесь называют волков. Идя гуськом, след в след, стая волков, пересекая озеро, не пропустит ни одного вмерзшего дерева и, обнюхав, старается узнать по запаху, какие другие волчьи стаи здесь проходили.

Только у самого небосклона протянулась узкая темно-синяя полоса дальних лесов суболицкого на западе и наровского на севере. На восточном же, гдовском, берегу тянутся заросшие густым необозримым тростником болотистые безлесные равнины, по которым медленно протекают топкие речонки.

СНЕЖНЫЙ ДЕД БУРАН

В конце марта 1242 года свирепый дед Буран и злющая ведьма Пурга разбушевались на Чудь-озере. Бешеные вихри проносились над серебристо-белой равниной, взбивали пушистый снег, подбрасывали его и крутились в яростной свистопляске, опрокидывая все вокруг.

Лубяные шалаши, выстроившиеся в два ряда на середине озера, были занесены и утонули в сугробах снега. Рыбаки, лежавшие в этих шалашах вповалку, прижавшись друг к другу, накрывались чем попало, боясь, что легкая постройка развалится и они окажутся под открытым небом, во власти разъяренной бури.

Ветер, завывая и свистя в щелях, вдувал в шалаши снежную пыль. Стая волков, во время перебежки захваченная ураганом, укрылась невдалеке, между наваленными льдинами и перевернутыми лодками. Свернувшись калачом, звери уткнулись носами в свои пушистые хвосты, поводя ушами на каждый непонятный шорох, прислушиваясь к злобному вою разбушевавшейся Пурги.

А разгневанный Буран с необычайной быстротой проносился по вольному простору озера, стараясь догнать лукавую бешеную ведьму Пургу. Она то взмывалась, как птица, к серому небу и летела дальше, вслед за мчавшимися хмурыми тучами, то обрушивалась вниз, разметав широкий кружевной подол, стараясь выскользнуть из цепких, хватких лап свирепого Бурана, то, взметнув складками серебристого сарафана, с ликующим хохотом взметалась снова

вверх, к дымчатым облакам, где в просвете изредка показывалось равнодушное око луны, стыдливо прикрытое прозрачной фатой.

Вдруг волки встрепенулись и насторожили уши. Послышался совсем близко полный отчаяния крик:

— Есть ли жив челове-ек? Погиба-аю!

Какая-то туша грузно свалилась с болезненным стоном. Волки вскочили и, перепуганные, сразу бросились вперед, в снежную вьюгу, толпясь и прыгая друг через друга, и скрылись в ночной мгле.

Два рыбака выползли из лубяного шалаша, разгребая руками снег и прислушиваясь, не раздастся ли снова крик. Вблизи послышался стон, и оба рыбака двинулись, перекликаясь и не выпуская из рук концов веревки, чтобы не потерять друг друга.

— Васька, а Васька!

— Здесь, Кузя!

— Ищи душу христианскую!

— Нашел! Иди сюда! Ей-ей, рыделя поймал! Чудаковатый, брыкается.

Вскоре оба рыбака с помощью веревки нашли друг друга и поволокли в шалаш откопанного в снегу человека. Он и в самом деле был чудаковатый, не такой, как все,— наряженный не по-русскому, а в каком-то укороченном полушубке, опушенном собачьим мехом. Голова была закутана бабьим платком. От лица оставался наружу только большой нос и необычайной длины заиндевевшие усы с обвисшими ледяными сосульками. Через силу, падая от слабости, он пробовал подняться. Рыбаки, втащив его в шалаш, посадили между собой, подпирая плечами.

— Ты откудова взялся, таракан усатый?

— От немецких разбойников убежал.

— Значит, от рыделей? Слышь, он от рыделей прибег! — заговорили просыпающиеся рыбаки.

— Чего же ты от них ушел? Не сладко стало?

— Тысяча чертей и две ведьмы! Кричат, что святое слово Иезуса Христа защищают, а сами грызут людей, как голодные собаки! Женщин угоняют, а затем убивают, детей бросают в огонь.

— И ты был крыжаком?

— И я был крыжаком и на моей груди носил крыж.

— Крест, значит! — объяснил один из рыбаков.

— А по-нашему ты где научился?

— Я долго жил в Юрьеве, был конюхом у русских купцов, а крыжаки меня увели в Ригу в свое войско. Тяжко мне стало там у них. Крыжаки нам недруги. Их нельзя пускать туда, где живут добрые, честные люди. Они обманщики, разбойники. И я сказал себе: «Янек, если ты хочешь быть честным, иди к тем, кого рубят и жгут крыжаки». И я ушел от них.

— А конь у тебя был?

— Был добрый конь!

— Куда же он делся?

— Крыжаки учуяли, что я не зря ругаюсь с ними. «Видим, что ты не наш,— говорили они.— Но живым ты от нас не уйдешь». И они заперли меня в сарае для дров. А коня моего увели. Утром хотели мне суд учинить и повесить на березе. А я проломал крышу в сарае, да и убежал в лес, когда все крыжаки еще спали.

— Где же это было?

— На берегу озера, близ реки Омовжи. Тут началась эта буря, и я обрадовался, что крыжаки не найдут моего следа. Я шел через снег и льдины, пока не свалился. Здесь ваши люди меня подняли, а то бы я замерз и пропал...

— А далеко ли рыдели? Где они теперь? Поди в Юрьеве?

— Они там давно собирались, говорили, что надо готовиться к большому походу: «Пока новгородцы еще не пришли в Юрьев, надо самим напасть на новгородцев». Магистр приказал идти скорей на озеро и там поймать русского князя Александра. «Он еще молод, петушок, и мы ему голову свернем». Пся крев!

Янек еще долго охал и ворчал:

— Тысяча чертей и две ведьмы!

ПУТНИК С ОЗЕРА

Возле устья обледенелого ручья на западном берегу озера утонул в сугробах исад — рыболовецкий выселок. Приземистые старые избенки крыты камышом и еловой корой. Над трубой, сделанной из пробитого глиняного горшка, приветливо вьется сизый дымок, как бы говоря путнику, что в этом домишке бьется жизнь и греются у пузатой печки люди, хлебая горячую уху из чудских снетков.

Пронеслась галочья стая и рассыпалась по берегу, среди сетей, растянутых на кривых кольях. Галки с гомоном сновали повсюду в поисках остатков рыбы, привезенной с последнего улова.

Несколько выдолбленных челноков и утлых семерок, сбитых из семи досок, лежало кверху дном на берегу. Тут же стояли рядком перевернутые длинные, тяжелые, залитые смолой насады, каждая из которых может поднять по двадцати и больше рыбаков.

Из-под одной такой лодки раздался пронзительный лай, и оттуда выскочила мохнатая белая собачонка и понеслась в сторону озерной равнины. Раскрылась покосившаяся дверь ближайшей избенки. Мальчик лет десяти в меховом треухе, запахивая на ходу старый зипунишко, кинулся за собакой. Он остановился и стал всматриваться в белую даль озера.

Одинокий, высокого роста, плечистый путник быстро приближался, легко скользя на коротких охотницких лыжах, подбитых шкурками, снятыми с жеребячьих ног. Мальчик с восхищением смотрел, как уверенно передвигается на лыжах красивый, стройный юноша с румяным от мороза лицом и заиндевевшими бровями. Все на нем казалось складным и хорошо прилаженным для дороги и для охоты.

«Не иначе как зверолов! — решил мальчик.— И нож медвежий за поясом, и полушубок выше колен, и ноги перевиты ремнями».

Путник изредка упирался в снег коротким копьем с длинным отточенным лезвием и гарпунным крюком под ним.

Вся галочья стая, шумно хлопая крыльями, улетела.

— Эй, здравствуй, удалец! — крикнул охотник.— Отстань, шелавая! — замахнулся он на шавку, с яростным лаем бросавшуюся ему под ноги.

— Колобок, назад! Это свой! — крикнул мальчик, стараясь отогнать собаку.

Шавка отбежала и уселась на снегу, продолжая ворчать.

— Верно, что свой! — сказал охотник, поднявшись на берег.— Узнала своего брата... Тебя, малец, как звать?

— А Савоськой! — ответил мальчик, смущенно подтягивая домотканые заплатанные порточки.

— Будем дружить, Савоська! Как ваша деревня прозывается? Ну и деревня: четыре двора и двадцать два кола!

— Это еще не деревня, это наш выселок рыбачий, а деревня подале будет — вон на лесной опушке, и зовется Богомолово.

— Понимаю. А в лесу, вестимо, стоит молельня под старыми березами, а близ нее живет старичок с ноготок, что зовется Миколой.

— Ты, дяденька, видно, бывал у нас?

— Бывать не бывал, а чутьем охотницким почуял. Тут наши новгородские ратники намедни не проходили?

— Нет, не видал что-то.

— Ну, значит, скоро будут.

Дверь избенки заскрипела, и оттуда выглянула женщина, накинув зипун прямо на голову.

— Ты с кем это, Савоська, тараторишь?

— Здравствуй, хозяюшка! Дай путнику обогреться.

— А ты из каких будешь? Тут по берегу много всякого люда бродит. Иного боязно и впустить.

— Я пришел прямиком из Пскова.

— Дальняя дорога! Заходи, пожалуй, обогреться, а угостить тебя, прости, нечем. Хозяин промышляет на озере. А вот как приедет, тогда и пироги с рыбой, и блинки со снетками изготовим для-ради дорогого гостя.

Хозяйственным взглядом женщина оценила путника: одет он просто, но добротно, а на поясе медвежий нож серебром изукрашен и рукоять из ценного рыбьего зуба. Видно, парень не простецкий. Она стала приветливо кланяться, приглашая в избу:

— Не обессудь нас за тесноту и бедность нашу.

ДЕДУШКА МИКОЛА

Когда гость, протиснувшись в узкую дверь, скрылся в избе, женщина наклонилась к Савоське:

— Беги со всех ног к дедушке Миколе и скажи: «Подька, дедушка, скорехонько к нам. Мужиков на деревне никого нет, а тут человек неведомый пришодцы, с виду-то хороший, а кто его знает, вдруг недобрый, лихой человек. А при тебе, дедушка, поди поостережется».

— Бегом, мамонька! — сказал мальчик и во весь дух помчался по тропинке.

За ним пушистым колобком покатилась шавка.

Хозяйка вернулась в избу. Гость уже сидел на лавке и низко склонился на руки, запустив пальцы в светлые

кудри. Она заметила, что копье-рогатина стоит в углу, шапка и рукавицы уже висят на деревянном гвозде, а заплечная кожаная сумка лежит с ним рядом.

«Заснул. Умаялся, чай, с дороги»,— подумала хозяйка. Она еще долго возилась с горшками у печки. Когда же гость пошевелился и выпрямился, потягиваясь, она заверещала:

— Время-то какое, смутное пришло! Не знаешь, чего и ждать, за что браться: то ли тащиться к сродственникам на родной русский берег, в Гдовский край, да неохота — поди самим трудно,— то ли здесь оставаться, а боязно. Немец лютует по деревням совсем поблизости. Даже за Наровой-рекой побывал не раз. А вместе с немцами, тоже на конях, ездят ихние попы: кто в немецкую веру не переходит, того режут без жалости и домовье жгут вместе с малыми детьми. Уже сколько мимо нас пробежало и чуди и летьголы, со скотом, прямо через озеро! Боязно, а надобно дождаться своих. Если мужики привезут домой рыбки, тогда и мы двинемся на ту сторону и там останемся пока что.

— А ты как чаешь: скоро ли станет тише? — спросил путник.

— Ежели сюда придут с большой силой новгородцы, они отгонят немца...— Хозяйка прервала речь, услыхав шаги на крыльце.— А вот и дедушка Микола с Савоськой.

В избу бесшумно вошел невысокий старичок в белом шерстяном домотканом шабуре[1] с большим откидным воротником. Старичок был весь белый: и остроконечный колпак из зимнего зайца, и белые онучи, и даже новые, еще светлые, лапоточки. К поясу на сыромятном ремешке был привязан горшок для подаяний. Когда старик снял заячий колпак, над его головой снежным пухом поднялись серебристые седые волосы.

— Мир дому сему и богомольной хозяйке его! — проговорил старик, крестясь.

Он низко поклонился отдельно хозяйке и отдельно гостю. Тот поднялся, коснувшись головой закопченного потолка.

— И тебе благодать! Жить и здравствовать еще сто лет,— звучным, сильным голосом сказал гость и, в свою очередь, низко поклонился старику.

---

[1] Шабур — верхняя мужская одежда с широким воротником; обычно надевалась в дорогу поверх полушубка.

Тот подошел ближе и, приставив ладонь к бровям, стал всматриваться в лицо путника.

— Ты, видать, не из нашенских, псковских? Не суздальский ли? Откуда пришел?

— Пришел, да и весь сказ. Из берлоги вылез.

— Ты мне на дудочке не подыгрывай. В берлоге злобные звери живут, а у тебя лик светлый. А на сердце, кажись, тревога.

— Али, может, кручина сердце томит? — из своего угла спросила хозяйка.— Ты, дедушка, садись поближе да погомони с гостем. Пускай расскажет, какая у него тревога.

Старик опустился на скамью, опираясь на суковатую палку. Прибывший гость глухо заговорил, сдвинув брови:

— Как же не горевать, как же не кручиниться? Я дружинник у князя Александра Ярославича. На Русскую землю идут в волчьей злобе и жадности и немецкие рыдели, и литовские лесовики, и свейский король со своими кораблями да натравливают на нас всех, кого могут.

— Истинно, как волки лютые подбираются,— вздохнув, сказал старик.

— Зверь лучше: зверя можно на цепь посадить, а немец сам норовит всех заковать в железо и с белого свету сжить. А мы уже поняли, что нам житья не будет, пока не выйдем против него всем миром, плечо к плечу. Надо не мешкая браться за топоры и рогатины и одной стеной пойти на рыделей.

— Постой, сынок! — прервал старик и стукнул клюкой.— У нас тоже еще не перевелись на святой Руси славные богатыри: хоть в глухом углу мы живем, но и до нас весточка докатилась, что в Новугороде объявился грозный и удалой князь Олекса. Разве не он разметал свейское войско под Ижорой? Где он нынче? Чего медлит?

Гость снова опустил голову на руки, а старик следил за ним, гладя седую бороду.

Мальчик Савоська, раскрыв рот, слушал внимательно, что старшие говорят. Половины он не понимал, но чуял, что гость кручинится и так же опасается злых немцев-рыделей, как и другие. А дедушка и рад бы, да не знает, как гостя утешить.

Вдруг Савоська, услышав голоса на улице, повернулся и припал к дырке в пузыре, затянувшем окошко.

— Маманька, а маманька! К нам едут неведомые люди, и одеты они по-чудному. Сдерживают коней и кругом озираются.

— Ахти, господи! Вот когда беда заправская пришла! — воскликнула хозяйка и стала обтирать о тряпку руки, вымазанные тестом, которое она месила.

— Мать пресвятая богородица! Огради нас своим святым покровом! — шептал старик, приподнимаясь со скамьи.

— А ну-ка, молодец, пусти меня взглянуть! — сказал гость, быстро подходя к оконцу.

Он припал к щели и увидел на дороге двух всадников, одетых не по-русски. Сразу можно было узнать иноземцев. Хотя они были в шубах, снятых с леттских крестьян, но с плеч спускался белый плащ с большим черным крестом. Ноги перевиты широкими ремнями. На ступнях — остроносые чеботы, на них — железные шпоры с медными звездочками. На голове железная круглая шапка — шелом. В руках иноземцы держали копья. На поясе подвешены длинные прямые мечи с крестообразной рукоятью. И сбруя, и седло с высокой лукой не походили на русские.

Молодой гость стал вполголоса объяснять подбежавшей хозяйке:

— Верно. Это иноземцы. Два рыцеля, только один, кажись, наш — из поганых переветников. Он что-то объясняет другому, видно, немцу. А вон тот дергает веревку и бьет плетью. Вот из снега подымается еще человек. Руки у него закручены за спиной, а на шее веревочная петля. Надо приготовиться, хозяйка. Один из них едет сюда.

Послышался стук в окно и голос:

— Эй, кто в избе! Выходи, да поживей, а не то сойду с коня — худо вам будет.

Хозяйка испуганно всплеснула руками и взглянула на гостя. Тот шепотом приказал:

— Голоси, что одна в избе и сейчас выйдешь. Ступай на крыльцо, да не сказывай, что я здесь. А я приготовлюсь их встретить как надо.

— Эй, живее там! — послышался голос с улицы, и железный отточенный конец копья просунулся в окно.

— Возьми топор, вон у печки,— показала хозяйка,— а я пойду им зубы заговаривать. Иду, иду! — крикнула она во весь голос и, крестясь, выбежала из избы.

Конец копья исчез. Путник снова припал к окну. Он увидел, что оба рыцаря направились было в сторону озера,

но вдруг, повернув коней, помчались прочь. Сперва они волочили за собой пленного, потом веревка оборвалась, и пленник остался лежать на снегу. Хозяйка вбежала в избу и сказала:

— Услышала слезную мольбу нашу матерь пресвятая богородица! С озера наши рыбаки идут, а за ними воины, тоже наши, на конях. Видно, и хозяин мой вертается.

Услышав, что мужики возвращаются, старый Микола поспешил к себе домой.

ПЛЕННЫЙ ИЗ РИГИ

Дружинники развязали пленного, брошенного немцами, и, подхватив его под руки, втащили в избу. Хозяйка растерла салом его обмороженное лицо. Уши распухли и обвисли. Он сидел на скамье и вполголоса хныкал:

— Конец мой пришел! Для чего меня мать родила! Поди слезами обливается, горемычная! Пропал я почем зря!

— Подожди, милый, горевать! — сказал чернобородый ратник.

— Да ведь они меня чуть насмерть не убили! Копьями подкалывали, чтобы я шибче за конем бежал... Добро, что снег был глубокий, а то на гладком месте они все скоком, и я скоком. Им легко торопиться на конях, а каково было мне поспешать за ними?

— Бог не без милости! — вздохнула хозяйка.— Вот добрые люди тебя, вишь, и подобрали. На, поешь пирога из снетковой муки[1], другой нет. Сразу отойдешь. А там и к родной мамоньке доберешься...

— А далеко ли живет твоя мамонька? — спросил один дружинник.

— Во Пскову. Она слезами зальется, когда увидит меня такого вислоухого.

— А ты и в самом деле, кажись, мамонькин сынок,— заметил ратник, первый пришедший на лыжах.— Перестань подвывать. Негоже это для доброго молодца. Поступай в нашу дружину, садись на коня, пока у тебя ноги плохо ходят.

---

[1] Ввиду частых неурожаев ржи и ячменя, вследствие морозов, прибрежные жители Чудского озера обыкновенно мололи сушеных снетков и полученной мукой пользовались для печения хлеба и лепешек.

— А я уж послужу честью. Только не бросай, Христа ради, меня здесь одного!

— Ладно уж! Теперь рассказывай скорее, как ты из Пскова попал к немцам. И почему тебя рыдели сюда приволокли.

— Прошлый год немцы навалились на Псков. Набрали у нас около сотни мальцов и отроков. Всех погнали, как гусей, в ихний город Ригу.

— А в Риге вас в латынскую веру переиначили?

— Об этом старались их монахи и всех нас к тому понуждали: и больших и малых отдали в латынский монастырь. Там мы должны были все делать, что нам указывали монахи: и учиться читать латынский часослов, и молитвы ихние петь, и дрова рубить, и стены класть каменные, и четыре раза в день ходить в ихнюю церковь.

— Как же ты сюда попал? Бежал, верно?

— Я бы рад был убежать, да уж больно крепко за нами присматривали и пороли мокрыми прутьями всех, кто выходил за монастырскую ограду.

— И тебя пороли?

— А то как же! Два раза пороли. Я потом долго сидеть не мог, все на брюхе лежал! — И пленный стал хныкать, утирая нос рукавом.

— Ну, ну, не реви! Рассказывай дальше.

— Стали наши между собою шептаться, что рыдели собираются в большой поход. Замыслили они захватить Новгород. Там, сказывали, есть молодой ратный князь Александр. Нужно, говорили они, ему рога обломать, его войско разметать и так же, как во Пскову, посадить по всей Новгородской земле своих хвохтов — это старост, значит.

— Пускай попробуют! — рассмеялись дружинники.— А мы увидим, у кого рога прежде обломаются.

— Теперь рассказывай, зачем ты сюда попал.

— Стали немцы расспрашивать, кто из нас умеет говорить по-чудински, кто побывал в Юрьеве, Гдове или на Чудь-озере. Тех отобрали и погнали с ихними отрядами дорогу показывать и говорить с чудинцами.

— Все я понял! А что ты по дороге видел и где побывал?

— Проходили мы через Юрьев. Туда согнали летьголу и чудинцев. Видимо-невидимо. Одни кладут стены и камни обтесывают, других учат рыдели, как ходить рядком в бой, выставив вперед копье. Видел я там и отряд с самострелами: лук привязан к рукояти, в желобок кладется стрелка.

Тетиву нужно натянуть и зацепить за язычок, стрелка летит далеко и попадает дюже метко — в куриное яйцо али в воробья.

— Ишь ты? — заметили дружинники.— У нас еще до этого не додумались.

— Видел еще, как рыдели поставили в ряд две сотни леттов, которых собирались вешать.

— За что? Чем они не полюбились рыделям?

— Ихней веры принять не хотели. Вот и вешали их или связанных жгли на кострах. В пути я видел — целые деревни полыхали огнем. Еще видел немецкого попа голого. Его летты посадили на кобылу, привязали, да и погнали обратно в Ригу.

— А много ли ты видел немцев? Как смекаешь: много ли их всех?

— Немцев немало. В Юрьеве я их видел многое множество, а возле каждого немца — пять, шесть, а то и побольше финнов, чуди или летьголы. Если всех их вместе свести, то получится туча. И они валом валят к Чудь-озеру. Как довелось мне слышать, у Чудь-озера быть должен главный сбор всего войска рыделей. Там же хвалились они показать такой бой, в котором русские будут иссечены, и вся наша земля станет немецкой.

Один из дружинников заметил:

— Хвалилась корова все озеро выпить, попробовала, да околела.

В БОГОМОЛЬНОЙ РОЩЕ

Путник вышел из избы. Прибывшие с озера рыбаки торопились разгрузить возы и сбрасывали рогожные мешки с наловленной рыбой. Рыбаки говорили:

— Надо бы все укрыть подальше в лесу, в тайниках, пока немец не навалился и не отобрал всю рыбу, да поспеем ли. Он шарит вокруг, никак от него не убережешься.

Гость, держа Савоську за руку, подошел к отцу его, дюжему рыбаку Петру:

— Бог на помощь, хозяин!

— Просим милости!

— Как бы мне пройти в богомольную рощу? Сам я, один, тут, в сугробах, пожалуй, заплутаюсь.

— А вот Савоська тебя и проведет к дедушке Миколе.

— За этим я и пришел!

— Ступай с дяденькой, Савоська.

Мальчик повел гостя протоптанной в снегу тропинкой. Впереди бежал и прыгал Колобок. Пройдя сосновым лесом, вскоре подошли к холму на береговом мысу, заросшем старыми дубами.

На склоне холма из снега поднимались каменные, грубо высеченные идолы. Наполовину, от земли до пояса, это были столбы, а выше были высечены и руки, и голова с выпуклыми глазами. Среди них были и деревянные, размалеванные пестрыми красками, с черными лицами. Близ высокого, необычайной толщины и древности дуба с оголенными сучьями врылась в снежный сугроб покосившаяся землянка с одним небольшим оконцем.

— Дедушка поди уж дома,— сказал уверенно Савоська.— Вишь, из трубы дымок вьется.— И мальчик закричал, стуча в окно:— Дед Микола, выходи, к тебе гости пришли.

Дверь, отодвигая пушистый снег, приоткрылась, из щели сперва показалась длинная седая борода, а за ней протиснулся и сам Микола, вглядываясь белесыми глазами во вновь прибывших.

— Не узнал меня, что ли? — спросил путник.— Я с тобой, дедушка, уже беседу держал в избе рыбака Петра.

— Узнал, узнал! Али помолиться пришел? — дребезжащим голосом спросил старик.— Только моих богов не тронь. А то старый Пеко осерчает и такую бурю подымет на озере, такие волны на берег выкатит, что всех нас, как щепки, смоет.

— Упаси господи! Зачем богов гневить! Я не за тем пришел, а хотел у тебя разузнать, долго ли еще на озере лед простоит. Говорят, что скоро «мокрик» подует и ледоходом озеро взбаламутит.

— Да я уж тебе сказывал: на святого Федула «мокрик» подует — и по реке Великой лед вспучится и приплывет в озеро. Тут и шуга пойдет. Вода поверх льда потечет. Лед станет ломаться, и тогда ни проходу, ни проезду по озеру Пейпусу уже не будет, пока лед не затолкается в реку Нарову, а оттуда — в море. Тогда без боязни спускай челны на воду.

Путник все посматривал то на древний дуб, на его вершину, то на белую, засыпанную снегом гладь озера.

— Как, летом дуб покрывается листьями али стоит сухой?

— Какой там сухой! Весна придет — и дуб зазеленеет, а осенью желудей насыплет цельный куль.

— А помнишь ли ты, дедушка, когда ты мальцом был, вот таким, как Савоська, лазил ли ты на его верхушку за птичьими гнездами, али на него нельзя влезть?

— Вестимо, лазил! И когда мальчонкой был, и позднее — парнем; только тогда уж не за гнездами, а лазил я на верхушку дуба и там солому жег. В ту пору через пролив, на Вороний камень, приходила девушка Марьюшка и тоже жгла солому на берегу, а я смекал тогда, что она меня дожидается. Тут я на челноке выплывал, и на Вороньем камне мы встречались, на высокой скале вместе сидели и песни пели. Давно это было, а вот как сейчас все помню. Только нет больше Марьюшки, да и я бобылем живу, моих богов стерегу.

— А что там за гнезда наверху? Вороньи?

— Нет! Много лет жил на дубу том ястреб, то ли орел, летал над озером, чирков бил, а прошлое лето куда-то сгинул, и что-то боле не видать его.

— А ну-ка, Савоська,— обратился путник к мальчику, терпеливо стоявшему близ него,— сможешь ли ты взобраться наверх?

— Вестимо, могу. Впервой, что ли, мне туда лазить?

Путник с мальчиком влезли на вершину дуба, где оказалось покинутое ястребиное гнездо. Там они привязали к большому суку конец кожаного аркана и, свернув его, оставили между ветвей.

Спустившись вниз, гость увидел Петра, отца Савоськи, пришедшего разыскивать мальчика. Гость объяснил ему, как Савоська может помочь в общем ратном деле:

— Послушай, хозяин! Меня зовут Гаврила Олексич, я дружинник Александра Ярославича. Князю надобно узнать день, когда сверху, от Пскова, по реке Великой тронется весенний ледоход. Поэтому нужно, чтобы Савоська почаще влезал на дуб и посматривал в сторону Пскова. Когда он увидит, что в той стороне загораются костры, он зажжет и свой костер на верхушке дерева. Пусть дедушка Микола держит наготове сухую солому и горшок с горячими углями; его Савоська втащит наверх на оставленном мною кожаном ремне и подожжет сноп соломы. Справишься ли ты с этим, малец?

— Сделаю, все сделаю! Уж я-то не просплю! — радовался Савоська и прыгал на месте.— А Колобок сторожить нас будет внизу, под дубом, и тотчас почует злых людей, ежели они станут подходить близко.

ГЛАВА IX

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ

> ...И нача имя слыти великого князя Александра Ярославича по всем странам, от моря Варяжского и до моря Понтьского[1] ... даже и до Рима великого: распространи бо ся имя перед тмы тмами и перед тысящи тысящами.
>
> *Новгородская летопись*

ВЕРНЫЙ ГЛАЗ ПОЛКОВОДЦА

Александр выступил из Пскова во главе своей дружины. За ним следовали еще несколько конных отрядов охочих людей, наскоро собранных из разных мест Новгородской земли. Яша Полочанин проскакал вперед и оказался рядом с Александром.

— Чего ты ожидаешь? — спросил он князя.

— Немцы собираются на западном и северном берегу озера. Их немало, и они, кроме того, видно, ждут еще новой подмоги из Юрьева и Риги. Потому они и медлят. Рядом с их лагерем замечены лагеря еми, ливов и чуди. Думаю, что они готовятся на нас напасть первые, и мы должны быть наготове.

Они ехали по льду вдоль западного берега озера и внимательно следили за тем, как дальше к северу, на опушке молодого леса, показывались немцы, собирались небольшими группами и опять скрывались.

— Как будто нужно ждать, что немцы скоро ударят,— сказал Александр.— Видно, к чему-то готовятся.

Никто из пришедших к озеру отрядов ясно не представлял себе, как именно произойдет битва, но все доверяли смелому князю, его пламенной решимости, его умению перехитрить опасного врага.

Уже близился полдень. Александр, верхом на гнедом коне, не раз побывавшем в боевых схватках, стоял у Воро-

[1] Понтьское море — Черное море. От Понт (Pontus — *лат.)* — море.

него камня и пристально вглядывался в немецкую сторону, где выползали отдельные отряды всадников с крестами на плащах.

Князь с тревогой посматривал на восток, откуда по главному пути — большаку — должны были стягиваться новые пешие и конные русские бойцы.

«Поспеют ли? Хватит ли у нас силы, чтобы сперва сдержать, а потом опрокинуть немцев? Денька бы два-три протянуть, так наших новгородцев привалила бы целая туча»,— думал Александр и делился своими тревожными мыслями с Гаврилой Олексичем. Тот заметил:

— А не ты ли говорил: «Если ждешь нападения врага, то скорей сам бросайся на него и опрокидывай на спину»?

— Не всегда так можно сделать. Самое главное — понять вовремя, что задумал недруг, и поразить его так, как он не ожидает.

В это время к Александру подошли одетые в шкуры рыбаки с топорами за поясом и баграми в руках. С ними шагал сухопарый чужеземец в коротком полушубке, с настороженным взглядом серых глаз и очень длинными светлыми усами.

Александр покосился на него:

— Это что за добрый молодец?

Рыбаки рассказали, что ночью, в снежную бурю, они услышали его крики о помощи, нашли полузамерзшего, притащили в свой шалаш и отогрели.

— Похвально сделали! А ты отчего от рыцарей ушел? — обратился к усачу Александр.

— Не ушел, а сбежал. Я не хотел больше с крыжаками быть.

— Почему? — спросил Александр.

— Волки, а не люди. Злое племя!

— А ты кто? Откуда родом?

— Отец был лях. Служил у купца в Герцике на Двине. Там немцы всех молодых парней похватали и погнали воевать. А прежде я с нашими купцами ездил: и в Киеве и в Новгороде побывал, и даже по-вашему говорить немного научился.

— Куда же ты теперь собрался?

— Иду по свету, правду ищу.

— Правду ищешь? Она — с нами. Пришел как раз куда надо.

— Тогда позволь, преславный воевода, я подле тебя и останусь. Если коня не дашь, пешим буду драться.

— С кем?

— С ними, с рыцарями-меченосцами. Наконец-то я до них доберусь и сразу отплачу за все обиды!

— Перекрестись!

Усач перекрестился три раза с левого плеча на правое.

— Не по-нашему крестится! — заметил один из дружинников.

— Не беда! Лишь бы дрался по-нашему, а бог один и правда одна.

— Очень прошу тебя, княже, позволь остаться при тебе!

— Оставайся,— спокойно сказал Александр.

Прискакал Яша Полочанин и осадил коня, обдав всех снежной пылью.

— Вот, Яша, мне как раз тебя и надо. Возьми в свою сотню этого воина. К твоей сотне много шатунов пристало, пригодится и этот.

— Ступай за мной,— сказал Яша.— Коня у тебя, видно, нет. Дам я тебе коня каракового, длинногривого. Не посетуй, что он больно лютый и кусается. Когда в тебе хозяина почует, то покорится.

— Не боюсь! Постараюсь на нем добрую славу заслужить! — Усач выпрямился и, бодрый, будто забыв усталость, весело зашагал по глубокому снегу за Яшей Полочанином, оправляя свой короткий полушубок.

ТУЧИ НАД ОЗЕРОМ СГУЩАЮТСЯ

Пересев на запасного коня, с виду холодный и спокойный, но внутри весь горя тревогой, Александр продолжал объезжать сторожевые заставы, расспрашивая беглецов, пробиравшихся с немецкой стороны. Один разведчик из чудинцев прибежал на лыжах и рассказал, что к немцам прибывают всё новые и новые отряды всадников в железных латах.

— Они гонят, подкалывая копьями, лесовиков, согнанных из покоренной Чуди.

Тучи сгустились над озером. Дул холодный ветер, вздымая снег. Всюду мелькали огоньки далеких костров, и наших и вражеских.

Быстро темнело. Александр остановился у одного костра, где несколько дружинников улеглись вокруг огня. Он сошел с коня, передал повод сопровождавшему его Семке, приказав никуда не отходить и зорко глядеть по сторонам, а сам уселся на пне, задумался и задремал, опустив голову на руки...

Чья-то нетерпеливая рука трясла Александра за плечо. Подняв голову, он увидел склонившегося к нему встревоженного Семку:

— Княже, мой господине! Очнись! Кто-то нам знаки подает. Глянь-ко на ту сторону озера! Видишь огни?

Александр, сразу очнувшись, вскочил на ноги. Он увидел к западу, в том месте, где находилась богомольная роща, огонек. То полыхая, то чуть мигая, огонь этот как будто настойчиво и тревожно о чем-то предостерегал. Такие же огоньки уходили один за другим вдаль, в сторону Пскова.

— Семка! Чуешь, что значат эти огоньки?

— Невдомек мне, княже!

— А то, что по реке Великой лед двинулся! Это мне дед Микола весточку подает. Савоська-малый не оплошал! На верхушке дуба костер разжег! Ай да постреленок!

Семка, изумленный, сказал:

— Коли двинулся ледоход, то, значит...

— Значит, немцам даже соваться на озеро не след.

Александр до боли сжал Семкино плечо и стал ему шептать:

— Надо во что бы то ни стало заманить рыделей на самую середину озера, чтобы им деться некуда было. Беги скорей к Гавриле Олексичу. Скажи, чтобы разослал гонцов ко всем ратникам. Пусть поднимает народ! Всех готовит к бою!

Семка во весь дух, делая огромные прыжки, понесся вдоль берега, где спали русские отряды.

ПЕРЕД РАССВЕТОМ

До самого рассвета Александр оставался в тревоге, то греясь у костра, то проезжая по озеру, то снова поднимаясь на берег, где он вступал в беседу с подходившими новгородцами.

Два чудинца, побывавшие на немецкой стороне, рассказывали, что рыдели поют веселые песни, пьют вино, а бискупы с монахами завывают, вознося моленья, предсказывая невиданную победу, после которой начнется дележ захваченных русских и чудинских земель и раздача их немцам-меченосцам.

— Правда ли, что такое дело может случиться? — спрашивали ратники.

— Никогда этому не бывать! — твердо отвечал Александр.— Мы должны не пожалеть жизни нашей, чтобы

оберечь родную землю. Еще мой батюшка, князь Ярослав Всеволодович, с детских лет мне говорил: «Кто с мечом войдет в нашу землю, тот от меча и погибнет!» Так и вы запомните: немецкие монахи и рыцари могут завывать и колдовать сколько им вздумается, а эту битву на Чудьозере решат не их молитвы и проклятья, а наши русские мечи и топоры!

Еще среди ночи Александр поднял своего брата, князя Андрея, и всех самых приближенных дружинников, передав им приказ: обойти костры и рассказать воинам, как русские дружины, собравшись у Вороньего камня, должны растянуться двумя крыльями на льду озера, не выходя на берег, и как должны держаться в бою.

Александр на коне поднялся на вершину каменистого островка. Позади князя стали три конных дружинника. У среднего в руках было знамя с изображением Спаса Нерукотворного. Чуть поодаль Семка держал под уздцы запасного белого коня.

С вершины этого островка князь ясно видел всю гладкую равнину засыпанного снегом озера, низкие берега заросшей камышами восточной, гдовской, стороны и множество черных точек, спешивших оттуда. Это торопились пешие и конные русские ратники, чтобы принять участие в предстоящей битве.

Сперва небо заволокли серые низкие тучи, но вскоре ветер усилился — это «мокрик» подул с юга, со стороны реки Великой. Розовые лучи восходящего солнца, пробиваясь сквозь узкие, длинные малиновые тучи, заиграли на снежных сугробах и протянулись по широкой равнине озера. Все русские дружины были уже наготове, и воины стояли перед Вороньим камнем в ожидании схватки, опираясь на багры, рогатины и тяжелые топоры-колуны с длинными рукоятками. Люди перекидывались шутками и поглядывали на западный, суболицкий, берег, где начала чернеть громада выползавшего из лесу немецкого войска.

Александр давно и не раз слышал от отца про немецкий строй, называемый «свиньей». Немцы считали такой строй несокрушимым, и Александр не сомневался, что и в этот день они построят свои войска именно таким клином — «свиным рылом». Однако князь надеялся, что придуманная им расстановка русских сил в виде двух раздвигающихся и потом охватывающих и сжимающих клещей поможет раздавить вражеский строй. Он говорил ратникам:

— Мы сумеем отстоять свободу земли Русской! Наше дело правое! С нами Бог!

РУССКИЕ КЛЕЩИ СОМКНУЛИСЬ

По указанию Александра, все русские рати построились перед Вороньим камнем широкой вогнутой подковой. Все лучшие конники и самые сильные отряды разместились на крыльях. Середину подковы заняла густая рать пеших новгородцев: они стояли плечом к плечу, все земляки, из разных мест Новгородского края.

Во главе новгородцев Александр поставил Гаврилу Олексича:

— Потрудись, друже Гаврила, ради славного дела! Я знаю тебя: ты назад не попятишься и немецкий напор выдержишь. Тебе придется принять на себя самый главный, самый сильный удар немецкой «свиньи». Давно, еще от батюшки моего, не раз я слышал, что немецкие рыдели строят свое войско клином и бросаются в бой, стараясь расколоть противника на две части, а затем поворачиваются и нападают сперва на одну половину расколовшегося войска и ее добивают, а потом бросаются на другую.

— И я слышал о такой «свинье». Пускай попробуют! — ответил спокойно Олексич.— Не испугаюсь, да и люди у меня не такие, чтобы назад пятиться.

— Кому же, как не тебе, можно доверить такое дело! Ты стойко, не дрогнув, встретишь главный удар «свиного рыла». А впереди тебя рассыпятся пращники и лучники. Они будут сбивать скачущих немцев камнями и стрелами... С Богом, друже Гаврила! — сказал Александр и поскакал, огибая холм Вороньего камня.

Там, позади островка, строились, готовясь к бою, еще две другие конные дружины.

Гаврила Олексич объехал ряды расположившихся на льду новгородцев. Всем он указывал, где кому стоять, и объяснял, что у рыцарей будет страшный вид: и рога, и звериные железные морды, но они ничуть не сильнее наших стойких в бою рыбаков, пахарей и лесорубов.

Вслед за Гаврилой ехали на конях его товарищи, уже прославленные в Невской битве: веселый Миша Новгородец, всегда хмурый Збыслав Якунович, и Савва, и Яша Полочанин, и другие. Среди них выделялся знаменитый по кулачным боям Кузьма Шолох. Он вел в поводу коня и шагал, держа на плече шишковатую дубину, огромную, как оглобля.

Все ратники обещали Гавриле Олексичу встретить, не дрогнув, удар вражеского клина и не сдвинуться с места, не щадя своей жизни.

— За родную землю встали, так не побежим! — говорили новгородцы, опираясь на копья, рогатины и длинные рукояти топоров-колунов.

Постепенно все более светало. На обоих крыльях изогнувшегося войска выделялись начальники крыльев со своими знаменосцами, державшими развевающиеся на ветру узкие треугольные стяги. Тут же находились трубачи на белых конях.

Князя Александра не было видно.

Равнина озера, засыпанная снегом, была пустынна и казалась мертвой и безмолвной. Узкие полосы невысокого хвойного леса вдоль западного, суболицкого, берега сперва казались тоже мертвыми и безлюдными, а между тем все знали, что там уже ворочается немецкое чудище, которое скоро оттуда выползет и набросится, чтобы терзать русских ратников.

Сквозь низкие тучи прорезался край золотого солнца, и его лучи скользнули по белоснежной равнине Чудского озера.

— Вот и они! Заворошились! — громко сказал кто-то.

Шутки и разговоры смолкли. Сидевшие и лежавшие всю ночь на льду воины вставали и, затаив дыхание, вглядывались в западную часть побережья. Там из невысокого леса стали показываться всадники, и чем дальше, тем все гуще. Они начали медленно спускаться на лед озера, где долго перестраивались и где все ширилась вражеская лавина.

Несколько раз отчетливо донеслись дребезжащие призывы немецких воинских труб.

Постепенно пестрое вражеское войско, сперва очень медленно, а затем все быстрее, двинулось вперед. Тяжелым равномерным скоком, казалось, в неодолимом натиске, приближались немецкие всадники. Уже отчетливо стали видны первые пять рыцарей, мчавшихся, пригнувшись и выставив длинные копья. Дальше число их в каждом ряду постепенно увеличивалось. Действительно, казалось, что по льду надвигается, вклиниваясь, огромное, страшное «свиное рыло», в середине которого бежали густые толпы пеших воинов. Рыцари имели устрашающий вид: на месте обычных шлемов на плечах возвышались железные коробки с узкими прорезями для глаз и дыхания. Над этими коробками торчали когтистые орлиные лапы, завитые черные рога и звериные морды с оскаленными клыками. И всадники, и их кони были покрыты железной броней. Как одолеть их?

Все это мчалось, чтобы обрушиться на русские ряды.

В грозной тишине четко прозвучал призыв Гаврилы Олексича:

— Ежели Бог с нами, то кто на ны? Стойте, други! Принимайте непрошеных гостей!

Бешеная кровавая схватка закипела. Немецкий клин вонзился в густые ряды русских воинов и расколол их надвое. Но и сам он столкнулся с неодолимой стеной новгородских лучников и пращников, которые стояли не дрогнув и встретили немецких воинов тучей длинных стрел, пробивающих железные латы, и градом камней, разящих без промаха. Вражеские кони бесились и, не слушая поводьев, уносились прочь. Немцы смешались в отчаянной сече с не знающими страха русскими воинами. Все видели, как разукрашенный перьями конный рыцарь, направив длинное копье вперед, несся прямо в середину русского безмолвного строя, как дерзкий Кузьма Шолох, кинувшись рыцарю наперерез, ударил дубиной по голове его коня. Конь перевернулся через голову и увлек за собой всадника, который барахтался на льду, будучи не в силах подняться сам из-за тяжелых доспехов.

Страшная борьба разгоралась все яростней. Белоснежная поверхность застывшего озера стала заливаться алой кровью.

Огромная дубина Шолоха, топоры и колуны новгородских лесорубов поражали мощными ударами конские головы; кони опрокидывались, и рыцари барахтались в снегу.

В схватке сперва долго нельзя было понять, кто побеждает. Все смешалось, повсюду шла резня, но враги все прибывали и врывались с новыми силами, тесня русских ратников.

Под напором огромной вражеской лавины наши стали изнемогать. У всех явилась одна и та же дума: «Что же медлит князь Александр? Где Ярославич? Почему его нет?»

К Александру примчались вестники один за другим:

— Выручай! Пора, Ярославич! Враги одолевают!

Александр за Вороньим камнем на застоявшемся, пляшущем коне, не отвечая, всматривался куда-то в даль, точно прислушиваясь к отдаленному шуму, реву и крикам, доносившимся с места битвы. Новый гонец примчался:

— Пора! Выручай, княже Ярославич!

— Подожди! — ответил Александр и повернулся к Семке, державшему запасного коня:— Эй, малец! Подведи ко мне Дружка!

Александр пересел на белого коня и снова застыл, точно прислушиваясь.

Вдруг с места боя донесся радостный вой и ликующие крики рыцарского войска:

— Ийя́-хо-хо́! Санта[1] Мария! Ийя́-хо-хо́!

Александр поднял прямой меч и крикнул дружинникам:

— Теперь пора, други верные! Вперед за землю Русскую!

Белый конь Александра бросился вперед, и за ним помчались все дружинники.

На вражеское войско меченосцев неожиданно для них обрушились сразу две свежие рати. С одной стороны, из-за Вороньего камня, вылетели дружинники Александра, с другой — переяславльские конники князя Андрея.

Надменные, самоуверенные немцы, упоенные радостью ожидаемой победы, были ошеломлены. Они никак не могли понять, откуда взялись свежие русские силы, когда «свинья» уже как будто раздавила русских ратников.

— Санта Мария! Санта Мария! — в ужасе кричали немцы и, поворачивая коней, стали обращаться в повальное бегство.

Видя смятение своих ненавистных угнетателей, стали разбегаться во все стороны пригнанные на битву язычники: и ливы, и летты, и прочие насильно крещенные лесовики-старосельцы.

Конные дружинники Александра и Андрея уже гнались за убегавшими меченосцами и добивали их.

От устрашающего «свиного рыла» остались только кучки отдельных всадников, мчавшихся врассыпную по ледяной равнине. Семь верст преследовали их русские, устилая путь телами вражеских людей и коней.

Казалось, что мирно дремавшее Чудское озеро вдруг проснулось и сердито зашевелилось. Лед повсюду начал трескаться и пучиться. Льдины раздвигались, и между ними показывались черные полыньи. Это на реке Великой начался весенний ледоход, поднимая и взламывая широкую ледяную равнину Чудского озера.

КОНЕЦ БРУДЕГАМА

Верхом на коне Теодорих Брудегам с опушки леса с волнением наблюдал за разгаром битвы. Уже солнце клонилось к темно-синему лесу, а победы не было видно. Находившийся невдалеке немецкий бискуп с трудом сдерживал огромного рыжего коня, тоже покрытого железной броней, который рвался к скачущим мимо рыцарским коням. Бискуп посылал проклятья, потрясая кулаками в железных рукавицах, и кричал:

---

[1] Санта — святая.

— Прохвосты! Трусы! Негодяи! Что они делают? Надо русских сперва раскалывать на части, а затем их избивать! Смотрите: эти бородатые еретики набрасываются, как волки, со всех сторон и отталкивают наших от берега. Они теснят их к полыньям, где те проваливаются и захлебываются, увлекаемые под лед тяжелыми доспехами.

Брудегам его не слушал. Он пристально, со злобой всматривался в даль, где видел знамя Александра, черное с золотом. Вот около знамени он сам. Да, Александр держится молодцом! Вот он на белом коне помчался в самую гущу сечи. Кого-то поразил мечом. Одно немецкое знамя упало. Его подхватил какой-то русский всадник и ускакал прочь... Вот опять Александр вырвался из толпы и бросился в другое место схватки, где отчаянно бился немецкий рыцарь с голубым шарфом на шлеме.

Схватка была недолгой: еще некоторое время голубой шарф вился и мелькал между взлетавшими мечами, затем вдруг исчез, и Брудегам увидел только, как по этому месту промчались кони, и светлый шлем Александра, удалявшегося в сторону. Черная полынья расширялась, и в ней еще некоторое время видны были конские морды и отчаянно барахтающиеся люди.

Уже новая группа немецких всадников неслась, подняв мечи, к месту боя.

Сперва Брудегаму казалось, что теперь победа явно клонится на сторону немцев. Они теснили русских, быстро расступавшихся в разные стороны от середины озера, не будучи в силах сдержать стремительный удар тяжелой немецкой конницы. Но, отбежав, русские снова поворачивались и яростно нападали, сбивая рыцарей.

— Уходите! Скорей уходите! — крикнул промчавшийся мимо Брудегама незнакомый рыцарь.— Мы проигрываем битву!

Теодорих оглянулся: бискупа около него уже не было.

Однако он не послушался и остался на месте, желая увидеть исход битвы, не веря еще, что гордые, до сих пор непобедимые немцы могут быть разгромлены. В бешенстве Брудегам то колотил каблуком бок своего бесившегося коня, то снова с трудом сдерживал его, когда тот пытался примкнуть к мчавшимся мимо всадникам.

Лед по всему озеру стал заметно трескаться, и все больше появлялось черных пятен. Не стесненные тяжелыми доспехами, русские воины разбегались в разные стороны, легко прыгая через полыньи, и опять возвращались, чтобы снова схватиться с врагами. Немецкие всадники уже отступали в полном беспорядке, стараясь добраться до

суболицкого берега по оседавшему под их тяжестью льду. Русские бесстрашно набрасывались на рыцарей, поражая их топорами. Они разбивали головы коням, и железные латы всадников трещали под могучими ударами разъяренных русских воинов. Легко перескакивая с льдины на льдину, к рыцарям подбегали пешие русские ратники и стаскивали их с коней длинными рыбачьими баграми. Упавшим на лед рыцарям тяжелые доспехи мешали подняться без посторонней помощи.

Все войско меченосцев развалилось. Вместо грозных сомкнутых рядов «свиного рыла» по льду метались разрозненные кучки рыцарей. Никто уже не давал распоряжений, каждый спасал только свою жизнь.

Вдруг Брудегам заметил, что в его сторону скачут несколько всадников, преследуя отступавших немцев. Впереди несся воин в блестящей кольчуге, на пятнистом, как барс, коне. Он что-то кричал и готовил аркан. Под могучей рукой всадника конь взвился на дыбы и остановился. С торжествующим криком воин метнул аркан, и тот обвился вокруг Брудегама. Всадник бросился в сторону, аркан натянулся, и Теодорих вылетел из седла. Всадник помчался дальше, волоча по снегу Брудегама.

ПОСЛЕ БИТВЫ

Александр выехал на берег и оттуда наблюдал за явно затихавшей битвой. Он зорко смотрел во все стороны, стараясь разгадать, куда девалось множество немецких союзников: леттов, финнов, чудинцев и других бичами согнанных крестьян, которых немцы насильно заставили отправиться в поход против Новгорода. Первоначально их было в несколько раз больше, чем немцев, но, увидев поражение своих высокомерных господ, они, бросая оружие, со всех ног уже бежали прочь с места битвы, надеясь укрыться в лесах.

Многие русские удальцы на своих неказистых мохнатых лошаденках, часто даже без седла, с рогатинами в руках, гонялись за убегавшими.

Постепенно озеро пустело. Жалкие, ничтожные остатки немецкого войска поспешно удалялись к суболицкому берегу, стараясь оторваться от преследующих их русских ратников. Повсюду бесчисленными черными пятнами на снегу выделялись тела убитых и раненых.

Александр помчался к большаку, где столпившиеся возле дороги люди рассматривали немецких пленных. Мимо

него вели группами еще недавно гордых, нарядных рыцарей, которые в латах, но теперь без шлемов угрюмо шагали с закрученными за спиной руками. Их погоняли, посвистывая и постегивая, новгородские ратники. Один из них, в старом зипуне и новых лаптях, весело покрикивал:

— Вот приехали гости незваные: стали пировать, да похмелье вышло тяжелое!

Александр не узнавал прежних меченосцев. Куда девалась их наглая напыщенность, их уверенность в непобедимости и своем превосходстве над всеми! Теперь угрюмые лица пленных были полны только непримиримой злобы.

Не доезжая до опушки леса, князь задержался. К нему по Новгородской дороге, обгоняя друг друга, бежали мужики. Они что-то кричали, размахивая руками. Узнав его, передние бросились к нему, на ходу снимая шапки и вытирая ими потные лица.

— Сокол ты наш ясный, свет наш Ярославич! Ты уж прости, Христа ради, что запоздали мы. Это твои бирючи-ротозеи виноваты: поздно прискакали на погост. А дома нас не было — мы в лесу, по твоему наказу, готовили строевые лесины.

— А сейчас-то вы о чем тужите?

— Хотели тебе подсобить, в драку с немцами ввязаться, да, вишь, не поспели: пока добегли, совсем упарились. Глядим: тут и без нас ты управился, жару окаянным задал!

Александр рассмеялся:

— Да, уж такого жару, что от него немцы в воду под лед полезли, чтобы малость простыть! Мы им накрепко и надолго отбили охоту совать нос в наш огород. А вам спасибо, поклон земной, что отозвались на мой клич. Ступайте, други, к нашим новгородцам — там, на опушке леса, они уже костры разводят и вас покормят чем бог послал.

Александр медленно, шагом, проезжал вдоль лесной опушки. Ветер качал сосны, и они тихо стонали и поскрипывали. Князь снял шлем и подставил порывам ветра свою разгоряченную голову. Далеко впереди, удаляясь в сторону Новгорода, тянулись беспредельные леса и перелески. Он отыскивал что-то глазами и наконец увидел поселок, над которым поднималась ветхая колоколенка деревенской церкви.

Александр перекрестился и тихо стал шептать молитву, не замечая, как к нему подошли две женщины-простолюдинки и остановились, ожидая, пока он их увидит. Старшая, уже седая, приблизилась и, коснувшись рукой его стремени, сказала:

— Исполать тебе, смелый княжич Олекса! Все мы, бедные смерды, людишки черные, тебе низко кланяемся: отстоял ты землю Русскую, от лихого ворога оборонил! Да сохранят тебя господь и матерь его пречистая на многие лета!

— Спасибо на добром слове!

Въехав на бугор, Александр еще раз окинул взглядом недавнее поле битвы, где лед все более крошился и прибавлялись новые черные полыньи.

Лицо Александра светилось торжествующей силой и радостью победы. Он поднялся на стременах и с каким-то юным, мальчишеским задором высоко подкинул шлем, поймал его на лету, потом, повернув коня, помчался во весь дух к тому месту, где должны были ожидать его боевые товарищи. Они скакали уже ему навстречу с радостными криками.

ЭПИЛОГ

ОКАЯННЫЙ ПОДАРОК

ДЗЯДЫ[1]

Прошло несколько лет. По широкому степному шляху, из Чернигова в сторону Владимирского Залесья, плелись четыре путника. Что-то было в них странное и необычное — встречные вглядывались и дивились:

— Кажись, дальние...

— Разве не признаешь? Да это дзяды, волынские курослепы!

Одеты путники были так же, как и все крестьяне: и зипуны, и лапти лыковые с онучами, и колпак поярковый, и за спиной плетенная из лыка сума. Но зипуны были не бурые, а почти белые, обшиты красными тесемками, равно как и поярковые колпаки. Онучи тоже были обвиты накрест красной шерстяной тесемкой, и под коленами у каждого подвешены бубенцы.

Волосы у всех четырех, вьющиеся и спутанные, свободно падали на плечи. Лица заросли бородой от самых глаз, насмешливых и пытливых, и с лица не сходила умильная улыбка, точно каждый из четырех хотел влезть в душу встречного.

Шли четыре дзяда гуськом, цепляясь крючковатыми палками друг за друга. Передний по временам наигрывал на камышовой дудочке, а остальные подпевали сиплыми голосами. Протяжные, заунывные звуки неслись далеко по вольной пустынной степи.

Когда навстречу попадались скрипучие подводы, дзяды, спотыкаясь, спешили к ним. Пронзительнее заливалась дудка, громче пели сиплые голоса.

— Подайте странникам убогим, каликам[2] перехожим!

---

[1] Дзяды — нищие бродячие старики — деды *(польск.)*.

[2] Калики — странники (от *лат.* caliga — сапог).

В бескрайней степи часто белели омытые дождями конские и человеческие кости и порубленные черепа. Много их разбросала по дорогам пронесшаяся ураганом монгольская орда, когда узкоглазые всадники рыскали здесь, не пропуская ни одного встречного, не обшарив и не вытряхнув все, до последнего куска хлеба.

А четыре странника, увидев белый череп с проломом от татарской булавы или кривого отточенного меча, подходили к валявшимся человеческим безмолвным и безымянным останкам и, сняв колпаки, становились в ряд и протяжными голосами пели заупокойные молитвы.

Четвертый, самый высокий, затягивал нараспев:

— «...во блаженном успении вечный покой неведомому воину подаждь, господи, идеже праведники успокояются...»

Слыша молитвы, прохожие издалека спешили к четырем странным каликам, крестились, совали им куски хлеба или сушеной рыбы и тяжело вздыхали:

— Охти, господи! Сколько душ крестьянских загублено! Сколько таких костей, слезами не омытых и дождем политых, раскидано по буграм и долинам! Только ветер им грустную песню споет и посыплет песком да прохожий калика восплачет над ними!

Много дней плелись четыре путника и наконец пришли в первые погосты Залесья — обугленные, полуразрушенные, где только воронъё крикливое кружилось над пепелищем. Однако кое-где зазеленели одинокие березы и уже забелели новенькие срубы, поставленные, как обычно, на опушке леса или берегу речки. Встречались землянки, сложенные из старых, обугленных бревен и испуганно прятавшиеся под яром, точно укрываясь от татарского глаза и их цепкой, хваткой руки.

Четыре дзяда, распевая, подходили к избам, становились рядком перед маленьким, безмолвным, непроницаемым окошком, затянутым свиным пузырем, и пели жалобные песни до тех пор, пока не отодвигалась внутренняя ставенка окна и оттуда не протягивалась рука, подавая горячие коржики из житной муки пополам с мякиной.

Возле Переяславля-Залесского, на широких поемных лугах, дзяды позадержались. Всадники на лихих поджарых конях мчались через сырые еще луга, с трудом поспевая за собаками, гнавшими метавшуюся из стороны в сторону

рыжую лису. Впереди кубарем уносился, заложив уши за спину, серый заяц. Он большим скачком бросился в сторону и понесся по новому направлению, к лесу. Борзые, сгоряча пронесясь вперед, завернули за зайцем и снова кинулись его догонять.

Всадники улюлюкали, кричали, подгоняя коней по вязкому, сырому лугу. Особенно выделялся один впереди, на высоком легком коне, молодой, веселый, беспечный. Он щелкал арапником и кричал собакам:

— Раззёвы! Пустобрехи! Хватайте куцего!

Собаки, понимая, что ругань относится к ним, старались, как могли, но заяц снова сделал ловкий скачок в сторону и добежал до опушки леса.

Нарядный всадник и с ним на взмыленных конях еще несколько охотников остановились перед четырьмя калеками перехожими. Всадник подъехал вплотную и сорвал колпак у самого высокого дзяда. Он повертел и помял колпак. Оттуда выскользнула сложенная грамотка. Всадник ловко подхватил ее и стал внимательно вчитываться, многозначительно покрякивая:

— Да! Да! Да! Вот как!

Четыре дзяда кланялись в пояс, а самый высокий, приглаживая руками развеваемые ветром длинные волосы, жалобно причитал:

— Чего балуешься? Зачем колпак содрал? Отдай назад! Мне голову снимут, если я его потеряю.

— И потерял уже! Это тебе даром не пройдет! Тебя не отпущу! — сказал всадник.

Старик не испугался. Наоборот, приосанился, заложив руку за пояс, и строгим, пытливым взглядом смотрел на всадника. Новым, деловым голосом он спросил:

— А ты кто будешь? Не ты ли князь Александр Ярославич? У меня к нему дело есть.

— Я не князь Александр, а младший брат его, князь Андрей. А мой брат, князь Александр Ярославич, как раз приехал из Новгорода и гостит у меня в Переяславле. Тебя я сейчас же отправлю на мой княжий двор, и брат сам с тобой говорить будет и о твоем деле, и о грамотке этой. А ну-ка, Яша, отведи-ка честных отцов на наш двор и предоставь их князю Александру. Возьми-ка эту грамотку и передай из рук в руки. А тебе, старик, кажись, очень любо покачаться на осине?

Высокий дзяд спокойно ответил:

— А может, больше нравится повеличаться за миской с пирогами!

Подскакал дружинник на пегом коне с длинной белой гривой. Его зоркие глаза пытливо перебегали со странников на князя Андрея. Он снял колпак, положил в него грамотку и надел снова на голову.

— Вперед, святые старики, вперед! Веселее! — закричал он и стал теснить конем четырех дзядов.

Те вприпрыжку, быстро направились по пыльному шляху.

— Куда гонишь? Зачем конем топчешь? Мы люди тихие, убогие! Что ты с нами делать будешь?

— Не я, а похитрее меня разберут, что с вами делать. Ходи веселее! Налево, прямо через бугры! — И он засвистал, стегнув плетью коня.

Князь Александр хотел подняться на крыльцо княжеского дома, но остановился: с улицы доносились нестройные голоса, распевавшие заунывную песню под красивые переливы дудочки.

В это время к Александру подошел иноземный торговый человек, одетый не по-нашему — в зеленый кафтан и желтые высокие сапоги с отворотами. Он давно уже поджидал в Переяславле приезда князя Новгородского. Воспользовавшись тем, что князь остановился, иноземец обратился к нему:

— Ведь это наши дзяды идут!

— Кто это дзяды? И кто ты, почтенный человек?

— Так в нашей стороне зовутся веселые старики — молодые шуты скоморохи, подвязывающие себе длинные кудельные бороды. Те, что ходят по торжищам, свадьбам или крестинам. Они забавляют собравшихся гостей. Но они также поют заупокойные песни на могилках. Верно, и сейчас они хотели бы позабавить вашу княжескую светлость. А я Андреаш, торговый гость.

Зычным голосом Александр крикнул дружиннику, стоявшему у ворот:

— Эй, друже! Позови-ка старичков-дудочников сюда на двор!

Калитка отворилась, и четыре дзяда вошли один за другим, распевая песни. Передний, надув щеки, пронзи-

тельно дудел в деревянную, раскрашенную дудку. За ними на коне следовал Яша Полочанин.

Александр, беглым взглядом их оценив, удивился, что рыжий клыкастый пес, давний подарок иноземного купца, привязанный у ворот, вдруг поднял голову и приветливо завилял хвостом. «Свои люди! Старые знакомые!» — подумал князь и сказал:

— Войдите, не бойтесь!

Четыре дзяда выровнялись перед князем и поклонились до земли, сняв поярковые колпаки.

Один из них, с подвязанной длинной кудельной бородой, заговорил нараспев:

— Исполать тебе, княже пресветлый, Александр Непобедимый, грозные очи, железные плечи! Жить тебе сто лет да поживать, славы немеркнущей добывать!

— Издалека ли путь держите?

— В славный вольный Новгород хотим добраться, а вышли мы из земли Волынской, из-под лесистых каменных гор Татров. Там я и дудку вот эту срезал, с тех пор с ней хожу я, и она меня кормит.

— Что ж, гости дорогие, поди устали с дороги? Прошу, заходите в гридницу закусить чем бог послал. Там мы и побеседуем... Яша, проведи дзядов да пошли кого-нибудь из отроков к старшему ключнику, пусть велит подать нам в гридницу браги хмельной, и меду самого старого и крепкого, и всякой снеди, чтобы гости потом не порочили меня с братом и не бранили нас за скопидомство. Пображничаю и я с вами.

Дружинник опрометью бросился в хоромы, а князь снова обратился к дзядам:

— Проходите сюда, в гридницу, други любезные! Сейчас я жду от вас рассказа, где вы побывали, что видели и что на вашей далекой родине делается. Что такое Татры лесистые? Такие же ли там люди добрые живут, такую же веру православную чтут?

Дзяды переглянулись и посмотрели на Андреаша. Александр повернулся к нему и сказал:

— И тебя прошу, гость торговый, почтенный Андреаш, зайди ко мне в хоромы. Посидим в гриднице, там и побеседуем, потолкуем, чарку-другую выпьем за здравие всех добрых людей.

Андреаш снял свою меховую шапку и низко поклонился:

— Если не побрезгаешь ты мной, то рад буду с тобой побеседовать. У меня тоже есть кой о чем с тобой потолковать, советов твоих порасспросить. Да и сам я могу многое рассказать.

Александр прошел на второе, верхнее, крыльцо и, подозвав одного из слуг, сказал ему вполголоса:

— Сбегай к Гавриле Олексичу, вели прийти не мешкая на беседу важную.

Долго тянулась беседа в просторной, светлой гриднице. Дзяды обильно угощались и пели свои песни про стародавние времена. Князь был весел, много рассказывал о случаях на охоте и во время сражений на Неве и на льду Чудского озера.

— Слухом земля полнится,— сказал Андреаш,— и до самого Рима вести докатились о твоих победах. И узнав про это, святейший наместник Христа на земле, папа римский, меня послал, чтобы я разыскал тебя и расспросил обо всем.

«Вот оно что! — подумал Александр.— Вот кто его прислал! Какая у него тайная цель приезда?» Он сделал знак, чтобы подлили еще старого, крепкого меду в чашу уже сильно захмелевшего Андреаша, отиравшего красным шелковым платком вспотевшее лицо.

— Расскажи нам, достопочтенный Андреаш, какими путями ты сюда добрался.

— Путь известный, обычный. Проехал я через Италию и богатую Венецию, затем в город Тригестум. Оттуда горными дорогами проследовал в далекий Пешт, где видел короля Белу. Он снова строит и украшает свою столицу Буду, разрушенную татарами. Король Бела был очень милостив ко мне и дал провожатых для безопасного проезда через хребты Татров. Оттуда я попал в Галич, где хотел повидать князя Данилу, но не застал его. Думал я на развалины Киева заглянуть, помолиться о павших за родную землю на поле брани, но торопился выполнить приказ святейшего отца нашего и направился через Смоленск, откуда прямехонько прибыл сюда, в Переяславль, к ногам твоей княжеской милости.

— Далекий же ты путь сделал! Сколько трудов, беспокойства и опасностей! Какое же у тебя было приказание святейшего отца?

Андреаш посмотрел направо, потом налево, на четырех дзядов. Из них один уже заснул, склонившись взлохмаченной головой на положенные на стол руки. Трое остальных обнимали Яшу Полочанина и Гаврилу Олексича и клялись им в вечной дружбе:

— Вы не посмотрели на бедность нашу, не побрезговали дзядами! Как нам после этого не любить вас! — И они вытирали рукавами глаза.

Андреаш, наклонившись к Александру, стал ему шептать:

— Святейший отец наш и покровитель папа римский крайне встревожен мыслью, не захочет ли Бату-хан, передохнувши, опять ворваться в наши земли. Сейчас он откатился обратно в свои степи и, наверно, готовит новый набег. Что ты думаешь об этом азиатском завоевателе?

— О ком? О Бату-хане?

— Да, да! О владыке татар!

— А что я могу о нем думать? Наверное, то же, что и ты.

— Сильный ли это враг? Можно ли ему противиться? И удастся ли разгромить его?

— Когда нужно родину защищать, мы не думаем, можно ли или нельзя. Мы знаем только одно: мы должны встать на защиту нашей земли, наших домов, пашен, детей и жен. Мы бросаемся в битву, хотя бы нам грозила верная смерть. А разве можно думать по-иному?

— Какие красивые, благородные слова! — воскликнул Андреаш.— Мой святейший благодетель высоко ценит тебя, твою доблесть. Он послал меня к тебе с очень важным поручением. Могу ли я сейчас откровенно говорить, или мы отложим беседу до другого дня?

— Говори, говори, достопочтенный Андреаш! Гости пока занялись медом и нас не слушают.

Андреаш придвинулся ближе к Александру и заговорил шепотом:

— Его святейшество очень опасается вторичного вторжения татар в наши христианские земли. Я слышал само-

лично его слова: «Настало время скорбное, давно не виденное. Народам христианским грозит гибель от хищных, диких язычников. Они могут опять ворваться и поочередно разгромить все христианские королевства. Поэтому нужно объединиться и создать «союз народов». И святейший папа решил объявить новый крестовый поход, воедино собрав войска всех христианских народов,— без этого немыслима победа над звероподобными татарами.

— Гаврила Олексич! — позвал князь.— Садись к нам. Здесь занятные речи говорятся.

Гаврила Олексич пересел на скамью рядом с Александром, а все дзяды, занятые медом, затянули какую-то былину о славных, давно прошедших временах и стучали чарками.

Андреаш продолжал:

— Хранитель престола всевышнего посылает тебе свое пастырское благословение на великий святой подвиг и предоставляет право первому начать крестовый поход против татар. Он обещает поддержать тебя и все русские войска своими святыми молитвами и помощью всех других королей: и ляшского, и мадьярского, и чешского, и герцога Силезского, и магистра Ливонского, и короля Французского, праведного Людовика Девятого.

Александр, задумчиво смотря в сторону, как будто не слышал Андреаша. А Гаврила Олексич, зажмурив глаза, заговорил необычайно сладким, умильным голосом:

— А как святой папа римский мыслит: будет ли князь Александр возглавлять поход крестовый? Будет ли он главным полководцем? Станут ли его приказу подчиняться все короли, герцоги и магистры, или же святой отец хочет, чтобы князь Александр Ярославич стал застрельщиком, задирой, который раздразнит татарского зверя, выманит его из берлоги и примет на себя первый, самый сильный удар, пока остальные властители и сам папа будут молиться и гадать, долго ли смогут бороться два им одинаково ненавистных могучих народа и скоро ли они пожрут друг друга? А когда мы ослабеем во взаимной резне, то не явятся ли немецкие и латынские войска и не захватят ли наши русские, залитые кровью, обезлюдевшие земли?

Андреаш, стараясь показать крайнее возмущение, стал горячо возражать и даже вскочил.

— Как ты мог помыслить так дурно о святейшем папе, наместнике Христа на земле! Конечно, ты, князь Александр, будешь участвовать в этом великом крестовом походе на татар не только как равный, но как первый среди других королей. Так и решил святейший наместник Христа и благословляет тебя золотой короной в знак того, что ты не останешься больше просто князем, а будешь объявлен полновластным королем над всеми землями русскими. Его святейшество доверил мне поднести тебе эту корону, которая засияет, как солнце, на голове первого русского короля... Отец Доминик,— обратился Андреаш к самому старому из дзядов,— передай мне тот короб, что ты нес.

Седовласый дзяд, только что распевавший песни и казавшийся совершенно захмелевшим, сразу отрезвел. Он достал из своей потрепанной сумы круглую лубяную коробку. Твердыми шагами он подошел к Андреашу и с низким поклоном передал ее. Андреаш распутал ремешки, которыми была перевязана коробка, и снял крышку. Внутри находилось что-то завернутое в темно-лиловую шелковую ткань. Перекрестившись и шепча молитвы, Андреаш развернул ткань и с торжествующим видом достал золотую корону. Она была искусно сделана из золотых листьев и веток, образовавших густую сетку, и нескольких медальонов с изображениями святых.

Бережно придерживая корону концами пальцев, Андреаш с поклоном протянул ее князю Александру:

— Прошу тебя, пресветлый князь, примерь это почетное королевское отличие. Не мала ли тебе эта корона? Приняв ее, ты станешь первым королем всех русских земель и поведешь свои войска к славе и победе над всеми азиатскими народами.

Александр встал, отступил на шаг и, заложив руки за пояс, сказал:

— Достопочтенный папский посол Андреаш! Благодарю тебя за честь и дружеские речи, но я не могу принять это подношение.

— Отчего, князь Александр? Подумай! Ведь ты отказываешься от весьма почетного, высокого дара, посланного самим святейшим папой, наместником Христовым на земле. Молю тебя: не торопись с отказом! Я выполнил

данное мне приказание и кладу корону на стол перед тобою. Ты передумаешь — и эта корона будет по заслугам блистать на твоем челе, уже прославленном дивными победами!

Все сидевшие в гриднице переполошились, вскочили со своих мест и подбежали к Александру. Четыре дзяда стояли выпрямившись, сложив руки на животе, и, наклонив головы, напряженно слушали, как, нахмурясь, резко отвечал Александр:

— Благодарю тебя еще раз, достопочтенный Андреаш. Однако ты сказал мне речи лживые и поэтому непристойные. Ты говорил мне, что папа римский благословляет меня на крестовый поход против язычников-татар. Но почему же, когда на Русь навалилась татарская орда, жгла города и нещадно уничтожала старых и малых, почему тогда никто не прислал нам подмоги? Где вы были? Наоборот, не успели татары схлынуть с окровавленной Русской земли, как святейший папа объявил два других, тоже крестовых, похода. Но против кого? Против татар? Нет! Сперва он благословил жадных до чужого добра шведов пойти с мечом и огнем на новгородские земли, против нашего православного народа, советовал шведам избивать нас без жалости, как диких схизматиков, и особенно призывал он раздавить беспокойного русского князя Александра! Правду ли я сказал? Постой, дай кончу... А второй крестовый поход римский папа объявил, направив немецких рыцарей-меченосцев опять же не против татар, а против русских людей — против Новгорода и Пскова. Где же святое слово божье? Где братское единение всех христиан? Ты думаешь, что если немецкие рыцари нашили себе огромные кресты на груди и на спине, то они уже выполняют волю божью? Правильно сказал тебе Гаврила Олексич: не о Русской земле, не о моей славе и защите христианства вы думаете, а о том, как бы отвести от себя удар, стравить русских с татарами, чтобы во взаимной борьбе истощить и тех и других, а самим потом легко ворваться к нам и захватить наши земли.

Ошеломленный Андреаш хотел что-то возразить, но Александр горячо продолжал:

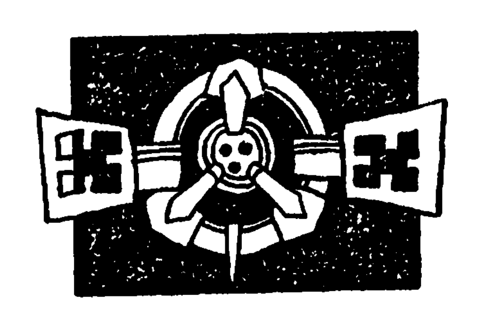
— Где тот дзяд, что тайно принес в сумке этот окаянный подарок, на котором видна кровь невинных людей,

перебитых шведами, немцами и прочими крестоносцами? Бери корону себе и носи во славу папы римского! Будь королем всех дзядов и скоморохов, с благословения приславшего вас хитрого и злобного хозяина.

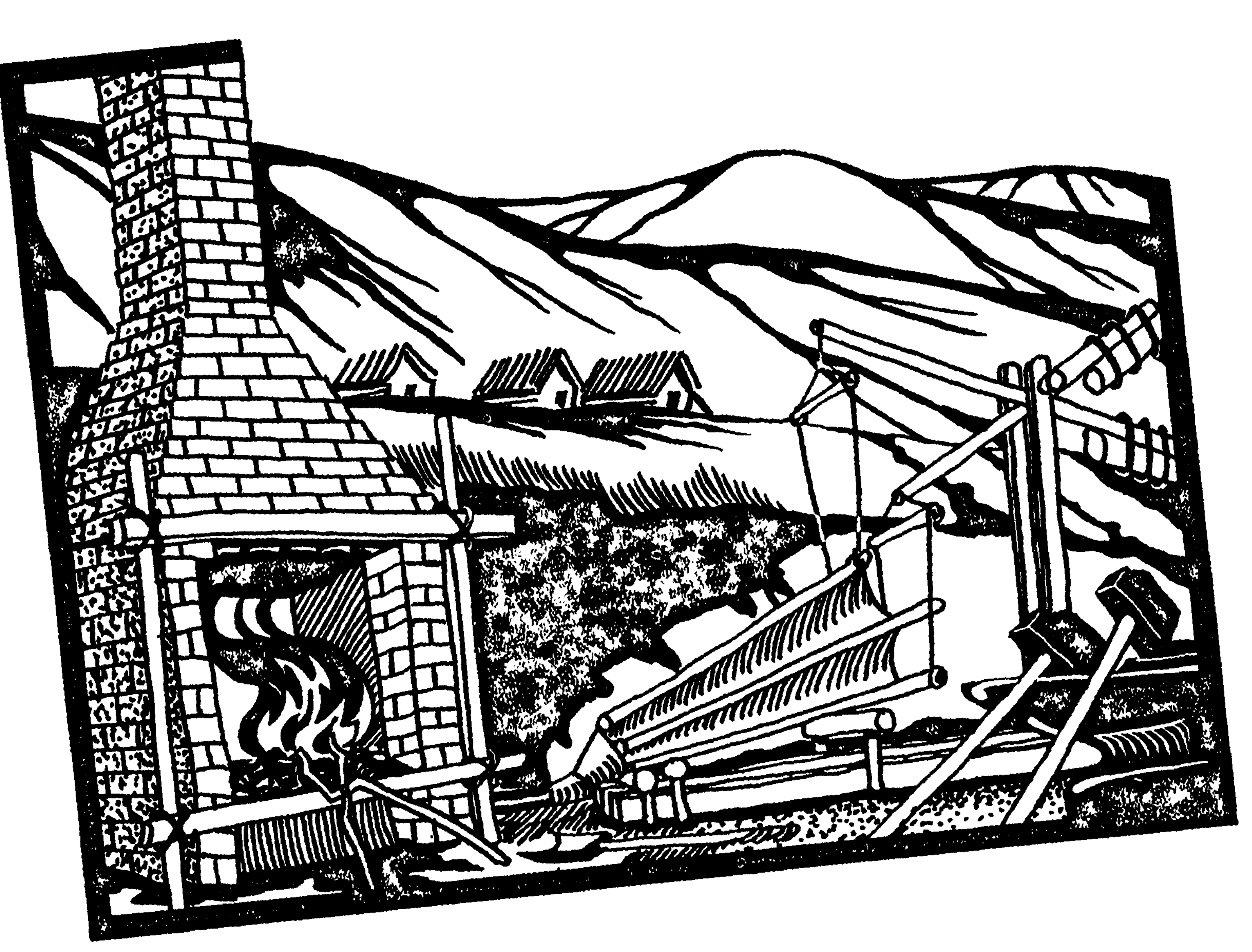
Александр схватил корону и ударом тяжелой руки нахлобучил ее на лохматую голову перепуганного старого дзяда, затем, резко повернувшись, сказал Гавриле Олексичу:

— Позаботься, друже, чтобы гостям хитроумным все же дали еды на дорогу и прочего, что им на потребу. Пусть поскорее возвращаются туда, откуда пришли! А мы сами, своим умом, а когда время придет, то и своим мечом снова защитим Русскую землю от злых ворогов, откуда бы они ни пришли! — И, не слушая объяснений растерявшегося, огорченного Андреаша, князь взял свою серебряную чарку и, презрительно выплеснув недопитое вино на пол, суровый и непреклонный, вышел из гридницы.

1952



МОЛОТОБОЙЦЫ



Историческая
повесть

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НЕПОКОРНЫЕ

Бунт — не перцу фунт, а живет горек.

Старинная пословица

«Дабы те деревни всегда были уже при тех заводах неотложно, чтоб особо без заводов отнюдь крестьян никому не продавать и не закладывать и никакими вымыслами ни за кем не укреплять...»

Из указа Петра I

1. СЕЛЬЦО ВЕСЕЛЫЕ ПЕНЬКИ

На склоне холма, омываемого с одного края прудом, раскинулось сельцо Веселые Пеньки. Трудно сказать, почему это сельцо получило название веселого и какие и от чего остались пеньки. Но сельцо это входило в поместье братьев Ивана, Яна и Гаврилы Семеновых детей Челюсткиных, пожалованное «великим государем» еще деду их Матвею Челюсткину за услуги, оказанные им боярам Романовым при захвате московского престола.

Часть поместья была отдана на оброк, по двенадцать рублей в год, иноземцу Петру Гаврилову сыну Марселису, впредь на двадцать лет с тем, что «повольно ему, Петру Марселису, и детям его на той земле заводы завести железного дела и строить, что они похотят, и в поместном лесу хоромянный и дровяной всякой лес сечь». Но в этом сельце иноземец Марселис железных заводов не строил, а только пользовался лесом.

Сельцо было похоже на другие деревни Серпуховского уезда: потемневшие курные[1] избенки, покрытые побурев-

[1] Курные — «черные» избы с печами без трубы, дым выходит через дверь, окна.

шей соломой, растасканные плетни вокруг скудных огородов с горохом, репой, луком и хмелем. Оконца задвинуты доской или затянуты брюшиной. Плакучие березы и рябины склонились, как от похмелья, над непросыхающей лужей, где завалилась длинная тощая свинья с пестрыми юркими поросятами. Далее за огородами прижались круглые одонья[1] ржаных снопов с острой обвершкой, и за гуменником расползлись густые конопляники.

По хребту холма протянулась господская усадьба, огороженная частоколом. Из-за него выглядывали коньки и гребешки крыши «шатром», крытой дранью, и покосившийся теремок с переливающимися на солнце слюдяными оконцами. Сквозь раскрытые ворота алело расписное деревянное крыльцо, а перед ним красовалась круглая садовая куртина с шиповником, маками и красными пионами.

Владельцы поместья редко наезжали в эту усадьбу, где постоянно жил их доверенный, приказчик Меренков, следивший за порядками и благочинием прикрепленных к земле крестьян, плативших господину оброк и зерном, и яйцами, и холстиной, и куделью, и ягодами — всем, что Меренков сумел из них выжать.

Во дворе усадьбы стояли избы «белые»[2] с кирпичными трубами на крыше, конюшни, скотный хлев, сараи, погреб с надпогребицей и различные клети.

Длинный извилистый пруд зарос по краям камышами, где перекликалась болотная птица. Середина пруда давно бы затянулась сплошной тиной и желтыми кувшинками, если бы стада гусей и уток не плавали целый день, чувствуя себя там неприступными; к осени многие стаи совсем дичали, и за ними гонялись уже по льду.

В том месте, где пруд заворачивал дугою и переходил в болото, на берег забралось несколько черных бань (называвшихся тогда «мыльнями»), хлебные овины, водяная мельница, а дальше за ними одиноко чернела полуразвалившаяся закоптелая кузница старого деда Тимофейки, и возле нее «стан»[3] для ковки норовистых лошадей.

С другой стороны к пруду подходила роща с поскотиной — телятником. Через рощу журчал ключ, выбившийся из-под корней старой березы. Далее тянулся ряд полянок, где Марселис вырубил «хоромянный» лес. Неподалеку

---

[1] Одонья — группы круглой клади хлеба в снопах, с обвершкой снопом.

[2] «Белые» — избы, где печь с трубой и нет копоти.

[3] Стан — в нем подтягивают на подпругах норовистых лошадей, не поддающихся обычной ковке «с колена».

в липовнике прятался пчельник, а за ним роща переходила в бор с вековыми соснами и елями, в котором были разбросаны заимки[1] крестьян.

2. ОТОСЛАТЬ НА ЗАВОД СЕМЬДЕСЯТ РАБОТНЫХ ЛЮДЕЙ

Ранним солнечным утром из помещичьей усадьбы вышел озабоченный староста Никита и, постукивая длинной палкой, направился тропочкой к курным избам. Из-под остроконечного колпака с собачьим отворотом поблескивали недовольные прищуренные глазки. Он шел мелкой походкой, шаркая широкими сапогами. Около первой избы староста сдвинул шапку набок, опять направил ее, помедлил, махнул рукой и постучал батогом в маленькую оконницу.

— Харька, выглянь-ка на улку.

Ставня отодвинулась, из черного квадрата вырвался клуб кислого пара, и показалось встревоженное лицо старика.

— Чего еще надо, Никита Демьяныч?

— Пройди на скотный двор, к крыльцу Ивана Степаныча. Там узнаешь кой-чего. Бают — Меренков из Москвы отписку получил.

Староста пошел дальше по деревне. У некоторых изб он останавливался, стучал батогом и говорил одно и то же, вызывая мужиков к приказчику Меренкову. Мужики выскакивали босиком и, накинув кожухи, шли гурьбой сзади старосты, расспрашивая, что приключилось. Но Никита отмалчивался, уверяя, что сам ничего не знает, а на господском-де дворе все разъяснят.

Мужики собрались перед крыльцом приказчика с шапками в руках и глухо переговаривались:

— От барской отписки добра не жди... Оброк новый накинет, а то, может, надумал и чего похуже...

В стороне сгрудилось несколько баб в цветных сарафанах и красных полинявших платках. С тревогой они ожидали, что грозило их мужьям.

Меренков вышел на крыльцо и окинул цыганскими с желтизной глазами собравшуюся толпу. Рядом с приказчиком стоял другой, неведомый крестьянам человек, рыжеволосый, рябой, в кафтане посадского покроя. К ним присоединился дьячок Феопомпий, с прилизанной квасом

---

[1] Заимка — очищенный от леса участок с избой вдали от деревни.

косицей. Меренков держал в руках бумажный свиток. Голова его совсем ушла в прямые плечи, подбородок поднялся, и жесткая черная глянцевитая борода прыгала, когда он говорил.

— Детушки,— выкрикивал он высоким сиплым голосом,— господин наш и отец родной Иван Семенович, за здоровье коего мы, его людишки и сиротинушки, усердно бога молим, прислал вот эту самую отписку, что мы нашим великим радением и неоплошно должны помочь царскому делу. Для войны с злобнейшим царем свенским Карлусом и ханом крымским Едигеем нужны пушки, и ядра каленые, и пищали огненные, и другие ратные припасы. Надо этого злодея, и татя, и вора Карлуса от нашей земли отвадить, иначе он сюда придет, избы наши пожжет, амбары повытрясет и поля стопчет. А заводы железные, тульские и каширские, работают доспехи воинские тихо, ослабно; не хватает и черных кузнецов, и добрых рудокопщиков, и углежогов. А потому...— Меренков откашлялся и сунул свиток в руку дьячка, стоявшего с застывшим лицом, прижав веснушчатые ладони к округлому засаленному животу.— А потому в этой отписке наш господин приказал для царского воинского дела отобрать семьдесят крестьян здоровых и к делу охочих и послать их на железные заводы. Ну-тко, отче Феопомпий, ну-тко, прочти, про кого там помечено по имены и прозвищи... А кого вызывают, детушки, выходи вперед и становись к сторонке особо.

Дьячок, держа свиток близко перед глазами, стал читать слегка нараспев и с остановкой после каждого имени.

— Сережка Дербинский, Ильюшка Корзин, Федька Семерня, Харька Ипатов...

Мужики повторяли гулом произнесенные имена и выталкивали из своей толпы то Серегу — молодого парня, растерянно озиравшегося, то угрюмого, худого, со впалой грудью Федьку Семерню, то старого низкорослого деда Харьку Ипатова.

Вызванные отходили в сторону.

Затихшие было крестьяне начали громко перешептываться:

— Небось Никита своих сродственничков и шабров[1] обошел, пожалел. Это все Никита подбирал, на кого прозябь[2] имел.

---

[1] Шабёр — сосед, приятель.

[2] Прозябь — умысел.

Меренков объяснял своему рыжему соседу:

— Видишь, Петр Исаич, какие все добротные мужики, молодец молодца краше. Могутные, спористые работнички будут. Вот этот долговязый, вихрастый — сапожник, Митька Бахила, починивает худые мехи с большим искусством, и жалованья ему никакого хозяйского нет, кормится своим мастерством. А вот этот — верно, что носом кирпатый,— Федосейка Стрело́к. Да не в лице его сила,— смысл имеет и мужик исправный. Ездил он каждый месяц к Москве на двор господина нашего Ивана Семеныча с письмами, а с Москвы обратно — со всякою ведомостью и ничего не растеривал...

Петр Исаич откашливался, вертел головой и говорил, что когда ножные железы на всех наденут, то он должен еще каждого осмотреть, нет ли какого ущерба: все ли пальцы на руках, не течет ли из ушей, не перхает ли, как баран. «Дело ведь хозяйское, работать придется с великим радением и большим поспешением». Так он и боится, чтобы не увести с собой ленивца, который будет хлеб хозяйский есть, а бестолковщину плесть.

Однако крестьяне уже не стояли молча. Волнение их усиливалось. Кривоглазый Харька Ипатов протиснулся вперед и обратился к приказчику:

— Ты куда же хочешь нас отослать? На завод?.. Мы к этому согласия нашего не даем.

— Не даем! — поддержала многоголосая толпа.

— Мы хлебопашцы, привыкли около землицы ходить, нам заводская работа несподручна. Никуда от нашей пашни не уйдем, сколь бы ты нас не улещивал или страшил казнью.

Меренков пробовал уговаривать, грозил, что отдерет упорствующих шелепами[1], и подмигнул холопу Силантию, чтобы тот запер усадебные ворота. Высокий Силантий, прозванный «катом»[2], направился к воротам, но это еще более распалило крестьян.

— Ребята, гляньте, ворота запирают. Айдайте скорее по избам! — крикнул Харька Ипатов, и вся толпа, шлепая босыми ногами, побежала к воротам, отбросила Силантия и в клубах пыли понеслась по дороге. Меренков смотрел на мелькавшие пятки и чувствовал, что он не так повел дело, как надо.

Вернувшийся от ворот Силантий тащил в своих медве-

---

[1] Шелёп — плеть, кнут.

[2] Кат — палач.

жьих лапах упиравшегося старого Харьку Ипатова. Меренков хрипел от злости:

— Тащи его, подлеца, на конюшню. Заклепай ему ножные железы. Это ты бунтарь, Харька, заворовал[1] всех крестьян против нашего благодетеля, да и против царского повеления готовить ратные припасы. Ты против великого государя идешь.

Харька, стараясь вырваться из цепких рук Силантия, кричал:

— Чего мине, старика, держишь? Ты других, помоложе, держи! Чего мине царем попрекаешь? Я против царя не заворовал и ничего судного не говорил, а ты крестьян на заводы зашлешь, земли их продашь,— мы без земли и останемся. Знаем мы, какие на заводе ратные припасы готовятся: не пищали, а сковороды. И не для великого государя ты распаляешься, а для-ради господской ручки, чтоб тебя по рылу погладила.

— Молчи лучше, брешешь на свою голову,— шептал Силантий.— Он с тебя за такие слова шкуру сдерет.

Харька Ипатов разошелся и, высвободив одну руку, потрясал кулаком, тыча в сторону приказчика.

— Однажды послал наших ребят на заводы и тоже тогда говорил, что только до покоса. А на заводе они и от работы, и от квашеной рыбы дохнуть начали. Коней больше ты жалеешь, чем людей.

— Двадцать плетей ему,— спокойно сказал Меренков,— в погреб его сбросить.

Но тут появился паренек в простой рубахе, посконных портах и лаптях. С перевальцем отделился он от амбара, где стоял в сторонке, подошел сзади к Силантию и схватил его поперек пояса. Изумленный Силантий, оглядываясь, кто его держит, закричал:

— Ты чего? Что, как рак, вцепился? Не балуй! Брось, говорю!

Но паренек оттолкнул его, схватил Харьку Ипатова за рукав и быстро потащил за собой к воротам.

— Разбой! Разбой! — вопил с крыльца приказчик Меренков.— Держите его, детушки, вяжите ему локти!

Холопы с разных сторон побежали к светловолосому парню, стараясь загородить ему путь к воротам, но тот, расталкивая толпу, уже открывал ворота.

— Это Касьян — молотобоец из кузни Тимофейки.

Силантий раньше тоже был молотобойцем, но проме-

---

[1] Заворовáл — устроил мятеж.

нял это дело на доходную роль помещичьего ката. Его обязанностью стало стегать кнутом крестьян по приказанию господского приказчика. Увидев, что Касьян разъярился и схватить его не легко, Силантий отбежал в сторону и, размахивая охотничьим ножом, кричал на холопов:

— Чего стоите, дурни? Спустите с цепи кобелей. Не выпускайте баламута.

Два холопа, пытавшиеся закрыть ворота, повалились, сшибленные Касьяном, и молотобоец со стариком проскочили в ворота. Они бегом спустились с холма и скрылись в ближайшем коноплянике. Из ворот выскочили несколько волкодавов и, заливаясь хриплым лаем, помчались по деревне.

3. КРЕСТЬЯНЕ СБЕЖАЛИ

Приказчик Меренков был и взбешен и смущен внезапным бегством крестьян. Приказ господина его, Ивана Семеновича Челюсткина, говорил: «Спешно, без мотчанья[1], передать семьдесят крестьян приехавшему одновременно с письмом тульскому посадскому человеку, Петру Исаичу Кисленскому». Кисленский был доверенным приказчиком нового тульского железного заводчика Антуфьева, подыскивавшего работных людей. Деньги обещал заплатить без задержки, сразу после передачи.

Меренков чувствовал, что не так повел дело, и приказчик Петр Исаич ему то же самое выговаривал.

— Погорячился ты очень, с мужиками так нельзя. Иной мужик, как бык, куда хочешь его погонишь. А иной, что конь с норовом,— закинется перед лесиной и топчется, хоть убей.

Меренков увел Петра Исаича в избу и усадил под киотом с образами на лавочке, затянутой сукном.

— Ты думаешь, с ними сладу не будет? — говорил он.— Напраслину говоришь. Сразу они не пошли, так поодиночке переловлю и на веревочке поведу. И не таких прибирал к рукам. И не только я переселю на завод семьдесят человек, а и прочих выведу на другие места и дома их пожгу. Отец Феопомпий, чего стал? Иди садись.

Дьячок, почтительно остановившийся в дверях, откашлялся в руку и, придерживая полы длинной одежды, прошел в красный угол и сел рядом с тульским приказчиком.

— Хозяйка вам даст перекусить,— сказал Меренков,—

---

[1] Мотчанье — медлительность.

а я пойду по деревне и поговорю с мужиками. Когда гилем[1] сходятся, небось они задорны, а когда я с глазу на глаз с каждым поговорю,— куда и прыть их денется.

Хозяйка, в белом платке, в красной рубахе до пят, в подбитой мехом лазоревой телогрейке, показалась в дверях. Она несла деревянный поднос, на котором стояла баклага с пенником[2], круглые пшеничные калачи, пирожки пряженые[3], начиненные рыжиками и рыбьими молоками, и большие «приказные» оладьи с медом.

Хозяйка поклонилась гостям в пояс и, поставив поднос на стол, удалилась. Меренков налил три чарки; все выпили пеннику, тыча двухзубыми вилками в закуску.

— Чтоб дело вышло удачно,— сказал Меренков, вытирая губы, и вышел из избы.

Он спустился к деревне, сопровождаемый Силантием, старостой Никитой и несколькими холопами. Силантий засунул за пояс кнут, чтобы в случае надобности отстегать на месте дерзких против господина крестьян. Однако, окликнув несколько изб, Меренков убедился, что почти вся деревня убежала в лес, остались только глубокие старики и хворые старухи, которые выползли на завалинки и, приставив руки к глазам, вглядывались в приказчика, стараясь разузнать, что случилось и почему произошел такой переполох.

Тогда Меренков, еще более взбешенный и в то же время встревоженный, что начинается непослушание и бунт, вернулся обратно в усадьбу. За скорую передачу крестьян Петр Исаич посулил ему, что без «благодарности» он не останется, а теперь придется принимать особые меры, успокаивать и усмирять крестьян, да еще все это время щедро кормить у себя тульского гостя.

Он поднялся в свою избу, где Петр Исаич и дьячок Феопомпий усердно разделывали жареную печенку с луком.

— Нужно надежного человека послать к бунтарям,— сказал Меренков, смотря на Феопомпия.— Эти собачьи дети ушли недалеко, наверно, собрались в роще за поскотиной и там лясы точат, как бы от господского приказа отвертеться. Отче Феопомпушка, ты бы к ним сходил, они тебе, как на духу, все свои помыслы расскажут.

Феопомпий, опустив глаза, переплел на животе пальцы рук и вздохнул, огорченный, что ему придется оторваться от стоявшего на очереди политого маслом пирога.

---

[1] Гилем — толпой.
[2] Пенник — крепкое хлебное вино.
[3] Пряженые — жареные на масле.

— Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых...— сказал он со вздохом, еще надеясь остаться.

Меренков тоже, видимо, понимал кое-что в церковном деле и ответил:

— А не сказано ли в книгах: «Всякая душа властем предержащим да повинуется»? Живо, живо, отче!

Феопомпий склонил голову набок, перекрестился на образа и вышел из избы.

4. МИРСКОЙ ПОВАЛЬНЫЙ СХОД

В роще за поскотиной, где свалены бревна на постройку господских хором и амбаров, сбежались на «повальный» сход пеньковские мужики. За ними потянулись сюда и бабы. Всех встревожила весть о новом господском приказе. Надобно было решить, что делать дальше, если половину сельца господская воля хочет заслать на завод. Все знали судьбу «ровщиков» руды, углежогов и плавильщиков — обратно их к пашне не отпускали, а самовольно ушедших ожидали плети и дыба.

Мужики расположились на бревнах. Часть сидела прямо на кочках. Между мужиками шныряли ребятишки, затеяв возню из-за щепок. Впереди на пне сидел Самолка Олимпиев,— он приторговывал, скупал у крестьян пеньку и лен и возил на ярмарку в Каширу и Серпухов.

Самолка гордился своей мошной, многие ему из года в год должали, а потому он считал себя вправе поучать других. Закатив глаза под лоб и водя рукой по воздуху, он с растяжкой говорил, что «не след противиться господскому приказу, что за непослушание и огурство[1] по шерстке не погладят, а все одно на заводы приволокут в железах, только сперва изобьют палками».

— Как ездил я на ярмонки, сам слышал, что в деревнях и Мокроусовой, и Дубле, и Соломыковой тако ж было, и ничего крестьяне упорством не добились, а только еще невинные пострадали.

Первыми дали ему отпор бабы. Перебивая друг дружку, кричали:

— Ужо закатил глаза, запел свою песню. Чего бахары[2] разводишь? Тебе-то что? Тебя на завод не засылают, тебе

---

[1] Огурство — упрямство, леность, отлынивание от работы.
[2] Бахорить — болтать, бахвалиться.

и не беспокойно. Ты живот растишь и на господскую сторону хочешь весь сход погнуть.

— Нам Самолку слушать не след,— поддерживали крестьяне, сидевшие на верхних бревнах.— Ты с приказчиком в думе и не по его ли научению поешь? Пускай Самолка помолчит. Послушаем, что скажут те, кого староста вписал в список.

Заговорили другие. Никто не хотел отрываться от пашни, чтобы лезть в сырые рудные дудки[1] или ходить около плавильных печей.

— Стойте крепко, чтобы нам с товарищи впредь вконец не погибнуть, голодною смертью не умереть и с детишками своими разоренными не быть. Ведь по миру все пойдут.

Но голоса робких и осторожных брали верх, и хмурились мужики, раздумье одолевало — что будет?

Споры и крики прекратились, когда прибежал Федосейка Стрелок и, еще задыхаясь от бега, вскочил на пень, столкнув с него Самолку Олимпиева, и замахал руками:

— Тише, старики! Слушайте, что я проведал.

— Эй, бабы, уймите ребят!

Федосейка оглянулся, точно боялся, что кто-нибудь подслушает.

— Теперь все земли Челюсткина, что иноземец Марселис на время получил, по повелению великого государя передаются боярину Льву Кирилловичу Нарышкину. А вы слыхивали, кто такой этот боярин Нарышкин? Братец царицы Натальи Кирилловны. Значит — сила. Захотел он сам заводы железные держать и хозяйничать. Теперь ему нужны мастеровые и работные люди на заводы — не хватает молотобойцев, и плавильщиков, и латников, и пищальников. Но еще и другие заводчики тоже ищут работников. Пока Нарышкин еще заводы возьмет да пока еще начнет ими орудовать, Челюсткины хотят на этой продаже поживиться и часть наших крестьян продать другому заводчику — Антуфьеву. Здесь и Челюсткины, и приказчик Меренков думают погреться. А нас голыми угонят на завод и в награду каждому поставят свежий крест осиновый...

Федосейка отер красное лицо рукавом драного полушубка. Несколько мгновений тянулось молчание. Мужики слушали разинув рты. Слышно было, как булькала вода в канавке. Затем разом закричали:

---

[1] Дудки — шахты.

— Разве можно это стерпеть? Где же правда? Бояре правду в болото закопали! Не смеют нас с земли сводить! Нет такого указа! Не покоримся!

Рябой сутулый мужик предложил послать челобитчиков к царю.

— А толку от этого много ли? — возражали ему.— Челобитчиков схватят для сыску и допросу и когда еще выпустят...

Опять загалдели мужики, и встал сидевший на бревне старый Савута Сорокодум. Свисавшие из-под колпака седые волосы от времени покрылись зеленым налетом, как мшиные охлопья на старых елях. Савута помахал костылем.

— Послушайте мине, робятушки. Кто мине может от пашни оторвать и на заводы услать? Да я своей мозолью семь десятков лет распахивал пашенку. Здесь раньше мокрядь была. Я от házметака[1] помню, как по этим лесам, где исстари соха, и коса, и топор ходят, все отцы и деды наши расчищали буреломы, секли деревья. Все эти земли до пустоши Заклюки и речки Заключки наши мужики пеньковские распахали. А коли приказчик Меренков похваляется, что нас от пашни оторвет и на плавильни угонит, так нам одно осталось — взяться за топоры...

Савута опустился на бревно и, качая лохматой седой головой, долго сердито стучал костылем.

— За топоры! Заложим засеки! Поставим дозоры, подымем другие деревни! Кто может нас от пашни оторвать, если мы к пашне привычны и оброк платим? Пускай кузнецы нам сготовят рогатины, копья и вилы, и мы уйдем дальше в лес; а в случае нас будут дальше теснить, двинемся к Сибири на вольные земли.

5. ДЕД ТИМОФЕЙКА ЧУДЬ-ПАЛА

Близ пруда на опушке рощи чернела кузница. Дыры в стенах ярко переливались огнями. Из отверстия на крыше валил черный дым. Из кузницы слышалось пыхтенье мехов и ровные удары тяжелого молота.

Крестьяне без нужды воздерживались ходить в кузницу, потому что дед Тимофейка не очень жаловал, когда его отрывали от работы. Он в сердцах способен был облаять и швырнуть чем придется в непрошеного гостя. «Будешь

---

[1] От маметака — от тех лет, когда счет годам начался.

под руку говорить — сожгу железо,— говаривал он в гневе.— А сожжешь железо, ничем уж не исправишь, и заместо топора выйдет только дрючок».

Три крестьянина подошли к кузне. Первый толкнул дверь. Со скрипом натянулась веревка с тяжелым камнем на конце, и дверь громко захлопнулась. Вошедшие стали у самой двери.

Дед Тимофейка, приземистый, с широкими плечами и длинными руками, возился подле наковальни. Ободранный кожаный передник защищал его грудь. На взъерошенные длинные волосы он наискось нахлобучил остроконечную шапку. В правой руке он держал небольшой молоток — ручник[1], в левой — клещи. Он ловко орудовал клещами, подвигая то вправо, то влево раскаленную докрасна железную полосу.

Рядом стоял Касьян в выцветшей пестрядинной рубахе, тоже с кожаным передником на груди. Парень взмахивал тяжелой кувалдой и с сильным уханьем ударял по раскаленному железу. Иногда он ловко подхватывал кувалду, когда она отскакивала после удара, оттягивал кувалду вниз и, очертя полукруг, ударял в пол-удара. Все это Касьян делал, следя за точкой, по которой стукнул молоток Тимофейки.

А ярко-красная полоса постепенно темнела, и только то место, где ударяла кувалда, продолжало светиться.

Наконец раздался двойной стук ручника, и дед наклонил его на сторону,— значит, «шабаш, довольно». Тимофейка повернул к двери заросшее шерстью лицо, повел мохнатыми бровями и уставился на вошедших.

— Ну, чего прибежали? Разве не наказывал я не звать меня на сход? Чего я со своим угольем в бороде и паленой рожей буду там говорить? Чего надо?

— По делу поговорить пришли.

— Тогда погодите еще, чтоб железо не спалить. Сперва я его закончу.— Тимофейка снял шапку, заблестела его потная лысина. Он бросил косой взгляд на крестьян, отвернулся, опять нахлобучил шапку и полез с большими клещами в горн. Тимофейка разгреб раскаленные угли, покрытые спекшейся коркой, сунул в жар кусок железа и присыпал сверху углями.

— Касьян, давай слабое дутье.

---

[1] Ручник — небольшой молоток, которым работает кузнец-мастер, указывая, куда должен бить помощник, молотобоец, ударяющий тяжелым молотом — балдой или кувалдой.

Молотобоец Касьян, сирота, приемыш деда, еще тяжело дыша, стал равномерно то тянуть, то отпускать веревку большого кожаного меха, прикрепленного сбоку возле горна. То тяжелый груз тянул мех вниз, то Касьян веревкой подтягивал мех кверху, и от этого сильная струя воздуха с сиплым равномерным свистом вырывалась из отверстия меха — «сопла», которое трубкой вдувало воздух в «гнездо»[1].

Повернувшись к вошедшим, покрывая громкое дыхание меха, Тимофейка кричал:

— Пришли бы вы завтра поутру, сейчас мне недосуг!

Вошедшие тоже изо всех сил кричали:

— Тимофей Савич, дай слово сказать!

От постоянного шума мехов и ударов по наковальне дед был туговат на ухо и плохо различал, что ему говорили.

Железо, вложенное в горн, сначала покраснело, потом забелело и наконец ослепительно засверкало, отбрасывая маленькие светящиеся звездочки.

— Кувалду! — крикнул Тимофейка и клещами перенес прыскающий искрами, блестящий кусок железа на чугунную наковальню с выдвинутым вперед рогом.

Касьян схватил кувалду и занес над головой.

— Ровнее бей, не криви! Целься в середину! — кричал дед.

Железо потухало, серело, теряло красную окраску. Из небольшой чурки, растянутое и измененное ударами кувалды, оно превратилось в заостренный сошник. Дед в последний раз отрывисто стукнул ручником, повернул его набок, и Касьян опустил кувалду на черную землю.

— Ты чего сковал? Сошник? Не время — теперь другое нужно. Ты знаешь, что повальный сход решил: за топоры взяться. Ты с нами или хоронишься?

Дед тряхнул головой. Он засопел и закричал хрипло:

— Этими руками я разнес бы по бревнышку все гнездо дворянское! Они сына моего Тимошу запороли, и кат Силантий усердствовал. Другого сына, Митьку, ни за что в железы заклепали и и в солдаты угнали. Где он теперь скитается? С кем же я буду: с вами или с ними?

— Ты вот сошники куешь, а теперь топоры надо заваривать.

— Ужо заварю,— сказал дед и быстро залопотал непонятные слова, старинные, чудные. Он был выходец из

---

[1] Гнездо — центральная, самая горячая часть горна, раздуваемая струей воздуха из сопла.

Чудь-палы[1], где жила чудь белоглазая. И когда сердился или выпивал лишнее, то начинал говорить на своем прадедовском языке.

— Ну, Касьян, раздувай мехи. Сейчас из сошника топор заварим.— И Тимофейка схватил сошник клещами и сунул обратно в раскаленные угли горна.

6. УПУСТИШЬ ОГОНЬ — НЕ ПОТУШИШЬ

Феопомпий, почесывая поясницу, неохотно шагал из усадьбы, останавливался и обдумывал, как ему идти к мужикам и убедить их покориться господскому приказу. «Да и где их, окаянных, найдешь теперь? — бормотал он.— Еще наставят колотушек». Для бодрости он зашел в свой домишко близ деревянной церкви, выпил из баклажки полынной настойки, посидел, помолился, вздремнул, сидя на скамье, и уже стало темнеть, когда он вышел с черного крыльца и, слегка пошатываясь, зашагал через могилки.

«Обойду кругом, проберусь конопляником и выйду позади мыльни к кузне, а там кустами уже недалече пройти к поскотине. Помоги мне, хранитель мой и богомолец, отче праведный Феопомпий, иже на столбе спасашеся». Неожиданно он наткнулся на бревна и колья, загородившие знакомую тропу.

— Кто тут столько леса наворотил? — проворчал он и хотел было пролезть через бревна, но из-за них показались сначала навозные вилы, а потом лохматая шапка и знакомое лицо Харьки Ипатова.

— Не ходи сюда, Феопомпий, заворачивай назад.— И вилы уставились в грудь дьячка.

— Ты почто это смрадные вилы тычешь в перси духовного сана? — воскликнул гневно Феопомпий.

— Теперь нам не до сана, и ты сюда не заглядывай! — ответил Харька.— Мы бунтуем.

У Феопомпия вдруг ноги подкосились и, как он потом говорил, «от таких злодейских слов внутри, во чреве, точно ставило[2] оторвалось».

---

[1] Чудь-пáла — финское племя, жившее к северу от Волги, постепенно смешавшееся с русскими новоселами. На реке Печоре есть место Чудь-пала, где, по преданию, в древности будто бы пали все до последнего воины большого войска Чуди, сразившиеся с наступавшими на север другими племенами.

[2] Ставило — гиря.

— Бунтуете?.. Как мог ты изречь словеса такие греховные? Это кто же это «мы»? Сколько вас?

— А все пеньковские бунтуем, да и другие деревни встают за нас, потому, говорят, бояре правду в болоте закопали. А ты, Феопомпий, как — с нами или за хозяйскую ручку потянешь?

Но ответа не последовало. Феопомпий повернулся и, подняв полы широких одежд своих, пустился бежать обратно к усадьбе. Меренков стоял на крыльце.

— Куда тебя бесы таскали так долго? — напал он на дьячка, схватил его за рукав и втащил в избу. Он дал ему отдышаться и внимательно выслушал спутанный рассказ о том, как нечистые силы помутили разум пеньковских мужиков, потому что мало ходили в храм божий. Теперь они бунтуют и все дороги заложили засеками из бревен.

— И другие деревни тоже подымаются,— закончил испуганным шепотом Феопомпий.— Что-то теперь будет? Не иначе как жди красного петуха.

Меренков, быстро шевеля пальцами, забегал по избе. Петр Исаич, теребя пятерней свою рыжую бороду, сидел на лавке и с дрожью в голосе говорил:

— Принесла меня нелегкая в ваше сельцо. В других местах крестьяне не прекословят и помещики покладистее — без всяких хлопот уступают крестьян.

— Надо ратных людей вызвать,— решил наконец Меренков.— Упустишь огонь — не потушишь! Надо бунт сразу в корне раздавить. Садись, отче, пиши грамоту воеводе в Серпухов.— Меренков достал из-за киота с иконами медную чернильницу, большое гусиное перо и бумажный свиток.

Феопомпий расправил на столе свиток, попробовал конец пера на ногте, обмакнул его в чернильницу, вытащил мертвую муху, стряхнул ее, вытер перо о длинные волосы, еще раз обмакнул и приготовился.

— Чего писать будем?

— Вот это все и напиши, что знаешь, про заваруху и проси выслать срочно рейтаров.

Феопомний поерзал, покряхтел, подумал и наконец написал, старательно выводя титла[1] и завитки.

«В град Серпухов.

Великому господину нашему и воеводе Ивану Афонасьевичу Очкасову.

---

[1] Ти́тло — две-три буквы, заменявшие целое слово, например: КТ — который, ГН — господин, и т. д.

Твои, государь, холопишки сельца Веселые Пеньки, из поместья алексинцев Ивана, Яна да Гаврилы Семеновых детей Челюсткиных, приказчичка Андроска Филиппов сын Меренков да приказчичка Петька Исаин сын Кисленской челом бьют.

Ведомо тебе будет, господине, что пеньковские крестьяне своим воровским умыслом по научению татей и разбойных людей, а не по нашему, сирот твоих, ведому, забунтовали, заложили на дорогах засеки, господские овины с хлебом разграбили, поставили заставы с ослопьем, сиречь дубинами, и прочими человекоубийственными доспехами, никого не пропущают.

И потому сидим мы, сироты твои, в усадьбе сельца Веселые Пеньки, как в татарском полону, ни ходу, ни выходу нам нет, и что будет с нами — не знаем.

А всему плутовству заводчики старые бунтовщики: плотник Харька, Ипатов сын, прозвище Братчин, да кузнец Касьянка, Акиндинов сын, прозвище Ковач, и другие ведомые плуты и воры.

А ты бы, господине воевода, нас, холопишек твоих, пожаловал — прислал какую ни на есть ратную силу злодеев изловить, на них оборон дать, чтобы иным, на то смотря, впредь так делать было неповадно.

А как приказчички Андоска Филиппов сын Меренков и Петька Исаев сын Кисленской грамоте не учены, так писал эту отписку и руку к ней приложил святодуховской церкви дьяк и твой богомолец Феопомпий.

В лето от сотворения мира 7207[1], сентября в день тридцатый».

Закончив письмо, Феопомпий прочел его дважды. Меренков и Петр Исаич его одобрили. Тогда дьячок свернул бумагу в трубку, залепил черным воском, прорезал трубку острием ножа, продел в отверстие полоску бумаги, сложил концы и тоже залепил их воском.

— А и мастак же ты писать грамоты,— сказал Меренков.— Чего из Серпухова привезти тебе?

— Если уважение к лицам ангельского чина имеешь,— ответил дьячок,— привези кожи на подошвы, а то хожу, аки апостолы,— босой, а сапоги на мне — только обман для зрака.

[1] 7207 год от «сотворения мира», то есть 1699 год нашей эры. Начало нашего летосчисления в старой России пошло со времени Петра I, который приказал 1 января 7208 года считать днем нового 1700 года. До этого времени год считался от 1 сентября.

— Ладно, дам тебе подошвы.

Вскоре из усадьбы выехал всадник. Меренков стоял у ворот и следил, как верховой спустился с холма, переехал плотину и скрылся в кустах.

7. ПОСТОЙ-КА, ЗЕМЛЯК!

Посланцу Меренкова не удалось отъехать далеко — в роще он наткнулся на нескольких пеньковских мужиков. Они стояли на дороге с дубинами. У одного в руках была огневая пищаль, на поясе висели натруска и несколько зарядцев с кровельцами[1], как у настоящего стрельца.

— Постой-ка, земляк! — сказал пожилой мужик, бондарь Савка Корнеев.— Ты куда это собрался глядя на ночь? Слезай-ка с коня! Да это ты, Еремейка?

Еремейка закрутился, стал плести околесицу. Видя хмурые лица мужиков, он вздохнул и сказал:

— Дело господское, куда велят, туда и заворачиваешь. Я же сторона! — Дуло пищали уставилось на него, и фитиль дымился.

Еремейка покорно слез с коня.

— Слышь, Серега, смажь его по уху!

Серега с невозмутимым видом «смазал» Еремейку, отчего остроконечная шапка слетела, и из нее выпал бумажный свиток.

— Вот какое у тебя господское дело! — сказал старший из мужиков, подымая письмо.— Ты, Серега, сведи Еремейку в чащу и придержи его пока там, в лесной сторожке. А мне Федосейка прочтет, что там собачья душа Меренков отписывает.

Савка Корнеев вскочил на коня. Вскоре он добрался до выселка из черных изб и землянок около пустоши, распаханной под озимые. Здесь было много мужиков, баб и детей. Стояли телеги, нагруженные крестьянским скарбом.

Федосейка Стрелок, обычно возивший письма в Москву и в грамоте довольно сильный, сидел среди мужиков и чинил конскую сбрую. Он осмотрел внимательно свиток.

— Придется печати сломать.

Развернув свиток, он медленно, по складам, прочел послание к серпуховскому воеводе.

Мужики хмурились, переминались.

— Чего теперь будем делать?

---

[1] Зарядцы с кровельцами — трубки (газыри), выдолбленные из дерева, обклеенные кожей, с отмеренными зарядами пороха и свинца для выстрела.

— А чего делать! — сказал Харька Ипатов.— Взялись за топоры — это не в бабки играть. Мое слово — письмо это запечатать, как было, отдать его Еремейке в зубы, и пущай везет к серпуховскому воеводе. А воевода тоже не дурак, чтобы сразу присылать сюда солдат и разорять крестьян. Он сперва пришлет сюда дьяка и подьячего, те нас допросят, дело наше рассмотрят. А мы всем сходом на одном станем: что мы будем пашню пахать, как отцы и деды наши пахали.

— Нет, не ладно сказал,— вмешался кузнец Тимофейка.— Письмо запечатать и послать воеводе — это верно. Только пускай повезет его не холоп Еремейка, а кто-либо из нас, и пусть воеводе челом ударит и все расскажет, как мы за наше правое дело стоим.

— Верно дед сказал. Пусть поедет к воеводе Федосейка. А Еремейку-казачка посадить в овинную яму и держать там, чтобы он до времени Меренкову не пожаловался.

С этим все согласились, и Федосейка с письмом к воеводе выехал в Серпухов.

8. РЕЙТАРЫ ПРИЕХАЛИ

Серпуховский воевода Очкасов, получив от Федосейки Стрелка письмо Меренкова о крестьянском непослушании приказу помещиков Челюсткиных, расспросил подробно Федосейку, выслушал все его заверения, что крестьяне бунтовать не хотят, а только просят оставить их работать около землицы, несколько раз промычал: «М-да-с...» — и приказал надеть на Федосейку ножные железы, обрить полбороды и полголовы и бросить в погреб.

— Ты тоже, смекаю, гнешь сторону воров и татей и их улещиваешь жить на старый свой корень.

Воевода хотел показать себя умелым усмирителем и великим воителем. Поэтому он приказал рейтарского полка капитану Дмитрию Гавриловичу Битяговскому, взяв двадцать рейтаров, поехать в сельцо Веселые Пеньки, «чтобы он, Битяговский, сам опрашивал и сыскал накрепко по святой непорочной Христове евангельской заповеди господни ей-же-ей с записью всех порознь статьями, зачем гилем против господского приказу восстали, кто были зачинщики и огурщики». А для сыску и допросу дал в помощь поручика Вилима Фанзалена, подьячего Пахома Лаврова сына Портомоина и земского дьячка Федора Петрова сына Ляпина.

Всю ночь шел сильный дождь. Дороги размыло. Небольшой отряд капитана Битяговского с трудом плелся по глинистой вязкой почве.

Всадники растянулись гуськом. Когда приближались к сельцу Веселые Пеньки, капитан Битяговский приказал рейтарам подтянуться ближе и быть наготове.

В сумерках всадники въехали в рощу. Между деревьями мелькнуло несколько человеческих теней.

— Кто там бродит? Стой! — крикнул Битяговский.

Одна тень отделилась и приблизилась.

— Кто такие, говори!

— Мы пеньковские. А вы кто?

— А вот сейчас ты узнаешь, кто мы такие. Подойди ко мне.— Битяговский, держа в руке пистолет, подъехал к стоявшему перед ним крестьянину в кожухе с колом в руках.

— До усадьбы близко?

— Близко. Полверсты будет.

— А это что за люди с тобой?

— Да тоже пеньковские.

— Зови их сюда, и пойдете впереди к усадьбе.

— Это не можно. Нам велено здесь стеречь дорогу.

— Кем велено?

— Да мирским сходом.

— Сходом? Так вот кого вы слушаете? — И Битяговский полоснул мужика плетью по голове.

Мужик отскочил.

— Ребята, бьют! — крикнул он, отбегая в сторону, и все тени крестьян рассыпались и исчезли за деревьями.

Несколько рейтаров бросились за ними, но лошади вязли в мшистой почве и с трудом выбрались обратно на дорогу.

Битяговский выстрелил в сторону убегавших. Желтый свет блеснул в темноте, и выстрел гулко прозвучал в тихом лесу.

Приехав в усадьбу, капитан Битяговский нашел ворота на запоре, караульщики в щель опрашивали, кто такие и чего нужно, и, узнав, что прибыли рейтары для суда и расправы, распахнули ворота.

Приказчик Меренков впустил гостей в господские хоромы.

Рейтары расставили коней во дворе и вволю задали им сена и овса. Меренков жаловался, что крестьяне обложили усадьбу со всех сторон, подходили к воротам, хвалились «убить всех до смерти» и теперь поднимают другие деревни.

Утром Битяговский с рейтарами проехал по сельцу́ и, убедившись, что в избах людей почти нет, приказал трубить в трубу, чтобы крестьяне собрались из лесу. Когда никто

не явился, Битяговский подпалил крайний, стоявший в стороне овин. «Когда увидят, что родное добро горит, то сбегутся». Овин запылал черным столбом, поднимавшимся в безветренном воздухе до серых нависших облаков. На опушке рощи показались группы крестьян, но когда к ним подскакали рейтары, крестьяне скрылись.

Поручик Вилим Фанзален получил приказание с десятью рейтарами проехать в рощу по следам крестьян, разведать, где они скрываются, и привести кого-либо для допроса. Поручик Фанзален, выходец из Голландии, прибывший в Московию искать подвигов и удачи в новой, сказочной для него стране, горячо взялся за дело. Десять рейтаров в черных бархатных рубахах и железных латах и касках, с копьями, переехав плотину, углубились в рощу. Фанзален на сером татарском коне ехал впереди рядом с толмачом[1].

Через дорогу протянулась изгородь поскотины, где летом паслись телята. Ворота, сложенные из жердей, были заложены бревнами. Десяток крестьян стоял за изгородью. В руках у них были рогатины, косы и топоры на длинных рукоятках. Один держал большое фитильное ружье.

Фанзален вступил с крестьянами в переговоры.

На вопрос, зачем они ушли из своих домов в лес и заложили ворота, крестьяне отвечали, что в лесу «вольнее».

Фанзален удивился и спросил, почему они не идут, куда их посылает господин.

Они ответили:

— Живы в руки не дадимся, однова помирать, так лучше под солнышком.

Фанзален еще не понимал, в чем дело и откуда упорство.

— Но если вас будут хорошо кормить, дадут чистые избы, разве не лучше работать на заводе?

Толмач перевел, и крестьяне загудели:

— Вот чего сказал! Стали бы мы здесь в похоронках укрываться, если бы нам дали белые избы и сытные харчи... Этак всяк из нас пошел бы на завод. Только рудокопщики весь день бьются в мокряди, плавильщики обжигаются около печей,— работа коневня, а кормятся одной тюрей.

— А что такое тюря? — не понимал Фанзален.

Толмач объяснил:

— Порежут мелко старого аржаного хлеба, польют водой или квасом, накрошат, коли есть, луку,— вот тебе и тюря.

---

[1] Толмач — переводчик.

Фанзалену было двадцать лет, он хотел подвигов, мечтал о схватках с бешено налетающими татарами, а здесь перед ним стояли смирные крестьяне, в рваных кожухах, в лыковых лаптях, угрюмо просящие, чтобы их оставили в покое. Он повернул коня, но вспомнил наказ капитана Битяговского и потребовал дать ему выборного. Крестьяне вытолкали вперед глубокого старика Савуту Сорокодума, опиравшегося на топор, насаженный на длинную рукоять.

Фанзален спросил: «Почему такого старого выбрали?»

— Он наш паметух, хорошо помнит, что в письмах сошных[1] сказано, и все межи, и сколько мы на этих пашнях сидим,— все тебе выложит. Да такого замшелого старика и на завод не зашлют.

Фанзален приказал старому Сорокодуму следовать за ним в усадьбу.

Старик отдал топор мужикам и мерно зашагал рядом с конем Фанзалена.

9. «ОТЕЧЕСКОЕ» ВНУШЕНИЕ

Из доклада Фанзалена капитан Битяговский убедился, что с двадцатью рейтарами «дерзновенных» крестьян не сломить. Собрав сведения, что делается в окрестных деревнях, он послал воеводе летучку, что надо прислать воинскую силу побольше, чтобы лес, где «в похоронках» засели ослушники, окружить и разыскать пустошь на речке Заключке и захватить всех бунтарей. «Уже в Золотиху и другие деревни,— писал он,— ходят шайки нарядным делом, скопом и заговором, с дрекольем и пожарными крючьями, у церкви бьют в набат и собирают мирские повальные сходы, заходят в господские дома, бьют управителей смертью, старост и сотских от себя определяют».

Воевода решил, что медлить больше не след, и послал двух волостных приставов — Афонасия Ширяева и Василия Мокеева, по прозвищу Пустун, опытных в усмирении бунтов, с приказанием всех зачинщиков и воровщиков ловить и пересылать к нему в Серпухов. Пристава вскоре донесли воеводе, что, приехав в деревню Золотиху, они «захотели взять бунтаря Ивана Михеева, а он со двора побежал, пристава стали его хватать, и он, Иван, завопил, и на тот его, Иванов, воп дети его, Ивановы, и из иных

[1] Письмо сошно́е — окладные поземельные книги, в которых определялись размеры пахотных земель и взимаемые с них налоги.

дворов крестьяне прибежали с цепами и приставов били, а его, Ивана, не дали».

Пристава добавляли, что всюду среди крестьян молва идет: «Все бояре затеяли. Хоромы их надо сжечь, пепел развеять. Пожар придет — все гладко сгорит. А иноземцам здеся не быть».

Последние речи уже окончательно рассердили воеводу, и он послал двести рейтаров и две пушки.

Погода по-прежнему стояла дождливая и ненастная.

Проезд по дорогам был трудный.

Когда две шестерки лошадей тащили пушки мимо пеньковского леса и вязли в размытых колеях, откуда-то выскочили крестьяне, а впереди бежали кузнецы с большими молотами. Они вмиг заклепали пушки железными гвоздями, так что стрелять стало невозможно. Пока рейтары подоспели, мужики разбежались, двое были изрублены палашами, а один захвачен раненый.

Через несколько дней, когда небо просветлело, рейтары двинулись на приступ — «развеять бунтарское гнездо». Рейтары разобрали ограду, двинулись в глубь леса, никого не встречая, и добрались до пустоши Заклюки, где нашли десяток курных изб и несколько шалашей. Но крестьян оказалось очень мало. Оставшиеся мужики и бабы объяснили, что, узнав о приезде воинской силы, крестьяне запрягли лошадей и лесными дорогами отправились в сибирское воеводство на вольные земли.

Пристава Ширяев и Пустун, сопровождавшие рейтаров, забрали с собой всех взрослых мужиков и приволокли в пеньковскую усадьбу.

На плотине все пойманные крестьяне по очереди привязывались к столбу, и кат Силантий в новой красной рубахе, раздуваясь от важности, хлестал по голой спине широкой сыромятной плетью, похожей на русую женскую косу.

Стоявшие полукругом зрители, мужики и бабы, подходили осторожно к столбу, бросали в глиняную миску, стоявшую на земле, медные деньги и шептали Силантию:

— Полегче стегай, кат немилостивый!

Пристав Пустун объяснял голландцу, поручику Фанзалену:

— Надо их по-отечески поучить, чтоб у них охота прошла бунтовать...

Фанзален стоял вполоборота и косился в ту сторону, где багровела кровавыми потоками спина стегаемого мужика.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

БЕГУНЦЫ

Кузнецы, чернотропы, народ беспокойный.
Народная поговорка

1. ВЕКОВОЙ БОР

По лесной дороге из Серпухова на Венев шел костлявый Гнедко и тащил дребезжащую старую телегу, нагруженную деревянным корытом, шайками, кадками и другим крестьянским скарбом.

Сбоку телеги шла бабка Дарья в шабуре, туго подпоясанном красным кушаком. Голова ее была закутана так, что виднелись только черные глаза и птичий нос.

На облучке сидела ее внучка Аленка.

— Но-но, Гнедко! — покрикивала она, размахивая хворостиной.

Гнедко после каждого удара потряхивал большой головой, но продолжал идти обычным шагом.

По тропинке близ дороги шагал Касьян в синей посконной рубахе. Расправив широкие плечи, он вдыхал всей грудью лесной смолистый воздух. Ветер трепал его льняные волосы.

Когда впереди показывались встречные, парень сворачивал в лес и шел, таясь в кустах. Мимо тянулись обозы или быстро проносилась пара сытых коньков, запряженных в легкую тележку, где дремал купец с окладистой бородой, в суконном армяке. Важно проезжал на татарском нарядном жеребце, увешанном бляхами и погремушками, знатный служилый в широком охабне с нахлобученной на брови собольей шапкой. Кучка холопов с пищалями неслась верхами сзади на разношерстных маленьких конях. Дарья и Аленка, свернув Гнедко в сторону, стояли около телеги, кланяясь до земли.

— Только бы засеку проехать,— говорил Касьян, приближаясь к телеге, когда встречные исчезали за поворотом.— За засекой дороги пойдут на все восемь сторон, там уже никто не нагонит. Теперь вся наша надежда — Гнед-

ко. Только укатали его крутые горки. Где ему прыти набраться...

Иногда Дарья начинала причитывать:

— Потащил ты нас, Тимофей Савич, невесть куда. Хлеба-то взяли мало. Чего есть будем? И денег нет. А по степу поедем, нас татаровья во полон возьмут.

Из-под старого корыта на телеге высовывалась седая взлохмаченная голова кузнеца Тимофейки:

— Не скрипи, старуха, на что нам деньги? Молоток и клещи со мной, а кузнецу, что козлу,— везде огород. Прокормимся.

— А ежели поймают?

— Нашего ерша еще не поймали. Пусть сперва попотеют.— И Тимофейка прятался опять.

Дорога шла густым вековым бором, покрывавшим берега Оки и тянувшимся далеко на юг. Высокие сосны и ели обернулись седой паутиной и серебряными мхами, которые длинными бородами свешивались с колючих полузаросших ветвей.

В сторону от тропинок внутрь леса нельзя было сделать и нескольких шагов. Валежник, упавшие стволы деревьев лежали грудами, гнили; новые поросли пышно выбивались между трухлявыми стволами и стояли непроходимой стеной.

Костлявый Гнедко тащил телегу с вечера всю ночь. Солнце поднялось высоко, пора бы дать коню отдохнуть, но Тимофейка все гнал его вперед.

— Потом отдохнем. Отойдем подальше. Скоро должны пойти дубовые прогалины — там переждем.

Когда по пути встречались деревни, Тимофейка огибал их лесными дорогами, чтобы «никто не встрелся, а то разблаговестят».

На поляне среди безмолвного леса одиноко сиротела курная избенка с забитой досками дверью. Под берестовой крышей чернела квадратная дыра, задвинутая полусгнившей заслонкой.

— Дверь-то призатулена,— сказала Дарья.— Сам хозяин убег. Видно, и в здешнем медвежьем логове жизнь была тоже не в пряник тульский.

Гнедко распрягли, стреножили и пустили пастись. С подветренной стороны около избы развели костер, и все уселись вокруг огня.

Дед с трудом спустился с телеги.

— Жжет рану, точно каленую крицу приложили. Чуть не уложил меня рейтар из пистоли. Если бы Касьянушка

не уволок меня в чащу, добили бы они меня палашами. Ой, не дойти мне до свободных земель! Смотри, Касьян, эту ночь не спи, тут и медведи по лесу ходят, да и гулящие люди могут набрести.

Касьян, обхватив руками колени, уставился голубыми глазами на огонь. Возле него лежал топор.

Дед ворочался с боку на бок, стонал, бормотал непонятные слова, а заснуть не мог. Он повернулся лицом к Касьяну.

— Может, смерть близко. Я расскажу тебе то, чего никому не говорил. Перед смертью хочу всю правду выложить — легче будет дух испустить.

— Да что ты, Тимофей Савич, рано еще умирать. Еще до Сибири вольной надо нам добраться.

— Слушай, Касьян, слушай, Аленка. Вам это я говорю, а бабка, Дарья Архиповна, все это уже знает.

2. КАК РАНЬШЕ ЖИЛИ

Дед приподнялся и, опираясь на руки, начал говорить, торопясь, точно в самом деле чуял близко смерть:

— Я родом из-под Устюжны, с речки Ижины; там тоже, как и в Туле и в Кашире, искони залегло в земле железо. Наши кузнецы это железо плавили и ковали из него топоры, рогатины, горбуши, резальники[1], и особенные искусники были на большие и малые гвозди. И я тоже старого рода чухарских ковалей — нас всех, устюжинских молотобойцев, зовут чухарой, или по-иному — чудью белоглазой. Деды испокон веков в лесах жили, рожь и овес подсевали, а главное — молотом промышляли.

Дед вдруг приподнялся и стал пристально всматриваться в темноту надвинувшегося кругом леса.

— Слушайте, не подходит ли кто.

Но все было тихо. Ни одного хруста не раздавалось ниоткуда. Только шипели в костре обугленные ветки.

— С детства еще я, мальчонкой, очень был охоч к кузне,— продолжал дед, устало опустившись на землю.— Помогал я отцу, а он мне показывал, как закаливать и сваривать и крицкое, и цурепное, и жуковое али прутовое железо. Очень меня тянуло разные затейные выдумки из железа делать — пряжки, кресала, задвижки или замки. Отец мне позволял все мастерить, только железа давал мало, из

[1] Резальники — ножницы.

пережогу.— Тут дед понизил голос и сказал шепотом:— А самое важное, что отец заповедал,— это как из руды прямо делать мягкое тягучее железо. Это наши старики-ковали одни только знали и не всякому сказывали[1].

А только пошел по погосту нашему слух, что кузнец Савва, значит, отец мой, с бесами спознался и сына своего, меня, значит, учит бесам молиться.

Поп Тихон сперва лаял на отца, что он-де «черной веры», а потом донос на него написал в город. Однажды к вечеру явился ярыжка[2] с понятыми и поп Тихон с дьячком вместе. Вышли они из лесу и прямо к нашей кузне. Поп крестом крестит, метелкой воду святую брызжет.

Я втáпоры уже не маленький был, мне шестнадцатый шел. Как я увидел, что понятые подошли, убежал в овсы и там залег. Ярыжка приказал отца моего взять в город для сыску, чтоб признался, как он черту молится...— Тимофейка замолчал.

— Ну, и что же дальше с ним было? — спросила Аленка.

— Отца я больше не видел. Через два месяца его сожгли в Устюжне на базарной площади. Долго я в лесу прятался, а Дарья Архиповна — тогда она девчонка Дашка была — мне запас носила. Когда отца пытали, то с ним и других мужиков схватили. И был один мужик хоть и простой, прозвищем Кудекуша Трепец, а далось ему пуще всех. Стоял он крепко у пыток и никого не оказывал, так на дыбе и помер.

Когда отца жгли, то он ничего, хоть бы слово вымолвил. Только крикнул раз: «Завещаю сыну моему Тимофейке оставаться добрым ковалем и уходить отсюда на Зеленый клин!»[3]

Когда мне Дарья Архиповна это рассказала, я с ней решил вместе убежать из Устюжны. Только в последнюю

---

[1] В зависимости от устройства сыродутной печи и от методов плавки из железной руды может получиться или «сварочное» железо, или «белый» густой чугун, который с трудом поддается обработке, или лучше обрабатываемый «серый» чугун. Чухарские, устюженские, олонецкие и финские кузнецы-железоплавы с древних времен знали свои особые приемы для получения плавкой прямо из руды железа и даже «уклада» (стали), из которых они выделывали разные предметы и оружие.

[2] Ярыжка — низший полицейский служащий того времени.

[3] Зеленый клин. — У крестьян издавна было поверье, что где-то на востоке, в Сибири, есть привольная плодородная равнина среди гор, «Зеленый клин», где никто не живет, где нет свирепых царских приказных, где можно жить «вольной артелью». В поисках этого «Зеленого клина» с XVII века тянулись в Сибирь беспрерывные потоки переселенцев.

ночь я с четырех углов церкви солому подложил и горячих углей насыпал — в память попу Тихону. И ушел я, а сзади красные огни полыхали.

Мы с Дашкой шли от сельца к погосту, скитались по починкам. Кузнеца клещи да молоток кормят — так мы и не пропали. Всюду меня бояре хотели на цепь посадить, чтобы я им даром работал.

Когда родился мой сынок Тимоша, то я к Челюсткину Семену, еще отцу этого ирода, записался в бобыли. Он мне избу и отрез земли со свиной пятак отвел.

А как моего сына Тимошку запороли, а Митьку в солдаты угнали, я ужо решил было — уйду на Зеленый клин, как отец мне с костра заповедал... А теперь и неволя туда погнала. Ох, как палит!

Дед раскрыл глаза и пристально уставился вверх.

— Глянь-ко! — прошептал он.

Касьян поднял глаза кверху. В замшелой черной стене избы резко выделялось небольшое окошко, изнутри заложенное доской. Доска медленно отодвинулась, и в щели блеснул чей-то пристальный взгляд.

— Эй, кто там в избе? — крикнул Касьян, схватив топор.— Сказывай, не запирайся, а то дверь вышибу.

— Тише, Касьян, не пужай его. Сам отзовется.

Заслонка отодвинулась больше, кто-то смотрел оттуда.

Хриплый голос произнес:

— Здоровы будете. Слухаю вас и думаю: много дедка истерпел, одного со мной поля ягода. Примайте меня к огню.

— Ходи к нам! — степенно протянул дед.

— Сейчас выйду,— ответил незнакомец изнутри, задвинув ставенку.

— Никому никогда не сказывал,— бормотал дед.— Наконец в самом диком лесу рассказал, и на-кося! И тут чужая душа подслушала.

3. НАУМКА КОБЕЛЬ

Под крышей избы, затянутой большими пластами березовой коры, затрещало — показались две ноги в сбитых сапогах с короткими голенищами; ноги помахали в нерешительности, и на землю свалился худощавый мужик, волосы всклочены, без шапки. Одежда на нем доживала последние дни. Вид у него был не крестьянский, а, скорее, городской. Лицо — черное от загара, ветра и угля.

— Подойди-ка поближе,— сказал дед.— Дай посмотреть на тебя, какой ты есть. Не нашенский, видно, посадский.

— А может, и подальше,— ответил незнакомец.— Я иду в воду без броду, из веселого заводу. Море мне по колено, на что мне брод?

— Ну-ну, застрекочил, сразу и не раскусишь. Откедова пожаловал? — спросил дед, оглядывая пристальным взглядом.

— Я — бросовый камешек, перекатываюсь по дорожке, куда ветер дует, вода несет,— сказал оборванный бродяга.— Как я слышал твой сказ про побег да как отца твоего сожгли, пришло мне на думу, что вашему забору я двоюродный плетень.

— Постой-ка,— сказал дед, всматриваясь в лицо пришельца,— что-то мне на ум впало. Где это тебе лик твой так измолотили?

Бродяга съежился и настороженными глазами уставился на деда. Несколько мгновений он молчал, точно соображая и колеблясь.

— Ты грамоте горазд? — наконец спросил он.

— Горазд, да не очень.

— Слово «твердо»[1] знаешь?

— Ну, знаю.

— А «како», «люди», «мыслéте» тоже знаешь?

— Вестимо, знаю.

— А вот «буки», видно, не слыхал?

— «Буки»?.. Так, значит, ты коломенский?[2] И тебе на лик «буки» прижгли? Как же ты мне не товарищ? Касьянушко, бабы, поклонитесь человеку коломенскому — он за народ страдание принял. Ну, кланяйтесь же, коли говорю!

Бабка, а за ней Аленка и Касьян вскочили и поклонились странному бродяге. Тот пожал плечами.

— Что-то мне соромно стало! Что я, думный боярин или Параскева-пятница, чтобы передо мной спину гнуть?

И он неуклюже три раза отдельно ответил поклонами до земли Дарье, Касьяну и Аленке.

— Теперь садись поближе к огню,— сказал дед.— Скажи, как звать, как величать тебя.

— Не богат я, да славен — тот же барин. Пока до

---

[1] Слова твердо, како, люди, мыслéте, буки — названия букв в древнерусском алфавите.

[2] В Коломне при царе Алексее Михайловиче произошел бунт, и главным выборным от народа на лице была поставлена каленым железом буква «Б» (буки), то есть бунтовщик, и они были сосланы на каторгу.

моего прозвища дьяки не доискались. А чего искать,— я бурлак, бос и наг, и у меня, как у кольца, нет конца. Кольцо кругло, поищешь и не доберешься ни до чего. А «буки» я каленым гвоздем вытравил. Теперь криворожий и хожу.

— Так вот, бурлак, коли ты хочешь по шляху идти, так тебе дальше первого яма[1] не добраться. Сразу же видно, что ты из беглых.

— Верно, дед, и я то знаю, хоть не сед. А в лесу у меня соседей нет, так я и мыкаюсь. Слышал я, что в Туле кузнецов берегут, как быков, и поблажку даже беглым дают. Какой ты ни на есть с виду, а тебя не спрашивают, хорошего ли ты отца,— приходи, становись к наковальне, и харчи и деньги будут.

— Чего ж ты здесь, в лесу, подыхаешь?

— Хочу через засеку пробраться. Засечные ворота недалече, верст за шесть будут. Только туда мне ходу нет — я меченый. А паренек бы сходил да разведал — может, проезд сейчас свободный. Зря туда лезть нельзя, наручни получишь и ворон кормить будешь.

— Я на засеку схожу,— сказал Касьян,— и с собой возьму Аленку. Ее не заприметят, она всюду проберется, и тогда мы смекнем, куда подаваться.

Дарья сняла с углей глиняный горшок, и, усевшись в кружок, все стали хлебать деревянными ложками жидкую гречневую размазню.

4. ЯМ НА ШЛЯХЕ

Утром Касьян с Аленкой быстро шли к засечным воротам. Лес то придвигался густой чащей к самой дороге, то расходился большими прогалинами. Виднелись поля высокой желтеющей ярицы и еще зеленые овсы. Иногда дорогу преграждала упавшая громадная лесина, покрытая плесенью, мхом и грибами. Около лесины дорога уходила в сторону, огибала растрепанные корни великана, выдернутые из земли и поднявшиеся дикими космами к небу.

Когда впереди деревья поредели и показалась вереница изб, крытых лубом, Касьян наказал Аленке идти раздельно, а потом снова встретиться на лесной дороге.

Касьян пошел первый, а поодаль в кустах брела Аленка.

---

[1] Ям — станция, где менялись лошади ехавших по служебным делам. От этого слова возчики назывались ямщиками. Слово монгольское, сохранилось со времен ордынского ига.

Первое, что ошарашило Касьяна,— десяток высоких столбов с перекладинами, вкопанных на улице среди поселка. На них висели в странных позах люди. Вороны и галки, сидя на перекладинах, чистили клювы. Несколько пестрых сорок со стрекотаньем взгромоздились на одного мертвеца, и он слегка раскачивался, точно живой.

В деревне казалось безлюдно, но с крыш вились дымки. Касьян, озираясь, пошел дальше. Пьяные крики и песни неслись из большого сарая. У входа были прибиты еловые ветки. Под ними красовался намалеванный на доске двуглавый орел. Из закоптелой крыши валил сизый дым, уносимый порывами ветра. Несколько телег с грузом, перетянутым мочальными веревками, столпилось близ царского кабака. Лошади мотали головами, побрякивали бубенчиками, отмахиваясь хвостами от крутившихся вокруг них слепней.

Касьян подошел ближе и оглянулся. Большой шлях, весь изрытый глубокими колеями, тянулся в обе стороны и дальше за деревней, в лесу, перегораживался двумя деревянными башнями, сложенными из толстых дубовых кряжей. Выше на башнях были прорезаны бойницы. Проход между башнями загородили ворота, обитые железом.

«Ну и ворота,— подумал Касьян.— Одни петли железные сколько потянут, каждая пуда полтора».

Касьян подошел к башням, высматривая, нет ли боковых тропинок. Но обхода не было, сразу начиналась стена, сложенная из бревен и засыпанная землей. Стена уходила дальше в глубь леса.

Хриплый голос с башни окликнул его:

— Куда несет тебя нечиста сила?

Наверху в бойнице стоял дозорный стрелец с пищалью в руках. Касьян остановился. Близ ворот вынырнул второй стражник с бердышом.

— Ты откедова? Проходной ярлык есть?

— Иду с обозом, у вожатого ярлыки,— придумал Касьян и повернул обратно.

Песни в сарае усиливались. Касьян подошел к кабаку и толкнул ногой низкую дверь.

В кабаке было много народу. Мужики в бурых шерстяных шабурах сидели на нарах, тянувшихся вокруг стен, и все разом громко говорили. Сплошной гул прорезывали отдельные выкрики. В одном углу несколько стрельцов, взобравшись с ногами на нары, пели песню. Посреди сарая на черном земляном полу горел костер, и дым, расползаясь серыми клубами, стоял под потолком, медленно уходя

в отверстие в крыше. Пламя костра охватывало чугунный котел на тагане, и в нем бурлила дымящаяся похлебка.

У стены напротив входа протянулась стойка, заставленная бочонками, жбанами и кружками; позади стойки стоял целовальник — высокий, дородный, с рыжей бородой лопатой и примазанными постным маслом кудрями. Хитрыми проницательными глазами окидывая сидевших в кабаке, целовальник посылал двух молодцов-подручных к бочонкам водки; они цедили зеленоватый напиток и подавали его посетителям.

Касьян постоял у дверей и, найдя свободное местечко на нарах, уселся среди нескольких крестьян, тянувших жалостливую и бесконечную песню. Один из них лез целоваться с другим и, всхлипывая, говорил:

— Прощай, Дорофей. Когда еще увидимся?

Дорофей с полузакрытыми глазами икал и так же тоскливо отвечал:

— Да я и теперь тебя не вижу.

Дверь стремительно отворилась, и в кабак ввалились несколько стрельцов с бердышами, и за ними согнувшись, чтобы не удариться о притолоку, вошел дородный пристав Ширяев. Касьян сразу узнал пристава и понял, что ему надо немедленно скрыться из кабака.

Все затихли. Только два мужика, охмелевшие и сидевшие в обнимку на нарах, тянули тонкими голосами:

Ах, тошным-то мне, доброму
молодцу, тошнехонько.
Мне да не пить-та, не есть-та,
доброму молодцу, не хоцца...

Несколько человек метнулось со своих мест. Пристав крикнул:

— Сиди, где сидел, не мотайся, сейчас всех допросим.

Трое стрельцов стали обходить сидевших, которые торопливо лезли за пазуху или за голенище, доставали тряпицы; в них были завернуты свитки с «свободными проходами» и отпусками[1]. Когда стрельцы остановились перед Касьяном, он сказал:

— Я здесь в лесу корье драл по кожевенному делу.

— А проезжая грамотка есть?

— У товарищей.

— У товарищей? Ишь какой! А твой товарищ где — здесь в лесу? Ты поди не корье дерешь, а тулупы с прохожих?

---

[1] Отпуск — паспорт.

— Здравствуй, знакомец,— раздался вкрадчивый голос.— А ведь ты, ей-ей, нашенский, из Пеньков...— Рядом со стрельцами стоял староста Никита и, потирая руки, смотрел на Касьяна.

Пристав, опираясь на саблю, сидел за столом и расспрашивал целовальника, который, кланяясь, объяснял:

— Здесь через засеку не пройти нигде, окромя этого шляха. Крепко была сложена засека против татар. Лес самый прадедовский стоит, нетронутый, шириною верст на двадцать, а то и больше. А тянется засека и вправо к Алексину, и влево к Веневу и Рязани. Самая дрема, болото, вязь; только медведям и жить. Еще сохатые пробираются через чащу, а так ни конному, ни пешему не пройти.

Пристав, услыхав слова старосты, оторвался от целовальника.

— Где нашенской? Этот малец? Он чей же будет?

— Деда Тимофейки Чудь-палы приемыш. У него в кузнице кувалдой бьет.— Подойдя ближе к боярину, староста шепнул ему на ухо:— Верно, и все бегунцы поблизости. Надо их разыскать, а этого паренька, если будет упираться и не скажет...

— Тогда прижечь или прищемить. У меня он запоет!

Один стрелец взял Касьяна за ворот:

— Иди за мной!

Вместе с Касьяном в кабаке было задержано еще несколько человек. Одни падали на колени перед приставом и молили их отпустить, другие угрюмо шли, исподлобья поглядывая по сторонам, точно отыскивая, куда бы им убежать. Но стрельцы шли по бокам с отточенными бердышами и привели задержанных к бревенчатой башне.

За арестованными шли в стороне несколько любопытных и всхлипывавшая девочка в синем сарафанчике, утиравшая кулаком слезы.

Пойманные опустились на землю под башней. Касьян улегся, подложив камень под голову.

Аленка стояла невдалеке и решила, что Касьян ее видел, но нарочно притворяется, точно ее не знает. Она повернула обратно, вышла из деревни и, когда избы скрылись за кустами, опрометью бросилась бежать к той избенке, где остались ее дед и бабка. Тимофейка, выслушав рассказ Аленки, приподнялся и угрюмый уселся на телеге.

Дарья, раскачиваясь, стала причитывать:

— Тимофей Савич, родненький, у тебя и седины и разу-

ма много. Придумай, как спасти Касьяна. Ведь раскаленное знамя[1] припекут ко лбу. Или суставы выдернут...

Тимофей спустил ноги с телеги, что-то прошептал, вытащил сундучок, порылся в нем и достал небольшой подпилок. Потом сердито накинулся на Дарью:

— Рано голосить начала. Скоренько давай мне каравай и кувшин.

Дарья разом умолкла, достала из мешка черного хлеба. Тимофей осторожно прорезал ножиком отверстие в хлебе около нижней корки, всунул туда подпильник и залепил мякишем.

— Ну, смотри, Аленка, будь сторожка да оглядчива. Перед самым ямом зачерпни воды и побойчее иди. А там поплачь перед стражниками и скажи: «Позволь, дяденька, парнишке запасу передать». Да говори кротко, незаристо.

Аленка скрылась в сумерках. Тягостно тянулось время. Бабка ходила к самому яму, высматривала, слышала и голоса и песни и растревоженная вернулась.

Месяц острыми рогами высунулся из леса и стоял над избой, когда послышался шорох травы и возле телеги выросли две тени. Аленка вскарабкалась на телегу, свернулась калачиком и, закрывшись тулупом, разом заснула. Касьян шел прихрамывая.

— Подпильник пригодился,— сказал Касьян.— Каины опились, надели на ногу мне обруч железный с замком и с цепью, и на цепи второй обруч для соседа беглого. Тот спать завалился, а я все ворочал вагранкой, как бы из беды вывернуться. Аленку пропустил стрелец. Она меня нашла и шепчет: «Бабка каравай шлет, смотри — зуб не сломай». Я смекнул, не зря она так говорит. Разломал каравай, нащупал железку и стал замок перетирать. Времени много прошло, ладонь стер до крови. Разогнул я обруч, а там в темноте пролез мимо стражника и выбрался на дорогу. А только здесь оставаться нам смерть, утром пристав со стрельцами облавой все кругом обшарит. Надо уйти немедля в самую чащу.

— Не в чащу,— сказал вынырнувший откуда-то и пропадавший целый день бурлак.— Я уже разведал. Есть тропа, ведет она через болота на реку Глядяшку. Там копачи-ровщики и молотобойцы рудную землю достают и плавят. Туда надо путь держать.

Разыскали в кустах Гнедка, впрягли его в телегу, и по едва заметной тропе бегунцы потянулись в глубину темного безмолвного леса.

---

[1] Знамя — клеймо.

Бурлак, шагая возле телеги, объяснял лежавшему в ней деду:

— Эта речка здесь Беспута. Нам только от нее отойти, перевалить через увал, и там выйдем к речке Глядяшке. Она вливается в речку Тулицу: про Тулицу ты уже слышал — на Тулице стоит город Тула.

— И куда ж ты нас ведешь? Смотри, брат, еще туда приведешь, откуда и не выберешься. Ты ведь даже не сказал, как тебя звать, как по батюшке величать.

Бурлак тряхнул темной гривой и, подмигнув, сказал:

— Для ярыжки и дьячка я зовусь как когда придется: иной раз Кузькой, иной Терехой. А тебе я правду скажу, зовусь я Наумка Кобель — такое уж мне прозвище дали, что очень я бродящий, как пес бездомный.

5. ГОРОДИЩЕНСКИЙ ЗАВОД

Гнедко, не торопясь, протащил телегу по размытой исковерканной дороге через, казалось бы, непроходимую засеку. Всюду Наумка Кобель находил тропу, обходы и пролазы.

У деда медленно заживала рана. Но Тимофейка уже перестал ждать смерти, а рассказывал о вольной жизни в Уральских горах, на понизовьях Волги и в далекой Сибири.

— Пускай меня ловят, пускай в железы клепают, в клетку садят — Тимофейка отовсюду уйдет. Не бывать больше на мне боярскому хомуту.

Через несколько дней скитаний по лесу сумрачная чаща кончилась, и показались прогалины. Вымазанные сажей люди ходили возле ям, куда они складывали вывороченные пни и коряги. Дым подымался столбами в разных местах леса.

— Здоровы будете! — крикнул Наумка.

— Что за лесовики? — ответил один.

— Были лесовики-грибоеды, теперь ищем где почище, чтоб попасть на Городище.

— Да тут и есть Городище, вон за рощей!

— Знать, и вы с завода?

— Все мы здесь закабаленные заводу — жжем уголь.

— А как насчет работы? Ковачи здесь нужны? — прохрипел дед из телеги.

— Не ты ли ковать собираешься? Тебе умирать пора.

— Умри-ка ты сегодня, а я завтра...

— Какой храпец! Жизнь тебе, что ли, не мила, что ищешь прикабалиться к нашему заводу?

— Там виден будет тын, где дед добудет алтын,— сказал Наумка.— Лучше объясни, где дорога.

— Чего объяснять? Езжай прямо — к заводу и приедешь.

Городищенский завод оказался множеством сараев и изб, рассыпавшихся вдоль речки Глядяшки. Четыре плотины подпирали речку, образовав запруды. Водяные мельницы осели возле плотины; вертелись большие колеса, и тяжелые глухие удары доносились из построек.

Многочисленные подводы тянулись с разных сторон. Одни везли красновато-бурые камни — железную руду, другие — уголь. Возле подвод шагали крестьяне, бабы и дети.

— Не здесь ли хочешь остаться? — спросила бабка.

— Деда, поедем дальше,— поддержала Аленка.— Смотри, здесь народ, ой, сумрачный! Видно, и здесь не лучше, чем было в Пеньках. А это что за чудной человек?

Мимо проходил высокий незнакомец, одетый непривычно для крестьянского глаза. Старое, в морщинах, лицо было тщательно выбрито. На плечи накинут темный плащ без рукавов. На голове шляпа с широкими, загнутыми кверху полями; на ногах полубашмаки с медными пряжками и красные шерстяные чулки до колен.

— Што вам за люди? — спросил, остановившись, незнакомец.— Откуда приехал?

— Едем издалека,— ответил Наумка.— Где были, оттуда сплыли. Ищем работенки, пока есть силенки. Не все же на одном месте век вековать.

— Ковать? Ви умеить ковать?

— Я говорю — не в одном же месте век вековать, сиднем сидеть. Да и ковать мы тоже умеем.

— Мне надо челофек умей ковать. Работа есть, хлеб я давай, лапти давай и крупа давай. Ступай на староста Гафриля. Эйн, цвей, дрей, иди на съезжи изба.

— Значит, мы на хозяйских харчах будем? А где жить? Где будет дом?

— Дом? Зачем дом? Лес близко, в лесу дрова много, дом ви сами строить.

— А жалованье какое положите?

Незнакомец сердито постучал тростью по телеге:

— Жаливане? Все ви хотить сейчас жаливане. Сперва надо посмотреть, что ви умеить делять, а тогда и говорить, какой вам жаливане. Искайте старост Гафриля.

И незнакомец зашагал дальше, опираясь на трость с серебряным набалдашником.

Попадавшиеся навстречу крестьяне с возами снимали шапки и низко кланялись, крича:

— Добрый день, Петр Гаврилович!

— Кто же это такой? — спросил Наумка проходившего мимо худого крестьянина. Он подгонял облезлую лошаденку с телегой, полной угля.

— Как ты не знаешь? Видно, дальний. Это хозяин всего завода, немец Петр Гаврилович Марселис [1]. Ну и сердитый! Понукает работать день-деньской и всех еще колотит своим посошком.

— Знать, работы много?

— Дай только работы, да день мал!

— Разве нельзя уйти отсюда?

— А куда уйдешь? Мы Саломыховской волости, двести пятьдесят дворов. Все по царской грамоте приписаны к заводу, народ нужной, бедный.

Только Наумка стал расспрашивать о харчах и жалованье, как разговор был прерван окриком:

— Чего стал? Будешь в праздник разводить лясы. Домнушка не ждет, угля просит.— К крестьянину подбежал мужик с длинным батогом в руке. Он ударил батогом сперва по спине лошаденки, потом по шапке мужика.

— Но-но, Сивка, трогай!

Телега покатила дальше, раскачиваясь из стороны в сторону, а человек с батогом подскочил к Наумке, уставился на него, затем быстро перешел к Касьяну. Схватив его за руку, повернул ладонь, вмиг очутился около телеги, нагнулся к деду и потряс его за плечо.

— Никак, подыхаешь? У нас отъешься. Немец вдвойне хлеба даст. Беглый, сразу видно. Каширские или подальше? Никуда не бегите, зиму у нас перезимуете. Работа всех прокормит.

Человек с батогом подбежал к бабке, которая отвернулась, заворчав:

— Ну тебя, чего ищешь?

— Чего ищу? Работничков ищу. Немец наш для кого работает? Для царя работает, по царскому приказу работает, ядра каленые льет. А вы для царя постараться не хотите?

— Что же мы можем здесь делать? — сказал Наумка.— Мы посошные, около землицы ходим.

---

[1] В описываемое время Городищенский завод принадлежал датчанину Петру Марселису. Основан завод был голландцем Винниусом, устроителем нескольких железолитейных заводов.

— Какие такие посошные,— ответил человек с батогом, роясь в телеге.— Эге, вот и кувалда, и ручник, и клещи, и ось железная. Кто же не узнает, что ковачи едут? Да и этого молодца,— указал он на Касьяна,— сразу узнал, что молотобоец — вся ладонь в мозолях. Ну-ка, айда за мной!

— Куда ж ты нас тащишь? — заголосила бабка Дарья.— Здесь сторона чужая. Мы к сродственникам едем, помирать нам пора.

— Ладно, ладно, какие там сродственники! Повременят они, и тебе еще помирать рано. Будешь около телеги ходить, из лесу уголь и руду возить. И девчонка пригодится за конем ходить.

Гнедко потащил телегу дальше, путники миновали первые избы, такие же, как в Пеньках, черные, покосившиеся, курные, с дымом, валившим прямо из дыр в крышах. Но из изб доносился приятный запах свежеиспеченного хлеба, и путники после стольких дней беспокойной дороги невольно думали: «Теперь бы миску щей!»

6. ЧУГУННАЯ ПЛАВИЛЬНЯ

Дед и остальные путники расположились в съезжей избе, а Касьян вышел к реке посмотреть на завод, о котором он много слышал.

«Как это можно,— думал он,— заставить реку колеса вертеть и молотами бить?»

Касьян никогда не уходил из Пеньков, и то, что он здесь увидел, показалось ему диковинным.

Небольшая речка была запружена четырьмя плотинами, и возле них расположились приземистые темные строения. Из них глухо доносились тяжелые удары.

«Там водяные молоты железо бьют,— соображал Касьян,— и все это построено по умыслу этого хмурого немца в развевающемся шабуре и широкополой шляпе. Ну и башковитый же парень!»

Возле второй и третьей плотины подымались две приземистые пузатые печи, сложенные из тесаного камня. Печи казались Касьяну очень высокими после того маленького горна, у которого он работал с дедом Тимофейкой. «Вот это, наверное, сыродутные домницы, где плавится здешняя руда»,— подумал Касьян и подошел к одной из домен.

Домна была сажени в четыре-пять вышиной. С двух сторон у ее подножия были прилажены громадные трех-

саженные кожаные мехи. Мехи раздувались и сжимались сами, без помощи рабочих. Подойдя ближе, Касьян увидел, что они движутся с помощью деревянных рычагов и большого мельничного колеса. Мехи действовали непрерывно, и два железных сопла снизу хриплыми вздохами вдували воздух в дымящуюся закоптелую домну. Касьян оглядел мехи и сообразил, что, отведя рычаг, связанный с колесом, можно остановить действие мехов.

К верхушке домны вел довольно крутой земляной накат с помостом, устланным бревнами. Тощий конь с выступающими ребрами, надрываясь, тащил телегу, груженную железной рудой. Возчик и двое рабочих помогали втаскивать телегу. Конь, с дрожащими от усилия ногами, скользил по бревнам и не мог вытянуть телегу. Касьян подбежал к телеге, напер сзади плечом, и конь, громыхая копытами, втащил телегу на верх помоста.

Здесь рабочие переложили тяжелые куски руды в ручные тачки и придвинули их к железной заслонке в стене домны.

Старичок-немец, одетый так же странно, как тот человек, которого они раньше встретили, делал записи свинцовым карандашом в маленькой книжечке.

— Ну, готовы? — спросил немец.

— Готовы,— ответили рабочие у тачки.

— Колошник! — крикнул немец.

Стоявший у железной заслонки рабочий в кожаном фартуке и больших кожаных рукавицах со страшным напряжением ухватился крюком за кольцо заслонки и отодвинул ее. Клубы дыма и языки пламени вырвались из отверстия. Рабочие быстро подкатывали тачки к отверстию, опрокидывали руду и отбегали назад.

Последний рабочий, приблизившись, зашатался и остановился,— его обдало клубом дыма. Он несколько мгновений стоял, закрыв лицо рукой, и упал бы вперед, но Касьян, подскочив, схватил его под руки и оттащил назад. Рабочий бессильно опустился на землю.

— Это какой баловник! Скорей бросить колошу в домну! — кричал старичок-немец.

Касьян, жмуря глаза и задерживая дыхание, поднял тяжелую тачку и опрокинул ее вперед в отверстие, извергавшее пламя и дым. Дверца закрылась. Рабочие, отхаркиваясь и сплевывая, отошли в сторону. Дым слепил глаза, царапал горло. Новая телега поднялась по накату с большой корзиной древесного угля. Возчиком была маленькая девочка в заплатанном холстинном сарафанчике.

— Чего смотришь? — закричал немец Касьяну.— Надо помогать!

Касьян схватил за край плетеную ивовую корзину и вместе с двумя рабочими опрокинул уголь в раскрывшуюся дверцу колошника.

Старичок-немец пристально смотрел подслеповатыми глазами на Касьяна.

— Смотри-ка, парнишка,— сказал он,— какое у домны большое брюхо. Ей надо в день десять телег руды и двадцать телег угля. А всего это пятьсот пудов. А из этого домнушка выпустит сто или сто двадцать пудов хорошего чугуна. Мне здесь очень нужно иметь такого здорового работника, как ты, помогать сыпать руду и уголь домне в брюхо. Как стемнеет сегодня, ты увидишь, как из этого чугуна мы сделаем настоящую пушку, из которой можно стрелять, и к ней сразу двести штук ядер, по восемь фунтов каждое ядро.

— Ладно, приду посмотреть.

— Нет, ты не будешь смотреть, ты будешь помогать. Мне здесь нужен такой медведь, который легко опрокидывает корзину с углем и рудой.

— Никак не могу, господин немец. Я иду дальше, в Тулу.

— Какое мне дело до твоей Тулы! Вот работник Федька, баловник, не хочет работать. Я скажу моему хозяину герр Марселису, что ты здесь останешься работать. Не разговаривай, слушай мое слово, доннэр вэттэр![1]

Рабочий, которого оттащил Касьян, кашлял и глухо сказал:

— За что же, Христиан Иванович? Пожалейте, я совсем хворый, грудь ломит. Трудно тачку поднять. Где же мне до убитого глаза работать? [2] — Он с трудом встал.

— Мне нужно чугун делать,— сердито ответил немец.— А такой рабочий, как ты, баловник, такой мне не надо. Слушай мои слова: ступай на съезжую избу к старосте Гаврилке — я приказал дать тебе двадцать батогов, и ты завтра придешь сюда назад и больше не захочешь быть больным.

Касьян не знал, что делать, но стоявший около него рабочий пробормотал:

— Ты, паренек, лучше не спорь, если не хочешь тоже получить сто батогов в спину. Назвался груздем, полезай

[1] Доннэр вэттэр — гром и буря (немецкое выражение).
[2] До убитого глаза — до полного изнеможения.

в кузов. Сунулся сюда, так слушайся Хрестьян Иваныча, пока он тебя не отпустит.

Еще одна телега остановилась возле колошника. Касьян решил не спорить и стал перекладывать тяжелые куски руды на тачку.

Когда стемнело, немец Христиан Иванович спустился вниз к подножию домны. Он приказал рабочим идти за ним. Касьян пошел вместе с рабочими.

— Горновой? Где горновой? — крикнул немец.

— Здеся,— ответил голос, и из темноты показался коренастый пожилой длиннобородый мужик в кожаном фартуке, с масляным светильником.

Перед домной был вкопан в землю большой глубокий дубовый чан, наполненный формовочной землей для отлива пушки.

Христиан Иванович обошел вокруг чана и осмотрел желоба и ямки, вдавленные в темной земле.

— Что здесь такое? — спросил Касьян соседа.

— Подожди, увидишь. Только отсюда с места не сходи.

Горновой подвесил светильник на крюк в стене и, закрывая лицо рукавом, открыл оконце в каменной кладке домны. Оттуда вырвался горячий вихрь, но горновой просунул длинную железную ложку, зачерпнул серую массу и вылил в ведро с водой, окутавшееся клубами пара.

Христиан Иванович подошел к ведру. Горновой вынул кусок серой массы и подал ее немцу. Тот посмотрел, сломал кусок пополам и оглядел место излома.

— Готово на выпуск! — крикнул он.

— На выпуск! — громко прозвучал голос горнового.

— На выпуск готовься! — раздались голоса, и в темноте задвигались тени.

— Бей летку! — крикнул немец.

Горновой железным ломом начал осторожно пробивать нижнюю стенку домны. Отверстие там было замазано огнеупорной глиной, которая, затвердев, сдерживала расплавленный чугун.

Одно место в летке начало светиться все сильнее, и светло-оранжевые блики засияли кругом на столбах, дубовых скрепах и безмолвно стоящих рабочих.

Яркая струя жидкого тяжелого пламени поплыла из летки в желоб и оттуда в глубокий дубовый чан. Старичок-немец, нагнувшись над чаном, внимательно вглядывался, подняв одну руку.

— Хальт! — крикнул он, махнув рукой.— Отводи!

Рабочий загородил желоб металлической лопаткой,

и светящееся тесто чугуна повернуло и поплыло в сторону по узким канавкам, где стало разливаться по мелким формам, ровными рядами выдавленным в формовочной земле.

Рабочий сказал Касьяну:

— В этом чане отлита теперь пушка, а в тех канавках ядра пушечные. Двести ядер отольются зараз. Видишь, векша[1] над чаном. Завтра пушка остынет: ее цепями подымут на векшу, переложат на телегу и отвезут на другую плотину. Там вертельня о шести станках для сверления пушки и два точила для обтачивания стволов. Эх, и пушечка будет, только бы ее направить против кого след!

— Против кого же? — спросил вполголоса Касьян.

Но рабочий отвернулся, будто не слышал Касьяна.

7. ЛОВУШКА

Когда поток расплавленного чугуна остановился и каленые ядра были залиты водой, старичок-немец отпустил Касьяна, приказав ему, чтобы утром с рассветом он явился работать на верхушку домны.

Один рабочий проводил Касьяна до съезжей избы. Сторож с колотушкой ходил около запертых ворот.

— Твои сродственники в сарае близ сеновала. Я уже говорил им, что ты, верно, убег. От немца Христьяна один даже в домну прыгнуть захотел. Насилу его сдержали и на цепь посадили.

Сторож отпер большим ключом, висевшим у него на поясе, дубовые ворота, впустил Касьяна и запер ворота снова.

Касьян нашел деда и Наумку под навесом. Невдалеке стоял Гнедко, привязанный к телеге. Дарья с Аленкой спали. Наумка и дед внимательно выслушали рассказ Касьяна.

— Нам уже сказали, что тебя немец в учебу взял,— заметил Наумка.— Только он тебя учить не станет, а силы твои высосет, и ты такой же станешь, как этот Федька, хворый.

— Грех да беда на ком не живет,— сказал дед.— А тот дурак, кто от беды добра ждет.

— Здесь нам какое житье,— говорил Наумка.— Меня ужо хотят послать в Дедиловские провалища руду копать. А руда там в земле, в ямах, сажен по пятнадцать и два-

[1] Векша — блок.

дцать глубиной. Надо врыться вглубь, как в колодец, пока дойдешь до слоя руды, а тогда надо копать в сторону и идти дудкой за рудой. В одной яме бывает по четыре человека ровщиков за круговой порукой, чтобы кто не сбежал. А кто сбежит, других троих порют. Из одной ямы надо вытаскивать по одному возу руды в день на человека. Всего четыре воза. А в ямах всегда роют с огнем — светят лучину. За воз платят ровщикам по два алтына, а воз двадцать пять пудов. Но прежде еще надо руду очистить — в рудных комьях бывает и земля, и мусор, и камень всякий. И все это надо очищать от руды.

Дед шептал:

— Что ж ты, Наумко, обещал на Волгу провести?

— Да я разве отрекаюсь? — вскричал Наумка.— То я и говорю, что стояньем крепости не возьмешь. И прежде всего пойдем в Тулу. Она близко — пятнадцать верст. К утру там будем и прямо в Кузнечную слободу махнем. Там самопальщики судьям неподневольны, живут своим коштом и своим промыслом. Пойдем в работники к старосте Еремею Баташову или другим самопальщикам — Мосолову, Орехову или Антуфьеву,— все они как бояре живут, никто их не тронет, и нас они защитят.

— Как же нам отсюда выбраться?

— Эх, дед, стар, видно, ты стал. Я из каменного острога уходил, а из этой съезжей избы не я один уйду, а и с Гнедком и с телегой — сена воз наберу и тебя сверху посажу.

Обсуждения были недолги. Пока дед и Дарья запрягали коня и накладывали сено, Касьян и Наумка подрыли лаз под ворота и оба вылезли. Касьян ждал, а Наумка бесшумно пошел вдоль забора. Сторож с колотушкой был далеко. Глухо доносилась дробь ударов палкой о чугунную доску.

На селе было тихо. У околицы лаяли собаки. Две домны выбрасывали огненные языки, и дым, освещаемый снизу, красными завитками клубился к небу.

Сторож замолк, потом снова заколотил в колотушку и медленно приближался к съезжей избе. «Где ж Наумка?» — тревожился Касьян.

Сторож в нагольном тулупе беспечно подходил к воротам. Касьян притаился и, когда сторож поравнялся с ним, набросился на него, схватив за шею.

— Что ты, сдурел? — зашептал, задыхаясь, знакомый голос.— Это ж я, Наумка. Сторож лежит в канаве с завязанным ртом. Я ему и руки связал, и пригрозил, что его

прикончу, если только он до утра голос подаст. До рассвета он и не чихнет.

Наумка сунул Касьяну в руку ключ от замка.

— Скорей отпирай ворота, да потише, не брякни. Теперь, после работы, все без чутья спят. Смело выезжайте и прямо направляйтесь в Тулу большой дорогой. Я за вами закрою ворота и еще похожу, постучу в доску, пока вы не отъедете подальше; потом я вас догоню. А ежели меня схватят, так сами разыщите в Туле Баташова Еремея или Антуфьева. У них всегда работников много, там и укроетесь.

Большой воз с сеном медленно двигался через село. Темная высокая фигура шагала навстречу — широкополая шляпа, развевающийся плащ и трость в руке.

— Откуда приходил, из Венев?

— Веневские, батюшка, веневские,— отвечала старуха Дарья, подхлестывая коня.— В Тулу сено везем.

— Счастливы дорог!

— Спасибо, батюшка-немец!

Вдали выстукивала дробь колотушка, потом смолкла.

— Пьяница-сторож, свинья, опять засипал,— проворчала тень.— Надо его посмотреть.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ТУЛЬСКИЕ САМОПАЛЬЩИКИ

Не кует кузнецов молот, а кует кузнецов голод.

Народная поговорка

1. СТАРАЯ ТУЛА

В описываемое время Тула являлась важной крепостью на южной границе царства Московского. В Туле скрещивалось несколько больших дорог, и через нее к югу шел Муравский шлях, по которому через степь поддерживалась связь с Крымом и откуда татарские войска делали неоднократные опустошительные набеги на московские земли.

Тула расползалась по низкой и топкой долине реки Упы возле впадения в нее речки Тулицы. Здесь находилось старое Городище, построенное предками туляков. В 1509 году на другом берегу вырос деревянный «город», то есть широкая стена, сложенная из дубовых кряжей, окружила значительную часть селений. Перед стеной были выкопаны рвы, наполненные водой, насыпаны валы. У ворот были подъемные мосты. Таким образом, Тула стала для того времени очень грозной крепостью южной оборонительной линии, которая состояла из ряда непроходимых засек, завитаев[1] и длинных валов.

Вся эта оборонительная линия, выстроенная тяжелым и упорным трудом рабов — бесчисленных крестьян и военнопленных, сложивших тут свои кости,— охраняла селения Московского государства от внезапных набегов татар, крымцев, ногайцев, калмыков и других степных кочевников. Пока шла осада пограничных крепостей, в тылу спешно собирались дружины и направлялись против вторгшегося неприятеля, появлявшегося со стотысячной конной армией.

Помимо деревянной стены, в 1530 году была выстроена внутри ее каменная крепость, «кремль», в «казенном амба-

---

[1] **Завитай** — укрепление.

ре» которого хранились пушечная «казна», зелье[1], ядра, пищали и прочие воинские припасы.

Когда снаружи деревянных укреплений расселились обыватели, то был окопан валом третий — земляной, или Завитай-город. Все эти валы примыкали друг к другу и к засекам, делая затруднительным внезапный набег врагов.

В середине XVII века набеги татар прекратились, сторожевые воеводы были уволены, и охрана всего края сосредоточилась в руках одного тульского воеводы.

К этому же времени Тула приобрела новое значение как центр железного производства. По всему краю вокруг Тулы искони находили рудные места. Наиболее древние шахты находились около города Дедилова[2], где рабским трудом на глубине нескольких сажен добывался тяжелый красноватый камень (железная руда), из которого в простых сыродутных горнах первобытным способом плавились крицы (комки руды), и затем из этих криц переплавкой и ковкой молотами выделывалось железо и «уклад» (сталь), нужные для воинского снаряжения и домашнего обихода.

Войны, которые приходилось вести московским отрядам на всех границах: на западе против поляков и литовцев, на севере против шведов, на востоке и юге против татар,— потребовали усовершенствования оружия, от чего зависела безопасность государства. Путем разных льгот и преимуществ Москва поощряла выработку кузнецами огнестрельного и «белого»[3] оружия, сперва на дому, а потом на казенных заводах, с запрещением домашнего производства, чтобы оружие не попалось бунтовщикам, недавно оказавшимся грозными в восстании Разина.

С середины XVII века снаружи деревянных стен образовалась особая Кузнецкая слобода, в которой кузнецы-самопальщики, почувствовав свое значение, отвоевали себе право некоторого самоуправления: завели своих выборных старост и голов, добились права особого суда, освобождения от постоев и других мирских тягот.

Подчинены были тульские кузнецы непосредственно мо-

---

[1] Зелье — порох.

[2] Близ бывшего города Дедилова, в тридцати верстах от Тулы, с самых давних времен добывалась руда и плавилась в ручных горнах. Эти ручные горны завелись впоследствии по многим деревням бывшей Тульской губернии при домах крестьян, занимавшихся этим промыслом. Из добываемого таким образом железа выковывались в городе Туле, кроме мелких изделий для домашнего обихода, всякие «бронные» и ружейные вещи. Так, например, в XVI веке делали там самострелы, пищали, копья и мечи.

[3] Белого — холодного.

сковской Оружейной палате и были обязаны ежегодно ей доставлять две тысячи пищалей по цене двадцать два алтына и две деньги за пищаль. А то, что кузнецы вырабатывали сверх этого, они могли продавать за положенные цены той же Оружейной палате, а на сторону продавать было строго запрещено.

К концу XVII века царь Петр дозволил тульским самопальщикам Ивану Баташову и Никите Демидову Антуфьеву устроить собственные два завода с водяной силой, что они и сделали, перегородив плотинами реку Тулицу и образовав на ней две запруды. Эти заводы были устроены по образцу завода, основанного шестьдесят лет назад на реке Глядяшке голландцем Винниусом, а для добывания руды и выжигания угля им предоставлены были земли в Малиновой засеке, издавна славившейся изобилием железных руд.

Только в 1705 году в Туле был выстроен казенный «Оружейный двор» с пятьюдесятью горнами, а через десять лет этот двор был преобразован в настоящий оружейный завод с плотиной в тридцать четыре сажени длиной, перегородившей Упу. С этого времени и поныне существует «Тульский оружейный завод».

2. В КУЗНЕЦКОЙ СЛОБОДЕ

Вечером по избитой колеями и ямами улице Кузнецкой слободы, мимо деревянных строений шли Касьян и Тимофей. Небольшие квадратные отверстия, пробитые в бревенчатых стенах, светились желтыми и красными огнями от пылающих внутри горнов.

Оба путника посматривали по сторонам и выбирали, в какую кузницу им зайти.

— Чего разбирать, пойдем в эту! — сказал дед и заковылял к одной раскрытой двери, откуда косые лучи падали на грязную топкую дорогу.

Внутри кузницы разом пылали четыре горна, и десятка два кузнецов и молотобойцев в кожаных передниках, рваных рубахах, с засученными рукавами были заняты напряженной работой. Одни возились около горна, где мехи шипели, равномерно сжимались и раздувались, отчего красные искры беспрерывными роями взлетали над раскаленными угольями. Некоторые кузнецы стояли около десяти наковален и наносили кувалдами четкие удары по узким полосам раскаленного железа.

— Стволы для пищалей куют,— заметил дед.

Никто из работавших не обратил внимания на вошедших.

Касьян, привыкший к маленькой деревенской кузне деда, смотрел с любопытством на работу в этом большом закоптелом сарае, где одновременно работало столько мастеров.

Тимофей, опершись на посошок, прищуря свои воспаленные обветренные глаза, неодобрительно покачивал головой.

Касьян, взглянув на него, подумал, что дед чем-то недоволен.

— Разорвет,— сказал Тимофей и повел седыми нависшими бровями.

— Чего разорвет? — спросил Касьян.

Дед мотнул головой в сторону ближайшей наковальни. Возле нее стояли трое: кузнец с худым обтянутым лицом держал клещами узкую полосу длиною около четырех четвертей, самый конец которой был раскален. Кузнец ударил ручником, и за ним два молотобойца, молодые сильные парни, поочередно били небольшими балдами половинного размера. Касьян заметил, что и наковальня и все молоты были иного вида, чем те, которыми он привык работать в дедовской кузнице. Поперек наковальни шли параллельные желоба.

Быстрыми ударами полоса, положенная на желоб наковальни, сгибалась и заворачивалась, обращаясь в трубку.

«Верно, из этой трубки выйдет ствол ружья»,— соображал Касьян.

Со стороны к ним подошел высокий человек-бородач в красной рубахе навыпуск до колен, с нагольным полушубком на широких прямых плечах. Черная жесткая борода обрамляла сухое желтое лицо, точно измученное постом или болезнью. Впавшие глаза как бы оценивали: «На что ты годишься? Стоит ли говорить с тобой?» Жилистая широкая рука сжимала костыль с железным наконечником.

«Не хозяин ли кузницы?» — смекнул Касьян.

Бородач смерил взглядом Тимофея, скользнул прищуренными глазами по Касьяну, по старому шабуру и локтям деда.

— Поздно учиться,— процедил он с презрительной холодностью, отвернувшись,— а парнишку, пожалуй, могу взять мехи раздувать.

— Кому поздно учиться — тебе али мне? — ответил Тимофейка.— Руки у тебя больно белые, видно, давно ручник держал, пора снова подучиться.

Хозяин медленно повернулся, уставился на деда и снял

шапку с красным бархатным верхом, отороченную лисой. Огни горнов заблестели на его лысом черепе.

— Не ты ли меня чему научить хочешь? Подков мне ковать не надо. Мне надо пищальные стволы наваривать да замки к ним делать, чтобы кремень хорошо бил. А ты пищали когда видал?

— Если ты так будешь наваривать стволы, как здесь, на этой наковальне, то твое ружье разорвет. Края железины надо не накладывать внахлестку, а прикладывать впритык.

— Прикладывать впритык? — переспросил хозяин.— А почему именно впритык?

— А потому, что ежели ты будешь накладывать железо на железо внахлестку, а потом бить балдою, то внутри будут расщепины, пленки и зазубрины. Начнут они отрываться и крошиться, и пуля ровно не полетит. А если приложить...

— Тут-то тебе вернее разорвет,— сказал холодно хозяин, но в его глазах засветилось любопытство.

— Никогда не разорвет. Если приложить края трубки впритык, железо край в край сварится, и стенка будет ровная.

— А ну-ка, ребята,— крикнул бородач густым голосом, покрывшим шум кузницы,— этот старик хочет нас учить, как стволы наваривать! Его леший в засеке учил.

Кузнецы рассмеялись.

— Этот леший дед с махмары[1] думает учить нас, Никита Демидович,— сказал ближайший кузнец.— Пусть еще у наковальни постоит да годков десять балдой отстукает, тогда чему-нибудь научится.

3. ОТРЕЖЬ ДВЕНАДЦАТЬ ФУНТОВ ЖЕЛЕЗА

Дед повернулся, махнул недовольно рукой и сделал шаг, чтобы уйти, но бородач схватил его за шабур.

— Нет, братец, ты уж останься и покажи-ка нам, как ты завариваешь стволы. Может, мы и впрямь людишки несмышленые. Попробуй ковать ствол. Только чтобы ты же потом из этой пищали палил. И если после третьего раза ствол не разорвет, то тебе я за работу заплачу три алтына. А если разорвет, то не пеняй, если твою рожу своротит. Только скажи напередки свое имя и отчество, чтобы нам знать, не тужить, по ком панихиду служить.

[1] С махмары — с похмелья.

— Ладно,— сказал дед, и в его глазах вспыхнули злобные огоньки. — Касьян, бери кувалду, дайте-ка мне ручничок.

Касьян неловко взялся за кувалду. Она была непривычна и не по руке.

Дед скинул шабур и среди ручников выбрал себе один с узким концом.

— Где железо? — спросил Тимофей.

— Сам отрежь,— сказал, усмехаясь, хозяин.— Дайте-ка ему цельную полосу. Посмотрим, сумеешь ли ты откусить ровно двенадцать фунтов — фунт в фунт.

Молодой рабочий поднес Тимофею кусок полосового железа, четырехгранного, пальца в три шириной.

Дед засопел, оглянулся кругом, встретился с насмешливыми взглядами стоявших гурьбой, выпачканных сажей ковалей. Он швырнул ручник о землю, схватил полосу, взвесил на руках.

— Теперь, хозяин, дай мне ставилу у двенадесять хвунтов.

— Дать ему ставилу,— приказал хозяин.

Кузнецы загудели, перебрасываясь замечаниями. Один принес две гири клейменые — одна в десять, другая в два фунта.

Тимофей повернул их в руках, осторожно поставил на наковальню.

— Касьянушка, принеси-ка сюда вот тот жбан и ведерком зачерпни воды,— сказал он, указывая в угол, где стоял большой деревянный чан с водой, обычно нужной при закалке.

Касьян принес высокий глиняный кувшин и деревянное ведерко с водой.

Тимофей вынул из-за пазухи кожаный кошель, достал вощеную дратву и мелок. Дратву привязал он к большой гире и вдел на нить еще маленькую гирю. Обе гири он опустил в жбан, держа нить в руках.

— Ну-ка, Касьянушка, лей в жбан водицу, да не торопко.

Касьян, еще не понимая, к чему дело клонится, стал лить в жбан.

Вода приблизилась к краям.

— Хватит! — сказал Тимофей, когда вода сровнялась с краями жбана.

Дед осторожно вытащил гири, стряхнул капли в жбан,— уровень воды без гирь опустился.

Тимофей отбросил гири, взял снова полосу железа

и стал осторожно опускать ее конец в жбан. Когда конец железа стал погружаться в воду, уровень воды одновременно начал подниматься и наконец опять сровнялся с краями, и в это мгновение старик перестал погружать железо.

— Дай-ка, Касьянушка, мелок.

Дед поднял. полосу и обвел железо мелком по той черте, до какой оно было замочено водой.

Тогда Тимофей положил полосу на наковальню, наставил зубило на черту, обведенную мелом, и Касьян несколькими ударами кувалды отрубил кусок.

Кузнецы схватили отрубленную часть и взвесили на весах,— тяжесть ее была равна двенадцати фунтам.

— Кто же тебя научил так железо взвешивать? — спросил хозяин.

— Аглицкий литейный мастер Джонс на заводе Винниуса[1],— сказал Тимофей и, схватив обрубленное железо клещами, положил его в горн, засыпал углями и приказал рабочему раздувать мехи.

4. ПИЩАЛЬНЫЙ СТВОЛ

Когда железо раскалилось до вишневого цвета, Тимофей перенес его на большую наковальню, над которой подымался конец бревна с железным двадцатипудовым набалдашником.

Рабочие пустили колесо, и молот гулко упал на наковальню.

Силой водяного колеса конец бревна с железным набалдашником равномерно обрушивался вниз, постепенно выпрямляя и утончая полосу на гладкой поверхности наковальни, пока будущее дуло ружья не стало нужной трехлинейной толщины. Тимофей прикидывал глазом, выжидал и наконец вынул полосу из-под молота и снова перенес ее в горн, заложив конец в самое гнездо. Засипели мехи, завертелись вихрем искры над гнездом, и полоса стала раскаляться. Когда конец ее засверкал белым светом, прыская, как снежинками, веселыми звездочками, Тимофей подхватил ее клещами и уложил на небольшую пищальную наковальню.

На этой наковальне было десять желобков — первый

---

[1] Этот способ отрезания железа, основанный на законе, открытом греческим ученым Архимедом, был введен на русских заводах английским мастером Джонсом, выписанным в Москву из-за границы вместе с другими оружейными иноземными мастерами.

самый широкий, следующие постепенно суживались. Тимофей выровнял светившуюся полосу вдоль самого широкого желоба, сверху полосы протянул ровный железный костыль. Вслед за ручником старика Касьян начал ударять кувалдой по костылю, вдавливая полосу в желоб, отчего она начала сворачиваться.

Десять раз перекладывал Тимофей трубку из более широкого желоба в следующий, поуже, и полоса постепенно свернулась в ровную трубку, края которой сдвинулись.

Тогда произошла последняя заварка. В середину раскаленной трубки дед вдвинул до половины ее прямой прут, и Касьян ударами кувалды сровнял края трубки. От беспрерывных ударов трубка растянулась и стала тоньше.

Хозяин сидел рядом на дубовой чурке и, прищурившись, оценивал работу старика.

— Где ж ты, отец, научился такому пищальному делу? — спросил он, когда Тимофей набил на казенной части восемь граней, слегка растянул и выровнял конец ствола, и, наконец, положив ручник на сторону, зашабашил.

— Был мальцом — добрые люди учили, а бородой оброс — других научу.

— Ведь не иначе,— продолжал хозяин,— что ты на заводе работал у Винниуса на Глядяшке, или у Акемы, или в Москве в Пушкарском приказе. Я тебя, пожалуй, возьму к себе на работу. Можешь сходить в мою лавку на Посадской площади, в Гостином дворе, там себе выберешь на рубль, что приглянется. Приказчик на тебя запишет, потом в кузнице отработаешь. Мой урок тебе будет — заваривать в день три ствола. Заваришь больше — тебе пойдет приплата. Еще я дам тебе второго молотобойца. О жалованье завтра поговорим. Приходи наутро ко мне в избу. Теперь воевода строгий, беглых взыскивает, и надо тебе выправить охранный ярлык, а то ярыжка схватит, и тебя посадят в башню.

— Это ты наболо́нь[1] говоришь. За что меня сажать? От работы я не бегаю, а сам ее ищу. Если ты не холява, до чужого не жадный, буду у тебя работать.

Хозяин сказал:

— Ладно. Ты, я вижу, хоть стар, да петух.

Тимофейка и Касьян вышли из кузни и направились по темной улице к той избе на окраине слободы, куда один посадский мастеровой принял их на постой.

---

[1] Наболонь — зря.

5. ЗАМОРСКИЙ ПИСТОЛЕТ

Утром Тимофей направился искать избу Никиты Антуфьева и приказал Аленке идти с ним. Бабка повязала ее новым платком, одела в шабур, затянула поясом и с напутственными советами послала за дедом.

Избу Антуфьева знали все. Она была построена под стать любому гостю или боярину. Сложенная из крупных бревен в два яруса, с глухим низом и маленькими слюдяными окошками в верхнем ярусе, изба, видно, принадлежала владельцу хозяйственному, с тугой мошной. Высокий частокол оберегал ее от лихих татей, за ним виднелись крыши амбаров, клетей и надпогребниц. Тимофей постучал в запертую калитку.

Высокий бородатый дворник с метлой загородил вход, замахал рукой:

— Куда лезешь, сивая борода? У нас сейчас высокие гости: сидит посыльщик[1] от самого царя.

Узнав, что хозяин приказал прийти, дворник почесал затылок и сказал:

— Пожалуй, впущу во двор. Обожди, да не отходи в стороны,— псы цепные у нас злобные, разорвут в клочья.

Тимофей с внучкой вошли во двор и остановились около резного крыльца. Четыре громадных пегих волкодава подняли яростный лай и рвались с цепей.

Около крыльца стояли два верховых коня, их держал под уздцы молодой стрелец в долгополом малиновом кафтане с кривой саблей, подвешенной у пояса.

Дворник поднялся на ступеньки и скрылся внутри избы. Ждать пришлось недолго. Вскоре на крыльцо вышел молодой черноглазый посыльщик царский в зеленом кафтане до колен, заморского покроя, в необычной иноземной шапке и высоких желтых сапогах со шпорами.

Хозяин Антуфьев шел за ним и низко без конца кланялся.

— Спасибо тебе, Никита Демидович, на хлеб-соли. А этот старик тоже из твоих самопальщиков? — заинтересовался гость Тимофеем.

— Тоже из моих мастеров. Большой затейник. Хочет пищали по-новому заваривать. Пообещался, что ружья лопаться не будут.

— Таких-то мастеров нам теперь и нужно.

---

[1] Посыльщик — курьер, перевозивший срочную почту дворца.

Стрелец подвел коня, и хозяин, спустившись, придерживал стремя.

— А ты сумеешь починить заморский пистолет? — спросил царский посыльщик.— Справятся ли с таким делом наши тульские мастера?

— Дай-ка сперва взгляну, какая пистоля, а тогда и скажу,— невозмутимо ответил Тимофей.

Посыльщик вытащил из передней седельной кобуры большой кремневый пистолет и протянул его Тимофейке.

— Видишь, замок не бьет. Эту пистолю с убитого шведа сняли.

Тимофей осмотрел пистолет, взвел кремневый курок.

— Пружина сломана, запал заржавел, рукоятка расшаталась,— бормотал Тимофей.— Оставь ее хозяину, мы ужо постараемся, будет как новенькая.

— Будьте уж покойны,— отвечал Антуфьев.— Мои молодцы будут работать и денно и нощно. Сам я с плетью буду ходить и запорю мастеровых, но уж обещанное исполню.

Антуфьев вместе с дворником отворил ворота и с низкими поклонами проводил знатного гостя.

6. КАБАЛЬНАЯ ЗАПИСЬ

Вся угодливая предупредительность Антуфьева перед царским посланником исчезла. Опять это был суровый хозяин, владелец кузнечного заведения, сжавший в своем костлявом кулаке всех своих служащих.

— Ты, старик, насчет работы пришел? — сказал он, повернувшись боком.— Я могу еще наймовать людей — по царскому приказу надо еще белого оружия наковать. Только, брат, человека неведомого, без отпуска брать для меня опасно. Значит, с тебя нужно кабальную получить. Сам знаешь, железо теперь в какой цене. Неравно пропадет — с кого взыщешь? С тебя, голого, что возьмешь? Потому и говорю, что для верности ты мне сейчас бумагу подпишешь и «целование господне ей-же-ей»[1] дашь. Кондрат, кликни-ка Афанасьича.

— Я здесь, Никита Демидыч!

Пожилой человек в потертом кафтане с предупредительной улыбкой мелкими шажками спешил на зов хозяи-

[1] Обычная форма клятвы в то время.

на. На поясе у него болтались медная резная чернильница и пук очиненных гусиных перьев.

— Напиши-ка старику.

— Уже готова, Никита Демидович, только «имярек» надо вставить.

Антуфьев стоял, выжидая, а писец положил бумагу на перила крыльца и, ткнув в нее пальцем, сказал:

— Пиши здесь.

— Аленка, ты у дьячка Феопомпия училась, прочти-ка мне бумажку,— ответил Тимофей.— Без оглядки я тоже ничего писать не стану.

— Но ты порядился идти в рабочие к Никите Демидычу, так и пиши обязательство,— объяснял вкрадчиво писарь.

Аленка водила тонким пальчиком по бумаге.

— Деда, я хорошо часослов читаю, а здесь как-то мудрено написано. Вот это я уразумела: «Быть по сей записи и впредь за хозяином своим во рабочих крепку, жить, где мой господин Никита Демидыч укажет, с того участку никуда не сойти, жить на заводе вечно и никуды не сбежать...»

Тимофей замотал головой и снял шапку.

— Спасибо, Никита Демидыч, на добром присме, только нынче дураки повыпахались, и на себя петлю одевать я не стану.

— Постой, говори не борзяся,— отвечал спокойно Антуфьев.— Разве я тебя неволю? Работай у меня и без записи, только тебе же хуже. У меня рука широкая, сердце отходчивое, а бог меня не оставил своей милостью: и завод мой растет, и изба брусяная полная чаша, а там еще пристрою. Все этой рукой сам наладил.— И Антуфьев протянул ладонь с длинными сухими пальцами.— В первую очередь мне заморский пистолет почини. Коли сможешь, я тебя не оставлю. В моей лавке можешь взять на рубль всякого товару: муки, крупы, масла постного. У меня и кони гладкие, хочу, чтобы деловцы были сытые.

7. ГОМОН НА ПЛОЩАДИ

Через несколько дней дед пошел на Посадскую площадь искать лавку Антуфьева. С ним увязались бабка Дарья и Аленка.

— Не твое кузнецкое дело муку или крупу получать,— ворчала Дарья.— У тебя нюх подгорелый. Тебе отсыплют

муку, мышами подъеденную или с куколем. Сам же есть не станешь.

В пути они который раз толковали, куда мог деваться Наумка Кобель, «букой» припечатанный. С той ночи, как он остался на заводе колотить в доску, Наумка не догнал их, как обещал. Где же ему было теперь отыскать своих новых друзей, если он днем боится людям показаться.

Едва ли и сегодня они встретят его на Посадской площади. Отметина на щеке может привлечь взгляд земского ярыжки или других целовальников. Станет ли Наумка себя подводить опять под наручни, колодки и кнут?

День был базарный, и по всем улицам тянулись к Посадской площади пешеходы и крестьянские возы. Морозный утренник затянул серебристыми льдинками все лужи. Посадские люди шли, накинув на плечи желтые шубы с длинными до земли рукавами; они говорили о ценах на хлеб, об ожидаемом приезде в Тулу молодого царя Петра, о новых наборах ратных людей для свейской войны. Чем ближе к базару, тем гуще становилась толпа.

Под воротами окружной стены стояли сторожа и опрашивали идущих. Тут же распоряжался земский ярыжка с нашитыми на груди большими буквами «З. Я.».

Крестьяне запрудили дорогу, выплачивая сторожам «мытную пошлину» по семь денег с воза, получали ярлыки и въезжали в широкие каменные ворота.

Когда Тимофей хотел пройти с толпой в ворота, он заметил, что все двигавшиеся держали в руке над головой ярлыки. Сторожа бегло их осматривали и движением указательного пальца разрешали проходить дальше.

Дед шел, недоумевая, что с ним будет. Ярыжка взглянул на него, быстро подошел и ухватил старика за грудь.

— Ты почто не бритобрадец?

— А на что мне бороду трепать?

— А, ты против царского указу! Давай две деньги.

— А почто?

— Зачем бороду бережешь? Царский знак есть?

— Не ведаю, какой такой царский знак.

Напиравшие сзади прохожие подняли крик:

— Чего народ запруживаешь? Гони плату за бороду или ходи обобренный![1]

— Эй, целовальник, получай со старика две деньги! — крикнул ярыжка.

— Две деньги платить мне на один раз или на вся дни?

[1] Обобренный — обритый.

— Вестимо, на один раз. А похотишь ходить с бородой и с усами — откупись на весь год. Ты кто? Какой деловец?

— Я коваль,— отвечал дед.— Работаю у кузнеца Антуфьева.

— У Никиты Демидыча? Тогда сойдешь за уездного крестьянина. С тебя я должен иметь две деньги. Не хотишь платить — садись к брадобреям или вертай назад, откудова пришел.

— Сюда, дед, вминт обреем! — кричали брадобреи, стоящие с большими бритвами в ряд около скамеечек, на которых сидели, завернутые полотенцами, посадские люди.

Дед отмахнулся, покряхтел и достал из-за голенища кожаный кошель, вытащил оттуда две деньги и отдал ярыжке.

— Виданное ли дело, за бороду платить! Да верно ли это, братцы? — обратился дед к ближайшим прохожим.

— Ты из лесу, что ли, пришел? Есть купцы, что за годовой знак и по тридцать и по шестьдесят рублев платят.

Толпа двинулась дальше в ворота, и с ней поплыл Тимофей с бабкой и Аленкой, которые испуганно посматривали по сторонам, опасаясь, не спросят ли и с них какой-либо пошлины.

Большая Посадская площадь была полна шумным народом, говором, криком. Рядами стояли возы крестьян и продавцов, приехавших из округи со всякими товарами: глиняной посудой, щепным товаром, деревянными мисками и ложками; тут же виднелись свиные туши, куры, связанные за ноги попарно, мешки зерна и муки, изделия домашних кустарей, свежая и соленая рыба.

Вокруг базара тянулся Гостиный двор, или ряды лавок, перед которыми в лубяных коробах лежали московские и местные товары — холсты, нитки, румяна, белила, бусы и прочие заманчивые для покупателей вещи, а на поперечных шестах были подвешены сапоги, шапки, кушаки. Все ряды разделялись по видам товара. Отдельный ряд мучной, охотный с разной дичью, московский с товарами московских рукодельцев. Особенно нарядны были ряды шапочные, где висели расшитые цветными нитками, шелками и золотом тафьи и разукрашенные бисером, жемчугами и самоцветными камнями боярские шапки. Так же наряден был шубный ряд, где были выставлены цветные и пестрые расшитые шубы, охабни, однорядки и прочие яркие одежды, сшитые для боярских и зажиточных посадских людей. Купцы расхваливали свои товары, зазывали покупателей, хватали их за полы, уговаривая купить по небывало дешевой цене.

Походячие торговцы с лотками на руках также «шумели в голос», то есть кричали, божились, крестились на иконы, подвешенные над лавками.

Аленка, шедшая сзади, зазевалась на нарядные вещи, выставленные кругом. Ей очень хотелось моченого яблока или подрумяненного калача,— торговки выкрикивали нараспев: «Сахарные калачи с пару из печи»,— но она не решалась попросить сурового деда, который протискивался вперед, разыскивая ножовый ряд, где находилась лавка кузнечного мастера Антуфьева. Толпа сгрудилась, оттерла Аленку, она услышала крики и сердитый голос деда:

— Чего пристал, окаянный, чего тебе надо?

— Иди за мной. Хватайте его! Это бегун, сбежал от свово господина. Тащите его в губную избу[1].

Аленка протискалась вперед и увидела, что деда Тимофея держит за одну руку кат Силантий из Веселых Пеньков, а за другую воеводский бирюч[2] с палкой, на конце которой блестел медный двуглавый орел.

Дед упирался, бранился, а те вцепились, не выпуская, и тащили куда-то в сторону. Любопытные сбегались со всех сторон.

Громкий крик пронесся над площадью и взбудоражил толпу.

— Бешеный бык с цепи сорвался! Спасайтесь, православные!

Толпа шарахнулась в сторону, смяла и бирюча, и деда, и Силантия. Мимо бежали торговцы, посадские, бабы, мужик с медведем...

Аленка кувыркнулась от чьего-то толчка, но вскочила и заметалась, разыскивая деда. Какой-то мужик-углежог, весь черный от сажи, сквозь которую выступали только красные веки и губы, пробивался, расталкивая встречных. Увидев Аленку, он схватил ее за руку.

— Беги за мной! Аль Наумку не узнала? Это ведь я быка выпустил, чтобы гомон поднять.

На середину опустевшей площади вылетел черный бык. Он тряс головой, рыл копытом землю. Крики и визги усилились, и толпа помчалась дальше. Из мясного ряда, засучивая рукава, бежали мясники в передниках с топорами и веревками, стараясь окружить быка. Наум

[1] В губной избе разбирались дела арестованных.

[2] Бирюч — глашатай, читавший народу на площади правительственные распоряжения.

пробежал с Аленкой в переулок, где они нагнали деда. Он, не оглядываясь, шел, мотая бородой, и бормотал:

— Из Каширы ушел, из Яма ушел, от немца ушел и из Тулы уйду!

— Совсем мучной колобок,— подхватил Наумка,— только как бы тебя лиса не съела? Антуфьев — мужик длинный, под собой землю на аршин видит, а своих рабочих в бараний рог гнет. Здесь на базаре я все про него выведал. Зачем здесь застрял? Двинемся на Волгу.

8. ДОРОГОЙ РАБОТНИК

Наумка прошел до конца Кузнецкой слободы. Тимофей указал избу, где они были на постое.

— Я понаведаюсь еще к вам. Скажу последнее слово: уходите без мотчания на сибирские просторы. Антуфьев вас перехитрит. Чую, здесь мертвечиной припахивает и могила вам изготовлена. Встретимся либо здесь, в Туле, либо за Уралом. Есть там железная гора Благодать, там и нам, бродяжникам, благодать. Сибирь и накормит и напоит...— И Наумка исчез за углом переулка.

Дома Тимофейку ждал караульщик Антуфьева и передал приказ хозяина сейчас же идти на кузню и там ждать.

— Ох, не к добру мы в Тулу забрались,— вздыхала Дарья.— Надо было к Волге подаваться.

Антуфьев встретил Тимофейку с костылем в руке. Он сидел на чурке возле потушенного горна. В этот день кузня не работала, был праздник.

Возле хозяина стояли один из кузнецов и караульщик.

— Я тебя кликнул для твоей же пользы,— с расстановкой протянул Антуфьев, смотря на Тимофейку холодными, непроницаемыми глазами.— Сейчас по городу сыск идет, прохожих ловят, доискиваются, нет ли беглых. Тебе приказываю здесь в кузне пожить и никуда отсель не выходить. Ко мне соваться сыщикам запрет. Я царский заказ готовлю. А коль выйдешь за ворота, тебя сыщики задержат. Ты в караулке с этим молодцом спать будешь, а твоя баба пускай щи из дому приносит.

Дед посматривал на хозяина, прикидывал: «Чего надумал длинный мужик?»

— Все же домой мне сходить придется — тулуп и лопоть какую принести.

— Ты мне дерзновенную неустрашимость не показывай, за тулупом караульщик сходит. Для верности, Микитка,

надень-ка ему цепь, не ровен час — сдуреет старик, выйдет на улицу, тут ему петля, а мне без дорогого работника убыток.

Тимофейка угрюмо смотрел на хозяина, на дверь: «Бежать, пока можно, да ноги старые, не унесут. Нелегкая сила занесла меня в Тулу».

Караульщик с кузнецом надели на шею Тимофейки раздвижное железное кольцо с замком. Кузнец защелкнул замок и ключ передал Антуфьеву. От кольца шла длинная цепь к чугунной двухпудовой гире, стоявшей на полу. Антуфьев встал и, уходя, уже не обращая внимания на старика, сказал караульщику:

— Смотри в оба. Головой ответишь, если что. А ты, старик, кончай пистолю.

С того дня Тимофей безвыходно оставался в кузне. Он с трудом переносил тяжелую гирю и водил налитыми кровью глазами, но весь ушел в работу.

Когда дед оставался наедине с Касьяном, что в кузне бывало редко, так как кузнецы работали беспрерывно, он отрывисто и сердито наказывал ему не ждать его, не жалеть, а отправляться в сибирское воеводство, к горе Благодати...

— Чую, сгноит меня здесь Демидыч. Видел, какие у него лапы цепкие? Что попало, уже не выпустит. Уходи, пока и тебя на цепь не посадил.

Касьян решительно отказывался:

— Холод настает. Где проживешь в дороге, когда снега завалят землю по пазуху? Пока здесь перебьемся. Весной легче уйти — весной и птица летит, и мы уйдем за нею.

Дед возился с пистолетом, внимательно разбирал его до последнего винтика, рассматривал, чистил, закаливал пружинки, отделывал рукоятку. Однажды, когда они были в кузне одни, он передал Касьяну вычищенный пистолет и сказал:

— Возьми-ка его себе, Касьянушка. Может пригодиться в дороге. Зверь иль недобрый человек — убережешься.

Касьян взял пистолет, не понимая:

— А как же хозяин?

— Хозяйский пистолет у меня вон где.— И дед вытащил из-за пазухи голубую тряпицу, развернул,— в ней лежал второй пистолет.

Касьян взял оба пистолета, сравнил их: они были двойни, ничем не отличались один от другого.

— А ты сам сможешь распознать, которая твоя пистоля, а которая немецкая?

Возле Тимофея вырос хозяин Антуфьев. Бесшумно подошел он в мягких валенках и протягивал к пистолетам костлявые руки.

— Различие есть во какое,— не смущаясь, сказал дед.— Видишь, здесь на стволе насечка, надпись немецкая — верно, «имярек» мастера. А на моей пистоле — «Тула. Демидов».

— Ладно,— сказал Антуфьев.— Ну и упрям же ты, Тимофейка, что протопоп Аввакум. Смотри, как бы и тебе на костре живьем не сгореть, как Аввакуму. А то бы ничего, добрый старик был, если бы хозяину покорялся.— И Антуфьев бесшумно удалился.

— И сгорю лучше, а тебе, Кощею, не покорюсь.

9. ПОКУПНЫЕ КУЗНЕЦЫ

Касьян был принят на работу молотобойцем, но к нему не были применены такие строгости, как к деду Тимофейке. Антуфьев по-своему оберегал самых ценных мастеров и деда, как «дорогого» самопальщика, держал на цепи, как держал бы татарского выводного коня, боясь, чтобы его не скрали. Касьян присматривался ко всему в кузнице и постепенно стал различать всех работающих.

В кузнице работало много рабочих. Они разделялись на ствольников, изготовлявших стволы ружейные, замочников — они занимались только затворами. Замочники прикрепляли стволы, а приклады получались от столяров.

Были еще мастера ложевые, приборные, литейщики белого оружия.

Все самопальщики разделялись еще по их зависимости от хозяина. Одни были вольные, жили самостоятельно, приходили в кузню на работу не ежедневно и получали урок. Были еще свейские — полоненники[1], самые опытные рабочие, делавшие лучшее оружие.

Сдельщики со стороны, или вольные охочие деловцы, торговались, спорили, держались более независимо, и на них с завистью смотрели кузнецы закабаленные.

Большая часть рабочих Антуфьева были его кабальные, которых он доставал различными путями. У него были свои приказчики; они с сидельцами дежурили в его лавке на Посадской площади, их он посылал в Москву — отвозить приготовленное оружие и привозить московские

---

[1] Полоненники — пленные.

товары. Приказчики ездили на мельницу за мукой и к разным помещикам в округе, у которых скупали способных к кузнецкому рукомеслу рабочих.

Рабочие приходили полуголые, в домотканых пестрядинных рубахах и портах, в лаптях, в рваных шабурах. Некоторые тащили с собой лубяной короб или мешок. Их сгоняли во двор с высоким островерхим тыном, через который не перелезешь. Здесь они сидели вдоль стены, перешептывались, недоверчиво косились на всех, искали случая убежать.

Антуфьев, молчаливый и суровый, постукивая костылем, обходил вместе с приказчиками привезенный народ. Он останавливался перед каждым рабочим.

Рабочего подымали, поворачивали кругом, осматривали зубы, уши, не порчены ли пальцы на руках. Приказчик рассыпался горошком, расхваливая каждого купленного и находя особые достоинства:

— Рука размашистая, работает, что конь, зубы верно что повываливались — потому задира: как выпьет, драться любит. Зато сметливый, и еще отец его промысел имел по кузнецкому делу.

Всех приведенных отправляли прежде всего в мыльню близ плотин — отмывать доморощенную грязь.

— Мне чужих вшей не надо,— говорил хозяин,— своих не оберешься.

После мытья каждому новому рабочему выдавались порты, холщовая рубаха, лапти и подвертки, и они отправлялись в сарай, в котором жили под надзором караульщика.

Все, что делал и приказывал Антуфьев, было деловито, практично и прежде всего ему прибыльно. И за новую «лопоть», что давалась после бани, и за муку и соль для рабочих, и за все прочее, что они получали из лавки,— на все писался столбик цифр возле имени рабочего, и особый дьячок сопоставлял забранные товары с заработком каждого. Все оказывались в неоплатном долгу, и если получали какие деньги на руки, то только в счет того, что «потом отработает».

Покупные рабочие имели свой урок на каждый день, и что делали сверх урока — за все им приплачивалось: так как им приходилось работать с пяти часов утра и до темноты и отрабатывать товары, забранные из лавки Антуфьева, они из кожи лезли, чтобы выбраться из кабалы хозяина, но все больше погружались в новые долги.

Антуфьев никогда не говорил о своих планах, никто не

мог вперед догадаться, что новое надумал этот молчаливый, невозмутимый хозяин. Куда-то уезжали приказчики, внезапно появлялись возы с чугунными крицами или березовыми и дубовыми болванками для пищальных прикладов, прибывали новые партии рабочих и размещались вповалку в полуразвалившихся сараях.

Антуфьев давал отрывистый приказ:

— Вот что, братец. Его пресветлому царскому величеству требуется двести бердышей-протазанов. Сделать их к сроку.

И он назначал день.

— А кто не сделает — против царского указа пойдет. Сам виноват, отведает батожья.

Так изо дня в день, с раннего утра до вечерних сумерек и с вечера до восхода солнца, в две-три смены, перестукивали кувалды, тяжелые молоты жулькали[1] и плющили железные доски и отбивали веселую дробь ручники мастеров. Для Касьяна и деда Тимофея время летело незаметно, как у коней, впряженных в тяжелый воз и шагающих бесконечным шляхом, без конца и без начала.

---

[1] Жулькать — мять, давить.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ПУТЬ НА ВОСТОК

Милосердные наши батюшки,
Не забудьте нас, невольников.
Мы сидим во неволюшке,
Во неволюшке, в тюрьмах каменных,
За решетками за железными,
За дверями за дубовыми,
За замками за висячими.
Распростились мы с отцом, с матерью,
Со всем родом своим, племенем.

Старинная песня каторжников

1. СВОДНЫЙ НАРОД

Всю зиму приказчики «сбивали народ», собирали вместе купленных из разных мест крестьян, знавших кузнецкое дело. Они содержались раздельно на разных дворах — каширские, алексинские, тульские. Все эти сводные люди выбрали промеж себя старост. Им было приказано ввести круговую «кровную поруку»: «Если кто сбежит, остальные ответят заместо отбегателя».

Ближе к весне, когда сильнее начало пригревать солнце, днем побежали ручьи, а ночью еще стояли морозы, всем объявили, что их отправляют в Серпухов. Но кто-то пустил слух, что ежели от Серпухова начинается водный путь, то, значит, повезут из Серпухова дальше по Волге и они отправляются на вечную разлуку с родными местами.

Старосты вместе со стариками пожелали видеть Антуфьева, но тот через приказчика ответил, что говорить им не о чем, а ему недосуг.

— Куда господин прикажет, туда крестьянин и должен ехать. А отправляться можно с бабами и детьми, для них подводы будут.

Такой ответ не успокоил крестьян. Несколько человек ночью, проломив стены, убежали. Тогда каждого десятого для устрашения других отстегали батогами.

Тульский воевода исполнял все требования Антуфьева.

Про него шел слух, что он любимец царя Петра Алексеевича и ему перечить не след. Воевода прислал стрельцов — охранять сводных людей.

Но Антуфьеву народу не хватало. Он искал еще рабочих и послал приказчиков в подвал губной избы. Там, среди пойманных беглых, татей и лихих людей, Петр Исаич отобрал склонных к наковальне и привел человек двадцать на завод Антуфьева.

Антуфьев осмотрел всех и до поры приказал держать в погребе, кормить соленой рыбой. Среди привезенных Касьян узнал вымазанного в саже Наумку Кобеля.

Однажды с вечера стали прибывать розвальни. Их сгрудилось по всей улице около двухсот саней. Утром прибыло еще с сотню. Всех сводных людей выставили близ кузни. Приказчики бегали с батогами, ругались, подымали ударами лежавших. Торопили грузить на сани.

Собрались родичи уезжавших. Плач их, казалось, доходил до самого неба. На сани грузились мешки с домашним скарбом, садились бабы, дети и закованные в цепи кузнецы. Двадцать стрельцов в красных кафтанах, на маленьких лохматых конях, ехали впереди и в конце обоза и охраняли от побегов отправлявшихся в чужедальнюю сторону.

У деда Тимофейки был снят железный обруч с шеи, где разбередилась кровавая язва. На ногу надели деревянную колоду и посадили на розвальни вместе с другими «дорогими» рабочими. Прибежала бабка Дарья, сказала, что Аленка сидит в санях в переулке, и сунула деду мешок с калачами.

Длинный поезд растянулся по раскатанной дороге. Родичи бежали рядом с санями версты две, причитали, плакали, прощались, некоторые падали, потом отставали.

Потянулись засыпанные снегом равнины, деревни, утонувшие в сугробах. Проехали безмолвный лес, запорошенный инеем. Деревянные полозья саней раскатывались на поворотах. Лошади то шли шагом, то рысью догоняли передних. Возчики покрикивали.

Антуфьев ехал среди обоза в крытом возке, обшитом рогожами, запряженном двумя конями гуськом. На переднем сидел возчик, сзади возка стоял караульщик с пищалью. Антуфьев, закутанный в медвежью шубу, сидел в возке рядом с двадцатилетним сыном, изредка открывал дверцу и звал Петра Исаича. Рыжий приказчик в новом полушубке, сняв колпак, подбегал по колено в снегу, слушал, хлопая руками, и затем передавал распоряжение конному стражнику, который мчался либо в голову, либо в хвост обоза.

2. НА СТРУГАХ ПО ОКЕ И ВОЛГЕ

В Серпухове всех загнали за каменную стену, в монастырский двор. Антуфьев ходил на берег, осматривал новые струги, еще белые, сколоченные умелыми плотниками без единого железного гвоздя. Десять стругов стояли рядом на берегу, на деревянных катках, и плотники доканчивали работу, законопачивая пазы и заливая их смоляным варом.

Река уже набухала. Подтаявший лед на Оке темнел полыньями. Кое-где на берегу обнажились желтые песчаные плешины. Ждать в Серпухове пришлось недели две, пока река тронулась. Несмотря на строгую охрану, несколько мужиков сумели убежать из-под монастырского замка.

Когда большой лед прошел, струги были спущены на воду, и сейчас же на них погрузили всех сводных. Суда отвели от берега и поставили на якорях посреди реки, чтобы неповадно было ходить на берег.

Антуфьев переселился на передний струг, где на корме ему была выстроена будочка с двумя лавками и столиком посредине. Лавки были покрыты овчинами и персидскими коврами, и на них расположились Антуфьев и его сын. Будку охраняли привязанные на цепях два лохматых пса-волкодава.

На первом струге погрузились лучшие мастера Антуфьева с бабами и детьми. На передней части судна они разостлали сенники, мешки, тулупы, поставили свои сундуки. Среди них поместились Тимофейка, Дарья и Аленка. Скарба у них было немного. Тимофейка особенно берег ящик с кузнецкой снастью.

Касьян, не любивший оставаться без дела, присоединился к двум рулевым, управлявшим громадным веслом — потесью, сделанным из целой столетней ели; это весло служило рулем.

На других стругах были погружены прочие кузнецы, литейщики, молотобойцы. На каждом судне сторожили четыре стражника с самопалами и бердышами. На одном из стругов прохаживался кат с кнутом за поясом. Кнут был плетеный из невыделанной лосиной кожи.

Хотя днем солнце согревало, но за ночь снова холодало; раза два выпадал снег, покрывая все струги белым налетом, и днем стаивал. Антуфьев выжидал, пока всё погрузят. Из Тулы прибывали еще сани с частями сверлильных и стругальных станков, и их переносили на струги.

Антуфьев объезжал все суда, проходил по ним нетороп-

ливой походкой, все осматривал, никому не верил на слово, проверял, пересчитывал и заглядывал в небольшую толстую тетрадь в кожаном переплете. Эту тетрадь он называл «юрнал» и в ней делал заметки и записывал счета.

Чем спокойнее и медленней говорил Антуфьев, тем торопливее бегали и суетились приказчики. Путь предстоял длинный, все нужно было захватить, ничего не забыть. Большинство ехавших вздыхали, что им не придется вернуться обратно.

Ранним утром, когда солнце бросило первые розовые лучи сквозь пелену сизого пара, клубившегося над Окой, струги начали поочередно подымать якоря и плавиться вниз по реке.

Мимо потянулись густые старые леса с топкими берегами. Иногда леса кончались, тянулись равнины, где снег еще держался в оврагах, а на сжатых полях и лугах с прошлогодней желтой травой уже бродили тощие взлохмаченные коровы.

В этот год разлив был сильный. Возле Каширы весь левый берег обратился в озеро, среди которого островками подымались крыши изб и верхушки деревьев. Город Кашира на обрывистом правом берегу, окруженный зубчатой каменной стеной, казался нарядным и веселым. Водяные мельницы, расположенные на склоне к реке, шумно работали под напором ручьев, вздувшихся от таявших снегов.

Струги шли вперед без весел, одним сплавом. Не останавливаясь, прошли около Коломны, шумной и многолюдной, окруженной каменной стеной с пузатыми башнями. Здесь в Оку впадает Москва-река. Большие и малые суда направлялись вверх и вниз по течению: одни — сплавом, другие — на веслах или под парусами. Кое-где бурлаки, «вложившись» в лямку, низко наклонившись к земле, медленно подвигались берегом, и на конце длинной бечевы важно пенила воду тупоносая широкогрудая расшива[1].

3. ЗАПИСКИ АНТУФЬЕВА

Антуфьев привык весь день проводить в хлопотах, а в пути на корабле он впервые оказался без дела. Не зная, за что приняться, он ходил по палубе, смотрел на плывшие

[1] Расшива — большая плоскодонная парусная барка, построенная (расшитая) из досок.

мимо суда, на уходившие вдаль берега. Спускал с цепи псов, стравливал их и с деревянным хохотом наблюдал, как они грызлись и катались кубарем. Потом псов разливали водой и снова привязывали к будке.

Он вступал в беседу с кормщиком, расспрашивал названия встречных поселений и записывал свои наблюдения в счетную тетрадку, озаглавив ее: «Юрнал о путном шествии».

«*Май в шестой день.* Ехали мимо Дедилова, стоит на правой стороне. Приплыл на долбеночке старик ветхой. Купил у него пару уток. Очень кланялся. Сказывал, зима была холодная, на низах хлеба позябли.

Седьмой день. Прибыли в Переяславль. Татары, захватив, подожгли и разрушили. Дома развалились. По обе стороны реки знатные избы бояр, где лета проводють. День был тихой.

По пути в Новоселки зело много монастырей и сел.

В одиннадцатый день. В 4 часу с полуночи приехали к городу Мурому. Здесь мордвины хорошо земли распахали. Стали у берега и ночевали. Ночь ждали всего каравана.

В 6 часу была погода[1] великая, и стали на якорь по реке и ночевали.

В двенадцатый день. Была погода великая же, и ночевали на том же месте. А к ночи тихо.

В тринадцатый день. В 5 часу якорь вынули и пошли от города в путь.

Справа река впала Мокша. Слева Клязьма, что началась у города Владимира. Берег с правой стороны горный, покрыт добрыми пажитями верст на двадесять, а левый низмен, бесплоден и мало обитаем.

В пятнадцатый день. Не дошед до Нижнего, за 2 часа до свету стали на якорь неподалеку от города по реке. День был и ночь все тихо.

В шестнадцатый день. В 9 часу якорь вынули, пошли в путь. В 9 часу пришли к городу Нижнему, и пристали к берегу, и ночевали у города. Дожжик малинкой накрапывал. Караван еще не собрался. Славный город. Строен на вышнем берегу реки. Стены каменные, и царь приказал поставить на нем было стрельцов достаточно, чтобы татары не шебаршили.

В посадах народу живет больше, нежели в кремле.

Здесь вьют добрые веревки. Приказал Петьке Исаеву накупить запасу щук и окуней.

---

[1] Погода — буря.

В семнадцатый день. Караван собрался весь. В 3 часу от города пошли в путь. Того числа был ветер невелик.

Люди мои очень маются животами. Не знаю — отчего. Строго им наказывал, чтобы молились Пантелеймону-целителю, и сам для примера с ними молился. Все же некоторые померли.

В восемнадцатый день. Проехали Васильгород-Суровский. Обтекает река Сура. Той ночи в 12 часу судно нанесло на мель, и с мели по завозне в 3 часу выплыли. Здесь всюду видно много татаров и черемисов. Женатые голову бреют, а неженатые на макушке оставляют косму волос длинную, до плеч. Жрут конину.

В девятнадцатый день. Проехали город Кузьмодемьянск. Здесь закупил рыбы соленой, хотя и заквасилась, но наши работники все равно съедят.

В двадцатый день. Приехали в Чебоксары, войска достаточно. Черемисы ненадежны. Воевода приходил на струг, спрашивал проездные грамоты. Я ему нос утер царским указом. Ходил по берегу, видел в лесу орех, вишню и смородину.

В двадцать первый день. В 4 часу приехали к городу Казани и стали на якоре по реке Волге против Казанки-реки. А та река впала в Волгу с левой стороны. Приставали суда небольшие. День был тих, и ночь также.

Город — столица царства Казанского — на холме на левом берегу реки. Со всех сторон равнины безлюдны. Стены посада деревянные, а кремлевские толстые, сложены из хорошего камня. Река Казанка обтекает кремль колесом, и к нему не подступишь.

В посаде торговля идет бойкая, ей способствуют наиболее татары. Черемисы привозят продавать все, что есть у них, даже собственных детей обоего пола, которых уступают всякому желающему куповать дешево. Это они с голодухи.

В кремль ради обороны и безопасности татарам ходить запрещено. Все они оттудова выселены. А коли войдут, стрельцы рубят им голову.

Устроил угощенье казанскому воеводе Трубецкому Юрию Петровичу и архирею за их обходительность».

В устье Камы, у левого берега Волги, весь караван остановился. На берегу уже ждала сотня подвод и два десятка было местных[1] казаков на башкирских конях. Они

---

[1] Местных — уральских.

окружили выгружавшихся рабочих и выставили сторожевые посты.

Вынесли с судов несколько мертвых тел. «Очень животами изошли»,— говорили рабочие, окружив мертвых, лежавших в ряд, с руками, скрещенными на груди. Веки всем опустили, покрыв медными грошиками. В головах у каждого стояли иконки и горела восковая свеча.

Среди покойников лежала и бабка Дарья. Ее закрытые глаза впали и потемнели. Нос заострился. Губы сурово сжались. Аленка сидела возле нее, недоумевая, смотрела на подходивших, иногда рукавом стирала слезу, наползавшую на кончик носа.

Один казак был послан в ближайший выселок разыскать попа. Вернулся навеселе, едва держась на коне. Сказал, что поп отправился в объезд, ругу[1] собирать. А дьячка тоже нет.

Выкопали общую могилу, опустили покойников, закопали.

Плотники поставили свежий сосновый крест, смола выступала на нем желтыми каплями.

Приказчики торопили идти в путь.

Антуфьев с сыном, приказчиком Петром Исаичем и вооруженными стражниками на тарантасах отправились вперед.

Караван тронулся близ берега по каменистой дороге. Позвякивали цепи. Под ногами скрипела галька.

Тимофейка, с колодой на ноге, ехал на подводе. Касьян с Аленкой плелись в общей толпе.

4. НОВЫЕ ПОРЯДКИ

Антуфьев приехал в горную долину, где ему были переданы в пользование два слабо работавших казенных завода.

День был жаркий. Ветра не было. Молчал высокий лес, только дятел долбил сухое дерево. С перевала, куда взлетела двухколесная тележка, была видна вся узкая горная теснина, на дне которой разлился пруд, уходивший загибом в скалистое ущелье.

Пруд загородила плотина, и возле нее толпились покрытые сажей заводские здания. Небольшая домна выпускала густой черный дым, а дальше рассыпались в беспорядке бревенчатые срубы, без крыш, крытые для защиты от

[1] Руга — «добровольные» пожертвования.

холода пластами дерна с зеленой травой и молодыми деревцами. В этих срубах жили заводские рабочие.

Доносился глухой шум водяного колеса и равномерный стук обжимного молота. Бойкая горная речка, извиваясь серебряной лентой, врезывалась в зеленые луга, покрытые бесчисленными пеньками вырубленного леса.

Кругом теснились горные увалы, за ними в синей дали возвышались кряжи настоящих Уральских гор. Лес, густой и сумрачный, со всех сторон подходил к заводу, выстилал горы до самого верха и дремучим ельником залегал по ущельям.

Антуфьев сошел с тележки и, разминая затекшие ноги, внимательно осматривал долину, расспрашивая возчика, как зовутся отдельные сопки и ущелья; вдруг он нагнулся, постучал костылем по плешине серого треснувшего камня, обросшего мхами и лишаями. Поднял кусок, впился глазами в поблескивавшие зернистые изломы его. Бросил камень в повозку. Опять стал осматривать долину.

«Там поставлю еще четыре домны, к той горе прорублю просеку,— прикидывал он в уме.— Плотину перенесу выше на версту. И эта речка толканет двенадцать новых молотов. Там проходки для сыска руды выкопаю, туда к горе подамся, чтобы рудокопные дудки были ближе к домнам».

Антуфьев, посвистывая, влез в таратайку, и конь, упираясь, спустился с крутой каменистой дороги и затрусил по направлению к заводу.

Приезд Антуфьева был неожидан. Заведующий спал, долго облачался, пока вышел к гостю.

— Пускай подождет,— ворчал он,— нужно показать мужику, туляку прокопченному, чтоб не очень обскакивал.

Но Антуфьев его не ждал, а побывал на домне, в кузнице, осмотрел плотину. Заведующий долго ждал его, затем отправился разыскивать и нашел около груды сложенных чугунных криц. На все вопросы и приветствия заведующего Антуфьев не обратил никакого внимания и ответил только:

— Поговори-ка, братец, с Петром Исаичем, приказчиком,— а сам пошел вверх вдоль пруда, постукивая костылем.

Весь караван прибыл через две недели. Люди были изможденны. Придя к плотине, они тяжело опустились на землю и заснули.

Но Антуфьев не дал им отдохнуть. Он хотел поскорее развернуть дело. Он собрал приказчиков и старших мастеров и стал объяснять, где и что каждому придется делать.

— Мы должны выплавить чугуна в десять — двадцать раз больше того, что последний год вырабатывала сия домна.

Увидев Тимофейку, который с трудом плелся, передвигая ногу с колодкой. Антуфьев спросил:

— Как, старик, по душе ль тебе эти пади?

— Хуже того, что было, не будет,— ответил Тимофейка и, подойдя вплотную к мастерам, приставил ладонь к уху, внимательно прислушиваясь к разговорам.

Антуфьев все повернул по-новому. Приказчики и гонцы помчались во все стороны и, грозя «царским указом», стали сгонять рабочих из окружных поселков.

Потащились обозы с мукой, с соленой рыбой, в лесу застучали топоры, повалились вековые деревья, обнажились просеки. Стражники привели толпу ясачных[1] вогулов и остяков дровяные кучи складывать и уголь жечь. Плосколицые, узкоглазые ясачные испуганно и недоверчиво косились, шли гуськом друг за дружкой, садились разом на корточки, дичились. Из леса с работы убегали десятками за что наказывались оставшиеся.

Прибывшим рабочим было приказано самим сложить себе избы, огородиться заплотами, накосить на зиму сена.

К Тимофейке раз подошел Петр Исаич и спросил:

— Никита Демидыч узнать желают, будешь ли ты класть избу. Обещают прислать печника.

Тимофейка, возившийся около горна, остервенился:

— Как же я бревна рубить буду? Не моей ли колодкой? А таскать бревна к избе не на ей ли?

Петр Исаич сходил к Антуфьеву и вернулся с рабочим. Колодку сняли. Пришел Антуфьев. За ним следовал Наумка Кобель. Железная цепь, сковывавшая ноги Наумки, подхваченная ремешком, идущим от пояса, глухо позвякивала. Вымазанный углем, скрывавшим ожоги, Наумка смеялся, и на темном лице поблескивали зубы.

Тимофейка сел на чурку и стал перематывать обвертку на истертой колодкой ноге.

— Как ты смекаешь, дед,— протянул Антуфьев,— из здешнего чугуна смог бы ты выковать белое железо?

— Здесь можно доброе железо ковать, не хуже свейского будет,— ответил Тимофейка.

---

[1] Ясачными назывались коренные обитатели, платившие ясак (подать пушниной).

— Вот те и плотник для избы.— Антуфьев указал на Наумку.

— Самую кержацкую[1] избу сложу,— подхватил Наумка,— никакие морозы не проймут.

— А ты мне за это постарайся,— протянул Антуфьев,— и первым делом из здешнего железа завари десятка два топоров, чтобы уклад[2] добрый был и без зазубрин рубил суковатые стволы.

— Ужо сделаю,— кивнул Тимофейка.

5. АНТУФЬЕВ ХОЗЯЙНИЧАЕТ

Завод был обращен в крепость, вокруг него возвели с трех сторон двоеугольный острог, рубленный из бревен и крытый тесом. На том остроге было семь башен бревенчатых на каменном фундаменте. В остроге появились крепкие амбары для складов чугуна, припасов и прочего.

Антуфьев никому не отказывал в приеме для работы на завод. Всякому, откуда бы ни явился, разрешалось селиться. Со всех сторон потянулись бурлаки, как тогда назывались переселенцы. Одни жаловались, что сошли со своих мест «ради хлебной скудости», другие «от пожарного разорения», и все твердили, что от притеснений господ житья нет.

Много пришло раскольников. Они устроились отдельными поселками. Антуфьев обещал им, что они не будут знать никаких властей, никаких податей и поборов для «кормления воевод со товарищи». Он не спрашивал у них отпусков, зато скудно платил им за работу. Принял он также беглых солдат и шведских пленных. Они построили особую «шведскую деревню», в которой жили до заключения мира со Швецией, когда большая часть их ушла к себе на родину. Люди шли на завод охотно, убегая от кабалы, «крепости» или кары за проступки. Они не подозревали, что впоследствии, и очень скоро, все поголовно будут Антуфьевым закрепощены «навечно с потомками». Долина быстро наполнялась новыми избами, шалашами, становилась многолюдной, открывались лавки и кабаки.

Посреди острога вырос большой каменный двухэтажный дом для Антуфьева и его «приказа». Каменные подва-

---

[1] Кержаками в Сибири звали сектантов, скрывавшихся от преследований в самых глухих местах тайги.

[2] Уклад — сталь.

лы дома были соединены трубами с запрудой и могли наполняться водой. Комната, в которой поселился сам Антуфьев, имела отдушины и внутренние приспособления, благодаря которым Антуфьев мог слышать, что происходило и говорилось в других комнатах.

Всякие предосторожности были приняты для безопасности завода, так как в течение десятков лет по всему Среднему и Южному Уралу вспыхивали восстания башкир, калмыков и киргизов, вызванные насильственной колонизацией, притеснениями и поборами правителей края. Эти восстания принимали ожесточенный характер: возмутившиеся жгли селения поселенцев, уводили в плен женщин и детей, перепродавая их через киргизов и ногайцев в Хиву, Бухару и в Крым. Для охраны завода и усиления своей власти Антуфьев завел значительную вооруженную стражу и отлил пушки и снаряды. Царским указом Антуфьеву было разрешено «своим наемным и работным людям чинить за все вины наказания по своему рассмотрению, а стольникам и воеводам в делах его не ведать».

Таким образом, Антуфьев сделался самодержавным правителем целого уральского района и не считался ни с какими сибирскими властями. Он завел свой суд, свои правила и порядки, свои цепи и кандалы и свою торжественную порку плетьми на плотине у пруда. Труба из речки в каменном подвале не раз служила Антуфьеву для сведения личных счетов: он заливал водой и топил запретных, неугодных ему лиц, которые исчезали бесследно.

Так как Антуфьеву даны были земли на десятки верст вокруг завода, то он объявил своими крепостными всех ясачных окружных иноземцев, то есть коренных обитателей нерусского происхождения, заставив их работать на себя. Это вызывало с их стороны неоднократные возмущения и жалобы в Москву на то, что им приходится платить двойной ясак: один ясак казне, а другой — Антуфьеву.

Путем наград Антуфьев собирал сведения о залежах ценных металлов и делал заявки на свое имя земель с такими залежами, в дальнейшем открывая на них новые заводы и разработки медных, серебряных и других ценных пород. Добывая горные богатства кабальным трудом своих крепостных, заставляя их еще глубже врываться в землю, разыскивая жилы меди, железа, серебра и других ценных металлов, на всем Антуфьев наживал и быстро создал одно из самых колоссальных состояний старой России.

6. НА УРАЛЬСКОМ ХРЕБТЕ

Однажды в большой праздник, когда работ на заводе не было, Касьян решил пройти подальше в лес и попытаться подняться на ближайшую гору. Ранним утром, еще до рассвета, когда на востоке чуть позолотилась часть неба над рваной линией скалистых хребтов, а над головой, на темно-синем пологе, еще мерцали последние бледные звезды, Касьян, засунув за спину топор, вышел из только что выстроенного сруба. Он сказал, что пойдет в лес нарубить жердей для загородки, но его тянуло не это — его давно манил к себе скалистый хребет, нависший над долиной, на котором иногда застревали плывущие низкие облака и где особенно часто вспыхивали оранжевые молнии и глухим рокотом рассыпался гром.

Касьян прошел мимо свежевыстроенных белых изб, еще стоящих на четырех камнях и не окруженных земляным накатом. Роса крупными каплями покрыла серебристо-матовые листья растений. Куры сидели нахохлившись на заборе, и собачонка, свернувшаяся клубком на пороге избы, сонно заворчала,— ей лень было лаять в утренней дремоте. Тропинка уходила в лес, поредевший, пестрый от множества белых пней, пышно заросший кустами смородины и папоротника.

Касьян углублялся в лес, обошел болотистую поляну, перебрался по сваленной лесине через быстрый ручей и начал подыматься по горному склону. Он перевалил один увал, впадину, и тропинка повела на ребро следующего увала, более высокого. По матово-белой от росы высокой нетронутой траве шла темная полоса — свежий след человека. Человек только что прошел, может быть, его удастся нагнать. Касьян прибавил ходу. Охотник ли это или бродяга, пробирающийся на вольные места? Касьяну хотелось увидеть в глуши другого человека, услышать рассказ о новых местах, столь непохожих на те поля, рощи и лес, к которым Касьян привык в Веселых Пеньках.

Однако след скоро свернул в сторону и пропал. Там был валежник, кусты. Куда девался человек? Может, затаился, если бродяга?.. Касьян насторожился, стал зорче приглядываться кругом и пошел дальше по едва заметной в высокой траве тропинке, вьющейся по самому хребту увала. Он дошел до вершины увала. Там начиналась новая впадина, заросшая ельником, разрезанная блестящей шумной речкой, прыгавшей по круглым камням. Дальше круто поды-

мался щетинистый скат еще более высокой горы. Вершина ее была густо закутана сизыми клубами тумана.

Касьян остановился, колеблясь, какой путь выбрать — вниз ли в провал трещины или вправо по хребту увала. Здесь он услышал странные звуки: пели мужские голоса, чудно́, не так, как приходилось слышать раньше. Голоса то усиливались, то замирали, то раздавались дикие вскрикивания, тонкий плач и глухие равномерные удары.

Звуки затихли. Небо на востоке затягивалось розовым кумачом. Подул ветер, зашелестели листья осины. Туман на ближней горе поплыл, растаял. Показались серые скалы с редкими елками и между ними оторопевшая кучка низкорослых оленей; у них были вытянутые вперед головы, одни с ветвистыми рогами, другие комолые, и к ним жались телята. Олени пометались на месте и затем внезапно, теснясь, бросились вниз по круче и исчезли между деревьями.

Пение возобновилось, и на месте оленей показалась вереница людей — ясачных — в странных кожаных рубахах, обшитых красными тесемками, в остроконечных колпаках. Это пели они, а один, увешанный ремешками и побрякушками, прыгал, вертелся и вскрикивал, ударяя в большой бубен. Показалось еще несколько ясачных; они несли длинное бревно, пестрое, раскрашенное, обмотанное яркими тряпками. Вся эта процессия быстро спустилась наискосок по косогору и скрылась за перевалом.

«Вот, живут же люди на воле,— думал Касьян,— над ними и солнце, и буйный ветер, и синее небо, и никто ими не помыкает».

Внезапный треск, раскатистый выстрел ошеломили его. Перешибленная пулей сосновая ветка упала перед ним в клубе порохового дыма. Касьян оглянулся. Никого не видно, но из куста высунулось железное дуло ружья.

— Ложись на брюхо, а то пристрелю! — рявкнул из куста зычный голос.

«Бродяги-варнаки хотят обобрать»,— подумал Касьян и спрятался за широкий ствол сосны.

Второй выстрел, с другой стороны, глухо прокатился по лесу, и пуля сбила кору над головой Касьяна.

«Помирать, что ли, пришло время?» — мелькнуло в голове Касьяна, и он опустился на землю, присматриваясь и выжидая, что будет дальше.

Несколько мгновений длилось молчание, только на далеких кряжах еще рокотали отголоски выстрелов.

Из кустов поднялись несколько человек с пищалями

и натрусками[1] у пояса. Их бородатые лица показались знакомыми. Один из них вышел вперед и медленными, осторожными шагами направился к Касьяну, целясь и держа палец на спуске курка.

— Ложись, говорю,— а то ухлопаю вминт! — говорил он, подходя еще ближе.— Эге, да у тебя хорошие сапоги! Скидавай-ка их!

У Касьяна были поношенные, но еще крепкие сапоги. Касьян бросился вперед, выхватывая из-за пояса топор, но сзади кто-то ударил его по голове. Он зашатался и упал в траву. Сперва он еще чувствовал наносимые ему удары, потом потерял сознание.

7. РАБОЧИХ С ЗАВОДА НЕ ВЫПУСКАТЬ

Касьян очнулся. Он находился где-то на высоте, равномерно раскачивался, голова свисала, руки были связаны и закручены за спиной. Босые ноги задевали мокрые от росы колючие кусты. С трудом он раскрыл один глаз, другой был чем-то залеплен. Голову ломила резкая боль.

Он увидел две задние лошадиные ноги с гнедой шерстью. Черные копыта двигались поочередно взад и вперед и ступали на сырую, полускрытую в траве тропинку. Касьян понял, что он лежит грудью на спине лошади, что она куда-то его везет, а его ноги, с которых стащили сапоги, задевают по пути кусты и ветви. Лошадь остановилась. Знакомый голос, сухой и скрипучий, спросил:

— Опять шатуна бог послал?

— Опять, ваша милость Никита Демидыч. Уже которого ловим. Если их не усторожить, так все работнички разбегутся. Ну и дюжий парень был, пищаль было из рук выбил, да наш Ярема отколошматил его по черепушке обухом, насилу связали. Пробирался, вишь, по увалу. На водку бы нам от вашего степенства за усердие.

— Молодцы, ребята. Раз такой он дюжий, приковать его к тачке в четвертой штольне. Оттуда все бегут, и работа там не спорится. И спустить его туда не мешкая, всыпав тридцать плетей. Учить таких шатунов надо.

Касьян был привязан к столбу посреди заводского двора. Руки подтянуты кверху. Тугая веревка окручивала кисти рук и колени. Голова повязана тряпицей.

---

[1] Натруски — деревянные трубочки, в которых были заготовлены отмеренные заряды пороха и свинца.

Кат, толстый, откормленный, приосанясь, отходил в сторону, затем подбегал к столбу и с прискоком наносил удары кнутом, затем с одышкой медленно отступал.

Перед каждым ударом кнута все мускулы голой спины напрягались, но ни одного крика и стона не издавал упрямый шатун, захотевший сбежать с «царского завода».

— Ты у меня завоешь! — хрипел, отдуваясь, кат.

После каждого удара новая рваная полоса ложилась вдоль голой спины, и потоки крови сбегали на серые холщовые порты. После пятнадцатого удара кнут уже сделался мягким от крови, и кат взял второй, запасной кнут с жестким сухим сыромятным ремнем.

Тело наказываемого вдруг обвисло, и голова, обмотанная красной тряпицей, склонилась на сторону. Немец-лекарь в иноземном кафтане, сняв широкополую шляпу, подошел к столбу и приподнял закрывшееся веко.

— Погодить немножко, мэйн герр, господин начальник,— сказал немец, становясь перед палачом.

— Потом будешь погодить,— отвечал палач.— Мне приказано дать ему тридцать плетей, тогда и разговор будешь иметь.

— О нет, нет, мэйн герр, господин начальник. Это не наказивание, а убивание.— И лекарь громко закричал:— Герр Антуфьев, на пару словечка! Вы желайть наказать человечка, котори помираль, совсем капут?

— Силантий, хватит на этот раз! — крикнул Антуфьев, глядевший на «учение ленивых» с крыльца своего дома.

Силантий снял шапку, вытер полой кафтана вспотевшее лицо и, подбоченясь, остановился, ожидая следующего.

8. НА НОВОЙ РАБОТЕ

Касьян не умер под плетью. Крепкое здоровье и забота лекаря, дававшего ему мази и декокты, помогли перенести последствия казни. Две недели пролежал Касьян на животе и наконец, пошатываясь от слабости, в сопровождении приставника направился на новую работу в четвертую штольню. С ним вместе шло около десятка рабочих в железных наручниках. Кроме приставников, окружало их несколько казаков с пищалями.

Миновали последние старые потемневшие срубы без крыш, заросшие сверху травой. Игравшие в бабки ребята на мгновенье оторвались, чтобы взглянуть, кого ведут,

и опять принялись за метанье костяшек — зрелище им было не в диковинку. У крайней избы партию догнала Аленка. Улучив удобную минуту, она подбежала к Касьяну и сунула ему узелок с запасом.

— Деда и Наумка приказали земно кланяться и передать, чтобы ты, Касьянушка, крепился и не очень печалился: они-де тебя из ямы выдюжат.

— Передала запас — и отваливай! — закричал досмотрщик, и Аленка отбежала.

Пройдя истоптанным лугом, рабочие подошли к подошве горы, покрытой мшаными полянами и чахлыми кустарниками.

Здесь стоял одинокий бревенчатый сарай, прижавшийся к горе. Один за другим проходили за дощатую скрипучую дверь. Угрюмый, равнодушный ко всему Касьян шагнул через порог и оказался в жарко натопленной избе с пузатой печью. Изба была полна народу. Здесь ему, как и другим, дали затасканные кожаные рукавицы и чугунный светильник с топленым салом, похожий на сковородку.

Потом Касьяна толкнули в низкую дощатую дверь, и, когда она за ним закрылась, его охватил слепой, мертвенный, непроглядный сумрак, в котором сальным пятном выделялась часть стены, освещенная огоньком светильника.

Передний мужик спускался по небольшой деревянной лестнице. Касьян последовал за ним и оказался на квадратной площадке, где стоял присмотрщик.

— Айдай-ка, спускайся за мной,— сказал он,— да держись крепче, не оборвись и береги башку, вмиг отшибешь темечко.

С краю площадки чернела небольшая яма — в нее как раз только можно было пролезть человеку. В стене около ямы торчали железные скобы. Присмотрщик привычным движением ухватился за первую скобу, спустил ноги в яму, потом перехватился за нижнюю скобу и скрылся под землей.

Касьян оглянулся — деваться было некуда: бревенчатые стены, позади изба, полная казаков и присмотрщиков. Вспомнил переданный Аленкой наказ деда «крепиться, они-де с Наумкой его выдюжат» и ухватился за скобу. Его ноги болтались в темноте и нащупали что-то твердое. Это была узкая перекладина приставной лесницы. За нéй последовала другая перекладинка. Придерживаясь руками, Касьян стал спускаться вниз и через десятка три ступенек очутился на следующей нижней площадке.

— Гляди в оба, а то шею свернешь! Берись опять за скобу — и айда дальше!

Слабый свет светильника нащупал опять небольшое квадратное отверстие в земле и новые скобы в стене. Касьян снова погрузился в яму и спускался все ниже по сырой скользкой лестнице. Он боялся замедлить — сверху за ним шваркали и спускались две ноги в тяжелых сапогах и сыпали комья сырой земли.

Таких площадок и приставных лестниц пришлось миновать около десятка. Всюду капала вода, откуда-то сильно дул ветер, и глубокий мрак подавлял безнадежной тоской. Касьян видел светлое пятно от светильника на уходившей вверх, покрытой плесенью и слизью толще темной земли и две перекладины, за которые он цеплялся.

Наконец под ногами захлюпала мутная бурая лужа, глубиной почти по колено. Вправо и влево шли ходы, дудки, низкие и узкие — двум человекам с трудом разминуться. Касьяну пришлось нагнуть голову, чтобы войти в эту дудку, где в тусклом свете слабо мелькала тень ушедшего вперед присмотрщика.

Пригнувшись, Касьян шел по жидкой грязи. «Посторонись!» — раздался окрик, и Касьяну пришлось шарахнуться в сторону и прижаться в выбоине в стене, чтобы пропустить рабочего, толкавшего вперед тачку, наполненную кусками красноватой руды.

Свернув в боковую дудку, начальник партии остановился и стал строить в ряд всех обреченных на подземный труд.

— Пожалуйте, гости дорогие! — раздался насмешливый голос.— Разве так волюшка приелась, что пришли сюда в смертоносный мрак?

Из темноты, гремя цепью, волоча тачку, вышел человек, завернутый обрывками бараньей шкуры, весь косматый и дикий. С половины головы свисали до плеч спутанные пряди волос, другая половина головы была когда-то выбрита, как у каторжника, и отросшие волосы торчали жесткой щетиной. Одна нога, также обмотанная шкуркой, была прикована трехаршинной цепью к тачке. Несмотря на грязь и сумрак, лицо этого обреченного поражало бескровной серой бледностью.

— Ипат Иваныч, наше вам почтеньице. Опять привели новых детушек к корыту крыс кормить?

— Ой, Изоська Неумытый, помалкивай! — ответил начальник партии.— Ты все еще не укротился?

— Как же, разве можно тебе перечить? В кротости держава, кротость и зверя смиряет.

— То-то же, а то смотри, опять постегаю тебя.

— С постеганием, Ипат Иваныч, пожалуй, и отопиться нечем будет, и на лучину не добудешь.

— Полно лясы точить!

— Не лясы, не лясы, а ребятам поучиться надо у старика Изоськи. Сказано в книгах: «От отца-матери иди, не в один, а в оба гляди!» А я, кажись, не в подворотне свет видал, где только не побывал, даже теперь в ад преисподний живьем спустился.

— Довольно! — строго прикрикнул Ипат Иваныч.— Почему у тебя огня нет? Верно, на боковую залег, лодырь?

— Где же мне на боковушку? Спасти бы только свою душу, а то крысы уши и нос чуть не отъели, не только сальную свечку, а и трут и кремень слопали. Чем же мне было лучину разжечь?

Касьян, оглядевшись в полумраке, стал присматриваться к стоявшим рядом с ним рабочим. Тут были и старые бородатые мужики, были и молодые парни, одни позажиточнее, другие в лохмотьях. У каждого был мешок за спиной и чугунный или глиняный светильник в руке.

— Слушай, ребята,— сказал начальник партии Ипат Иваныч.— Вот там, в сторонке, свалены тачки. Каждый выбирай себе тачку посподручнее. Когда тебя обвенчают с ней, то поздно потом жаловаться, что закадычная не по нраву. Будете получать хлеба печеного по фунту в день и соли фунт на три месяца. А если кому еще поесть охота, так пущай сродственнички подкармливают.

Рудокопщики разобрали валявшиеся тачки, и два кузнеца приковали каждого трехаршинной двенадцатифунтовой цепью к тачке. Тупо звучали молоты в низкой пещере с влажным, неподвижным воздухом.

Когда все были прикованы, Ипат Иваныч разделил рабочих на три партии, по четыре человека, и каждую увел в разные тупики. Там он приказал сейчас же начать выламывать руду. Он объяснил ежедневный урок каждого, и за выполнение его должны были отвечать все четверо по круговой поруке.

9. ПРИКОВАННЫЕ К ТАЧКАМ

Касьян попал в четверку вместе с подземным старожилом Изоськой, по прозвищу Неумытый, и двумя бородачами, оказавшимися раскольниками, бежавшими на «вольные

места» в Сибирь. Когда все четверо оказались в конце низкого мрачного тупика с душным и парным, как в бане, воздухом, они остановились и невольно замолчали.

— Ну что же, начнем, что ли? — сказал один из кержаков.

— Куда торопишься, милай? — протянул Изоська Неумытый.— Сперва сядем рядком да послушаем, что я здесь надумал.

Он уселся на своей тачке, и трое остальных расположились вдоль дудки. Присмотрщик, зевая, стоял в стороне. Изоська подмигнул на него:

— Овин горит, а молотильщики обедать просят. Это значит: надо подарки пообещать ему.— И старик обратился к стражнику: — Послушай, служивый, тебе будет муки фунта два с походом и еще кое-что. А ты уходи подальше да прогуливайся, а ежели станешь много говорить, то заставим тебя лягушек ловить, сиречь в яме утопим.

— Ну, ин ладно: я покуда пройду,— ответил присмотрщик и, позевывая, медленно пошел, пригнувшись, по коридору, раскачивая фонарем из промасленного пузыря.

— От нас, ребятушки, хотят, чтобы мы руду им копали не меньше каждый день, сколько урок положен. Это, ребятушки, немалый труд, придется работать до седьмого поту. Бей во все, колоти во все, но и того не забудь, что в кашу кладут.

— А где спать будем? — мрачно спросил один кержак.

— А чем тебе здесь не по нраву? Соломки наскребем, тяп да ляп, тачка в угол, калачом свернулся — вот те и печка.

— А когда здесь день, когда ночь? — спросил другой кержак.

— Когда вислоухий нас стережет — это день, а когда он уйдет храпеть — тут не теряй времени и начинай работу. Я не вор и не тать, только на ту же стать, и здесь до конца веку сидеть не стану, да и вам не пожелаю. Всю ночь, пока вислоухий не прочухается, нужно цепь засапожным ножом пилить. А когда стража пришла, тут я согнулся дугой и стал другой, будто и не я. Мы вольные казаки, и нас не удержат никакие замки...

Так, пересыпая речь прибаутками, говорил Изоська и шепотом объяснял план, как убежать из подземной шахты.

— Руду нам придется возить в рудоразборную светлицу. Это такая же дудка, как та, где мы свои тачки раздобыли. Там идет сверху вниз, как колодец, прямая и широкая

труба, глубиной сажен сорок. В ней на цепях и канатах движутся две бадьи, когда одна идет вниз, другая подымается кверху. Мы должны эту бадью насыпать рудой, а рабочие наверху бадью подымут. Так вот в этой бадье мы и подымемся обратно в мир...

Старик хотел продолжать рассказывать свой план, да в дудке послышались шаги присмотрщика, и все четверо принялись за ломку руды. Изоська притащил в своей тачке пук длинных лучин, завернутых от сырости в рогожу, и приказал затушить фонари:

— Сальных свечек нам не часто дают, да и крысы больно до них охочи.

Он воткнул в мягкую стену острую рукоятку железной сковороды с топленым салом, с которой свешивался зажженный фитиль. Рядом в поставце горела дымная лучина.

Касьян схватил кирку и принялся за работу.

Рабочие, сильно замахиваясь киркой или ломом, вонзали острие в породу, вытаскивали и опять вонзали, пока не отваливались глыбы руды. Затем обивали глыбы молотком и освобождали чистую руду от ненужной земли или другой породы.

Руда складывалась в тачки и отвозилась в рудоразборную светлицу, где нагружалась в бадью. Когда бадья была засыпана, забойщик кричал в шахтенную трубу (колодец), и верхние рабочие воротом вытаскивали ее на поверхность земли.

В эти короткие минуты Касьян с тоской глядел на клочок неба, то синего, то затянутого тучами, такого далекого, и ему казалось, что он не так отрезан от людей, не совсем погребен в темных каменных дудках.

Спина у него заживала медленно, от работы раны трескались и гноились. Спал он на сырой соломе, среди липкой грязи, подложив мешок с хлебом под голову. Ночью крысы поднимали возню, дрались между собой, с писком и взвизгиванием носились по шахтам.

Изредка пробиралась к Касьяну Аленка с запасом — хлебом, вареными яйцами и ягодными шанежками. Ее приход был праздником и для Касьяна и для Изоськи Неумытого, у которого не было ни одного близкого на заводе и с которым Касьян делился своими запасами. Аленка рассказывала Касьяну, как дед кует топоры: «Да и дивные же топоры, все говорят, какие звонкие, кажись, гвозди перерубят без зазубрины!» А потом шепотом добавляла, что Наумка Кобель разведал про все тро-

пы, какими можно убежать в Сибирь, и знает, где стоят казачьи и башкирские посты и как их обойти.

Наступила зима. Только по снегу, запорошившему бадью, рудокопщики знали, что наверху трещат лютые морозы. Внизу же, в дудках, было так же душно и парно.

Наконец однажды Аленка рассказала, что весна совсем близко, что сам хозяин Демидыч скоро в Москву едет и с собой на баржах повезет чугунное литье.

— Наумка наказывает,— говорила Аленка,— время приспело быть без хозяина, вся охрана перепьется — тут только всем подтюремщикам спасенье. Он, Наумка, с товарищами и Касьяна, и Неумытого, и обоих кержаков ночью в бадье подымет, были бы только у всех цепи перепилены.

Касьян получил изготовленный дедом подпильник и старательно его прятал. Постепенно у всех кандалов были подпилены дужки, и их ничего не стоило разогнуть.

Изоська шептал, перетирая железо:

— Коли отвага кандалы трет, так она и мед пьет...

И все четыре рудокопщика, чтобы «вислоухий» не услышал визга напильника, пели хором старинную рудокопную заунывную песню:

Седина ль моя, сединушка,
Седина ль моя молодецкая!
Ты к чему рано появилася,
Во черны кудри вселилася?
Ах ты, молодость молодецкая,
Я не чаял тебя измыкати
Во проклятом одиночестве...

10. КАРАВАН НА МОСКВУ

По зимнему пути железные изделия завода были свезены к реке Чусовой, на Уткинскую пристань, и там сложены в амбарах прямо на берегу. В перевозке участвовали сотни подвод, согнанных из окружных деревень. К концу апреля более двухсот тысяч пудов ожидали караван на Москву.

К этому времени были выстроены плотниками уже не легкие струги, на которых рабочие Антуфьева плавились из Серпухова, а прочные широкогрудые барки с плоским дном, сбитым из толстых «кокор»[1]. Им предстояло сперва спуститься стремительной Чусовой среди опасных скал — «бойцов», подводных камней и бурливых майданов[2], и затем

[1] Кокóры — бревна или брусья с корневищем-клюкой (коленом) для судостроения.
[2] Майданы — водовороты.

Камой до Волги и дальше выдержать долгий путь бурлацкой тягой до Ярославля, Нижнего и Вышнего Волочка.

Пристань Межевая Утка на стрелке (при впадении горной речки Утки) к концу апреля была запружена толпой бурлаков. Они собрались к сплаву из ближних и дальних уездов, привлеченные слухами о хорошей плате, обещанной заводом.

С деревянными ложками-бутызками[1], воткнутыми за ленточку шапки, с обожженными на солнце лицами, в рваных лохмотьях, в лаптях, с лыковыми котомками за спиной и длинной палкой в руке, бурлаки расположились на берегу шумным лагерем.

Весь успех сплава зависел от весеннего паводка. Поднявшаяся после ледохода вода должна была перенести барки через опасные места. Потом вода спадет, и тогда барки с ценным грузом могут застрять и «усохнуть» на отмелях.

— Вода на прибыль пошла! — пронесся крик, и по всему берегу все заволновалось и забегало.

Вода быстро прибывала. Лед надулся, отстал от берегов и растрескался. Появились свежие полыньи. Неясный, глухой шум приближался издали, и наконец река с грохотом тронулась. Льдины поплыли мимо, образуя заторы, громоздясь одна на другую, с треском разваливаясь и стремительно несясь дальше.

Когда главная масса льда прошла, бурлаки спустили барки в реку по склизням[2] и закрепили барки прочными канатами. С берега на борта судов перекинулись сходни, и сотни бурлаков с тяжелыми ношами бесконечной вереницей потянулись грузить барки.

Железные полосы, круглые прутья, листовое железо, литые гранаты, ядра, картечи, пушечные стволы, чугунные решетки для царского дворца — все это беспрерывно продвигалось по сходням и согласно указаниям сплавщика укладывалось на днище барок. Топот бурлацких ног, лязг железа, крики грузчиков — все это сливалось в сплошной лихорадочный гул.

Барки медленно садились все глубже в воду, и сплавщики, надрываясь, распоряжались, указывали, в какое место судна складывать или перекладывать груз. Деревянными мерками прикидывали они, насколько спускались в воду

---

[1] Ложка-бутызка на шапке означала, что бурлак свободен и ищет наемщика.

[2] Склизни — толстые бревна, смазанные дегтем.

борта, следя, чтобы нагрузка производилась равномерно, чтобы барка не косила, иначе она может в пути завалиться набок, либо завертеться, либо поплыть «дохлой коровой».

Три дня работа кипела, не прерываясь ни на минуту; бурлаки, утомленные, с красными воспаленными лицами, выбиваясь из сил, работали сменами: пока одна смена грузила, другая отдыхала. Погрузка продолжалась и после захода солнца, при свете разведенных на берегу громадных костров в прозрачном полусумраке белой северной ночи.

К утру четвертого дня погрузка окончилась. Бурлаки разместились по баркам. На каждой их плыло около пятидесяти. Они должны были стоять посменно у потесей — двух громадных весел на корме, заменяющих руль, и таких же двух весел на носу барки. С таким тяжелым веслом могли управиться только десять бурлаков. Им предстояло также помогать в случае посадки барки на мель, лезть в студеную воду и стаскивать «усохшую» барку. Бурлаки тащили под палубу свои котомки и располагались там в ожидании призыва на работу.

Барки были готовы тронуться в путь и вытянулись вдоль берега. Бурлаки стали к рулевым веслам. Сходни были сброшены. Сплавщики поднялись на высокие скамейки посреди барки.

— Отдай снасть! — пронесся окрик.

Рабочие сняли петли канатов с громадных пней.

На бугре сверкнул огонь. Гулко прогремел пушечный выстрел и громовыми раскатами прокатился по лесу и дальним горам. Второй, третий выстрел...

Белые клубы дыма взлетали кверху и плыли в тихом воздухе. Около пушки виднелась высокая фигура Антуфьева в длинной желтой шубе и бархатном колпаке.

Одна барка отваливала за другой, и тяжело загребали воду длинные рулевые весла.

В это самое время на заводе, откуда уехали «все начальства», закипели веселые гулянки. Около той же плотины, где днем драли плетьми недостаточно радивых, теперь собрались незанятые рабочие, разряженные бабы и девки.

Возле костров мелькали красные сарафаны, взбивали пыль подкованные каблуки, не умолкали пронзительные песни...

А у подножия горы, возле шахты, все дремало. Сторожа, навесив большие замки на двери караулки, побрели к плотине, где гулянье было в полном разгаре.

Возле во́рота с бадьями для вытаскивания руды мелькали бесшумные тени. Ворот стал медленно поворачиваться.

— Скрипит, проклятый! — сказал сдавленный голос.— Всех разбудит.

— Небось, крути дальше. Им теперь не до этого...

Тени ходили по кругу, где обычно была запряжена лошадь. Натянутый, как струна, канат закручивался на поперечное бревно. Наконец показался край бадьи.

— Есть четверо! Молодцы ребята!

— Постойте, еще не все. Тащите вторую бадью. И там бегунцы. Не бросьте в беде!

— Разве можно бросить? Крути назад!

Ворот скрипел. Пустая бадья спускалась вниз, а из глубины поднималась вторая.

— Скорее, скорее, сюда идут!..

Тени двинулись по склону горы, пробираясь в березовые заросли. Тихая безветренная белая ночь все закутывала своим дымчатым покровом. Едва слышались осторожные шаги, отдельные слова.

— Касьян, теперь волю мы почуяли, так держись!

— Лучше я жизни решусь, Наумка, а больше никому в руки не дамся.

— А где дед?

— Здесь я, Касьянушка, и Аленка здесь. Ты не смотри, что стар, я отмахаю сразу хоть до синего моря.

Путники двигались гуськом, забираясь в горные пади, а издали еще доносились взрывы смеха, пронзительные песни. Когда беглецы перевалили первый хребет, звуки разом стихли.

1933



РАССКАЗЫ



ИСТОРИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

СКОМОРОШЬЯ ПОТЕХА

Пронеслась молва по всему Новгороду, что в годовщину свадьбы молодой князь Александр Ярославич со своей женой Александрой Брячиславной станут «кашу чинить»[1] и бить челом всему народу славного города: не побрезговать их угощением и всем пожаловать на княжий двор со чады и домочадцы.

Любят новгородцы ходить по гостям: кому же не охота поесть сытно у радушных хозяев, попить сладко, а тут еще предстоял не простой, а княженецкий пир на весь крещеный мир.

Тут же зараз полезли, зазмеились слухи, что молодой князь хочет показать свою щедроту не в пример отцу-батюшке Ярославу Всеволодовичу,— тот был управитель прижимистый, имел ладонь крепкую и цепкую, все набавлял пéни, обкладывал черный люд поборами непосильными, особенно на всех перевозах, оттого и память о его княжении сохранилась в народе как о времени нудном, тяжком. Но что верно, то верно: порядок старый князь держать умел и поводьев не распускал.

И судили и рядили заодно новгородцы степенные и расчетливые: как-то княжить станет молодой Ярославич? Не задумал ли он размотать отцовскую кису[2], которую князь Ярослав изрядно приумножил и любил встряхивать и пересчитывать, наслаждаясь звоном золотых и серебряных монет, не гнушаясь, впрочем, и медными.

«Ой, не загуляет ли Александр Ярославич? Больно уж он молод и зáрист, как гончая, учуявшая косого. Да и удачлив он. На Неве под Ижорой разбил свеев только озорством: налетел из тумана на свеев грозным соколом. Тут гости бросились кувырком кто куда мог. Одни вскарабкались на свои шняки, остальные утопли или были перебиты. А молодцы наши забрали забытые шведские сапоги воловьей кожи, прочной выделки, и всякое другое добро —

---

[1] «Чинить кашу» — старинное выражение: устроить свадебное угощение и пир для гостей.

[2] Киса — денежный мешок, кошель.

кафтаны, порты, рубахи домотканые шерстяные, мечи и копья — и скрылись в лесу так же нежданно, как пришли.

— Вестимо! Какой же это бой, одно озорство! — ворчали некоторые бояре, встретясь на перекрестке улицы и продолжая судить, рядить и бранить молодого князя.

— С иноземными гостями надо держаться обходительно. Теперь свеи уплыли, и торговля с ними надолго сорвалась. Вчера озорство, сегодня озорство, а назавтра исправлять промахи ведь понадобится. Для этого нужны люди думные, воеводы ратные, а у Александра и усы еще не выросли, и бороды ему еще долго ждать. Что за воевода в двадцать лет?»

Но говорили с таким осуждением только больше «псковские сторонники», все имеющие связи с «молодым пригородом новгородским» — Псковом, где, как известно, все близкие и дальние родичи богатых верховодов-переветников Ноздрилиных, Негочевичей и Жирославичей вели большие торговые дела с немецкими купцами, степенными свеями и другими иноземцами и старались всемерно с ними ладить и как-либо от них барыши нажить. А о том, что иноземцы зарятся на русские земли, они помалкивали.

В этот яркий солнечный день, когда, казалось, и небо и вся природа ликовали и праздновали вместе с друзьями и сторонниками «молодоженов», сиявших красотой и юностью, и ворчунам волей-неволей приходилось участвовать в торжестве. Так же, как и другие, хотя с ехидной улыбкой и скрепя сердце, они потянулись, подобрав полы кафтанов, протоптанными дорожками среди высоких сугробов к княжьему двору и по проложенным мосткам прошли к Ярославову городищу, где заготовлено было главное угощение.

Все проходили сквозь широкие раскрытые ворота во двор, переполненный народом. Там пробирались гуськом, в затылок, к большому крыльцу с широкими ступенями, где в двух креслах сидели «молодые»: князь Александр, завернувшийся к красное корзно, и разрумянившаяся синеглазая княгиня в бархатной лисьей шубке и собольей шапочке, встречавшая всех ласковой улыбкой и приветливым словом.

Подходившие передавали стоявшему рядом княжескому ключарю свой «принос» (подарки), кто чем богат. Именитые бояре, разодетые в цветные бархатные и плисовые шубы, принесли в «даровья» ценные меха — лис бурнастых, куски бременской шерстяной или персидской шелковой ткани, рытого бархату и узорчатой камки, серебряные

кубки, венецийские стеклянные чаши и другие заморские диковинные дары, а люд попроще подносил больше румяные пироги с рыбой или яблоками.

Все «концы» великого вольного Новгорода загуляли в этот памятный день. Высыпали на улицу стар и млад: и хозяюшки-хлопотухи, и купцы-лабазники, и подростки-проказники, стогодовы старики, и рыбаки с седого Волхова. Целый день народные толпы ходили по всем улицам и переулкам, заливались звонкими песнями девушки, парни пели свои частушки с присвистом, гудошники бродили парами и дудели в сопелки и дудки.

Особого разгула и веселья достигло празднество, когда по главной улице вдоль набережной послышались радостные крики, смехи, охи да ахи и пошли рядками веселые молодцы-скоморохи. Все они были с чудными «харями»[1], наряженные, как на масленой или на святках, в смешные короткополые, до бедра, одежды с непомерно длинными рукавами. На головах высокие колпаки с бубенчиками на конце. Ноги перевиты разноцветными тесемками.

Увидев, как народ стал валом валить и хохотать под звуки скоморошьих переливов, молодой князь приказал своим челядинцам отодвинуть кресла и ковры в сторону, так что на крыльце княжеских хором освободилась просторная площадка, куда затем по ступеням вбежали шумные, гулливые скоморохи. Теперь народу, заполнившему тесно двор, и ребятам, забравшимся на окружающие заборы, можно было хорошо видеть предстоящую «скоморошью потеху».

Шесть скоморохов выстроились в ряд, остальные уселись по сторонам, скрестив ноги. За ними из разрисованных ярко холстин были воздвигнуты два высоких затейливых домика-башенки, в которых скоморохи могли быстро преображаться и выходить оттуда новыми, невиданными людьми или чудищами.

Один скоморох, наряженный стариком, с длинной кудельной бородой, то скороговоркой, то нараспев, обращаясь к князю с княгиней, а иногда и к толпе, начал свои прибаутки:

— Земной поклон низко́й вам, други сердечные! Взгляните-ка на князя с княгинюшкой зорким глазиком и поздравьте их с веселым праздником. Ась, родные, ненаглядные!

— Послушайте, как дед Вавило лясы точит, людей морочит!

---

[1] Ха́рями в древности на Руси называли скоморошьи маски.

— Был ведь я, касатики, и на море, был, касатики, и за морем я, насмотрелся, нагляделся, что — ахти мне! — другому не снится и во сне.

Русскую землю прошел я вдоль и поперек, родных ножек не берег. Не раз встречался с таким морозом, что лютого татарина как муху свернет, на лету птицу бьет, железо рвет, а нашему брату только пару поддает.

Катался я на таких саночках, где кони не ржут, мои други, а лают и ножками лишь снег взметают.

Засыпал я на такой постелюшке, что стелют вьюги да метелюшки. Погулял я и там, на реке Ижоре, где незваный свей нашел свое горе, где от князя Ляксандрова кулака проплясал свейский недруг трепака.

Кому же не захотелось бы соли русской покушать? Красавицы русские — вьюга да метелица — одеяльцами белыми их покрыли и песенками усыпили. Покой им вечный от души сердечной! Не мы вас звали — сами напросились. Спите, заморские гости,— мы не пошевелим ваши кости. Когда же приснится вам, что хотят на пир внучата ваши к нам, шепните им любя, чтобы не губили себя, что-де и дедам было не до пляски, когда завернули им на Неве салазки!

Тюх-тюх-тюрюрюшечки! Ах вы, душечки! То-то мы сейчас вас уважим, то-то чудеса покажем! Свистнем, гаркнем: раздайся народ, старики идут в хоровод! Красны девки, ленточки снимайте, стариковы шляпы украшайте!

Нынче наш молодой князь-удалец всему Нову-Городу «чинит кашу», а мы ему сыграем потеху нашу. Вот сидит он со своей красавицей лапушкой. Уж куда она хлеб-соль водить умеет и гостей приголубит и пригреет!..

Скоморох, приплясывая, подбежал к затейному домику, юркнул в него, и сейчас же с другой стороны оттуда выскользнула девушка, белокурая, сероглазая, в пышном ярком сарафане. На голове кокошник, расшитый бисером, на шее бусы.

Увидев скоморошку, княгиня Брячиславна вцепилась руками в подлокотники кресла и жадно стала следить за ней и за поведением князя Александра. Он откинулся назад, лицо стало грустным и задумчивым.

Скоморохи заиграли плясовую, и девушка, размахивая платочком, лебедем поплыла по кругу, сделала низкий поклон перед княжеской четой, потом поклонилась на три стороны народу и стала в сторонке.

Княгиня жестом руки подозвала кравчего, стоявшего позади ее кресла, и тихо прошептала ему:

— Разузнай имя этой девушки-скоморошки и откуда она родом. И потом мне украдкой скажешь.

— Будет сделано, государыня моя княгиня! — ответил кравчий.

«Неужели это она? Вот где нежданно довелось встретиться...» — всматривался в девушку Александр, и вспомнились ему юность, глухой еловый бор, избенка старика охотника Еремы... как спасла его, Александра, из лосиной западни дочка Еремы, сероглазая Устя... ночь под Ивана Купалу, хороводы и костры на Перуновой горке...

Тем временем из другого домика вышел скоморох, причудливо наряженный иноземным воином. На нем был шлем, сшитый из раскрашенной бересты, с пучком петушиных перьев на макушке. На ногах широкие сапоги с огромными, загнутыми кверху шпорами. В руках щит с намалеванной на нем рогатой рожей и длинный деревянный меч с крестообразной рукоятью. Размахивая мечом, чужеземец прошелся вокруг площадки, выкрикивая непонятные слова:

— Экэтэ, пэ́кэтэ, цукэ́тэмэ, а́боль, фа́боль, до́минэн![1]

В толпе закричали:

— Гляди, да это немецкий черт! Ей-ей, это немец! Ату его!

Скоморохи задудели в свои гудцы и волынки. Девушка махнула платочком, и музыка оборвалась. Девушка обратилась к толпе:

— Послушаем гостя иноземного. Ты зачем приехал, проказник, на наш веселый праздник? Откуда свалился, жаль, дорогой не убился.

Чужеземец отвечал нараспев, выпрямившись и отставив вперед ногу:

— Проехал я дремучие леса, чтобы видеть тебя, новгородская краса. Мой конь силен и зверовиден, а я зовусь немецкий рыдель. Меч мой, в боях бывалый, рассекает и железо, и скалы. Есть ли во всей поднебесной воин чудесный, кто бы мог со мной биться,— будет ли противник мне татарский царь, злобой пышущий, али зверь, огнем дышащий?

Старик-раёшник, подмигнув, спросил тоже нараспев:

— Хоть ты на словах и храбрый рыдель, но таких, как ты, я немало видел. Ты злобен, немецкий воин, но почтенья нашего совсем не достоин. Для чего вы, рыдели, собираете воинскую рать? Не затем ли, чтобы нас завоевать?

Рыцарь ответил:

---

[1] Финская скороговорка.

— Хоть ты меня и бранишь, что я злобен и лих, но к вам я приехал как богатый жених. Услыхал я про вашу девицу, несказанну красу, и ей я подарки сейчас принесу!

Рыцарь обратился к девушке:

— Не могу я красе твоей надивиться! Пойдешь ли за меня, чаровница?

Девушка, слегка закрываясь белой фатой, ответила:

— Чтобы уважить такого, как ты, молодца, по нашему обычаю сперва надо спросить моего отца. Если он даст благословение, тебе будет и свадебное угощение.

Старик-раёшник воскликнул:

— А вот и он, легок на помине!

Из скоморошьей будки вышел другой согнувшийся старик с еще более длинной бородой до пояса и суковатой дубиной. Приложив ладонь козырьком к глазам, он стал рассматривать странного гостя. Раёшник поклонился старику:

— Здравствуй, дедушка Ипат, с капустных гряд! Приехал к тебе гость чудно́й за большой бедой: сватает, видно спьяну, твою красавицу Светлану.

Старик ответил:

— А нет ли тут какого обману?

Немец с важностью взмахнул мечом и запел:

— Я могучий удалец, могу всех разорить вконец. У меня много полей и лесов...

Старик с гневом проревел:

— А у меня стая верных псов!..

Из скоморошьего домика послышался неистовый собачий лай.

Чужеземец стал топать ногами:

— Мне твои угрозы нипочем! Изрублю тебя мечом!

Старик поднял дубину:

— А ты лучше меня не замай, на чужой каравай рта не разевай!

Рыдель стал наступать:

— Вот тебе, старичина, получай для почина!

Он ударил старика по шапке мечом, а старик выпрямился, сразу вырос на целую голову и опять заревел:

— Теперь подставляй-ка мне спину!

Он стукнул рыделя дубиной по шлему, и тот опустился на землю с криком:

— Постой, постой! Не хочу я драться! Давай лучше целоваться!

Старик повернулся к толпе:

— Что же мне с гостем делать? Научите, братцы: не вписать ли его в святцы?

В толпе прокатился смех и крики:

— Не верь, не жалей! Не пускай на порог! Бей его промеж рог!

Раёшник подошел к старику, опять поднявшему дубину:

— Постой, дядя Ипат! Видишь, он уж и сам не рад! Пожалей гостя, чтоб ему не лечь на погосте! — И он стал подымать иноземца.

— Получил ты, рыдель, сполна за грехи! Вставай и откатывай: едут к нам другие женихи.

Послышался звон бубенцов, и на площадку верхом на палке с лошадиной головой въехал татарин.

Все скоморохи запели:

Как из дальних, диких стран
Едет к нам Батыга-хан
На пятнистом жеребце,
Со зверской думой на лице.

За татарином прошелся вокруг площадки «зверь-верблюд», покрытый полосатой холстиной. На нем сидела разряженная татарка со скошенными бровями. Ее две длинные косы волочились по земле. Верблюда изображали два скомороха, скрытые под холстиной. Они шли один за другим, причем задний положил руки на плечи переднего, который держал перед собой вырезанную из доски покачивающуюся голову верблюда, а второй скоморох вертел верблюжьим хвостом. Появление верблюда вызвало восторг и новые крики зрителей.

Все скоморохи запели:

За Батыгой караван,
Там жена его Кулан,
Хоть сидит она в седле,
Косы тащит по земле.

Татарин остановился посреди площадки и обратился к толпе:

Я татарский главный царь,
Всему свету государь,
Всем я голову снесу,
Дайте девицу-красу.

Девушка-скоморошка подбежала к татарину и упала перед ним на колени:

Пожалей нас, царь лихой!
Ведь у нас закон такой:
Мужу верная жена
Только может быть одна.

Татарка на верблюде вмешалась:

Не могу я надивиться:
Что за умная девица!
А татарский плох закон:
Хан имеет триста жен.

Раёшник стал кланяться татарину:

— Послушай, великий татарский хан! Все говорят, что ты владыка всех стран, а вот рыдель латинский тебя называет «царь свинский».

Татарин с гневом ответил, подпрыгивая на одном месте:

Как сожгу сперва я Русь,
Так и к немцам доберусь
И со всей своей Ордой
Налечу на них грозой.

Он выхватил кривую саблю и бросился на немецкого рыделя. Тот на четвереньках уполз в сторону и стал громко выть, закрывая кулаками лицо.

Александр, задумчиво слушавший скоморошью потеху, неожиданно вмешался:

— Все вы гости дорогие, скоморохи удалые, приехали из дальних стран, чтобы нас поздравить, веселой песней позабавить. Прекратите драку и спойте теперь лучше что-либо веселое, сердечное.

Старый раёшник обратился к девушке:

— Айда девица-красавица, спой свадебную здравицу. Расскажи нам, кто ты есть такая, из далекого ли края? Из какого ты роду, отчего ты всем слаще меду?

Девушка выступила вперед, на середину площадки, и запела:

Сватался за Устеньку немецкий воевода,
Сказывал-показывал богачество свое:
Семь кобыл бесхвостых, семь телег бесколесных,
Думала-подумала: пойти ли за него?
Умом пораскинула: не быть делу так!

Все скоморохи подхватили песню, ударяя в бубны:

Тюх-тюх-тюрюрюшеньки!
Ай да Устенька-душенька!
Думала-раздумала — немца прогнала,
Удалого молодца из сказки пождала.

Девушка продолжала:

Сватался за Устеньку татарский лютый хан,
Сказывал-рассказывал богачество свое:
Двадцать городов, да все без домов,
Двадцать сундуков, полных рубленых голов.
Думала-подумала: пойти ли за него?
Умом пораскинула: не быть делу так!

Скоморохи снова подхватили:

Тюх-тюх-тюрюрюшеньки!
Ай да умница Устенька-душенька!
Думала-раздумала — хана прогнала,
Удалого молодца из сказки пождала.

Девушка снова запела:

Сватался за Устеньку веселый скоморох,
Сказывал-рассказывал богачество свое:
Богачество свое — дудку да гудок!
Думала-подумала: пойти ли за него?
Умом пораскинула: быть делу так!
Сыта ли, не сыта ли — всегда я весела́.
Пьяна ли, не пьяна ли — всегда я плясунья́.
Выйду ль за ворота: всяк честь отдает.
Кто такова? — Скоморохова жена...

Все скоморохи, взявшись за руки и лихо выделывая ногами трепака, пошли хороводом по кругу. Девушка плясала в середине. Загудели гудки и волынки, но весь скомороший показ должен был неожиданно прерваться: надвигавшаяся туча разразилась ураганом. Порывом ветра опрокинуло затейливые домики. Княгиня поднялась и направилась к хоромам. Челядинцы поспешили убирать ковры и все принесенные даровья. Скоморохи бросились складывать свое имущество и переносить его под навесы. Зрители разбежались, прикрываясь кто чем мог от порывов колючего снега.

Князь Александр подошел к плясавшей девушке:

— Ты ли это, Устя, Еремина дочка? Как же ты попала к этим удальцам?

Устя, опустив глаза, отвечала:

— Да, это я самая, что тебя в давнюю пору вызволила из лосиной западни. Поехала я раз с подружками на праздник в город. Увидела скоморохов. А мы, девушки, там хороводы водили и песни пели. Подошел ко мне один скоморох и говорит: «Слышал я, как ты поешь. Довольно тебе в лесу сидеть и с волками выть. Пойдем с нами, по крайности свет божий увидишь. Мы по всем городам бродим. Будешь мне помощницей и у нас запевалой». Подумала я, умом пораскинула и сказала: «Быть делу так!» В лес к отцу-батюшке я так больше и не вернулась, а за этого самого скомороха замуж пошла...

Князь снял с пальца изумрудный перстень, но, когда поднял глаза, чтобы передать его Усте,— ее и след простыл.

1946

РАССКАЗЫ «СТАРОГО ЗАКАСПИЙЦА»

КОЛОКОЛ ПУСТЫНИ

Между линией Среднеазиатской железной дороги и Хивой лежит громадная пустыня, степь, называемая Каракум (черные, то есть страшные, пески).

История рассказывает, что через пустыню некогда протекала Амударья, ныне впадающая в Аральское море. Действительно, через пустыню тянется, извиваясь, как бы русло реки, где в разных местах остались озера и лужи воды, настолько насыщенные солью, что ветви саксауловых деревьев, упавшие в воду, покрываются красивыми белыми кристаллами в палец толщиной, а встреченный мною труп верблюда был весь обвернут толстой соляной коркой.

Этим озерам в старом русле Амударьи, называемым Узбой и Унгуз, кочевые туркмены приписывают целебные свойства и купают в них больных чесоткой верблюдов.

Несколько лет назад я кочевал по Каракумам, возвращаясь в Ашхабад из Хивы, вдвоем с туркменом — старым Шах-Назар Ходжомом, в молодости, до завоевания Ахала, бывшим известным разбойником — аламанщиком, а теперь служившим бравым урядником туркменского иррегулярного дивизиона. Как знающий все тропы пустыни, он состоял моим проводником.

Мы ехали на легких ахальских жеребцах, имея запасным хивинского иноходца, навьюченного двумя бурдюками воды. На главных тропах между Ашхабадом и Хивой и Хивой и Геок-Тепе теоретически должны быть колодцы для караванов, но на практике эти колодцы обвалились и высохли, вода имеется только там, где кочующий с баранами туркмен или киргиз остановится на долгое время, сам углубит и расчистит колодец и поддерживает, пока ему нужно, воду в нем.

Поэтому приходилось всегда везти с собой воду, для себя и для наших лошадей.

По пустыне вьются едва заметные в песках тропы, проложенные с незапамятных времен проходившими кара-

ванами. Где почва глинистая — тропа глубокая и узкая, как желоб, оттиснутая верблюжьими лапами; где песчаная — там ветром наносятся груды легкого песка, сметаются следы, и приходится ориентироваться по белеющим скелетам, священным деревцам с подвязанными цветными тряпочками и по верблюжьему и бараньему помету.

Не дай бог потерять тропу, отклониться в сторону!

Песчаные холмы, покрытые редкой серебристой травой и низкими саксауловыми деревцами, похожи один на другой, и через несколько минут можно совершенно потеряться в безмолвных, однообразных песчаных барханах.

Если нет компаса и солнце затянуто тучами, то, как в море, сразу теряется возможность найти север. Сами кочевники, опытные в умении разыскивать тропу, устраивают на более высоких холмах вышки из хвороста и костей животных, чтобы иметь какие-нибудь путеводные точки и не заблудиться.

Несмотря на опытность Ходжома, много раз делавшего набеги на Хиву и уводившего оттуда лошадей и верблюдов, мы потеряли дорогу невдалеке от колодцев Куртыш на Узбое.

В этом месте дорога разветвлялась веером, шла несколькими тропинками, и Ходжом выбрал неверную. Тропа стала виться между холмами, теряться, и, наконец, мы поехали вперед безо всякой тропы.

Возвращаться назад невозможно и бессмысленно. Тропа так извивалась между холмами, что направление ее все время менялось. Теперь нужно было держаться одного направления по компасу, чтобы не кружиться на месте, и надеяться, что мы пересечем новую тропу, которая нас приведет к каким-нибудь кибиткам кочевников. Мешал нам также однообразный, беспрерывный боковой ветер. Не затихая ни на минуту, он нес тучи легкого песка, осыпал нас с ног до головы, рвал платье. Мы кутались в бурки, должны были жмуриться, оберегая глаза от песчинок, и, конечно, не могли следить за дорогой.

Ходжом на своем долговязом рыжем жеребце въезжал на холмы, вглядывался в окрестности покрасневшими, воспаленными глазами, стараясь найти какой-нибудь признак дороги или жилья.

Кругом нас до самого горизонта тянулись однообразные холмы, покрытые редкими курчавыми кустами, низкие серые тучи неслись над нами, и мертвую пустыню оживляли только желтые суслики, выскакивавшие из норок. Они садились на задние лапки, оглядывались кругом

и при нашем приближении быстро прятались в свои подземные жилища.

Постепенно ветер стал стихать и, наконец, стих совершенно. Прекратился неумолчный свист летящих песчинок, сыпавшихся на сухие ветки саксаула, и над пустыней воцарилась странная тишина.

Казалось, вся природа спала, стараясь прислушаться к чему-то неслышному нам, и мы внезапно услышали мерные, низкие удары колокола. Это были низкие, густые звуки, какие слышны с громадной соборной колокольни, когда ударяют в самый могучий старинный седой колокол и слышны не отдельные звуки, а густой, басовый гул от ударов в толстую медную стенку.

Ходжом и я, стоявшие на холме, переглянулись.

— Как в русской церкви,— шепотом сказал Ходжом.

— Отчего это? — спросил я.

Ходжом наклонил голову и прислушивался: мерные звуки продолжали литься с перерывами. Ходжом поднял руки, прошептал мусульманскую молитву и провел ладонями по бороде.

— Смотри, бояр,— шепнул он, указывая вдаль.

На горизонте шли, мерно покачиваясь, гуськом четыре верблюда с вьюками. Переднего вел в поводу вожатый, на следующих сидели туркменки в нарядных одеждах. Верблюды медленно поднимались в воздух, увеличивались, стали громадными, как тучи, и плыли по небу. Верхняя часть каравана стала таять и исчезать. Некоторое время еще ритмично двигались одни ноги верблюдов, наконец и они исчезли...

— Что это такое? — повторил я вопрос.

— Это шайтан играет с нами,— шепотом ответил Ходжом.— Наше дело яман (плохо). Это шайтан всегда смеется над туркменами, теряющими дорогу. Надо поскорее бежать прочь от этого места. Бывают такие духи — джинны, они как будто люди, а все они от шайтана. Они могут такой вид принять, как будто это женщина, джигит за ней побежит, а джинн его приведет в солончак, и в нем джигит потонет.

Подул маленький ветерок. Чем больше он усиливался, тем звуки колокола становились слабее, наконец прекратились.

— Едем, бояр,— сказал Ходжом, спускаясь с бархана.

Взяв направление по компасу, мы направились опять между холмами без дороги, но туда, где, казалось, должны были быть колодцы и главная тропа. Ходжом требовал не делать никаких остановок, идти ровным шагом без отдыха.



В КИБИТКЕ ВДОХНОВЕНИЯ. *Рисунок В. Яна. 1924*

ГОЛОДАЮЩАЯ РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ

Газ. «Русское слово» от 22 апреля 1907 г. (Архив В. Яна)

— Будь спокоен, бояр! Я старый волк: пока глаза видят, я не пропаду. Здесь близко должны быть кибитки туркменов из рода Ших и Ата — они святые, потомки пророка Мухаммеда. Только бы мне увидеть одного их барана или один его след, и я уже приведу тебя в кибитки.

Мы ехали долго. Выносливые, но голодные туркменские кони стали хватать на ходу молодые побеги горького саксаула. Но Ходжом был прав. Свистнула нагайка, и его жеребец галопом помчался по найденному следу.

Зорко всматриваясь в землю, Ходжом скакал впереди извилистым путем между холмами. На земле стали видны следы баранов, и через несколько минут мы были на высоком обрывистом берегу Узбоя.

Точно настоящая река, покрытая льдом и снегом, казалось, текло соленое русло Узбоя,— с его серебристо-белой поверхностью кристаллизовавшейся соли, с лунками темной воды, по каким бродили длинноногие цапли.

Возле берега Узбоя мы встретили опять тропу, по ней рысью пошли вперед, надеясь встретить до вечера колодцы Куртыш-кую, раньше известные Ходжому.

На изгибе Узбоя мы неожиданно наткнулись на ряд могил по краю оврага; возле могил увидели одинокую часовню «аулиа» и — о блаженство! — туркменскую кибитку; над ее крышей вился дымок.

Когда мы подъезжали к кибитке, из-за холма, с противоположной стороны, показался туркмен-вожатый, ведущий за повод верблюда, а за ним брели еще три... Медленно помахивая обросшими длинной шерстью шеями, качая головами, шли четыре верблюда, а на их горбах сидели нарядные, в красных шелковых халатах, туркменки. На шею первого верблюда был подвешен большой, самодельной работы, медный колокол.

— Эге! Вот твои «джинны», Ходжом! — усмехнулся я.

— Не смейся, бояр! Если в Каракумах происходят странные вещи, это не к добру. Подожди, что дальше будет. День еще не прошел. Кабы не было беды! Иншалла!

Из кибитки вышел благообразный седой туркмен, почтительно приветствовал нас, сообщил, что он меджеур — хранитель часовни и могил, и просил нас почтить своим посещением, зайти в его кибитку.

Одновременно подошел и караван верблюдов. На первом сидела молодая красивая туркменка с двумя длинными черными косами, увешанными серебряными монетами и украшениями, с независимым, гордым взглядом. На других верблюдах, по двое, тоже сидели туркменки.

Меджеур пригласил и прибывших войти к нему в дом.

Вожатый, чернобородый пожилой туркмен, опустил верблюдов на колени, и все туркменки сошли на землю.

Наши кони, привязанные на длинных волосяных арканах, бродили вокруг приколов в ожидании корма или катались на спине, взбрыкивая ногами, по песку.

Туркмен-вожатый обкручивал веревками колени лежащих верблюдов, чтобы те не могли встать. Ходжом разговаривал со стариком меджеуром и со свойственной ему наивностью рассказывал подробные сведения о нас: куда едем, зачем и где были, что делали в Хиве, что говорил нам хан хивинский...

Туркменки, с гордой грацией вольных детей пустыни, сняли несколько ковров и разноцветных сумок — хуржумов — с верблюдов и вошли в кибитку.

Чернобородый туркмен покончил со своими верблюдами, подошел к Ходжому и меджеуру, после чего все трое опустились на корточки, и у них начались безостановочные рассказы о новостях Ахала. Прибывший туркмен рассказал тотчас же и о себе:

— Я,— говорил он,— из аула Канджик. Сын мой взял девушку Ай-Джамал из аула Беурма и заплатил ее бедному отцу большой калым. Но он не сумел ее держать в страхе. От него она убежала к родным. Мы собрали двадцать всадников, поехали за ней и привезли ее обратно. Мой сын Мамед побил ее верблюжьей нагайкой. Она грозила его зарезать и ночью опять убежала!

Второй раз пришлось искать довольно долго, так как отец спрятал ее в персидской семье и она ходила в персидской одежде под чадрой. Мы никогда бы не узнали, где она, но слуга-персиянин, желая получить награду, встретив меня на базаре, рассказал, что Ай-Джамал у них. Мы пригрозили, что вырежем всю эту семью и сожжем их дом...

Тем временем отец Ай-Джамал, вероятно, нашел ей другого жениха, обещавшего ему заплатить большой калым, и стал говорить, что его дочь уже разведена, так как мой сын будто бы сказал три раза «талак» (развод), и, по шариату, Ай-Джамал, значит, свободна.

Я взял Ай-Джамал от персиан и, чтобы отец не помог ей бежать опять, решил отправить ее в Каракумы, на колодцы Бала-Ишем. Здесь кочуют мои родные, они за ней присмотрят. А если и теперь она захочет делать по-своему, то здесь ни пристава, ни уездного начальника нет,— расправа здесь будет коротка: бросим в старый колодец и засыплем песком! Не будет тогда она больше позорить мое имя!..

— Отчего везешь ее ты? — спросил Ходжом.— Где же твой сын?

— Сын с восемью товарищами едут следом верхáми. Они следят, не будет ли за нами погони. Через час и они подъедут. Здесь уже безопасно!

Однако было трудно согласиться с туркменом, что «здесь безопасно». Желтые холмы, тянувшиеся бесконечной грядой, могли скрыть целую армию, а не только нескольких головорезов-джигитов, какие могли бы пустить из засады пулю или вырезать целый караван, скрывши все следы преступления в сыпучих песках.

Багровое солнце уже садилось и, выглянув из-за туч, уставилось на нас большим красным глазом. Я сидел на глыбе серой, растрескавшейся глины, отвалившейся от могилы туркменского праведника, и ждал, пока женщины расстелют ковры, приберут в кибитке и приготовят ужин. Разговор туркмен мне был отчетливо слышен.

Ходжом описал, как мы видели мираж — караван верблюдов — и слышали звуки колокола. Старый меджеур неодобрительно покачал головой.

— Нехорошо! — определил он.— Не к добру! Странные вещи бывают в пустыне, и все это предзнаменования. В Каракумах ничего не делается просто так. Если вы услышали в песках плач ребенка, звон колокола, пение женщины — это означает, что вам грозит беда! Верблюды поплыли на небо — это значит, что аллах зовет к себе какой-то караван!

Несколько лет назад у меня здесь поселился туркмен из Хивы; он бежал от ханского гнева, боялся мести родственников за убийство и скрывался в песках, думая, что здесь его уже никто не отыщет.

Он часто уходил далеко отсюда в пески, стрелял зайцев, ставил силки для лисиц. Невдалеке отсюда есть одинокий холм с развалинами какой-то старой башни. Однажды хивинец, проходя мимо этих развалин, услышал хохот из-за камней. Он бросился туда, но там никого не оказалось.

Второй раз мы шли вместе, и тоже оба услышали человеческий смех. Обошли весь холм, но даже следов человека не видели. А через несколько дней этот хивинец был убит возле холма. Остались следы всадника, подъехавшего к развалинам. Он, видно, привязал лошадь за холмом, а сам сидел за стеной и убил с первого выстрела — в затылок.

Затем он снял с убитого винтовку и нож с рукояткой из слоновой кости и скрылся в песках так же бесследно, как приехал. Я говорил хивинцу: не ходи этой дорогой — тебе было предзнаменование, пустыня тебя предупредила. Но он не послушался... Все джинны бежали из городов и аулов

в Каракумы, здесь везде полно ими. Они воют по ночам, как шакалы или дикие кошки, подкрадываются к кибиткам и просовывают мохнатые лапы под войлочные стенки...

— А выходят ли сюда разбойники из Хивы? — спросил Ходжом.

— Лет десять назад приходили,— ответил старик,— но меня, как меджеура, не тронули. Я их угостил, дал зерна для лошадей. Они, уезжая, даже дали мне денег... Потом ушли на восток, угнали в Хиве несколько сот баранов. Нескольких пастухов-текинцев зарезали. Куртыш-кую уже далеко от Хивы. Здесь проходят только караваны с контрабандным чаем и териаком (опиумом) из Персии...

Быстро стало темнеть. Солнце закуталось облаками. Приезжий туркмен забеспокоился, что нет его сына.

Меджеур попросил всех нас внутрь кибитки. Пригнувшись, я прошел маленькой дверцей. Посреди кибитки ласково горел костер, в нем стояло несколько закоптелых чугунных кувшинов с кипящей водой для чая.

Приезжие туркменки, вместе со старухой — женой меджеура, сидели в стороне, кружком у стенки кибитки, не глядя на мужчин. Мы же разлеглись на коврах и войлоках вокруг костра и стали пить зеленый чай, душистый, как ромашка.

Ходжом, наклонившись ко мне, сказал шепотом по-русски:

— Наш хозяин нехороший мусульманин. Я слышал про него раньше. Он живет со своей женой против закона!

— Почему?

— Он сказал давно своей жене три раза «талак» и прогнал ее. Она уехала к своим родным. Потом ему стало скучно, и он позвал ее обратно. По шариату, это большой грех! Если развод жене дан, потом уже никогда больше нельзя жить вместе!

— Ну, Ходжом, я понимаю, если жена молодая, как Ай-Джамал, тогда развод не надо давать. А если она старая, как жена меджеура, тогда надо разводиться? Плохие вы мужья, туркмены!

Ходжом бесшумно рассмеялся, все его лицо собралось во множество складок, в глазах блеснули веселые искорки.

— У меня три жены,— сказал он,— и все три старые! Поэтому я приезжаю домой раз в год, а остальное время шатаюсь либо на Гюргане и Атреке в Персии, либо в Каракумах! Конь, винтовка и трубка — вот верные друзья джигита до гроба: конь везет, винтовка бьет врагов, а трубка веселит сердце! И все трое молчат. А женщина, да еще старая, не может, чтобы не говорить и пилить с утра до поздней ночи!..

— Однако отчего же ты, Ходжом, не сказал тогда «талак» всем твоим трем женам?

— Для того, чтобы жены Шах-Назар Ходжома имели всегда свою кибитку и виноградник и чтобы никто не посмел попрекнуть, что жена Ходжома просит милостыню!

По-видимому, совсем стемнело, потому что сквозь отверстие в центре крыши кибитки уже было видно темное, мутно-лиловое небо.

Туркмен из Канджика, видимо, беспокоился о сыне, часто выходил из кибитки, ожидая его приезда с товарищами. Ай-Джамал, напротив, держалась с полным спокойствием. Она тоже выходила несколько раз из кибитки с вкрадчивой гибкостью и плавностью пантеры, и каждый раз вместе с ней выходила пожилая туркменка, с выдающимися скулами, тупым, покорным выражением плосконосого лица, очевидно присматривавшая за беглянкой.

У Ай-Джамал были красивые черты смуглого лица, прекрасные миндалевидные черные глаза, один глаз немного косил, что придавало особую загадочность ее невозмутимому облику. Она не глядела ни на кого, только изредка быстро окидывала всех небрежным взглядом и затем, слегка прищурившись, рассеянно смотрела в пространство.

— Яхши алль! (Прекрасная женщина!) — шепотом сказал мне Ходжом.— Только такую дикую и гордую кобылицу не объездить этому туркмену! Она или убежит опять, или зарежет своего свекра. И зачем он ее держит, видно, своей головы не жалко?!

После ужина из подстреленных Ходжомом в пути зайцев мы задремали, расположившись кругом костра, ногами к огню. Костер уже потухал, тлели красные угли, изредка вспыхивал, мерцая, огонек, освещая на мгновение лежавших на полу.

Я быстро заснул усталым сном путника, непрерывно едущего второй месяц, сделавшего верст восемьдесят за последний переход по пустыне. Опять мне снились бесконечные степи, мерное покачивание в седле на идущей шагом лошади, пески становились все более сыпучими, лошадь пошла вязнуть, погружаться в песок, начавший засыпать и меня, и я стал задыхаться...

Чья-то маленькая рука лежала у меня на лице, закрыв нос и рот; отсутствие воздуха привело меня в сознание, я пошевельнулся. Тогда рука отнялась, и во мраке кибитки я почувствовал муксусный запах и слабый шепот возле моего лица:

— Спаси, бояр, бедную Ай-Джамал! У тебя одна лишняя лошадь, отдай мне иноходца, и я убегу на родину...

Отец тебе вернет коня в Алаге. Здесь, в песках, мне пощады не будет! Несчастную Ай-Джамал бросят в старый колодец, где она умрет от голода и тоски! Позволь мне на твоем иноходце скрыться в этой темной ночи от врагов и страданий!..

— Помогать туркменам в их семейных делах я не могу и не буду. Но если ты убежишь на иноходце, то преследовать тебя я не стану... Мне нет времени, я должен торопиться идти на юг, к Бахардену...

Как тень бесшумно скользнула Ай-Джамал к выходу, оставив за собой легкую волну воздуха, полного запаха мускуса и розового масла... Ее туманный силуэт на мгновение показался в дверях кибитки. Но тут же с пола поднялся другой, мужской силуэт и так же бесшумно скользнул сквозь двери.

Тишина ночи продолжалась недолго.

Послышался шум борьбы, сдавленные крики, топот испуганных лошадей. Я вскочил и поспешил наружу. Проснулись и остальные, выбежали из кибитки, спрашивая, что случилось.

Кругом было темно. Сквозь ночную мглу слабо вырисовывались светлые гробницы и ближайшие холмы. Откуда-то послышались бешеные крики туркмена из Канджика:

— Идите на помощь! Она бежала в пески между холмами! Нужно ее окружить! Схватить! Она меня ранила ножом! Помогите!

Вскоре он показался сам, охая, зажимая рану на плече.

— Ходжом! Бояр!.. Садитесь на коней! — кричал туркмен.— Поедем за ней! Верхами мы ее сейчас же догоним! Далеко не уйти! Бояр, она хотела отвязать твоего иноходца, да я следил за ней и не дал!..

— Мои джигиты за женщинами не охотятся,— ответил я туркмену.— Было время, туркмены делали набеги на Хиву и Персию, сражались один против десятерых трусливых шиитов, а теперь туркмены гоняются по степи за бабами! Позор! Ты не настоящий текинец — «твердо́»!..

Ходжом, как старый знахарь, потащил туркмена в кибитку перевязывать ему руку. Туркменки охали и причитали, вглядывались в темную даль, но боялись отойти от кибитки. Меджеур бормотал под нос молитвы и неодобрительно покачивал головой:

— Пустыня предсказала: будет беда! Приедут сюда туркмены, будут драться, нескольких зарежут! Прибавятся еще новые могилы на Куртыше. Меджеуру будет больше заботы чистить их и обмазывать глиной...

Старуха, жена меджеура, раздула костер, сварила нам

чай, угостила пшеничными лепешками с изюмом, жаренными в кунжутном масле. Мы немедленно отправились дальше в путь.

На этой стоянке с нами никакой беды не случилось, но Ходжом твердил, что колокол зря не звонил и кому-нибудь да суждено вскоре погибнуть в окрестностях Куртыша.

1906

ТАЧ-ГЮЛЬ

(В горах Персии)

В Северной Персии, вдоль нашей закаспийской границы, расположены курдские селения. Курды переселены сюда несколько столетий назад с турецкой границы — для защиты женственных персов от набегов отважных туркмен. Курды и одеваются иначе, чем персы, и говорят на особом языке.

Они ведут полукочевой образ жизни и любят на некоторое время уходить в горы из своих деревень со стадами баранов и тогда живут в темных шатрах, напоминающих арабские палатки.

Со своими стадами они часто переходят нашу границу. Бараны пасутся на вершинах хребта Копетдага, где летом остается свежая трава. Приходят они в наши равнины и зимою, когда в персидских горах начинают свирепствовать бураны и выпадает обильный снег.

У меня был знакомый молодой текинец по имени Хива-Клыч. Во время похода Скобелева на Геок-Тепе родители Хива-Клыча, опасаясь за свою участь, отвезли его в курдскую деревню и оставили там на «сохранение».

После битвы в стенах Геок-Тепе они не приехали за сыном, и маленький Хива-Клыч был воспитан курдами, научился говорить по-курдски. Когда он подрос, его родственники, довольно богатые, привезли его обратно в родной аул, и там он вырос уже туркменом.

Среди курдов, в Персии, у него осталась та семья, которую он считал родной, где жили его сверстники, кого он называл своими братьями и сестрами.

Однажды, когда мы с ним вдвоем были на охоте и в холодную ночь грелись у костра, он рассказал мне о себе.

— В той семье, где я рос мальчиком,— говорил Хива-Клыч,— была девочка, Тач-Гюль, немного помоложе

меня. Мы росли как брат и сестра. Она была очень красивая. Ее мать была персиянка, красавица, которую во время аламана (набега) увезли из Персии.

Вместе с Тач-Гюль я ходил в горы. Там мы смотрели, как живут дикие звери. Спрятавшись среди камней, мы наблюдали, как пасутся дикие свиньи. Они очень хитрые и чуткие, а кабаны злые. Когда возле них детеныши-кабанята, они сами бросаются на всякого, кого встретят, готовы растерзать своими большими клыками.

Тач-Гюль была смелая девочка, ничего не боялась. Мы с ней бегали по горам с быстротой диких коз — джейранов, и ее глаза напоминали мне круглые темные глаза джейрана.

Когда меня привезли в Ахал и я стал жить среди туркмен, я всегда вспоминал Тач-Гюль. Я любил ее больше других. Когда я получил небольшое наследство, то поступил в туркменский конный полк солдатом-джигитом. Я купил хорошего коня, такого, что на текинских скачках не раз приходил первым, старинную шашку и шелковую одежду для Тач-Гюль.

Как-то раз я узнал, что Тач-Гюль была выдана своими родными замуж за богатого старшину селения на верховьях реки Сумбара, близ русской границы. Я решил ее навестить, чтобы посмотреть, как она счастлива.

Я был очень грустен, узнав о ее замужестве; я сам хотел на ней жениться и решил: если выдали насильно, то выкрасть ее и увезти в свой аул. Курды боятся туркмен и сами в Ахал не придут.

Когда летом джигитов полка отпустили на месяц по домам, я поехал в Персию. Я не взял никакого «приказа» для пропуска через границу,— я хорошо знаю все тропинки через горы. Пограничные посты стоят далеко один от другого, и между ними туркменские контрабандисты могут пробираться без особого труда.

Был уже вечер, когда я приехал в селение. Оно находится в долине, меж горами на реке. А эту реку можно перескочить на лошади. Но, когда идут дожди, вода по долине идет валом, вышиной в две сажени, на своем пути ломает деревья, уносит скот, и тогда нужно спасаться, забираясь высоко в горы.

У нас, в Ахале, было жарко, а когда я приехал в курдский аул, то там к вечеру стало прохладно.

Я подъехал к дому старшины. Видно сразу, что он богатый. По склону горы много построек, одна выше другой, с плоскими крышами, на них ночью можно спать под звездами.

Я въехал во двор и тихо осадил коня, храпевшего и бившего передней ногой. Тач-Гюль вышла на крышу. По ее крику выбежали два работника-курда и поставили моего коня под навес.

Тач-Гюль выросла, она была как настоящая женщина, в синей кофте и широких синих шароварах до колен. У нее звенело много серебряных и золотых монет в четырех черных косах и на груди. А на голове был красный платок, признак того, что она уже не девушка, а замужем.

Тач-Гюль крикнула несколько приветствий и сказала, что она очень рада приезду ее брата.

Три дома старшины стояли по склону горы, один выше другого, как лестница. На кровлю второго дома вышел старшина, накинув на плечи дорогую шубу из мелкой рыжей мерлушки.

Я видел, что старшина богатый, гораздо богаче меня. У меня только и есть, что конь, да хорошая сабля, да жалованье простого солдата-джигита. Но я увидел, что у старшины худое, впалое лицо, что у него пожелтевшие белки глаз и мутный взгляд. Сразу я понял, что он териакеш, курит опиум.

Мое сердце упало, как подстреленная птица. Тач-Гюль несчастная женщина, у нее не будет детей! Териакеш не может любить свою жену... Но я старался не показать вида, что мне грустно, и когда поднялся во второй дом, где был старшина, я сказал ему приветствие как брату.

Мы с ним сели на ковре и пили чай, принесенный его слугами, и я ему рассказывал, что делается у нас в Ахале. Старшина же рассказал, сколько у него скота и сколько богатства.

Когда мы ели плов, Тач-Гюль пришла и стала позади старшины. О ней он мало думал и даже ни разу не предложил ей сесть. Сам он ел мало, видно было, что это слабый человек.

Среди разговора старшина встал и, не обращая внимания на меня, ушел в соседнюю комнату. Я видел, как он зажег светильник, лег на бок, намазал териаком конец трубки и, грея его над огнем, долго втягивал дым, пока не заснул...

Пока он спал, целый час я говорил с Тач-Гюль.

Она рассказала, как ее выдали за старшину, уплатившего богатый калым. Ее выдали потому, что хотели, чтобы он перестал курить опиум. Родители думали, что, женившись на молодой и красивой девушке, старшина сделается здоровым человеком. Но прошло уже полгода после свадьбы, а старшина не провел с ней ни одной брачной ночи.

Я жалел Тач-Гюль и спросил: хочет ли она, чтобы я старшину зарезал?

Тач-Гюль не ответила, встала и заглянула в соседнюю комнату, где лежал ее муж. Я прошел к нему.

Старшина лежал с открытыми глазами, неподвижным лицом, на котором видно было высшее удовольствие.

Мы посмотрели друг на друга.

— Отчего ты не живешь с моей сестрой? — спросил я.

— Мне все равно,— ответил старшина.

— Ты ее любишь?

— Да.

— Ты хочешь, чтобы она была твоей женой?

— Да.

— Ты с ней будешь жить?

— Мне все равно.

— Я ее увезу к себе в Ахал!

— Мне все равно... Будьте счастливы и не мешайте мне...

Я увидел, что он, накурившись териака, теперь полон блаженства и что ему все равно, если бы даже я стал рубить стены или жечь его дом.

Я вынул нож, но старшина оставался спокоен.

Тач-Гюль взяла меня за руку:

— Оставь его, теперь он душою в раю Магомета...

Она увела меня в самый верхний дом, и мы там сидели на ковре на крыше. Солнце спряталось за вершины гор, и небо было красное, точно залитое кровью. Мне стало больно, что я не увидел особой радости на лице моей сестры, когда сказал, что увезу ее к себе в Ахал.

Крыша дома была самая высокая, и нас никто не видел. Кругом подымались вершины скал, где в расщелинах росли искривленные фисташковые деревья.

Я увидел какое-то беспокойство в поведении Тач-Гюль. Она замолчала, раза два встала, как будто бы хотела сойти вниз. Она кусала себе пальцы, совесть, вероятно, ее мучила, и она меня стыдилась.

Я начал догадываться, что с нею, и моя душа стала скорбеть. Молча я сидел, обняв колени, и смотрел на нее.

— Если так хочешь, можешь курить,— сказал я,— но кури здесь, я буду смотреть на тебя.

Тач-Гюль ушла вниз и вернулась с маленькой лампой, трубкой и черной коробочкой. Затем подошла и поцеловала мою руку:

— Сиди вот так и не двигайся. Я буду смотреть на тебя и думать про тебя. Я так всегда делаю. Мне кажется тогда, что мы с тобой бегаем по камням, как раньше, что

мы сидим на горячем склоне гóры, раскаленной полуденным солнцем, где цветут красивые тюльпаны и маки. И я вижу, как ты меня ласкаешь. Я испытываю такую радость, какую никогда не знала в жизни...

Она легла на старый узорчатый курдский ковер, подложив под голову шелковую подушку, и своими маленькими руками стала приготовлять трубку, намазывая териак возле отверстия.

Было так тихо, что дымок лампы подымался прямо к небу.

Тач-Гюль тихо говорила, пока не стала втягивать дым териака. Она смотрела остановившимися расширенными глазами, полными странной радости. Ее глаза делались все больше мертвыми, наконец застыли в неподвижном взгляде...

Она раскинула руки, и мне было стыдно глядеть на нее.

Потом она повернулась на спину, и я замечал, как на ее бледном лице менялись чувства и мысли. Мне было и жаль ее, и я ее ненавидел! Больше всего я был зол на то, что она глядит уже не на меня, а в небо, где видит кого-то другого.

Я подошел к ней и, став на колени, смотрел в ее бледное лицо. В нем было столько счастья, оно было такое красивое, что я уже не думал о том, где я нахожусь, и не боялся, что старшина или его слуги придут сюда, на крышу.

И тогда я опозорил дом хозяина, чьим я был гостем...

Тач-Гюль очнулась спустя много времени и долго еще лежала спокойно.

Она стала рассказывать, как тонко она слышит теперь все, что делается кругом. Она сказала, что слышит, как на горах храпят кабаны, роющие землю. Она слышала, как бьется мое сердце. Когда, усталая, она поднялась и поправила свою раскрытую одежду,— только тогда она поняла, что я сделался ее мужем.

Теперь, приходя все больше в себя, усталая и разбитая, она стала тревожиться, дрожать, и мне нужно было ее успокаивать.

Я ее звал сегодня же ночью уехать через горы к нам в Ахал. Я говорил ей, что она будет моей женой и никто там ее не тронет.

Уже сделалось совсем темно, когда из ущелья поднялась большая круглая луна, и ото всех скал потянулись длинные темные тени, как руки горного джинна.

Тогда пришел и старшина, ласковый, счастливый и разговорчивый. Теперь и старшина, и Тач-Гюль сделались

очень живыми. Они быстро ходили, говорили, размахивали руками, смеялись безо всякой причины. Старшина стал меня угощать фисташками, сыром и сладостями и сам много ел. Он хвастался, какой он большой человек, как его все слушаются и боятся.

— Я старого курдского рода,— рассказывал он,— все мои деды были ханами. Меня нужно называть не просто старшина, а хан Мамед... Я им покажу всем! Они узнают меня! — кричал он, грозя кулаком куда-то в горы.— Я соберу всех курдов и сделаю набег на Ахал! Я заберу целый табун лучших ахальских коней, приведу в Персию, погоню в Тегеран, продам там за большие деньги!.. А самого лучшего коня я подарю шаху! Я ведь очень хитрый и знаю, что кому подарить. Шаху я привезу еще и красивого мальчика из Мешхеда. За это шах меня полюбит, даст мне золотую саблю и мундир! Сделает губернатором!.. А тебя, Хива-Клыч, я назначу начальником полка. Ты будешь полком командовать и всех колотить, кого я прикажу!..

Так говорил старшина. Он видел перед собою сражения, командовал войсками, нападал на кого-то, грабил, увозил...

Затем он пошел вниз, а я остался на крыше с Тач-Гюль.

Она была весела, смеялась, как раньше когда-то, в дни нашей юности. Глаза ее горели как звезды. Она хотела со мной поселиться в каракумской пустыне, рассказывала о том, как хорошо нам будет жить вдвоем в песках, где пасутся стада баранов, где бродят большие одногорбые верблюды, сколько у нее будет детей и как она будет ткать красивые ковры...

Я радовался, и мы условились этой же ночью, когда все уснут, бежать через горы. Она должна была надеть мужскую одежду, взять револьвер и нож и ускакать на лучшем коне старшины.

Мне казалось, что в ней пробуждалась прежняя жизнь и прежнее здоровье. Уходя вниз, она мне шепнула:

— Как жаль, что столько лет потеряно вдали друг от друга! Зачем мы так долго были детьми и не знали, что любим!..

Я прошел вниз к своему коню; он стоял вялый и понурый. Слуги, вероятно, ему не дали в свое время ячменя, перед ним не было даже сена. Разыскав ячмень и сено, я накормил своего скакуна. Заглянул я и на лошадей старшины,— они были плохо накормлены. Если бы таких лошадей увидел мой командир Мерген-ага, он бы такому хозяину надавал по морде!

Долго я лежал на большом ковре, на крыше дома, заложив руки себе под голову и глядя в небо, где мерцали

яркие звезды. Было тихо, кое-где раздавались звоны колокольчиков на шеях коров или верблюдов. Иногда в горах начинал петь свою долгую, заунывную песню шакал, на нее откликались такими же долгими, непонятными песнями другие шакалы, боявшиеся подойти близко к селению.

Луна уже опять спустилась к горам и стала бледной и слабой. Кругом стало темно и сумрачно. Уже давно должна была Тач-Гюль прийти сюда, на крышу ко мне, сказать, что все в доме спят и она готова. Я забеспокоился, стал бояться, что с ней, и тихо спустился вниз...

Все крепко спали, снизу доносился громкий храп работников старшины. В большой комнате, проходя, я наткнулся на чье-то тело — это была Тач-Гюль. Она лежала как мертвая, и когда я попробовал ее поднять, то тело ее перегибалось пополам. Она была совершенно без сознания.

Зажегши спичку, я увидел возле нее потушенный светильник и трубку с опиумом. Она опять накурилась териака и забыла обо всем — и обо мне, и о новой жизни.

Я бы ее зарезал, если бы встретил в таком виде на дороге, но я был ее гостем. Вспомнив, как наши женщины в ауле, тоже курящие териак, безумные, с распущенными волосами, бессмысленным взглядом, служат посмешищем всего аула, я не стал больше колебаться.

Хотя слуги крепко спали, я их растолкал и объяснил, что должен уехать ночью, пока прохладно, так как днем солнце слишком жжет, да и днем меня могут задержать на границе.

Я попросил кланяться старшине и Тач-Гюль и, сев на своего коня, уехал один на север через горы. Так я остался один и останусь навсегда джигитом...

— Ездил ли ты еще раз туда, к старшине? — спросил я.

— Я обычно заезжаю к ним, когда бываю поблизости,— ответил Хива-Клыч.— Тач-Гюль всегда мне очень рада, но еще более рад моему приезду старшина.

1909

ВИДЕНИЯ ДУРМАНА

(ДУША)

Мне сказали, что в азиатской части города, в одном из отдаленных и глухих его мест, куда европеец боится заглядывать, живет старик-дервиш, делающий чудеса.

Я достаточно видел чудес, какие показывают обыкновенные восточные фокусники, и не особенно им верил, но про этого дервиша говорили, что он может вызывать души умерших. Мне сказал владелец дома, где я жил, Ораз, что этот дервиш вызвал к нему тень его покойного отца и он говорил с нею долгое время.

Я прошел через все базары, по узким улицам, крытым сверху рогожами, точно по бесконечным коридорам, где тянулись вереницы многих разных людей в пестрых халатах.

В глазах рябило от ярких красок, в воздухе пахло всевозможными пряностями, листьями сушеного табака, жареной бараниной, горелым маслом и тем особым запахом Востока, который чувствуется только в Азии.

Я шел вслед за моим джигитом, расталкивавшим толпу, давая пинки всем, кто не сворачивал с пути.

Наконец мы добрались до узкого переулка, где по обеим сторонам тянулись глухие стены без окон.

Джигит подошел к маленькой дверце и стал неистово в нее стучать. Нам открыл калитку мальчик в парчовой тюбетейке на затылке и в длинном халате. Он весело, с поклонами, пригласил войти и разостлал ковры под навесом, выходившим во внутренний двор, где посередине был небольшой бассейн.

Пол двора выложен каменными плитами, кое-где среди плит посажены цветы.

Вскоре к нам вышел худенький человек в пестром халате и в туфлях на босу ногу. Голова его, повязанная белой кисейной чалмой, и халат, подпоясанный зеленым поясом, были признаком того, что он из потомства великого пророка.

Движения его были быстры, светлые глаза живо бегали по сторонам, как будто все пронизывая, но когда они останавливались и вглядывались, то приобретали оловянное, мертвое выражение. Темно-бронзовое лицо, оттого ли, что выжжено солнцем, или от излишнего курения опиума, казалось темным даже среди других восточных лиц, загорелых и смуглых. На этом лице голубые глаза резко выделялись, светились, как две бирюзы.

Мальчик отвел моего джигита в глубину двора, где была кухня, и дал ему кальян.

Я улегся на ковре, а передо мной на корточках уселся старик, обняв колени руками и глядя мне в лицо своими странными светлыми глазами. Я сразу приступил к делу:

— Мне нужно вызвать душу умершего.

Старик засуетился, подпрыгнул, стал отмахиваться руками:

— Зачем ты говоришь такие страшные вещи? Зачем спрашиваешь невозможное? Разве можно беспокоить и вызвать душу, находящуюся в Садах аллаха? Не хочешь ли лучше порошков от какой-нибудь болезни? Не нужно ли тебе приворожить какую-нибудь белокожую и золотистоволосую красавицу?..

Я от этого отказался.

— Не хочешь ли ты увидеть кого-либо из живущих! Это я могу сделать. Хочешь, я тебе дам такого варева, что ты почувствуешь себя царем? Вокруг тебя будут прекрасные гурии, в мечтах ты достигнешь всего, что захочешь! Или ты будешь великим полководцем, станешь управлять войсками? Или же ты можешь услыхать чудную музыку... У меня есть разное лекарство для разных людей. Какое бы ни было горе, если прийти ко мне и принять мое лекарство, сейчас же забудешь свою печаль и испытаешь высшее спокойствие и счастье...

От всего этого я отказался и просил только вызвать мне душу умершего человека, с кем я больше никогда не смогу повстречаться. Я сослался на то, что он это сделал для моего хозяина Ораза. Тогда старик рассердился, плюнул в сторону:

— Ведь я приказал Оразу, чтобы он никому не говорил о том, что был у меня. Зачем же он тебе сказал?..

Я обещал старику денег. Он ответил, что подумает и, во всяком случае, не может ничего сделать раньше захода солнца, и до этого времени я должен подождать.

Мальчик принес мне чаю, зеленого и душистого. Я курил чилим. Казалось, что дым слишком ароматен, и я подумал, не добавлено ли чего-нибудь к табаку? Лежа на ковре, я дремал и в полусне видел, как по двору медленно проходил старик, как, разостлав коврик, он долго молился, клал земные поклоны по направлению к Мекке.

Мне чудилось, что проходили еще какие-то фигуры, шуршали шелковые одежды, звенели серебряные запястья и украшения.

По каменным плитам протянулись лиловые тени заката, небо стало оранжево-апельсинового цвета. Темнело. Тогда старик подошел, потянул меня за рукав и моргнул глазом, приглашая следовать за ним.

Вслед за стариком я прошел внутрь дома. За узким коридором оказалась довольно просторная комната без окон, свет проникал через отверстие в потолке.

Старик положил несколько подушек возле стены и предложил мне сесть на коврик. Затем принес простую жаровню, сделанную из грубых железных листов, и поставил ее

посредине комнаты. Ее ярко освещал свет, падавший сверху. Углы комнаты были в темноте. На жаровне тлели угли.

Между мною и жаровней старик поставил вазу с большими белыми ароматными цветами. Сам он сел в стороне, в тени, освещалась только его белая чалма, склоненная к жаровне.

Возле старика я увидел деревянный ларец, обитый медными гвоздиками. Старик стал бормотать про себя арабские молитвы, иногда хватаясь рукой за бороду, медленно проводя по ней пальцами. Затем, повернувшись ко мне и строго погрозив пальцем, он сказал:

— Теперь, ага, сиди совсем тихо, не двигайся! Если будешь вставать и кричать, тогда джинн не придет. Джинн боится громкого голоса и шума. Сиди спокойно, пока я сам не возьму тебя за руку и не уведу отсюда...

Я был готов ко всему и поэтому сидел, прислонившись к стене, вытянув ноги вперед, сложивши руки на груди.

Старик прочел свои молитвы, стал шептать вполголоса, раза два взглянул на меня и одобрительно покивал головой. Затем достал из ларца горсть легких семян и бросил их на угли. Семена вспыхнули как порох, голубой дымок поднялся, клубясь, к потолку, полный сильного дурманящего аромата. Горячая струйка протекла по моим жилам.

Старик вполголоса продолжал шептать свои заклинания. В это время точно кто-то заглянул в отверстие потолка — тень скользнула по жаровне, по белой чалме старика... Затем тень исчезла, и опять я видел ярко освещенную коробку жаровни и склоненного в молитвенной позе старика.

Когда тень заслонила отверстие в потолке, я хотел взглянуть наверх, но почувствовал, как я ослабел, что мне трудно сделать какое-либо движение, как одурманена моя голова.

Старик снова стал бросать в жаровню какие-то порошки, поднимались легкие клубы дыма и таяли в воздухе.

Мое состояние делалось странным, мне казалось, что в комнате подымается сильный ветер, хотя дымок над жаровней не колебался, а тянулся кверху. Я чувствовал ясно, как с правой стороны этот ветер усиливался, я слышал его свист.

Порывы ветра неслись справа налево, точно я находился не в комнате, а на рельсах железной дороги и несся со страшной скоростью, чувствуя, как рассекаю воздух, летящий мне навстречу.

Мое состояние раздваивалось: мне казалось, что ураган усиливался, проносясь через комнату, и в то же время я продолжал видеть дымок, большие белые цветы и фигуру неподвижного старика, сознавать, что в комнате все тихо и недвижимо.

Появились клубы дыма, поднятые вихрем; они темнели, проносились мимо, начинали принимать очертания причудливых существ. Точно бесформенные призраки Аида, проносились мимо меня бесчисленные темные прозрачные тени.

Иногда между ними, как искры, виднелись болезненные улыбки, сверкали белые зубы.

«Кто здесь несется? — думал я.— Неужели такую форму прозрачной тени принимают души умерших, вызванные теперь этим странным стариком, чтобы пронестись мимо меня, чтобы я увидел среди них какие-либо лица, мне близкие, или чтобы кто-нибудь из них узнал меня и остановился здесь, в этой комнате, подчиняясь магической силе старца...»

Но один проносившийся контур остановил мое внимание и заставил зашевелиться волосы на голове, холод пробежал по спине. Что-то знакомое было в очертании линий и в профиле этой пронесшейся тени... Мой взгляд метнулся за тенью, и она закрутилась посреди комнаты, как мечется летучая мышь.

Я увидел, что передо мной не белые цветы, а они только яркое пятно на каком-то светлом шелковом платье женщины, сидящей уже давно передо мною.

Я также чувствовал и присутствие старика, но это ощущала какая-то одна половина моей души, а другой частью, как во сне, я видел перед собою легкий позолоченный стул, на нем женщину в белом платье, какие-то белые колонны позади нее, часть блестевшего паркетного пола, шум голосов идущей толпы, шарканье множества ног, шорох бесчисленных платьев и отдаленные звуки музыки...

Теперь я был где-то в уголке большого зала, здесь происходил бал, бродили пары и слышался сплошной шум от множества голосов. Передо мною сидела бледная женщина в белом платье, с красиво причесанными темными волосами. Заложив ногу на ногу, в белых туфельках, она вполголоса продолжала какой-то разговор, который мне был известен, хотя другая часть сознания говорила мне, что эту женщину я вижу в первый раз...

И во мне заговорила двойственность. С одной стороны, я продолжал тот разговор, какой мы начали в неизвестном мне прошлом, и одновременно хотелось задавать новые вопросы, чтобы узнать: откуда она? как ее зовут? как сюда попала?.. Но я боялся кого-то, находящегося здесь, за колоннами, бывшего на том месте, где, как я видел сквозь туман, продолжал неподвижно сидеть сгорбленный старик в чалме.

Мы говорили фразы, какие, я теперь не припомню, но среди них я вставлял вопросы:

— Вчера вы ездили по набережной, был морозный день... Неужели вы меня не узнаете?..

— Да, как приятно кататься по набережной... Где я вас видела?

— Мы встретили массу знакомых, удивительно, как все съезжаются в одно время... Помните, семь лет назад, вечер в Народном собрании? Мы с вами случайно познакомились и танцевали только одну кадриль... Какая удивительная была вчера погода, небо розовое, сильный мороз...

— Да, нас солнце балует не всегда... конечно, я вас помню, меня познакомил с вами студент, мой хороший друг... Вы знаете, я тогда простудилась и умерла через три дня... Последняя мысль была только об этом красивом бале и о вас... Мне так хотелось жить!..

— Что я могу сделать, чтобы спасти вас?.. Вы так молоды, так прекрасны!..

— Скоро будет новый бал в Народном собрании, ведь вы, конечно, приедете опять? Я была бы рада вас встретить... Я нахожусь вся под властью этого старика, он меня никогда отсюда не отпустит, только через него вы сможете меня видеть... Я буду очень рада, если вы приедете на бал... Бросьте ваши занятия и приезжайте!..

— Конечно, я буду!.. Обещайте мне котильон!.. Заклинаю вас — не уходите, я вас спасу! Будьте всегда со мною! Дайте вашу руку!..

Я бросился к ней, чтобы схватить и удержать возле себя, но наткнулся на вазу с цветами и опрокинул ее... Старик поднял руку к потолку и стал умолять меня не шевелиться... Я чувствовал, как темные вихри начинают мчаться вокруг меня. Но я уже не видел никого и ничего, кроме туч пыли, и слышал затихающий гул шагов, веселых речей и бальной музыки...

В комнате было темно, душно от ароматного дыма, а сквозь отверстие в крыше падали капли дождя, доносил-

ся отдаленный гром. Старик в ярости махал руками и шептал:

— Зачем ты прогоняешь души, какие так трудно сюда призвать? Ты им доставляешь ужасные мучения, когда они сразу должны уходить обратно с земли — на небо!

Я лежал на полу, обнимая руками подушку. Тоска мучила мое сердце. Я вспоминал, как много лет назад, будучи студентом, видел эту девушку в белом платье, танцевал с ней всего полчаса. «Я не помню ее имени и не могу вспомнить ее лица. Почему ее нет, где она теперь? Зачем она явилась сюда, в эту трущобу азиатского квартала? Почему ее образ пронесся в толпе страшных серых теней и оказался здесь, в пустой комнате, поднявшись из вазы с белыми цветами?.. Когда я ее увижу? Как ее увидеть опять?»

Я неподвижно лежал, полный тоски. Все мое тело ныло от слабости и боли, точно избитое. Я хотел просить старика, чтобы он вновь вызвал мне это странное явление.

Через некоторое время старик, окончив свои молитвы, подошел ко мне, взял за рукав и вывел на террасу, где мы с ним сидели раньше. Наступила ночь, во дворе стемнело, гроза прошла, и луна выплывала — большая, страшная, равнодушная ко всему. Я лег на ковер и сказал старику, что не уйду от него, останусь здесь с ним.

— Скажи мне, старик, кто это был? Откуда ты ее вызвал?

— Тебе, ага, это лучше известно. Я ничего не видел...

— Старик, я видел не того, кого мне нужно было вызвать!

Вызыватель духов недоверчиво поднял глаза.

— Я видел девушку, какую знал много лет назад, но я ее не звал, она пришла сюда сама... А тот, кого я звал, не пришел...

Старик молча глядел на меня своими странными светлыми глазами, и на лице его сохранялась невозмутимость.

— Я проведу здесь, старик, день, неделю, месяц, но мне нужно увидеть ее еще раз!..

— Нет, ага! — ответил «дервиш, делающий чудеса».— Тебе, ага, нельзя вызывать души джиннов. Ты захочешь их видеть еще и еще много раз! Поезжай домой и забудь обо всем!..

1909

РОГАТАЯ ЗМЕЙКА

(Рассказ капитана)

На русском пароходе, совершающем постоянные рейсы между Одессой и Порт-Саидом, на верхней палубе в креслах сидели несколько пассажиров и вели общий разговор.

Здесь были два смуглых молчаливых грека с красными галстуками, три скучающие дамы, поехавшие в Каир лечиться от неизвестных болезней, томный молодой человек в «велосипедном костюме», записывавший свои впечатления и настроения в книжку с золотым обрезом и сафьяновым переплетом, и капитан парохода — сухой, энергичный, с быстрыми, впивающимися глазами, куривший одну папиросу за другой.

Море было тихо, небольшие волны, синие, как южное небо, лениво плескались. Пароход, пеня соленую воду, плыл мимо скалистого острова Кипр, на котором виднелись полузакутанные туманом серые безлюдные горы. Теплый южный ветер ласково обвевал, а томный молодой человек уверял даже, что чувствует запах цветущих ирисов, доносящийся ветром с острова.

— Капитан, расскажите нам какое-нибудь из ваших приключений,— сказала одна дама,— с вами, моряками, ведь всегда бывает что-либо необыкновенное. Кругом вас опасная морская стихия, а среди пассажиров бывают также и разбойники...

— И очаровательные попутчицы...— заметил любезно капитан.

Три дамы, каждая приняв этот комплимент на свой счет, улыбнулись и поправили складки платьев.

— Я бы вам рассказал одну историю, но она довольно страшная, и вы, пожалуй, спать не станете,— сказал капитан.

— Какие глупости! Если только не будет этой несносной морской качки, то меня не напугают никакие ваши приключения...

— Ну, хорошо,— ответил капитан,— но только потом на меня не пеняйте!.. Года два назад жена попросила меня взять ее с собой в рейс...

— Ах, вы женаты?..— разочарованно протянула одна дама.— А я думала, что вы холостяк!

— Ах, не прерывайте, пожалуйста! — сердито сказала другая дама.— Вам-то что от того, женат ли Борис Николаевич или же он холостяк?

...Я взял с собой и свою дочку, а ей тогда было лет шесть. Мы совершили очень удачный рейс, погода была тихая, не качало, вместе мы съездили в Александрию и Каир. Пароход стоял несколько суток в Порт-Саиде, дожидаясь русских паломников-мусульман, возвращавшихся из Мекки. В Порт-Саиде они должны были пересесть на мой пароход.

В Каире мы осматривали все, что интересовало, что интересно и неинтересно. Влезали на пирамиды, видели ферму страусов, спускались на дно «колодца Иосифа», любовались в музее мумиями, обсыпанными нафталином, плавали под парусами по Нилу, цвета кофе со сливками, видели ботанический и зоологический сады.

В каирском зоологическом саду зверей, пожалуй, не больше, чем в петербургской зоологии, но зато живут они действительно среди чудной природы, а не среди столиков с кружками пива.

В этом прекрасном загородном саду меня особенно заинтересовал домик, где в больших стеклянных ящиках ползали африканские змеи и другие гады. Они были разных видов, маленькие и большие, толщиной в руку. Свернувшись блестящими неподвижными узлами, змеи только иногда раскрывали маленькие глазки и окидывали холодным взглядом арабов и европейцев, толпившихся кругом них.

В углу домика, в одном ящике, как будто бы никого не было. Дно засыпано сухим желтым песком Ливийской пустыни, и волнистые борозды на поверхности показывали, что змеи здесь ползали. Надпись на ящике гласила, что здесь находится «песчаная рогатая змея».

Ждать, однако, пришлось недолго. В одном месте зашевелился песок, и быстро оттуда выскользнула небольшая, как конец бича, золотисто-желтая змейка и остановилась на несколько секунд на поверхности. Цвет ее был совершенно такой же, как и желтый песок и обломки того ноздреватого камня, из какого сложены пирамиды вблизи Каира.

Два желтых рожка подымались над плоской головкой змейки.

— Очень дурная,— объяснил по-английски подошедший сторож-араб,— если укусит, через пять минут человек умрет! И нет такого лекарства, чтобы вылечиться от укуса. Очень сердитая, она сама на человека прыгает. Если с ней повстречаться, она зароется в песок. Араб не видит, наступает на то место, где она лежит, змея ужалит в ногу, а сама

скроется...— Араб постучал черным пальцем по стеклянной стенке, змейка мгновенно метнулась к пальцу, стукнулась носом в стекло, затем бросилась на середину ящика, стала трепыхаться и в несколько секунд вся зарылась в песок...

— Может быть, у нас в России климат более холодный и суровый, но зато, слава богу, таких страстей нет! — заметила одна из слушавших дам.

— Мы возвращались,— продолжал капитан,— набрав из Каира всяких «редкостей» и «древностей», пыльного хлама и мусора, который почему-то принято везти из Египта: обломки пирамиды, кусочки окаменелого леса фараонов, фальшивые статуэтки из гробниц, яйцо страуса, пористые арабские кувшины из малообожженной глины, с «фокусом»: воду наливают через отверстие внизу кувшина, перевернув его вверх дном. Благодаря каким-то трубкам внутри вода затем льется из горлышка, а через отверстие в дне не вытекает.

Всем этим хламом мы загромоздили всю свою каюту.

Паломников-хаджи, освященных лицезрением гробницы Магомета, набралось около тысячи человек. Они разместились и на палубе, и в трюме, молились с утра и до вечера, делали омовения и залили водой и себя, и свои тюфяки; но вели они себя очень чинно, как и подобает благочестивым мусульманам.

В первый день, когда мы вернулись на пароход, жена и дочь обрадовались, что наконец можно отдохнуть после скитаний по гостиницам и музеям, рано заснули, я же при свете электрической лампочки читал русские газеты, полученные от нашего пароходного агента в Порт-Саиде.

Коек в каюте было три. Две — одна над другой, а третья напротив, вдоль стенки; на ней спала дочь. Я лежал на верхней койке, внизу спала жена.

В каюте было тихо. Слышалось только дыхание спящих.

Вдруг послышался шорох. Я повернулся, чтобы узнать, что это,— шорох прекратился, затем опять начался. Мне показалось, что он доносится из египетского кувшина, повешенного за ручку на крючок над койкой, где спала дочь.

«Вероятно, жук или ящерица залезла в кувшин»,— подумал я и хотел было соскочить с койки, чтобы снять кувшин, как вдруг увидел, что из его узкого горлышка стал свешиваться какой-то шнурок или лента.

«Неужели змея?» — мелькнула мысль, от какой я сразу покрылся холодным потом и зашевелилась на голове кожа.

«Что делать? Чем ее схватить? Как ее загнать обратно в кувшин?» — забегали эти мысли, и я не мог найти сразу выхода, чувствовал, что теряю волю и сознание... А золотисто-желтая лента, извиваясь, вытягивалась из кувшина, ворочая плоской головкой с двумя рожками, точно выбирая место, куда ей удобнее скользнуть...

Дочка, ребенок в белой рубашечке, покрытый белым пикейным одеялом, тихо спала и не шевелилась.

«Эта рогатая змейка погубит моего ребенка, если я спрыгну и брошусь к ней! Ребенок проснется, упавшая в складки одеяла змея ужалит девочку, если она дотронется до змеи. Нужно не шевелиться. Нужно, чтобы дочь не пошевелилась. Только змея соскользнет на пол,— ее можно будет убить палкой...»

Рогатая змейка извивалась еще несколько секунд, затем мелькнула золотистой спинкой в воздухе, причудливым завитком секунду лежала на белом одеяле, показав кольчатое, в крапинках брюшко, и, подняв хищную плоскую головку с рожками, блестевшими, как зубцы маленькой короны, повертела ею во все стороны.

Мой ребенок был во власти этой золотистой змейки, которой я готов был принести в жертву все, что мог, даже самого себя,— только бы она не залезла в складки постели, а соскользнула бы на пол.

В этот момент девочка спокойно повернулась на другой бок и невольно сбросила змею на пол, шлепнувшуюся както мягко, точно кусок теста.

Я готов был кричать, плакать, хохотать от счастья, от того, что самый ужасный момент миновал. Я спустился вниз и, взяв дочь на руки, положил ее на свое место. Затем разбудил жену и потребовал, чтобы она тоже поднялась на верхнюю койку.

— Что с тобой? Ты болен? На тебе лица нет! — встревоженно спросила жена.

— Потом все тебе расскажу. Мне нужно перерыть постели, осмотреть пол. Мне кажется, что там есть нечто ужасное...

— Да в чем дело? Говори прямо!..

Но я не решался сказать правду, боялся шума, крика напуганной женщины, какой мог бы всполошить многочисленных пассажиров парохода.

— Я тебе приказываю... я тебя умоляю подняться наверх!

— Если ты боишься спуститься на пол, то я сама осмотрю, что такое под койками... — ответила жена, вставая.

В эту минуту мой взгляд уловил на полу, в щели двери, немного притворенной, бывшей на цепочке, мелькнувшую золотистую тень. Змея уползла из каюты на палубу...

У меня хватило силы соскочить и запереть дверь. После этого я упал на койку и, кажется, плакал как дитя.

Для меня настали ужасные дни. Я объявил матросам, что потерял очень дорогое кольцо. Я приказал убрать из кают и из ресторана все ковры. Я не мог спать, запирал жену и дочь на ночь в нашей каюте на ключ, а сам бродил по пароходу, заглядывая во все щели.

Жена меня, вероятно, посчитала уже помешанным, и я опасался, чтобы того же не подумали мои подчиненные из судового экипажа. Но я не решался никому высказать *ужасную тайну*. Тысяча паломников-фанатиков подняла бы бунт на корабле, узнав, что по пароходу ползает ядовитая змея и сам капитан доставил ее на судно!

Я надеялся на счастье, на случай. Когда приходил с рапортом дежурный помощник или матрос, я старался по их глазам узнать, не случилось ли с кем-нибудь несчастья...

Через день утром ко мне пришел старший помощник и сообщил:

— Сегодня на юте (корме) была странная история. Из-под бухты (свертка) канатов, что там свалены, выбежали крысы, с десяток, они вылетели стремглав и понеслись по палубе, затем скрылись кто куда успел. Но одна крыса, пробежав несколько футов, тут же упала и околела в судорогах. Вахтенный матрос выбросил ее в море...

— Напрасно! — ответил я.— Поставьте возле канатов матроса, прикажите, чтобы никого не подпускал к канатам, сам стоял и глядел в оба: не появится ли что-нибудь оттуда? Пусть тогда тотчас зовет меня. Поспешите как можно скорее!

— Слушаюсь! — сказал удивленный помощник, уходя.

Я пошел на ют. Возле канатов бегала моя дочь, играя с маленькой собачкой-фокстерьером, принадлежавшей одному из пассажиров.

— Иди сюда! — крикнул я дочери.

— А ты меня поймай! — ответила девочка и вскочила на канаты.

Фокстерьер вспрыгнул за ней. Вдруг он бросился в сторону, пригнулся, шерсть его встопорщилась дыбом. Он стал неистово визжать, вертеть и трясти головой, а из его пасти свисал и мотался длинный золотисто-желтый хвостик.

Вероятно, пассажиры, находившиеся невдалеке, сочли меня вовсе сумасшедшим, потому что я как бешеный подбежал к собаке и, схватив ее за лапы, бросил через борт в море.

Несколько секунд собака, мотая головой, держалась на прозрачных голубых волнах, затем я увидел, как в судорогах стало извиваться ее маленькое тельце, белое с черными пятнами, и морская пена скрыла маленького спасителя моей дочери...

Конечно, я заплатил владельцу фокстерьера, греку из Смирны, ту сумму, какую он с меня запросил...

— Бедная собачка! — сказала одна из слушавших дам.— Вы безжалостны, господин капитан! Зачем же нужно было ее выбрасывать в море?

— А если бы змея вырвалась из пасти собаки и уползла в трюм,— ответил капитан,— или в каюту?

— Это вовсе не такая уж страшная история,— заметила другая дама.— Я ждала, что будет какое-нибудь убийство, схватка с морскими пиратами!..

— Вы хотите более страшного конца? — сказал капитан.— Тогда я вам договорю то, чего недосказал. Я прочел в описании жизни животных, что рогатые змеи живут всегда парами. И я не уверен, что виденная мною змея не была второй, а первая не уползла в трюм парохода раньше.

По крайней мере, меня наводит на странные мысли то, что с тех пор исчезли с парохода все крысы, точно их кто-то изгнал из трюмов и палуб... А через несколько дней умер один паломник — очень загадочной и скоропостижной смертью, похожей на отравление после укуса... Затем...

— Скажите, господин капитан! Это все произошло на *этом самом пароходе*? На каком мы плывем?..— встревоженно спросили побледневшие дамы.

— Успокойтесь... Это было на другом пароходе. Он теперь переделан, приспособлен для перевозки нефти... До свидания, я должен идти на мостик к рулевому. Здесь нашему кораблю нужно менять курс...

1907

«РАССКАЗЫ О НЕОБЫЧАЙНОМ»

ПАРТИЗАНСКАЯ ВЫДЕРЖКА, ИЛИ ВАЛЕНКИ ЛЕТОМ

Партизана Петра Калистратова я впервые увидел в 1922 году на улице города Минусинска. Он шел прихрамывая, опираясь на палку, коренастый, крепкий, сероглазый. На него указал мой собеседник:

— Посмотрите, это наш Калистратов! Видите, несмотря на летнюю жару, он в валенках. Это не случайно. Он пережил такие дни, что только его закалка, его партизанское упорство, его нежелание сдаться, при, казалось бы, явной гибели, спасли его. Впрочем, лучше всего он сам обо всем расскажет.

На другой день товарищ Калистратов был в редакции газеты «Власть труда», где я тогда работал, и мне описывал свои переживания, и я как мог записал его рассказ.

«С первого дня, как в Минусинск пришли партизаны под начальством Петра Ефимовича Щетинкина, я вступил во второй Тальский полк. С частью этого полка мы прибыли в село Каптерево. Вечером того же дня, часов в семь, получив приказание плавиться на левую сторону Енисея, мы это и сделали, заняв деревню Ачуры.

Всего нас было две роты при двух пулеметах. Утром мы расположились возле деревни и выставили посты. Я был отделенным командиром 1-го отделения второй роты. Мы знали, что белые близко, верстах в пятнадцати, и были готовы.

Около половины десятого утра показались белые, открыли огонь по деревне и стали наступать тремя колоннами. Их было около тысячи человек пехоты и конницы. При них было двенадцать пулеметов. Патронов они не жалели.

Наш батальонный командир, товарищ Егоров, приказал нам выйти в цепь. Кроме нас, в деревне был еще отряд товарища Кобякова. Хотя он был происхождения казацкого, но по убеждениям большевик и в свой партизанский отряд набрал человек семьдесят.

Наши ребята быстро исполнили приказание, и обе роты, совместно с отрядом Кобякова, вышли в цепь. Пришлось идти чистым полем под сильным пулеметным и ружейным огнем.

Белые наступали, окружив нас с трех сторон, поддерживая между собой связь и желая припереть нас к реке.

Когда бой начал затягиваться, то у нас и патронов осталось немного, и подвозить их было неоткуда. Скоро у нашего пулемета на правом фланге осталось всего две ленты. Командир Егоров приказал перевезти его на правый берег Енисея.

Стали у нас появляться раненые, уже набралось их около тридцати. Первым был ранен второй Егоров, член военно-следственной комиссии.

Белые сразу заметили, что наш пулемет убран, осмелели и стали пускать на нас кавалерию. Наши две роты, где были старые опытные бойцы, держались стойко. А среди кобяковцев, где были молодые неопытные партизаны, началось смятение, и многие стали убегать из цепи обратно в деревню. Они в беспорядке прибегали на берег, занимали лодку, человек по восемь, и, захватив по две-три лопашни, спешно стали переправляться на другой берег Енисея. Лодок же было около шестидесяти. Некоторые, без весел, гребли прикладом ружей. Погода была бурная, и на середине Енисея несколько лодок утонуло.

Часов пять-шесть длился бой, и цепи партизан все редели. Я хотел что-нибудь узнать о распоряжении начальника, но цепь уже до того поредела, что даже нельзя было что-либо передавать.

Время близилось к трем часам. Я со своими четырьмя товарищами стал переговариваться, и мы решили, что настало время и нам отступать. Мы, пятеро, встали и побежали цепью по направлению к деревне.

Нас обстреливали из трех пулеметов. Цепь белых поднялась и пошла в наступление на деревню. Когда я бежал, то заметил, что пули бьют землю перед нами подле самой деревни. Я крикнул товарищам, чтобы они ложились. Прошло минут пять, и огонь затих. Тогда мы вскочили и снова побежали в деревню, а белые уже перелезали через поскотину саженях в двухстах.

Мы забежали на гумно, положили винтовки на изгородь и стали залпами обстреливать белых.

Белые стали ложиться и тоже обстреливали нас залпами. Тогда мы снова бросились вперед и прибежали на берег Енисея. А лодок уже не было ни одной. Последняя лодка только что отчалила от берега,— в ней сидели один наш

партизан, женщина с ребенком и ачурский крестьянин. Воротиться к берегу лодке было бы очень трудно, так как буря бросала ее в стороны, и она уплыла через проток к острову.

Вижу я — положение скверное, белые нас перехватывают с двух сторон. А мой товарищ Александр (минусинский житель, фамилии его я так и не узнал) побежал вверх по берегу. Там протока пересыхала, и он, видимо, надеялся пробраться вброд на островок, где причаливал паром и где собралось много наших товарищей. Но на его пути в тальнике уже залегли казаки и стали его обстреливать. Тогда Александр бросился вплавь в протоку, и казаки его убили в воде. Он там и утонул.

Другие товарищи, увидев в тальнике казаков, бросились в деревню. Белые, заняв береговой тальник, стали нажимать на остров, где находился припаромок и где наших собралось сорок два человека вместе с командиром Егоровым. Пока его не было, там была суматоха и паника, люди не знали, что делать. Егоров сейчас же установил порядок, и, когда белые стали наступать на островок, наши их отбивали сперва залпами, а когда патроны вышли, то бомбами. Этим удалось четыре раза отогнать белых обратно в тальник на берегу протоки.

Мои товарищи тогда пробрались по подъяру на островок, и, как я потом узнал, около двух часов ночи с правого берега наши пригнали восемь лодок, на которых весь отряд благополучно перебрался на ту сторону.

* * *

Когда я увидел, что мне уже не спастись, я выскочил на яр. Тут один ачурский крестьянин предложил мне лодку. Но уже было поздно стаскивать ее с гумна в Енисей. Тогда я забрался в одно гумно и, не видя кругом никого, спрятал винтовку под зарод, а сам забрался в солому. Солома была старая, слежавшаяся, заваленная ветками. Я поднял снизу солому, забрался в середину, пласт завалился обратно и, вероятно, имел такой вид, что солома лежит нетронутой много времени.

Пролежал я два часа и решил закурить,— у меня была бензиновая зажигалка. Когда я закурил, то невдалеке оказался казак. Он подошел к городьбе, облокотился,— я его видел довольно ясно сквозь солому. Папиросу я сейчас же замял руками. Казак был молодой и неопытный. Облокотился он на городьбу и проговорил вслух:

— Как будто здесь что-то дымится? Или мне почудилось?

Я думал, что казак вынет шашку и начнет ею пробовать солому — нет ли кого? Но он постоял недолго и ушел.

Я обрадовался. Чуть было не погиб — и спасся.

* * *

Шесть дней пролежал я в той соломе. Очень затекли и замерзли ноги. Я тогда снял сапоги, а ноги мои уже не движутся. Я натянул на ноги меховые рукавицы, стал разминать ноги, и они отошли. Но, согревшись, ноги сразу же так распухли, что стали круглые, как валенки, и я не мог ими вовсе двигать.

Очень меня мучила жажда, горло совершенно пересохло. Когда я жевал солому, тогда получалось немного влаги, и горло ненадолго начинало действовать.

По ночам по дороге, совсем недалеко от меня, в нескольких шагах, ходил взад и вперед часовой. Тут стояло два пулемета, направленные вдоль двух улиц, и часовой ходил между ними.

Больше всего я боялся ночью заснуть: если бы я случайно захрапел, услышал бы часовой. Поэтому я почти не спал.

* * *

Когда прошло восемь суток, утром к тому месту, где я лежал в соломе, вышла женщина. Она будто бы кур звала, на самом же деле, как я потом узнал, она искала мужа, который участвовал в бою и утонул в Енисее.

Я решился ее окликнуть.

Она подбежала к зароду соломы и спросила, кто я такой. Я сказал, что я красный. Она шепнула:

— Лежи тихо! В деревне стоят белые...

Я попросил ее дать хотя бы воды, и она принесла мне крынку и кусок хлеба. Сама ушла. Я стал постепенно пить воду и есть хлеб самыми маленькими кусочками, так как знал, что если бы съел сразу, то мог бы умереть.

Ночью я попробовал встать, но упал,— ноги мои совсем отнялись. Тогда я решил искать спасения в деревне. Пополз я по огороду и дополз до стены. Вижу: изба новая, хорошая,— видно, живет мужик богатый. «Нет,— подумал я,— здесь мне не помогут, здесь опасно!»

И я пополз дальше, пока не добрался до бедной избы. Вижу — баня. Но котел вывороченный, воды нет. Нашел я вилок капусты и съел его.

* * *

Утром, часов в семь, выбрался из бани и по ограде направился к дому. Меня заметили собаки, набросились и хотели разорвать. Но я успел влезть в избу. Вижу я — сундуки раскрыты, все выворочено и никого нет. Понял я, что хозяином был красный, здесь хозяйничали белые и все разграбили. Это была изба той самой женщины, которая приносила мне воду и хлеб. Звали ее Щербинка.

Вдруг в избу вошла старуха лет восьмидесяти, и с ней четверо детишек. Она оробела, и я тоже оробел. Спрашивает она:

— Ты кто такой?

— Красный! — говорю я.

— Так ты уходи скорей отсюда! Казаки в эту избу заходят каждый день и шарят. Они и тебя найдут.

Тогда я прошу:

— Ты, бабушка, покажи мне по крайней мере, куда мне пойти. Назови хорошего человека, чтобы он меня укрыл...

А бабушка дрожит и твердит одно: «Уходи!»

Пополз я к соседу и наткнулся на мужика и бабу во дворе. Говорю я им, кто я такой и что ноги у меня отнялись. Баба говорит, чтобы я уходил, иначе увидят казаки. Тогда я спрашиваю ее: есть ли у нее дети? Она отвечает, что был сын, да на позиции убит или пропал без вести.

— Тогда пожалей ты меня, хотя бы ради твоего сына. Спрячь до ночи в погребе или в бане, а ночью я уйду куда-нибудь.

Баба сказала:

— Ладно! Иди скорей в баню!

Только что я успел проползти в баню, как во двор вошли пять казаков чай пить. Меня они не заметили. Пока казаки пили чай, хозяин принес дров, затопил печь и дал мне скипидару растереть ноги.

Когда ушли казаки, хозяйка принесла чайник с чаем, пирожков и шанег. Я напился чаю и в первый раз обогрелся после стольких дней голода и тревоги. Затем я перебрался в хлев, где стоял баран, так как в баню должны были прийти бабы мять кудель.

* * *

Утром приходит хозяйка и требует, чтобы я от них ушел. А за ночь выпал первый снег, и я пошел на четвереньках странствовать по огородам. Весь я перемок в снегу и залез в зарод сена, где меня продуло, и ужасно промерз.

Оттуда я перебрался в соседнюю баню, где, по-видимому, валяют катанки. Пробыл там недолго, слышу — опять шаги. Входит старик, в руках несколько поленьев и совок с горячими углями.

Спросил старик, кто я такой, затем ушел и привел сына и невестку. Те стали настаивать, чтобы я немедленно уходил. Умолял я их, чтобы они меня не прогоняли, уверяя, что, если даже меня найдут белые, я им скажу, что хозяева ничего не знали, а я забрался в баню сам. Тогда невестка пустила меня под полок в бане и заколотила досками и гвоздями дыру, через которую я пролез.

Вытопила баба баню. Пришли мыться дружинники из местных абаканских татар. С ними мылся и хозяин. Моются они, разговаривают, а мыльная вода сквозь щели на меня льется. Татары говорят чудно так:

— Нет, мы совсем не добровольцы! А это беременное (временное) сибирское правительство нас облизало (мобилизовало) в дружину и воевать заставляет. А мы с красными совсем воевать не хотим.

Прошел день, и опять явилась хозяйка и говорит, что снова будут в бане мыться казаки.

— Как ты, Петра, выдержишь ли? А вдруг закашляешь?

— Ничего! — говорю я.— До сих пор выдерживал и дальше выдержу.

Пришло пять казаков и хозяин с ними — помочь мне на всякий случай. Пока казаки мылись, они ругали все на свете: и большевиков, и свое начальство, и временное правительство, и что попало.

Еще два дня я пролежал под полком. Я весь промок, платье испортилось. Ночью я сам мылся и сушил свою одежду. Утром приходит старуха и говорит:

— Теперь и впрямь уходи, Петра! Был наш старик на сборе. Там командир казачьей сотни сказал, что сделает в деревне повальный обыск. И если у кого окажется скрытый большевик, хотя бы в соломе, то хозяин будет отвечать своей головой. Так как не может быть, чтобы за семнадцать дней хозяин ничего не знал, что у него делается во дворе.

Делать нечего, я уполз от них. Теперь двигаться мне было гораздо легче, ноги стали поправляться, и я залез в зарод сена.

* * *

За ночь выпал снег в четверть. От дыханья снег таял, образовывались сосульки,— совсем медведь в берлоге! Виден был мне Енисей, там была шуга, плоты уже не шли. Лодки не плавали.

Отправился я опять в ту избу, где я был в первый раз. Хозяина звали Смолянец. Там стоял штаб Таштынской сотни. В переулке у ворот ходил казак-часовой. Я выждал, как прошел часовой, и успел незаметно пройти в баню, где опять немного обогрелся.

Утром пришла хозяйка и воскликнула:

— Ты опять тут? И еще живой!

Отправила она меня в подвал под завозней. Этому я был рад: там было теплей, чем снаружи.

На другой день рано утром я видел, как казаки поили лошадей и опять ушли спать. Тогда мне удалось пробраться к Щербинке, первой меня накормившей, и уговорить ее помочь мне пройти к фельдшеру М. Г. Тетенкову. С ним я подружился в ночь перед ачурским боем, когда стоял у него. Мы с ним проговорили всю ночь, и я убедился, что он наших убеждений.

К фельдшеру я прошел в сумерках, и хотя встретился по дороге с казаками, но они не обратили, к счастью, на меня внимания. М. Г. Тетенков принял меня по-товарищески, я забрался на печку в избе и лежал на ней несколько дней, уходя днем в амбар.

* * *

Двенадцатого ноября Енисей стал замерзать в разных местах. В этот день казаки стали сниматься, и все уехали. Я разыскал в зароде свою винтовку и патронташ и пошел на берег.

Вижу, плывет ко мне на левый берег лодка, в ней было два красноармейца и два партизана. Они расспросили меня и переплавили на правый берег. Я отправился в Шуш, в штаб нашего Тальского полка. Там я все изложил, что знал и видел.

Меня спросили:

— Ну, а как дальше, Калистратов, теперь полезешь на печку?

ПОСЛЕДНИЙ КОРМ ЛОШАДИ
Газ. «Русское слово» от 22 апреля 1907 г. (Архив В. Яна)

ЖЕРТВЫ ГОЛОДА
Газ. «Русское слово» от 22 апреля 1907 г. (Архив В. Яна)



ВЕЧЕР. *Рисунок В. Яна. 1926*

— Готов дальше бороться за свободу, только дайте мне коня. С такими ногами-култышками я от Петра Ефимовича отстану. Ведь наш Щетина летает соколом!

Тогда мне дали коня, и я еще ходил на нем».

1922

ЗАГАДКА ОЗЕРА КАРА-НОР

1. У ПАРТИЗАНСКОГО КОСТРА

Под деревьями на берегу Енисея горело несколько костров. Вспышки красного пламени озаряли обветренные лица, желтые полушубки, шапки с наушниками. Блестки играли на темных дулах ружей. Партизаны пили баданный чай, пересмеивались, чинили сбрую и одежду. В нескольких шагах от костров было уже темно. Там стремительно неслась бурная и мрачная река.

— Эй, гвозди! — хриплый голос покрыл шум разговоров.— Укладывайся на боковую. Парома, видно, не дождаться. Завтра чуть свет начнем плавить лошадей.

— Ладно, Турков, дай уздечку справлю. Коли не выдюжит, коня потеряю,— он дикий, монгольский.

Из-под лохматой папахи торчал непослушный белокурый завиток. Молодое лицо Кадошникова склонилось над сыромятными ремнями. Ловко работало шило, всучивалась дратва.

Рядом на черном изогнутом корне корявого тополя сидел партизан в синей монгольской шубе. На широкой груди, расшитой черным плисом, распласталась рыжая борода. В голубых глазах прыгали искры костра. Заскорузлая пятерня доставала из розового ситцевого мешка сухарные крошки, сыпала в деревянную миску, поливая мутным чаем из прокоптелого жестяного чайника. Огонь костра и тихая ночь располагали к мечтательности.

— Ядреная наша страна Урянхай![1] — говорил, расчесывая пальцами бороду, Колесников.— Сколько землицы и какого только зверя здесь нет. Какая птица! А рыбы всякой в Енисее сколько хошь.

— Только достань ее сперва,— буркнул мрачно парень, не отрываясь от уздечки.

---

[1] В царской России и в описываемое время Урянхаем (Урянхайским краем) называлась Тувинская АССР. Урянхи, сойоты — тувинцы.

— И достану! Все крестьянин могит достать, надо только, чтобы смекалка была в черепушке.

— А вот достань рыбу из нашего озера Джагатай[1], если рыба-то сверху вниз ушла.

— Поглубже невод спустить, дно зачерпнуть...

— А если у нашего озера дна нет?

— Дна нет? А на чем вода держится?

— У нашего озера подземный ход под хребтом Тануолой к другому озеру, что в Монголии. Говорят, что рыба кочует из того озера в это и назад. Буря подымается, воду всколыхнет, рыба к берегу всплывает, мы ее тогда неводами и подтягиваем. А дна у озера нет: сколько ни спускали мы бечеву с камнем, никак не достает, а кто-то вроде как перетирает бечеву. Вроде как зубом.

— Это ты, паря, брешешь. Кто же это бечеву будет в озере перетирать? Поди, цепляется за дно.

Кадошников поднял ремни в руках, потянул их, зацепив ногой в мягком бродне, и взглянул на рыжего:

— А ты не слыхал про черного гада, что сидит в монгольском озере?

Колесников закатил глаза к небу и показал белки.

— Это, поди, тоже брехня.

— Спроси Хаджимукова. Своими зенками видел. Вот он... Эй, Хаджимуков!

У соседнего костра стоял высокий партизан, весь зашитый в бараньи шкуры. За спиной болталась винтовка с подогнутой сошкой.

— А ежели он видел, почему не притащил на аркане? Коли увидел черного гада, взял бы его живьем и послал в Москву. Пусть видят, какие звери в нашем краю водятся.

— Такого подлого гада в Москве кормить не станут. Перетопить его на сало, красноармейцам сапоги мазать.

Хаджимуков подошел: глаза раскосые, скулы выдаются, борода жесткая, что из конской гривы.

— Что, брат, Кадка рябая? В дорогу ехать, так шорничаешь?

— Коня мне Турков такого дал, что узда сразу надвое. А завтра его надо через Енисей плавить.

— Поди, утопишь... Чего кликал?

— Садись, Хаджимука. Колесников не верит, что ты гада видел, говорит: «Брешет косоглазый».

— Я-то не видел? А это что? — и Хаджимуков сунул к носу Колесникова нагайку. К деревянной ручке был прикреплен четырехгранный ремень толщиной в палец.

---

[1] Озеро Джагатай находится на юге Тувинской АССР.

Колесников взял нагайку, пощупал ремень пальцами, попробовал на зуб. Кадошников тоже впился глазами и ткнул ремень шилом.

— Это от какого же зверя будет? Неужто от гада?

— Сказал — от гада! Это только от сосунка евонного. А с самого гада шкуры не снять, если и всех наших шорников сгомонить.

— А и врешь ты! Все вы, абаканские татары, путаники!

— Садись! Не серчай! Расскажи толком,— Кадошников схватил за полу владельца диковинной нагайки.— Садись! Кури! — он сунул ему кисет с табаком.

Хаджимуков сел к костру и набил табаком длинную самодельную трубку из кизилового сучка.

2. ЗА МОНГОЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ

— Помните, прошлым летом, когда отряд Бакича наступал из Монголии, прискакал, как вот и сейчас, гонец от Туркова и поднял всех партизан собираться на белобандитов. «Торопитесь,— говорит.— А то перевалит он хребет, бои пойдут на наших хлебах, поселки пожгет. Какая нам будет корысть? Надо их ухватить, пока они наступают в Монголии, по дороге к нам». Мы, конечно, на коней, у кого коня не было, отобрали у старожилов — марш маршем под хребет. Дальше дорога на Улясутай[1] торная,— поди, каждый из нас туда пробирался. Командиром избрали Кочетова. Он не повел по прямой дороге. «Это, говорит, зря стукнемся им в лоб. Расшибемся об их пулеметы». А повел он наших парней по-за сопками, охотничьими тропами. Главная сила пошла слева от дороги, а нас, человек с десяток, Кочет послал справа, пошарить по сопкам: не замышляет ли Бакич ту же обходную уловку? Вот тут-то и начался переплет.

Наш десяток ехал не скопом, а разбился по тропам. Мне с Бабкиным Васькой пришлось переваливать через гору Сары-яш. Сперва мы ехали между отрогами, по ущельям, что елкой да чащей поросли. Потом стали подниматься голым таскылом[2]. Там дорога стала идти бомами[3] по-над обрывами. Внизу сажен на десять поблескивал ручей. А кругом него болото, мшаники, бурелом навален — самое медвежье место. Переезжать через такие ручьи — последнее дело: лошади вязнут по брюхо. Мы и подались кверху, к вершинам, где пошли кедрачи. А троп много, потому зверья до черта,

---

[1] Улясутай — первый город на пути в Монголию, в 350 км от границы.

[2] Таскыл — скалистая, безлесная вершина.

[3] Бомы — карнизы.

всюду видны следы. То вдавилась медвежья треугольная пята, то кусты объедены — лось проходил, то промелькнет между деревьями желтый бок маралухи.

Повременить бы там, мы бы без охоты не вернулись. Но нас обчество послало, мы торопим коней, вздымаемся в гору и наконец видим «обо»: камни навалены кучей, хворост сверху и цветные тряпочки на ветках. Это монголы и сойоты, как дойдут до самой вершины хребта, камень на «обо» подкидывают — подарок ихнему богу, что гору стережет.

Мы обрадовались, что добрались до перевала. Сошли с коней, табачок раскуриваем, а Шарик мой лай поднял в кустах. Как видит, что винтовку беру,— разве его удержишь! Я с ним всегда белковать ходил. Лает Шарик, заливается. Думаю: будь ты неладен! Кто там в кустах хоронится?

Только подумал — выходят три сойота. Два бедных, шубы на них рваные, винтовки самодельные, кремневые на вилках. А один похозяйственней, шуба крыта синей талембой[1] и обшита бархатом, на голове шапка с плисовыми отворотами. А винтовка в руках настоящая аглицкая. Мы ничего, честь честью поздоровкались:

— Мен-ду!

— Мен-ду!

Табаком их угостили. Сели они, посмотрели мы ихнюю аглицкую винтовку, а они — наши. Объяснили сперва, что охотятся на горных козлов — дзеренов, а потом признались, что ихний начальник — нойон — послал следить на этот перевал — пойдут ли на Урянхай белые, или кто другой — и донести.

Мы им тут набрехали, что нас до страсти много, что за нами сотен пять партизан подтягиваются, и просим растолковать нам дальше дорогу. Тут они нам все и выложили.

— На монгольской стороне,— говорят,— за хребтом Тануолой идут щеки, глубокие да узкие, с трясинным дном, где конь наверняка утопнет. Потому надо идти по хребтинам. Из этих щек сбегают ручьи в большую речку Тэс; вьется она, как уж вертлявый, между скалами и вливается в большое озеро — Упса-Нор. Вокруг озера собралось много монголов с баранами, быками и верблюдами. Пришли и урянхи. Там и аулы их, где они помаленьку хлеб подсевают: просо, ячмень, а также арбузы и мак для курева, чтобы обалдеть. Не доходя до Упсы-Нор, повыше к хребтам, тоже есть озеро, но помельче. Раньше около тех озер монголы и урянхи стояли, но только все враз оттуда разбежались...

---

[1] Талемба — китайская дешевая материя вроде ситца служила для меновой торговли у охотников вместо денег.

— А почему,— спрашиваю я,— разбежались?

— А потому,— говорят,— что там в одном озере большой гад завелся, никто его убить не может: уж больно гад хитер, умнее человека. Все из воды видит, а на берег не лезет. Если бараны или телята пойдут на водопой, то гад схватит за ногу или за морду и утащит под воду. А озеро называется Кара-Нор, значит, Черное озеро, и дна в нем нет, трубой уходит неведомо куда под хребет.

Тут мы с Бабкиным переглянулись и подмигиваем. Васька и говорит:

— Вот бы, паря, к этой Карьей норе попасть и гада взять на мушку.

Я тоже говорю, что медведей я без счета бивал, рысей, лосей, марала, а про гада водяного и не слыхивал. То-то будет разговоров по всему Урянхаю и Абаканской степи, что мы гада подшибли. Тогда сразу собьем славу нашим охотникам — Турову, и Нагибину, и самому Цедрику[1].

Расспросили мы еще сойотов, как до Кара-Нора добраться, отдали они нам окорок козла, на огне подкопченный, и тронулись мы с Бабкиным дальше. Тут нас взяло сомнение: зачем сойоты сидели на перевале, не подосланы ли белыми следить за тропами? Бабкин и говорит:

— Меня не то беспокоит, а не посылают ли они нас ненароком на Карью нору, потому что там, может быть, этот самый отряд Бакича и засел? Оттого-то монголы во все стороны и разбежались, потому Бакич самый гад и есть, а на озере никакого гада и нет.

Все же мы решили ехать на озеро Кара-Нор,— у сойотов тоже, поди, совесть человеческая, к тому же ребята артельные, козлятины нам дали по-хорошему.

3. ОЗЕРО, ОТ КОТОРОГО ВСЕ УБЕГАЮТ

Дня через два мы озеро нашли. Как урянхи говорили: длинное, километров на восемь, вначале узкое, а посередине шириной километра на два. На высоких берегах — осина, березняк и смородинные кусты. Один край берега чистый, засыпан мелкой галькой, хорошо бы с него скотину поить. Мы еще издалека, как его завидели, коней за горой в лощинке привязали, между кустами хоронимся, ползем, скрадываемся, как звери.

Тихо на озере. Малость рябит от ветерка. Вода черная, блестящая, как смола. Шарика на ремне держу, и он, чего-

[1] Известные урянхайские охотники в 20-х годах.

то тоже, подлюга, смекает, уши насторожил, не рвется, а глядит вперед и носом поводит — дух, что ли, чует какой. Подобрались ближе. Никого, все тихо. Утки пролетели над озером, снизились, да будто их шибануло, опять поднялись и дальше перелетели. Сели, головки подняли, вертят по сторонам. Будто что их тревожит.

Бабкин меня подталкивает: гляди, значит, в оба, чего-то на озере есть! А чего — не видать. Мы на высоком берегу лежим в кустах, а озеро под нами, как в миске. Кругом сопки, на них листвяк, рябины, елки. В монгольскую сторону сопки все ниже, а далеко опять поднялись высокие хребты с таскылами. Те горы Кукей прозываются, высоченные, под самое небо, и на них снег под солнцем блестит.

Тут мы видим, будто кто-то в малиннике на том берегу шевелится. Ветки шатаются, а кто — не понять. Бурый бок виден — то ли медведь, то ли бык. Я бы его снял в два счета, да не к чему раньше времени тревогу подымать. Потом кусты затихли,— видно, зверь отошел подальше.

Подождали мы маленько, опять поползли вдоль берега. Видим — поляна, мелким щебнем и кругляком усыпана. За ней откос, на нем сосны и под деревьями избенка, низкая, вся в землю ушла, только крыша высунулась, из бревен связанная. Окошечко что глазок, в четверть, чтобы зверь не влез, а винтовку оттуда можно высунуть — и пали!

Смотрим — не выйдет ли кто? И вот из избы вылезает на кукорках баба в синей монгольской рубахе. Дверь, видно, тоже махонькая, в шубе едва пролезешь. Вскочила она, в одной руке туесок берестяной, а в другой — топор на зверя. Спустилась по откосу, подбежала к ручью, зачерпнула туеском и бегом назад, кругом оглядывается. Вползла опять на кукорках в сруб и дверкой хлопнула.

Бабкин мне шепчет на ухо, сам позеленел и глазами косит:

— Верно, здесь медведи табунами ходят, коли баба так в избе прячется и по воду с топором ходит. Кабы зверь наших коней не задрал. Давай шить с этого места!

— А ты, что ли, медведей не видал? — говорю.— Сами, кажись, своей охотой сюда зашли. А коли баба здесь, значит, и мужик имеется — без него одна баба хозяйства не заведет ни в жисть!

Повременили малость, поползли дальше. Стали петлять, задумали избенку обойти и к тому месту выйти, где в кустах зверь шерепенился. Большой круг мы дали и вышли опять к озеру. Тихое да гладкое, ничего на нем не приметно. Залегли в кустах, малину и белую смородину

подъедаем. Глядим: человек спускается между валунов, и совсем голый, как палец. Спекло его на монгольском солнце, так что бурый стал, что ржаной каравай. А волосы на голове стоят копной, что у туранского[1] попа, и борода в лохмах до пояса. Совсем одичал, бедняга. На плече тащит пеструю кабаргу[2] удавленную. Подошел близко к воде, поднял высоко кабаргу, покликал: «Мен-ду, менду!» — да и бросил в воду. По озеру волна пошла, точно большая рыба стаей пронеслась.

А из кустов выскочили две собаки, шерсть в клочьях, репьях, и напустились на нас. Храпят, давятся, так и лезут к горлу.

4. ОДИЧАВШИЙ СТАРАТЕЛЬ

Голый человек насторожился и бросился бегом к нам... В руке у него, видим, топор-колун на длинной рукояти. Я встаю и иду открыто к нему,— чего мне бояться: у нас винтовки, а у него топор. А он, как увидел меня, взбеленился и начал крыть почем зря:

— Чего вы сюда пришли, острожники? Здесь места меченые, застолбованные. Монгольские правители мне документ выдали. Убирайтесь отсюда, а то я на вас моих гадов посвищу, они вам глотки перегрызут.

Смотрю я на него, дивлюсь, а он прыгает на камне, топором машет, кричит, слова сказать не дает. Вся морда шерстью заросла, только серые гляделки словно проколоть хотят. Думаю: где я рыжую башку эту раньше видел? И говорю:

— Карлушка Миллер, немецкая душа, не ты ли это? Как сюда попал?

Остановился он меня честить, разглядывает, а все поднятый топор держит.

— А ты кто такой? И откуда меня знаешь? А тебе я не Карлушка, а Карл Федорович Миллер.

— Неужто забыл, Карлушка Федоровна, как мы с тобой на речке Подпорожной[3] золотишко мыли, ничего не намыли, а последнее, что имели, проели?

---

[1] Туран — большой поселок в северной части Тувинской АССР, ныне город.

[2] Кабарга — маленькая пестрая газель; представляет ценность благодаря так называемой «струе» (вытяжке желез), покупаемой китайцами для изготовления лекарств. Кабарга крайне пуглива и ловится обычно петлями и силками.

[3] Подпорожная — приток Верхнего Енисея, около Больших порогов.

— Теперь я вас припоминаю, геноссэ Хаджимуков. Мы в самом деле на Подпорожной золото мыли, и даже, как честный человек, скажу, что я вам остался должен за полфунта пороха и сто пистонов. Только если вы пришли долг спрашивать, то пороха здесь ближе, чем в Улясутае, не достать. А если хотите золотишком промышлять, так милости просим — откатывайте на другие озера, а здесь все занято, и я никого не пущу.

— Полно дурака валять, Карлушка! Мы к тебе с доброй душой пришли, никакого мне долга не надо. Ты только расскажи толком, какие здесь кругом люди живут, показываются ли белые и далеко ли монголы?

— Ничего я ни про кого не знаю,— говорит.— *Я человеконенавистник.* Живу один вместе с медведями, лесом и озером, и очень рад, что не встречаю ни одной человеческой рожи. Люди всегда меня обманывали. Как только найду я где золотую жилу, налетят все, как галки, меня оттеснят, нажиться им поскорее надо. Оттого я и ушел от них в дикие места. До свидания. Ауфидерзэен!

— Постой, Карлушка,— говорю,— ведь мы с тобой приятели были, калачи вместе ломали. И хотя ты гостей принять не хочешь, а все же мы против тебя злобы не имеем и вертаем назад. Только ты скажи нам последнее слово: правда ли, что в этом озере гад живет и баранов за морду таскает?

— Здесь обитает животное очень древнее, в других местах его больше нет, *ииятызаврус* называется. Других людей и зверей, это верно, он хватает, а мы с ним дружны. Если бы не он, сюда бы народу прикочевало столько, что и меня бы отсюда вытеснили. А я этого гада подкармливаю и через два дня на третий приношу ему кабаргу или другую дохлятину. Для того я в тайге засеки[1] навалил и петли в проходах повесил.

— Значит,— говорю,— коли ты это животное кормить не будешь, оно тебя съест?

— И вас съест, геноссэ Хаджимуков, если вы в озере купаться вздумаете. Я очень извиняюсь, что больше не могу разговаривать с вами, потому я человеконенавистник...

— Не крути, Карлушка, не всех же ты ненавидишь. К примеру, в срубе не твою ли жену мы видели, монголку?

---

[1] В глухой тайге охотники устраивают заборы из наваленных деревьев, оставляя узкие проходы, где вешается петля. Засеки тянутся иногда до 2—3 километров, перегораживая путь зверю. Охотничьими законами засеки запрещаются.

— Какое свинячество, что вы могли подглядывать в чужой дом! Фуй, как вам не стыдно! Больше я с вами не разговариваю. До свиданья. Смотрите, если только вы будете близко подходить к моему дому, я буду стрелять картечью.— Тут кликнул Карлушка своих собак и побежал в кусты, волоса по ветру треплются. Овчарки кинулись за ним, и все стихло.

Колесников ударил ладонями по коленям, прервал рассказ Хаджимукова:

— Дивные дела! Чего только не бывает! А я ведь Карлушку хорошо знаю. Далеко же он от нас подался! Я его давно заприметил, еще когда он на Усу, на Золотой речке, золото мыл. Чудной был немец, вроде у него ум за разум зацепился. В круглой соломенной шляпе ходил, сам ее из камыша сплел. Ученый человек был,— гимназию, говорит, в Риге кончил, латинские слова знал и занятно рассказывал про всякие камни, зверей и звезды. Слух ходил, будто он на родине тещу убил самоваром,— очень она ему досаждала, в семейные дела мешалась. Его на каторгу сослали, и он с другими острожниками строил Усинскую дорогу[1]. Оттуда через тайгу к нам прибежал спасаться. Все хвалился, что найдет главную золотую жилу, с которой золотой песок смывается. Возле него и жались разные старатели, думали от него поживиться. А теперь, поди ж ты, в Монголии, у Карьей норы объявился. Не иначе как там золотую жилу раскопал... Ну, Хаджимука, валяй дальше! Что еще с вами было?

5. ГЛАЗ В ВОДЕ

— Поговорили это мы с Бабкиным,— продолжал Хаджимуков,— чего же дальше делать? Озеро как озеро, ничего в нем не видать. Купаться в озеро пойти — боязно. Может, и впрямь в нем гад ползает и за ноги в воду стащит. Пошли мы малость дальше берегом и увидали около воды большие камни-кругляки. Тут мы осмелели и спустили лайку, чтобы кругом пошарила. Шарик встряхнулся, завертел рыжей метелкой и забегал по берегу, камни обнюхивает.

— Зря спустили его,— ворчит Бабкин.

Стали мы подзывать к себе Шарика, а тот заливается, тявкает, как на лисью нору, лезет в воду, а шерсть вздыбилась, и зубы оскалил.

---

[1] Большая шоссейная дорога от Минусинска в Туву (до г. Кызыла), построенная действительно «каторжным трудом» каторжников, проложивших ее в вековой тайге через Саянский хребет.

Вдруг выбросилась из воды лошадиная морда с острыми щучьими зубами, вытянулась кверху на зеленой гусиной шее, изогнулась да как схватит Шарика за спину. Взлетел Шарик на воздух, трепыхнул лапами, взвизгнул в последний раз и шлепнулся в воду. Покатились во все стороны светлые круги, а Шарика мы больше так и не видели.

Посмотрели мы с Бабкиным друг на дружку.

— Что же это такое? — говорю.

— Самый этот гад и был. Чего зевал? Надо было палить. Теперь твоему Шарику каюк! Уйдем-ка отсюда подобру-поздорову.

— Нет,— говорю,— шалишь! Партизан, да чтобы гада испугался? Не может этого быть: Колчака мы свалили, Унгерна колотим, Бакича ловим,— нет, так я не уйду! Давай-ка приляжем за камень.

Положили мы винтовки перед собой и стали следить за озером. А солнце уже садилось за елки, скоро и заворачивать надо.

И замечаю я на воде глаз — большой, темный, навыкате, как у вола. Лежит глаз на темной воде и смотрит на меня сторожко так да умно. Потом серое веко затянуло глаз, он опять открылся, прищурился и передвинулся поближе.

— Гляди, черная точка на воде,— шепнул я Бабкину.

— Где, где? — всполошился он.

Стал я наводить винтовку на глаз, а Бабкин уже заметил и шепчет:

— Постой, мы ему другую штучку покажем...

Отцепил он с пояса гранату, сорвал кольцо и спустился ниже к воде. Тихо, чтобы не вспугнуть, поднял гранату и бросил ее в темный глаз.

Граната на тихом озере взорвалась, точно чебултыхнулось на нас самое небо. Гром прошел, и во всех горах застукало. Вода забурлила, выкинулись зеленые лапы, захлопали, пену взбивают. Круглое брюхо, белое, с бурыми подпалинами, выпучилось над водой, перевернулось. Показалась злобная морда, нос разодран, весь в крови, на макушке петушиный зеленый гребень. Колесом покатился гад по озеру, волны будоражит, длинный зубчатый хвост узлом крутит. Потом скрылся под воду, еще раз показался, хлестнул хвостом и нырнул в последний раз.

— А если в озере еще такие звери остались? — говорит Бабкин.— И он поплыл на дно звать себе на подмогу? Давай-ка сматываться отсюда к лешему.

Думаю: время к вечеру, пока доберемся до лошадей — совсем стемнеет. Быстро пошли знакомой дорогой. Кони на своем месте. Развели огонь. Ночью не спалось. С озера шел какой-то рев. То ли гад кричал, то ли Карлушка по своем дружке панихиду служил, али медведь ревел,— кто разберет?

Хаджимуков замолчал, набивая трубку табаком. Партизаны наблюдали за ним, ожидая продолжения рассказа.

— Ну, а дальше что? — спросил Колесников.

— Мы к озеру больше не вертались. Проехали кружным путем к реке Тэсу, встретили там юрты монголов. Они нам поведали все, что знали про белых, и я с Бабкиным через несколько дней стрелись с нашей главной партизанской силой на Улясутайском тракте. Ребята ехали уже с песнями,— они навалились врасплох на белобандитов, когда те стояли лагерем и не снилось им, что с сопок и сбоку, и сзади начнется стрельба. Посадили они на автомобили своих барынь — и ходу назад, в Монголию. Все, кто мог,— на конях и пешие — бежали, побросав лагерь. А мы большую добычу забрали: и палатки, и оружие, и пулеметы, и серебро...

Колесников, прищуря недоверчивые глаза, прервал Хаджимукова:

— Это мы знаем, многие сами участвовали. А вот что мне сумлительно. Ты вот сказал, что плетка твоя из сосунка гада. Где же ты ее подобрал?

— Где? Мне Карлушка ее подарил. Утром ведь он разыскал нас на другой день — нюх у него стал звериный. «От лошадей, говорит, дух ветром принесло». И пришел он к нам уже в портках из талембы и соломенной шляпе. Принес он мне эту нагайку и объясняет: «За порох и пистоны, что я должен остался, я вам, геноссэ, такую плетку дарю, какой во всех Европах ни у кого нет. У этого иштызавруса сосунок был, молоком его кормился. Подох он, и к берегу его ветром прибило. Я из шкуры его ремней накроил, петель наделал, чтобы в засеках кабаргу ловить. Так матка все приплывала, в сосунка носом тычет и мычит,— думала, что очнется. А потом волки мясо объели, одни кости остались. Я с того места подальше перебрался и тут сруб сложил, где вы мою супругу-монголку стрели».

Последние огни облизывали раскаленные вишневые угли. Черная ночь все затягивала своей бархатной полой. Партизаны подбросили в костер хворосту и стали укладываться. Становилось холодно, и в оранжевом свете вспыхнувших сучьев было видно, как нагольные полушубки

и приклады ружей покрылись матовым налетом серебристого инея...

Колесников пробормотал:

— И чего только немцу с голодухи не придет на ум! Сперва обезьяну выдумал, а теперь, поди ты, с гадом подружился. Не зря говорят: немец без уловки и с лавки не свалится!..

1929

В ПЕСКАХ КАРАКУМА

1. НА МЕРТВОЙ ТРОПЕ

Жарко было до того, что сухой от жажды язык еле ворочался во рту. Но мы все ехали вперед.

Солнце — расплавившийся слиток ослепительно блестящего золота — начало медленно сползать с темно-синего неба к колебавшейся в горячем воздухе линии горизонта.

Тени под нашими ногами, эти маленькие лиловые клочки среди моря ярко-желтого песка, насыпанного громадными воронками, стали растягиваться, чтобы исчезнуть через час и дать нам томительный отдых. На юге солнце заходит быстро. Едва успеет побагроветь закат — уже ночь...

Наши легкие ахальские жеребцы еще бодры, они привыкли делать длинные переходы. Прошлой ночью мы напоили их мутной солоноватой водой из колодцев, брошенных кочевниками, и весь день сегодня они шли «волчьим шагом» — ровной тропой, которой хивинцы и текинцы умеют делать громадные переходы.

Два дня назад наш передовой разведочный отряд, получив задание, разделился на несколько частей, и мне с шестью всадниками и проводником Ходжомом было поручено пройти к колодцам Аджикую. Но на привале на нас наткнулась бродячая шайка басмачей. Отстреливаясь и отступая, мы, я и проводник Ходжом, попали в песчаный ураган, который, скрыв от нас басмачей, отбил от остальных.

Вернуться назад было невозможно. По всем крупным тропам рыскали басмачи. Нам оставалось идти вперед заброшенной тропой.

Впереди меня покачивалась в седле сухопарая спина Ходжома в красном полосатом халате, туго затянутом ремнем, на котором висела кривая текинская шашка. Его белая папаха из бараньей шерсти равномерно покачивалась, и длинные лохмы, свешивавшиеся с ее краев, подпрыгивали на каждом шагу. За все время он ни разу не обернулся. Изредка я догонял его и спрашивал о пути.

Черные прищуренные глаза Ходжома впивались в горизонт, он бросал мне малоутешительный ответ:

— Видишь: здесь ишак кости бросал, баран горох не сыпал, давно никто не ходил. Куда дорога ведет, туда и приедем. А куда дорога ведет — кто может знать?

Иногда он, ударив каблуками коня, внезапно взлетал на вершину бархана и оглядывался во все стороны. Затем медленно спускался с холма и, не взглянув на меня, тем же ровным шагом ехал дальше.

Недоверие закрадывалось мне в сердце. Мы оба устали от двухдневного пути, и, когда солнце садилось, Ходжом остановился на вершине холма. Указав мне рукой в сторону солнца, он сказал:

— Видишь — Кыр! Там будут колодцы, а может быть, и не будут.

На фоне зарева солнца я увидел темную рваную линию скал.

— Но ведь там могут быть басмачи?

— Сейчас здесь травы нет, колодцы обвалились, и караваны здесь не пойдут. А каравана нет — и басмачи здесь не будут. Басмачи на больших тропах ждут добычи, как джульбарс (тигр) в камышах подстерегает кабанов.

Наши кони прибавили ходу, и уже при последних лучах заходящего солнца мы стояли около нескольких глубоких узких дыр в земле, обложенных внутри ветками саксаула. Это были долгожданные колодцы, где мы надеялись найти столь нужную нам воду.

Мы слезли с седел, и, пока я держал в поводу лошадей, Ходжом опускал по очереди в каждый колодец кожаное ведро на волосяном аркане. Он пробовал и отплевывался: вода была соленая. Колодцев было около пятнадцати. Перепробовав воду из всех, Ходжом один из колодцев признал годным.

— Сладкая вода, соли мало-мало!

Мы вбили приколы в землю и привязали лошадей на арканах, решив здесь переночевать.

Под защитой скал можно было развести костер, не боясь, что он будет виден в степи.



2. РИСКОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Около колодца, который Ходжом назвал «сладким», он воткнул в землю саблю, чтобы по ее блеску можно было разыскать воду в темноте. Сняв с лошадей седла, мы покрыли их попонами и оставили выстаиваться. Наломав саксаула, я разложил костер и начал варить чай, темный, как кофе, солоноватый и пахнущий серой.

Почему был так угрюм Ходжом? Я его совсем не знал и боялся предательства. Мы с ним сидели на бугре около костра и пили чай из пиал — маленьких туркменских чашечек. Ходжом долго молчал, потом заговорил:

— Вот что, командир-ока[1]! Ты спи здесь два дня, а я завтра рано, пока еще солнце сидит в песке, уеду на своем рыжем и твоем вороном. Сперва на одном поеду, а как шея его запотеет — пересяду на другого. Мы как зайцы скакать будем, и я далеко уеду...

— Что же я буду делать без коня?

— Дур! (Погоди!) Это скалы Кыр, теперь я узнал. Здесь много лет назад мы прятались, когда делали набег на Хиву и отбирали у ханов лишних верблюдов и баранов. В ту сторону, где село солнце, за восемь часов хорошего хода есть колодцы, долина Узбой и трава. Там живет племя Ших, они себя называют потомками Магомета и считаются святыми. А всякие святые любят, когда звенят серебряные деньги. А потому за серебро я у них накормлю коней пшеницей и возьму запас на дорогу. Заодно они мне расскажут, где сейчас посты басмачей.

— А если я поеду с тобой?

— Нет, командир-ока, если ты поедешь туда, завтра вся степь будет знать, и тебя убьют...— И Ходжом стал считать, загибая корявые смуглые пальцы: — Слушай: утро пройдет, полночь пройдет и ночь пройдет. Еще утро пройдет, и я буду здесь с конями, бараниной и пшеницей. Понял?

— Дай подумать...

— Чего думать? Ты здесь лежи, кури махорку и жди меня. У тебя есть лепешки, воды много в колодце, басмачи сюда не заедут, и, если они меня не убьют, ты вернешься домой.

Ожидая моего решения, он с непроницаемым лицом наливал из закоптелого чайника кипящий черный чай.

Мысли завертелись в моей голове. Не хочет ли он

---

[1] Ока́ — дядя, приятель, товарищ.

перейти к басмачам и увезти красавца Италмаза, за которого всякий туркмен отдаст лучшие ковры? Или хочет ценой моей жизни купить свою?

Я не знал дороги. В худжумах оставалось несколько горстей ячменя, чтобы накормить коней. Остаться вместе — смерть и нам, и коням.

— Ходжом! — сказал я.

Он посмотрел мне в глаза, продолжая со свистом всасывать чай из пиалы. Костер вспыхивал, и красный огонек бегал по фаянсовой пиале, отражаясь в его загадочных пристальных карих глазах.

Стараясь быть невозмутимым, как он, я сказал:

— Хорошо! Хорошо, поезжай и, накормив там коней, привези припасы на дорогу. Я буду тебя ждать, и, если через день ты не приедешь, здесь меня ты больше не найдешь.

— Ладно,— кратко ответил Ходжом, утирая бритую голову концом красного платка, в котором он хранил табак.

Он кончил пить и стал прочищать винтовку. Часа через два, когда лошади остыли, Ходжом взял кожаное ведро на черном аркане, посмотрел на меня, зарядил винтовку и, перекинув ее через плечо, ушел.

Я лежал на разостланной бурке и смотрел в темноту, в которой скрылся Ходжом. Во мне все замерло. Я холодно взглянул в небо, ожидая выстрела... В темноте было слышно пофыркивание коней.

Подул ветерок, с легким шелестом песчинки начали перекатываться по раскрытым страницам моей записной книжки.

Где-то далеко раздался странный тонкий плач. Он усиливался, дрожал, ноты поднимались все выше и затем неожиданно оборвались. В другой стороне ему ответило несколько таких же отвратительных таинственных визгов. Моя настороженная мысль представила, что это не шакалы, а условные знаки подкрадывающихся степных грабителей. Рука невольно легла на затвор винтовки. Из темноты показался Ходжом.

Положив трехлинейку на землю, он развернул принесенные попоны, подстелив одну под себя, другую дал мне. Повернувшись к потухавшему костру боком, он покрылся полосатым халатом.

— Наши кони — первый сорт,— сказал он.— Вода грязная и соленая, а они выпили ее столько, что спина устала вытаскивать ведро.

Я ничего ему не ответил.

3. ЗАГАДОЧНАЯ ВСТРЕЧА

Ранним утром, когда окружавшие нас скалы стали выделяться на чуть посеревшем небе, мы молча развели костер, напоили лошадей и дали им последние горсти ячменя. Отдохнувший Италмаз заигрывал со мной, кусая за плечо мягкими, как резиновые мячи, губами. Он был еще в теле. Скачка от басмачей, плохой корм, большие переходы на него почти не повлияли, только живот подобрался, как у борзой, но упругие мускулы все так же играли под тонкой кожей, покрытой шелковистой шерстью. Я долго гладил и очищал его от песка, набившегося в гриву. Он поглядывал на меня черным влажным глазом и нетерпеливо танцевал на месте, ожидая, когда я схвачусь за седло. Но нас разлучили...

Ходжом налил в бурдюк воды, туго подтянул подпруги седел и привязал Италмаза в повод к своему долговязому Рыжему, который зло ворочал белым глазом и фыркал, оглядываясь на Италмаза. Ходжом вскочил в седло, поправил халат, надвинул крепко на голову папаху и, закинув за спину винтовку, подал мне руку.

— Сегодня говори: «Совсем прощай»,— сказал Ходжом, подмигивая и шевеля мохнатыми бровями,— а день прошел, и опять скажешь: «Здравствуй», если с меня не сдерут шкуру...

— Прощай,— ответил я ему, пожав руку и отойдя в сторону.— Помни, что завтра днем ты уже не найдешь меня здесь! Счастливой дороги!

В утренних сумерках, окутавших седой чадрой пустыню, удалялся стройный силуэт Италмаза...

Я вскарабкался на скалу. На востоке несколько тучек над горизонтом окрасились карминовым отблеском солнца. С каждым мгновением становилось все светлее. Вдали, между редкими кустами саксаула, расползшимися по песчаным холмам, опять показалась белая папаха и красный полосатый халат Ходжома.

Вдруг оба коня метнулись в сторону, и Ходжом припал к шее Рыжего. Что-то произошло... Ясно было видно, как Ходжом поскакал вбок, и за ним легкими прыжками не отставал вороной. Они куда-то скрылись. Потом, уже далеко, когда первые лучи солнца лизнули степь, последний раз сверкнул красный халат с белой папахой и исчез в бесчисленных барханах.

Я решил пойти к тому месту, где что-то испугало Ходжома. Что это было — человек, зверь или труп павше-

го животного? Пробирался осторожно, крадучись по следам, выдавленным в песке копытами коней. Тонкие ветки гребенщика и саксаула, свешиваясь над песком, от порывов ветра начертили на нем кружевные рисунки. Ноги вязли в сыпучем песке.

Почва стала тверже, темными пятнами стали выступать сырые места, где просочилась подпочвенная влага и снежными налетами выступала по краям белая бахрома соли.

Наконец я подошел к тому месту, где кони метнулись в сторону. Следы копыт были разбросаны по хрустевшему солью песку. Кони здесь испуганно бились, откинув копытами комья сырой земли. Видно было, что Ходжом вскачь унесся с этого места.

Еще осторожнее ступая, чтобы не спугнуть кого-нибудь, я двинулся к бархану. Встречались какие-то мелкие птичьи следы, вроде степного жаворонка, и более крупные, подходящие к лапам птицы джур-джур, а под ними шли, четко вдавленные тяжестью в песок, пятипалые с острыми когтями странные следы очень крупного животного. Между его следами тянулась гладкая полоса, точно зверь волочил что-то по земле. Я поднялся на верх бархана, припав между зарослями саксаула. Сняв буденовку, осторожно приподнял голову.

Впереди за барханом была полувысохшая впадина, окруженная холмами, с лужицей посредине, вокруг которой спиралью шли белые круги высохшей соли.

Стая серых птиц, похожих на длинноклювых голубей, рассыпалась вокруг лужицы. Они весело перебегали быстрыми шажками, что-то искали в земле, и вдруг насторожились, повернув один глаз в сторону. Несколько птиц взлетело и опять опустилось на землю. Другая группа взметнулась в сторону. Внезапно из кустов выпрыгнуло какое-то очень длинное существо с короткими лапами и, схватив на лету одну птицу, упало обратно в низкие заросли. Все птицы разом взлетели и, сделав круг, стремительно унеслись вдаль.

Все произошло так быстро, что я даже не успел рассмотреть это существо, но любопытство и охотничий инстинкт заставили меня пробраться через заросли к тому месту, где оно скрылось.

Там я нашел только несколько серых и белых перьев, забрызганных кровью, и множество пятипалых следов с полосой от чего-то волочившегося сзади. Следы уходили и скрывались в песках. Я немного покружился в этом месте и вернулся к скалам.

Из предосторожности я поспешил скрыть свои следы.

Я забрал бурку, хуржумы, чайник с чаем и поднялся на скалу. Моя привычка быть недоверчивым заставила меня опять спуститься вниз к колодцам, чтобы изгладить признаки своего пребывания. Я разметал костер и засыпал его песком. Заметая за собой следы веткой саксаула, я дошел до скал. Песок пустыни — это листы книги, каждый кочевник прочтет то, что там написано.

Слои серого известняка косо выпирали из земли. Кое-где в выветренных щелях виднелась маленькая кудрявая травка и торчала душистая полынь...

Этими угрюмыми скалами начиналось каменистое плато, которое тянулось на север. Я вспомнил слова, сказанные однажды проводником: «Там, где кум (песок), можно найти воду, саксаул для костра и траву для коня. Там ты убьешь зайца и не умрешь с голоду. Но берегись попасть в буран на Кыр. На Кыре нет ни одного дерева, на Кыре нельзя прокопать колодца, оттуда уходят все звери, и только быстрые козы-джейраны пробегают через Кыр, гонимые волками...»

Я прополз по скалам в поисках трещины или норы, в которую можно было бы сложить вещи и спрятаться в случае неожиданной опасности.

Невдалеке, между двумя косо сходившимися слоями известняка, я запрятал хуржумы, бурку и чайник. Щель оказалась глубокой, но исследовать ее не было времени. Не теряя ни минуты, я растянулся на скале, положив возле себя винтовку, и проверил, есть ли патроны. Чтобы не упустить ни одной движущейся точки на горизонте, я должен был весь день пролежать под палящими лучами солнца.

С этого места, как с наблюдательной вышки, были видны на десятки верст однообразные барханы, точно волны застывшего песчаного моря, безнадежно унылого в своем молчании. К северу изгибался обрывистый край Кыра, ровной площадкой уходившего за горизонт. На Кыре не было видно ни одного корявого деревца, ни одного холмика, и в своей бесконечной глади каменная равнина выглядела еще более уныло, чем пески...

4. БОРЬБА С ЖИТЕЛЕМ ПУСТЫНИ

Солнце тихо поднималось, зажигая пустыню. Время текло медленно...

Изредка налетали легкие, едва заметные струи горячего воздуха, покачивавшие перед моим лицом маленькие розо-

вые головки кудрявой травки. Неустанный огонь песков жег глаза, и они устало слипались. В ушах стучало, кровь приливала к голове. Горизонт волнообразно дрожал, и на нем стало продвигаться что-то темное, громадное, пушистое.

Я устало вглядывался и почти автоматически соображал. Несомненно, по форме это лисица. Но таких больших я еще ни разу не видел. Она была больше лошади, двигалась мимо меня, все увеличиваясь и застилая горизонт. Лисица нюхала песок, и от ее дыхания взметались целые тучи пыли, точно от бурана. Отчего она была так велика? Мой разгоряченный мозг не мог понять, что, находясь очень близко от меня, она, естественно, закрывала горизонт.

Бесшумно пройдя мимо, лисица скрылась...

Расплавленное солнце двигалось по ультрамариновому небу, словно сконцентрировав на мне весь свой жар. Меня одолевала слабость. Перед глазами проплывали красные пятна. Борясь со сном, я открывал глаза и оглядывал горизонт. Ничего не изменилось: ни одной точки, ни одного нового холмика или яркого пятна. Только несколько больших темных птиц с шорохом пролетели и быстро опустились на песок между барханами.

Внезапно сзади меня раздалось легкое шипение и похрюкивание... Я осторожно повернулся, подняв отяжелевшие веки. Я подумал, что опять брежу, и старался уверить себя, что это было,— несомненно, ящерица. Но почему она саженной длины? У нее толстое белое брюхо, зеленая с грязными поперечными полосами спина и длинный бичеобразный, извивающийся хвост с зубчатым гребнем. Маленькие зеленые блестящие глазки уставились на меня. Пасть открылась, показывая частые острые зубы и длинный раздвоенный язык... Нет... Что за чепуха! Вероятно, это маленькая ящерица сидит у меня перед носом. Если я протяну руку, то легко достану до нее. Я протянул руку...

Тут я понял, что за зверь испугал коней Ходжома и ловил птицу...

Сонливость сразу прошла. Я сел и схватил винтовку. От моего жеста зверь подпрыгнул на месте, зашипел, раздувая пузырем шею, и начал бить хвостом по земле. Он был похож на крокодила. Крокодил пустыни?.. В другое время я застрелил бы его, чтобы осмотреть невиданного зверя. Но в данный момент, когда был дорог каждый патрон и выстрелы, разнесясь по пустыне, могли быть услышаны случайными путниками, я только осторожно отполз

и спрятался за скалу. Откуда здесь, в скалах и безводье, могут быть крокодилы? Я выглянул из-за скалы.

Ящер выполз на то место, где я лежал, и обнюхивал его, щелкая короткими челюстями. Пасть его была вдвое короче, чем у речного крокодила.

Когда я снова выглянул, ящер удалялся, и было слышно, как постукивали о каменистую почву его когтистые лапы.

Я осторожно двинулся вокруг по скалам, но вскоре снова наткнулся на хищника. Он присел на месте, подпрыгнул несколько раз, громко шипя, словно желая меня испугать, затем с поразительной быстротой описал хвостом полукруг и спрятался в щель.

«А нельзя ли с ним жить в дружбе?» — подумал я.

Мне нужно было следить за горизонтом, и я вновь взобрался на скалу, где лежал раньше; время от времени я поглядывал на расщелину, куда скрылся сухопутный крокодил.

Тут, перебирая все свои сведения о местной фауне, я вспомнил рассказ одного старого кочевника-туркмена.

Он уверял, что в песках, в самых недосягаемых, глухих местах, живет зверь — громадная ящерица, так называемый эсдергха[1], похожий на дракона или крокодила. У эсдергхи есть постоянные вековые враги — очковые змеи, живущие в пограничных персидских горах. От времени до времени эсдергха пробирается в горы и ведет там «хор-хор», то есть войну с этими ужасными ядовитыми змеями. Очковая змея никого, кроме эсдергхи, не боится, даже тигра и барса, которые сворачивают с пути, встречаясь с нею.

Иногда случается, что старая очковая змея убивает неопытного молодого эсдергху, но большей частью в хорхоре побеждает эсдергха. Туркмены очень почитают его и при встрече с ним дают ему дорогу.

Прошло много времени. Жар начал спадать, и я решил выпить из чайника воды и достать лепешки. Но все это находилось в той трещине, в которой сидел эсдергха. Я начал осторожно туда пробираться. Однако проникнуть в щель оказалось труднее, чем я ожидал. На темном фоне неба показалась шипящая голова, покрытая роговой чешуей, с выпуклыми зелеными глазами, с раскрытой па-

---

[1] Эсдергха, или зем-зем, также ичкимер — туркменское название варана, ящера из семейства Varanidae. Варан водится в Африке и в Азии, от Туркменистана до Индии; укрывается он в самых глухих песчаных местах. Достигает длины двух метров с половиной.

стью и гибким раздвоенным языком. Эсдергха шипел, хлопал челюстями и царапал пятипалыми лапами.

Я в нерешительности отступил обратно. Стрелять мне не хотелось. Выход из положения дал сам эсдергха. Заметив мое колебание, он выскочил из расщелины, несколько раз подпрыгнул на месте, загнув хвост, и большими скачками бросился ко мне. Я побежал назад на скалу.

Эсдергха бежал за мною, злобно шипя и стараясь ударами хвоста сбить меня с ног. Я отбивался от него прикладом ружья. Внезапно он отскочил, присел и большим прыжком бросился мне в лицо. Острые зубы встретили ложе винтовки. Я выхватил револьвер и выстрелил ящеру в голову.

Эсдергха высоко подпрыгнул и упал на бок с жалобным повизгиванием, словно скулящий щенок. Мне стало его жалко. Он несколько раз дернулся, колотя извивающимся хвостом по земле, и замер с раскрытыми выпученными зелеными глазами...

Убедившись, что ящер мертв, я осмотрел его и измерил. Он был длиною в четыре шага. Раздвоенный язык был на конце жесткий, роговой. На спине тоже жесткие роговые щитки. Пятипалые лапы оканчивались острыми когтями.

Чиркнув спичкой, я вошел в трещину и в глубине ее увидел кучку грязновато-белых продолговатых яиц, величиной с куриные. Они лежали в мягкой песчаной ямке. Теперь я понял, отчего эсдергха — очевидно, самка — так защищала вход в эту расщелину, и мне опять стало досадно за это ненужное убийство...

День кончался. Солнце село в багровые тучи, и ни одна новая точка не оживляла горизонт. Он был пуст, как и утром...

5. ВСАДНИКИ НА ГОРИЗОНТЕ

Прошла ночь, полная кошмарных снов.

Я лежал, завернувшись в бурку, положив под голову камень так, чтобы уши были открыты, и я мог слышать каждый шорох. В бреду ночи мне чудилось, что оживший эсдергха лезет на меня, что из степи скачут басмачи, и я захлебываюсь в соленой воде колодца. Я просыпался под вой шакалов, заливавшихся дьявольским визгом и смехом. Они подходили совсем близко, подбираясь к трупу эсдергхи, а я отпугивал их камнями.

Настало утро, такое же, как и вчера. Быть может,

последнее утро в моей жизни... Пустыня сверкала в солнечных лучах; ветер свистел, выводя тоскливые песни...

Я поднялся, усталый от проведенной ночи, с напряженными от ожидания нервами. Вынув часы, я стал высчитывать, когда должен вернуться Ходжом, если только он захочет и сможет вернуться.

Если он выехал сегодня на рассвете или раньше, то часам к одиннадцати или двенадцати должен быть здесь. Я решил, что буду ждать его до вечера. А потом, если он не приедет...

Трепетно, не обращая внимания на солнце, на жажду от соленой воды, уже без всякой сонливости оглядывал я горизонт, надеясь заметить между холмами белую папаху и красный халат.

Глаза, воспалившиеся и полуослепшие, напрягались, вглядываясь в далекий горизонт. Я сидел на скале, обхватив колени руками, уже не обращая внимания на то, что могу быть замечен. Лишь бы что-нибудь новое мелькнуло в этой клубящейся дали! Лишь бы появилась на горизонте новая точка, несущая спасение или смерть!

Прошло еще несколько томительных часов. Было без двадцати минут два. Ходжом давно должен был вернуться. Я вскакивал и, вытягиваясь во весь рост, осматривал горизонт.

Лежавший позади меня огромным бревном труп эсдергхи распух и издавал зловоние. Шакалы местами прогрызли ему горло и живот, и тонкие желтые кишки лежали, как расползшиеся черви.

Я поминутно глядел на часы. Разумеется, Ходжом никогда не приедет...

Что там вдали? Между холмами двигается маленькая точка, совсем маленькая, поминутно скрывающаяся в барханах. От радости я готов был кричать, стрелять из ружья и бежать ей навстречу. Я схватил винтовку и, подняв дуло, хотел было выстрелить, но вдруг заметил... За первой точкой двигалась вторая, третья — и так я насчитал восемь точек.

Я замер на скале с поднятым ружьем.

«Продал Ходжом! Продал! Значит, смерть! Неминуемая смерть! Недаром коршуны кружатся над моей головой... Эх! Поверил один раз «на совесть»! Но нет! Даром я свою жизнь не отдам! Я перестреляю из прикрытия всех их коней! Я буду биться до последнего патрона, который

приготовлю для себя! Иначе басмачи сожгут меня живым или выкроят ремни из моей спины...»

Я вспомнил об эсдергхе. Лучшей защитой было засесть в расщелине, где было его гнездо. Я пригнулся и осторожно сполз со скалы, потом внес в расщелину несколько камней и заложил ими вход. Пересчитав патроны, я отложил один отдельно... Затем я собрал все бывшие со мною документы, письма, ценные вещи и зарыл их под камнем...

Выглянул из расщелины. Можно было уже различить шесть всадников в разноцветных халатах, и только один был полуголый и сидел на лошади в одних штанах. Под другим всадником в белой папахе я узнал стройный силуэт Италмаза. Из расщелины было видно как раз то место, где мы с Ходжомом доставали воду из колодцев. Всадники, увешанные патронами, с винтовками за плечами, подъезжали, перебрасываясь словами. Один конь шел в поводу, нагруженный мешками и тюками. Мне показалось, что в этом коне я узнаю рыжего жеребца Ходжома.

6. РЕШИТЕЛЬНЫЕ МИНУТЫ

Крепко сжимая винтовку, я готовился к отпору. Всадники подъехали к колодцам, не принимая никаких мер предосторожности и не обращая никакого внимания на скалы. В этом мне чудилась какая-то военная хитрость, и я продолжал ждать. Они соскочили с коней, спутали им ноги и вбили приколы в землю. Только полуголый всадник продолжал сидеть на коне, опустив голову.

Двое басмачей стали разыскивать в колодцах годную воду. Трое пошли по пескам, ломая саксаул для костра, а один, коренастый, низкого роста басмач, в белой папахе, как у Ходжома, и в ярком пятнистом халате, подошел к сидевшему на лошади полуголому человеку. У полуголого человека руки были связаны за спиной и лицо в крови.

Мне показалось странным, что среди басмачей не было ни одного похожего на Ходжома. Схватив пленника за связанные сзади руки, басмач поволок его к колодцам. Связанный человек отбивался и делал попытки развязать руки. Коренастый басмач повалил его на землю и, ударяя нагайкой, стал о чем-то спрашивать. Лежавший на земле молчал. Мне сильно хотелось перестрелять басмачей, но я не был уверен, что успею это сделать раньше, чем прибегут ушедшие за саксаулом. Я сдержал себя и ждал.

Басмач прокричал ругательство, сунул пленнику в ноздри два пальца и оттянул его голову назад совсем так, как это делают баранам, которым хотят перерезать горло. Другой рукой он полез за ножом.

В отчаянно вырывавшемся пленнике я узнал Ходжома. Двое других басмачей, бросив ведра, подошли и, упираясь руками в бока, хохотали. Еще мгновение — и горло Ходжома будет перерезано от уха до уха острым текинским ножом. Неужели я не выручу его?

Я положил ружье на камень и, прицелившись басмачу в голову, выстрелил...

Державший пленника басмач дико вскрикнул, покачнулся и упал на Ходжома. Двое других испуганно замерли, пораженные неожиданным выстрелом. Вторым выстрелом я уложил другого басмача. Третий, схватившись за голову и пригнувшись к земле, бросился к коням и вскочил на первого попавшегося, забыв, что у коня спутаны ноги. Я сбросил его с седла третьим выстрелом.

Кони взбесились, сорвались с арканов и бросились в степь. Неуклюже прыгая на спутанных ногах, они разбегались по пескам. Трое басмачей, собиравших саксаул, побежали к ним, поймали ближайших и без оглядки поскакали в барханы.

Я спрыгнул со скалы и подбежал к Ходжому. Он сбросил с себя труп басмача и стоял, высокий, полуголый, весь в крови. Я разрезал сыромятные ремни, скручивавшие ему руки. Он тотчас же схватил лежавшую на песке винтовку и начал стрелять вдогонку скакавшим басмачам.

— Ладно! Хватит, Ходжом! Они удирают, как лисицы!

Он перестал стрелять и, посмотрев на меня, протянул мне руку:

— Мой дом — твой дом, ока!

Я весело хлопнул его по плечу и ответил так же:

— Моя кибитка — твоя кибитка, Ходжом!

7. СПАСЕНИЕ НА СЕВЕРЕ

Медлить было нельзя. Ходжом бросился ловить коней,— со спутанными ногами они убежали недалеко. Кони бились в руках Ходжома. Италмаз весь дрожал и не давался мне в руки.

Ходжом торопил с отъездом.

Я задержал его и помог взобраться на скалу.

Мы тщательно осмотрели горизонт. Вдали еще были видны три точки, которые, то появляясь, то исчезая в барханах, быстро удалялись.

Вдруг Ходжом вскрикнул:

— Ой! Что ты наделал!

Он подошел к раздувшемуся трупу эсдергхи.

— Ты убил его?

Я кивнул головой.

— Зачем? Это хороший зверь эсдергха! Нельзя его трогать! Беда будет!

— Беда не от этого, а от тех собак! — ответил я, указывая в сторону ускакавших басмачей.

— Раз ты его убил, надо его зарыть. А тех,— он указал рукой на трупы басмачей,— пусть съедят шакалы за их негодную жизнь!

— Где сейчас басмачи? Ты узнал, где их посты? — спросил я.

Ходжом показал рукой на три стороны горизонта.

— Вон там, там и там! А вон там их нет! — и он указал на равнину.

— Значит, придется ехать на Кыр?

— Ничего не поделаешь! У шихов я взял зерна для лошадей на три дня и лепешки. Басмачи меня захватили по дороге. Не знаю, почему они повернули к этой скале.

— Твое счастье, что сюда, а не в другое место!

Ходжом посмотрел мне в глаза и по-туркменски одобрительно зацокал.

Мы закопали эсдергху в песок, сняли с басмачей патроны, подобрали их винтовки и навьючили на басмаческих коней мешки и хуржумы.

Через несколько минут я сидел на Италмазе, Ходжом — на своем Рыжем, и в поводу у нас были три лошади с зерном, водою и вьюками.

Сведения о расположении басмачей, тщательно собранные Ходжомом у шихов, были очень ценные. Надо было торопиться доставить их командиру отряда. Хотя дорога через Кыр была очень тяжела, но благодаря запасу корма и заводным коням можно было надеяться пройти каменную равнину.

Ровным «волчьим шагом» пустыни мы двинулись на север через Кыр. Я оглянулся еще раз.

На ярком синем небе под палящим солнцем одиноко вырисовывалась серая скала, и на нее, кружась в воздухе, спускались коршуны...

1928

ПЛАВИЛЬЩИКИ ВАНДЖА

1

Чтобы понять, как добывались в глубокую старину чугун, железо и сталь, можно не углубляться в древние фолианты, где упоминается об искусных мастерах, отливавших серый ковкий металл, из которого потом изготовлялись «благородные мечи», «жадно впивающиеся острия копий» или «звонкие топоры». Наши современники могли своими глазами видеть подобные первобытные «печи-домницы», раздуваемые ручными мехами, еще сохранившиеся кое-где в нашем необъятном Союзе рядом с грандиозными железоплавильными заводами Магнитогорска или Донбасса, например, в глухих лесных уголках Карельской АССР или в малодоступных долинах Памира, где простые литейщики передаваемыми из рода в род методами получали чугун в «сыродутных домницах» и затем на небольших наковальнях выковывали молотами простейшие сельскохозяйственные орудия, топоры, ножи, посуду и другие предметы домашнего обихода.

В таджикском поселке Гарм, что в долине Каратегина, автор услышал от таджика-комсомольца Кудрата историю о том, как плавилась руда и получалось железо по старинному способу искусными мастерами (усто) в малодоступной долине Вандж, затерянной в предгорьях Памира, и о других событиях, волновавших в те дни население этой пограничной местности.

Рассказ Кудрата может дать наглядное представление и о способе добычи руды и получения железа, практиковавшемся много веков тому назад.

Вот эта история.

«Я еще не настоящий мастер — усто. Я даже еще не младший мастер, усто-хурдак. Мне предстоит еще много работать под руководством опытного, пропитанного дымом и копотью кузнеца, чтобы научиться всем его искусным приемам: как сковать нож (кард), или наконечник плуга (ноук), или изогнутый серп (урамк). Все-таки я добьюсь того, что железо под моим молотком и по моему желанию будет изгибаться, растягиваться и принимать форму топорика (теша) или упругих ножниц для стрижки овец (кайчин).

Но мало еще быть ловким усто — мастером, надо еще уметь разбираться в сорте железа: если оно мягкое — его надо сплющить в подковы (наль); а если оно крепкое, твердое (кырч), вышедшее из самого сердца домницы, то из него можно сковать подпилок (суюн), или прочный, не

боящийся сучков топор (табар), или звонкую и гибкую саблю (шамшир), достойную блеснуть в руке бесстрашного красного воина (кзыл-аскера).

Вы хотите, чтобы я рассказал вам, как добывается железо? Хорошо, я вам это объясню, но запомните, что железо — это не простой кусок серого камня, из которого что захочешь, то и сделаешь. Нет, далеко не так. Имеется много сортов железа, и каждый сорт таит в себе такие неожиданные причуды, что если перед вами кусок железа, то не вы будете им распоряжаться, а он вами: один кусок скажет вам: «Из меня можно сделать только сковороду, ни больше и ни меньше», а другой кусок приведет вас в восторг: вы его сбережете, чтобы выковать винтовку, за которую каждый охотник даст много горстей серебра и в придачу только что убитого козла.

Итак, я вам расскажу, как у нас, в долине Ванджа, наши мастера-усто выделывают железо.

Вы знаете нашу речку Вандж? Не знаете? Неудивительно, так как редко кто забирается на наши выси, тянущиеся к высочайшим хребтам Памира. Но все-таки нашу долину Вандж знают хорошо жители и соседних, и более дальних долин — Язгулема и Вахшио, все дарвазцы и даже шугнанцы. Раньше афганцы нередко приезжали в нашу Ванджскую долину и привозили с собой и кожу для обуви, и пестрые чулки, и шерстяные халаты — все с одной целью: выменять на свои товары наше славное, прочное железо, потому что на деньги мы своих изделий никогда не продаем. Зачем деньги, когда нам привезут и башмаки, и домотканую бязь, сушеный урюк, соль и прочее — всего не пересчитаешь!

Наша речка Вандж вытекает из-под самой вершины величайшей горы Гармо, которая в вечных ледниках сверкает своей белоснежной чалмой, возвышаясь над всеми окрестными хребтами.

И днем и ночью с беспрерывным рокотом несет Вандж вниз мутные воды, то высыхая в мелкую речушку, то, когда начнут таять ледники, раздуваясь, заливая долину, и, в пене прыгая через камни, катится до самого Пянджа.

Реку Пяндж вы, конечно, знаете? Как, и ее вы не знаете? Так что вы знаете вообще? Пяндж — это самая большая река в Таджикистане, а может быть, и во всем мире. Пяндж — значит «пятерня». В нее стекаются пять горных рек, а затем Пяндж, соединившись с водами других встречных речек, разбухает, надолго отделяя нас от Афганистана. Пониже на Пяндже, за порогами, начиная от Серая, плавают сперва длинные плоскодонные лодки —

кимэ, или каики, а уже от города Термеза и Келифа ходят наши советские пароходы и тянут баржи. В этом месте река называется Амин-Дэрью, или Катта-Дэрья,— Великая река. А про Амин-Дэрью, величайшую из рек, вы, конечно, уже слышали, а может быть, даже ее и видели? Значит, Пяндж — это узкий хвост змееподобной реки Амин-Дэрьи[1], вытекающей из величайшего узла всех Памирских гор и бегущей через раскаленные пески до самого Аральского моря.

Поздней осенью, когда лопается орех и закончены полевые работы, вверх по долине Ванджа длинной вереницей тянутся артели людей, отправляющихся в копи за железом.

Узкими тропинками, высеченными вдоль обрывистых горных склонов, путники идут медленно, поднимаясь все выше к вершинами гор. У каждого за спиной мешок, а в руках длинная прочная палка (шикорчуб) с железным наконечником. На нее приходится опираться, особенно при спуске, когда по каменным глыбам легко соскользнуть и оборваться в глубокую пропасть, где на дне свирепо бурлит неугомонная горная речка.

Железная руда в хребте над рекой Вандж встречается в нескольких местах, но главных копей имеется три: первая Те-Хариви, наиболее разрабатываемая, около селения Те-Харв; вторая — Пой-и-Мазар, в самых верховьях реки Вандж, возле селения того же имени; и, наконец, старинная копь при селении Потоу.

Встречается железная руда и в других местах, но там она плохого качества и к плавке непригодна.

Лучшая руда — из Те-Харва, а потом из Потоу.

Копи находятся высоко в горах, так что путешествие за рудой дело нелегкое, за ней отправляются только опытные и сильные горцы, которые в состоянии пронести на спине тяжелый вьюк.

Теперь я расскажу вам об истории, происшедшей со мной, когда я впервые отправился с нашими горцами за железом. Я был сиротой, жил у дяди, мне исполнилось 15 лет.

У нас в селении обычно собираются несколько хозяев и общими силами производят выплавку одной домницы. Так и на этот раз пришли к моему дяде три наших соседа, уселись в кружок на земляных нарах (дукон), курили чилим из пустой тыквы, пили зеленый чай и прикидывали, сколько удастся выплавить железа.

---

[1] Амин-Дэрья — Амударья.

— Пять человек трижды сходят за рудой, и каждый из них принесет по три вьюка — «як мард санг», «то, что может снести человек»[1],— сказал старый Абдыр-Бобо.

— Мало по три вьюка. Выплавится мало железа. Сходить по пять раз,— возразил молодой Максум-охотник. Он был силен, как бык.

— Ты думаешь, что Абдыр-Бобо старик и боится сходить лишний раз? — вставил всегда молчавший Файзали.— Дело не в том. А хватит ли у нас угля и дров? Если плавка остановится на полпути — пропадут труды за весь год.

— Сколько угля, столько и железа,— подтвердил Абдыр-Бобо.

Мой дядя подсчитывал, сколько собрано топлива. Каждый прибавлял, сколько вьюков он еще подвезет и сложит в наш дровяной склад и угольный (бунг).

— И рады бы привезти дров побольше,— говорили соседи,— да сами знаете, как трудно собирать арчу[2], на какие выси приходится за ней взбираться. Ведь на наших горах леса не больше, чем пуха на тыкве.

Во время разговора я сидел в углу и следил за тем, чтобы чашки наших гостей не оставались пустыми. Я вышел с чугунным чайником (кумганом) во двор, чтобы зачерпнуть в канавке свежей воды, и увидел всадника. Он бесшумно подъехал к нашей хижине и прислушивался к голосам, доносившимся изнутри.

Несмотря на сумерки, меня сразу поразил своей красотой его конь. В бледных лучах молодого месяца черная шерсть коня блестела, как шелковая. Маленькая головка гордо сидела на выгнутой шее и хвост был на отлете — признаки драгоценной арабской породы.

Лицо всадника, обрамленное бородкой, казалось особенно бледным, и черные глаза пристально всматривались из-под белой чалмы. Всадник тронул меня концом нагайки, а конь нетерпеливо взмахивал головой и грыз удила.

— Кто здесь живет? Махмед Сафид-усто?

— Да, ты не ошибся. Позвать его?

— Ты сын его?

— Нет, племянник.

— А кто у него сейчас?

— Наши соседи.— И я назвал их.

Голоса в хижине смолкли. Конь бил копытом по каменистой почве. Дядя услышал шум и показался в дверях.

---

[1] Одна «ноша» человека — приблизительно 48—50 килограммов.

[2] Арча — древовидный можжевельник, ствол которого не имеет сучков, почему и является ценным материалом для изготовления карандашей.

— Да будет твой приход счастливым! Откуда ты, путник? — дядя подошел к коню и взял его за повод и стремя, а сам вглядывался в лицо путника.

— Благословение всевидящего да будет над твоим домом! Кто у тебя?

— Соседи.

— Кто это Максум-охотник? Я его не знаю, из молодых?

— Охотник. Живет недавно.

— Надежный?

— Что могу сказать? Он долго здесь не жил, уходил на север.

— Зачем же попадает к вам в артель бродяга, галычà? Человек, в котором ты не уверен,— тайный враг. Слушай...— и всадник наклонился к самому уху дяди и что-то долго шептал ему. Я разобрал только несколько слов: «...ты сделаешь двадцать сабель, и я пришлю тебе для этого опытного бродячего кузнеца».

— Хорошо, господин! (Хоп, таксыр!) — повторял шепотом дядя, скрестив руки на груди.

— Помни же, скоро я опять приеду и упаду как град среди ясного дня! Ради великого дела все должно быть готово к сроку!

Бледный всадник тронул коня высоким острым каблуком желтого сапога. Конь, побрякивая уздечкой, легко прошел по двору, и несколько мгновений над каменным забором мелькала удалявшаяся белая чалма незнакомца.

Когда дядя вернулся в хижину, он сперва молчал, соединив концы пальцев, потом стал доказывать, что в домницу надо засыпать побольше руды. Пять вьюков на каждого не хватит. Надо по меньшей мере принести шесть-семь вьюков или же прибавить к артели еще двух-трех соседей.

Все согласились принести лишнюю «ношу» руды и решили завтра же двинуться в путь.

— Мой Кудрат тоже пойдет,— сказал дядя, указав на меня,— хоть «полноши» да принесет, мальчик крепкий.

— А кто это заезжал к тебе? — спросил Максум-охотник.

— Один язгулемец ехал мимо и спрашивал дорогу. Едет он вниз по реке долг получить.

Дядя говорил неправду. У простого язгулемца не могло быть такого коня, и дядя не стал бы его называть «господином» — таксыр.

2

Мы собрались еще в темноте. Звонко перекликались петухи. Небо казалось не светлее скал. Мерцая, вспыхивали тусклые звезды. Собака терлась у моих ног, но я ее не видел. Путь был далек и труден.

Старый Абдыр-Бобо пошел было впереди, но остановился:

— Максум, иди первый, у тебя шаг легкий.

Я шел последним, и за мной увязался наш мохнатый пес Сиахпуш.

Два мальчика, моих сверстника, должны были провести четырех вьючных лошадей к подножию той горы, откуда мы собирались брать железную руду. Они пошли руслом реки, а мы — хребтами.

Мы обошли свои хижины. В трещинах стен, сложенных из камней, струился желтый свет очагов. Всюду по канавкам журчала вода. В последней землянке Максума (он ее выстроил всего год назад) в дверях стояла его старая мать и тонким голосом причитала:

— О святой пророк Доуд, о младший мастер кузнецов, о сорок четыре пророка, благословите начатое дело!

— Да отринется несчастье! — ответили шедшие впереди.

Мы перелезали через каменные заборы, прыгали через ямы, осторожно обходили крошечные поля пшеницы и ячменя и наконец выбрались на едва заметную тропинку.

Утесы стали лиловыми, резче выделяясь на светлевшем небе. Ущелья еще чернели с заснувшими в них седыми туманами, когда самый высокий пик заалел, точно облитый малиновым соком. Восток быстро золотился, и, когда первые лучи стали окрашивать острые края скал, отовсюду, отрываясь, поплыли туманные облака, будто увлекаемые подымавшимся солнцем.

Мы шли тропинками, терявшимися в каменных глыбах: через них приходилось перелезать, цепляясь руками, и пес Сиахпуш не раз скулил, пока я его не втаскивал за собой. Мы переходили узкие ущелья по трепетавшим мостикам из двух жердей, огибали висевшие над пропастью скалы по «балконам» из кольев, вбитых в камень нашими заботливыми дедами.

Впереди мелькала красно-белая полосатая спина халата Максума и на ней старое ружье (мыльтык) с двумя рожками подпорок. В полдень мы подошли к маленькому водопаду: узкая серебряная струя воды скатывалась с громадного камня и уносилась вниз, в холодный полумрак ущелья.

Здесь мы отдыхали, ели лепешки с изюмом, тесто из тутовых ягод. Никогда вода не казалась такой вкусной, как из этой холодной струи, вытекавшей из твердого, как лед, снега, сползавшего сверху, с вершины горы.

Максум поманил меня, и я вскарабкался на выступ скалы, где он стоял. Он провел меня дальше и показал на землю, размытую просачивавшейся водой. На земле было видно множество следов — маленьких и больших — от раздвоенных копытцев.

— Сюда приходят на водопой козлы (оху). А вот взгляни-ка: что это?

Треугольные продолговатые пятки и пальцы с остро врезавшимися когтями прошли через сеть мелких следов, тяжело вдавившись во влажную почву.

— Это рыжий медведь (хырс): он всегда блуждает одиноко и прячется в можжевельнике, подстерегая козлов...

Мы тронулись в путь. Теперь я шел все время за Максумом. И раза два он мне указывал на хребет, где желтыми точками пробирались дикие козы, быстро скрываясь среди черных скал. Уже к концу дня, когда солнце опустилось в ущелье и все небо пылало красным заревом, мы пришли к горе с железной рудой. Едва мы успели расползтись по горе, чтобы набрать колючек и круглых, как подушки, кустов вереска с узловатыми корневищами (кампермаш), «старухин кулак», как сразу настала темная ночь.

Сойдясь опять вместе, мы стали готовиться к ночевке. Старик Абдыр-Бобо высек искру кремнем. Затлел трут, сделанный из пропитанной порохом сердцевины речного камыша. Когда разгорелся костер и закипел железный чайник, к нам подошли несколько человек и уселись на корточках. Наши старики им сказали: «Салям!» Это все были знакомые жители других кишлаков нашей долины. Они тоже собирались выламывать железную руду.

— Наша долина Ванджа,— говорил дядя,— это одна большая кузница. Кто из нас не льет железа? Только ленивый.

Разговоры велись шепотом:

— Говорят, что на днях надо ожидать приезда князей-беков. Они переправились через Пяндж и пробираются верхними тропами по хребтам Язгулема. Их несколько сотен. У них винтовки — «инглиз», и они режут всех, кто стоит за бедняков и не поддерживает святых ишанов и правую веру...

Я вспомнил бледного всадника и слова дяди, с поклонами называвшего его «таксыр» — господин.

Никто в разговоре не решался произнести слова «басмач» (душитель), а все называли их беками, князьями.

Максум-охотник молчал, опустив голову, точно дремал. Но вскоре он поднялся и медленно удалился в темноту, взяв с собой ружье. Ночью он не вернулся. Мы легли звездой вокруг костра, грея то спину, то грудь. С горных вершин тянуло ледяным холодом, и я, свернувшись, как змея, дрожал всю ночь, которая казалась бесконечной. Я вставал, подбрасывал в костер ветки вереска и грел руки над разгоравшимся ярким пламенем.

Утром началась горячая работа. На склоне горы, среди темных, угрюмых скал, было несколько узких, как норы, входов, пробитых, как говорили старики, тысячу лет назад. Когда мы подошли к одному входу, Максум уже поджидал нас. Некоторые зажгли светильные ветки — чираги[1], и мы углубились в темную, как ночь, шахту, опускающуюся постепенно вниз. Пройдя несколько шагов, дядя остановился и на каменном выступе потолка накоптил чирагом какую-то завитушку, сказав, что это он приветствовал злых духов и драконов (ардахо̀р), живущих в горе: он обращался с просьбой к их владыке — змеиному царю (шахи-моро), чтобы он и все его страшные слуги были милостивы к нашей работе.

У каждого из нас была завернутая в тряпку связка чирагов. Шахта имела много разветвлений, где то и дело мелькали огоньки и слышались глухие удары. Всюду шла работа, Абдыр-Бобо провел нас через узкий ход, где раза два пришлось ползти на четвереньках.

— Во всех шахтах железной руды так много,— сказал Абдыр-Бобо,— что всем хватит: и сыновьям, и внукам нашим. Берите только кирку и работайте.

Мы пришли в просторную, но низкую пещеру. В ней было сыро, и всюду по стенам просачивалась вода.

Дядя воткнул несколько чирагов в стены: чираги горели дрожащим светом и потрескивали, распространяя чад и дым.

Двое должны были выламывать руду, а остальные выносить ее наружу и по очереди сменять усталых забойщиков.

Сняв халаты и рубахи, два старика начали изо всех сил ударять кирками в темную стену шахты, где виднелся идущий насквозь красноватый слой руды. Мы подбирали отвалившиеся куски, разбивали их на более мелкие и складывали в мешки за спиной. Работа забойщиков была очень тяжелая: они долго и сильно долбили в одно и то же место, пока откалывался кусок руды.

---

[1] Чира́г — сухая ветка чинара или тута, обмазанная тестом из кунжутного масла и раздавленных семян маслянистого касторового растения, обсыпанная для прочности мукой.

Когда двое нагрузились рудой, они ушли, остальные, сменив уставших, продолжали работу.

Когда мне насыпали руды в мешок, я едва устоял,— такой тяжелой показалась мне ноша, но, расставив для крепости ноги, я старался и виду не показать, что мне тяжело. Я выходил вдвоем с Максумом и едва за ним поспевал: он шел быстро, нагнувшись под тяжелой ношей, и напевал.

Далеко внизу, под горой, виднелись покрытые полосатыми войлоками наши четыре коня. Я сползал с горы, цепляясь за каменные выступы, боясь покатиться, спотыкался, падал и был уже недалеко от коней, как вдруг мне пришлось сразу спрятаться за камни.

По склону противоположной горы двигались всадники. Их было много, очень много. Они выезжали один за другим из-за хребта и извилистой вереницей спускались по узенькой тропинке, направляясь к реке. Некоторые, доехав до русла, поили коней и неслись вскачь, догоняя уехавших вперед.

«Это они,— решил я.— Кто же, кроме них, может появиться в этой глуши?» У них за спиной поблескивали винтовки; у многих на боку висели кривые сабли. Халаты укорочены до колен, и у некоторых головы повязаны цветными платками с узлом на лбу: они походили на басмачей, отправившихся в набег. Я тревожно вглядывался в этих не виданных мной до сих пор людей. Всадники были самого разного возраста: и старики, согнувшиеся крючком, и мальчишки, и мужчины средних лет.

Несколько человек остановились около наших коней, соскочили на землю и стали спорить с нашими мальчиками-погонщиками. До меня ясно доносились крики одного басмача:

— Ты не хочешь помочь святому делу? Так ты язычник (кафир)? Ты отрекся от правой веры? Голову отсеку тебе! — И, выхватив кривую саблю, он взмахнул ею.

Оба мальчика отбежали, а басмачи сбросили с наших коней вьюки, расседлали своих коней, и не успел я сообразить, в чем дело, как четыре басмача, сидя на наших конях, уже скакали по дороге.

Когда последние басмачи скрылись в облаке пыли, я спустился вниз, и одновременно со мной спустился Максум. Он тоже пролежал все это время за камнями.

Максум осторожно снял свой мешок с рудой и стал осматривать оставленных басмачами коней. У одного копыто треснуло до самой бабки, у других спины были сбиты и кровь сочилась из гноящихся ран. Четвертый конь,

худой, с выступавшими ребрами, стоял, раскорячив ноги и понуро опустив голову.

— Перестаньте реветь, как ослы перед репейником! — крикнул Максум на мальчиков, которые всхлипывали, утирая слезы.— Расскажите, что вам говорили эти разбойники?

— Они звали нас пойти вместе с ними в долину Каратегина, чтобы «проучить» там тех, кто не поддерживает святую веру и ссыпает хлеб в Совет.

— И оставили для похода этих одров?

— Они смеялись и говорили, что дарят нам замечательных коней-скакунов.

— Негодяи, паршивые собаки! — ругался Максум.— Это же крестьянские язгулемские кони. Бродяги насильно забрали их, искалечили и подбросили нам. А язгулемцы скоро прибегут сюда их разыскивать и заберут своих коней. Наших коней нам больше не видать, а завести новых нам не под силу.

Вскоре спустились с горы другие два наших соседа. Обложив раны коней войлоком, они кое-как наладили вьючные седла. Мы нагрузили коней рудой; каждый из нас тоже нагрузился рудой, и все мы, сгибаясь под тяжестью вьюков, поплелись обратно домой.

3

В нашем кишлаке изо всех хижин неслись крики и плач. Басмачи пробыли там целый день, забрали весь хлеб, весь урожай пшеницы и ячменя и, как тучи саранчи, пронеслись дальше. С чем мы останемся на зиму? Чем будем кормиться долгие холодные месяцы?

К вечеру наша артель опять собралась у дяди, чтобы обсудить, что делать.

— Железо нас кормит,— сказал Абдыр-Бобо.— Мы выменяем на железо и хлеб, и шерсть, и хлопок.

— Уходить надо в Фергану на заработки,— сказал Файзали.— Уходить надо сейчас, пока снегом не завалило перевалы.

Максум-охотник убеждал никуда не бежать, а еще раз сходить за железной рудой и приняться за выплавку.

— Будет весна — опять засеем поля. А уйдем, когда еще вернемся?.. Не сладко скитаться на чужбине, я уже испытал это... Конечно, железо нас прокормит.

Так и решили. Закурили чилим. Каждый, обтирая рукавом чилим, булькая водой, затягивался дымом.

Абдыр-Бобо, взяв чилим, воскликнул:

— Скажи нам, чилим, как нам поступить? Когда тебя закуришь, всегда сердце возрадуется. Почему ты даешь нам радость?

Потом старик затянулся три раза и наклонил голову, как будто прислушивался к бульканью внутри тыквы.

— Чилим мне сказал: «Я потому дарю радость сердцу, что сам я полон огня и душистого дыма. Будете и вы,— говорит чилим,— иметь огонь в сердце и снова увидите счастье».

...Возле дядиного дома был сарай. Там в течение всего лета складывались дрова и уголь. Наши соседи тоже притащили в сарай свои запасы дров и угля.

К одной из наружных стенок этого сарая была сделана пристройка в виде высокой бутылки. Стенки были сложены из камней, скрепленных глиной. Эта каменная «бутылка» и была той домницей, в которой должно было плавиться железо. Она не маленькая: если высокий человек поднимет руку, то едва достанет до жерла (салохи) этой «бутылки»-домницы.

Стенка, соединяющая домницу с сараем, имела узкую щель, или дверцу (дари́к). Через эту дверцу вся домница наполнялась доверху дровами, короткими поленьями арчи и узловатыми стволами кустарника ангет. Нужно было пользоваться всем, что только можно было найти в горах, где дров так мало, что иногда трудно развести костер.

Дрова были подожжены через дверцу, и тогда всю щель-дарик заложили маленькими плоскими камнями, скрепленными глиной так, чтобы стенка была в то же время и тонкой, и достаточно прочной, иначе железо могло ее продавить.

Старый, опытный литейщик Абдыр-Бобо начал распоряжаться и указывать каждому, что ему делать.

Я и два мальчика, ходившие за конями, дежурили по очереди у верхушки домницы. Взрослые по двое работали у ее основания.

Я вскарабкался на выступ близ жерла домницы, из которого валил густой дым. Здесь я наблюдал, что делается внутри домницы. Я не смел садиться, чтобы не заснуть, да и негде было. Дрова прогорели и обратились в раскаленные угли. Я крикнул работавшим внизу:

— Принимай свою очередь! (Гоу-та быгир!)

Тогда Абдыр-Бобо пробил внизу тонкой стенки дарика небольшое отверстие и вставил глиняную трубку — билюль. Таких трубок было заготовлено десятка два, так как они быстро прогорают. Через эту трубку с помощью двух козьих мехов (шерстью наружу) Максум начал раздувать

уголь в домнице. Работать мехами предстояло несколько дней, беспрерывно усиливая жар настолько, чтобы руда расплавилась и потекла яркой, сверкающей, как солнце, струей.

Отработав свой срок, Максум кричал:

— Принимай свою очередь!

И другой работник брался за мехи.

Старый Абдыр-Бобо, взобравшись наверх, учил меня:

— Дрова сгорели, и уголья опустились, теперь ты всыпай корзину угля и одну миску руды.

Корзина угля была большая и тяжелая, и старик помог мне опрокинуть ее в горло домницы. Вся руда была расколота на мелкие кусочки величиной с абрикос.

Я отстоял свой час, прикрывая лицо платком от невыносимого чада и жара, и заглядывал внутрь домницы. Там постепенно опускался уголь. Каждый раз, когда я всыпал новую корзину угля и миску руды, я кричал:

— Принимай свою очередь!

Одного раздувальщика сменял другой, и с новой силой он двигал мехи, а уставший утирал лоб, отходил выпить чашку воды и ложился тут же, близ домницы, завернувшись в старый тулуп.

Через глиняную трубку работавший мехами мог узнавать, много ли расплавилось железа и как высоко оно наполняло дно домницы. Для этого он пропускал внутрь трубки деревянную палочку: если она горит медленно — железа еще нет, но когда палочка сразу вспыхивает ярким пламенем,— значит, она касается расплавленного железа. Тогда отверстие трубки закладывалось камешком, замазывалось глиной и еще заваливалось снаружи землей. Над этим местом, на три-четыре пальца выше стенки дарика, пробивалось новое отверстие и вставлялась новая трубка. Снова начинали работать мехи, вдувая воздух и раскаляя уголья домницы.

И так, беспрерывно, чтобы узнать, как высоко поднялось расплавленное железо, надо было все выше пробивать отверстие в стенке дарика, вставлять новые трубки, а нижнее отверстие заделывать и заваливать землей: земляной бугор поднимался все выше, придерживая стенку дарика, чтобы она не проломилась под тяжестью железа.

Самыми приятными минутами отдыха было время, когда дядя сзывал нас завтракать. Утром, на заре, по обычаю приносили нам мелкие клецки (умоч) с кислым молоком, в полдень — гороховую лапшу с хлебом; перед закатом солнца ели окрошку из мелконарезанных груш и грецких орехов; наконец, на ночь дядя угощал нас горячим кипяченым молоком с накрошенным в него хлебом (ширджуш).

Дядя, конечно, отдавал свои последние запасы еды, но ведь так кормят повсюду: когда работают артелью, то угощают каждый по очереди,— это называется хешар.

4

Прошло два дня плавки: два дня и две ночи мы не отходили от домницы, ложились отдыхать возле нее, греясь в ее пышущих жаром красных лучах. Домница пожирала наши запасы железной руды и с еще большей жадностью запасы угля. Абдыр-Бобо и дядя все ходили подсчитывать запасы угля.

— Вай-вай-уляй! Угля мало, приходит к концу... потухнет домница, не выплавим железа. Все железо застынет, и все труды пропадут. Без железа и без хлеба будем! Вай-вай-уляй!

Но все мы — три мальчика и четверо взрослых — работали упорно.

У меня всякий сон пропадал, когда в очередь становились Максум и Абдыр-Бобо. Оба с важным видом начинали по очереди рассказывать сказки, чтобы не заснуть. Один — про то, как осел и верблюд отстали от каравана и осел, напившись кумысу, начал распевать песни, а это услышал лев и прибежал...

Другой про то, как мудрый ворон охранял ястреба от проделок лисицы и перехитрил ее...

Максум на это стал рассказывать такую сказку, что все мы слушали и ничего не понимали.

— Мудро или не мудро, хитро иль не хитро, начинается наша небылица от пестрой птицы, от красной лисицы. Усевшись в кружок, покручивая усы, подъедая чашу кислого молока, повели мы рассказ издалека. Надо было нам поехать, отвезти железо, хотели мы оседлать осла. Стоит он белый, как хлопчатник, не может пошевелиться от старости. Как мы его ни тащили, не могли сдвинуть с места. Вышел нам навстречу цыпленок. Навьючили мы на него четыре вьюка железа. Сами сели верхом и поехали по дороге! Сзади бежит лисица и кричит: «Седло съехало набок!» Сняли мы седло, рассмотрели: на спине у цыпленка нарыв. Посыпали мы сверху землей, смотрим — на спине у цыпленка вырос тополь, а на нем сидит аист и кричит: «Постой, не бросай камня, дай я сперва молитву, фатиху, пропою».

На этом месте Максум прервал свою сказку. В темноте ночи, в красном свете от багровых отблесков дыма, вырывавшегося из горла домницы, показались три человека.

Они подошли бесшумно и остановились, слушая сказку Максума. Один из них был старый, седобородый мулла из соседнего кишлака, другой — бродячий кузнец. Третий — тот бледный незнакомец, который на красивом коне приезжал вечером к дяде. В руках у него была маленькая блестящая винтовка — «инглиз».

— Слушаю я, как ты свою фатиху поешь. А ведь она у тебя предсмертная, я тебя узнал: ты ведь с собаками кзыл-аскерами дрался против нас, защитников веры...

Максум и не дрогнул, а продолжал раздувать козий мех.

— Не знаю, где ты видел меня. Я тебя вижу первый раз. Но если ты мне сейчас прострелишь голову, наши ребята от страха разбегутся, домница потухнет, железо остынет. Кому от этого будет прибыль? Дай нам лучше сперва выплавить железо, а потом и приканчивай.

Тут вдали послышались выстрелы и пронзительные крики.

— Это наши князья производят суд и расправу. Сейчас и сюда подойдут.

А старый мулла шамкает беззубым ртом:

— Этот охотник Максум — самый неверный сын шайтана. Никогда не делает пятикратного намаза. Никогда не жертвует «на коврик мулле». Он продал свою душу красному шайтану, и все гнездо, весь дом здесь из одних нечестивых...

Я стоял наверху, из жезла домницы огнем обжигало, а у меня руки и ноги похолодели. Я знал, что нам нужно было еще два дня плавить железо; потом два-три дня оно должно было остывать. Тогда выламывалась тонкая стенка дарика, и все железо круглым столбом, болванкой, должно вывалиться внутрь сарая. Там железо разбивается молотами на мелкие куски. А эти куски будет ковать кузнец на наковальне, выделывая из них все, что нужно. В сердцевине более твердое железо, на топоры и ножи, а по краям — более мягкое.

«Но если мулла и басмачи начнут творить свой жестокий суд, что с нами будет?» Голова моя горела. Я посматривал на бледного басмача, на Максума, который как ни в чем не бывало раздувал мехи, и на дядю: он вышел из дому и, скрестив руки на груди, кланялся пришедшим.

— Войди в мой дом, таксыр! Да будет тебе просторно! Все мое — ковер под твоими ногами.

— Погоди,— ответил басмач,— я сперва пристрелю этого черного бродягу...

— О таксыр,— продолжал дядя,— какой дорогой гость приехал! Ты с толпой сподвижников пророка точно месяц с великолепным полчищем звезд.

— Сейчас, старик, сейчас...

— Не режь курицу, когда она несет яйца! — воскликнул дядя.— Дай нашей артели закончить плавку руды, и мы из нового железа сделаем тебе все, что твоя мудрая речь нам приказала. Разве ты не хочешь получить от нас двадцать острых сабель для твоих храбрых, как львы, джигитов?

— Да, я знаю. Ты мне сделаешь все, что я приказал. А вот я привел мастера-кузнеца,— он только ждет железа. Скоро ли вы кончите плавку? — Басмач, не спуская глаз с Максума, прошел вперед и вместе со своими спутниками расположился на ковре, разостланном перед домом.

Я оставался на верху домницы и следил за жаром внутри нее. Красные, как золото, уголья сильно опустились,— нужно было снова засыпать ее доверху.

— Принимай свою очередь! — закричал я, схватив заготовленную корзину угля.

— Абдыр-Бобо, Файзули, принимайте очередь! — крикнул Максум.

Но обоих стариков уже не было,— взяв туфли в руки, они ускользнули со двора.

Оба мальчика, помогавшие мне следить за домницей, подбежали к Максуму:

— Мы будем раздувать мехи... Передохни, Максум!

— Да где вам справиться с мехами!

— Не бойся, давай! Мы не уступим взрослым.

Максум передал мехи мальчикам, а сам, разминая спину, медленно поднялся на домницу, помог мне опрокинуть тяжелую корзину с углем и миску с рудой.

Мехи громко сопели. Отовсюду по селению неслись крики, и трудно было расслышать слова Максума, разгребавшего всыпанные в домницу уголья длинной кочергой.

— Кудрат, покажи, что не погибло еще между людьми благородство души. В тебе должен гореть долг совести, и поэтому...— И Максум продолжал громко, так как новый басмач вошел во двор и приблизился к домнице:— Плавить еще надо два дня и две ночи, и как можно сильнее раздувать жар, чтобы железная руда все время кипела, как бараний суп (шурпá),— тогда весь перегар и мусор всплывут наверх, а внутри останется чистое и белое, как серебро, железо...

Второй басмач уселся на ковре, а Максум продолжал говорить вполголоса:

— ...Ты сейчас спокойно спустишься вниз и возьмешь тулуп, как будто хочешь отдыхать в сарае, а сам перелезешь через забор и побежишь в мою хижину. Скажи там моей жене и матери, чтобы, не медля ни минуты, они взяли

с собой только хлеба и убежали в горы и ждали там меня у Горячего ключа. Скажи, что я убежал к реке Пяндж, переплыл ее. На том берегу стоят деревянные столбы, и на них протянута железная проволока. Я найду там человека, который по этой проволоке скажет в Москву, чтобы прислали сюда летающие по небу машины, и тогда все эти шакалы разбегутся во все стороны, как зайцы. Абдыр-Бобо, куда ходил? Принимай свою очередь! — опять закричал Максум.— Ребята не справятся с мехами.

Я медленно сошел с домницы и, подняв свой тулуп, направился в сарай. Бледный басмач важно сидел на ковре, а во двор входили Абдыр-Бобо и Файзали. Один на подносе нес разрезанную дыню, дикие абрикосы и груши, а другой — деревянную миску с кислым молоком. Оба с поклоном поставили угощенье перед гостями.

— Вот, таксыр, радость для души. Все, что в нашем погребе,— ваше. Кушайте и наслаждайтесь.

Гости благодарили:

— Салама́т, рахма́т, култук!

— Теперь, чтобы совсем насладиться, послушаем последнюю фатиху, которую нам пропоет красный аист на огненной печи,— и бледный басмач вскинул ружье на плечо.

— Моя фатиха будет старинная,— начал Максум, продолжая стоять у жерла домницы. Он выпрямился и говорил, сверкая глазами, без всякого страха.

— Говори, говори! А мы будем есть дыню. Сладкую дыню припрятал в своем погребе старик!

— Шел крестьянин по дороге, видит — горит дерево, а на дереве свернулась змея — сейчас тоже сгорит. И взмолилась змея: «Спаси меня, крестьянин!» — «Ладно»,— сказал он и протянул ей палку. Змея проползла по палке и прыгнула крестьянину за пазуху. Испугался крестьянин: сейчас змея укусит его. Как ни просил крестьянин, чтобы змея из благодарности за спасение оставила его, она ответила: «Теперь на свете благодарности нет. Я буду жить у тебя за пазухой, а ты будешь кормить меня». Идет крестьянин и плачет. Навстречу ему ворон: «Чего ты плачешь?» Рассказал ему крестьянин, а ворон говорит: «Послушай, змея. Говорили мне, что ты самая сильная на свете, тебя все боятся».— «Верно»,— отвечает змея. «И ты можешь сделать все, что хочешь?» — «И это верно, я все могу».— «А можешь ли ты пролезть в маленькую щель?» — «Конечно, могу».— «Видишь, здесь лежит веревка с петлей; попробуй пролезть в петлю».— «Это дело пустое»,— ответила змея и полезла в петлю. А крестьянин схватил за конец веревки и задавил змею. И так мы,

крестьяне, задавим всех гадов, которые лезут к крестьянам за пазуху!..

После этих слов я перепрыгнул через забор и побежал к хижине Максума. Позади слышались выстрелы и крики...»

На этом месте рассказ Кудрата оборвался.

Разговор с Кудратом происходил в очень тревожное время, когда знаменитый бандит — князь локайский Ибрагим-бек — во главе тысячи восьмисот басмачей переправился через Пяндж и ворвался в Таджикистан. Все комсомольцы тогда были мобилизованы, и Кудрат был в этот вечер наготове, с саблей, ружьем и патронами на поясе. Автор с ним беседовал в красном уголке, где Кудрат поджидал условного сигнала, чтобы примчаться к дому коменданта.

Труба тревожно прозвенела в ночной тишине, и Кудрат вскочил, схватив винтовку.

— Одно слово, Кудрат... Чем все окончилось? Спасся ли Максум и другие? Удалась ли плавка железа?

— Плавка удалась. Железо вышло отличное. И эта сабля выкована из нашего железа.

— А Максум?

— Максум и другие спаслись и наслаждаются теперь благополучием, желаю вам полного счастья!..

С этими словами Кудрат сделал восточный жест почтения, коснувшись рукой земли, и выбежал на улицу, где его ожидала привязанная лошадь.

Читатель, вероятно, знает, что весь отряд Ибрагимбека был разбит и сам он вместе с другими главарями (курбаши) был взят в плен.

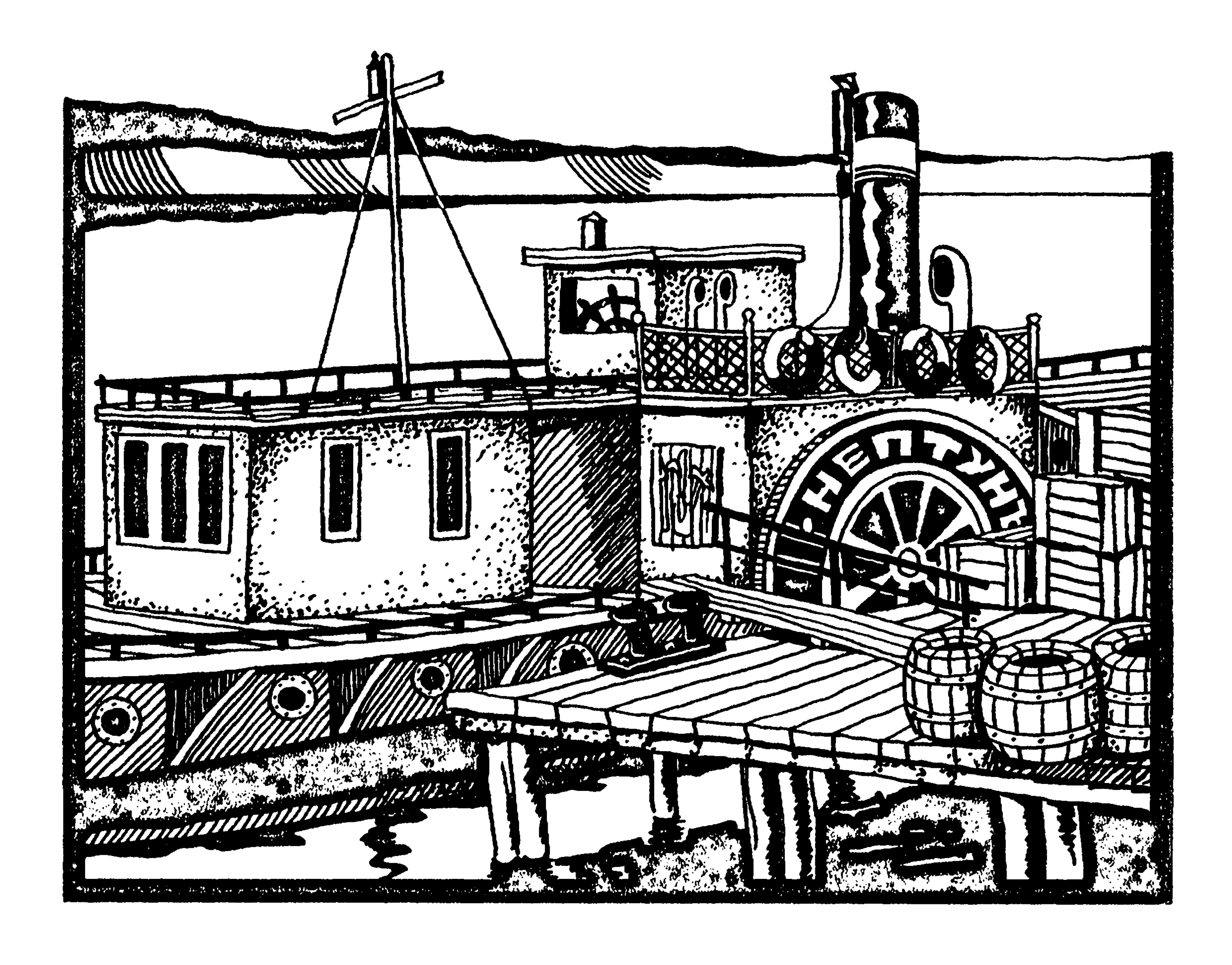
С Кудратом автору больше не пришлось встречаться. Передавали, что он учился на рабфаке и потом сделался специалистом по железоплавильному делу. Таких специалистов требуется много, так как в Таджикистане найдены новые богатые залежи отличного железа, олова, свинца и других металлов в горе Хоронгон и в других местах.

Конечно, там работа пойдет не таким первобытным способом, как это происходило у плавильщиков железа в долине реки Вандж.

1933



ЗАПИСКИ ПЕШЕХОДА



Моему отцу

Приношу искреннюю благодарность кн. Э. Э. Ухтомскому, Ал. Ал. Суворину, С. Н. Сыромятникову, а также всем лицам, которые оказывали мне свое содействие в моих скитаниях по Святой Руси.

В. Я.

Ревель, 4 V, 1901.

Книга первая

* * *

Не всегда клубиться небу тучами
И грозить холодными метелями.
Не всегда идти дороге кручами,
Темной чащею с седыми елями.

Не томиться век тебе кручинами!
Побежит дороженька равнинами,
Вольной степью, рощами тенистыми
С светлыми ручьями, серебристыми.

Солнце засияет, тучи скроются,
И слезами горе с сердца смоется.
. . . .

Народная песня

Что же ты, лучинушка,
Не ясно горишь,
Что не вспыхиваешь?
Неужели ты, лучина,
В печке не была?

Я была, была в пече
Во сегодняшней ноче.
Лютая свекровушка
В печку лазила,
Чугун с водой пролила,
А меня, лучинушку,
Она облила.

Записана в деревне Кузнерке,
Малмыжского уезда[1]

---

[1] Малмыж — город, центр Малмыжского района Кировской области. (Здесь и далее примечания составителя.)

ГОЛОДНАЯ ЗИМА

Элегия в прозе

Деревня Малмыжка стояла далеко от уездного города, затерянная среди большого казенного леса, на берегу реки, по которой весной в половодье сплавлялись дрова и барки. Летом река высыхала настолько, что по ней плавали только в плоскодонных лодках.

Неурожай, захвативший всю губернию, ударил и в этот уединенный уголок. На полях, из растрескавшейся от жары земли, потянулись редкие пустые колосья, годные только на корм скоту. Раньше в деревне всегда бывали общие интересы и радости, но беда разбила всю деревню на отдельные группы и кружки, заботиться стали только о себе и самых близких. Каждый родственный кружок враждебно смотрел на другие, скрывая запасы, словно боясь чего-то. В деревне стало скучно и угрюмо.

Настя, дочь крестьянина Трифона Плотникова, испытала более всех тяжесть одиночества. Ее раньше всегда считали строгой и неприступной, потому что она на гулянья ходила редко, и парня — «прияточки» у нее не было. Парням она нравилась, высокая, румяная, с сильными руками, со спокойным и гордым взглядом.

Ее отец, тихий задумчивый мужик, взял покойную свою жену из дальней деревни, и родственников в Малмыжке у него не было. Когда беда приступила, он потолковал с дочкой и бабкой и ушел в Казань на заработки. Настя перевезла отца на тот берег реки и, вернувшись, долго сидела на высоком берегу и глядела, как по низким отлогим лугам шел мерной страннической походкой отец.

Раньше бывали не раз тяжелые времена, но не бывало того, что случилось теперь. Старики рассказывали, что они помнили неурожаи, но тогда бывали запасы, и народ выкручивался из беды. В старое время люди жили расчетливее. Но лет десять назад подати увеличились вдвое; то, что родилось, свозили по реке на лодках и зимой на санях в город, деньги же как-то в руках не удерживались.

Когда родственные кружки, замкнувшись, обошли Настю, она сделалась еще строже, еще неприступнее к другим. Ей нравилось сидеть дома, прясть и слушать бабку. Та рассказывала про свое прошлое, как она была молодая и как жила в услужении у купца.

Через два месяца пришло письмо от отца. Он писал, что работать теперь трудно, так как мужичье навалило в город со всех сторон, но что он все-таки работает в ка-

менщиках, здоров, шлет свое благословенье и пять рублей денег.

Письмо принес из волости[1] односельчанин, мужик степенный и верный, но пяти рублей в конверте не было.

— Волостной старшина письмо мне выдал и говорит, что батька твой дурак, зачем золотой червончик вложил, монетка-то махонька, кругленька, сквозь щелочку-то она и выкатилась... Да врет он, мошенник, поди, рожа-то красная, масляная, сидит, чаишко дует и в бороду посмеивается!

Настя хотела пойти к волостному, потребовать денег, но бабка ее отговорила:

— Еще выпороть прикажет,— не ходи! Деньги пропащие, поголосим, легче станет!

К земскому начальнику[2] Настя тоже не пошла жаловаться; он жил в двадцати верстах, доступ к нему был трудный, идти к нему приходилось «на авось», так как у него был один приемный день в неделю; если же приходили в другие дни, то мужиков гнали прочь.

Настя и бабка два дня поголосили, сидя на печи, обняв руками колени и покачиваясь из стороны в сторону, и не раз потом, в течение месяца, когда вспоминали об этом, начинали снова голосить.

Бабка, которая мало спала, по ночам шепотом читала молитвы или начинала разговаривать сама с собою. Они вдвоем лежали на печи под одним тулупом. Настя любила, проснувшись, прислушиваться к непрерывному шепоту бабки и угадывать, о чем и про кого она говорит.

В избе было темно, только два окошка вырисовывались странными светловатыми пятнами во мраке. Ветер шумел на улице, качал соседнее дерево, всю ночь ударявшее сухими голыми ветками по стене избы. В ночной тишине чуткий слух Насти улавливал, как причудливый порыв ветра задевал солому на крыше в разных концах, и ей казалось, точно какие-то большие птицы бегают по крыше и задевают солому перьями. Бабка шепчет что-то несвязное, неразборчивое... Настя придвинулась ближе, вслушивается и различает слова. И не знает Настя, бредит ли бабка, или говорит наяву.

Замолчала бабка, зашептала молитвы. Насте страшно стало, окна глядят в темноте, как два тусклых глаза.

---

[1] Волость — сельский округ, низшая административная единица, входившая в состав уезда.

[2] Земский начальник — должностное лицо, объединявшее административную и судебную власть над крестьянством в уезде.

Кажется, что кто-то тихо в окошко стучится, кто-то высокий и темный по избе ходит и половицы под ним скрипят.

— Бабка, а бабка, мне страшно,— шепчет Настя.

Бабка протягивает дрожащую сухую руку, крестит Настю и гладит по ее лицу и волосам. Но стук в окно усиливается, кто-то настойчиво, но тихо стучит ногтем по стеклу.

— Бабка, а ведь быдто кто стучит? Боязно!..

Настя тихо спускается с печи, ощупывая в темноте босыми ногами, куда ступить, и подходит к окну. Там действительно видна чья-то высокая темная фигура.

— Кто там? — кричит Настя. Фигура придвигается к окну.— Кто такой будешь?..

— Ты Настасья Трифонова Плотникова?

— А ты чей будешь? На что тебе?

— Не ладно с улицы-то говорить, впусти в избу!

— Да мне боязно, что ты за человек? Поди — недобрый?

— Слушай — я старшина волостной, али не признала? Да огня не разводи, я сейчас назад уеду.

— Да ты побожись!

— Вот-те Христос!..

Настя накинула полушубок, зажгла жестяную лампочку без стекла и с нею вышла в сени. Отодвинув засов, она впустила высокого мужика. Борода и волосы были растрепаны, глаза глядели мрачно.

— Ты и есть Настасья?

— Иди в избу что ли, что здесь остановился?

— Ладно! Деньги вам — пять рублей были поштою. Так я сказал, что они потеряны. Неправду сказал тогда... Сынишка мой заболел, умирает. Так совесть меня замучила,— не из-за меня ли? Грехов у меня много по разным местам. Деньги-то свои возьми, да еще 40 копеек от меня. Простите меня окаянного! Всем умирать приходится, смерть у нас закосила по селу, мало кто на лавке не повалялся.

Настя взяла золотой, но от 40 копеек отказалась: «Христос с тобой! И на наших спасибо!» Ей стало жалко старосту; подперевши щеку рукой, она спросила:

— Так сынишка твой болен, говоришь?

— Умирает. Я ночью сюда подъехал, чтоб мужики не видели. Лошадь в лесу привязал. Помолись за парнишку, обидел я тебя, так твоя молитва быстрей до Бога дойдет. Да смотри, никому не сказывай, что я приезжал. Я ведь тайком... Прощай!..

— С Богом!

Настя задвинула засовом двери и вернулась к бабке на печь под теплый тулуп. В избе стало опять тихо. Где-то на деревне, надрываясь, лаяла собака. Появление старшины казалось сном, но реальным оставался золотой.

Настала зима, очень снежная, сугробы снега окружили Малмыжку со всех сторон. Часто деревня была отрезана от всего мира, когда над ней кружились метели. Некоторые семьи соединились в одну избу, чтобы теплее было и легче прокормиться. Запасы тщательно оберегались и все следили друг за другом. Сена не было. Скоту давали старую солому. Коровы с взъерошенной шерстью мычали целые дни.

Мужики, не желая дожидаться падежа, стали резать скотину. Но коровы, казавшиеся надежными, падали и, не вставая, околевали. Мужики подвешивали скотину к потолку на веревках. Падали и лошади. Их оберегали, кормили чем могли, но лошади бессилели и с трудом возили дрова из лесу.

Понемногу стали учащаться болезни. Больше заболевали женщины и дети; начиналось с того, что чувствовалась сонливость, слабость, желанье лежать и не двигаться. Больная ложилась на лавку или печь и молча, неподвижно лежала часы и дни. Затем появлялись опухоли, боли. Ежедневно число лежащих увеличивалось.

Если бы пройти по всем избам, то в каждой ударил бы в нос тяжелый одуряющий запах множества скученных людей и всюду видны были бы лежащие безмолвные тела взрослых и детей, покрытых тряпьем и овчинами. Некоторые заболевали иначе. У них появлялся жар и озноб, болел живот и они, помучившись, умирали или медленно оправлялись.

В деревню никто не приезжал. Только из нее ездили мужики в село, в котором было волостное правление, церковь, лавки и кабак. Мужики возили туда отпевать умерших, гоняли скотину, продавали свои имевшие какую-нибудь цену вещи. Оттуда привозили домой муку.

Раз в воскресенье приехали в деревню вотяки[1] на трех санях, запряженных парами лошадок с бубенчиками. Они были в мохнатых меховых шапках, со слезливыми маленькими глазами; на тулупах были цветные нашивки, лапти переплетены красными и зелеными тесемками. Они приехали, чтобы взять к себе на усыновление нескольких детей.

---

[1] Вотяки — удмурты, народность Удмуртской АССР.

Мужики знали, что хотя вотяки живут бедно и грязно, но это от скупости, что они народ богатый, у них и деньги имеются и большие запасы хлеба. Если им дать детей, те по крайней мере не распухнут и не подохнут от голода. Втайне мужики надеялись в будущем детей отнять обратно.

— Мой ребятки не имел, Божинька не давал. Продавай ребятки, мой деньги давал, кормил, сын сделал, когда мой помирал,— хозяин сделал!..

Вотяки взяли нескольких «красненьких», то есть рыжих мальчиков и белокурых девочек и оставили по полтиннику и по целковому за каждого. Бабы ревели, бежали за санями, мужики смотрели в стороны, не решаясь взглянуть друг другу в глаза, плевались и повторяли:

— Божья воля, шут их дери!..

Вечером достали бог весть откуда водки, все перепились, стыдили друг друга «каинами», и была драка великая.

В феврале бабка распухла, постонала недели две и померла. Настя сама ее обмыла и одела. Пришел малознакомый паренек и сказал, что он сколотит гроб и свезет бабку в церковь. Он был невысокий, с жесткими щетинистыми волосами, такими светлыми, что они были светлее его лица. У него были добрые голубые глаза, и он постоянно краснел так, что лицо покрывалось багровыми пятнами. Настя не ожидала именно от него услуги, так как с ним до сих пор она двух слов не сказала.

Гроб был им сколочен к вечеру; паренек с Настей сложили в него окоченевшую бабку и поставили на стол посреди избы. В головах прилепили восковую свечку. В избе было темно. Настя, сидя возле гроба на лавочке, медленно и старательно читала псалтырь. Слабый мерцающий огонек свечи бросал косые лучи на загорелый морщинистый лоб бабки со сдвинутыми бровями. Поскрипывал сверчок за печкой.

Паренек приходил еще раза два, садился на лавку возле дверей, мял шапку в руках, слушал святые непонятные слова, которые читала Настя; или вставал, подходил к гробу и, краснея багровыми пятнами, любовно гладил загрубелой рукой по свежеотструганным сосновым доскам, стараясь сохранить серьезный и деловой вид.

Настя сидела ночью возле гроба, то читала псалтырь, то сидя начинала дремать, глаза сами слипались, как она ни старалась сохранить бодрость.

Утром она надела полушубок и валенки и туго перепоясалась кушаком. В избу собрались несколько женщин и детей, соседних мужиков. Они помогли вынести гроб и поста-

вить его на дровни. Исхудалая и взъерошенная Буланка возовым размеренным шагом потащила дровни на село. Настя с кнутом пошла рядом.

Мужики не раз спрашивали старосту, не собрать ли сход и просить земского начальника о пайках. Они слышали, что во многих местах выдавались ссуды хлебом. Староста неизменно отвечал:

— Нельзя, ребятки. Волостной сказывал, что земский заругает; не позволяет, говорит, просить о пайках. А где сход собирали, там сейчас в «холодную» старост посадил. Большая мне охота из-за вас сидеть в «холодной»?

Мужики почесывали затылки и говорили:

— Оно девствительно!..

В марте неожиданно привезли земский хлеб, присланный управою. Староста потирал руки и говорил:

— Видите, ребятки, и прислали нам хлебца, а намозолили бы земскому, он бы осерчал и ничего бы мы не получили. В Котловке и Молынгурте жаловались в управу, ничего им и не выдали!

Мужики опять повторяли:

— Оно девствительно!..

Но не все остались довольны. Хлеб раздавался не всем, а избранным нуждающимся, по усмотрению старосты. Настю обошли. У нее оставалось немного муки, которую она берегла, урезывала и старалась продлить на возможно большее число дней. От отца не было никаких известий. Она решила уйти куда-либо на заработки или временно поступить послушницей в монастырь.

Настя уже не была дородная, румяная девка. И на ней отразилась голодная зима, медленно и неуклонно высасывавшая жизнь, здоровье, бодрость из каждого взрослого и ребенка. Настя исхудала, сделалась тонкой и высокой, с тихими движениями. Расширенные темные глаза смотрели куда-то мимо людей. Соседи глядели на нее с жалостью и боязнью, говоря: «Черная девка стала».

Перед ее уходом пришел к ней беловолосый паренек, который делал гроб бабке, перекрестился на икону и сел на лавку.

— Я долото никак забыл,— сказал он, глядя в сторону и покраснев.— А ты куда уходить хочешь?

Настя не отвечала.

— А ты не уходи!..

Настя слабо покраснела, но кровь сейчас же опять исчезла с ее лица, темного, как на старых иконах.

— Меня голоса зовут... Страшно мне тут. Бабка это за мной приходит или ангелы за мою душеньку спорят? И ночью и днем, как только тихо станет в избе, так быдто в углу кто-то двое шепчутся, а слов не понять. Один быдто сердитый, скоро говорит и бранится, а другой жалобный, точно плачет, все быдто оправдывается или просит. Мне страшно здесь. Моченьки нет оставаться. Я в Казань схожу, может, это батька меня зовет, болен, поди, лежит где на дороге и пожалеть его некому...

На другой день Настя ушла из деревни.

Народная песня

По травке, по муравке
Добрый молодец гуляет,
Красных девок выбирает.
Выбрал девку, выбрал красну,
Против себя становил,
Девке речи говорил:

«Пойдем, девка, пойдем, красна,
За ворота побороться!»

Девка парня поборола,
Черну шляпу с кудрей сшибла,
Русы кудри сколочила,
Синь кафтан да разодрала.

Пошел молодец, заплакал.
Девка парня сожалела,
Черну шляпу принадела,
Русы кудри причесала,
Синь кафтан да призашила.

Записана в деревне Кузнерке,
Малмыжского уезда

ЖИВУЧИЕ ЛЮДИ

Осенью 1898 года я решился отправиться бродить по русским деревням. Не для чего было ждать летнего времени. Хотя, конечно, было бы приятнее видеть крестьян на свежем воздухе, в поле за работой или у костра. Но чтобы видеть крестьян не в приукрашенном виде, а в соответствующей им серой и неприглядной обстановке, лучше всего отправиться к ним осенью, в полную распутицу, или зимою, в сильные морозы, когда все попрятались по избам, дел особенных не имеют и рады поболтать со всяким новым человеком.

Мне хотелось пожить жизнью крестьян, испытать и понять их печали и радости, хоть слегка и издали заглянуть в то, что называется «душою народа». Останавливаясь и живя в крестьянских избах, я мог ясно, без каких-либо преград, увидеть ежедневную жизнь крестьянина и все его заботы, которые нам кажутся такими ничтожными и мелочными, а для него имеют столь громадную важность и ценность.

Странное и сильное чувство я испытал, когда, впервые одев полушубок, отказался от всех привычек, сопровождавших меня с детства, от всех художественных и научных интересов, и попал в толпу мужиков в овчинах и чуйках, в лаптях, заскорузлых сапогах или валенках.

Мне казалось, что нет возврата назад, и никогда уже больше не вырваться из этой нищей и грязной толпы. Я ощутил чувство полнейшей беспомощности,— предоставленный только самому себе, своей ловкости и находчивости,— и долго пришлось переделывать себя, чтобы освободиться от этого гнетущего, тяжелого чувства.

Даже в городе, на улице, меня все поражало на каждом шагу, в той толпе, которая шла прямо на меня, не давая дороги, тогда как раньше мужик сторонился перед моей форменной фуражкой.

Но по мере того, как я опускался все глубже и глубже в народную массу, к моему удивлению, весь окружающий меня бедный люд все возвышался, делался сложнее, люди оказывались задушевнее, серьезнее, типы интереснее. И когда мужики не подозревали во мне «барина», я становился лицом к лицу с очень развитыми личностями, со свежим русским умом, с самостоятельными взглядами и удивительно оригинальными, разнообразными характерами.

Мне кажется, что разница в положении слишком прижимает и давит того, кто стоит ниже и находится в зависи-

мости: при таком положении никогда не узнать ни души, ни мыслей того, кто бедствует и нуждается; часто замечал я, что мужик, разговаривая с барином, притворяется непонимающим или поддакивает против собственного убеждения,— так сказать, косвенно или инстинктивно льстит,— унижая себя, он тем самым подзадоривает в барине мысль об его умственном превосходстве.

С точки зрения городского жителя, деревенская жизнь очень проста и незатейлива; но если войти в деревню на равной ноге со всеми ее обитателями, вы увидите, что каждый человек, каждый ребенок ничуть не менее сложен, чем интеллигентный человек или городской ребенок. У крестьян особенный язык, особая манера выражаться, но под этим скрываются глубокие и разнообразные мысли и чувства: только их не разглядеть тому, кто лишь на час завернет по делам в деревенскую избу.

Каждый отдельный район в России и каждая местность в этом районе имеют свою местную своеобразную культуру, которая незаметна только поверхностному туристу, но поддается внимательному и вдумчивому изучению. Каждая деревня в этой местности имеет свой культурный материал, на котором воспитываются деревенские поколения.

Все в крестьянской избе, все его грошовые, на наш взгляд, вещи имеют ценность для крестьянина, с той же самой психологической точки зрения, с которой нам дорог медальон, где тонко нарисован миниатюрный портрет нашей бабушки, или «вольтеровское кресло» прошлого столетия и т. д. С каждым предметом в избе связаны самые разнообразные воспоминания, начало которых пропадает в тумане прошлых лет.

Эти воспоминания столь же трогательны, как и в старинных дворянских семьях, которые описаны нашей дворянской литературой; но только для этих воспоминаний нет ни историка, ни писателя, и они хранятся, постепенно тускнея, в полуграмотной памяти народной массы. Этой психологической стороной можно объяснить, почему переселенцы нагромождают на свою телегу и везут за тридевять земель какие-то дешевые вещи, ничего не стоящие корыта и прочее. С ними связаны и радости, и печали, вся жизнь крестьянская, и они стали дороги их владельцу.

А между тем как игнорируется постоянно эта мужицкая душа и его чувство! Никогда не забуду одной тяжелой картины, которую увидел в деревне Голиной, Новгородского уезда, на сборе недоимок, когда из изб вытаскивали

самовары, кули, выводились со двора коровы, телята, а крестьяне кричали становому[1]:

— Оставь корову, она «береженая»! В поле у меня сена много, а ты приехал в распутицу, когда никакой дороги нет. Подожди денька два, дорога застынет, пойдут морозы, и я на санях вывезу все сено и продам, а теперь до него через лужи и не добраться...

Если обладать силой воли и крепкими нервами, то провести день-другой в крестьянской избе еще можно; но вся грязь, вонь и духота, царящие в ней от нищеты, начинают понемногу одолевать даже самого нетребовательного горожанина, решившего отказаться от какого бы то ни было ничтожного комфорта, подавить брезгливость и даже испуг, когда на второй день, приглядевшись к чужой крестьянской обстановке, начинает он замечать привычки и самые обыденные проявления этой их жизни.

Зимою жизнь в деревне пробуждается не очень рано, крестьяне встают в 7—8 часов утра и позже. Спят все вповалку на нарах, на полу или печке, накрывшись тулупами, одеялами, всем, что только может оказаться пригодным, так как комната постепенно остынет, в ней становится холодно.

Утром бабы растопляют печь тем, что могло быть насобрано: хворостом, щепками, соломой; дрова же слишком дороги. Когда постепенно проснутся и встанут взрослые и дети, каждый плеснет себе на лицо немного воды из ковшика, затем помолится усердно и долго перед образами, и все садятся за стол обедать. Едят из одной миски, и никому в голову не приходит обедать отдельно тому, кто в семье болен — в прыщах и язвах. Братство и общее уважение друг к другу не позволяют кем-либо гнушаться.

Все основано на психологическом отношении, и про больного из своей среды говорят одно: «никто, как Бог! Наказал его Господь, лишил носа,— на то Его святая премудрость, все мы под одним Богом ходим и сами всего ожидать можем».

В зимнее время крестьяне много ходят друг к другу «погреться», посидеть и побеседовать. В их взаимном отношении заметно большое уважение и «душевность», несмотря на наружную грубость, которая со стороны может показаться желанием обидеть. Оскорбительным считается только внутреннее враждебное отношение, хотя бы оно проявлялось в незначительных выражениях.

---

[1] Становой — становой пристав, полицейский чиновник, начальник стана (участка) в уезде.

У крестьян очень сильно развита душевная чуткость, и они быстро подмечают желание обидеть или насмеяться и долго не могут забыть и простить этого. Между собой они относятся с добродушным юмором и большим сочувствием к чужому горю. При всей общеславянской покорности и смирении у крестьян много самоуважения и гордости. «Я сам себе господин,— говорят они,— я сам над собою барин!» Им вовсе не нравится, если, обратившись к мужику, назвать его «дяденька», «братец» или «любезный». «Мы тоже всякое деликатное обращение понимаем и знаем,— по отчеству нас не горазд бы трудно величать!»

Поживши в крестьянской среде некоторое время, начинаешь понимать их точку зрения. Незначительное чиновное лицо кажется крестьянам недосягаемо высокой величиной, и всякое появление кокарды в деревне производит сенсацию и волнение. Каждое слово прибывшего запоминается и потом передается от одного к другому.

Народ ценит всякое выражение внимания и ласковости со стороны начальствующего лица: оно разносится немедленно по всей деревне и создает прибывшему «начальству» массовую симпатию крестьянской среды. «Хороший у нас земский барин, внимательный, всякого выслушает, расспросит, в полности хочет обо всем правду узнать. А вот в соседнем участке, не приведи Бог, какой барин! Ему не смей что-либо объяснять, сейчас гыркнет: «Молчать! Не рассуждать! Нечего мне зря с вами болтать! Слушаться, что я приказываю, и кругом марш!..»

Барина, поговорившего «по душе да по-хорошему», крестьяне готовы на руках носить. Строгость вовсе не исключает симпатии населения: напротив, «серый народ» любит и ценит строгих начальников, если только строгость связана с порядком, точностью и твердостью сказанных слов, и если начальник доступен просителям. Крестьянин бывает очень тронут, когда видит, что кто-то бескорыстно заботится о нем.

К крестьянам постоянно возвращается мысль о том, что они «отрезаны от правды», что всякий может их обидеть, но живет вера — где-то там далеко в столице живет Царь, и «если только до Царя дойти, то всякая помощь будет...»

Когда же мужик знает, что никто не смеет помыкать им, так как есть у него ближайший начальник, который всегда вникнет в дело и заступится, если дело правое, крестьянин уже чувствует бодрость и не видит себя безза-

щитным. А ввиду того, что беда может постучаться в ворота мужика постоянно, доступность местного начальства ко всякому просителю более всех других качеств вызывает симпатии массы.

Самолюбие и самоуважение крестьян, насколько было случаев замечать, иногда игнорируется теми, кто имеет с ними дело. Между тем почти 40 лет свободы[1], быстро идущее вперед общее развитие государства возродили крестьянина и воспитали в нем сознание собственного достоинства и гордость.

«Я мужик сер, да ум у меня не черт съел!» — говорят они.

---

[1] Имеется в виду отмена крепостной зависимости манифестом Александра II в 1861 году.

Народная песня

У вдовушки три дочушки,
Все белы, хорòши.
Перва Саша, друга Маша,
Третья дочь Ненила.

Дочь Ненила прясть ленива,
Бела и хорòша;
За ней ходят, за ней бродят
Двое рыболова.
Двое-трое рыболовы,
Все купцы торговы.
Они носят на подносах
Дороги подарки.
Дороги таки подарки:
Кумач и китайка.
Кумачу я не хочу,
Китайки не нада.

На базаре-то ребята
Жеребья метали:
Кому шапка, кому деньга,
Кому красна девка.

Доставалась красна девка
Не другу, не брату,
Лихому супостату.

Записана в деревне Шульин почин,
Малмыжского уезда.

ОКОЛО НОВГОРОДА

Волхов катил желтые, мутные волны. На длинном мосту, том самом, где бились в старину друг с другом новгородцы, теперь тянулись ломовики, шли гимназисты, дремал сторож. С Ильменя дул пронизывающий холодный ветер.

С высокого берега подымаются серые унылые стены древней святой Софии[1]; металлический голубь на кресте над куполом сидит по-прежнему и не улетел, несмотря на предсказание. Очевидно, хотя давно уже пришел конец Великому Новгороду, голубь не хочет его покинуть и остается постоянным грустным памятником былого величия.

Внизу под мостом у берега стоят большие рыбацкие лодки, и возле них копошатся мужики в тулупах и высоких меховых шапках; они поспешно выгружают сено. Я спустился к ним.

— Что, молодец, смотришь? Аль чего нужно?

— Смотрю я потому, что, думаю, завтра вы к себе домой на озеро поедете, так не захватите ли меня с собою?

— На́взеро? Можно, это можно. А куда тебе нужно?

— На Войцы.

— Туда теперь нельзя плыть. Далеко будет. Еще хряснет по пути лодка и заколеет середь озера... На наш берег могим свезти, а от нас дальше ты, коль хочешь, берегом пройдешь.

— Вы сами откуда?

— Мы Самокрязьские, с Неронова Бору. Приходи завтра утренечко сядить, мы до свету выедем...

Когда на другой день, рано утром я снова пришел к реке, по ней с шумом летели льдины, вертясь, наскакивая одна на другую и выпирая на берег. Рыбаки вытаскивали лодки на песок, отвязывали веревки, складывали весла.

— Видишь, молодец хороший, лодкам здесь нужно буде перезимовать. На озере хряснуло, лед пошел, вода густая теперь и ветер густой, лодкам уже не пройти. Мы пробовали пробиться, за мост выехали: бились, бились и назад прибились. Тугая работа на воде, коневня. Мужик из нашей деревни приехал на базар, он тебя свезет, коли хочешь. Все одно ему домой порожнем ехать. До темков доедете...

На базаре, среди ряда телег, я отыскал самокрязьского мужика. Его сивая лошадь с длинной мохнатой шерстью очень неохотно вывезла телегу с базара и то шагом, то

[1] Софийский собор — выдающийся памятник древнерусского зодчества в Новгороде; построен в 1045—1050 гг.

трусцой потащила за город. Сидевший со мной в телеге ее хозяин Василий Иванович очень степенно держался, старался выпытать у меня какие-либо задние мысли, расспрашивал про мои родные места и сам рассказывал обо всем.

— Место у нас напольное, лесу нет совсем. Беда нам без дерева; достаем его иззáвзера. А деревён у нас много, сели, поди, шестьдесят на версту!

Кругом простиралась серая равнина без единого деревца, с редко разбросанными убогими деревеньками. Кое-где в канавках торчали голые прутья кустов. Только на берегу Волхова виднелась старая роща, посреди нее блестели золотые купола Юрьевского монастыря.

— Сколько лет назад вызолочены, а до сих пор как жар горят. Богатый монастырь. Сказывали: ночью целые обозы хлеба сюда привозят. И купцы московские вклады стотысячные вносят. А вот там на косе, где Волхов поворачивается, там скит старцев. Живут старенькие монахи. Весной, когда Волхов подымается, вода окружит этот скит и как островок он на Волхове виднеется. У старцев есть хлеб при себе, покуда Волхов не спадет, они на том островке и спасаются.

Мы долго ехали серым, замерзшим полем, при непрерывном ветре с озера. Нас нагоняли мужики, возвращавшиеся из города, мы присоединялись к ехавшим впереди, но все постепенно сворачивали в свои деревни, и мы с Василием Ивановичем остались одни.

Уже темнело, когда сивая лошадь остановилась возле одной из крайних изб Неронова Бора. В оконце смотрели ребятишки. Ветер дул не переставая; шумела солома на крыше; было холодно и неуютно. Деревня маленькая в открытом поле. Хотелось скорее в избу, согреться, напиться чаю.

Мы прошли сквозь узенькую дверь в сени, затем попали в хлев, поднялись по скрипучей лестнице на сажень высоты и в полумраке подошли по шатким доскам к обшитой тряпками и паклей двери в избу. С трудом распахнув дверь, мы вошли в теплую, парную комнату с низеньким закоптелым потолком. Пахло ржаным хлебом, чем-то пареным и сырой кожей.

Василий Иванович долго крестился на старые образа в переднем углу. С печки слез маленький голоногий карапуз в одной красной рубашке и валенках и обратился ко мне:

— По штанам видно, что солдат. Я в городе солдат видел.

— А что ты еще в городе видел?

— Горшки видел, шелковое пальто видел, в трактире был, там барин нам чай подавал...

— Откуда ты этого человека взял? — шепотом спрашивает Василия Ивановича его хозяйка.

— Нашим на реке встретился, хочет деревни посмотреть. Кто его знает, что он за человек.

Василий Иванович с семьей сели обедать, пригласили и меня поесть их «хряпу», пирожка с творогом и штей со свининкою. Хозяин и все мы следом за ним долго крестились на иконы перед обедом и после него.

Растворилась дверь и вошла сморщенная подслеповатая старушка, закутанная в тряпье, с котомкой за плечами. С трудом стащила заплатанные рукавицы с онемелых рук, долго крестилась, затем уставилась спокойным взглядом в землю, опершись на клюку. Хозяйка отрезала ломоть хлеба и подала старухе.

— Не хочешь ли штей?

— А какие они?

— Какие? Скажи спасибо, что дают. Вестимо, не пустые, а с мясом.

— Нет, я скоромного не ем.

— Вишь ты какая! А моя бабка так до девятого десятка все скоромное ела. Как исповедываться пришлось, она и говорит попу, что ем мясное. Нехорошо, говорит поп; а как назад домой приехала, так и опять захлебала.

Помолчала старушка-побирушка и говорит:

— Дрова дороги. Набрала кабы я на четыре с полтиной, купила бы дров, да и сидела бы в избе барыней. А то холодно теперь по-избы. Ну, я пойду. Дыры нет в полу?..

— Ступай бабка, с Богом, не бойся, держись только с краю.

Старушка ушла, и хозяйка мне объяснила:

— Христом-Богом она побирается. Дочь у ей пригулок, вовсе убогая, глупáя. Сама-то здоровенная, а сырая, годов ей тридцать, лежит на печи и боится, что с печи упадет. Так всю ночь керосин горит, а матка с краю сидит и стережет,— жалко родное дитё.

Вошли два мужика, покрестились, как водится, поглядывая на меня, и сели на лавку.

— Погодка-то сдымается,— сказал один.

— Кузьма валенки купил,— добавил второй, и оба замолчали. После короткой паузы начались вопросы:

— А ты что за человек будешь? Ты не на пузыре прилетел?

— Как это на пузыре?

— Откуда же ты взялся? У нас один на пузыре с неба свалился, так и ты, должно быть, тоже. А дело было так. Стояли мы с лодками на желязни. Вдруг, видим, не то облако, не то пузырь летит по небу от Новагорода. Летел он ровно и вдруг сдóхнул к низу. Потом опять сдынулся к небу, потом опять так и сяк стал вилять, то сдынется к небу, то опустится, то сдынется, то сдóхнет. На ём немец летел и сказывал потом, что его здорово тогда потрепало и затылок расшибло...

Когда мы увидели пузырь, так и бегим к нему. Тимофей схватил за веревку, что с пузыря по земле волочилась,— как сдынуло его к небу сажен на пять печатных, то-то натрясся тогда. Мы все за веревку хватались, чтобы пузырь в озеро не унесло. А на тот случай, если в воду попадет, у немца жилет пробковый надет был, говорит, что и утонуть в ём он не смог бы.

Мы бросились ловить пузырь, а ён уже якорем зацепился и мы схватили веревку и подсобили. Сперва немец не подпускал нас к пузырю, из него дух зловредный исходил и нас удавить мог. Немец только указывал нам, за что хвататься. А пузырь, что живой, лежит, шелыхается и ворочается; из клеенки сделан такой склизкой, но крепкой. Поверху на нем что кошель из веревочек сделан, маленьки таки гонталочки, а что к низу потолще костелошки, а внизу совсем веревки крепкие, и кольцо с форточкой, откуда́ дух выходит...

Порассказав свое, мужики расспрашивали меня про Питер, про правительствующий Сенат, про Святейший Синод. Когда они ушли и хозяева с ребятами стали укладываться спать, я лег на лавку под образами, сумку подложил под голову, укрылся своим полушубком и долго не мог заснуть.

Хозяин потушил керосиновую лампу и кряхтя взобрался на печь. В избе все затихло. Слышно было дыханье спящей семьи. За окном выл ветер. Рядом за стеной лошадь переступала копытами по доскам и фыркала.

Народная песня

Дайте чернильницу с пером
И с бумажкой гербовой.
Уж я просьбу напишу
Государю своему.

Государь — от наш отец,
Мы сольем ему венец.
Мы сольем ему венец
Из своих чистых сердец.

Записана в деревне Кузнерка
Малмыжского уезда.

ХОДАКИ[1]

В избу стали собираться мужики, все больше пожилые и старые; прибегали и ребятишки, но их выталкивали вон. Мужики входили в кожаных заскорузлых тулупах, топотали при входе ногами, отряхивая снег, долго молились на темные образа, потом садились на низкие лавки кругом комнаты, опустив лохматые всклокоченные головы и опершись локтями о колени.

Возле меня сел высокий старик с длинными белоснежными волосами и бородой патриарха, держа в руках палку, на которую повесил свою большую меховую шапку. Он заговорил со мной: откуда я, в каких городах и губерниях был? Мужики разговаривали друг с другом вполголоса, а сами в то же время, как мне казалось, прислушивались к тому, что я говорил моему соседу.

Это было в глухую осень, в рыбацкой деревне Неронов Бор, на берегу озера Ильмень. От первых морозов земля застыла крупными комьями, по которым скрипучие новгородские телеги стучали и прыгали, с трудом влекомые крестьянскими лошаденками. Сухой легкий снег не ложился на землю. Озерной, не стихающий ветер выметал его отовсюду и носил по полям, быстро нагромождая одинокий сугроб на какой-нибудь попавшийся по дороге сарай.

Наш разговор со старцем велся вполголоса, степенно и спокойно. За стеной не умолкал ветер, доносивший глухой шум озера, и безостановочно распевал тонкими и грустными голосами в щелях избы. Окошко с просветом, склеенным из кусочков стекла, дребезжало и вздрагивало при порывах ветра. Маленькая керосиновая лампа, спускавшаяся на железном пруте с низкого потолка, плохо освещала углы избы, где виднелись темные силуэты серьезных мужиков.

— Говори, что ли, Ефим! — прервал наш разговор чей-то голос. Все сразу умолкли и, подняв головы, уставились с выжидающим видом на моего соседа. Старик стал шарить у себя за пазухой и вынул несколько старых сложенных бумаг. Тогда все мужики заговорили сразу:

— Горе у нас! Забытые мы! Некому дело наше выслушать! Дело наше — правое дело, а отовсюду гонят нас, говорят: — «надоели вы с вашим делом!» Да нам-то что делать, когда другим докука?..

Из темного угла вышел бородатый мужик с мохнатыми

---

[1] Ходаки (от «ходатаи») — выборные от крестьян, посланные ходатайствовать куда-либо по общему делу.

бровями, в длинном разодранном тулупе, из дыр которого торчала баранья шерсть. Старик Ефим, повернувшись ко мне, сказал, указывая на подошедшего мужика:

— Тимофей — истинный человек, богомольный. Детей нет, а с женой и свояченицей живет.

— Слушай, чужак! — сказал Тимофей, дотронувшись до моей руки.— Я Тимофей Федоров. Везде я все одно скажу — верное наше дело! Мы — бывшие крепостные, и с нами сделали ошибку. Барин передал нас в казну, а казна пометила у нас на 300 десятин больше, чем на самом деле. Так мы четвертый десяток годов платим подати за эти 300 десятин, которых у нас нет, и все просим, чтобы нам землю смерили. А нас все гонят, говорят, что мы даром начальство беспокоим[1]. Я и до царя-батюшки доходил, довел господь помазанника видеть, покойного Александра Николаевича, да только дело наше все-таки не выгорело, и отчего,— расскажу сейчас.

Пошли мы по Питеру, Игнат за меня держится, боялся очень; а я и тогда уже бывалым считался, потому с барками часто ездил. Пошли мы за толпой и вышли на площадь, а народу там тьма-тьмущая. Говорили, в царя стрелял кто-то, и божья милость не допустила. Пробрались это мы сквозь народ и вышли к самому дворцу, на ступеньках даже стали. Игнат сзади вцепился мне в кушак и так не выпускал, а то оттерли бы его, и я бы не сыскал его больше. И вот народ весь на колени опустился, и мы тоже на ступеньках стали на колени, а прошение я за пазухой держу. Выйдет царь — прошение сейчас себе на голову положу — мы первые, сейчас нас царская милость и увидит.

А рядом с нами стоят какие-то мужики и спрашивают:

— Вы не с прошением ли?

— С прошением!

— И мы с прошением, мы,— говорят,— рязанские; нас ослобонили, волю дали, да вовсе без земли, так мы только на царя-батюшку и надеемся!..

А там дальше костромские стоят, и те с прошением. А кругом народ шумит, не верит, боится, что царя задело пулею, хочет живым и здравым увидеть. А дальше все кареты и кареты стоят, все посланники от заграничных

---

[1] Эти приильменские крестьяне ранее принадлежали гофмейстеру двора, секретарю императрицы Марии Федоровны — А. С. Танееву (дяде композитора); во время «особождения» они недополучили каких-то «лужков и пашен», якобы «присвоенных» Танеевым, посылали к царю «ходаков» и досаждали новгородскому губернатору, лично приезжавшему в Неронов Бор «наводить грозу».

государей и королей, все поздравлять приехали. Генералов что было,— страсть!

Наконец зашумело в народе, что гул по лесу пошел: «царь, царь вышел!» Весь народ остатний бросился на колени, и крики пошли — «ура и ура!» Шум какой, да радость — что гром гремит! Глаза-то у меня заволокло, я и не вижу, где государь, много с ним генералов было в белых перьях...

И вдруг точно прояснилось во мне, и вижу я, царь стоит, спокойный, высокий и печальный... Какая печаль и грусть была в глазах его, я и сказать не могу.

Зашептались тут и рязанские, и Игнат, все как в одно слово сказали: «Нельзя подавать прошение — потому что печален государь. Можем ли мы, темное мужичье, наше прошение подавать, когда царь печален, когда кругом заграничные посланники стоят, поздравляют. И если мы тут со своим прошением полезем, что подумают заграничные посланники про наше государство, «какие, дескать, у нас непорядки делаются?»

Сел государь в коляску, и мы, как передние, за коляску ухватились, бежим рядом, кричим «ура!» и радуемся. Вижу, и рязанские, и костромские тоже ухватились, кричат и все бегут за коляской, и народ толпой бежит, и все, как дети, и плачут и радуются...

Видишь, чужак, многим ли из нашего брата приведет Господь царя увидеть? А я вот, как перед тобой, так близко стоял. Ведь что мне стоило, вынь прошение и положь на голову, и царь взял бы его. Да совесть толкнула: «стой, теперь нельзя, государь печален!..»

Больше царя-батюшку ходакам видеть не довелось. Походили, походили Тимофей с Игнатом по Питеру, сдали свое прошение в «казенный дом», да ни с чем и вернулись.

— А вскорости царя,— добавил Тимофей,— все равно убили бомбою.

* * *

Озерной ветер шумел за стеной, шелестел соломой на крыше, подвывал разными голосами в щелях. Окошко дребезжало.

Народная песня

В первом саде-огороде
Растет земляничка:
Не за то ли меня любят,
Что я невеличка?

В другом саде огороде
Растет трава лебеда:
Не за то ли меня любят,
Что я молода?

В третьем саде огороде
Растет трава мята:
Не за то ли меня любят,
Что я не богата?

Записана в деревне Ныша,
Малмыжского уезда.

ПРЕДАНЬЯ

Тянется длинный ноябрьский вечер. Сидя за столом в натопленной избе одного из ильменских рыбаков, я просматриваю записанные у стариков песни. Жестяная керосиновая лампа, подвешенная к балке низкого потолка, слабо освещает внутренность избы. В переднем углу маленькая чугунная печка на ножках сильно раскалилась. Сквозь многочисленные трещины и скрепы, грубо замазанные глиной, струйками выходит голубой дым, нависая облачком под потолком. От окон и из щелей несет холодом.

В комнате тихо. Ребятишки молча сидят на полу перед печкой, поправляя кочергой огонь. Хозяйка прядет нитки для сетей. Старый дед Яша, лежа на печи, изредка бормочет и вздыхает. Тишину нарушает поскрипыванье прялки, треск сухих головешек в печи да монотонное завыванье озерного ветра за стеной, от его порывов дребезжит маленькое окошко.

Снаружи хлопнула дверь, послышались голоса, заскрипели ступеньки в сенях и в избу ввалились несколько парней и мальчишек. Все они степенно помолились на образа, поздоровались с хозяйкой и чинно уселись на лавках, уставившись на меня, а один заявил:

— Пришли посмотреть на тебя. Сказывали, какой-то чудородец объявился, песни записывает.

— Да, записываю. Жаль только, что вы старинные, протяжные песни перезабыли, поете только частушки да те, что прочли в песенниках. Даже старики сбиваются в песнях, начало еще знают, а конец уже своими словами расскажут. И про старину да разные чудны́е дела тоже мало кто помнит.

— Оно конешно, всего нельзя знать.

— Бывают ли у вас на озере странные случаи? Недавно я слышал такой рассказ,— и я стал читать из записной книжки, думая этим подбить кого-либо из парней рассказать что-нибудь подобное.— Это приключилось с вашими рыбаками на озере.

«В Вишере мы ловили рыбу. Поймали ее много, пудов 30 одних щук буди. Вдруг сделалось холодно, а мы и потянули невод; да вдруг вытащили что-то тяжелое, черное; так и ворочается, а от него холод идет. А еще прежде в лесу что-то откликивалось, ажно нас страх взял. Мы, вишь ты, как «его» вытащили, так все и убежали на гору (берег), да ну креститься!»

«Один наш догадался, накинул на «него» петлю, что на

щук накидывается. С полчаса лежал «он» на земле, а как только солнце стало подыматься, «он» давай поворачиваться, да окунываться, да с бродцом в воду влез и ушел»...

— На всё дела Господни! — вздохнула хозяйка.— Вот, говорят, в Юрьевской слободе, там, где эти главы на монастыри лоснючие,— там каждый год весной человек тонет либо два. Так перед этим временем непременно каким-нибудь преставлением преставится: либо кто будто плачем-плачет, стонет, и громко так слышно,— либо что еще. Все дела Божьи!

— Один мужик сказывал,— подхватил парень.— Ловили мы на озере. Много лодок было тогдысь, да не ловилось вовсе, хоть что-либо попади. Один мужик и говори: «Это «озерик» в карты рыбу проиграл». Вдруг как заходит волна большая, как после парохода, и подняла наши лодки, и запружило нас кверху ногам! Чуть удержались, а то в воду кувырнулись бы!..

— Говорят, «озерики» из разных озер играют друг с дружкой в карты и проигрывают то мелкую рыбу, то сигов, то раков, то что. Прошлым летом наш «озерик» выиграл крупную рыбу, хорошая ловля была. А кто готовил снасть на мелкую, для снятков, то и вовсе ничего не собрал. Раньше у нас на озере было много раков, столько, что в Волхов кучами на берег лезли, а потом года на два пропали совсем. И только недавно стали проявляться опять, но только все порченые: либо без лап, либо с одной клешней, или маленькие да мягкие. Просто ни одного степенного рака! Это все «озерика» шутки!

— А видел ли кто из вас «озерика»?

— Один наш мужик однажды видел. Лежал он в каюте, в барке с дровами, и видит — наверху на палубе сидит человек голый и длинные волосы чешет. Он, мужик, брось в «него» плахой (поленом), да не долетело. А «озерик» бултыхнулся в воду, только пузыри и пена пошли...

— Другие мальчишки и парни сами представляются. Разденутся, и голые засядут в лимане, да болтаются и плещутся в воде, быдто «лиманники», а бабы и девки идут мимо и боятся...

Над печью показалось морщинистое, заросшее длинной седой бородой лицо деда Яши:

— Слышу я, что вы про чудеса рассказываете. Какие это чудеса? Вот было время, я своими глазами дела дивные видел. Да ноне стариков не слушают. Нынче стариков менят на быков, а старушек на тялушек. Ну, хоть я и дедка, да вздыхаю редко!

— Полно, полно! — обратилась к деду хозяйка. — Завел свою балалайку, когда-то кончит? Расскажи лучше про старину, если знаешь.

— Сами вы балаболки, зря болтаете. Сегодня утром проучил я на кладбище баб ваших. Пришли они к могилам и стали голосить:

«Расступись мать сыра земля, подымись гробова доска, вы раскройтесь очи зоркие, вы проговорите уста сахарны, размахнитесь ручки белые!..» А я им: «Цыц, окаянные, а если бы гробова доска поднялась и «ен» впрямь вышел, так небось всех бы разогнал, никто бы не остался!» Тут они перестали в голос плакать и тихохонько марш-марш домой!..

— Да полно тебе! Расскажи про старину лучше. Видишь, чужаку скучно и хочет он про старину послушать.

— Ну так слушай,— начал дед Яша.— Давно это было, когда у нас на деревне солдаты постоем стояли. Был у них капральный Холудеев. Здоровенный такой, нос толстый и красный, голос как из погреба. И говорили все у нас, что Холудеев молодец, ничего не боится и все сумеет сделать.

Был у нас Рябов, вата́ман, дивный человек; как он рыбу заганивал,— никто понять не мог. Выедет ночью, поездит по озеру, ветер и воду испытает, да с «озериками» потолкует. А потом поведет свою ватагу в свое найденное место,— лови ребята сразу на тысячу! И, боже мой, уловы-то какие были тогда: не то что нынче!

Был, значит, Рябов первый человек в деревне, за ним как за собакой все гонялись, и стало ему за досаду, что Холудеева все хвалят, быдто он все может. Стали биться они об заклад — кто ловчее? И вот что сделали. Пришли в избу Рябова и спросили у хозяйки два кочана капустных. Принесла хозяйка кочны, оба совсем ровные и белые. Сели тогда оба они на лавку верхом, спиной друг к дружке, и стали давить руками каждый свой кочан. Прошло времечко и видим,— у солдата и у ватамана стали краснеть кочаны в руках и сделались алые как кровь. Вот были молодцы!

«Ровно вышло! — говорит Холудеев,— давай теперь меряться обратно!» Сели они опять, и вышло в разницу: у Холудеева кочан сделался по-прежнему белый, ровно снег, а Рябов, как ни бился, из красного обратно в белый кочан сделать не смог. «Пересилил,— говорит,— ты меня, служивый, твоя взяла!» И закопал он свой кочан в землю — как нечистый, стало быть.

А Холудеев накрошил свой кочан и хозяйке в котел всыпал, да испортил ее этим: стало у нее сердце гнилое, а сама почернела, стала старая и страшная. Затаил Рябов гнев на Холудеева, поймал он раз его за околицей пьяного,

подвесил его за лытки в своем амбаре, зажег под ним мокрые головешки да и копатил его, копатил! «Не за то,— говорит, тебя копачу, что ты был сильнее меня, а за то, что хозяйку мою спортил. Была баба сдобная, сырая и толстая, а стала сухая, никуда больше не годится!» Вот как оно бывало в наше время!..

— А как венчали у вас в старину? Говорят — иначе?

— Да, венчали у нас прежде, не то что нынче. Теперь вези себе невесту откуда хошь, из-за озера ли, или еще откуда. А прежде ино было: какую тебе невесту барин даст, ту и бери, хошь ли, или не хошь. Ты и не знаешь заранее судьбы своей: она у барина и бурмистра [1] в руках была...

— И ты, поди, дедка Яша, таким же манером женился?

— Когда я женился, я еще не знал, с которого боку целоваться. Вот что! Я еще молодой был тогда. Ехать нужно к венцу, а я палец во рту держу и стою посередь избы. «Ты бы, от, нос-то вытер, ведь, поди, венчаться едешь»,— говорит отец. А я нос рукавом вытер, да и поехали мы. А поп у нас строгий был, Алексий, еще до отца Ивана, перед отцом Василием. Посадил он меня в своей комнате. «Сиди,— говорит,— на стуле и пуще всего не подходи к окошку, а не то испортят тебя. Как к «Достойно» колокол ударит, ты уже не бойся боле, не подействует».

Сидел я, сидел, скучно мне стало, думаю, подойду к простеночку и выгляну в окно, кто это на меня хочет порчу навести? Но тут как раз «Достойно» зазвонили, и это спасло меня, а не то быть бы мне «зверем»... Теперь уже всякую порчу смело,— подошел я к окну и вижу: две бабы старые, Комлиха да Паша Хлызиха, бегут, что есть духу, прочь по дороге, и на ту сторону реки на лодке переплыли.

После обедни нас венчать нужно было, поп и говорит мне: «Открой, Яков, покрывало, покажи мне свою невесту».

А поп у нас зандравный был, не смей ему перечить. Да и я тоже свою плепорцию знаю.

— Нет,— говорю,— батюшка. Мне она еще не передана. Пусть отец вам ее показывает! — Тесть мой и раскрыл невесту попу.

— Молоденькую ты берешь,— сказал отец Алексий: вот я тебя за это заповеди спрошу, знаешь ли ты их?

---

[1] Бурмистр — доверенный от помещика староста над крестьянами при крепостном праве.

Смутился я,— при народе-то, в церкви, неравно и собьешься заповеди говорить. Отслужил поп венчанье, все как след быть по чину, а заповеди и забыл спросить. Сели мы в тележку, только тронулись, ан отец Алексий кричит:

— Стойте! Не все по чину сделали. Назад!..

Слезли мы, опять вошли в церковь.

— Одно-то вы забыли сделать в церкви: поцелуйтесь-ка!..

Я и не помню, куда поцеловал невесту, поди в затылок!..

Народная песня

В лес по ягоды ходила,
Черного жука нашла —
Со руками и с ногами,
И с курчавой головой —
Настоящий милый мой.

Завяжу жучка в платочек,
Понесу его домой
Родной маме показать.

Родна тетка увидала,
Разворчалась надо мной,
Чтоб я кинула в окно.
Я не сделаю того,
Брошу жучка под кровать.

Темной ноченькой не спится,
Жук покою не дает,
На белую грудь ползет.

Записана в деревне Алька,
Малмыжского уезда.

МУЖИК — ВОЛК

Крестьянин в селе Голино, на берегу озера Ильменя, рассказывал мне о том, что на свадьбе часто людей портят.

— Разве это случается? — удивился я.— Только зря болтают.

— Случается ли? И теперь это бывает. Если кто захочет — так очень легко испортить можно. Навести порчу легко, а снять порчу трудно. Я видел в Михайловском Погосте, Псковской губернии, лет тому 20 или 15 назад, шел молодой парень через деревню,— сам он из Москвы родом был,— а за ним следом целая свадьба волчья, голов десять их было. Смирные волки, что овцы, так за ним и шли, а парень собак палкой отгонял. Это, значит, целая свадьба была испорчена, жених, невеста и дружки. На всех порчу навели поганые и в волков обратили...

А то и такой случай был. Мужик, с кем дело случилось, сам мне рассказывал, знаю его хорошо, врать не станет. Да и в деревне все тоже эту историю видели. Собрался жениться этот парень, а мать евоная того не хотела, злющая баба была, не могла перенести, чтобы в дом невестку пустить. Решилась она невестку спакостить и поставила на столе кружку квасу для нее, чтобы ее спортить. Но как от свадьбы вернулись, сын-то вместо невестки выпил этот квас. Стало ему душно, тело зудит, вышел он на двор, завернул за пуню[1] и разделся. Видит — по всему телу у него шерсть пошла. Волком он оборотился. Собака дворовая за ним шла, зарычала на него, залаяла, уже перестала узнавать. Испугался он и убег в поле.

Тоска его взяла, да что ж делать, поселился в лесах, стал питаться кореньями и падалью. Помнит, какова на вкус падаль, точно пареное мясо, или перепрелое. Тосковал он по своей деревне, подбегал к задворкам, а мужики его увидят — цепами выгоняют. Собаки бросаются за ним следом. Пригорюнится он и уйдет.

Стошнела ему эта жизнь. Уже на охотников он сам бросался, убили бы лучше, думал, так один конец. Увидит он человека, и радостно и страшно ему станет. Схоронится от него в кусты. И так прошло много лет. На его глазах мальчишки мужиками стали, девчонки сами ребятишек позаводили.

Раз на Воздвиженье день был жаркий. Зачесалась спина у человека-волка, стал он валятцать, побежал к реке, воды напился, опять стал валятцать и весь мох с него сошел.

---

[1] Пуня — дворовый сарай для сена, мякины, и т. п.

Остался он голым, как мать родила, и пошел к байне (бане) и спрятался в ней. А ребятишки заметили его и начали кричать:

— Морушка коровья вошла в байню!

В эту пору поветерье было на скотину, много ее пало; так мужики поверили, что это «морушка» явилась. Побежали с кольями к байне, придушить хотели, сотский только унял их — «может и впрямь этот человек несчастный»,— сказал. Снял с себя кафтан и надел на голого. А тот хочет сказать, а чувства нет слов выговорить. «Братцы!» — говорит, только «братцы», и «я ваш»...»

«Ну, покажи избу свою, если ты наш»,— спрашивает сотский. Взяли его под руки и повели. Остановился он перед своей избой и рукой указывает,— здесь, значит. Ввели его в избу, отец его, старик, сидит. «Да,— говорит,— пропал у меня сын после свадьбы, 20 лет назад, но ведь столько лет прошло! Я и не помню его». А мать евоная лежала в клети — с тех пор как испортила сына своего, гортань у ней выдернулась и слов она лишилась. Как увидела своего сына,— всю ее и передернуло. «Признала, верно!» — решили мужики, и стали у них старики припоминать, что и в самом деле давно пропал на деревне человек.

Явился урядник и приказал давать по полфунта хлеба есть в день, но не больше, а то с непривычки бы не выдержал. Через три дня начал болтать языком. Священник его исповедовал. Скопились потом священник и становой, и повел их наш мужик за околицу, где его шкура лежала. Стали ее исследовать и нашли что то не шерсть была, а мох. На шее у мужика остался крест медный, на веревочке, так даже полоска была, где мох протерло. Долго после этого говорил он, что понимал, про что волки воют, всякую речь волчью постигал.

Все это правда, мужик и до сей поры жив, у сестры своей вдо́вой проживает, в деревне Жарах, что по Петербургскому тракту. Сколько раз я с ним чай пил! Только след у него на щеке остался — так с медных два пятака мох растет у него на лице, до сих пор — не смог вывести...

Народная песня

Меж крутых берегов
Река Волга течет,
Вслед за нею волной
Легка лодка плывет.
В ней сидел молодец,
Шапка с кистью на нем;
Он с веревкой в руке
Воду резал веслом.

Он ко бережку плыл,
Ко крутому пристал,
Лодку в миг привязал,
Соловьем просвистал.

Как на бережке том
Красный терем стоит.
Что во том терему
Тут красотка живет.
У ней вотчим крутой
Воевода лихой.

Записана в деревне Септяк,
Елабужского уезда[1]

---

[1] Елабуга — город и центр района Татарской АССР.

СЧАСТЬЕ

Это было осенью. Выйдя из города, я пошел по дороге не в мороз и не в оттепель. Льдинками затянуло лужи, кругом по равнине расстилались коричневые сырые поля, кое-где редкими белыми пятнами лежал тающий снег. Вдали виднелись небольшие рощи с молодыми тонкими деревьями, обнаженными от листьев. Галки и вороны стаями летали по небу, прыгали по дороге и садились на мятые, низкие полузамерзшие озими. Иногда по дороге встречались мужики, возвращавшиеся из города. Бесчисленные облака как будто застыли на сером небе в таком же задумчивом молчании, как и природа этой равнины.

Меня перегоняло много мужиков. Их маленькие взъерошенные лошадки мелкой рысью бежали по дороге; в телегах лежали мужики, предоставив лошадкам бежать как вздумается.

В одном месте у спуска к ручью, где дорога была изрыта колеями, полными воды, шагом плелись три телеги. Мужики, соскочив на землю, шли рядом.

— Далеко идешь? — спросил меня один из мужиков.

— Не знаю, далеко ли,— ответил я,— далеко ли, близко ли, как свое дело найду.

— По какому же делу ты идешь?

— Мое дело такое, иду по России и хочу узнать, есть ли на свете счастье?

— Ишь ты какой, на слова гораздый! — недоверчиво стал всматриваться в меня собеседник.

— А что такое счастье? — воскликнул другой мужик, молодой парень.— Вот, когда деньги звенят в кармане, вошел в кабак, подошел к стойке: «подходи ребята, всех я угощаю!» Да еще девка при этом хорошая,— вот тебе и счастье!

— Нет, ты не ладно сказал, это счастье только до завтрашнего дня, сегодня счастье, а завтра голова болит.

— А ты, дядя, скажи, что такое счастье?

— Счастье? А я и не знаю, что такое счастье, в нашу деревню оно не заходит, да и на дороге я его тоже не встречал. Ты попытай, может где в других местах оно живет, счастье-то!

— А вот третий что еще скажет? Ты как насчет счастья думаешь?

— Я думаю, что счастье — это кто человек, значит, рассудительный, себя соблюдает, может все справить как следует быть, и в дороге, к примеру, тоже себя соблюдает и в хозяйстве тоже человек карахтерный, вот это и есть счастье!

Посмотрел я на этого мужика: одежонка на нем заплатанная, из шапки дыры глядят, даже лапти растрепались.

— Да ты на меня не смотри, это я ведь не про себя говорю. Потому я сказал про счастье, что у меня самого двугривенный в кармане не залежится, сейчас его в кабак снесу.

— Так куда же ты все-таки идешь? Мы же видим, что счастьем ты это нам зубы заговариваешь.

— Я знаю, ты, верно, в деревню Заболоть идешь?

— Да.

— Не к Митрию ли Иванову?

— Да.

— Так-то. Смотрю я и думаю: верно, он к Митрию Иванову в Заболоть идет!..

Мужики уехали вперед. Я никогда в Заболоть не собирался и не слыхивал про нее, а подавно о каком-то «Митрии».

Верст через десять я подошел к опушке леса, возле нее расползлись по склону несколько изб. Баба, бравшая воду у колодца, сказала, что эта деревня — Заболоть, а Митрий Иванов возле самого леса, в крайней избе. Было часа 4 дня, когда осенние сумерки начинают заволакивать туманом даль.

Я подошел к избе, где была прибита доска с надписью «Дмитрий Иванов» и нарисована пожарная бочка. Поднялся, пройдя сквозь сени в избу, где на лавке сидел старик с очками на конце носа, щелкал на счетах и, слюнявя палец, перебирал какие-то бумаги и страницы растрепанной тетрадки.

— Бог на помощь! — сказал я, крестясь на иконы в углу.

— Здравствуйте! — ответил старик, вглядываясь в меня.

— Нельзя ли у вас чайком погреться? Я заплачу за самовар.

— Милости просим, баба сейчас поставит. Ты, может, и ночевать хочешь остаться?

— Хорошо бы. Уморился с дороги.

— Да куда ж идти теперь, смеркает. Пока придешь в другую деревню, там спать лягут, не достучишься. Ложись у меня на лавке ли, или на печи, где хошь. Места у меня довольно.

— Спасибо на том. Так ты и есть Митрий Иванов?

— Так я и есть. Кто ж тебя послал ко мне?

— Встретил по дороге мужика; говорит, что ты человек добрый, и если кто к тебе попросится ночевать, ты его и побережешь, как следует, и вообще уважишь.

— Да... Смотрю я на тебя и дивлюсь: не было еще у меня до сих пор таких чистых странников. И полушубок у тебя новый, и сапоги целы, и часы есть,— вижу, парень ты фартовый...

Хозяин позвал баб. Пришли две девушки, поставили самовар и сели на лавке под печкой, слушая наш разговор. Хозяин же стал со мной вместе пить чай, расспрашивая меня обо всем, а сам рассказал о себе, что держит маленькую мелочную торговлю.

Стали мы говорить о разных делах и высоких предметах, о церкви и Боге, о смерти, о правде.

— Правда теперь прячется и стыдится, и робеет,— говорил Дмитрий.— Правда по маленьким людям сидит, которые про себя ее держат. Все бедные, тихие, робкие — они правду знают и правдой живут. А сильные, веселые, здоровые, удачливые, живут иным чем-то; они живут чутьем и тем, что глядят в оба. А мужик недоволен. Он молчит, ничего не говорит, и ничего не скажет, потому что ему рассуждать не приказано и от него никто рассуждений его не спрашивает.

Что такое мужик? — Первое: хозяин. Один барин имеет 1000 десятин, другой сто, а крестьянин четыре. А он такой же хозяин. Своя у него земля, он по своим четырем десятинам может ходить и властвовать. Так что первое — мужику нужно оказать уважение. Ты стоишь в шапке, и я стой в шапке; ты вошел в церковь, снял шапку, и я; ты перед царским портретом снимешь шапку, и я сниму. А друг перед дружкой мы оба станем в шапке стоять.

Это первое. А второе: зачем на мужика кричат? Что он, скотина или душа христианская? Разве мужик что скверное делает, что на него кричат? В церковь ходит, молится, как по чину полагается, окрещен во святой воде, в бане парится, удавленного или чего скверного не ест. За что же на него кричать? Мужик работает, землю пашет, подати

в казну платит, на службе царской свою кровь проливает, а все он виноватый в чем-то. Все на него покрикивают, точно на нем вина какая-то висит.

А третье, скажи мне по совести,— зачем мужик закона не знает, почему мужику не дадут законов? Евангелием сколько уже лет мир стоит. И деды, и прадеды, и святые, и народы, и царства живут, а книжка всего на всех одна, и там ясно сказано, как жить надо, и можно всякого спросить, почитай Евангелие: хочу знать, как я жить должен. Ну побратим мне почитает Евангелие, я и знаю, как мне жить нужно; а если преступлю, так и знаю, что преступил.

А законы должны быть как Евангелие, одна книга, чтобы она здесь передо мной на столе лежала, чтобы я мог прочитать ее и знать, как поступать. И чтобы, когда я прочел законы и пошел на улицу, уже меня никто не смел тронуть пальцем, если я законы знаю и соблюдаю. А если я закон преступлю, тогда меня и судите.

Теперь мужики — маленькие помещики, и они хотят поведения по ясным законам да христианской обходительности. А то идет мужик и все озирается, не начнет ли кто кричать на него? Да тебе, чужак, не понять того, что я говорю. Ты — зверь свободный. Сегодня ты здесь, а завтра поднялся и ушел за сто верст. Думаешь ты подорожному: на холоде изба — клад, а самовар — сокровище!..

— Смотрю я на тебя, Митрий Иванович, слушаю, и ты какой-то не русский, будто. Не то ты штундист[1], не то сектанец...

— Богу-то мы одному молимся...

— Так-то так, только говоришь ты по-особенному.

— Так то-с! Так то-с! — задумчиво ответил на мои слова Митрий Иванович.

Потом в избу стали приходить мужики, беседовали о разных деревенских делах, «про хлебá, про покос, про старинушку», и мне не удалось более поговорить «по душам» с Митрием Ивановичем.

Я переночевал у него и рано утром ушел дальше.

---

[1] Штундист (от нем. Stunde — час молитвы) — последователь штундизма — евангелическо-баптистской секты, отражавшей интересы кулацких слоев крестьянства в России, возникшей в середине XIX в.; сектанец — сектант.

СТАРОВЕРКА

Раннее утро, светает. Скрипит ворот у колодца, плещет ледяная вода. Бабы в тулупах, закутанные в платки, идут по скрипучему снегу с ведрами. Еще сумерки; на небе густые, мрачные тучи. Белый снег, засыпавший все окрестности и наваливший сугробами на крыши, отливает синим цветом и лиловыми тенями. На востоке багрово-красный горизонт. За околицей свищет ветер, через дорогу видны заячьи следы.

Входишь в деревню по уезженной дороге, идешь протоптанной дорожкой под избами; в окна заглядывают хозяева. Невольно приходится вглядываться в их любопытные лица, чтобы выбрать более ласковое и там попроситься передохнуть.

— Эй, чужак, заходи погреться!

Избенка маленькая, с черными гнилыми бревнами; покосилась и навалилась на хлев, тем только и держится, а то бы давно развалилась. Вхожу сквозь низенькие сени внутрь. Небольшая комната; стены так мохом законопачены, точно заросли от старости. На потолке копоть и паутина. Бедность, грязно; на старой бабе возле печки одни лохмотья.

Возле окна сидит хозяин, высокий парень в разодранной рубахе. Глаза глядят внимательно, сосредоточенно, но бодро, только промеж бровей залегла мрачная складка.

А возле стола, грустно облокотившись и подложив кулак под голову, сидит другой человек, по виду купец, одетый богато, в синей долгополой поддевке, с золотой цепочкой, в шелковой голубой рубахе; волосы кудрявые, светлая бородка, голубые душевные глаза. Перед ним на столе бутылка и два стаканчика.

После нескольких фраз короткого разговора купец придвинулся ко мне, положил руку на плечо и, глядя в глаза, сказал:

— Побратим, послушай! Я тебя озолочу, если ты мне поможешь! Ты человек чужестранный, ты и сделать это, поди, сумеешь. Побратим, помоги мне!

— Если чем могу помочь, так и без денег помогу.

— Слушай! Есть у нас купец, богатеющий сталовер. Туровский — его зовут, слышал, поди? Три сына у него, дуб дуба чище молодцы. Каждого он выделил, каждому свою усадьбу дал. И есть у него дочь Агриппина. Вышла Агриппина замуж за прикащика Туровского; выделил он и им имение. Да недолго прожили вместе, уморила мужа сталоверка, ума лишился, замешался совсем и помер. И случи-

лась такая беда, что увидал я сталоверку молодую вдову: высокая, голову гордо несет, глаза темные, ресницы приспущены и на губах усмешка. Сказал я себе тогда: вот мне жена, женюсь я на ней...

Что ж, я капиталом не меньше ее, три дома у меня каменных, два завода, село свое есть и мельница. Дело долго не затянулось; перед Рождеством я ее увидел, а после Рождества мы и обвенчались. Родился сын у нас. Жили мы сперва ничего, а скоро стало и жестко нам.

«Сталоверка, говорит она, я, да и только! И ты, говорит, должен в нашу веру оборотиться...» Я любил ее, конешно, а сладить с ней не смог! В церковь нашу она меня не пускала. Ну, коли она уедет в воскресенье кататься, я тем временем сбегаю на погост, с полверсты он от нас будет, не больше. Узнала она про это. Один раз меня не было дома, я в город по своим делам уехал. Приказала она заложить сани и сказала, что кататься поедет. А кататься она любила. Села и укатила и сына с собой взяла. Вернулся я, нахожу записку: «Прощай навсегда. Не сумел меня подогнуть, так и не удержать подавно. А с никонианцем жить не хочу».

Сперва я был как бешеный! Чего я ни делал, и полицией, и судом хотел ее вытребовать, и к ней ездил. Приехал раз под ее окно в беговых дрожках. Окно раскрыто, в окне сынок сидит. И узнал меня, закричал: «вон тятька приехал!» Да сама подбежала: «Врешь ты, это не твой тятька; твой тятька давно умер!» — схватила его в охапку и унесла. А тут собаки были спущены, мой жеребец испугался и понес дрожки...

На сталоверку я рукой махнул, с ней ладу не будет, она с норовом. Да там еще появился около нее какой-то начетчик, или прикащик, с ней все время вместе ездит. Они уже, видно, сговорились и поладили. А вот сын! Я думаю о нем день и ночь, сон в голову нейдет, сердце кровью обливается. Решил я его выкрасть. Найду людей, которые это сделают. Мне самому туда нельзя сунуться, меня там всякая собака знает. А вот кто чужой мог бы это сделать? Возьмись за это молодец хороший: коли выкрадешь сына, сто рублей денег дам!..

Насчет кражи ребенка мы не договорились: купец захмелел и вскоре заснул.

Дальше опять была та же уезженная дорога, сугробы, обнаженные стволы берез, засыпанные снегом ели, заячьи следы возле опушки леса; те же, точно зарывшиеся в снег, деревни, так же похожие одна на другую, как и встречные мужики.

С ОБОЗОМ

Лежа на дровнях посреди длинного обоза, мои сани — шестые от его начала, за мной — саней шестнадцать или двадцать, от нечего делать я пересчитываю их, и цифра постоянно меняется, — задние то отстают и исчезают в морозном тумане, то догоняют и едут в хвосте обоза.

Впереди я вижу силуэты передних ездоков; первой идет коренастая гнедая лошадка, вся запорошенная инеем. Она идет шагом, поматывая головой; на ее дровнях лежат два куля, вероятно, с солью, а хозяин спит; сквозь сумерки видны три горба, но который из них тут хозяин, не разобрать...

Дорога все время вьется: передние пять саней то заворачивают, и я вижу их все — одни за другими, то выравниваются впереди гуськом в линию, их уже не видно за крупом моей лошади.

Мороз градусов 20. Тихо, ветра нет. Вечер. Но сколько времени, определить нельзя: в декабре темнеет уже около 4 часов дня, и затем тянутся монотонные сумерки вплоть до 7—8 часов утра следующего дня. Можно бы определить, который час,— но для этого нужно распахивать полушубок, расстегивать куртку, снимать рукавицы и вытаскивать часы, а на морозе сейчас же холодные струйки пробегут по всему телу, через несколько секунд руки окоченеют, и долго нужно будет потом похлопывать рукавицами, пока достигнется снова равномерная температура...

Да и не все ли равно, сколько времени? Дорога дальняя, ехать еще придется ой-ой сколько, еще впереди две остановки на постоялых дворах; стало быть, лучше не думать вовсе о времени, а заснуть, или мечтать, или болтать с мужиками,— вместе с лошадьми понемногу и время незаметно подвинется вперед.

В дровнях я лежу на сене, но сено постоянно разлетается, и я оказываюся на куле с солью, который тверд, как камень, и отлежал мне бока. Соль все время просачивается и мажет мой полушубок. Возле меня торчит из сена бутыль с керосином, который бултыхается на выбоинах дороги. Возница мой лежит на дровнях, рядом со мной; он поднял высокий воротник своей шубы, поднявшийся выше его головы, и молча смотрит сквозь щель, а может быть, и спит, кто его знает... Ему тепло лежать, у него полушубок и сверху надета просторная дубленая шуба, на ногах лапти,— самая теплая обувь в дороге, лучше всяких валенок.

Я же одет холоднее, мороз нагрянул неожиданно, а до

Рождества там, где я странствовал, все время была оттепель. На мне один «романовский» полушубок и высокие сапоги — самая непрактичная одежда в мороз; на голове башлык; я лежу на боку, подобрав ноги и спрятав их под длинной полой полушубка. Но чуть только задремлешь, невольно вытянешь ноги, и мороз начинает кусаться.

Почти совсем надо мной свесилась добрая, мохнатая голова идущей следом лошади. На ее морде висят сосульки, шерсть взъерошена и покрыта инеем. Лошадка аккуратно следует за нами, мерно покачивая головой при каждом шаге. Передние лошади побегут рысью, наша подтянется, задняя не отстанет, и весь обоз затрусит вперед, пока передняя не пойдет опять шагом; тогда мужики встают с дровней, идут рядом по дороге, сходятся по двое, трое.

Все они ездили во Ржев, за 80 верст, продавать лен и теперь порожняком возвращаются назад. Мой возница и трое мужиков с передних дровней поровнялись и пошли рядом.

— Ну, как, Василий Иванович, ты продал?

— Да неважно. Тихо нынче со льном.

— Да, тихо, тихо.

— А Иван-то Клементьич привез, говорит, во Ржев, ему дали по три с полтиной. Он и обрадовался, на тройке весь свой остатний лен свез,— и вдруг — два семь гривен! Он ждет день,— опять два семь гривен; ждет третий — два шесть гривен! Не назад же везти! Он заплакал даже, как лен отдавал!

— Да и купцам-то тоже поди неважно приходится. В одной единоверческой слободе человека три разорилось и закрыли свои лавочки...

— А что за седок у тебя?

— Да не знаю: учитель что ли, или из духовного звания. Обученный какой-то. Вероятно, защиты едет просить или на должность.

— Да, да, конечно: кто по своей охоте в дорогу отправится? Верно, неволя выслала.

— На Михайлов погост, говорит, пробирается.

Передняя лошадь опять побежала рысью. За ней подтянулся и весь обоз. Мужики врассыпную бросились к своим саням. Рядом со мной опять очутился мой возница Василий Иванович.

Кругом белые снежные поляны, вдали видны черные силуэты деревьев, неопределенные какие-то темные пятна, вероятно, кусты. Изредка к дороге подступает опушка леса; тонкие и длинные ветви обнаженных деревьев произ-

водят впечатление прозрачности и воздушности, а в тумане весь лес кажется легким и дымчатым.

Иногда попадаются на дороге деревья. Тишина полная; в большей части изб огни потушены, кое-где горит огонь, и видна спина бабы в красной холстинной рубахе с красными вышивками на плечах; возле нее прялка... Чья-нибудь фигура припадет к окошку, составленному из кусочков стекла, склеенных бумагою, и старается рассмотреть, кто едет по улице?

Опять снежные равнины. Дремлется под поскрипыванье связанных лыком саней, топот и фырканье маленьких лошадок, изредка понуканье проснувшегося мужика. Чуть-чуть посветлело,— это на небе сквозь серые тучи показалось мутное пятно месяца.

Спустились с горы: сани раскатывались без железных полозьев, без «тормазов», как говорят мужики; нас встряхивало, бросало из стороны в сторону на скатах дороги. Поднялись снова на гору, и показалась деревенька в несколько изб.

— Вот и Тарасово,— сказал Василий Иванович.— Здесь обогреемся, чайку попьем и отдохнем.

Посреди деревни стояли два низеньких длинных домика и один новый и высокий. Перед ними вся дорога была усеяна сеном от множества проезжавших. Три воза со льном стояли привязанными к колоде. Передняя наша лошадка свернула с дороги и уперлась головой в самые ворота.

Не весь наш обоз остановился, саней восемь проехали дальше; их деревни были, вероятно, недалеко или они привыкли останавливаться на другом, знакомом им постоялом дворе. Двое из наших мужиков подошли к окошку и стали стучать; изнутри послышался женский голос:

— Сейчас, мои родные, сейчас, мои желанные,— сейчас дворник ворота откроет...

Закрипели, отворяясь, высокие ворота, показалась темная фигура человека с фонарем. Передние сани въехали, за ними и остальные. Небольшой квадратный дворик с трех сторон был окружен навесами, под ними стояло много саней. Отпряженные лошади были привязаны головой к саням, ели сено и овес. В одном углу двора висели громадные весы, и баба в полушубке, светя фонарем, что-то отвешивала двум мужикам в тулупах. Все прибывшие искусно пробрались между стоящими лошадьми и сумели разместиться.

Баба, покончившая с весами, качая в темноте фонарем, подошла к вновь приехавшим.

— Уж вы извините, желанные мои, не можем вас в светлые горницы провести, заняты они. Дорога железная у нас строится, так анджинер с этой дороги у нас сегодня все три комнаты взял: петь он любит и хочет, чтобы никто ему не мешал, ходит по всем трем комнатам и поет!.. Вы уж потеснитесь у нас на кухне. Кухня у нас хорошая, просторная, только народу набралось много, все бельские уроды понаехали...

Вместе с другими я вошел в низенькую дверь, прошел узким и кривым коридорчиком, подпертым бревнами, чтобы потолок не провалился; где-то сбоку в стене открылась дверь с аршинной высоты порогом.

Мы перешагнули в небольшую квадратную комнату, сажени три в ширину. В этом крохотном помещении с нашим прибытием оказалось, по крайней мере, человек сорок. Всюду, куда только можно было взглянуть, видны были сидящие фигуры во всевозможных позах и положениях. На полу была набросана солома, и лежали вповалку мужики. На печи, лежанке и скамьях тоже лежали мужики, бабы и дети; иные спали сидя, прислонившись к стене. За столом сидели два мужика и хлебали что-то из одной миски.

Мои спутники стали подолгу молиться на потемневшие образа, потом распоясались и полегли на полу, найдя себе местечко среди других лежавших. Василий Иванович не лег, а сел на лавке и с очень унылым видом уставился в пол. Когда снова вошла баба, приведшая нас со двора, с заспанным и недовольным лицом, Василий Иванович ущипнул ее и, заискивая, спросил:

— Нельзя ли бы, молодуха, сороковочку[1]?

Откуда-то из-под лавки раздался басистый голос: И мне! — а на печи поднялась всклокоченная голова и заявила, что тоже не откажется.

— Проклятые! Покою от вас нет,— заворчала баба.— Только жизнь мою молодую загублю, иссушу мое тело белое этими ночами бессонными... Сейчас вам достану, мои желанные, всего, чего хотите, чтобы вам пойти да споткнуться!

— Да ты, Домнушка, не сердись,— мы тебя уважим и тебе поднесем, а потом поляжем, и никто более тебя не побеспокоит!

— Не нужно мне ничего вашего. Спать до смерти хочется,— а тут возись с вами! Сейчас спрошу у хозяйки и принесу вам.

Домна уходит, и через несколько минут распахивается

---

[1] Сороковка — бутылка водки емкостью 1/40 ведра; ведро емкостью около 12 литров.

дверь и появляется дородная хозяйка постоялого двора с накинутою на плечи шубою. Точно Марфа-посадница, кричит она зычным голосом:

— Кто хочет что-нибудь из лавки, так я выдам, а потом уж больше не смейте беспокоить!..

Встают с пола и из-за углов какие-то заспанные всклокоченные фигуры и уходят вслед за хозяйкой; вскоре они возвращаются со связками баранок и бутылочками. Водку благоговейно, перекрестясь, они выпивают, закусывают баранками и ложатся снова спать.

Странное впечатление производит эта толпа спящих людей.

Необыденным является детски доверчивое отношение друг к другу, совершенно отсутствующее в городской толпе. Эти мужики, продавшие лен и, стало быть, возвращающиеся с деньгами,— по крестьянскому бюджету очень большими,— не выказывали ни малейшей боязни или недоверчивости к тем совершенно неведомым им проезжим, с которыми им придется провести ночь в одной комнате. Один разговаривает с другим, как будто вчера только с ним расстался и век был знаком; он посвящает соседа в свои интересы, говорит о своей беде, и другой истинно сочувствует.

— Не знаю, что сделалось с конем. Не ест сена и овса не ест. Попробовал немного и морду отворотил! Пришел я снова,— он лежит; я поднял, поставил, стоит он, раскорячив ноги. Вот сейчас опять ходил, — конь лежит снова!..

— Ты опоил его, быть может?

— Какое! Два часа уже как приехал, а пить ему не дал еще.

Несколько мужиков уже всей душой приняли участие в опасениях этого в первый раз встречаемого человека. Они встают, отыскивают шапки под скамейкой и идут к двери, во двор. Там они все обступают чалого коня, который лежит на соломе, на брюхе, подобрав под себя ноги и, меланхолично подняв голову на длинной шее и отвесив нижнюю губу, с полным равнодушием относится к своим зрителям.

Мужики начинают подымать коня: одни тянут за голову, другие толкают в бок, наконец, кто-то тащит кверху за хвост, и конь, к общему удовольствию, встает. Знатоки ощупывают его со всех сторон, подымают, осматривая поочередно все четыре ноги, наконец, решают, что ничего особенного у коня нет, а что просто и «у скотины своя фантазия бывает»!..

Все возвращаются в комнату и снова ложатся спать.

На некоторое время всё несколько стихает. Слышно дыхание спящих, храп, стоны из-под лавки одного лохматого мужика. На печи старушечий кашель, иногда слышно сквозь сон бормотанье слов или шепот: «О, господи помилуй!» скажет кто-нибудь, переворачиваясь на другой бок.

На стене монотонно постукивают часы, закоптелые и засиженные мухами. Некоторые проезжие изредка встают, подходят к часам, спросонок долго вглядываются, жмурясь, в циферблат, затем, если время подошло ехать, идут во двор поить лошадей и запрягать.

Народная песня

Торги торговали,
Свинцу пороху накупали,
В стены каменны палили,
Стену каменну прошибли,
Красну девицу в полон взяли.

Ко Румянцеву подводили,—
Граф Румянцев сдивовался,
Красоте ее любовался.

Хороша девица румяна,
По немецкому изобранью
На ей шубейка шелковая,
В косе ленточка голубая.

— Мы пойдем во Русей замуж
За любимого моего сына
За Ивановича Ивана,
За русейского енерала.

Красна девица испугалась,
Со Румянцевым соглашалась.

— Вы пожалуйте лист гумажки,
Из кармашек карандашек.
Начала девица писать,
Королю письма отсылать,
Чтобы ехал король на свадьбу.

Записана в деревне Рахотно,
Малмыжского уезда

МЕРТВОЕ ТЕЛО

(ВОТЯКИ [1])

Высокий вековой лес кончался, и сквозь деревья вдали были видны какие-то строения; но была ли это русская деревня, или вотяцкая,— я не знал. Кругом тесными рядами стояли громадные «мачтовые» ели без ветвей с кудрявыми метелками на вершинах. Между ними густо росли мелкие деревья и кусты, валялось множество старых, гниющих сломанных стволов. Было тихо в лесу, только пчелы жужжали над белыми пышными цветами донника, и перекликались звонки колокольцев пасущегося стада.

Я осторожно пошел вперед и очутился перед можжевеловой изгородью, за которой тянулся огромный пчельник, сотни в две ульев. Долбленые колоды, больше сажени в вышину, стояли вперемешку с небольшими деревцами яблонь и вишень, и на каждой колоде сверху белел большой лошадиный череп, вымытый дождями.

Посреди пчельника пряталась под прислоненными к ней новыми колодами-ульями низенькая избушка. На коньке крыши прибиты сучья и корни, причудливо изогнутые, как застывшие змеи. Это был вотяцкий пчельник. Старик вотяк в войлочном колпаке, с седой бородкой клином и прищуренными глазами, медленно ходил между ульями, которые были почти в два раза выше его. Нагибаясь к колоде, он прислушивался к жужжанию пчел внутри ее.

Старичок меня не видал: он останавливался, что-то бормотал и кивал дрожащей головой. Отойдя к краю изгороди, он с кем-то заговорил. Я прошел опушкой леса и увидел небольшой шалаш, сложенный из хвороста. Перед ним на корточках сидел молодой вотяк и варил что-то в котелке над костром. Голубой дымок поднимался в тихом воздухе. Возле костра, тоже на корточках, сидела вотячка в короткой юбке и синих холщовых штанах до пят. С ними-то и разговаривал старик. Все трое говорили, тихо посмеиваясь, указывая руками куда-то в сторону,— где посреди песчаной полянки виднелся бугорок наваленного лыка. Выйдя к вотякам, я подошел и поздоровался. Все трое замолкли и неподвижно уставились на меня испуганными голубыми глазами.

— Здравствуйте! Что вы здесь делаете? Лыко дерете?

— Здравствуй!.. Нет, мы мертвое тело хороним.

---

[1] Вотяки — прежнее, устарелое название удмуртов, народности, населяющей Удмуртскую АССР, по берегам Камы.

— Какое мертвое тело?
— Мужичок убил себя. Пошел в лес и на дереве убил себя.
— Как же это он? Повесился что ли?
— Да, да! На лыке, обвязал лыко вокруг шеи и удавился.
— Зачем же его не отвезете на кладбище и не похороните?
— Становой не приказал. Сказал, надо подождать. Суд еще будет. Знаки на мужичке нашли.
— Какие-такие знаки?
— Мы не знаем какие, только хоронить не приказал!
— А давно вы его так стережете?
— Не знаем. Мы не ученые, где нам знать. Вторая смена уже идет. Каждый день новый мужик стережет, по очереди, и один раз уже вся деревня его простерегла. Теперь опять сначала пошло... А ты сам откуда будешь?
— Из Петербурга.
— Из Петербурга? — и вотяки переглянулись и замолчали; затем сказали между собой несколько фраз по-вотяцки и опять уставились на меня испуганными светлыми глазами. Меня же ошеломила эта неожиданная встреча с трупом. Вспомнилось «мултанское дело» [1]. Старый казенный лес, которым я только что шел и любовался, как тихо покачивались и глухо шумели высокие ели, теперь стал казаться мрачным. Вотяков, видимо, встревожило то, что прибыл я из Петербурга:
— Зачем ты к нам пришел? Не подослан ли ты, хочешь узнать, как мы живем? Ты думаешь, мы какое злое дело делаем? А мы никому не вредим, живем тихо. Это русские мужики на нас говорят, что мы «человека молим» — это пустое! Это они с досады говорят, хотят у нас отобрать наши земли...
— Что же они о вас говорят?
— А говорят, что мы человека подвешиваем над котлом и ножичками колем, чтобы кровь текла, а эту кровь будто собираем в чашечки и пьем. Это все пустое! Вот и теперь, напрасно мы стережем этого мертвого мужика в песке и керосином поливаем; думают, верно, что мы его

---

[1] Мултанское дело.— В 1892 году недалеко от села Старый Мултан Малмыжского уезда Вятской губернии, на лесной тропе между деревнями Аныком и Чульей, был найден обезглавленный труп нищего Матюшина. Группа мултанских вотяков была обвинена в убийстве с ритуальной целью. Возник громкий процесс, длившийся 4 года; вотяков защищали В. Г. Короленко, русская прогрессивная общественность, и в 1896 году суд вынес оправдательный приговор.

«замолили». А это пустое! Мужичок — с горя убил себя! Был он парень молодой да бедный, нанялся пахать поле у одного мужика, еще того беднее. А как стал пахать, так соху ему ненароком и сломал! Пришел к тому мужику и плачет,— сломал я твою соху, говорит, зачем я взялся пахать? Кабы не я, ты бы еще долго этой сохой работал! А новую соху тебе не могу купить. Что ты теперь будешь делать? И так он убивался-убивался, да и пропал из деревни. Испугались мужики, пошли в лес его искать, а он уже удавился!..

Мне стало жутко. Я видел, что здесь опять тайна, что мне не дождаться от вотяков ясного безбоязненного разговора. Они напуганы и в самом простом вопросе видят заднюю мысль.

— Как называется ваша деревня?

— Гузношур-Кибья.

— Есть в деревне хоть один русский человек?

— На деревне у нас есть один русский — лесной стражник. Если хочешь к нему пройти, так иди по тропинке, четвертая изба с краю будет, как выйдешь из лесу.

Я пошел мимо пчельника. Заходящее солнце красноватыми лучами освещало белые лошадиные черепа на ульях. По тропинке встречались вотяцкие дети; мальчики были одеты так же, как русские ребятишки, а девочки в длинных до пят узеньких штанах и платьях с вышивками и побрякушками. В детях меня поразило странное взрослое выражение лиц; сперва даже показалось, что все дети одноглазые. Правый глаз закрыт или прищурен, а левый глядит как-то своеобразно, точно насмешливо. Но это было от трахомы, которой больны почти все вотяки, и это искривление глаз придает им загадочное выражение, словно они хранят какую-то тайну.

Когда показалась деревня и я пошел вдоль ее изб, то окошки распахивались, высовывались вотячки, с недоумением глядя на нового неведомого человека, забредшего в их уединенную деревню.

В четвертой избе оказался русский мужик, лесник, единственный русский человек в этой деревне, и на душе у меня сделалось легче. Он радушно меня принял и сей же час стал угощать кирпичным чаем с баранками.

— Это самые добрые люди,— отозвался лесник о вотяках.— Русский — медведь, татарин — волк, вотяк — рябчик, так они сами себя называют. Всего-то они боятся и потому всякому пню кланяются. Сперва вотяк в церкви молебен отслужит, потом в лесу своему богу помолится, затем и с татарином и с черемисином пойдет молиться,

думает, значит — замолит разных богов, чтобы ни один ему не повредил!..

Только когда праздник у них, тогда нужно от вотяков сторониться; они поют песни про свое старое время, как раньше их деды хорошо жили, и как теперь их боги оставили. Я тогда их сторонюсь, да и сами они мне говорят: «Уходи лучше, Ефрем, куда подальше!»

Когда напьются своей самодельной водки «кумышки», так видят наяву невесть что! Богов своих, и добрых и злых, и с ними разговаривают; а коли русский им попадется на то время, навалятся на него толпой и изобьют, в одиночку-то им не справиться.

Раньше я не знал этого. Как-то в праздник ихний лежу я в избе у окна, время было уже к ночи. Вдруг — шасть кто-то колом в окно. Стекла у меня посыпались, только кол-от не задел. Выскочил я на улицу, вижу — бегут вдали несколько мужиков. Заробел я за ними гнаться, еще убьют за околицей; а кто это был — в темноте не разглядел.

С тех пор, как праздник ихний, я инда выйду на крыльцо да стрельну в небо из леворвера для острастки. А так-то мы живем мирно, в милую душу...

Удмуртские народные песни

На что меня мать родила? Вместо меня лучше бы девок родила. От меня отец и мать теперь далеко. Пойду я вперед по длинной дороге.

*

Вот когда пичужки поют песни утром рано, какое им дело до мерзлого дерева? Вот когда пестрые пичужки есть, какое тебе дело до девок?

*

В чистом поле, в середке, ключ говорит. Бабы лес-то пилят. В чистом поле на горке дуб зеленый стоит; если на него птички какие не сядут — уйдем от него. В деревне, в середке, наш дом. Не хай, хоть и плох, да зайди!

*

Утки плывут по Каме. Видишь? Ты за меня на лодке не гребешь. Я за тебя греблю. Побежим бегом на большую гору. Деревня больно далеко. Там осталась мать и плачет.

*

У одного отца было три сына. Сам отец не знал, который милее,— все кормили, поили его. Пошли на лужайку, скосили и нагребли стог сена. Отец говорит им: друг дружке не смейтесь!

*

Пару лошадей запрягали и гуляли мы. Не упустим хороших товарищей! Пойдем гулять по деревне, к кому вздумаем, туда зайдем. Наши товарищи хороши очень, друг дружку не бросаем.

*

Камыш шумит от ветра. На камыше белый пух растет. Ветром вода несет пух камыша скоро, с полдня ветер когда бывает. Были мы молоды, холосты, скоро, да недолго. В траве вода рано утром бывает, да недолго: ветер скоро ее разносит.

Записано со слов удмуртов в деревне Старый Мултан Малмыжского уезда.



«У ДВЕРЕЙ ШКОЛЫ»
Художник Н. П. Богданов-Бельский (ученик С. А. Рачинского). 1897

МОЙ ИТ-АЛМАЗ. *Рисунок В. Яна. 1928*



УТРО В ПЕРСИДСКИХ ГОРАХ. *Рисунок В. Яна. 1925*

АНТИХРИСТОВ РАБОТНИЧЕК

(Сомнения)

В Кузнерке, соседней деревне от Старого Мултана, остановился я в избе, имевшей вывеску «Въезжая квартира», и прожил несколько дней в обществе двух очень богомольных баб и старика. Они были услужливы, но относились ко мне с крайним недоверием, не понимая, что мне нужно в их деревне?

Я уже не говорил, что прибыл из Петербурга, так как убедился, что одно это слово «Петербург» производит паническое впечатление, а уверял всех, что я сам из Москвы, езжу и хожу по деревням записывать песни и сказки. Такое занятие казалось всем в деревне не только легкомысленным, но и грешным делом, а также имеющим в себе какой-то задний коварный умысел.

— Смотри! — говорили соседи той бабе, которая решилась сказывать мне песни, — теперь он спишет у тебя все песни, а потом, как поедет он прочь, так побежишь сзади за телегой! Возьми, дескать, деньги назад! Только песни отдай! Память у тебя отшибет от песни, ни одной больше не вспомнишь, а евоные деньги руки тебе жечь будут!..

В этой деревне я чувствовал сильное недоверие к себе со стороны мужиков и долго не мог понять, чем оно вызвано. Сижу как-то раз в избе у окна и слышу доносившийся снаружи разговор. Две бабы, односельчанки, проходившие мимо, спрашивают мою хозяйку, гревшуюся на завалинке:

— Ну что ваш чудородец делает?

— Сидит за столом и в книгу глядит. Книга-то махонька, но больно боязно в нее заглянуть.

— А поди в подполье запирался?

— Нет, на что ж ему туда?

— Да ведь он, верно, деньгодел — деньги у него больно дешевые. Верно, лазит в подполье и там их работает!

— Нет, родные. Он, должно быть, купецкий сынок, сбежал с тятькиными деньгами, да и мотает их здесь на сказки да бесовские песни.

— Нет, мои голубушки! Знаете, кто «ён»? И сказать-то боязно. Уж так мне страшно, что ён в моей избе стоит, так страшно, что я уже опоганилась! Да как откажешь ему! Вон выгонишь, так, пожалуй, подожжет!

— Да кто же это? Не томи, Пелагеюшка?

— Милостыню он подает, оно верно, да вы видели, как

«ён» подает-то? Ведь ён «Христа ради» не приговаривает, и при том не крестится!

— Господи Иисусе Христе! Страсти-то какие! Так ты что же думаешь, кто это «ён» будет?

— А, голубушка родная, скажи мне, какой у нас год-то нынче: 99-й! В январе, стало быть, и веку этому конец? А что перед концом века будет?

— Антихрист!

— Нет, голубушка, не сразу антихрист, а сперва работнички антихристовы пойдут народ смущать, да во антихристово стадо совращать, а там уже и сам «Ермошка» придет!..

Обе соседские бабы торопливо ушли сообщить новость по деревне, а хозяйка вернулась в избу, косясь на меня, и села в углу на лавку. Я тотчас сказал ей, что слышал недавний разговор, и счел нужным для успокоения показать, что на мне надет крест, а также прочел «Отче наш»... Тогда хозяйка как будто поверила, а в знак успокоения просила написать письмо ее сыну-солдату.

— А я-то тряслась, тряслась! Думаю, что это будет? Ты чужак тихий, да работники лукавые ловким манером в душу лезут! А думать так я стала вот с чего. Проходила баба через нашу деревню, шла она из города Малмыжа, и говорит мне: «Скоро такой закон выйдет — засыплют все реки и колодцы, а вместо них поделают «фонталы», из них будет казенная вода течь, и положат на эти «фонталы» оброк. Кто пошлину уплатил, той бабе на коромысло клеймо прижгут!» Услыхав про то, я плакать собиралась, право! Думаю, возьму каравай хлеба и убегу в лес, а клеймо не позволю ставить. Это-то и есть «печать антихристова», думаю. Проживу в лесу, покуда хлеба хватит, а там лучше с голоду помру, чем антихристу предамся...

Народная песня

Сострой, батюшка, сострой новый теремок!
Светик мой аленький, розовый, малиновый!
Проруби-ко, батюшка, три окна косящатыи!
Перво-то окошечко на большу дороженьку,
Другое-то окошечко во зеленые лужки,
Третье-то окошечко на сине морюшко.

По синему морюшку кораблики плавали,
Кораблики плавали не с простыми товарами,—
С купцами и с боярами.

Записана в деревне Козынево,
Елабужского уезда

У КОСТРА

Тихая ночь спустилась над степью. На горизонте еще пылает багровая полоса неба и на ней черными силуэтами вырисовываются пасущиеся лошади. Отчетливо слышно, как они неровно переступают спутанными ногами. В сонном воздухе, над неподвижной росистой травой, звуки доносятся, как над поверхностью озера, и откуда-то, близко ли, далеко ли, слышны чьи-то голоса. Небо темное, облака мрачно нависли над отлогим холмом, через который ведет дорога, и на его вершине изредка вырисовывается идущая шагом лошадь, лениво везущая поскрипывающую телегу, постукивающую на сухих кочках, с неподвижной фигурой дремлющего мужика на ней.

Несколько парней лежат на рогожах и тулупах вокруг костра и разговаривают вполголоса. Яркое пламя и красные угли освещают их загорелые лица, а за ними высокие неподвижные стебли растений с белыми цветами, над которыми вьются ночные бабочки. Один парень, лежа на спине, раскидав длинные ноги, начинает петь:

...Мне не спится, не лежится,
Сон не берет.
Я сходил бы ко любезной,
Сам не знаю, где живет...

Над дремлющей степью звонко понеслись чистые звуки и с холма эхом возвратилось последнее слово. Парень смолк и, перевернувшись на живот, стал свертывать цигарку. В наступившей тишине тьма, спустившаяся над степью, показалась еще гуще и как будто со всех сторон понадвинулась к костру. А откуда-то из степи зазвенел женский голос:

...Кто меня да девчонóчку
Да полюбит эту ночку?
У кого душа стражает,
Ён ко мне дорожку знает...

Опять замолкла песня и опять тишиной заволокло кругом. Певший парень приподнялся и с равнодушным видом докончил свертывать цигарку, обратился к соседу:

— Ваня, ты последишь здесь за огнем?

Медленной раскачивающейся походкой парень удалился во мрак. Далеко, в разных местах, один за другим начали петь женские голоса, к ним присоединились новые, и не смолкая зазвенели над степью. Точно нехотя, другие парни вставали по очереди и исчезали во мраке ночи, пока на рогоже возле костра не остался один парень. Он бросил на

угли охапку сырого хвороста, в середине возник желтый огонек; он то потухал и синие струйки дыма вились по сучьям, то вспыхивал и желтым светом озарял лежащего голубоглазого парня, задумчиво молчавшего, положив голову на руки.

По траве шуршат шаги, и в полосу света к костру подходят высокий крестьянин и с ним маленькая девочка. Крестьянин одет по-дорожному, с лыковой котомкой за плечами, посохом в руке, в лаптях и высокой войлочной поярковой шляпе. Девочка в малиновом сарафанчике, тоже с котомкой, в больших, не по ноге, лаптях.

— Здравствуйте, добрые люди! — говорит прохожий; девочка хватает его за полу кафтана, смотрит робко и любопытно.

— Здоров буди! — равнодушно отвечает лежащий парень.

— Умаялся-то на дороге. Да и холод сдымается к ночи.

— Садись к костру; огня-то чего жалеть!

Прохожий снимает котомку, опускается на землю. Девочка, став на колени, греет руки перед костром.

— Степь-то как у вас тянется! Ни одной деревни. Как вышел из лесу, так все, чай, полем шли. Место-то какое на́польное!

— Да, степь теперь потянется, поди, до самой Казани. А наша деревня здесь сейчас за горой, версты две только. Мы здешние.

Костер разгорелся, и при его пламени казалось меднокрасным суровое загорелое лицо прохожего, с темной бородой, прямыми жесткими волосами.

— Цыгане здесь не проезжали ли?

— Цыгане, говоришь? Нет, давно цыган не видно было. Всё обозы шли и порожнем мужики возвращались. А на что тебе цыгане?

— Это я так, к слову спросил. Мужика я встретил, очень уж он убивается. Шли мы это полем. Кругом гладко, далеко видно на поле. На холм выйдешь, тоже верст за десять кругом видать, как на ладони. Говорит моя девчонка: «Тятька, никак человек за нами бегит!» Оглянулся я, и впрямь вдали будто точка чернеет. Вроде человек бежит по дороге и то припаднет на землю, то опять вскочит и быстрым бегом по дороге бежит. Оно-то сразу и боязно стало... Но, думаю, недобрый человек так не побежит, а хорониться станет. Верно, ума лишился человек. Но и такого тоже страшно, кто себя не помнит, тот будто зверь, и на другого кинуться может. Но все-таки сели мы

на холмике под иконой Казанской богоматери, на перекрестке, ждем, не нас ли, поди, ищет? Когда близко уже был, вижу, человек будто помешался, бежит весь красный, в пыли, грязи вывалялся, и слезы из глаз, и пот текут, по лицу размазались. А глаза его ровно как у полоумного. Увидел он нас и прямо к моей девчонке:

— Манька! — закричал он,— ты ли это?

Я его отстранил рукой и говорю:

— Очнись, очумел ты! Где ты видишь Маньку? То моя дочь Олёнка!..

Тут упал он на дорогу лицом и заплакал. Стал я его утешать, поднял, посадил под иконой Казанской. Тут он нам про себя и рассказал:

«Был я,— говорит,— в Сибири. Ушел в тайгу, золото промывал. Ну, намыл достаточно, думал, можно и справить все, что нужно, и дело какое завести. А жену и детей четверых в деревне оставил. Не писал им, конечно, давно. В тайге — какие там письма писать! Будь счастлив, коли живой и приятели не придушили. А жена, поди, полтора года без писем жила». Денег ей он тоже не присылал. А положение в деревне, знаешь, какое теперь — лишний рот, значит, сам без хлеба сиди. Ссуду тоже выдают мимо десяти на одиннадцатого. Жене евоной никакого пайка не вышло. Билась она, билась. Одну дочку вотякам отдала, будто взаместо родной дочки. Известно, вотяки часто без божьего благословения остаются, а и лестно им, конечно, русскую дочку иметь. Так за нее она не беспокоилась: ее вотяки так накормят, что растолстеет.

А еще трое на руках остались, хлеба нет, чем их воспитывать? Другие мужики, что тоже в Сибирь ходили, давно все поворочались. Говорили, что «мужа твоего, дескать, не встречали, поди, помер!». Долго ждала молодуха и пошла девчонок в услуженье отдавать; думала: здесь не отдаст, в Казань сходит и там куда наймется, а девчонок по чужим людям разделит. Нянькой, или приемышем, может, кто возьмет.

Ушла она. А через день муж в деревню возвращается. Фартовым парнем пришел, денег сотни четыре принес, жене, детям подарки накупил. А как подошел к своей избе, видит — окна досками заколочены — и грохнулся на землю! Пришли соседи, говорят ему — беги скорей, жена вчера ушла дочек продавать. Побежал он по дороге, всех спрашивает: «Не видали ль бабы с тремя детьми?» Одни говорят — не видали, много народу идет по дороге, всех не упомнишь, а кто говорит, что и видел...

Когда этот мужик упал возле нас, мне дюже жалко его

стало, взял я его за плечо и дальше пошли мы вместе. Я держу его, говорю, что скоро нагоним: куда же далеко за день уйти бабе да еще с ребятами? А как пришли мы в деревню, мужик бросился из избы в избу спрашивать: «Не видали ли бабы с тремя детками?» В одной сказали, что видели бабу, но с двумя. Она, поди, еще не вышла из деревни, сидит где-либо в крайней избе.

Мужик побежал дальше по всем избам спрашивать. Не знаю, ужо нашел ли? А мы с дочкой пошли дальше...

Пока прохожий рассказывал свое, со степи пришли две девушки в красных кумачовых сарафанах. Обнявшись, подошли они к костру и стояли, озаренные пламенем раскаленных углей. Рассказ их заинтересовал и они сели на рогожу, так же обнявшись, как пришли.

— Так ты и не знаешь,— спросила одна,— нашел ли он свою молодуху?

— Не знаю. Верно, нашел, а то он бы нас нагнал по дороге.

— А я бы своего ребеночка никогда в чужие руки не отдала! Лучше бы по миру с ним ходила.

— Ну, не скажи, моя тетерочка. Было бы у тебя их пятеро, а дома есть нечего, так лучше бы в чужие люди отдала, там, может, и накормят. А нынче и по миру ходить — везде ли найдешь кусочек?

— А свою девчонку ты куда ведешь?

— Не я веду, а сама она напросилась. Хотел оставить ее у крестной, да говорит — возьми да возьми с собой! Да ты устанешь, глупая! Нет, говорит, тятька, я легкая, не устану. Ну, иди на богомолье, сказал я. Вот мы, поди, полдороги уже прошли. В лаптях-то не очень ногу собьешь. Ну, в город придем, там я ей сапоги надену. С собой в котомке несу.

— Так ты на богомолье идешь?

— Да, тетерочка. Тоска меня забрала. С полгода как жену схоронил. Одна сиротка Олёнка у меня осталась. Вот вместе идем на богомолье. Угодникам помолимся. В дороге-то тоска забывается, людей видишь, места новые, степью тоже идти привольно. Лесом, коли идешь, так инда и скучно станет. Леса назади остались казенные, идешь день, идешь другой, кругом ели седые, что паутиной обернуты, и неба только краешек виден...

— Олёнка! Не устала с тятькой идти?

— А не!

— И не страшно идти?

— С тятькой не страшно. Вот коли он уснет, так трудно разбудить. Спит больно крепко с дороги, никак не

раскачаешь. Так тогда страшно одной оставаться... Один раз дождь шел, целый день гроза гремела, мы в лесу укрылись в сторожку, вроде как часовенка, и крест на ей сверху, икона старая, черная в углу. Ждали мы ждали, когда дождь пройдет, так и стемнело. Решили заночевать. Дверь прикрыли, тятька колом ее припер. Сами на полу легли. А я заснуть никак не могу, слышится, будто кто в подполье стучит и плачет! А в лесу гул, стук, ветер воет, деревья ломает, душеньки загубленные плачут, а мимо сторожки по дороге вода рекой течет. Окошко махонькое вырублено в сторожке, так в него всю ночь лесовик мохнатый глядел и стонал, как ребеночек...

Все замолчали. Из степи доносились близкие и дальние женские голоса и песни. Костер потрескивал. Девушки, попрежнему обнявшись, легли на рогожу, накрылись тулупом, оставленным одним из ушедших парней. Из-под темной овчины видны были их загорелые обветренные лица, гладко причесанные волосы с пробором и блестящие глаза, задумчиво смотревшие на Олёнку.

Парень, лежавший на животе, болтал ногами в лаптях, рассеянно ворошил прутом угли костра.

— А вы сами откудова будете? Дальние?

— Мы Глазовские с Шульинского починка[1]. Верст 350 будет отсюда, а поди и больше. Уже шестнадцатый день идем.

— Что же и у вас такие же народы живут — и татары, и вотяки, и черемисы?

— «Много есть народу дикого у царя великого...» Это же известно, по всей России они живут, и у нас их довольно.

---

[1] Починок — выселок, небольшой новый поселок.

Народная песня

Высоко заря восходила,
Выше лесу, выше темного,
Выше садика зеленого,
Выше города Саратова.

Как во городе Саратове
Тут стояла тюрьма новая,
Тюрьма нова набеленая.

Как во этой тюрьме новой
Тут сидел же затюремщичек,
Затюремщичек молоденькой.

Он по тюремке похаживал,
Из окна в окно поглядывал
Скрозь немецкого стеколышка
На свою дальню сторонушку,
На свою любиму женушку.

Мне сковали резвы ноженьки
И связали белы рученьки.
Мы когда тебя, поле, пройдем,
Когда, чистое, прокатимся,
Горы долы перемаемся,
Быстры речки переплавимся.

Записана в деревне Соколки,
на Каме

НОВАЯ ОБИТЕЛЬ

В одной северной губернии, в глухом лесу строится монастырь. Среди высоких вековых елей, на поляне, по которой всюду видны свежие срубленные пни, стоят несколько одноэтажных домиков и низенькая церковь. Белые клубы дыма поднимаются кверху из труб и расстилаются в тихом морозном воздухе.

На одном домике надпись — «Гостиница». Вхожу по скрипучей лестнице, попадаю в коридор: по сторонам несколько дверей, из одной выглядывает убогого вида старушка в чепце, кашляет несколько раз и прячется. Из другой двери с надписью «гостиник» появляется благообразный старичок в полушубке и валенках, низко кланяется и отворяет один «нумерок» — маленькую комнатку, оштукатуренную по свежим доскам. Мороз в ней такой же, как и на улице, так что приходится сидеть, не раздеваясь, в шубе, и поданный чай нужно пить в рукавицах.

Гостиник уходит доложить отцу-настоятелю, узнать, когда тот сможет принять меня для беседы; через несколько минут он возвращается и шепотом таинственно докладывает, что «скоро сами будут». Слышатся шаги в коридоре, растворяется дверь и на пороге молодой иеромонах, худой, со впалыми щеками, небольшой светлой бородкой. Благословив меня, он сел возле стола.

— Я радуюсь возможности увидеть вашу обитель...

— Наша обитель — и невелика, и очень юна: мы начали здесь строиться всего три года назад. Но это место — священное: здесь некогда стоял большой, славный монастырь, много старцев подвизалось здесь подвигом добрым. Но уже лет сорок, как монастырь тот сгорел дотла, вся его братия была распределена по другим монастырям. Стало быть, мы строимся теперь — на священном пепеле древней обители. А в чем главная идея и отличие нашего монастыря? Мы не спасаемся, не уходим от мира — напротив, мы набираемся сил, готовимся идти в мир на трудную борьбу...

Отворяется дверь, входит еще один монах — высокий, черный, с горящими глазами, быстро подходит и трясет мне руку:

— Здравствуйте, здравствуйте! Очень рад познакомиться с вами. Я серб, черногорец, это все едино...

— Да, на борьбу и трудную работу в защиту православия,— продолжает первый монах, отец Петр.— Интеллигенция безмолвно отрешила себя от христианства. В силу этого духовенство само отстранилось от интеллигенции.

А если мы видим человека больного или находящегося в опасности, то христианская заповедь требует помочь ему, указывать на его заблуждения, хотя бы он отталкивал, бил и унижал вас... Приезжал сюда один человек, тоже духовного звания, и говорит нам: «На вашего настоятеля искушение ниспослано, славы захотелось, новым Златоустом думает сделаться. Прежде всего, говорит, смирение, а остальное от Бога. А монастырь ваш, говорит, прогорит, потому что вы всё не так устраиваете, как то следует. Заведите одного-двух схимников, чтобы к ним купцы приезжали, устройте хор хороший, старайтесь привлекать в монашество лиц с большими вкладами, да гостиницу приведите в благоустроенный вид, а то она столь неблаговидна, что в ней замерзнуть можно. Монастырь, говорит, это предприятие, и на него нужно смотреть с коммерческой точки зрения...»

— Да, да! — воскликнул серб,— он все это говорил! А где же божественная точка зрения? Где же дух? Где идея? Каждый монастырь должен иметь свою идею, как чудотворные иконы — «Утоли моя печали», «Всех скорбящих радости», «Неопалимая купина»...

— Мир ти благовествующему! — раздается тихий, добрый голос. В дверях стоит сам отец-настоятель — худенький старичок с белой, как серебро, бородою. Что-то очень ласковое было в его фигуре, а глаза смотрели так, точно видели насквозь все ваши душевные движения, жалели и прощали вас. Невольно чувствуешь себя перед ним так, как много лет назад маленьким мальчиком подходил утром поздороваться к своему отцу... Архимандрит присаживается среди нас.

— Знаю уже, о чем они вам говорили, по последним словам догадываюсь. Дай-то Бог, чтобы удалась сотая часть того, о чем мы толкуем, чего желаем... Ведь они читают много. Выписывают книги, журналы, следят за быстротекущей жизнью. Здесь можно хорошо заниматься — тишина, кругом лес сосновый, пустынные болота, первая деревня за восемь верст, никого здесь не бывает, только зайцы выбегают иногда на полянку, да птички Божие залетают, щебечут, тем нарушают покой нашей обители...

Начался ряд перекрестных вопросов. Все интересовало этих «спасающихся» в «лесной пустыне», месяцами не видящих иных людей; почта, книги и журналы сохранили в них связь со всем, что живет и волнуется в «миру». Отца-настоятеля вызвал какой-то приезжий мужичок, и отец Петр объяснил:

— Отец-настоятель — это наш критерий истины. Он замечательно начитан в духовных книгах и при спорах сейчас же указывает отклонения от истинного православия, приводит цитату из Отцов Церкви или других редких церковных книг. Светское образование ему чуждо, с юношеских лет был сперва послушником, потом иеромонахом при разных монастырях, долго жил в монастыре на Афоне...

Разговор прервал полуслепой звонарь, пришедший просить благословения звонить к обедне. В церквушке начинается богослужение. После того, в два часа монастырский обед всей братии.

Меня, как гостя, сажают на почетное место — второе от отца-настоятеля, первое занимает отец-казначей. Одна миска служит на пятерых, все черпают из нее деревянными ложками, соблюдая почтительную очередь. Ради праздника три блюда — на первое кислые щи, на второе холодная окрошка с рыбой, на третье — пшенная каша с подсолнечным маслом. Для смены блюд отец-настоятель звонил в колокол, дергая за шнурок с кистью. Во все время обеда один из монашеской братии читал из «Четьи-Минеи»[1].

После обеда мы перешли в домик отца-настоятеля. В комнатах пахло воском и кипарисом. Быстро темнело. В сумерках бродила худенькая фигура старого монаха, в подряснике, с зажженной восковой свечой в руке, переходя от одной полки к другой, откуда он доставал старинные, редкие духовные книги, собираемые всю жизнь.

ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ

В Богородицком уезде Тульской губернии развился тип очень полезных и симпатичных воскресных школ, где получают образование взрослые крестьянские девушки.

Инициатором воскресных женских школ является священник села Никитского отец Петр Модестов — очень энергичный, один из тех священнослужителей, которые были передовыми бойцами в борьбе с народным бедствием, когда в 1897 году Тульскую губернию постигнул недород хлеба и все связанные с этим тяжелые последствия.

---

[1] «Четьи-Минеи» — старинные церковные книги для чтения по Церковной Истории.

Видя медленность движения получения образования в окружающем крестьянском населении и почти совершенное отсутствие грамотности среди женщин, Модестов решил приложить свои труды на добрую, хотя и трудную цель. Вот что он сам писал в своем докладе Богородицкому земству:

«Большим препятствием для распространения грамотности служит отдаленность училища от окраин селения. Детям приходится идти до училища несколько верст, иногда в грязь, при дожде, в метель, по глубокому снегу, в большие морозы. При этом мужское население получает некоторое образование, а девушки и женщины остаются неразвитыми. Мальчики в 8—9 лет уже имеют сапоги и полушубки, а девочкам такой одежды и обуви в крестьянстве не принято делать, до 12-летнего возраста они пользуются только сермяками; только в более состоятельных домах родители шьют им суконные поддевки. Поэтому девочкам школьного возраста совсем невозможно посещать отдаленную школу. Это видно на практике: при начале учебного года в училище поступают 30—35 девочек; первый месяц они посещают школу весьма усердно, много аккуратнее мальчиков, с наступлением глубокой осени от мокроты и грязи оставляют училище совсем...

Другим препятствием к развитию грамотности служит недостаточное расположение некоторых родителей-крестьян; большинство из них не вкусили плоды грамотности, потому не особенно заботятся о том, чтобы посеять ее в своих детях; вдобавок и сами девицы уже в возрасте невест, неохотно, на первых порах, соглашаются учиться, опасаясь пренебрежения к ним со стороны женихов,— не сравняли бы их с «вековушами»...»

В ноябре 1894 года Петр Модестов с дочерью Ольгой и священником Алексеем Нащокиным пригласили двух учителей здешнего земского училища и решились открыть школу для взрослых девиц. По воскресным и праздничным дням училище было свободно, его избрали местом для занятий и назвали эту школу «воскресною». На первый урок собралось 80, а потом и до 120 девушек, так что трудно было их всех разместить, некоторые стояли или сидели на подоконниках, а то и размещали их в двух классных комнатах...

Как оказалось на деле, принятую задачу было невозможно выполнить только в праздничные дни,— стали учить и в один из будних дней. До конца учебного года пробыло в школе 50 девушек; во втором учебном году вновь поступи-

ло 55 девушек; из прежних учениц 35 пожелали продолжать учение на второй год, и из них сдали экзамены 21 девица по программе церковноприходских школ...

Опыт показал, что учитель не так пригоден для этой школы, как учительница; да и учителям трудно было вести преподавание в течение всей недели без отдыха и вознаграждения за него; к их чести нужно добавить, что учительский труд принимался ими на себя добровольно и безвозмездно, без всякого принуждения с чьей-либо стороны.

Каковы результаты деятельности «воскресной» Никитской школы, свидетельствует доклад председателя Богородицкой земской управы графа В. А. Бобринского:

«Успехи, достигнутые девушками в 119 учебных дней, поразительны. Они выучились отчетливо и со смыслом читать и передавать своими словами прочитанное, ясно и без серьезных ошибок писать и даже составлять несложные сочинения... По-славянски они правильно и с соблюдением ударений читали... Они были ознакомлены с некоторыми эпизодами русской истории... по арифметике девушки оказались слабее общего уровня народных училищ, но в Законе Божьем они далеко превзошли оных...»

Несмотря на много трудностей, благое дело стало заразительным примером для окружающих сел, уверовавших в пригодность и нужность воскресных женских школ. Через год открылась подобная школа в селе Непрядве, а за нею, продолжая распространяться по уезду, воскресные школы появились в центре, на севере и юго-востоке уезда, так что к 1 декабря их было уже 12; вскоре открылось еще 9 школ...

Занятия в женских школах вели учителя земских и церковноприходских школ, бескорыстно отдавая этому делу свое единственное время отдыха от ежедневного тяжелого учительского труда...

Всего в этих школах обучилось более двух тысяч девушек...

. . . .

Особый интерес заслуживает опыт устройства воскресных школ, где учительницами стали лучшие ученицы из числа окончивших курс «воскресниц». Осенью 1896 года пятеро из окончивших весною курс обучения девушек продолжали ходить в школу и помогать учительнице при уроках. Девушки выказали хорошие дарования, любовь к делу, вскоре усвоив элементарные педагогические приемы. Им стали поручать преподавание в младшем отделении.

Воспитанные и живущие в крестьянском быту, они довольствуются еще более скудным вознаграждением, чем наши бедствующие сельские интеллигентные учительницы, отличаются большим прилежанием и аккуратностью и не имеют тех российских недостатков, которые свойственны так часто сельским учителям.

Вот что пишет об этих учительницах-крестьянках заведующий Красно-Холмской школой:

«Они оказались настолько способны в деле учительства, что к концу учебного года их ученицы, приглашенные на экзамены в Никитскую воскресную школу, по испытании заслужили полное одобрение комиссии, производившей экзамен... Этот факт показывает, что есть еще непочатые силы, которые при удобных обстоятельствах могут работать с великой пользой для народа, тем более, что и выходят-то они из его среды... Если успешно вели дело учительства окончившие курс сельской воскресной школы, то чего же можно ожидать, если они получат более полное и систематическое образование?..»

Для борьбы с предубеждением части крестьян против обучения девочек приходилось прибегать к различным средствам. «В народе составился взгляд на начальное образование как на дело, свойственное только детскому возрасту. Равным образом, случай хождения в школу девушек-невест, имеющий приложение впервые на памяти стариков, казался в высшей степени предосудительным, даже позорным. Ввиду этого пришлось склонять крестьян к образованию взрослых девушек путем долгих разъяснений значения образования для человека, его пригодности и почетности для всякого пола и возраста»,— рассказывал Петр Модестов; кроме того священники произносили проповеди в церквах на тему о пользе и необходимости грамоты для женщин...

«Грамота каждому нужна»,— говорили крестьяне села Волова и благодарили устроителей «воскресных школ». Редкие случаи насмешек со стороны молодых парней, какими иногда встречали идущих из школы невест, смущавшие учениц, прекратились вместе с успехами девушек в чтении и других науках...

«Крестьяне более всего убеждаются в правоте не рассуждениями, а живыми примерами из действительной, окружающей жизни,— писал заведующий Непрядвенской воскресной школой Н. Глаголев,— только этим можно объяснить факт, что во вновь открытую школу поступило для обучения только 25 девиц, или ⅛ часть всех взрослых неграмотных девушек Непрядвы... Как оказалось после,

некоторые крестьяне не вполне осознали пользу учения своих дочерей и ждали — какие благие плоды принесут те, можно сказать, «героини», решившиеся, вопреки установившемуся обычаю, учиться грамоте, уже будучи взрослыми»...

Все же предубеждение крестьян обучению грамоте взрослых девушек можно считать разрушенным. Нечего и говорить, что сами «героини» всюду относились к школе с увлечением и любовью.

Более подробные сведения об указанных воскресных школах помещены в «Докладе Богородицкой уездной земской управы о доставлении всему населению уезда общедоступного начального образования и отчете о воскресных школах».

«ФАБРИЧНЫЕ СЕСТРЫ»

В Ярославле, на Большой Ярославской мануфактуре, несколько лет назад возникло учреждение, слабое и неустойчивое, выросшее из случайностей, но которое следовало бы отметить как светлый симптом настоящего и, может быть, симпатичный образец для будущего.

Возле фабрики, в том предместье, где живет многотысячное рабочее население, стоит старинная Предтеченская церковь. Настоятелем при ней находится отец Федор Успенский, обладающий большой энергией. Его духовную паству составляет фабричный люд, с которым он проводит всю свою повседневную жизнь.

Как-то случайно несколько взрослых фабричных девушек обратились к отцу Федору с просьбой позаниматься с ними Законом Божьим, так как они не только забыли то, что учили в школе, но плохо помнят даже грамоту. Начались уроки в свободные от фабричной работы часы, причем девушки выказали столько охоты и прилежания, что приезжавший на занятия Ярославский архиерей отметил, через год обучения, их знания лучше приходских учеников...

Но не только изучение Закона Божия оказалось важным в этом начинании. Дружба, возникшая среди добровольных учениц, не могла заглохнуть и с окончанием лекций. Простые фабричные работницы захотели образовать «братство» с целью взаимной нравственной поддержки, лучшего устройства своей жизни, с тем, чтобы иметь возможность сообща оказывать помощь там, где один человек бессилен.

Среди однообразного, одурманивающего фабричного труда, ужасов пьянства и разгула, где жертвами становятся дети и более слабые женщины, это «женское братство» выросло странным цветком, внесшим благоухание доброй женской души туда, где так нужна и благотворна всякая помощь. Это «братство» хлопотало о том, чтобы получить официальное название «миссии фабричных сестер милосердия», но духовные власти нашли в слове «миссия» что-то сектантское и дали ему какое-то другое название.

Бедные работницы мануфактуры, уделяя крохи от своего малого заработка, наняли сообща квартирку, куда поместили маленьких детей, взятых от пьянствующих матерей. Они сами ухаживали за детьми, устроили поочередное дежурство, и вскоре присоединили к этому приюту ясли, куда фабричные женщины в часы своей работы стали отдавать детей...

Узнав об инициативе работниц, посторонние люди начали принимать участие в жизни этого небывалого учреждения. Первоначальная малая квартира обратилась потом в отдельный двухэтажный домик, очень чисто и аккуратно содержимый.

«Фабричные сестры» воспитывают покинутых детей и делают, что могут, дабы спасти своих подруг — колеблющихся и ступающих на наклонную плоскость. Сам факт возникновения «фабричных сестер милосердия» имеет некоторое значение. У нас так много говорят о разлагающем влиянии, вносимом фабрикой в окружающее ее рабочее население, что проявление в той же среде элементов отпора и нравственной стойкости должно быть очень важно. Следовало бы и на других фабриках лелеять возрастание подобного рода «братств» и «миссий». Хотя искусственным путем трудно создать такое учреждение и ожидать от него жизненности.

На одном из воскресных собраний-«собеседований» фабричных работниц мне удалось присутствовать. Проводил его худой, сутулый, сгорбленный настоятель Федор Успенский, сидя за маленьким столом в классной комнате приюта. На партах, тесно прижавшись друг к другу, сидело множество старых и молодых бледных фабричных женщин, с лицами в резких морщинах, изможденных детьми и работой в фабричных камерах, насыщенных пылью от хлопков ваты, под неумолчный грохот машин и станков. Лица молодых девушек, сутуловатых, преждевременно состарившихся в монотонной работе, тоже были усталые, серые. Только у маленьких приютских детей, ползавших по полу, сидевших на коленях у женщин, передававшихся ими с рук на руки, были свежие, румяные лица.

Когда священник закончил чтение отрывка из Евангелия, начался перекрестный разговор по поводу разных неурядиц, происшедших в некоторых фабричных семьях:

— Ну, что Симониха?

— Да все убивается. «Ён» приходит домой, шумит, все на пол бросает! Мы Симонихе говорили, потерпи, дескать, лаской обойдись с «Ним». Вы бы, батюшка, «Его» успокоили...

— У Харитоновны мальчишка расхворался, помочь бы надо.

— А Лукина загуляла. На работу не ходит, детей своих забросила. Ребятишки по улице бегают голодные, чумазые, надо бы их в приют поместить...

«Фабричные сестры» совместно обсуждали меры, какие надо бы проделать: с кем поговорить, за кого попросить перед «Конторой» фабрики, у кого подежурить, и тому подобное.

«УЧИТЕЛЬ ВЕКА»

Русь еще не оскудела людьми, занятыми созидательной работой, которые, как пчелы, строят одну ячейку за другой в громадном улье нашей народной жизни. Эти «созидатели» отыскивают и поддерживают прочные и здоровые основы народной жизни, которые никому не удастся расшатать до тех пор, пока будет стоять русское государство.

И те люди, которые смиренно работают, веря в свои идеалы, заслуживают большего общественного внимания, так как они оставляют заветы будущего и передают свет новым поколениям, при которых тем придется жить и работать.

«Созидатели» при жизни никогда не пользуются ни поклонением, ни шумным успехом, но это — общая участь всех искренних и плодотворных деятелей, заботящихся о чужом, а не личном благе и поэтому оставивших попечение о собственной рекламе и личных выгодах.

Одним из самых замечательных современных русских деятелей, знатоков всей глубины русской жизни народной и «учителей века», является профессор и сельский учитель — Сергей Александрович Рачинский[1].

Племянник поэта Боратынского, друг первых славянофилов и преемник их по своим убеждениям и деятельности, С. А. Рачинский принадлежит по рождению к стародворянской части русского общества. После обширной

---

[1] С. А. Рачинский (1836—1902).

научной подготовки в России и за границей он был 9 лет профессором ботаники в Московском Университете.

Приезжая в свободное время в свое родовое Татево (Бельского уезда Смоленской губернии), Рачинский заинтересовался народной школой в своем имении. Первым же его наблюдением было то, что народная школа страдает некоторым коренным недостатком, который состоит в чем-то более важном, чем неудовлетворительные приемы преподавания. Рачинский бросил университетскую деятельность, оставил все привычки и городские удобства и переселился в школьный дом, начав жить одною жизнью с учащимися крестьянскими детьми.

Рассказывали, как достоверный факт, что местное училищное начальство не разрешало Рачинскому преподавать, за неимением соответствующего диплома, и поэтому бывший профессор университета ездил в уездный город и держал экзамен на звание школьного учителя!

— Многое не дается и не удается,— говорил Рачинский.— Именно потому, что мы боимся показаться смешными и странными. Победа над этою болезнью уже сама по себе есть великая победа, ибо удесятеряет наши средства деятельности, охраняет ту смелость, которая города берет. Но кроме боязни смешного есть и другая боязнь, гибельная для всякого практического дела. Это боязнь труда, не обещающего верных результатов, боязнь предприятий, коих успех неправдоподобен. Всё хорошее трудно, всё прекрасное неправдоподобно. Этому нужно покориться, но все-таки словом и делом, неустанно работать над тем, что неправдоподобно и трудно, ибо из-за вещей правдоподобных и легких не стоит жить на свете...

Решение Рачинского посвятить себя деревне состоялось в 1875 году; с тех пор он, почти безвыездно, жил в своем Татеве, занимаясь обучением и воспитанием крестьянских ребят и тратя на них все свои средства.

С самого же начала он мог найти удовлетворение своей деятельности: ему было отрадно работать, видя, какие разнообразные дарования и высокие умственные и художественные способности крестьянских детей, как мальчиков, так и девочек, скрываются под бедными, разодранными, заплатанными зипунишками.

«Способности эти разнообразны,— говорил Рачинский,— но заметно преобладают способности математические и художественные. Музыкальная даровитость наших крестьян поистине изумительна! Ничуть не менее распространена другая художественная способность, которая,

при нынешнем зачаточном состоянии нашей сельской школы, лишь в редких случаях имеет возможность проявляться,— способность к рисованию. *Количество дремлющих художественных сил, таящихся в нашем народе,— громадно,* но о нем пока может составить себе понятие лишь внимательный сельский учитель».

Рачинский утверждал, что коренной недостаток народной школы состоял в том, что школа не была национальна, не была построена на началах русской народной жизни. И этот необыкновенный сельский учитель, положив во главу угла национальное воспитание, создал тип русской сельской школы, отвечающей особому культурному сложению нашего народа, особенностям его психики и верованиям.

Рачинский решился давать и последующее образование наиболее способным ученикам своей школы. Дело это, конечно, очень ответственное: «Оторвать от сохи крестьянского мальчика, в предположении, что из него разовьется самостоятельный художник, из глухой деревенской среды бросить его в мутную жизнь столицы, в пеструю толпу воспитанников наших художественных школ,— это значит брать на себя страшную ответственность, ибо, как можно безошибочно угадать в ребенке ту степень таланта, ту силу характера, которые необходимы для успешного художественного поприща?»

Рачинский направил на художественную деятельность троих мальчиков и воспитывал их на свои средства... Один из них (Петерсон), из обрусевших латышей, оказался отличным живописцем, был назначен учителем рисования в школу Новикова в Козловском уезде Тамбовской губернии, но умер очень молодым. Другой — оказался неудачником. Зато третий воспитанник — Н. П. Богданов-Бельский[1] — доставил много нравственного удовлетворения бескорыстному С. А. Рачинскому.

Окончив Петербургскую Академию Художеств, Богданов-Бельский уже выставил несколько очень интересных картин, одна из которых «Воскресное чтение в школе» находится в музее Императора Александра III[2]; среди художников «передвижников» имя Богданова-Бельского привлекает к себе много внимания. Картины его, главным образом, из крестьянской жизни: «Последние распо-

---

[1] Николай Петрович Богданов-Бельский (1868—1945), академик живописи, говорил о себе: «Я ведь от земли, отца не видал; я незаконнорожденный сын бедной бобылки, оттого Богданов, а Бельский стал от имени уезда, где я был пастушонком».

[2] Музей Александра III — ныне Русский музей в Ленинграде.

ряжения», «Нищий у дверей школы», «Устный счет», «Будущий инок» и другие.

Рачинский не ограничивался этими тремя воспитанниками. С самого начала своей учительской деятельности он старался помогать дальнейшему продвижению и образованию учеников Татевской и соседних школ, выводя их в учителя, приготовляя и отдавая в различные училища, доставая им места управляющих, приказчиков и т. п. ...

В то время, когда я посетил С. А. Рачинского, уже более 40 его учеников самостоятельно учительствовали, а в селе Дровнине, Гжатского уезда, возникла учительская семинария, где бывший ученик и помощник С. А. Рачинского — В. А. Лебедев — очень успешно подготовлял народных учителей.

«Сельских учителей нам нужно много,— говорил Рачинский,— дельных, непритязательных, честно исполняющих свое трудное дело с любовью и терпением. Контингент, доставляемый нашими учительскими семинариями, качественно и количественно недостаточен. Сельских школьных учителей должна плодить сама сельская школа»...

Будучи глубоко религиозным, Рачинский пытался образовать из части крестьянских мальчиков, «которых тянет к церкви и духовным подвигам»,— священнослужителей нового типа.

Рачинский говорил следующее: *«Священники наши плохи. Наше духовенство чахнет и медленно гибнет позорной смертью, похожей на самоубийство.* Долго замкнутое в строгую касту, оно постепенно выделяло и продолжает выделять из себя живые силы, сохраняя в своих недрах лишь элементы слабые и косные, да те немногие сильные личности, у кого случайно призвание совпало с рождением».

«Дивиться нужно скорее тому, что у нас встречаются сельские священники, в тишине и смирении совершающие свое святое дело, за которое никто и никогда не скажет им «спасибо!»

«В наше время и сельский учитель, и священник, и даже гимназический учитель не привлекают к себе ни симпатий, ни уважения публики. Даже сравнивать нельзя отношения нашего общества к этим благородным и высоким профессиям — с тем почетным положением, каким пользуется народный учитель и пастор в Германии, Шве-

ции, Дании, даже в нашем Прибалтийском Крае[1]. Причина такого полупрезрительного отношения, которое позволяет себе принимать всякий российский обыватель, мнящий и называющий себя «интеллигентом», лежит именно в рецидиве необразованности этого интеллигента, а не в учащем персонале. Русский крестьянин в своем почтительном отношении к учителю и священнику стоит гораздо выше и нередко оказывается культурнее так называемого интеллигента...»

«Учительство в русской школе — призвание, но не ремесло».

Философ В. В. Розанов писал в то время, что «невидный труд Рачинского увлек и увлекает многих. Татево стало рассадником школ, так сказать, материнской школою, от которой все новые и новые пчелки отлетают в сторону, но на новом месте творят дело и ширят веру старого Татева. Образовался район школ, где трудятся люди одного духовного происхождения, частью родные старого профессора, а большей частью бывшие ученики его школы. Из других губерний, незнакомых местностей, обращаются к Рачинскому с просьбой дать для сельской школы учителя его выучки и направления. И, без регламентации, «штатов и жалованья», вырос некий и притом общерусский «учительский институт»...

Татевская школа находится возле церкви, за оградой парка, окружающего старинный дом Рачинских. В школе — несколько комнат; классная очень просторная, с высоким потолком. Училось в ней тогда более 60 детей, из них около 30 из дальних деревень, живущих в самой школе.

Меня поразило особенное настроение учеников школы — это было тихое счастье детей, любовное, братское и почтительное отношение друг к другу. Была заметна торжественность настроения, точно это была не школа, а церковь. К С. А. Рачинскому ребятишки относились как к любимому и доброму «дедушке», доверчиво обступали его, совершенно не так, как обыкновенно дичатся деревенские ребята перед «барином».

Я видел нескольких учительствующих, бывших учеников Рачинского, смотрел в задушевные глаза этих людей, поднявшихся из народной массы, но не порвавших нитей, связывающих их с коренной народной силой, с Землей-

---

[1] Прибалтийский Край — в него входили губернии Эстляндская, Лифляндская, Курляндская, с центром в Риге. (Ныне — Эстонская, Латвийская и Литовская ССР.)

матушкой, и мне было отрадно и тепло возле них, от кого веяло чем-то искренним и честным. Какими нелепыми становились модные в некоторых кругах интеллигенции толки и «теории» о вырождении великорусской народности. *Эти люди — не собьются с дороги, не пропадут, с ними русская земля не оскудеет!..*

С. А. Рачинский был уже стар и слаб, вследствие нездоровья недавно оставил школьные занятия и переселился в свой дом. В школе у него делались головокружения и обмороки. Волей-неволей пришлось ему передать любимую школу своим молодым помощникам. Но, несмотря на слабость здоровья, от его личности веяло неугасимой бодростью и энергией. Глаза его горели юношеским огнем.

Бывают редкие люди, удивительной чистоты и возвышенности души, которые облагораживают всякого, кто говорит с ними; их душевный мир — это священный храм, входя в который вы забываете мелочность и пустоту жизни и становитесь перед высокими целями, святыми помыслами и глубочайшими запросами духа.

К таким людям нужно причислить и С. А. Рачинского.

СТРАННИКИ

1. ТОСКА

Бывают тягостные ночи:
Без сна, горят и плачут очи,
На сердце жадная тоска.

Лермонтов

Ветер нес по сухой степи тучи пыли, стремительно налетал, трепал одежду и едва не сбивал с ног. С запада ползли темные облака, надвигая грозу, а наверху небо еще было светло-бирюзовое и солнце жгло яркими весенними лучами. Холмистая степь, на которой едва начинала пробиваться трава, пустынно растянулась кругом, серая, мертвая, с потрескавшейся землей и высохшими кустами колючего бурьяна.

Впереди недалеко роща с прозрачными сквозистыми березами, на которых только начинают лопаться клейкие почки. Сквозь деревья виден какой-то сарай,— в нем можно укрыться. В роще ветер со свистом проносится по обнаженным вершинам берез, качающихся с жалобным скрипом.

Сарай сложен из неровных жердей, оставляющих широкие щели, и покрыт хворостом и дерном. Внутри сарая навалено сухое сено. В стене раньше была дверь. но она оторвана и лежит рядом с входом на земле.

Когда первые капли дождя забарабанили по сухой земле, я лег на сено и заснул под монотонный шум дождя, прерываемый раскатами грома.

В сарае было темно, должно быть уже вечерело, когда я очнулся от звуков человеческих голосов. Говорили двое. дрожащий старческий голос и молодой:

— Ты хочешь счастья? Его ты не найдешь. Знаешь, сделай что — отвернись от всего и забудь о счастье, и тогда оно побежит за тобой, и станет здесь, рядом, и в тебе самом.

— Амвросий, мне тяжело. Тоска меня мучит такая. и не знаю, что бы с собой сделать?

— Тоска? А что такое тоска? Она есть у всякого. На донышке у всякого тоска лежит. Тоска — это ядовитые капли. Ты ее не взбалтывай, береги, сверху заваливай. не давай всходить на верх. Если тоску не тушить, она одолеет, жить нельзя будет. Когда тоска всплывает, все тело загорается, мысли горят и что-то жжет душу. А ты сдержи себя, железные вериги наложи на плечи, сдави все свои помыслы и мечтания, стань степенный, сдержанный, холодный.

— И у тебя, Амвросий, тоска бывает?

— У меня-то? У меня явиться она не смеет. Свою душу я в руках держу.

— Хожу я с тобой по святым местам, молюсь, на себя тяжести накладываю, изнуряюсь постом, обеты исполняю, а все гложет, сердце перевернется и кровью обливается.

Голоса замолкли, и я опять забылся во сне.

«...Мой отец в своем кабинете сидит за большим столом, окруженный книгами. Как всегда, он в золотых очках, четыре свечи горят под зеленым абажуром. Я бы хотел теперь тихо, тихо войти в кабинет, чтобы ему не мешать. По стенам кругом стоят полки и шкафы с книгами, в темных переплетах. Я бы тихонько подошел, выбрал интересную книгу и затем сел в кожаное большое кресло рядом со столом и стал бы читать. А отец бы заметил, что я здесь, и спросил бы строго, глядя поверх очков: «Где же ты был эти три года?..»

— Странствовал...— отвечаю я.

— Что же ты делал?

— Ходил по Руси, ее дорогам, деревням, городам, монастырям и святым городищам...

— А что ты хорошего за это время сделал?

— Хорошего? Еще не знаю. Хочу пользу народу принести, добро делать... «душу свою положить на други своя»...

— Подожди,— говорит отец.— Потерпи, и твой черед придет.

...В зале сумерки, мебель чехлами одета, сквозь окно синеватый свет льется, рояль открыт, за ним сидит и играет сестра... Как давно я не слышал хорошую музыку. Соната Бетховена. Кто-то иной красивыми звуками рассказывает тебе самые сокровенные твои мечты, показывает их такими живыми, близкими. Как самоцветные камни, они переливаются разноцветными огнями. Счастье кажется возможным: музыка плачет и улыбается, и ты знаешь, что это только музыка, красивые звуки, и, как мыльные пузыри, они переливаются радугой и лопаются...»

Очнувшись, я осторожно придвинулся к стене и стал смотреть в щель между жердями. Ветер утих. Редко стояли обнаженные стволы берез с нависшими дождевыми каплями на черных ветвях, невысокие сосенки с длинными иглами, полными воды, и корявая ель с вылезшими из земли кривыми корнями.

Под густыми ветвями ели на коленях стоял маленький горбатенький старичок, неподвижно, как ель, обрызганная дождем, и его грубый армяк, разодранный и в заплатах, был такого же бурого цвета, как и еловые корни. На сучке ели перед ним висела иконка в медном окладе.

Отодвинувшись от стены, я опять лег на сено. Капли дождя изредка стучали, падая на землю. Хотелось заговорить со странниками, но я не смел нарушать молитвы старика и прислушивался, стараясь уловить какое-либо движение. Послышались приближающиеся новые голоса:

— Здесь можно укрыться, обсушиться. Чего по грязи и дождю далее идти?

— Да тут люди какие-то!

— Ну и хорошо. С ними и дальше пойдем. Скопом к вечеру лучше идти.

2. СКИТАЛЬЦЫ

В сарай вошла высокая смуглая девушка в бурой сермяге. Темные расширенные глаза смотрели робко и в то же время сосредоточенно, словно вглядываясь в свою, внутреннюю, скрытую от людей мысль. Девушка опиралась на посох, за спиной ее висела котомка. Не снимая котомку, она присела на пороге. Следом за ней вошел высокий сгорбленный старик, босой, тоже с котомкой, сверх нее были подвязаны сапоги.

— Да тут человек есть,— заметил старик.— Здравствуй, молодец хороший! Огоньку бы развести, малость обсушиться...

Старик снял котомку, стал вытаскивать сучья из груды хвороста и жердей, наваленных в углу сарая, быстро сложил костер возле входа, подсунул клок сухого сена и развел огонь. Тогда девушка скинула с плеч свою котомку и подсела к костру, глядя на огонь задумчивыми глазами.

Старик, присев на землю у костра, скинул свой армяк и стал раскуривать большую трубку. Промокнув под дождем, греясь возле огня, старик, видимо, почувствовал себя хорошо и стал словоохотлив. Он сообщил, что зовут его Фомой Пинчуком, был он солдатом, участвовал в Восточной войне[1], теперь идет на богомолье к Троице-Сергию[2], а оттуда в Киев, а дальше в Одессу на пароход, какой повезет в Иерусалим; жить ему, вероятно, осталось уже недолго, так перед смертью хочет помолиться...

— А это,— указал он на девушку,— Настя Плотникова,— идет отца своего искать в Казань. Она из соседней деревни, отца ее Трифона хорошо знаю. Степенный мужик, да запропастился куда-то.

Я слушал Фому и ждал, когда же появятся те два странника, молодой и старик, говорившие за стеной. Вскоре они показались перед сараем, но оба с котомками за плечами, как видно, собираясь уходить. Старику Амвросию приглянулся огонек, захотелось погреться, молодой его спутник уговаривал пойти дальше, но потом уступил, и оба подошли к костру.

Сложив у стены свои котомки, Амвросий подсел к старику солдату, а молодой спутник, оглядев всех рассеянным взглядом, вышел из сарая. Некоторое время он стоял в дверях, глядя в даль, степь, видневшуюся за березовыми стволами, и пошел на опушку рощи. Был он высок и тонок, узкоплечий, бурая сермяга, широко висевшая на нем, не закрывала тонкой и длинной шеи. Смуглый, с темными глазами, глядевшими рассеянно. Но несмотря на бедную сермягу, онучи и лапти, гордость и независимость замечались в его движениях и манере говорить.

Выйдя из сарая, я подошел к нему, и мы разговорились.

Я ему рассказал, как сам начал «ходить по Святой Руси», записывая ее песни и предания. «Пошел к мужикам, потому что меня тянуло к ним, хотелось бродить среди

---

[1] Восточная война — Крымская война 1853—1856 гг.

[2] Троице-Сергию — Троице-Сергиева лавра под Москвой, в г. Загорске, основана Сергием Радонежским в XIV в.

других странников и богомольцев, быть в толпе, в народе, великом и загадочном, таящем в себе неведомые силы, которому мы все, интеллигенты, должны служить».

Николай ходил уже несколько лет. «Сперва я ходил один, а потом мне встретился старичок Амвросий, который уже много лет переходит по Руси от одной обители к другой. Теперь ходим с ним вдвоем. Амвросий дивный человек; душа его кроткая, как у ребенка, он много видел, инстинктом может чувствовать людей, и у него есть способность предвидения. Во многих местах его принимали за юродивого. Ходя с ним, я точно имею рядом с собою свою совесть, и этот горбатенький старичок меня охраняет своей чистой душой лучше, чем какая бы то ни было сила».

Николай говорил, что он все-таки еще не чувствует себя «своим», будучи в крестьянской массе: «Представьте себе, что впереди незнакомая деревня, куда нужно войти. Много я уже ходил, и все-таки перед каждой новой деревней, где хотел остановиться, знакомое чувство охватывает и на мгновение сжимается сердце. Больших усилий стоит выработать в себе умение производить впечатление прохожего и «своего» человека; тому, кто говорит смело и весело, толпа больше доверяет, забывая свою обычную подозрительность.

Было время, когда мужики были робкие, забитые, когда они и пню молились и каждой бляхе кланялись. Прошло сорок лет. Мужики оправились. Люди, видевшие барщину, доживают свой век. Выросло новое поколение, не пробовавшее крепостной узды, у которого выросло чувство самоуважения и гордости.

Каждый мужик из нового поколения уже сам себя называет барином: *«один барин над другим барин, а я сам над собой барин»*. Каждый крестьянин обратился в маленького помещика: он хозяин над своим куском земли и своим домом; ко всему остальному миру относится с полной самостоятельностью и большим самоуважением. Русские крестьяне вступили в новый фазис истории, который, несомненно, чреват большими результатами, и весь этот хаотический мир представляет сплошную массу новых русских граждан»...

Над степью угасала багровая заря, и кое-где замерцали огоньки дальних костров и деревень. Мы вернулись к сараю. Старики, солдат Фома и Амвросий, лежали возле костра, подложив котомки под головы. Настя сидела поодаль, смотря на костер большими темными глазами.

3. ГОЛОДАЮЩИЕ

«Приехал к нам в село,— рассказывал солдат Фома,— из города молодой человек голод исследовать. Чего нужно еще исследовать? *Голодяющий — так голодяющий, эка невидаль, что ли?* Говорит он нам: «Где же у вас голод? У вас деревня еще ничего, мальчишки в бабки играют, все как быть следует...» Один мужик ему отвечает: — «голодяющие по улице не гуляют, в бабки не играют, они по избам прячутся»; пошел этот молодой человек в первую избу, там мужик с печки слез. «Ты что ж,— спрашивает он,— голодаешь?» Мужик отвечает: «Так точно, все терпим». «Покажи избу!» Другой мужик полез в подполье и нашел там мешок луку. «Ну, какой же ты голодяющий? Поезжай на базар, лук продай, а хлеба купишь!» — «Так точно,— отвечает мужик,— это и мы знаем, что лук продать можно и хлеба купить. А вот когда этот купленный хлеб съедим, а дальше что?»... Старик у нас есть, такой навязчивый, пристает он к приезжему, говорит ему: «Вам в баню непременно сходить надыть».— «А на что?» — «Икру мужицкую посмотреть. Голодяющий отощал очень. В лаптях да онучах оно не видно, а как в баню пойдешь, так *видать, что мужик без икры,* ну просто ни одного сурьезного мужика с икрой не найдешь, окромя разве только у одного вашего приезжего степенства...»

Фома накрылся сермягой и закрыл глаза. Амвросий тоже дремал. Настя спала. Костер, догорая, вспыхивал красными огоньками, и по углам сарая шевелились большие тени.

— Мне приходилось много бывать в тех местах, где теперь голод, и я дивлюсь тому смирению, в то же время сильной воле, какую проявили голодающие мужики,— говорил Николай.— У нас много этого лживого смирения, особенно в интеллигенции, отказывающейся от своей родины, убивающей свои убеждения и заискивающей перед всем, что ей выгоднее и полезнее. Но есть у нас и другое смирение, великое и терпеливое — оно в народе. *Это смирение одерживает суворовские победы, строит Великую Святую Русь, дает силу переносить русские беды...*

Слушая Николая, я вспоминал то, что видел, и думал:

«Что такое русский голод? — Это великое смирение, самоотречение и умеренность. Главный трагизм русского голода в том, что голод незаметен. Нет ни криков, ни стонов, ни шума. Жизнь идет, как всегда, обыкновенно, естественно, спокойно.

Крестьяне, молчаливые, сумрачные, безропотно проводят свою однообразную жизнь. Но сегодня умрет один ребенок в одной избе, завтра две бабы в других избах, затем опять двое-трое мужиков,— но так спокойно, незаметно.

Все делается как-то естественно, само собой; люди сперва долго лежали, или даже вставали, имели болезненный вид, а затем померли, тихо, без стона и жалобы!

Но если сосчитать число этих больных и умерших от голода, то вдруг поражает их громадная цифра. Эта серая тихая жизнь и серая смерть, уединенная, незаметная. Если бы валялись трупы на улицах, если бы умирающие семьи ходили группами по улицам и кричали, то в голоде не было бы уже сомнения, так как голод бил бы на чувства, эти картины имели бы театральный и трогательный вид.

Но он тих, незаметен, замкнут, безмолвен, терпеливый русский голод. Станут ходить по улицам и попрошайничать и плакаться немногие, люди без самолюбия и чести — таким скорее помогут благотворители. *Но наши крестьяне, новые свободные русские граждане — горды и самолюбивы.*

Всякий крестьянин добивается того, чтобы его считали «самостоятельным», то есть независимым, содержащим сам себя и свою семью; таким он себя считает, когда не имеет долгов, а владеет известным достатком, который дает ему право ни у кого ничего не просить, обходиться своими средствами.

Крестьяне даже скрывают друг от друга свое положение, показывают, что живут безбедно, в полном достатке. Поэтому в период голода гордость, самолюбие да и все душевные качества и чувства страдают особенно сильно и больно. Страдает сознание крестьянина от того, что он не может, не в силах охранять и поддерживать семью так, как это нужно.

Незаметный, безмолвный, терпеливый русский голод, когда распродается все, что можно продать, когда уходят все небольшие сбережения прошлых лет, когда урезаются куски и рассчитывается каждая копейка, когда медленно, постепенно нищает целый район, высасываются и истощаются жизни тысячей спокойных, трудолюбивых, терпеливых и безропотных людей. Это вовсе иное, чем бунт толпы, неруководимой и неспособной самой выйти из беды, переносить страдания, кричащей и требующей «хлеба!»...

Видел я, как недалеко отсюда, на реке у берега стояла барка, на которой земство доставило хлеб для голодающих. Съехались мужики с подводами со всего уезда, сотни телег запрудили весь спуск к реке. Крестьяне шутили, смеялись, бодро и весело таскали кули с барки на берег. Всякий старался похвалиться своей силой, таская кули, и все высмеивали тех мужиков, у кого, истощенных и слабых, подгибались ноги под пятипудовыми кулями, и они падали. И сами падавшие шутили и смеялись. Не было ни одного печального взгляда, ни одного жалобного стона.

Не иметь «духа уныния» и быть настолько терпеливыми и выносливыми — могут только великие душой люди...»

Всю эту белую весеннюю ночь мы проговорили с Николаем.

Когда стало всходить солнце, каждый ночевавший в сарае пошел дальше своим путем...

1898—1901

Из
второй книги

ДОРОЖНАЯ ПАНОРАМА

Этим летом мне пришлось проехать с севера на юг, от Балтийского моря к Черному, и передо мной четыре дня развертывалась интересная панорама с живыми действующими лицами. Точно в кресле театра сидел я у окна вагона и видел, как постепенно меняются картины русской природы, разнообразные ее пейзажи, и мелькает бесконечное число лиц и типов на этой длинной железнодорожной линии.

Я выехал из старинного городка, чистого и аккуратного, с веселыми каменными домами под красными островерхими черепичными крышами, с шахматной гранитной мостовой, быстрыми извозчиками и пестрой деловитой толпой на узких улицах.

Прохожие, прилично одетые в «немецкое платье», как говорят у нас мужики; рабочие, толпой возвращающиеся с фабрики, в пиджаках, жилетах, крахмальных рубашках. Женщины, в темных скромных платьях, в башмаках на толстых подошвах и в нитяных перчатках, шли скромно, почти сурово, глядя вперед, не встречаясь взором со встречными.

Улицы мирные, без выкрикиванья разносчиков, суеты и особенного движения. Везде чувствовалась привычка и любовь к порядку, к сдержанности и даже в мальчишках-подростках заметна солидность, напускная важность, видно было, что они стараются показать себя «большими», взрослыми, говорить внушительно и деловито.

Проехав Петербург и «неумытую» Москву, ехал я далее мимо великорусских городов и деревень. На каждой станции к поезду сбегалось множество баб и детей, большей частью девочек. Босоногие, в красных ситцевых юбках и платках, быстро появлялись они из-за кустов и заборов.

Одни веселые, хитроглазые, бойко предлагали «молочко» и «яички», задорно отсмеивались от пассажиров, начинавших зубоскалить, отпускать шуточки на их счет. Другие грустные и хилые, с застывшим выражением испуга на

лице, робко протягивали тонкие руки и просящим взором предлагали что-либо купить.

Суетливо перебегала эта ярко-красная толпа от одного вагона к другому, кричала, ссорилась и, как только поезд трогался, быстро скрывалась опять за кусты и заборы, подальше от глаза станционного начальства. Очень жаль, если преследуют этих милых голубоглазых детей. В тяжелом, почти нищенском крестьянском быту, где, несмотря на имеющиеся рабочие руки, некуда приложить эти свободные силы, там пролетающие железнодорожные поезда — маленькое подспорье, где можно получить пятачок за бутылку молока, или даже сердобольная дама бросит «копеечку» девочке, ей понравившейся за грустные синие глазки.

С полдороги начинают показываться в изобилии нищие и калеки, каких на севере почти не видно. К приходу поезда на станцию они вырастают точно из-под земли и бредут возле вагонов, открывая свои лохмотья и воющим голосом выпрашивая подаяние. И слепые, которых ведут мальчишки, бросающиеся в разные стороны за собиранием брошенных монеток, и разные уроды тащутся на костылях, или их несут на спине здоровенные поводыри, обступают вышедших пассажиров, торопливо выкрикивают свои стереотипные «жалостливые» фразы.

Иные калеки, нищие и монахи, если их не заметят кондукторы, влезают в вагоны и начинают идти вдоль поезда. Едучи во II классе, как-то утром проснувшись, я увидел у себя в ногах громадную, как бочонок, кудлатую голову без шапки, с выпученными глазами — карлика на кривых ножках, молча протянувшего свою руку. В другой раз нищий — безногий старик, весь в язвах и струпьях, ловко, как паук, вскарабкался в вагон и пошел по проходу.

Сидевшие в этом отделении дамы, полные брезгливости и ужаса, подняли крик, и старик калека с непостижимой быстротой и ловкостью выбежал и выскочил уже на ходу поезда из вагона.

На южных дорогах встречаются часто грабежи и кражи. Просматривая местные провинциальные газеты, продававшиеся на станциях, заметно, что железнодорожным преступлениям уделено в них много места. В моем поезде два мужика отыскивали свое пропавшее ведро, да у одного старого почтенного господина во время сна стащили шляпу; долгое время он выходил на станциях с развевающимися седыми волосами, пока не получил откуда-то «московский» купеческий картуз с козырьком.

Когда мы подъезжали к одной большой станции, кондуктор рекомендовал присмотреть тут за своими вещами,

УЛОЧКА В САМАРКАНДЕ. *Рисунок В. Яна. 1927*

ВИД НА РЕГИСТАН. *Рисунок В. Яна. 1927*



В. ЯН С КОНЕМ ИТ-АЛМАЗОМ. *1902*

объясняя, что на этой станции всегда много краж. Из газеты я узнал, что накануне нашего поезда поезд останавливали четыре раза между маленькими станциями посредством Вестингаузовского тормоза. Курская газета предполагала, что здесь дело злоумышленников, думавших таким образом нарушить железнодорожное движение и вызвать крушение поездов. Через несколько дней в другом поезде были убиты купец и поездной смазчик и сброшены на рельсы.

Еще дальше едучи на юг, все чаще начинают пассажиры говорить о железнодорожных происшествиях, кражах и грабежах. В горячей атмосфере раскаленного июльским солнцем вагона все кажется вероятным и возможным изнывающим от жары пассажирам. Северные пасмурные дни, отрадный прохладный ветер и бесконечные леса Николаевской дороги остались далеко позади. Кругом одни распаханные поля или желтые созревшие нивы, нет ни тени, ни воды. Среди этой высушенной горячей равнины мчащийся поезд кажется единственным предметом, на каком солнце сосредоточило свои жгучие лучи.

1898

ПОСЛЕДНИЕ МОГИКАНЕ

Вопрос о центре, о его оскудении, заброшенности и даже вырождении уже много привлекал к себе внимания печати. Наш центр требует и достоин специального изучения и искренних исследователей. С одной стороны — бывшие крепостники-помещики, с другой — новый нарождающийся тип дворян-землевладельцев — прилагающих все усилия, чтобы удержать в своих руках фамильные усадьбы, но они с трудом выдерживают натиск и постепенный захват земли помещиками-купцами, разбогатевшими крестьянами, отставными интендантами, инженерами или консисторскими чиновниками.

Последние могикане — помещики старого закала и новые смешанные поколения земледельцев представляют собой громадный интерес для стороннего наблюдателя и для истории нашего времени.

Напрасно думать, что в центре можно увидеть много этих помещиков-могикан. Их там мало осталось. Скорее их можно встретить в маленьких меблированных комнатах в столицах, с трудом перебивающихся и доживающих свои дни на последние крохи от былых состояний.

Этим летом я поездил по некоторым нашим великорусским губерниям, бывал у помещиков разных формаций и слоев общества, говорил с ними и с особенным интересом осматривал старинные поместья, воспетые нашей дворянской литературой. И я должен сказать, что вынес самое грустное впечатление от тех разговоров, которые мне пришлось иметь с помещиками, и от всего, что я увидел.

Прежде всего самым печальным явлением нужно признать какой-то полный упадок духа у всех наших землевладельцев. Или нужно признать временным этот упадок духа, явившийся последствием тяжелого для земледелия времени, нынешнего мирового сельскохозяйственного кризиса, или же это тихая печаль вырождающегося племени, безмолвное уступание дороги более сильным и свежим смешанным слоям народа нашего государства.

Вспоминаю такую картину.

Двухэтажный разваливающийся каменный дом, не ремонтировавшийся уже, вероятно, лет пятнадцать — двадцать. Живут в доме — старый граф Атцеков и его ветхая «графинюшка». Граф в свое «доброе старое время» прожил десять миллионов, теперь от всего былого богатства остался этот дом, наполненный редкими и ценными для любителя-коллекционера вещами, свезенными сюда со всех концов Европы. Ненужный хлам и драгоценности перемешаны и лежат в беспорядке и на полу, и на подоконниках, а в шкафах все сверху покрыто густым слоем пыли.

Приезжают к ним изредка соседи-помещики. Граф встречает их в высшей степени предупредительно:

— Ах! Здравствуйте, любезные Петр Петрович и Марья Ивановна! Что же вы так поздно приехали — мы только что отобедали... Какая жалость, пообедали бы вместе,— говорит графиня, хотя и не знает, чем удастся ей пообедать сегодня.

— Ну, что, граф,— спрашивает во время беседы гость,— неужели вы не хотите расстаться с тем хрустальным бокалом, который я смотрел у вас прошлый раз? Продайте его мне, у вас и без него так много ценной посуды...

— Что вы, Петр Петрович, что вы! Никогда я не продам вам его. Это наша фамильная драгоценность, и ее я никогда никому не отдам.

— Тогда нельзя ли мне еще раз посмотреть на него?

— Эээ... Графинюшка, где же теперь стоит этот бокал?

— Да я и не знаю. Тебе, граф, лучше знать. Ты его недавно куда-то поставил.

— Ах, да! Я его заставил в шкафу другими предметами, так что долго доставать теперь. Но, надеюсь, это побудит

вас к нам приехать следующий раз. Я так рад буду вас снова видеть и к тому времени приготовлю бокал...

Между тем этот бокал накануне продан в городе за три рубля только, чтобы можно было купить провизии к обеду. Когда иссякнут эти три рубля, в город посылается плутоватая, обирающая графов экономка, которая продает за гроши какие-нибудь редкостные бронзовые часы или блюдо императрицы Евгении. Однако же страх показаться бедным перед другими помещиками заставляет притворяться, лгать и уверять, что граф не продаст ни одной вещи, хотя соседи и предлагают за них громадные деньги.

Много разного рода оригинальных людей можно встретить «там, во глубине России», но одного рода людей мне не удалось увидеть, быть может, случайно — людей бодрых, энергичных, веселых. Все встреченные какие-то подавленные, грустные и вялые. Были люди работающие, сделавшие много для своей местности, но их деятельность угрюмая и не жизнерадостная.

Точно разуверившись и отчаявшись в своих надеждах, они наложили на себя эпитимию в виде работы, и в этом труде для общественной пользы думают найти успокоение и забвение скучной окружающей действительности.

Я не говорю только о разорившихся дворянах-помещиках, нет, болезнь века, грусть и скука, заразила все сословия и вышла далеко за пределы городов. Где-то я прочел изречение, что «в России веселы только гимназисты четвертого класса да ломовые извозчики»; в этой мысли больше правды, чем кажется с первого раза. Конечно, главной причиной всему всегда люди, а не та форма, в которой они действуют. Преданные своему делу люди, имеющие альтруистические цели, сумеют принести пользу даже в самой неудобной, немыслимой обстановке.

1898

«СТРЕКОЗЫ» и «МУРАВЬИ»

У нас принято говорить, что русское земледелие идет под гору, что русская деревня разоряется. Но нельзя обобщать все русское земледелие. Россия настолько велика и разнородна, это такой пестрый ковер, сшитый из кусков настолько различной ценности, что можно говорить только о земледелии разных уездов. Одни уезды богатеют, а рядом с ними — местности, какие, несмотря на всевозможную поддержку, пустеют, и мужики из них разбегаются.

Мне приятно было встретить одного, очень работящего и деятельного, бодрого хозяина-земледельца, верующего в хорошее будущее, а это среди нынешних приунывших помещиков — большая редкость.

«Люблю я землю, как какое-то живое существо,— рассказывал мой собеседник — и негодую, когда с нею скверно обращаются. Не причисляйте меня к тем ворчунам, которые всем недовольны, ничего хорошего не замечают и не верят, и не ждут, что придет лучшее будущее, потеряли всякую надежду. Я же, напротив, принадлежу пока еще к очень немногочисленному отряду русских людей, искренне верящих в светлую судьбу нашего Отечества и не находящих настоящее столь плохим, что следует отчаяться.

Отживающее дворянство, старики помещики, воспитанные еще на крепостном праве, избалованные всем — и воспитанием, и своей роскошной первоначальной жизнью, и всеми мероприятиями правительства, доставившего им столько льгот и привилегий, теперь, когда все условия сельского хозяйства изменились, эти «стрекозы-помещики» остались при своих прежних барских потребностях и замашках. Понятно, они ворчат, и вот они-то и составляют класс недовольных людей, больше всего печалятся об участи поместного дворянства.

От одного из таких господ я слышал такое типичное высказывание: «И чего жалуемся мы, воспитанные на дрожжах крепостничества? Дали нам выкупные — мы их проели; устроили частные банки, повыдавали нам ссуд — мы их проели; учредили Дворянский банк, опять стали выдавать ссуды — и их мы проели; открыли соловексельный кредит — мы и его проели; постарались забрать деньги под частные закладные — и эти деньги мы проели! Словом, отяготили землю долгами чуть ли не в полной сумме ее стоимости, так что нам дальше и двинуться некуда. Теперь, когда всякий кредит исчерпан, стали подумывать о том, как выбраться из той петли, которую сами же над собой затянули. Обещают дать еще мелиоративный кредит — для улучшения состояния имений и увеличения их доходности; мы уже раздумываем — удастся ли его проесть? А это еще неизвестно. Кажется, на сей раз присмотр за расходованием этих денег будет очень строгий...»

В этом высказывании характерно выставилась жизнь этого типа дворян «помещиков-стрекоз», вся их история за последние десятилетия. Есть, конечно, и среди них исключения, но редкие.

Например, один помещик имел 270 десятин земли и жил самым аккуратным образом, перевертывал каждую копееч-

ку, прежде чем ее израсходовать, это в то «золотое время», в 70—80 годах, когда рожь была по рублю за пуд, а овес по 70 копеек. За эти годы сей помещик скопил до сорока тысяч, на них купил еще 800 десятин у разорявшихся соседей «стрекозиного» типа. Теперь со всей земли он получает до шести тысяч рублей чистого дохода.

«Как ни дешев,— говорит он,— кредит в Дворянском банке, но дай Бог от него держаться подальше, лучше своими деньгами изворачиваться. Только те земли приносят доход, какие не имеют долга. А помещики «стрекозиного» типа по теперешним временам остались, как раки на мели. Они привыкли жить на широкую ногу, ибо доходы былого времени не чета нынешним, позволяли себе проживать весь доход с имения, ничего не оставляя на «черный день», не научились ограничивать, сдерживать себя, соразмерять расходы с доходами. Один знакомый сосед искренне горевал, что ныне он не может каждый день всовывать своему сыну-шшюту, бездельнику, четвертную кредитную бумажку в его жилетный карман, «на мелкие расходы»!..

Эти господа «стрекозиного» типа в денежных делах поступали совершенно как дети. Например, получившие ссуду под имение тратили ее на совершенные пустяки, или, в лучшем случае, на вещи бесполезные и бездоходные. Так, один помещик, получив ссуду банковскую, выстроил за 30 тысяч здание для конского завода, не приносящего никакого дохода. Другой, добившись увеличения размера ссуды, в конце концов истратил деньги на певиц местного кафешантанного хора, заставляя их распевать куплеты в костюмах, состоявших только из ленточек на шее и коленях. Третий, получив ссуду, укатил на два года за границу и возвратился домой, лишь когда имение было поставлено на торги за неплатеж процентов с займа. Четвертый — выстроил на сумму кредита паровую пеклеванную мельницу и крахмальный завод, верстах в трех от ближайшей воды, и подвозил ее бочками, наймом за деньги... Можете сообразить, сколько он понес убытку, если в день приходилось тратить только на воду 30 рублей?.. Таких печальных примеров можно привести сколько угодно. Все они — одно и то же бестолковое российское проедание и мотание денег.

Появилась категория земледельцев иного, «муравьиного» типа. Получив в наследство от своих промотавшихся отцов-«стрекоз» перезаложенные имения, дети-«муравьи» всецело ушли в сельское дело, и кое-где можно видеть результаты их упорного труда. Они смотрят на сельское хозяйство как на коммерческое предприятие, заботятся о том, как увеличить его доходность, живут в деревне сами, не полагаясь на добросовестность управляющего, говоря:

«Жить в деревне можно и должно; земля-матушка всегда вознаградит труд земледельца, если последний не зевает и внимательно относится к своим, в части земли, обязанностям».

Эти «муравьи» следят за литературой о сельском хозяйстве, не боятся рискнуть проводить опыты, вводят многопольную систему с травосеянием и корнеплодами и всегда получают доход с десятины выше, чем у соседей «стрекозиного» типа...»

Когда, стоя в поле у жнивья, мы беседовали с одним из таких помещиков-«муравьев», подъехал на велосипеде седой господин, оказавшийся уездным предводителем дворянства. Он пожаловался на самовольно запаханную крестьянами землю. «С верхушки холма межевой столбик постепенно передвигался вниз. Затем перепахали ручей и влезли пашней на дорогу! Постоянные потравы, и свиньи на нашем огороде...»

Как объяснил мне помещик-«муравей»: «Наш земский начальник, это «барин» в лучшем смысле слова, хотя может оказаться и в противоположном его значении. Но стоит ли ему быть этим «лучшим барином», когда непонятны и загадочны его опекаемые?

Наши мужики все народ крещеный, но, по-моему, такой таинственный вопрос, такой сфинкс, что я не знаю, что же такое в действительности наша серая масса, вся эта *«Святая Русь»?* Варварство ли и татарщина это, или *«Третий Рим»?*

А наш барин возмущается их недоверчивостью, обманами, насмешками, подозрительностью. Если льготы им делать, то говорят: «Блажной барин!», «Тронулся!». Не понимает: «Почему мужицкие гонения на меня?»

Доходность мужицкого хозяйства столь незначительна, что крестьянин дрожит над каждым своим шагом, чтобы какой-либо оплошностью не уменьшить свою крохотную прибыль. Но отчего же он беден? Не от того ли, что он не развит, не имеет сельскохозяйственного образования, туп, и не умеет взять с земли того, что само в руки дается? Нужно знать только, как это взять?

Нет! *Крестьянин беден потому, что никто не хочет, чтобы он был богат.* Мало ли бед навалилось на мужика? Что же касается до его умственного развития, то я вовсе не согласен с тем, что он будто бы не развит и туп. *Он не образован, но более умен, да и хитрее, чем это кажется барину-интеллигенту...»*

898

НА «СУПРЯДКЕ»

— Манька! Сегодня Петька обещался на «супрядки» с тальянкой прийти, плясать будем.

— А положит ли кто нам на свечки?

— Жди! Наши ребята даром целоваться хотят. Говорят: и то вам честь, что к маленьким пришли!

— А ты бы попросила своего Ванюху положить на всю компанию, он бы и дал!

Такими фразами обменялись две девочки лет 10—12, собираясь на свою детскую «супрядку». У каждого возраста своя «супрядка». Есть для маленьких, которые утром ходят в школу, а вечером собираются в просторной избе, прядут нитки, поют новые песни — частушки — и играют в разные игры. Подростки в 14—16 лет собираются тоже отдельно, и, наконец, взрослые девушки имеют свои, старательно устроенные «супрядки» и своих постоянных участниц с их поклонниками.

В каждой деревне есть две-три или более таких «супрядок», и между ними происходит соревнование и в умении петь и танцевать, и в одежде участниц, и в убранстве избы, так что тот, кто переходит из одной «супрядки» в другую, «изменяют компании».

С сыном хозяина избы, где я ночевал, мы вышли на улицу деревни и присоединились к толпе парней, которые медленно шли вдоль по дороге и пели песни.

Месяц был на ущербе, и снег, засыпавший все кругом, озарялся слабым голубоватым мерцанием. В избах светились маленькие окошечки, в которых мелькали темные силуэты, ребятишки припадали к стеклу, стараясь рассмотреть, кто это поет на улице. Парни пели в унисон и очень быстрой скороговоркой. Впереди шел парень побойчее и подыгрывал на гармонии.

Когда я привык к темпу и стал разбирать слова, я услышал песни, где разнузданность мысли и циничность глумились над всем святым, почитаемым, и не было ничего, кажется, чего бы не задел этот молодой нахальный крик с визжащей гармонией; он обращался и на небо, и на церковь, осмеивал «начальство», перед которым вчера снималась шапка, и все это пелось с подмигиванием и подчеркиванием — смотри, дескать, народ честной, какие мы лихие ребята!

Когда парни проходили мимо сильно освещенной избы, песня усиливалась,— «чтоб пробрало их хорошенько!» В одной избе отворилось окошечко и показалась всклокоченная голова мужика, закричавшего:

— Бесстыжие богохульники, стыда на вас нет!..

Парни загоготали и принялись пуще прежнего выкрикивать свои песни. С присвистом, гвалтом и топотом ввалилась наша толпа в избу, из которой слышалось пронзительное, визгливое бабье пение. Уже без нас там было много народу, а с нашим приходом стало и тесно, и жарко.

Комната с низким потолком была вся обклеена «газетинами», по стенам на лавках сидели девушки в ситцевых, туго обтянувших грудь кофточках, с прялками в руках, и пронзительно пели свои песни. Возле некоторых сидели парни, обхватив за пышную талию руками, и что-то нашептывали на ухо, отчего их собеседницы фыркали, закрывая рот рукой. Увидав среди пришедших новое лицо, они окончив куплет, запели:

Чужаки, вы чужаки,
У вас зелены кушаки;
Хоть вы и поднаддёвочке,
У нас форсисты девочки.

Нужно было «задобрить» присутствующих, и я дал двугривенный «на свечки». Сидевшие парни, увидев, что я уважил компанию, заявили мне с достоинством:

— Садись, молодец хороший, к нашим барышням, мы ничего против этого не имеем.

Снова запелись пронзительные песни-частушки, куплеты в четыре строчки с рифмами. В каком они роде — можно видеть на следующих примерах:

Меня маменька ругала,
Зачем с пьяным я гуляла.
А я маменьке в ответ:
У нас тверезых вовсе нет.

Стояла у чуланчика,
Любила новобранчика,
Стояла у тесового,
Любила развеселого.

Кину, кину, перекину
Через речку баночку,
Говорит мамаша сыну:
Не бросай беляночку...

Вот какая современная деревенская поэзия. Напрасно думать, что это набор слов вовсе без всякого значения. В своей среде эти песни-частушки говорят очень много фантазии крестьян; два-три слова, нам непонятных, певец умеет подчеркнуть, пропеть с таким значением, с такими намеками на кого-либо из присутствующих, или вообще на что-нибудь, что я должен был изменить свое скептическое

отношение к современной русской песне, как чему-то бессмысленному, бессознательному.

Современная песня, и крестьянская, и фабричная, находится в переходном, не выработавшемся еще состоянии, и из народной толпы должны выйти русские Беранже, которые запоют хлесткие песни, лучше отделанные, и те пойдут гулять по России. Старинные, протяжные и поэтичные песни уже переводятся, их позабыли уже старики, но обрывки вымирающей народной песни перекладываются в рифмы, скандируются, и в этой форме песня снова начинает возрождаться.

После пения начались танцы. Составилась «кадриль», фигурами немного напоминающая городскую. Парни все время меняли своих «дам», перебрасывая их из объятий в объятия, а сами в то же время делали очень быстрые выверты ногами. После первых пар стали танцевать новые, лица раскраснелись, глаза заблестели, в избе становилось все душнее; почти возле каждой девушки появился ее «прияточка»; объятия и поцелуи сделались продолжительнее. Песни смолкли. Одна только гармония беспрерывно визжала, покрывая своими звуками и шум толпы, и топот ног танцующих.

— Ребята! Сейчас новобранцы придут! — крикнул маленький мальчишка, выскочивший на середину избы, чтобы торопливо возвестить эту важную новость.— Сейчас идут мимо Трифонова двора. Петька-то целый день плакал навзрыд, его зовут некруты идти вместе прощаться, а он припадет, обернется, махнет рукой и опять...

Расталкивая ребят, в избу вбежали три парня, принарядившиеся для дороги. Они подошли к трем девушкам, которые сидели одиноко со своими прялками, и стали их обнимать и целовать.

— Смотри, Манька,— шепчет один,— не вздумай забыть меня, потерпи до возвращения. Письма писать тебе буду, и ты мне пошли весточку.

— Да ты, Петька, ведь в город едешь. Городские барышни красивые да лукавые. Забудешь меня, девчонку!

— Ну, прощайте, барышни дорогие, прощайте, молодцы хорошие! Дай вам Бог! Не поминайте лихом!

— Прощайте, ребята! Кланяйтесь нашим в полку!

Новобранцы поцеловались по очереди с парнями, потом с некоторыми «барышнями». Я вышел вместе с ними.

В избе снова завизжала гармоника, и опять пошли пронзительные песни.

1899. Село Киевка, Порховского уезда

ИКОНОПИСЦЫ-НЕУДАЧНИКИ

При Троице-Сергиевой лавре существует иконописная школа. Разумеется, как факт, это — очень хорошее явление: где же быть основанию иконописного дела, как не в сердце нашего православия, чем должна являться Троице-Сергиева лавра.

Школа находится в большом зале и нескольких меньших комнатах и существует вместе с иконописной мастерской, где работают наемные художники, исполняющие все те заказы на иконы, с которыми богомольцы постоянно обращаются к монастырю. У школы имеется начальник — художник, окончивший Московское училище живописи и ваяния.

У нас жалуются давно на печальное положение иконописного дела в России, на появление в русском иконописном искусстве тенденций римско-католического характера, угрожающих исказить самый характер русской иконной живописи.

«Пора уже положить конец варварству при ремонтах церквей,— писал на днях «Церковный Вестник»,— и появлению живописи, уродующей лики святых, древнюю иконопись. Приходские «батюшки» простодушно полагают, что чем ярче и гуще положены краски, чем они свежее и лучше покрыты лаком, тем икона ценнее».

Что говорить о деревенских священниках, когда даже Софийский сбор в «господине Великом Новгороде» в настоящее время расписывается суздальскими «богомазами», не обращающими никакого внимания на древние стены и стиль собора, хранящие древние фрески и иконы этой исторической русской святыни!

От кого же ожидать охраны наших древних икон и дальнейшего развития русской иконной живописи, как не от художественных учреждений, таких школ, как при Троице-Сергиевой лавре? Между тем если ждать от нее каких-либо благих практических результатов, то ждать этого придется долго, ввиду того, что это учреждение не имеет ничего общего с принципами древнерусского искусства.

Учениками школы берутся вовсе не мальчики, показавшие способности к живописи, а напротив — все те, которые ни к чему не способны: исключенные из духовных училищ, маленькие певчие церковных хоров, потерявшие голос, и тому подобные неудачники из духовного звания, весь тот лишний балласт при школьных занятиях, с какими начальство не знает, что делать.

Этот «практический» способ создавания «иконописцев» в конце концов вовсе малопрактичен, так как эти мальчики

худо «вырисовывают» лики святых угодников, всячески «отлынивают» от занятий, и, закончив школу, все убегают в более незатейливое дело — в псаломщики, навсегда забрасывая искусство, бывшее для них чуждым занятием с самого начала.

Наши наиболее известные древние чудотворные иконы имеют сильную одухотворенность выражения и глубокую идею; и сотую часть этого не могут передать бедные мальчики, без призвания, насильно обращенные в «иконописцев».

Между тем есть неистощимая и богатая сокровищница, в которой хранятся художественные таланты,— это бесчисленные сельские школы. Там, в бедной толпе грязных ребятишек наблюдательный человек может отыскать много маленьких художников — in potentia (в потенции.— *М. Я.*), в чьих сердцах бьется нежное, непонятное им самим стремление к искусству. За неимением карандаша и бумаги они пачкают углем стены, вырезают из редьки лошадок и человеческие фигурки, за что их секут родители, видящие в таком занятии только баловство и очень последовательно забивающие в детях те священные порывы, какие могли бы распуститься пышным цветом; если бы они встретили, хоть в ком-нибудь, гуманное желание поддержать эти слабо тлеющие искры художественного дарования, то можно было бы рассчитывать и на какие-либо практические результаты.

1899.

НА МАРИИНСКОМ КАНАЛЕ

«НОГИ В ВОДЕ»

В конце 1899 года я прервал свое «хождение по России», воспользовавшись возможностью посетить Англию. В петербургской и ревельской печати тех лет опубликованы несколько моих корреспонденций из Лондона периода англобурской войны.

Вернувшись весной 1900 года на родину, я жил в Ревеле и Петербурге, периодически продолжая свои скитания по России. Однажды я решил попасть на баржу, направлявшуюся Мариинским каналом в Вологду. Пароходик довез из Петербурга до начала канала, и в Свири я высадился на

пристани, устроенной среди болота на высоких сваях. Ряд больших узких барж, привязанных канатами, ожидал буксирного парохода. Быстро смеркалось. Предстояло где-то переночевать.

В небольшом домике, тоже стоявшем на сваях, меня приветливо встретили дородная хозяйка и красивая девушка, ее дочь. Они провели в маленькую комнатку, предложили чаю и водки, от какой я отказался, поставили какую-то еду на столик.

Когда женщины ушли, извинившись, что у них сейчас нет керосина для лампы, я зажег свою свечу и заглянул во все углы комнаты. Под кроватью был люк. С трудом приподнял я крышку этого люка и посветил туда свечой. Под люком плескалась вода. Оттуда тянулась веревка, намотанная одним концом на вбитый в сваю крюк. «Наверное, тут верша для ловли рыбы»,— подумал я, потянул веревку и вытянул из воды две ноги в высоких сапогах. Я отпустил веревку, и ноги опять погрузились в воду. Осторожно прикрыв люк, я стал искать щель в стене.

Из комнаты хозяйки доносился заглушенный разговор. В щель можно было заметить высокого мужчину в «городском» пальто, с поднятым воротником. У него были приметные рыжие усы и остроконечная бородка. Незнакомец и хозяйка тихо переговаривались, посматривая в мою сторону. Скоро разговор стих.

Я погасил свечу и, оставаясь настороже, не раздеваясь, прилег на кровать. Все было тихо, и, усталый, я начал дремать. Очнувшись, я почувствовал, что мои ноги осторожно трогают и начинают захлестывать веревкой. Я чиркнул спичкой и увидел у себя в ногах красивую дочь хозяйки. Она стала громко хохотать: «Какой вы чуткий! А я хотела с вами пошутить!..» и убежала.

Как только стало светать, я положил на стол рубль и, накинув свою котомку, ушел по мосткам к каналу. Баржи были отвязаны, на некоторых двигались люди, впереди посвистывал буксирный пароход. Проходя по тропинке береговой насыпи и увидев деревянное здание с надписью: «Полицейское управление», я решил зайти к исправнику, рассказать про «ноги в воде». Но в раскрытое окно я увидел рыжие усы и бородку незнакомца, заходившего к хозяйке. Теперь он был в полицейской форме. Наши глаза встретились, я попятился и прыгнул на переднюю баржу, уже начавшую двигаться по каналу. У борта стоял высокий чернобородый человек. Я шепнул ему: «Спрячь меня, за мной крючки гонятся!» Он посмотрел мне в глаза и спросил: «Люцинер?» Я кивнул головой. «Скорей, укройся в том чулане!»

Через несколько минут к барже подошел полицейский. Идя рядом с движущейся баржей, он крикнул: «Эй, хозяин! Не видал ли ты молодчика в черном полушубке, с котомкой?» — «Видел, ваше скородие,— ответил чернобородый.— Он побежал по насыпи в ту сторону, через кусты!» Полицейский свернул и поспешил в указанную сторону. Буксир усиливал ход, и баржа, а за ней пять других стали все быстрее двигаться вперед.

Вскоре чернобородый человек, оказавшийся старшиной каравана барж, выпустил меня из чулана. Он мрачно выслушал мой рассказ о ногах, торчавших из воды, и сказал: «Ты счастливо отделался. Другим, которые подымали шум, пришлось хуже. Проезжая по каналу, я не раз слышал, что здесь, в Свири, пошаливают лихие люди, и подумывал, что это не без участия здешнего исправника или пристава».

Позднее, вернувшись в Петербург, я написал корреспонденцию о «ногах в воде» и дал ее Сигме[1]. Тот не стал ее публиковать, а через свои связи добился того, что в Свири было произведено тайное расследование людьми, специально прибывшими из Петербурга. Была раскрыта большая шайка грабителей и бандитов, во главе ее стоял местный пристав. Однако корреспонденция о «ногах в воде» так и не была опубликована.

«КОЛЕСО С КРЮЧКОМ»

Караван барж двигался все дальше по Свири, и вскоре старшина Клим Авксентьевич стал открывать мне свою душу:

«Когда я отбывал воинскую повинность, то служил матросом. Мой срок кончался уже, и в это время приехавший на корабль чужой капитан сказал нам: «Вскорости отправляется в кругосветное плавание учебный парусный корабль. Нам нужны сверхсрочные опытные моряки. Кто хочет попасть на этот корабль — три шага вперед!»

Тут я подумал: *«Что такое наша жизнь? Это большое «колесо с крючком»*. Вышиной колесо до неба и поворачивается вокруг своей оси. Бывает, что крючок подойдет к тебе совсем близко, и если за него ухватиться, то колесо подымет так высоко, что оттуда, сверху, откроется вид на весь мир. Хватайся, Клим, за этот крючок, и ты увидишь то, чего в другой раз увидеть не придется!» Я шагнул три шага вперед и сказал, что хочу продолжать

[1] Сигма — С. Н. Сыромятников, видный журналист того времени.

морскую службу. Так я попал на бриг «Ретвизан» и проплыл на нем вокруг Света. А потом сдурил — бросил корабль и сную теперь взад-вперед по каналу между Питером и Вологдой.

На этих пяти баржах погружены ситцы и другие товары на большие деньги. Их хозяева мне доверяют, знают, что я все довезу в целости. Не раз я думал: встречу человека с виду тихого, а может быть, с ним ко мне опять подойдет крючок на колесе, и снова я увижу далекие страны. Я тебе помог, а ты мне помоги. Устрой меня, если можешь, опять на такое дело, чтобы вокруг Света плавать!».

Буксир увел баржи на Онежское озеро. Ночью были слышны странные звуки, словно пели далекие, звонкие серебряные трубы. Они перекликались всю ночь. Утром старшина объяснил, что это кричали дикие перелетные лебеди.

«Дикая птица! — говорил Клим Авксентьевич,— а без всякого крючка, без чужой помощи, летит в Египет!..»

1900—1947

НА ПЛОТУ

Несколько лет назад я скитался в народе по России, бродил по ее деревням, монастырям, дорогам и рекам. Летом 1901 года, в начале июля, я был в Киеве и вдоль Днепра направился на Юг. Стояла сильная жара; идти берегом было тяжело, и я с завистью смотрел на вереницы плотов, плывших по темно-синей реке.

Когда один плот был недалеко от берега, на крутом повороте, я окликнул рабочих-плотовщиков и попросил их взять к себе, довезти до Екатеринослава[1]. Молодой парень немедленно отвязал плоскодонку и, ловко правя веслом, подплыл к берегу, усадил меня на дно зыбкой лодки и быстро догнал грузный плот, медленно плывший по течению.

На плоту были две соломенные будки, в аршин вышиной и два аршина длиной, и два ящика с глиной, на которых дымили костры. Возле одного ящика сидел угрюмого вида мужик и кипятил жестяной чайник, подвешенный на развилок жерди над костром. Он предложил мне сложить свою сумку и расположиться в одной из будок. В ней на подостланной соломе можно было удобно лежать растянувшись, глядя на двигающиеся мимо красивые берега.

---

[1] Екатеринослав — ныне Днепропетровск.

После знойной, пыльной, утомительной дороги, особенно приятной казалась невозмутимая тишина плывущего плота. Громадные круглые бревна, связанные лозой и веревками, наполовину окунувшиеся в прохладную воду, были собраны в четыре «грядки», или «гребенки», свободно привязанных одна за другой. При повороте реки этот четырехколенный плот извивался по течению и все его связки издавали жалобный скрип...

*

На плоту было восемнадцать человек, из них три «вата́мана». На обязанности ватаманов оберегать плот,— шестами отпихивать его от берега или мели.

Четвертый «дозорный ватаман» с мальчиком-помощником на маленькой лодке едут впереди плота за полверсты и осматривают местность. Дозорный ватаман подает сигналы на плот, в какую сторону сворачивать. Чтобы повернуть грузный тяжелый плот, требуется много времени и мастерство; если пропустить нужный момент, плот может с разгона налететь на мель или берег при крутом повороте, тогда плот рассыплется, балки расплывутся; или плот так засядет на мель, что нужно будет нанимать буксирный пароход, чтобы стащить его в воду.

Сзади плота привязана большая лодка — «дуб», в которой всегда сидят наготове семь человек гребцов, «дубовыхлопцы», и рулевой — «дядя-дубовик», которому принадлежит высшая власть на плоту и он отвечает больше всех за его целость.

Весь плот состоит из 500 бревен, связанных канатами и «гужбой» — кручеными лозой и ветвями лозняка. Над одной будкой возвышался шест с деревянным крестом и красным флагом, на другой (где я поместился) — стоял фонарь, зажигавшийся ночью.

На Днепре веял едва заметный ветерок. Солнце жгло прямыми беспощадными лучами. Вода гладкая, как зеркало, и плот катился бесшумно, не дрогнув, и только по желтому песчаному берегу, медленно подвигавшемуся назад, можно было заметить, что мы с днепровской водой плывем вниз.

*

Три ватамана сейчас без дела. Один возле костра разогревает манерку с водой, другой ковыряет корзину и плетет ее из корней лозы, той самой, что выпустила длинные коричневые нити по всему обрывистому песчаному берегу

Днепра. Третий ватаман сидит верхом на переднем бревне, спустив босые ноги в воду, и длинным шестом пробует глубину реки.

Одни из «дубовых-хлопцев» сидят в лодке, другие лежат на бревнах, подставив загорелые груди жгучим лучам солнца. «Дядя-дубовик» стоит, пристально смотря вдаль. Днепр заворачивает, и быстрое течение несет плот прямо на береговую кручу.

— Гей! До — дуба, хлопцы, живо! — кричит дубовик.

Хлопцы вскакивают, садятся за весла и гребут сильно, с шумом пеня воду. Ватаманы бросаются на край плота и обматывают конец каната, опущенного с дуба, вокруг бревен. Дуб отъезжает на середину реки, и хлопцы сбрасывают в воду громадный якорь, высотой с человеческий рост. Канат вытягивается, соскакивает с силой с одного бревна на другое, ударяет по воде, делая вспలески, все четыре грядки со стоном растягиваются одна от другой. Плот поворачивается и относится течением на то место, которое наметил дубовик.

Тогда семь хлопцев берутся за другой канат, привязанный к кольцу сброшенного якоря, становятся на борту дуба в ряд и медленно, раз за разом, с припевом, подтягивают якорь к лодке. Дубовик колом подхватывает лапу якоря и выворачивает ее на помост дуба. Другие хлопцы также подхватывают кольями, борт лодки накреняется к воде, хлопцы перегибаются на другую сторону, но якорь уже втянут и выдвигается на середину помоста.

А плот уже повернулся и несется по новому направлению. Хлопцы с дубом притягиваются якорным канатом к плоту и ждут следующей «драйки» якоря. Днепр течет быстро, часто заворачивает и вьется, несет плот на берег. Дубовику нужно зорко смотреть вперед и следить за течением и за сигналами едущего впереди дозорного ватамана. Хлопцы же, чтобы занять время, начинают петь песни, рассказывать сказки или перебраниваются.

*

— Вот здесь на косе крест стоит,— рассказывает товарищам хлопец, уже лет десять ходящий с плотами на дубу.— Выше этого места мы драгили якорь. Вот как вытащивать его нужно было на палубу, один из хлопцев подхватил колом, да не довел до конца. Кол назад отвернулся, да хватил его по животу. Он и свалился в Днепр и сразу на дно пошел, как камень. Мы дальше поплыли, его уже не отыскать было, на верх не всплывал. Потом его рыбалки поймали и на косе закопали. В Катеринославе мы расчет

получили и назад по Днепру пошли. Рыбалки нам указали, где они его закопали. Мы его отрыли,— у него уже волосы отопрели. Мы ему в песке яму глубокую вырыли, чистой одеждой прикрыли, крест на могиле большой поставили. Без попа и панихиды зарыли. Где же здесь попа достать? А в селе, дома его поминают...

— А то здесь, тоже недалеко, весь дуб перевернулся и шесть человек разом затонули. Тоже когда якорь вытаскивали, он лапой за край дуба зацепился и перевернул его кверху дном.

*

Для филологов интересно было бы исследовать те слова, которые употребляют плотовщики на Днепре. Они сплавляют бревна тем же путем, каким варяги пришли в Киев. И не от северных ли корней произошли некоторые слова? По-шведски vatten значит «вода», man — «мужчина». Если это так, то «ватáман», вероятно, значит «водяной человек», так как раньше, в древности, когда вся Русь была покрыта дремучими лесами и путями сообщения были только реки, то и разбойники продвигались реками. Из «ватáмана» и атаман. «Драгить якорь», «драйка якоря» — это значит «вытягивать якорь». А drage по-шведски значит «тянуть».

*

От ватаманов требуется хорошее знание Днепра. В ватаманы возьмут только бывалых людей, которые изучили нрав и характер этой громадной реки, знают, где ее мели или скрытые камни, когда и где нужно причаливать плоты к берегу, чтобы их не погнало и не разбило. Из ватаманов потом выходят дубовики. Дозорный ватаман, едущий впереди на лодке, получает жалованье больше простого ватáмана, оберегающего плот. На его лодке развевается маленький флаг. Он оглядывает Днепр, не произошло ли где каких перемен, и в случае надобности машет издали флагом, в какую сторону кренить.

Наш дозорный ватаман Андрей говорил, что знает все деревни «скрозь по Днепру», начиная от Борисова, Минской губернии, откуда начинается гонка плотов.

— Тут, за Орликом, пойдет Половещина, за ней Китай-город, большое село. На той стороне пойдут многие деревни: и Карнауховка, и Запорожье, и Рим-деревня... Я бы мог

давно за дубовика идти, да никто за меня не попросит. Для первого раза надо приказчику дать рублей двадцать, чтобы рекомендацию он дал хозяину...

*

Плоты гонятся целой партией. В середине партии на одном из плотов едет «хозяйщина», там построен небольшой домик в две комнатки. В одной склад припасов, в другой помещаются грозные для рабочих приказчики, переезжающие на лодке от одного плота к другому, пересчитывающие бревна и наводящие страх на всех хлопцев и ватаманов.

Наша партия была из 16 плотов, но по пути купцы Парцов, Нагаткин и Лепешин, владельцы бревен, часть распродали во встречных городах. Теперь от партии остались четыре плота по шесть грядок, и один наш в четыре грядки.

Все служащие на плотах содержатся на хозяйских харчах, получают от «хозяйщины» — хлеб, пшено, сало, сушеную рыбу тарань, «олей» — льняное или кунжутное масло, на каком жарится рыба и заправляется им каша. Выдается также хозяйский табак и папиросная бумага для «козьей ножки».

Дубовику и ватаманам выгоднее прогнать плоты как можно скорее. Они получают плату за прогон по реке до Екатеринослава, независимо от времени,— дубовик — 50 рублей, ватаманы — по 35 рублей. Дубовые хлопцы получают каждый по 3 рубля за неделю, так что им, чем дольше работать, тем больше и «наробить».

*

Один рабочий-плотовщик с дуба, добродушный белорус с голубыми глазами и светлыми волосами, рассказывал о своей жизни:

— Наша жизнь, можно сказать, дается вроде как наказание. Конечно, в плотовщики идет тот, кому в земле стеснение. Богатый сюда уже не пойдет. Сперва мы ранней весной бревна в воду стягнем, свяжем в грядку. На каждую грядку одного человека посадят, и он один едет по Березине, один, как муха, шестом отпихивается. Где крутой поворот, там дубы стоят и один за другим гребенки задрагивают, дают верное течение. Сперва работа как каторга — вода идет со льдом, стоишь в воде мокрый, кожа

немеет. Потом, как на Днепр выплываем, грядки вместе свяжем канатами, по 8, по 6 и 4 грядки, вместе, попарно. Тогда на каждый плот прибавляется дуб и на нем дубовик и семь хлопцев.

Для ватамана будка соломенная полагается, а для хлопцев — нет. Когда ночь застанет, они лягут в груду один на другого, шинелками покроются, да так и спят, как придется. Дождь пойдет,— хлопец пригнется где-нибудь,— так и пережидает. Много мрет людей от болезни, «безбут» называется, вроде лихоманки. Иссушит человека совсем, и года два промается. Конечно, такого хлопца хозяин рассчитывает. Что ему за интерес больного содержать? Когда ветер на Днепре подымается, соломенные будки разнесет, нас вымочит. Одежа на нас гниет.

*

Другой рабочий был мечтатель, любил рассказывать сказки товарищам, лежа на спине и глядя на облака. Вся его жизнь проходила в скитаниях по чужим местам. За лето он несколько раз проплывал с плотами, остальное время служил на заводах. Раньше он работал на каменноугольных копях, возле Ростова-на-Дону, и любил напевать шахтерскую песню:

На Ростовском-Донском поле,
Понарыты шурхи-норы,
Где работали шахтеры.
Одна ямочка такая,
Преогромна глубокáя,
Три сажени ширины,
Полтораста глубины.
Сверху вниз идет шнурок,
А вверху бьет молоток.
Подай машинист гудок.
Первый гудок прогудел,—
Шахтер обуваться сел.
Второй гудок прогудел,—
Шахтер завтракать сел.
Третий гудок прогудел,—
Шахтер к клеточке пришел.
Нас на клеточку садилось
По двенадцать человек.
Клетка в гору троганула,
Нам у сердце колянуло.
Клетка вихрем понеслась,
Аж постройка затряслась!
Клетка к камеру подходит —
Там шахтерушки стоят.
У всех лампочки горят.
По продольной разошлися,
За работушку взялися.

Каждый свое дело знает —
Вагонщик за вагон,
А забойщик за забой.
Всю продольную прогнал,
Себе спинушку ободрал.
Распроклята жизнь шахтерска —
Ровно в каторге живешь.
День и ночь мы со свечами,
А смерть наша за плечами.
И вагонщик молодой
Катит новенький вагон.
А в вагоне том шахтер
Раненый лежит больной.
И того мы шахтера́
Вытаскали на гора́.
И к тому-то шахтеру́
Собирались дохтура.
Хоть шахтер буде живой,
Но калека вековой.

Неделю плыл я с хлопцами по Днепру. От зноя лицо, руки и ноги сделались такие же черные, как у плотовщиков. Иногда, проплывая мимо сел, я с молодым Ильей, помощником ватамана, съезжали на плоскодонке на берег и в течение нескольких минут беседовали со степенными «хохлами» и говорливыми «хохлушками», хозяевами украинских хат прибрежных деревень, а затем долго догоняли унесенные быстрым течением плоты.

Когда поворотов Днепра не предвиделось, хлопцы раздевались и бросались в воду позади плота. Плыть сзади было легко и не утомительно, течение равномерно несло и купальщиков и бревна, и казалось, что плывешь по стоячей воде.

Ниже Кременчуга к ночи поднялась буря. Плоты пригнали к берегу за выступом песчаной отмели и привязали канатами к рослым тополям на берегу. Непогода бушевала всю ночь, волны ударяли о плоты, заставляли качаться и стонать тяжелые бревна. Хлопцы укрылись на дубе и в соломенных будках. Утром буря стихла. Хотя небо хмурилось и Днепр сердито плескал волнами, заливая плоты, но мы тронулись дальше.

Не доплыв до Екатеринослава, плоты причалили к берегу, и здесь я распростился с гостеприимной артелью. Хлопцы попрыгали в Днепр и по горло в воде стали развязывать плоты, снимать будки, чтобы гнать бревна дальше через днепровские пороги...

1901—1907

«БОГОИСКАТЕЛЬ»

В Петербурге мне довелось познакомиться с художественным критиком «Петербургской Немецкой Газеты» — Федором Ивановичем Грус. Он переводил какой-то обширный труд немецкого профессора по истории искусства и, плохо зная русский язык, пригласил меня редактировать его перевод.

Грус был женат на дочери известного музыкального издателя Юргенсона, и поэтому в его доме можно было встретить издателя «Могучей Кучки» Митрофана Беляева, критика Владимира Стасова, художников Бакста и Серова, многих других выдающихся деятелей мира искусства того времени.

Грус свел меня с приехавшим в Россию «богоискателем» — немецким поэтом и писателем Райнер-Мариа Рильке [1], который, услыхав, что я «ходил по России», очень хотел со мной познакомиться.

Рильке считал, что «правда» придет из России. Он с трудом и плохо изучил русский язык, но все же пробовал «ходить» по России, одно время жил в Казани, затем у Льва Толстого.

Рильке говорил, как о чем-то совершенно реальном, что «по России ходит Христос». Об этом он сказал Толстому, а Лев Николаевич ответил ему: «Что вы! Если бы Христос явился в нашу деревню, то его бы там девки засмеяли!..»

Любопытно, что эта же мысль, о Христе, идущем по России, нашла позднее свое выражение у другого замечательного поэта, в «Двенадцати» Александра Блока.

Рильке написал большую поэму об искателе бога и правды — русском дьяконе, ставшем отшельником.

Рильке читал мои записки о «хождении по Руси», а некоторые перевел и напечатал в Германии.

Встреча и беседы с ним в то время меня потрясли, настолько его речи и вся личность были наполнены глубокой, мистической силой, а его поиски «правды» мне импонировали.

Рильке был в России два раза и после того поехал во Францию. Живя в Париже, он несколько лет работал бесплатным секретарем у замечательного скульптора Огюста Родена и написал книгу бесед с ним. Как известно, Роден тоже был «искателем правды» и творцом новых форм в скульптуре, пытавшимся в камне выразить великие общечеловеческие идеи и запросы. Кто не знает его бессмертного «Мыслителя», породившего множество подражаний?

---

[1] Рильке Райнер-Мария (1875—1926) — немецкий поэт-символист.

Советский поэт Давид Самойлов рассказывал мне, как после освобождения Берлина от нацистов в 1945 году он с товарищами отправился в Германскую Государственную Библиотеку, и там они нашли всех сотрудников-библиотекарей на своих местах.

Те не покинули этой сокровищницы человеческой мысли, когда все другие немецкие чиновники бежали в панике при штурме города.

Помня мою просьбу — привезти последние, неизданные у нас в России, произведения Рильке, Д. Самойлов и его приятели спросили библиотекарей — сохранились ли книги Рильке?

Библиотекари повели их в подвал, где стоял ряд шкафов, обтянутых проволокой и запечатанных. Один шкаф имел наименование «Рилькеана».

«Эти книги должны были быть сожжены,— сказали библиотекари,— но мы их сохранили. Вы, как победители, можете вскрыть эти шкафы. Мы сами этого делать не будем. Мы надеемся сохранить для потомства произведения наших лучших поэтов...»

1947

В. ЯНЧЕВЕЦКИЙ — Р.-М. РИЛЬКЕ

Дорогой г. Рильке!

Я очень признателен и благодарен Вам за Ваше доброе письмо и за Вашу пьесу, которую мне очень хочется перевести на русский язык. Вероятно, мне это удастся сделать.

Я путешествовал теперь несколько месяцев по Центральной России. Мне придется продолжать мои поездки вероятно еще около года; я хочу изучить наши наиболее культурные губернии по линии Псков — Казань.

Когда Вы приедете снова в Россию? Не хотите ли путешествовать вместе со мною?

Я готовлю мою книгу «Записки пешехода», но она еще не готова.

Над чем Вы работаете теперь? Будете ли Вы что-нибудь писать о России? Мне будет очень интересно следить за Вашей литературной деятельностью.

Какие интересные новости в германской литературе?

Я теперь месяцы нахожусь без газет, журналов и почты, поэтому и Ваше письмо получил так поздно, и так поздно отвечаю Вам. Простите меня, пожалуйста, за неак-

куратный ответ моего письма, надеюсь, что мы будем обмениваться письмами.

Что теперь делается в России? Здесь трещат морозы, мужики в деревнях спят на печке и вылезают раз в неделю по субботам, чтобы выпариться в бане, покататься голым по снегу, опять в баню, и затем домой на печку, опять на неделю.

Наши образованные интеллигенты разговаривают о конституции, бранят правительство, англичан и вашего Вильгельма, затем играют в «винт», пьют «казенку» и читают Максима Горького.

Вот общая картинка вкратце современной России. Затем уже все остальное — индивидуализация общего.

Желаю всего лучшего! Поздравляю с новым столетием, с новым счастьем! Ваш —

В. Янчевецкий

Децембер. 1900 г. Ревель

Р.-М. РИЛЬКЕ — А. Н. БЕНУА

«...В Германии теперь все выглядит слишком «по-немецки», и тот неприятный псевдопатриотический тон, которым у нас изо всей силы пытаются провозгласить начало нового немецкого «Ренессанса», закрывает мне путь почти во все периодические издания...

Дельные статьи, в которых хотя бы один раз не упомянуто о величии Германии и не предсказано ее великое будущее, вообще не имеют теперь никаких шансов на опубликование в наших полулитературных журналах...

Так как любое послание из России я воспринимаю как праздник, то меня очень порадовала присланная мне на днях маленькая книжка (собственно говоря, я ожидал от нее еще большего), с автором которой я знаком, хотя и бегло.

Я имею в виду «Записки пешехода» В. Янчевецкого. Вы знаете эту книгу. Рассказы «Счастье», «Ходаки», «Странники» мне кажутся лучшими.

Господин Янчевецкий меня посетил раз в Петербурге, и я очень интересовался этого молодого писателя (транскрипция подлинника.— *М. Я.*), который так энергично взял на себя всякие неудобства пешеходства, чтобы служить своему народу.

Может быть, я из этих рассказов переведу что-нибудь для «Цукунфт» или «Лотзе» (Гамбург)...» [1]

---

[1] Это отрывок из письма Р.-М. Рильке к А. Н. Бенуа от 28 июля 1901 г. Позднее Рильке перевел и опубликовал рассказ В. Янчевецкого «Ходаки», озаглавив его в переводе «Прошение».

ВСТРЕЧА С Л.Н. ТОЛСТЫМ

Поезд выкинул меня на небольшой станции Тульской губернии. До утра еще далеко. Я вышел на большую дорогу. Накрапывал дождь, а впереди предстояло несколько верст пути по незнакомым пустынным местам.

Вернувшись на станцию, я решил подождать до утра в зале III-го класса, среди спящих на полу мужиков, баб с детьми, корзин и тюков. Когда начало светать, я отправился в путь.

Пришлось идти лесом, тропинками, среди мокрых от дождя кустов. Идти по большой дороге было невозможно, ноги вязли в глинистой почве. С волнением я приближался к тому месту, той деревне, к которой было приковано внимание мыслящих людей всей России и даже всего мира: в ней жил, думал и творил Лев Толстой.

Деревья стали редеть. На опушке леса я решил переждать и присел на пне.

Со стороны станции шел молодой человек. Потертый синий картуз с козырьком, высокие сапоги, черная куртка с бархатным воротником и «либеральная» бородка — наверное, учитель или псаломщик. Он мне поможет.

Действительно, незнакомец остановился, подошел ко мне и стал скручивать «козью ножку».

На мои расспросы он мне объяснил, что впереди, уже недалеко, вдоль холмистого склона, протянулась деревня Ясная Поляна, а в стороне, справа, на спуске с холма, среди липового леса находится старинная усадьба Толстых.

— Мы графа Льва Николаевича часто видим на дорогах близ его имения. Он ходит с палочкой, в высоких сапогах и галошах, с книжкой в руке. А то сидит под деревом и читает. Он очень любит заговаривать с прохожими, расспрашивая, как люди живут. И я с ним раза два беседовал, вместе гуляли по лесу. Я служу приказчиком у купца Ермакова, он хлебную торговлю ведет. Люблю я почитывать и книжки Льва Толстого, прочел все, какие только мог здесь разыскать...

Любезный собеседник, помню, еще сказал, что яснополянские крестьяне живут лучше и чище, чем крестьяне соседних деревень: Лев Николаевич многим помогает «справить» хозяйство.

Вскоре приказчик меня покинул и я остался один. Я боялся прийти в усадьбу слишком рано, не зная, как

меня примут. Я волновался при мысли о том, что сейчас, может быть, я буду говорить с автором «Детства» и «Отрочества», «Чем люди живы», «Казаков»,— моих любимых произведений Толстого. Мне казалось, что рука, написавшая все это, должна быть особенной, полной магической силы. Его глаза, наверное, видят насквозь мысли каждого человека и, конечно, прочтут и мои мысли, мои стремления, еще такие туманные и неоформившиеся, мои собственные искания «правды», какой-то особенной правды, которую люди не знают, которая, как птица, кружит между людьми, а поймать ее невозможно.

Совершенно рассвело. Ветер разогнал тучи. Первые лучи солнца осветили укрывшийся между деревьями двухэтажный помещичий дом, такой небольшой, не нарядный, принадлежащий людям среднего достатка. Сад со старыми деревьями спускался по склону холма и кончался воротами на каменных квадратных столбах. Я все смотрел не отрываясь на эти ворота, ожидая, что именно отсюда покажется знакомая фигура старика с развевающейся по ветру седой бородой.

Ворота раскрылись. Выехал плетеный тарантас, запряженный гнедой лошадью. Он вскоре проехал мимо меня. В нем сидела бледная женщина с грустным лицом, в соломенной шляпке с синим развевающимся вуалем. Два чемодана, стоявшие у нее в ногах, говорили о том, что она направляется к поезду.

Ворота оставались открытыми. Это придало мне смелости. Дождь давно перестал. Приходилось идти по сырому лугу, по высокой траве, на которой еще блестели дождевые капли.

Я вошел в заветные ворота. Я уже был в Ясной Поляне! Навстречу, по дорожке сада, спускался худощавый человек в летнем пальто. Ворот его белой рубашки был расшит пестрым украинским узором. Я подумал, что это доктор Маковецкий, галичанин, постоянно живущий у Толстых. Приблизившись, он остановился:

— Вы, вероятно, к Льву Николаевичу?

— Да, я специально приехал сюда в надежде повидать его.

— Сейчас Лев Николаевич нездоров и никого не принимает. Софья Андреевна очень строго следит за тем, чтобы никто его не беспокоил.

— Вы, конечно, доктор Маковецкий? Я видел вашу фотографию в журнале вместе с семьей Толстых. Помогите мне все-таки повидать Льва Николаевича. Очень уж обидно, издалека приехав сюда, остаться с невыполненным желанием.

Мы присели на садовой скамейке. Я рассказал, что, одетый по-мужицки, брожу по России с целью изучить ее народ. Я уже обошел несколько губерний, и у меня имеются наболевшие вопросы, на какие я ищу ответа. Лев Николаевич мог бы их решить и мне помочь.

— Знаете, что я вам, пожалуй, посоветую? Выберите в саду скамеечку и на ней подождите. Если вас увидит Софья Андреевна, то она категорически не даст вам возможности говорить с мужем. Но она встает позже, а Лев Николаевич, вероятно, сейчас выйдет. Он любит гулять по лесу рано утром. В лесу для него поставлены специальные скамейки, на которых он отдыхает и остается один со своими думами. Может быть, вам повезет.

Я искренне поблагодарил любезного доктора, и тот ушел.

Мне пришлось ждать недолго. В глубине парка показались две охотничьи собаки. Они перебегали между кустами и, увидев меня, залаяли. А за ними, в конце длинной прямой аллеи, показался *он*. Я увидел *его*. Да, это был *он*... Я почувствовал себя счастливейшим. Сейчас я буду с *ним* говорить. Пусть *он* сердится и бранится, но я услышу *его* голос. Во что бы то ни стало я этого добьюсь.

Лев Николаевич приближался, идя медленным шагом по краю аллеи. Земля так набухла от дождя, что ноги вязли и скользили по глинистой почве. Он с трудом ступал в высоких калошах, опираясь на палку. Осеннее пальто старенькое и потертое. На голове круглая, черная шапочка, вероятно, сшитая руками Софьи Андреевны.

Собаки, прыгая вокруг меня, заливались лаем. Лев Николаевич направился прямо ко мне, успокоил собак, и остановился в двух шагах:

— Что вам угодно? С кем я имею удовольствие говорить?

У него был мягкий высокий голос, тенор, и какая-то барская манера речи. Я решил говорить с ним не стесняясь, искренне, таким языком, каким я пишу свой дневник. Но сухая встреча и эта барская манера говорить меня сковали, показав, что не так-то просто добиться его расположения, его доверия.

Заметив мое смущение, Лев Николаевич сказал:

— Давайте мы с вами пройдемся по окрестностям и дорогой поговорим.

Мы вышли из сада и тропинкой, через поле, направились к лесу, начинавшемуся невдалеке за оградой. Мне хотелось расспросить о многом, но Лев Николаевич, не давая мне времени, стал сам расспрашивать о тех деревнях и селах в различных губерниях, через которые я прошел. Больше всего заинтересовали его вятские мужики, живу-

щие в вековых непроходимых лесах с мачтовыми соснами и елями. А также вотяки-язычники, обитавшие в тех же лесах, прячущие своих древних идолов в лесной чаще. Расспрашивал он также о плотовщиках, которые гонят плоты от Орши до днепровских порогов.

Он много расспрашивал и о русско-японской войне, в которой мне пришлось участвовать корреспондентом СПТА [1], и переспрашивал, требуя характеристик отдельных генералов — Линевича, Куропаткина.

— Эта война осталась незаконченной,— сказал он.— Нам придется еще раз встретиться с японцами и тогда *хозяин,*— он указал на небо,— по-своему решит этот спор.

Потом мы уселись на скамейке среди густого орешника.

— Итак, сколько же времени вы бродите?

— Уже несколько лет.

— Но вам нужно записывать ваши впечатления. А то какой же будет толк от всех этих скитаний по бесконечным русским дорогам, если вы не оставите записок о том, что такое Россия, наша многогранная Россия сегодняшнего дня?

Я ответил:

— Для того, чтобы все записывать, даже самые яркие впечатления, встречи и разговоры — не хватит сил. Я стараюсь запоминать самые интересные моменты, сцены и выражения, бегло описывая тех необычайных людей, которых я встречал. Мне кажется, что где-то в глубине моей памяти постепенно образуется богатейший склад впечатлений, из которого в моей дальнейшей жизни и работе я буду черпать жемчужины, собранные в этих скитаниях.

Лев Николаевич вдруг оживился и заговорил увлекаясь, горячо и быстро, иногда не доканчивая фразы; к сожалению, я не в состоянии тогда был все запомнить и потом записать, что он говорил. Вспоминаю теперь только самое главное:

— Мне очень нравятся ваши скитания. Это напоминает скитания немецких юношей, которые во времена Шиллера и Гете надевали на спину котомку и странствовали по Германии, посещая ее старинные города. Генрих Гейне оставил нам чудесные записки о таком своем путешествии по Гарцу. Но за границей, конечно, легче бродить, там не было никаких препятствий. А у нас каждый исправник, каждый урядник может задержать путника, потому что такой интеллигентный бродяга с сумкой сейчас же вызовет у них подозрение: «кто ты и зачем в народ идешь?» А меж-

---

[1] СПТА — Санкт-Петербургское Телеграфное Агентство.

ду тем в таких путешествиях можно изучить по-настоящему родной край и наш народ и полюбить его. Меня давно увлекает мысль покинуть этот уютный дом, привычный уклад жизни, положить в дорожную сумку толстую тетрадь для записей и пару карандашей и отправиться отсюда на восток — миновать Симбирск, Самару, Казань и, перевалив через Урал, пройти всю Сибирь до Тихого океана! Какая масса впечатлений!

Я сказал Льву Николаевичу:

— Отчего бы вам не пойти, в самом деле, на восток, но, может быть, по другому направлению — через Среднюю Азию, Персию, Белуджистан — в загадочную Индию, там навестить Рабиндраната Тагора и мудрых индийских йогов? А дальше через Сиам попасть в многолюдный Китай? Всюду изучать языки и своеобразные обычаи тех народов, через чьи земли вы пройдете?

— Здесь есть опасность, — возразил Лев Николаевич.— Слишком беглое, поверхностное отношение к тем странам и людям, с какими придется встречаться... Можно легко обратиться в обыкновенных «глобтроттеров» [1], которых интересует только выигранное пари и количество пройденных километров. Я таких видел, они даже приходили сюда в Ясную Поляну. Но я не заметил ни у кого из них искания правды, искания лучшей жизни для ближнего... А между тем в таком путешествии вокруг света важно не то, чтобы сделать его в восемьдесят дней, как описывает Жюль Верн, а в том, чтобы...— и обратился ко мне:— Как вы думаете, что важно, что интересно в таком путешествии?

Я несколько растерялся, но затем подумал и ответил:

— Меня в таких скитаниях больше всего интересуют две вещи: встречи с необычайными людьми и беседы с ними. Эти необычайные люди могут быть совсем простыми с виду, незаметными. Кроме того, чарующая особенность таких свободных скитаний еще состоит в том, чтобы на некоторое время прервать их в той местности, какая покажется вам необычайной и привлекательной.

Лев Николаевич приблизил ко мне лицо и пристально вглядывался своими бирюзовыми, близорукими глазами:

— *А я очень хотел бы с вами вместе побродить по Свету!* Каждый день видеть новые пейзажи, беседовать с новыми людьми...

---

[1] Глобтроттер — путешественник, торопливо осматривающий достопримечательности страны (от английского glob — шар, Земной шар и trotter — рысак, бежать рысью).

— В самом деле, Лев Николаевич! Давайте, пойдемте вместе! В пути ваше здоровье окрепнет, и вы будете, как мудрец в Древней Греции, бродить со своим учеником! Никто не узнает вашего имени, ни вашей мудрости. А у нас, на Руси, вас сочтут паломником, идущим ко святым местам...

Наш разговор прервался. Быстро подходил доктор Маковецкий:

— Софья Андреевна беспокоится, что вы слишком долго гуляете по сырой траве. Я, как врач, тоже скажу, что это рискованно и делать не следует. Кофе вас ждет.

Мы возвратились в сад. Под древними липами, на круглом столике стояла сухарница с крендельками и ломтиками белого хлеба, намазанного маслом. Горничная в белом свежевыутюженном переднике принесла на подносе стакан кофе и сливочник.

— А где же кофе для гостя? — сердито спросил Лев Николаевич.— Попросите Софью Андреевну прислать еще стакан!

— Сейчас принесу.

Я заметил, что Софья Андреевна вышла на крыльцо дома и смотрела в мою сторону. Вскоре горничная вернулась, неся на подносе стакан чаю. Он был без сахара.

Некоторое время спустя Софья Андреевна вышла в сад в очень глубоких калошах, подошла и, кивнув мне головой, сказала Льву Николаевичу тоном заботливого участия:

— Оставаться в саду сейчас опасно, слишком сыро. Следует вернуться в комнаты.

Подобрав длинное, пышное, шуршащее платье, она прошла к воротам, посмотрела по сторонам, затем вернулась в дом.

Лев Николаевич допивал свой кофе и молчал. Я понял, что мой визит заканчивался.

— Я вас провожу еще немного,— сказал Лев Николаевич, и мы вместе вышли из сада на большую дорогу.— Да, я с радостью пошел бы с вами вокруг света или хотя бы по России, от Польши до Владивостока. И то — какой масштаб!.. А у меня дела, срочная корректура. Да и здоровье мое неважное. Не могу шагу ступить без доктора.

Мы простились. Я пожал его нервную сухую руку. Он на мгновение задержал мою и как-то грустно сказал:

— А я завидую вам: хорошо быть молодым! И с каким удовольствием я побродил бы по Свету!

Я направился в сторону железнодорожной станции. С опушки леса я оглянулся. Лев Николаевич, опираясь на палку, еще стоял на дороге и смотрел в мою сторону.

Ветер развевал его длинную седую бороду. Несколько мгновений я ожидал, что он махнет мне рукой и позовет обратно...

Но он повернулся и тихо побрел к дому.

И мне тогда показалось, что я потерял навсегда близкого и дорогого учителя и человека. Но я был счастлив тем, что все же своего добился, что я *его* видел, говорил с *ним*.

. . . .

А через несколько лет весь мир был потрясен сообщением о том, что на безвестной до того станции Астапово умирает великий русский писатель граф Лев Николаевич Толстой, в простой крестьянской одежде, с котомкой за плечами и со странническим посохом в руке — ушедший бродить по России...

1907—1938



ГОЛУБЫЕ ДАЛИ АЗИИ



Записки всадника

I. «К ДАЛЕКИМ ГОРИЗОНТАМ»[1]

1. ВПЕРЕДИ — НЕОБЫЧАЙНОЕ!

Еще в 1900 году, будучи в Лондоне, я получил письмо от старшего брата Дмитрия[2] из Китая.

Брат писал, что генерал Суботич[3], у кого он одно время служил, после окончания маньчжурского похода назначен начальником Закаспийской области[4], ищет энергичных сотрудников, и советовал этим случаем воспользоваться: ехать в Азию, указывая, что «будущее России в Азии».

Я решил принять совет брата.

Это решение вызвало далеко идущие последствия, наложившие отпечаток на всю мою жизнь и творчество. Так я из «пешехода» превратился во «всадника»...

Однако отъезд в Среднюю Азию осуществился лишь спустя полтора года после возвращения из Англии. Суботич задержался на Дальнем Востоке, а затем уехал в продолжительный отпуск за границу.

Вернувшись в Россию, я продолжал «скитания» по ней и подготовил к изданию свою первую книжку[5].

---

[1] «Голубые дали Азии» записаны со слов писателя, по его желанию доработаны, дополнены, снабжены примечаниями М. В. Янчевецким; (см. «От составителя» стр. 558).

[2] Д. Г. Янчевецкий (1872—1942) — востоковед, журналист, в ту пору работавший в русских газетах Хабаровска и Порт-Артура.

[3] Деан Йованович Суботич (1852—1920), родом серб, русский генерал, окончил Академию Генерального штаба, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг., служил на Кавказе, затем на Дальнем Востоке, где был начальником Приамурской области и Квантунского полуострова; командовал южноманьчжурским отрядом русских войск в походе из Порт-Артура на Мукден в 1899 г.

[4] Закаспийская область (где ныне Туркменская ССР) входила в образованный в 1886 г. Туркестанский край; там еще были Сырдарьинская, Семиреченская, Ферганская, Самаркандская области, Хивинское ханство и Бухарский эмират; в Ташкенте находился генерал-губернатор Туркестанского края.

[5] В. Янчевецкий. Записки пешехода. Ревель (Таллинн), 1901.

Наконец, узнав из газет, что Суботич перед отъездом в Асхабад[1], к новому месту службы, находится в Петербурге, осенью 1901 года я приехал туда из Ревеля, где жил у своих родителей, но генерала уже не застал.

Меня приветливо приняла генеральша, носившая величественное имя Олимпия Ивановна[2] и обладавшая не менее величественной внешностью. Генеральша сказала, что «они с мужем оба любят Дмитрия Янчевецкого, проделавшего вместе с генералом трудный поход через Маньчжурию, и с удовольствием будут иметь своим сотрудником его брата».

После этого разговора состоялся обмен телеграммами с Суботичем, и тот подтвердил свое согласие на мой приезд в Асхабад.

Еще несколько недель я пробыл в Ревеле, пока наконец получил официальное извещение о своем назначении и «прогонные» на путь следования к месту службы.

На эти деньги я заказал себе форму чиновника канцелярии начальника области и для большей парадности купил в антикварном магазине великолепную шпагу в лакированных ножнах, как мне казалось, украшавшую некоего придворного кавалера эпохи Елизаветы Петровны и побывавшую не на одной дуэли.

На этот раз мои родители были довольны: это все-таки была «служба», а не «бродяжничество», хотя по тем временам где-то «очень далеко» и опасная, в стране «песков и отрубленных голов», как назвал Среднюю Азию один путешественник в своей весьма популярной тогда книге[3].

Вскоре, полный радужных надежд, с легким багажом, фотографическим аппаратом и ящиком масляных красок, я выехал в Азию скорым поездом Петербург — Баку.

Подъезжая к Кавказским горам, я, конечно, воображал себя Печориным, ждал необычайных переживаний и приключений и ощутил первые волнующие минуты, увидев далекие синие ущелья и горцев в черкесках и бурках.

Из Петербурга я выехал в конце декабря 1901 года, в лютый мороз,— в тот год была очень суровая, снежная

---

[1] Асхабад — прежнее название города Ашхабада, столицы Туркменской ССР; основан на месте туркменского поселения в 1881 г. как военное укрепление и центр Закаспийской области.

[2] О. И. Суботич — дочь одного из героев обороны Севастополя в войну 1853—1854 гг., защитника 4-го бастиона, инженер-капитана Бережникова; в Закаспии она много сделала для улучшения здоровья и просвещения туркменского населения, шефствуя над организацией больниц, приютов, школ, библиотек и т. п. в области.

[3] В. Н. Гартевельд. Среди сыпучих песков и отрубленных голов. Путевые очерки Туркестана. М., 1914.

зима, а в Баку было удивительно тепло. Сияло яркое солнце, сильный ветер выплескивал высокие, пенистые волны на песчаный берег, у которого в ожидании пассажиров дымил пароход.

Пароходная линия Баку — Красноводск была очень оживленным путем, и по нему в обоих направлениях двигались суда «Восточного пароходства», «Общества "Кавказ и Меркурий"» и других судовладельцев, занятых перевалкой грузов и перевозкой пассажиров, следующих из Средней Азии на Кавказ, в Россию, и обратно.

Не задерживаясь в Баку, я пересек Каспийское море и на другой день, ранним утром, впервые увидел приближающиеся берега Средней Азии.

Меня поразили необычайно нежные тона песчаных отмелей, пологих гор и моря — светло-розовые и бирюзовые. Близ скалистого берега плыли узкие, длинные, черные рыбачьи лодки, под ромбическими парусами, вовсе не похожие на рыбачьи суда, какие привык я видеть на Балтийском море и у берегов Англии.

Пароход причалил в Красноводске[1], бывшем тогда совсем небольшим поселением с немногими крохотными домами, в которых жили русские военные и чиновники, а также торговцы — персы и армяне.

У лавок стояли, держа в поводу коней, рослые кочевые туркмены в красных полосатых халатах и очень высоких мохнатых папахах, чей бараний мех свисал на глаза. Здесь же были кочевые киргизы, приехавшие за товарами в город на верблюдах с полуострова Мангышлак.

Поезд узкоколейной железной дороги (его вагоны были выкрашены в белый цвет, чтобы отражать солнечные лучи и не перекаляться) медленно повез меня к Асхабаду, мимо очень невысоких гор, называвшихся Большие Балханы.

Стоя на площадке вагона, я то смотрел на лиловые тени гор, то не мог оторвать взгляда от разворачивавшейся с другой стороны поезда бескрайней панорамы желтых барханов пустыни Каракум.

Железная дорога была проложена до Ташкента, хотя переправлялись через Амударью у Чарджуя (Чарджоу) долгое время по деревянному временному мосту, поставленному на деревянных быках[2].

---

[1] Красноводск был основан в 1869 г. кавказскими войсками генерала Столетова как военное укрепление, на месте которого возник город, откуда в 1880 г. началось строительство Закаспийской ж. д.

[2] Этот мост благополучно простоял 14 лет, пока в 1901 г. не был заменен величайшим тогда в России железным мостом, как говорили про него, «в полторы версты длиною».

2. ПАНСИОН МАДАМ ГИТАР

Встретивший меня на вокзале по приезде в Асхабад жизнерадостный человек в черкеске предложил остановиться в «самой лучшей гостинице города» на выбор — «Лондонской», «Центральной», «Петербургской», «Московской», «Пушкинской»... Когда я спросил, нет ли гостиницы поскромнее, он ответил: «О! Конечно! Тогда я вас провожу в «Парижские номера»!..»

Экипаж отвез нас в тихую, залитую солнцем улицу, где медленно проходил караван верблюдов. Крытая веранда тянулась вдоль низкого, выбеленного известью дома, за ним виднелись верхушки тополей и карагачей.

Меня любезно встретила молодящаяся француженка — мадам Ревильон, по прозвищу «мадам Гитар», необъятных размеров, говорившая хриплым, низким голосом на ломаном русском языке. Она никогда не расставалась с папиросой, закушенной в углу рта, и смеялась протодьяконским басом.

Мадам Гитар одно время была маркитанткой в войсках Скобелева, проделала с ним поход от Красноводска до Геок-Тепе и поэтому пользовалась особым благоволением начальства.

У мадам Гитар был пансион, с завтраками и обедами, а за длинным столом в обособленной комнате состоялись и мои первые знакомства со многими русскими холостяками — жителями Асхабада, не имевшими своего домашнего очага, обменивавшимися здесь новостями.

Мадам Гитар была отличной поварихой, угощавшей блюдами, особенно ценимыми «белым генералом». Она подторговывала вином, знала в нем толк, и у нее всегда можно было получить любимый напиток Скобелева — портер, смешанный с шампанским, половина на половину, пили его стаканами.

Кроме мадам Гитар в Асхабаде жили еще три француженки.

Мадам Рено, тоже скобелевская маркитантка, держала «Французские номера». Маленькая, сухонькая, очень аккуратная, мадам Рено ненавидела мадам Гитар, свою соперницу по славе и конкурентку по коммерции. Мадам Рено разводила великолепные цветы, а постоянными покупателями были офицеры гарнизона, подносившие букеты своим командиршам и дамам сердца.

Две другие француженки, молодые Люси и Мари, держали на главной улице города «Французскую кондитерскую».

Люси, крупная пышная блондинка, была прочно абонирована начальником Управления государственных имуществ, старым штатским генералом.

Миниатюрная хохотунья Мари имела покровителем крайне ревнивого молодого армянина Аванесова, владельца магазина скобяных изделий, помещавшегося в том же доме, что и кондитерская. Иногда Аванесов внезапно входил в кондитерскую, угрожающе прочищая шомполом большой старинный револьвер, когда слышал через стенку, как Мари, по его мнению, слишком долго и свободно разговаривала с каким-нибудь юным поручиком или усатым казачьим хорунжим.

Я занял в «Парижских номерах» маленькую комнатку, имевшую две двери, одна выходила на улицу, другая вела во внутренний двор и сад при гостинице, что было очень удобным.

Однако в самом скором времени пришлось покинуть мадам Гитар. Хотя она угощала превосходной французской кухней, но одновременно предъявляла непомерные счета, бывшие мне не по средствам.

В большинстве русских семей, как военных, так и чиновничьих, вначале я был принят приветливо, стал изредка бывать в Военном собрании и Клубе велосипедистов — сугубо штатском заведении, где устраивались танцы и веселые маскарады с интригами и неожиданными знакомствами.

Но большей частью я все же держался замкнуто и настороженно, опасаясь, чтобы меня не опутали женские чары и ласковые мамаши взрослых дочерей на выданье.

Меня манили бирюзовые дали, таинственные персидские горы, мечты о скитаниях по Азии. «Семья, дети — все это еще придет,— думал я,— женитьба теперь выбьет меня из колеи намеченного плана путешествий, и я стану чиновником, сидящим за столом с пачками срочных бумаг или архивных дел... Нет, нет! Какими угодно путями, но я добьюсь поездки в Персию, загадочный Афганистан, сказочную Индию!..»

3. ГОРОДОК-КРЕПОСТЬ

Ко времени моего прибытия в Среднюю Азию город Асхабад, расположенный невдалеке от персидской границы, еще продолжал считаться «военным укреплением» и имел военную администрацию, хотя прошло двадцать лет с той поры, когда здесь продвигались войска генерала Скобелева.

Это был маленький чистенький городок, состоявший из множества глиняных домиков, окруженных фруктовыми садами, с прямыми улицами, распланированными рукою военного инженера, обсаженными стройными тополями, каштанами и белой акацией.

Тротуаров, в современном понятии, не было, а вдоль улиц, отделяя проезжую часть от пешеходных дорожек, журчали арыки, прозрачная вода стекала в них с гор, находившихся неподалеку и, казалось, нависавших над городом.

По другую сторону городка простиралась беспредельная пустыня.

Городок был одноэтажный. После нескольких землетрясений было запрещено строить иные здания, кроме одноэтажных самого легкого типа, и единственным двухэтажным зданием был городской музей.

Городок просыпался и засыпал по сигналам, доносившимся из крепости. На рассвете и на закате солнца в тихом воздухе слышались звуки трубы, игравшей зорю, и протяжные голоса солдат, певших утреннюю и вечернюю молитвы.

Население городка было невелико[1]. Русская его часть главным образом состояла из военнослужащих и чиновников с их семьями. Обыкновенно каждая русская семья покупала или же, чаще, строила себе одноэтажный домик, окруженный небольшим садом.

Всякий желавший надолго обосноваться в Асхабаде просил о предоставлении ему земельного участка, выдававшегося из числа нарезаемых в направлении селения Кеши, и обычно получал также ссуду на постройку. Я тоже подавал прошение об отводе участка, но обстоятельства в дальнейшем сложились так, что обзавестить своим домиком не пришлось.

Кроме русских в городе проживали армяне и кавказские татары, азербайджанцы, державшиеся обособленно. Совсем замкнуто жили персидские семьи. Иногда по улицам проходили персиянки в просторных черных балахонах, с закрытыми белым покрывалом лицами и в широчайших черных шароварах.

Туркмены обитали вне города в своих кочевьях. Немногочисленные группы их войлочных кибиток иногда появлялись вблизи окраины. Значительной частью русского обще-

---

[1] Тогда в Асхабаде проживало 36 486 чел., из них — русских 10 700, персов 11 200, армян, кавказских татар и прочих национальностей 14 586 чел (газета «Асхабад», 1903, № 98).

ства туркменский народ в то время еще считался кочевым, диким народом, и он находился под двойным гнетом: своих феодалов — ханов и царских наместников.

Первые осуществляли управление бедными слоями туркменского народа, преимущественно чабанами (пастухами), на основе многовековых родовых отношений, исстари сложившихся в многочисленных отдельных родах и племенах. Вторые держали в руках всю законодательную и административную власть.

Для русского чиновного населения Асхабада жизнь не была тяжелой. Все получали полуторное жалованье, так как считалось, что они живут и служат в военном поселении на границе, а расходовать деньги было некуда, да и жизнь была дешевой.

В городе было несколько усиленно посещавшихся частью «общества» пивных и садов-ресторанов, с их пьяными драками, тайных и явных публичных домов и притонов — курилен териака (опиума); случались грабежи купеческих лавок, насилия и убийства по ночам.

Для развлечения этой части «общества», ищущей, как убить время, чтобы спастись от провинциальной скуки, устраивались представления передвижного цирка с девицами — укротительницами тигров, «Парад фаэтонов и дилижансов», осмотры «Столичного музея восковых фигур», слушание «говорящих людей-автоматов» и тому подобные зрелища.

С мая по сентябрь, спасаясь от убийственной жары, все это «общество» уезжало на лето в Фирюзинское ущелье (в Копетдагских горах), где было попрохладнее. Туда же на это время переезжала и канцелярия начальника области.

В оставшиеся периоды года — развлекались, посещая музыкально-танцевальные вечера в Клубе велосипедистов, костюмированные балы в Военном собрании, благотворительные вечера в Народном доме, скачки на ипподроме Скакового общества и сеансы недавно появившегося синематографа Люмьера.

Любимым развлечением асхабадцев по вечерам, когда спадала жара, была прогулка за город по Гауданскому шоссе, ведущему в Персию. Наемные фаэтоны, запряженные парами бешеных коней, блестя никелированными спицами колес, на резиновых дутых шинах (высший шик!), с кучерами-азербайджанцами, сидевшими на козлах в белых парусиновых кафтанах, обгоняя друг друга, везли разряженных жен офицеров и чиновников.

Наиболее эффектные дамы мчались в собственных экипажах. Среди них выделялись юные красавицы — княгиня

Дударева, жена генерала, командира артиллерийской бригады, и Успенская, жена директора банка, прекрасная пианистка.

Рядом или отдельными кавалькадами гарцевали верхом молодые офицеры и чиновники в белых кителях и фуражках, также стремясь обскакать друг друга.

4. «СТАРЫЕ ЗАКАСПИЙЦЫ»

Но было в городе и другое русское общество, с иными интересами, тоже из военных или чиновников, основавшее Закаспийский кружок любителей археологии, Общество исследователей Закаспия, Общество востоковедения, городскую библиотеку и музей. Эти люди преподавали, лечили, строили, изучали Туркмению, ее язык, фольклор, литературу, искусство, архитектуру и историю древнего туркменского народа.

Ими устраивались народные чтения о путешествиях по Востоку и о прошлом Туркмении, об открытии Х-луча Рентгена и о будущем развитии нефтяных богатств острова Челекен. Они отмечали Гоголевские и Пушкинские дни, посещали концерты и спектакли заезжих музыкантов и артистов, спорили о новых пьесах Чехова и Горького, обсуждали творчество Льва Толстого и туркменских поэтов Кемине, Молланепеса, Махтумкули. Они же участвовали в зарождавшемся революционном движении Закаспия.

Русские старожилы, обосновавшиеся в Туркмении, называли себя «старыми закаспийцами», в отличие от «старых туркестанцев», как именовали себя русские старожилы Ташкента, Самарканда и других городов восточной части русской Средней Азии.

Первыми русскими поселенцами в Туркмении были отставные военные и чиновники с их семьями. Затем появились люди торговой и промышленной профессий, исследователи края — представители естественных, географических и исторических наук, инженеры, врачи, учителя.

С окончанием строительства Среднеазиатской железной дороги приехало и осело в городах Туркмении много рабочего и мастерового люда, а кое-где появились русские переселенцы-крестьяне.

Эти русские люди, непосредственно общавшиеся с туркменами, коренным населением Закаспия, явились носителями более передовой, по сравнению с тем, что здесь было, русской культуры. Они искренне полюбили Туркмению и Среднюю Азию, жили общими интересами, породнились

с населявшими ее народами и проделали незаметную, но великую работу по сближению с русским и другими народами России всех национальностей ее бывших «среднеазиатских владений».

Таких замечательных «старых закаспийцев и туркестанцев» в Средней Азии немало. Один из типичных — Александр Александрович Семенов[1], чья судьба — пример многих его современников, посвятивших свою жизнь сперва русской, а потом советской Средней Азии.

Мы познакомились с А. А. Семеновым, когда я только что прибыл в Асхабад, а он служил в канцелярии начальника области секретарем статистической части, и быстро подружились.

Будучи незадолго перед тем студентом Лазаревского института восточных языков, Семенов участвовал от Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете в экспедиции графа А. А. Бобринского в Восточную Бухару.

Из этой экспедиции Семенов вывез большой этнографический и фольклорно-лингвистический материал, обработал его и опубликовал в трех томах, где очень живо описал эту поездку, разговоры, поговорки и сказки горных таджиков. За это сочинение он получил золотую медаль Общества.

Об А. А. Семенове я рассказал генералу Суботичу; тот крайне удивился, что ничего о нем не знает, и помог его продвинуть по служебной линии.

В советское время А. А. Семенов стал членом двух среднеазиатских академий, профессором двух среднеазиатских университетов, директором двух научных среднеазиатских институтов.

Мы встретились с А. А. Семеновым вновь — через сорок лет! — в 1942—1944 годах в Ташкенте. Неузнаваемо изменилась советская Средняя Азия, изменились и мы оба. Но Александр Александрович оставался таким же кипящим энергией, полным юношеской неукротимой силой духа исследователем, влюбленным в жизнь народов Средней Азии, делу просвещения которых он отдал все свои силы замечательного русского человека, ученого и гражданина.

---

[1] А. А. Семенов (1873—1958) — выдающийся исследователь Средней Азии, советский историк, филолог, этнограф, академик АН Таджикской ССР, член-корреспондент АН Узбекской ССР, был директором Института истории, археологии, этнографии АН Таджикской ССР. Умер и похоронен в Душанбе.

Тогда же в Асхабаде я подружился с другим старым закаспийцем, дипломатическим чиновником Андреем Дмитриевичем Калмыковым. Нас сблизила общая любовь к Востоку.

Калмыков, ориенталист по образованию, написал несколько интересных специальных исследований о Средней Азии. Он продолжал ее изучать и в дальнейшем, хотя судьба дипломатического чиновника и бросала его с одного места на другое.

Так, спустя десятилетие, я вновь встретился с Калмыковым в Турции, где в ту пору он был русским консулом в Бейруте.

Старожил Асхабада Алексей Михайлович Дуплицкий, чиновник, заведовавший судной частью при начальнике области, старик, сопровождал Скобелева в походах по Средней Азии. Дуплицкий имел чин действительного статского советника, и к нему, как штатскому генералу, обращались с титулом «ваше превосходительство».

Но у Дуплицкого была очень молодая жена, к тому же еврейка, да еще и невенчанная. Кроме того, ее брат был местным фотографом, а эта профессия тогда считалась «недостаточно корректной». Поэтому жена Дуплицкого не была принята в асхабадском «обществе», и вместе они не могли появляться на официальных приемах, что было типично для местных нравов тех лет.

Колоритной фигурой в Асхабаде был довольно известный тогда журналист и писатель Юрий Кази-бек, публиковавший живые, бойкие, злободневные фельетоны под псевдонимом «Ивернели».

Им написано много очерков и рассказов из жизни народов Северного Кавказа и Средней Азии, напечатанных в журналах «Нива», «Природа и люди», других периодических изданиях. Кази-бек был его псевдоним, под которым он жил, скрывая настоящую фамилию.

Кази-бек всегда ходил в черкеске с газырями и большим кинжалом у пояса, носил дымчатое пенсне, скрывавшее за стеклами его беспокойный взгляд. Много испытавший, необычайно остроумный, он неожиданно исчез из Асхабада, как говорили, потому, что им заинтересовалась полиция. Позднее, мне рассказывали, Кази-бек оказался в Персии.

Там он пришел к губернатору города Мешхеда[1] и заявил, что он русский, хочет служить на персидской службе

---

[1] «Священный» для мусульман город Мешхед находится в Северном Иране, недалеко от советско-иранской границы.

и принять мусульманство. Персы восхитились, узнав, что наконец нашелся «русский писатель, пожелавший стать верным слугой шаха персидского». Но когда потребовалось совершить обряд обрезания и старые ишаны готовы были приступить к этой священной для мусульман процедуре, Кази-бека нигде найти не смогли.

Оказалось, что Кази-бек рассчитывал обойтись без этой процедуры по простой причине — она ему была не нужна; когда ишаны узнали, что Кази-бек — ягуди (еврей), то заявили, что он, обманув их, тем самым совершил величайшее святотатство, проникнув в запретную зону древнего, священного для мусульман города. За Кази-беком погналась толпа фанатичных персов, и дальнейшая его судьба осталась неизвестной...

Если учесть, что в ту пору среди государств Средней Азии евреи повсеместно жили в крайне униженном положении (они не смели ездить на лошади, в знак своего рабского состояния должны были опоясываться веревками), становится понятной отчаянная дерзость Кази-бека и ярость ишанов.

5. КАПИТАН ЙОМУДСКИЙ И МЕРГЕН-АГА

Интересное знакомство было у меня с большим знатоком Туркмении капитаном Н. Йомудским, рассказывавшим о своих предках, туркменских вождях и ханах, автором нескольких изданных на русском языке книг о прошлом туркменского народа. Йомудский не мог смириться с приниженным положением своей родины и мечтал о том времени, когда Туркмения расцветет, станет свободной.

У него были свои причудливые фантазии. Как-то в совместной поездке верхом Йомудский вывел меня на вершину отрога огромной скалы, возвышавшейся над песками, откуда открывался далекий вид в глубь пустыни, и сказал, что «из этой скалы нужно высечь фигуру наподобие египетского сфинкса, лежащую и приподымающуюся. Она будет символизировать спящую и пробуждающуюся Туркмению, глядящую на запад...».

Конечно, капитан хан Йомудский представлял себе Туркмению свободной лишь в привычных ему патриархальных общественных формах, ему не могло и присниться, чем стала его родина через два-три десятилетия.

Вскоре меня познакомили еще с одним «старым закаспийцем», подполковником Малахием Клавдиевичем Марга-

ния, родом с Кавказа, из-под Сухуми, возможно абхазцем, влюбленным в туркменский народ; туркмены прозвали его «Мерген-Ага» (охотник-начальник).

В молодости он служил солдатом в отряде Скобелева и отличился в знаменитой битве при Кушке[1], за что получил офицерский чин и Георгиевский крест. Теперь он был полным георгиевским кавалером — его грудь украшали солдатские и офицерские Георгиевские кресты.

Маргания — Мерген-Ага — командовал одним из кавалерийских туркменских дивизионов. Он заботился о породе, красоте, подборе масти коней своих джигитов, и на парадах его дивизион отличался особой лихостью и выправкой. Все офицеры дивизиона были туркмены.

До Маргания командиром дивизиона был кавказский князь Алиханов-Аварский, тоже выслужившийся из рядовых и разжалованный в рядовые за убийство офицера на дуэли. Алиханов-Аварский был восстановлен в правах во время Восточной войны[2] за отчаянную храбрость.

В битве при Кушке Алиханов-Аварский командовал тем туркменским дивизионом, который был составлен из всадников, недавно дравшихся против Скобелева под Геок-Тепе. Как известно, после победы при Геок-Тепе Скобелев предложил всем лихим туркменским воинам перейти на службу России и этим положил основание созданию туркменских дивизионов.

Даже англичане, стоявшие за спиной афганцев в кушкинской авантюре, в описании битвы при Кушке отмечают необычайную смелость туркменских всадников, неудержимой лавиной атаковавших противника, превосходившего их численностью более чем в десять раз[3].

Мерген-Ага свободно говорил по-туркменски и по-персидски. При пограничных иницидентах его всегда посылали вести дипломатические переговоры с заграничными (персидскими), туркменскими ханами, выполняя директивы начальника области.

Жил он в прекрасно устроенном доме с большим садом, со многими комнатами, убранными, как тогда говорили, «по-восточному», где можно было сидеть, подвернув ноги

[1] Битва при Кушке — 18 марта 1885 г.; руководимый и подстрекаемый английскими офицерами отряд афганских войск вторгся в Пендинский оазис недалеко от Мерва (Мары), был наголову разбит русским отрядом генерала Комарова, бежал, бросив знамена, орудия и имущество.

[2] Восточная война — Крымская война России с коалицией западноевропейских держав и Турции (1853—1856).

[3] Об этом подвиге пишет английский капитан Етт в книге «Россия и Англия лицом к лицу».

под себя, на коврах, опираясь на подушки. Угощение тоже подавалось на восточный манер — в маленьких чашечках-пиалах, на подносах, без европейских приборов. Здесь всегда можно было встретить останавливавшихся погостить туркмен, приехавших в Асхабад по своим делам.

Про Маргания говорили, что он тайно принял мусульманство.

Мерген-Ага вел очень замкнутую жизнь, почти не бывая среди русского общества, и говорил мне, что никогда не ухаживал за русскими красавицами. «Нет никого прекраснее туркменки!..» Действительно, женщин он как будто не замечал, даже самые эффектные и пылкие красавицы Асхабада были бессильны сделать его своим поклонником.

Но у Маргания была тайная любовь, о которой мало кто знал,— богатая вдова-туркменка, жившая самостоятельно, имевшая в степи свой аул, лошадей, скот. Иногда Малахий Клавдиевич исчезал из Асхабада, обычно уезжая на охоту в горы Копетдага, и во время этих поездок тайно посещал одинокое туркменское кочевье.

Эти посещения были большой редкостью, так как вдова, видимо, отличалась свободолюбивым и беспокойным характером, постоянно кочевала по Каракумам, лишь изредка разбивая свою кибитку вблизи Асхабада.

Носивший небольшую черную бороду, стриженную лопаточкой, стройный, высокий, с некоторой полнотой, но очень гибкий, зимой в черной, а летом в белой черкеске с серебряными газырями, Маргания умел держаться со всеми, в том числе с начальниками, с величественным и в то же время вежливым достоинством, а со своими немногочисленными друзьями был прост и сердечен.

Мерген-Ага был замечательным знатоком лошадей, и особенно кровных туркменских пород, славнейших родов и разных мастей. Иногда он проезжал через город на любимом гнедом жеребце, способном легко нести богатырское семипудовое тело седока, а сзади ехали конюхи, ведя в поводу еще двух жеребцов — золотисто-канареечной масти и вороного.

Мы с ним сдружились после того, как Мерген-Ага увидел, что я полюбил Среднюю Азию и мечтаю приобрести туркменского жеребца.

Когда я приехал в этот казавшийся мне сказочным городок-крепость на границе пустыни и диких гор, то долго чувствовал себя как в стране, похожей на мир из романов Фенимора Купера и Майн Рида. И первое, о чем я страстно мечтал,— это иметь дивного верхового коня, самому ухаживать за ним и странствовать на нем в далеких поездках по пустыням и горным ущельям.

Но Мерген-Ага говорил мне: «Не торопись покупать коня. Конь — как родной брат и даже больше. Подожди, я найду тебе первейшего жеребца, золотисто-рыжего или вороного, какой тебе понравится, с широкой грудью, от породистой крови йомуда или поджарого ахалтекинца. Ко мне скоро приедут мои друзья из туркменских кочевий, и я найду тебе коня».

Мерген-Ага сдержал свое слово. С его помощью вскоре я приобрел текинца — золотисто-рыжего Ит-Алмаза (конь-алмаз). А после того — великолепного Моро, чистокровного вороного йомуда. И впоследствии Мерген-Ага не один раз оказывал мне свою помощь и покровительствовал, выручал из затруднительных положений.

В Асхабаде тогда печатались две конкурировавшие русские газеты. «Асхабад», либеральная газета, бывшая не в ладах с цензурой, издавалась капитаном артиллерии в отставке З. Д. Джавровым. Про «Асхабад» говорили, что это издание поддерживается из-за рубежа социалистами-революционерами эмигрантами.

Другая газета-полуофициоз «Закаспийское обозрение» издавалась К. М. Федоровым, местным старожилом, автором нескольких книг о Средней Азии, считавшим себя непогрешимым знатоком Закаспия. В ней печатались все официальные приказы и казенные объявления, составлявшие самую доходную статью ее бюджета.

В частных разговорах Федоров намекал на то, что в студенческие годы он был секретарем у Н. Г. Чернышевского, за это побывал в ссылке и потому оказался в Асхабаде.

Сразу по прибытии я стал изучать Среднюю Азию, Туркмению и сопредельные страны и писать о них свои впечатления, очерки, статьи, рассказы, печатаясь в обеих местных газетах, а также в петербургской печати.

«Асхабад» обычно охотно печатал меня, зато «Закаспийское обозрение» вначале тоже печатало, но вскоре приревновало к «Асхабаду» и, почувствовав угрозу авторитету Федорова, не только не печатало, но даже порою преследовало меня злобными заметками.

Посещал я городские библиотеку и музей, собрания членов обществ востоковедения и археологии, исследования Закаспийского края и другие собрания, но особенно я пытался завести дружбу с туркменами — аборигенами страны, изучал туркменский язык, а бывая в туркменских кочевьях, беседовал с их жителями.

II. «ЗАКАСПИЙСКАЯ ОКРАИНА»

1. «ГЕНЕРАЛ-РАКЕТА»

Начальника Закаспийской области и командира Второго туркестанского корпуса, генерального штаба генерал-лейтенанта Деана Суботича сослуживцы прозвали «генерал-ракета», настолько он был вспыльчив и стремителен во всех своих действиях.

Суботич внезапно выезжал на ревизии и был беспощаден в наказаниях и взысканиях за факты притеснения населения, налагаемых им на провинившихся приставов и всяческих других начальников — любителей поживиться, получая «подарки» от подчиненных и зависимых от них.

Генерал был очень подвижный, худощавый, пятидесятилетний красавец небольшого роста с совершенно седой головой, черной бородой и огненными глазами[1].

Утром следующего дня по прибытии я надел мундир, прицепил шпагу и отправился представляться Суботичу. Одноэтажный выбеленный дом, где находилась канцелярия начальника области, отличался от других домов Асхабада только более внушительной архитектурой, размерами да тем, что перед зданием, в сквере, возвышался памятник русским воинам, павшим при взятии крепости Геок-Тепе.

Пройдя мимо стоявших у входа казаков-часовых, я попал в приемную, где генерала уже ожидало много посетителей, почти все были офицеры или военные чиновники. Обаятельный личный адъютант, неизменный спутник генерала во всех его походах ротмистр Штапельберг, встретил меня очень дружески, и наши совершенно товарищеские отношения впоследствии продолжались много лет.

Суботич вскоре вышел из своего кабинета и поочередно

---

[1] Отец начальника области — Йован Суботич (1817—1886), воспитавший своего сына русофилом, известный сербский общественный деятель русской ориентации, писатель и издатель, печатавший все свои издания русским шрифтом кириллицей, был непримиримым врагом всесильных тогда австрийцев и германофилов, одним из самых достойных патриотов сербского народа; его бронзовый бюст ныне установлен в белградском историческом парке Калемегдан.

Уместно напомнить, что Австрия, получившая после русско-турецкой войны 1877—1878 годов Боснию и Герцеговину, на которые не имела никаких прав, но заявившая, что будет «заботиться о культурном развитии героических сербов», ввела там повсеместно для всех печатных изданий латинский шрифт, желая и этим оторвать сербов от стремления к сближению с Россией, давшей ей свободу, избавив от многовекового турецкого ига.

поздоровался за руку с каждым его ожидавшим. Все официально рапортовали, представляясь. Затем некоторых генерал отпустил, а других по одному принимал в кабинете.

Когда подошла моя очередь, генерал посмотрел на меня в упор черными, живыми, проницательными глазами, потрепал по плечу и увел к себе.

В его кабинете меня поразила огромная китайская фарфоровая ваза, в полтора человеческих роста высотой, привезенная им из императорского дворца в Пекине или из Мукдена как памятный трофей.

Суботич сказал мне: «У меня был чиновник-переводчик, знавший отлично иностранные и восточные языки. Теперь он, по-видимому, умирает... Я хотел бы, чтобы вы так же, как он, изучили восточные языки, в первую очередь туркменский язык, и сопровождали меня в поездках. На днях мы отправляемся в объезд Закаспийской области. Вы поедете со мною.

От вашего брата я знаю, что вы любите литературу. Изучите не только восточные языки, но также загадочную душу народов Востока и создайте произведения, где раскройте этот непонятный большинству европейцев мир Востока...

Не тратьте времени даром, оно пролетает быстро. Здесь обыкновенно молодежь безрассудно расходует время, спивается от скуки и уезжает с опустошенными душой и карманом!.. Я дам вам возможность поездок по краю, и работы для вас будет много... Олимпия Ивановна приглашает вас позавтракать вместе с нами. Мы послушаем ваши английские впечатления...»

Когда мы завтракали, Олимпия Ивановна поинтересовалась тем, как я доехал и устроился в городе, советовала перебраться в отдельный маленький домик с садиком при нем, из тех, что сдавались довольно свободно и дешево правительством для чиновников канцелярии начальника области; вскоре я так и поступил.

2. «БЕЛАЯ СМЕРТЬ»

В начале марта 1902 года генерал Суботич с группой сотрудников своей канцелярии выехал в инспекционную поездку на побережье Каспийского моря, и я сопровождал его. Наш путь лежал вначале в Красноводск, а оттуда на остров Челекен и другие острова, где строились нефтяные промыслы обществ «Братья Нобели» и Каткова.

Эта поездка была вызвана жалобами прибрежных про-

каженных туркмен на то, что, хотя им были обещаны лечение и питание, о них забыли и они умирают от голода и болезни. Нефтепромышленники также просили заняться судьбой прокаженных, так как завербованные рабочие и технический персонал промыслов, едва узнавали о близости прокаженных, бросали работу и бежали из боязни заразиться и погибнуть ужасной «белой смертью».

А это мешало нормальной работе промыслов, приносило убытки, и Нобели обещали большие деньги на устройство лепрозориев, лишь бы избавиться от прокаженных.

Инспектирующих вез принадлежавший Нобелям большой грузо-пассажирский пароход, черный, с высокой белой трубой, носивший возвышенное, но мало к нему подходящее наименование — фамилию великого голландского мыслителя и скромного гранильщика стекол «Спиноза». На берег съезжали сопровождавшим паровым катером «Меридиан».

На Челекене, где уже вырос лес ажурных нефтяных вышек, была устроена пышная встреча Суботичу. Представители от населения острова и администрация нефтепромыслов поднесли ему хлеб-соль, после чего все инспектировавшие и сопровождавшие отправились в экипажах и верхами на осмотр нефтяных сооружений.

Серые облака, изредка моросившие мелким дождем, низко повисли над однобразной песчаной равниной, кое-где поросшей колючей сухой травой, поблескивавшей солончаковыми болотцами и испещренной бурыми пятнами просочившейся нефти.

Контрастом этой суровой местности были сопровождавшие вереницу экипажей и верховых лихие всадники-туркмены в ярких красных халатах и черных папахах, они джигитовали и гонялись друг за другом, вырывая большие красные платки.

С нефтепромыслов Суботич проехал в северный аул Корт-Яга, а затем в южный большой аул Кара-Гель, где население промышляло ломкой соли, рыбной ловлей, добычей нефти и горного воска. Аул этот торговал с Персией, где прокаженные были обычным явлением, пользовались полной свободой и бродили по стране или сидели на улицах, выпрашивая себе подаяние. Поэтому вследствие постоянных сношений с Персией и по наследственным причинам в ауле Кара-Гель были прокаженные.

Дорога к аулу шла сыпучими песками, пока не показалась голубая полоса моря. Направо уходила вереница нефтяных вышек, а вдоль берега тянулась цепочка туркменских кибиток. Здесь тоже была подготовлена торжественная встреча.

Путь, сажен на сто, был выстлан коврами, а поверх них раскатана дорожка из белой кошмы, расшитая пестрым цветным туркменским орнаментом.

Толпа туркмен ожидала на окраине аула. Впереди стояли старики — аксакалы — в дорогих парчовых «наградных» халатах, с медалями, держали хлеб-соль. Из-за кибиток, закрывая лица платками, выглядывали смуглые туркменки в длинных, до пят, красных одеждах, увешанные серебряными монистами, с браслетами на запястьях, придерживавшие любопытных гололобых ребятишек.

Туркмены окружили Суботича и говорили с ним о своих нуждах через переводчика Эфендиева. Предложение увезти прокаженных в другое место вызвало протест их родственников, заявивших, что «теперь несчастные видят родной аул, слышат голоса своих близких, им легче переносить болезнь. А на отдаленном острове, не видя своих близких, они умрут от горя и будут для нас как уже умершие...».

Суботич прошел к кибитке, где жили прокаженные. Метрах в ста от аула, среди чистого поля, уединенно стояла старая, грязная, покривившаяся кибитка нищенского и нежилого вида. Из нее вышел угрюмый молодой туркмен. Одет он был так же, как его соплеменники по аулу, но в чертах лица его было нечто ужасное: без ресниц и бровей, с толстыми опухолями на лбу, распухшим носом, синеватой, покрытой волдырями кожей. Он окинул нас безжизненным погасшим взором и отвернулся.

За ним вышла старая туркменка, его мать. Генерал Суботич говорил с нею, и мать просила не удалять ее сына на остров прокаженных и сама отказалась туда ехать. Сын и слова не сказал.

С острова Челекен Суботич проехал на остров Огурчинский, куда были собраны большинство прокаженных Закаспия, и посетил другие острова, где они жили. Деан Йованович и там лично обошел поселения прокаженных, беседовал с ними.

В этой поездке медицинские пояснения давал военный врач, впоследствии известный профессор Московского университета Н. В. Богоявленский, изучавший проказу, много сделавший для улучшения положения несчастных больных туркмен, прозванный за это в Закаспии «другом прокаженных».

Больных проказой было много. Меня поразили эти живые трупы, многие калеки, ползавшие на четвереньках — ступни уже отвалились, иные без кистей рук... Больные мужчины и женщины продолжали состоять в браке,

имели маленьких детей, больных от рождения, продолжавших жить у родителей.

Для облегчения участи прокаженных и для их изоляции были найдены, с помощью занимавшихся геологическими изысканиями горного инженера Маевского и геолога Иванова, острова, подходящие к устройству лепрозориев.

Олимпия Ивановна, бывшая председателем Общества Красного Креста в Закаспии, организовала по области сбор средств в помощь прокаженным. В Асхабаде, Мерве, некоторых других городах были устроены благотворительные спектакли и базары, чистый сбор шел в пользу больных и на устройство лепрозориев.

На собранные деньги закупили и отправили больным для бесплатной раздачи одежду, белье, посуду и продукты, а выдачу медикаментов и лечение организовали через красноводского уездного врача, сообщившего позже об организации нескольких лепрозориев и некотором улучшении жизни больных «белой смертью».

3. ВДОЛЬ ПЕРСИДСКОЙ ГРАНИЦЫ

С острова Огурчинского генерал Суботич на «Спинозе» проехал к персидской границе, в пограничный городок Чикишляр, маленький, более похожий на военное поселение. Возле него находились крупные рыбные промыслы миллионера Лианозова.

В Чикишляре Суботич разнес начальника отряда местной пограничной стражи за то, что у того пушки стояли не на месте — в лощине — и плохо была организована круговая оборона отряда. Генерал сказал, что пушки должны обстреливать местность, а не прятаться (это были легкие полевые орудия), и показал на примере, как организовать круговую оборону.

Затем Суботич поехал вдоль границы, частью в экипаже, а иногда верхом, в сопровождении начальника пограничной стражи, по военной дороге, построенной еще во времена Скобелева.

В одном месте, на самой границе с Персией, Суботича встретила небольшая группа туркменских всадников. Они сошли с коней и выразили восточный «салям» русскому «ярым-падишаху» (полуцарь).

Это был, со своими телохранителями, знаменитый глава пограничного туркменского племени Сатлык-хан, постоянно живший в Персии, известный своими набегами на туркмен, живших в русском Закаспии, и похищением плен-

ных, которых он держал в цепях, заставлял копать арыки для орошения полей туркмен его племени, живших в Персии, занимаясь земледелием.

В разговоре с Сатлык-ханом Суботич держался довольно приветливо, но все сопровождавшие генерала ожидали каких-то внезапных, каверзных, враждебных действий от известного своей хитростью Сатлык-хана, чьи спутники, по-видимому, скрывались невдалеке за холмами. Генерала Суботича конвоировал небольшой конный отряд — всего десять — двенадцать казаков.

Сатлык-хан, высокий, худощавый туркмен с очень тонкой талией, гибкий и порывистый в движениях, просил, чтобы его не считали врагом «белого царя», и сказал, что прибыл нарочно, дабы выразить почтение его генералу и просить защиты для персидских туркмен от притеснений персов...

Суботич обещал рассмотреть эту просьбу Сатлык-хана и позже отправил в Персию комиссию, поручив выяснить какие-то претензии персидских туркмен.

После этой встречи генерал с конвоем поехал далее вдоль границы, а мы с возничим-солдатом следовали за ними в маленькой тележке, и мы отстали.

Дорога вилась берегом речки, делая много поворотов, поэтому часть пути я шел, сокращая путь напрямик, пересекая изгибы берега. В одном месте, на лужайке, поросшей мелкими кустами, среди обломков камней и щебня, внезапно я увидел — шагах в десяти впереди себя — огромную змею, в рост человека, поднявшуюся на хвост, шипевшую, раздувая шейные мешки, выбрасывая тонкий язык.

Я остановился и замер, окаменев и думая, что моя красивая шпага едва ли поможет в схватке с гигантской ядовитой коброй... Так я стоял неподвижно, следуя своему правилу, говорившему, что иногда спокойная нерешительность — высшее проявление мужества.

Через несколько минут, показавшихся мне часами, змея упала с легким шумом, похожим на звук падения каната, затем быстро отползла в сторону. Раза три она внезапно поднималась из высокой травы и камней, замирала следя, не делаю ли я каких-либо движений, затем уползла и скрылась...

Вскоре мы нагнали Суботича, и дальше я ехал вместе с отрядом. Вернулись мы через Кызыл-Арват, пробыв в пути около двух недель.

Некоторое время спустя генерал Суботич сказал мне: «Когда вы рассказывали про свою встречу со змеей, я подумал, не является ли этот рассказ плодом вашего поэтиче-

ского воображения?.. Но сегодня я получил донесение с пограничного поста неподалеку от того места, где вы тогда были... Пограничники убили колоссальную кобру длиной в сажень! Ее шкуру мы вскоре увидим в асхабадском городском музее...».

Написанные мною тогда «Путевые заметки во время поездки начальника Закаспийской области 9—19 марта 1902 года», повествующие о маршруте поездки, многочисленных просьбах населения по пути следования и сделанных в связи с этим генералом Суботичем необходимых распоряжениях, напечатали асхабадские газеты.

Одновременно свои первые корреспонденции о Туркмении я послал в петербургскую печать и в «Ревельские известия» своему отцу.

4. СЦЕНЫ АСХАБАДСКОЙ ЖИЗНИ

Вскоре после первой поездки с генералом Суботичем, когда я еще жил в пансионе мадам Гитар, со мною произошло несколько событий, характерных для нравов асхабадского общества того времени.

Однажды ночью я проснулся от неистового стука в дверь. Затем в комнату ворвались трое молодых армян. В одном из них, державшем в руке огромный револьвер, я узнал владельца оружейного магазина Аванесова. Двое других, мне незнакомые, обежали комнату, заглядывая в углы, стали шарить под кроватью и в шкафу. «Никого нет!..» — сообщили они Аванесову трагическим шепотом.

Оказалось, что Аванесов ищет по всему городу сбежавшую от него француженку Мари и заподозрил ее присутствие здесь, «у молодого приезжего холостяка».

В порядке извинения и в знак примирения Аванесов подарил мне свой револьвер, и этот «смит-и-вессон» неожиданно пригодился. При состоявшейся на следующей неделе покупке коня я отдал револьвер в придачу за стоимость Ит-Алмаза (хозяин просил много, а уступил задешево) его продавцу-туркмену, восхитившемуся огромным «алтатаром»!

В другой раз как-то вечером мы с Мерген-Агой зашли в Военное собрание, где попали на кутеж штабс-капитана пограничной стражи N, приглашавшего к своему столу всех подходивших офицеров и других знакомых. Было, как говорится, разливанное море!

«В низовьях Атрека он нагнал богатейший караван с контрабандой для хана Хивинского и после горячей

перестрелки задержал караван... За это дело штабс-капитан получит тысяч пятьдесят. И кутит в счет будущей премии вовсю!..» — говорили офицеры.

Штабс-капитан усадил Мерген-Агу рядом с собой, а мне указал место у противоположного дальнего конца стола, где группировались молодые офицеры.

Мне это не понравилось, а потому, присев за стол, я ничего не пил, лишь прикасаясь губами к бокалу, когда тамада провозглашал очередную здравицу.

Штабс-капитан, хотя и охмелевший изрядно, заметил мою обструкцию и громко высказался весьма неуважительно насчет «всяких штрюцких», этих «развязных шпаков», которым место «в Клубе велосипедистов, а не в среде русского воинства!..».

Услышав реплику N, офицеры громко расхохотались, поглядывая в мою сторону. Тогда я встал, спокойно достал из бумажника и положил возле своего прибора двадцатипятирублевку и сказал, что прострелю штабс-капитану его развязный язык и покажу тем, как «штрюцкие» умеют стрелять, повернулся и ушел не простившись.

Эта словесная стычка едва не закончилась дуэлью.

В Военном собрании дело замял Мерген-Ага, но на другой же день штабс-капитан N и я, оба, были вытребованы к генералу Суботичу для распёка.

Тогда Суботич сказал мне:

— Я хочу, чтобы вы занимались литературным трудом и научными исследованиями, а не попадали в ненужные и глупые столкновения между штатскими и военными. Для того чтобы вас больше не могли назвать неопытным «зеленым шпаком», даю вам ответственное поручение...

Вы проедете караванным путем от Асхабада до Хивы и обратно. Составите отчет о ваших наблюдениях за состоянием колодцев и движением караванов на пройденном пути. В Хиве держитесь осторожно, постарайтесь повидать хана Хивинского. В разговоре, как будто случайно, упомяните об усилившейся, участившейся за последнее время контрабанде. Любопытно, что скажет об этом старый контрабандист?..

При Суботиче и позже через Асхабад несколько раз проследовал эмир Бухарский, обычно ежегодно ездивший в Петербург и проводивший жаркое время лета в Крыму.

Суботич приказал устроить эмиру пышный прием — достархан. В двух залах дома начальника области были составлены длинные столы, украшенные цветами, уставленные изысканным угощением и коллекционными винами.

Сопровождаемый многочисленной дворцовой свитой, эмир, высокий, величественный, в цветном парчовом златотканом халате с генерал-адъютантскими эполетами и алмазными аксельбантами, со множеством русских орденов и звезд, медленно обошел эти столы, прикоснувшись только к виноградной кисти.

Но он был очень доволен таким проявлением почтительности к нему и позже назначил, по представлению генерала Суботича, бухарские ордена некоторым сотрудникам начальника области.

По тогдашним представлениям, в обществе эти эмирские ордена не шли в сравнение по ценности с русскими, но выглядели они необыкновенно внушительно.

Поэтому полученная мною позже огромная звезда — «Орден столичного города благородной Бухары» — со множеством золотых лучей и золотыми письменами арабской вязью на фоне синей эмали в центре звезды производила на непосвященных потрясающий эффект, когда на торжественных приемах я прицеплял бухарскую звезду к черному фраку.

5. КОНЕЦ КАРЬЕРЫ СУБОТИЧА

Эпоха генерала Суботича быстро закончилась. Он пробыл в Закаспии полтора года.

В августе 1902 года он заложил первый камень в строительство новых зданий — областного музея и библиотеки, вскоре после того был вызван в Петербург, назначен Приамурским генерал-губернатором и уехал в Хабаровск, забрав с собою нескольких особенно приближенных к нему офицеров и чиновников.

Я остался служить в Асхабаде. Но мне суждено было еще несколько раз повстречаться с генералом Суботичем при разных обстоятельствах: на Дальнем Востоке в годы русско-японской войны и в Ташкенте после ее окончания, когда я одно время служил в Переселенческом Управлении.

На место Суботича незамедлительно прибыл новый начальник области, Генерального штаба генерал-лейтенант Евгений Евгеньевич Уссаковский, бывший до того помощником начальника Главного штаба, и с ним приехало много новых офицеров и чиновников.

Уссаковский немедленно стал повсюду насаждать своих людей, а тех, кто пользовался доверием Суботича, выживать.

Когда все военнослужащие и чиновники прежней канцелярии начальника области представлялись новому начальнику, то меня Уссаковский принял очень сухо, я был для него «ничем», не более чем губернский секретарь — мелкая сошка. Вскоре я узнал, что мое жалованье сокращено со 150 до 100 рублей в месяц, конечно с ведома генерала.

Я понял, что теперь меня здесь только терпят и ничего хорошего впереди ждать не приходится. Тем не менее я решил пока оставаться на прежней службе, чтобы осуществить задуманные путешествия и поближе узнать Среднюю Азию.

И вскоре с помощью Маргания я все же добился согласия на указанную Суботичем и очень увлекавшую меня командировку в Хиву, через пустыню Каракум.

Любопытен конец карьеры и государственной деятельности генерала Суботича, открывающий внутреннее содержание этого выдающегося человека.

В 1906 году Суботич недолгое время был генерал-губернатором Туркестана. После своего назначения, перед отъездом в Ташкент, он заявил петербургским журналистам: «...До сих пор меня считали либералом. Я всегда относился доброжелательно ко всем общественным начинаниям и даже поощрял усиление общественной самодеятельности. То же самое могу сказать о своем отношении к печати. За все это меня называли даже «красным»...

Я буду управлять краем по совести, относясь к обществу с искренней доброжелательностью, но противодействуя крайностям...» [1]

В духе этого заявления, реагируя на происшедшие до его прибытия в Среднюю Азию еще в 1905 году революционные выступления, генерал Суботич, избегая репрессий, повел переговоры с главными деятелями революционного движения, стал смягчать полицейский режим, выпускать из тюрем арестованных, отказался применить войска против революционеров и пытался удовлетворить требования бастовавших рабочих, лично беседуя с их делегатами.

Суботич выпустил из тюрьмы арестованных учителей-забастовщиков в Самарканде, офицеров — участников Кушкинского восстания, группу узбеков, ожидавших суда за Андижанское восстание, редакторов нескольких местных газет — «Среднеазиатская жизнь», «Русский Туркестан» и других, отменил смертный приговор солдату, покушавшемуся на жизнь своего генерала, повел переговоры с руково-

---

[1] Газета «Торгово-промышленная палата». 14.I,1906. № 11.

дителями бастовавших ташкентских железнодорожных мастерских, сменил начальство и облегчил условия содержания в ташкентской тюрьме, проводил ряд других либеральных действий.

Однако местная высшая военная и гражданская администрация, феодальная знать, купечество, реакционно настроенное офицерство Туркестана, напуганные растущим революционным движением, требовали от генерала немедленно подавить войсками выступления рабочих за свои права, а не «потворствовать им своим либерализмом», и жаловались в Петербург, требуя смещения нового генерал-губернатора.

«...Генерал Суботич — боевой генерал, сражавшийся за престиж России на поле брани, но не воздвигший как генерал-губернатор ни одной виселицы,— революционер!..

Генерал Суботич носит мундир, закопченный в пороховом дыму,— писала либеральная газета «Русский Туркестан»,— гнусным клеветникам этого мало! Они хотели бы, чтобы генерал Суботич еще запятнал свой мундир кровью народною...

Какой он генерал-губернатор, если ни одна мать не произносит с проклятием его имени, если он не воздвиг ни одной виселицы, если на его руках не запеклась кровь ненавистных революционеров!..» [1]

С роспуском Государственной думы и приходом к власти Столыпина телеграфным распоряжением из Петербурга генерал Суботич был отстранен от должности. За «либеральничанье и разговоры с левыми» генерала вынудили подать в отставку, он был отозван в Петербург с формальным назначением — «в резерв — членом Военного совета».

Узнав о смещении Суботича, один из офицеров Ташкентского гарнизона сорвал со стены портрет генерала, бросил на пол и топтал ногами, крича: «Туда тебе и дорога, революционер!..»

А реакционная ташкентская газета написала такое: «Отозванный на днях туркестанский бывший генерал-губернатор Суботич еще позорнее Уссаковского заигрывал с забастовщиками, нередко открыто становясь на их сторону... Пора очистить армию от разных Уссаковских, Суботичей и им подобных генералов!..» [2]

---

[1] Газета «Русский Туркестан», 23.VIII, 1906, № 172.

[2] Газета «Среднеазиатская жизнь», 4.X,1906, № 215. Остававшийся начальником Закаспийской области генерал Уссаковский в период революционных событий 1905 года пытался одно время проводить либеральную политику, но вскоре был вынужден подать в отставку и уехать из Асхабада за свой либерализм.

С отставкой Суботича крайне правые воспряли духом: в Туркестане ввели военное положение, а генерал-губернатором назначили опытного усмирителя польского восстания, «холерного бунта» в Ташкенте и революционного движения в Маньчжурской армии, генерала от инфантерии Гродекова.

Та же газета со злорадством описала отъезд генерала Суботича из Ташкента:

«В четверг выехал из Ташкента бывший генерал-губернатор Туркестана генерал-лейтенант Суботич. Сформированный для его превосходительства поезд был подан на 5-ю версту на переезде у Садового Заведения... Генерал Суботич с супругой сели в вагон, подъехав к месту посадки в экипажах...

Ташкенту приходится в первый раз быть свидетелем такого отъезда главного начальника края. До настоящего времени все генерал-губернаторы покидали его при другой обстановке...» [1]

Я был одним из немногих, кто приехал «на 5-ю версту» проводить генерала, и встретил на этих проводах, больше похожих на высылку, всего несколько человек из круга его бывших приближенных, решившихся все же почтить вниманием тайно уезжавшего опального военного и государственного деятеля, принятого здесь, в Ташкенте, с большой помпой при своем прибытии, менее года тому назад...

Несколько позднее я повстречался с генералом Суботичем в Петербурге. Он был в штатском и не у дел. Мы обменялись воспоминаниями и больше не свиделись.

Говорили, что Суботич уехал за границу, на родину, и там окончил свои дни.

6. «ШУТКА» ГЕНЕРАЛА КОВАЛЕВА

Когда в конце 1902 года, в связи с назначением на Дальний Восток, Суботич был экстренно вызван в Петербург, то временно за начальника области оставался генерал В. И. Ковалев. Его имя вскоре скандально прогремело на

---

[1] Газета «Среднеазиатская жизнь», 23.IX, 1906, № 207. Любопытно, что то же подтверждают югославские энциклопедии, отмечая либерализм Суботича как причину его отставки: «Из-за своих либеральных идей и действий во время русской революции 1905—1906 гг. уволен из армии» («Народная энциклопедия», т. IV, стр. 494. Загреб, 1929) и «Уволен из армии вследствие защиты и проведения либеральных идей в период русской революции 1905 года» («Военная энциклопедия», 2-е изд., т. IX, стр. 225. Белград, 1975).

всю Россию, показав, каковы были нравы некоторых офицеров-самодуров закаспийской окраины...

Генерал-майор Ковалев был командиром казачьих войск в области, начальником казачьей бригады, жил одиноко и устраивал каждое воскресенье «холостой ужин» вместе со своими любимцами из молодых офицеров.

Про него говорили, что Ковалев пользовался особыми симпатиями при царском дворе за свое остроумие и знание бесчисленного количества анекдотов.

Среднего роста, моложавый, с усиками, лихо закрученными кверху, в черной черкеске с белыми газырями, он был популярен в военной среде и имел большой успех у местных дам.

До приезда в Асхабад Ковалев одно время был начальником казачьего конвоя при царе и потому носил форму 1-го Таманского казачьего полка. Особенно покровительствовала Ковалеву какая-то великая княгиня, и поэтому он считал себя недосягаемым и непогрешимым в отношении всех остальных.

Ковалев питал особую нежность к жене начальника штаба генерала Суботича, полковника Генерального штаба Старосельского; но та, имевшая двух дочерей на выданье, внешне неприступная и строгая, одевавшаяся под англичанку, всегда держалась очень корректно, не давая никаких поводов для сплетен.

Однако однажды офицерские языки, развязавшиеся по-пьяному за ужином у Ковалева, намекнули тому, что якобы некий человек пользуется особым благоволением госпожи Старосельской, любимец всех асхабадских дам, высокий, стройный, в пенсне, к тому же обладатель первого в Асхабаде автомобиля, что вызывало зависть одних и насмешки других,— холостяк доктор Забусов.

Впрочем, асхабадские дамы стремились к Забусову на прием по понятным причинам — он был врач-гинеколог.

Услышав, что какой-то Забусов осмеливается быть или стать конкурентом ему — Ковалеву! — генерал объявил пировавшей компании, что он собьет спесь с этого Забусова и сделает его всеобщим посмешищем у них на глазах!

Тут же Ковалев послал нескольких лихих таманцев-вестовых к Забусову, и те объявили доктору, что генерал его требует немедленно к себе. Удивленный Забусов объяснил, что он гинеколог и ему нечего делать у генерала, но таманцы настаивали, утверждая, что Забусов должен явиться к генералу вообще как врач, так как Ковалеву якобы стало плохо.

Не ожидавший ничего дурного Забусов приехал.

Тогда полупьяный генерал Ковалев приказал казакам: «Сдерите с него штаны и отхлестайте нагайками!..» Дисциплина — превыше всего, и казаки не осмелились ослушаться.

Забусов держался очень мужественно, после экзекуции оделся и молча ушел...

«Он никогда не осмелится рассказать, что его выпороли!..» — сказал, посмеиваясь и покручивая ус, генерал Ковалев.

В ту же ночь Забусов пошел на телеграф и послал две телеграммы. Одну — военному министру, вторую — в газету «Речь».

На другой день утром Забусов явился на прием к только что прибывшему новому начальнику области генералу Уссаковскому и рассказал тому, что с ним произошло.

Уссаковский, поглаживая по своей привычке длинные, шелковистые усы, молчал, затем меланхолично спросил: «Может быть, все это вам показалось?.. Это невероятно!.. В ваших же интересах промолчать. Разглашение такой истории вызовет слишком большой скандал!»

Доктор Забусов ответил, что молчать уже поздно, и, ни с кем не простившись, в тот же день уехал в Симбирск.

Телеграммы сделали свое дело, и это «невероятное происшествие» вызвало большое волнение во всей русской печати и отрицательную реакцию в обществе и военных кругах. Газеты сообщали о крепостных нравах и разгуле самодурства властей на окраинах России, об этом деле писал и В. Г. Короленко и другие известные журналисты того времени.

Остряк и шутник генерал Ковалев за свою «шутку» получил по заслугам: он был предан Высшему военному суду, лишен военного звания, чинов, орденов и пенсии...

Во время русско-японской войны Ковалев приехал в Маньчжурию, в штаб главнокомандующего. Я присутствовал при том, как генерал Куропаткин, в то время уже смещенный с должности главнокомандующего, но остававшийся командующим 1-й Маньчжурской армией, проезжавший мимо верхом, остановился и, обменявшись коротким разговором с Ковалевым, сказал ему: «Вам здесь придется снова заслужить воинское звание!..»

Будучи в Маньчжурии, Ковалев просил дать ему любое назначение, хотя бы нижним чином. Но, не дождавшись решения по своей кассационной жалобе и не получив никакого назначения, Ковалев вернулся в Россию.

В поезде, где-то между Москвой и Кавказом, бывший генерал Ковалев застрелился.

III. «ЧЕРЕЗ СЫПУЧИЕ БАРХАНЫ»

1. КАРАВАННОЙ ТРОПОЙ

Поскольку с отъездом генерала Суботича его поручение — посетить Хиву — осталось лишь на словах, не закрепленное приказом, мне пришлось подать формальный рапорт по этому поводу генералу Уссаковскому, где, в числе прочего, в конце ноября 1902 года я так излагал цели этого путешествия:

«...Так как те редкие экспедиции в Хиву, например по исследованию старого русла Амударьи, преследовали главным образом свои специальные цели, и уже прошло много лет, как из всего северного района Закаспийской области не получалось, насколько мне известно, обстоятельных и точных сведений, то я обращаюсь с просьбой разрешить мне поездку из Асхабада через пески к хивинским владениям и оттуда на запад до Кара-Бугазского залива, для составления отчета о современном состоянии этих частей Закаспийской области.

Быть может, улучшенные способы сообщения, исправление колодцев, найденные новые источники воды и разные другие мероприятия могли бы помочь туркменскому населению пользоваться всем этим районом, как для пастьбы скота, для сбора лесных материалов, так, вероятно, и для поселений, так как развалины многочисленных крепостей, встречающиеся постоянно по всему пути до Хивы, доказывают о бывшей здесь когда-то возможности даже оседлой жизни в песках...»

Другой официальный повод моей поездки в Хиву был такой.

В Асхабаде жил ишан (мусульманский «святой старец»), прозванный «ишан-шайтаном», так как он, помимо святых дел, хорошо устраивал и дела коммерческие.

Этот ишан взял на себя подряд — прочистить колодцы караванной дороги между Асхабадом и Хивой. По мусульманскому поверью, копать колодцы могут только «святые люди», поэтому подряд и был передан «святому» ишану.

Однако проезжавшие жаловались на то, что большая часть колодцев обвалилась и воды в них нет. Нужно было проверить состояние колодцев, а также узнать, выкопаны ли новые вместо осыпавшихся. И как ишан выполнил свой подряд?

В «Открытом листе», выданном мне канцелярией, указывалось, что я «командирован начальником области к хи-

винским владениям для научно-статистических исследований».

Я решил пересечь пустыню без конвоя, в сопровождении лишь одного спутника. «От большого конвоя прошу меня освободить,— писал я в рапорте,— так как следуемых мне прогонных совершенно недостаточно для довольствия большого каравана в течение 1½ месяца, а также потому, что, будучи опытным в утомительных и опасных путешествиях, я не боюсь могущих встретиться препятствий; однако я не могу взять на себя ответственность за безопасность назначенного неопытного конвоя...» Ради собственной безопасности я не хотел рисковать жизнью других.

Отправляясь в путь, я взял себе в товарищи старого аламанщика (степного разбойника) Шах-Назара Карабекова, давно бросившего это занятие и теперь урядника туркменского дивизиона, каким командовал Мерген-Ага, отличившегося в битве при Кушке и получившего за подвиг Георгиевский крест, на котором, как бы по особой привилегии для мусульман, изображался всадник — святой Георгий.

Шах-Назар, крепкий сухопарый старик, в своей молодости совершал набеги на Персию и на Хиву, уводил оттуда в полон коней. Он отлично знал караванные дороги и тропы Каракумов и оказался превосходным проводником в наших трудных переходах по пустынной, лишенной корма местности.

Все имущество Шах-Назара — конь, винтовка и трубка — было всегда с ним, и он говорил, что они «верные друзья джигита до гроба: конь везет, винтовка бьет врагов, трубка веселит сердце. И все трое молчат. А женщина — не может не говорить с утра и до ночи...».

Мы продвигались верхом: я — на недавно приобретенном рыжем Ит-Алмазе, Шах-Назар — на поджаром вороном жеребце текинской породы. За каждым из нас в поводу шла вьючная лошадь, несшая бурдюки с водой, снаряжение и провиант.

Перед отправлением в поход мне казалось, что я достаточно тщательно к нему подготовился. Но это было мое первое дальнее путешествие по пустыне и оно принесло несколько сюрпризов, уроки которых я усвоил на всю жизнь.

Караванный путь из Асхабада в Хиву мог называться дорогой весьма условно. На нем не было никаких признаков того, что обычно присуще дороге: ни дорожного полотна, колей от колес, следов копыт верблюдов, подков коней, ни

опознавательных или измерительных знаков, указателей направления, столбов или камней.

Вначале я не мог понять, чем руководствуется Шах-Назар, уверенно направляя наших коней от одного колодца к другому и действительно находя в пустыне эти единственные искусственные сооружения на дороге.

Окруженный волнообразной линией неразличимых между собой песчаных барханов, под солнцем, высоко и неподвижно висевшим весь день над головой в центре небосвода, Шах-Назар спокойно и уверенно двигался вперед, то подымаясь, то спускаясь по склонам бесчисленных застывших волн песчаного моря, простиравшихся до горизонта, а за ним следовали я на Ит-Алмазе и вьючные лошади.

Удивительное чутье в сочетании с острой наблюдательностью и огромным опытом помогали Шах-Назару безошибочно ориентироваться в однообразной пустыне.

Не имея часов, Шах-Назар всегда знал время суток, без компаса определял направление стран света, без карты точно знал, где находится, и там, где я не видел ничего, кроме расплывающейся в знойном мареве волнистой линии песков, он на огромном расстоянии замечал — белеющие кости павшего верблюда, редкие заросли корявого саксаула, темную полосу глинистого такыра, бывшие для Шах-Назара указателями, подтверждавшими правильность его пути.

Шах-Назар никогда не задумывался над поисками дороги, и расспрашивать его, как он ее находит, было, в его глазах, странное занятие. Наоборот, он удивлялся тому, как это я не вижу дороги, такой ясной для него самого.

Мы выехали из Асхабада в начале марта 1903 года, когда пришла весна, Каракумы покрылись коврами цветущих лиловых ирисов и малиновых тюльпанов, а в песках кое-где зеленела трава. Путь наш оказался трудным, дважды подымались песчаные бураны, а один раз даже выпал густой снег.

Колодцы должны были находиться на расстоянии дневного перехода, примерно в двадцати — тридцати километрах один от другого, но в действительности все оказалось не так, как это было помечено на карте. Одни колодцы исчезли под грядами двигающихся песков, другие обрушились или пересохли так, что нам приходилось по двое-трое суток рассчитывать лишь на скудный запас воды в своих бурдюках.

Большинство уцелевших колодцев было накрыто сооружениями купольной формы из ветвей саксаула, обмазанных глиной, куда вход закрывался хворостяной плетенкой.

Такой же плетенкой накрывалось устье колодца. Очень глубокие и узкие, до двадцати метров глубиной и около метра в диаметре, колодцы изнутри были оплетены, наподобие корзинки, ветвями саксаула.

Трудно было определить, что сделал «святой ишан» для расчистки колодцев; с той поры, как он получил подряд на эту работу, прошло несколько лет, и колодцы находились без всякого присмотра.

Их состояние теперь зависело от случая, природы, путников. Но было несомненным то, что они лишь частично пригодны и нуждаются в серьезном ремонте. Воды в них было мало, при доставании ее кожаными складными ведрами вода быстро замутнялась, и надо было долго ждать, пока она наберется вновь.

С сильным привкусом, солоноватая и горьковатая, отдающая затхлостью, а то и падалью, от попадавших в колодец змей, ящериц, сусликов и других степных зверьков, нам, изнуренным жаждой и зноем, эта вода тогда казалась слаще «струй горного потока»...

2. АЛЧНОСТЬ АЛЛА-НИЯЗА

Я помечал наш путь на карте и через несколько дней пути обратил внимание на то, что начиная с одного пункта дорога дальше идет как бы по дуге большого круга диаметром примерно в два-три перехода, и указал на это Шах-Назару.

Мой спутник объяснил, что есть старая, заброшенная дорога, соединяющая концы этой дуги напрямик, словно тетива, стягивающая концы согнутого лука, но уже много десятилетий караваны по ней не ходят,— «есть там несколько колодцев, но вода в них дурная, отравленная. Если верблюд, лошадь, человек попьют из этих колодцев, у них раздуваются животы, они чернеют и умирают в жестоких мучениях...»

На ночном привале Шах-Назар рассказал печальную историю гибели этих колодцев.

«...Много лет назад недалеко от этих мест в зимнюю пору разбивало свои кибитки кочевье обширного и богатого туркменского рода хана Алла-Нияза, откуда происходил и Шах-Назар. На лето кочевье уходило к пастбищам в предгорьях Копетдага, где жара не так сильна, много воды, корма для скота, хорошая охота.

Отец Шах-Назара погиб в перестрелке с персами при одном из набегов, мать умерла от поветрия черной оспы. Шах-Назар вырос сиротой в кибитке Алла-Нияза. Он помогал пасти баранов, следил за лошадьми, чистил оружие, сопровождал в походах.

Так продолжалось из года в год. Кочевье Алла-Нияза быстро богатело. Почти каждую осень, перед тем как вернуться в пустыню, Алла-Нияз с джигитами отправлялись в набег через горы на персидские селения.

Правда, не все возвращались обратно, иных недосчитывались, другие харкали кровью, но зато у остальных вьючные лошади прогибались под тороками с награбленным добром, в поводу шли красивые кони, а сзади плелись рабы-персы со связанными за спиной руками, бросавшие испуганные взгляды на своих хозяев, и плачущие женщины с распущенными волосами несли маленьких детей в платке за спиной.

Алла-Нияз богател больше всех, но, видно, ему этого было мало, потому что от его алчности произошло великое несчастье для всего племени.

Однажды весной в кочевье пришел небольшой караван. Это возвращался из Персии старинный приятель Алла-Нияза, Берды-Бай, постоянно кочевавший со своим родом в низовьях Амударьи.

Он возвращался, сидя на великолепном белом арабском скакуне, лошади породы очень редкой и высоко ценимой туркменами, в сопровождении нескольких джигитов. Берды-Бай промышлял не набегами, а торговлей и после удачной поездки в Мешхед вез серебряные краны, персидские шелка, териак, сахар, другие товары.

С первого взгляда Алла-Нияз влюбился в арабского скакуна и стал просить Берды-Бая продать ему белого красавца за любую цену. Берды-Бай отказался наотрез, объяснив, что жеребец ему нужен на племя, и предложил в знак старой дружбы подарить Алла-Ниязу лучшего жеребенка из первого же приплода от белого скакуна.

Утром караван Берды-Бая ушел, а через несколько часов после того Алла-Нияз в сопровождении двух самых верных джигитов уехал на охоту.

Вернулся Алла-Нияз лишь через три дня, один, левая рука была перевязана оторванной полой халата, а в поводу за ним шел белый арабский скакун.

«Берды-Бай передумал, продал мне жеребца,— объяснил Алла-Нияз сбежавшимся людям,— а мои джигиты

поехали с Берды-Баем в Хиву, они скоро вернутся...» Сообщив это, он приказал сворачивать кибитки и объявил, что «утром уходим к персидским горам...», затем скрылся в своей кибитке.

Женщины подхватили под руки и увели завопивших жен обоих джигитов, но никто не осмелился перечить главе рода. Однако все переглянулись и опустили взоры, поняв, что Алла-Нияз уходит в горы раньше срока не случайно...

Ночью собаки сбежались на окраину кочевья и лая умчались в степь. Потом они вернулись, кроме нескольких оставшихся в степи и жалобно завывавших.

Несколько юношей пошли в степь на далекий вой собак. К утру они нашли на склоне бархана голого, покрытого кровью, пóтом и землей, умиравшего от ран джигита, за которым по пескам тянулся кровавый след.

Умиравший был одним из двух джигитов, сопровождавших Алла-Нияза. Он хрипел, выплевывая кровавую пену, и умер на руках своих родичей, не сказав ни одного слова. Всех поразило, что он был прострелен в спину и жестоко изрублен.

Наутро все мужчины во главе с Алла-Ниязом помчались в степь по кровавому следу. Он привел к разрытой могиле в песках, где нашли второго джигита, тоже застреленного и зарубленного.

Алла-Нияз сказал, что это убийство мог совершить только Берды-Бай и его караван. Но напрасно искали туркмены по окрестным холмам и тропам караван Берды-Бая. Он пропал бесследно, словно погрузившись в песчаную пучину.

Алла-Нияз торопил с уходом в горы. Все чувствовали, что за этой трагедией кроется тайна, но такова была сила власти Алла-Нияза, что и тут никто не посмел его ослушаться. Джигитов похоронили, и кочевье ушло к персидским горам.

А зимой того же года, когда племя, возвратившись в прежние места, раскинуло кибитки, ночью, когда все спали, внезапно на кочевье напал хорошо вооруженный отряд.

Джигиты из рода Берды-Бая беспощадно вырезали всех мужчин кочевья Алла-Нияза, включая стариков; женщин и детей взяли в полон, немногие уцелевшие разбежались по пескам. Все ценное имущество погрузили на верблюдов и лошадей, кибитки и все остальное сожгли. Трупы сбросили в колодцы и разрушили их.

Все это произошло быстро, и в ночной резне погиб Алла-Нияз.

Шах-Назара с другими юношами племени продали в рабство на невольничьем рынке в Хиве.

Влачась с деревянной колодкой на шее и руками, связанными за спиной, позади конного отряда, подкалываемый острыми пиками, глотая пыль и песок, поднимаемый копытами, Шах-Назар узнал причину ужасного уничтожения его рода.

Оказывается, стоустая молва донесла известие о пропаже каравана Берды-Бая и до устья Амударьи. Сыновья Берды-Бая с джигитами отправились на розыски. Долго они не могли ничего обнаружить, пока не обратили внимание на то, что одна группа колодцев в районе исчезновения каравана Берды-Бая обвалилась, пересохла, ее стали огибать другие караваны, продвигаясь по цепочке иных колодцев.

В этом богатом землетрясениями районе обвал колодцев не редкость. Все же сыновья Берды-Бая проехали к заброшенным колодцам, действительно обвалившимся, и, хотя они умирали от жажды, не поленились их отрыть и очистить.

На дне одного колодца нашлись трупы Берды-Бая и его джигитов, застреленных и зарубленных. Однако лошадей и верблюдов каравана, его вьюки и мешки с кранами найти не удалось.

Сыновья Берды-Бая похоронили джигитов в песках, а труп отца отвезли в родное кочевье. Потом один из сыновей, прихватив побольше воды на «заводной» лошади, вернулся к месту гибели каравана.

После долгих поисков в песке, отрытом из колодца с трупами, нашлась роговая пуговица с серебряной насечкой, а еще прежде из одного трупа была извлечена засевшая в лопатке пуля нарезной винтовки английской работы; все признали, что пуговица и пуля принадлежали Алла-Ниязу, и была объявлена кровная месть...

«Так, из-за алчности Алла-Нияза,— говорил Шах-Назар,— я стал рабом одного хивинского кузнеца. Долго я бил молотом по наковальне, пока мне, уже ставшему взрослым мужчиной, удалось перерубить цепи на ногах и бежать в пустыню, где, на счастье, я не погиб, а — хвала Аллаху! — остался жив, подобранный проходившим мимо меня караваном...

А те колодцы стали называть Аджи-кую (Горькая вода), так как вода в них сделалась непригодной для питья. С той поры колодцы заброшены и караваны их огибают...»

3. У МЕРТВЫХ КОЛОДЦЕВ

Температура в пустыне менялась очень быстро. Днем пекло солнце, а ночью подмораживало. На рассвете иней серебрил стволы винтовок, стремена и пряжки седел, на которые мы склоняли головы, засыпая. Затем, с первым лучом солнца, приходило тепло.

Когда, слушая неторопливый рассказ Шах-Назара, я лежал у багровых угольев слабо тлеющего костра, поворачиваясь, грея то один, то другой подмерзающий бок, то у меня возникла мысль пройти заброшенным путем, осмотреть мертвые колодцы и установить, не стали ли они вновь пригодны для питья? Это могло бы намного сократить существующую караванную дорогу.

Но Шах-Назар стал отговаривать меня от такого намерения, заявив, что «у Мертвых колодцев теперь поселились злые духи — дэвы, и если мы нарушим их покой, то навлечем на себя множество бед на дальнейшем пути...».

Это суеверное опасение Шах-Назара возымело обратное действие — еще более возбудило мое любопытство. Бурдюки позволяли нести с собой запас воды для нас и лошадей на трое суток. Я рассчитывал, что если мы их наполним и вволю напоим коней, то, установив строгий «водяной паек», спокойно пройдем заброшенной караванной дорогой.

К несчастью, в середине ночи нас разбудило конское ржание, рев верблюдов, чьи-то крики и лай собак, затем к ночлегу подошел задержанный в пути песчаной бурей встречный караван из Хивы. Его погонщики, чтобы напоить множество животных, мигом опустошили колодцы, на дне их осталась одна грязь...

Утром, в толчее общего подъема, нам не удалось вволю напоить своих лошадей, хотя Шах-Назар отчаянно ругался с караванбаши (старшим погонщиком), грозя ему страшными карами от имени «ярым-падишаха». Это мало помогло.

Когда караван ушел, обнаружилось, что продавлен один наш бурдюк с водой и исчез хуржум с просом. Эти несчастья целиком лежали на моей совести,— пока Шах-Назар поил коней, я должен был следить за вещами и снаряжением, но отвлекся, делая записи и зарисовки дорожных наблюдений.

Хотя Шах-Назар, проклинавший погонщиков каравана, намекнул на дурное начало пути, все же я настоял, и мы углубились в пустыню, держа направление на Мертвые колодцы.

Вероятно, в связи с таким совпадением нескольких неблагоприятных обстоятельств, во имя благоразумия

следовало воздержаться от пути к Мертвым колодцам. Однако у меня не было никакой уверенности в том, что когда-нибудь придется вторично попасть в эти места, а желание пройти заброшенной тропой настолько сильно овладело, что я сказал Шах-Назару: «Через три — самое большее, четыре — перехода мы обязательно выйдем на дорогу, где ходят караваны. Неужели мы не выдержим этих трех-четырех дней? Будем экономны в пути. Вперед!..»

В пути я проверял направление по компасу, но это было излишним: по-прежнему Шах-Назар, направляемый своим удивительным чутьем, безошибочно вел нас к намеченной цели.

Пустыня оставалась такой же однообразной. Кое-где Шах-Назар указал на следы бывшей караванной тропы. Иногда на глинистых такырах, словно широкий желоб, тянулся углубившийся в землю след прошедших тут караванов да на ветке саксаула трепались полуистлевшие обрывки некогда яркой тряпки; или над песками подымался холмик с камнем или шестом над ним, с которого свешивался пучок лохмотьев,— могила безвестного путника.

К вечеру на горизонте показалась неровная полоса лиловых скал. «Это кыр (камни),— объяснил Шах-Назар,— там, где кум (песок), можно всегда найти все, что нужно для жизни,— воду в колодце, саксаул для костра, траву для баранов, там можно подстрелить зайца или джейрана. А там, где кыр, нет жизни. Колодец не выкопаешь, деревьев нет, только ящерицы да змеи ползают между скалами. Берегись попасть туда и заночевать на кыре!»

При последних лучах заходящего солнца мы приблизились к угрюмому кыру. Слои серого известняка, наклонившись в одну сторону, выпирали из песков, образуя длинную зубчатую гряду. За ними на север простиралось каменистое плато. Кое-где из выветренных трещин торчали седые пучки полыни и курчавились сухие травки.

Песчаные волны, дойдя до кыра, образовали ровную площадку, словно разбившиеся в пену морские волны у скалистого берега. На этой площадке выделялись остатки нескольких сооружений, похожих на те, что обычно прикрывают устья колодцев. Они были сложены из известняковых плит и полузанесены песком. Несколько кривых стволов саксаула свешивались над развалинами.

Пока Шах-Назар расседлывал лошадей, я прошелся вдоль скалистой гряды в поисках топлива для костра и осмотрел развалины. Следов существования колодцев не было заметно. Быстро темнело, и я вернулся к нашему привалу, неся охапку сухих ветвей саксаула.

Шах-Назар не стал стреноживать коней, оставил их на приколе, в недоуздках. Когда кони выстоялись, мы дали им половинную порцию воды, по одному ведру, а себе сварили крепкий чай.

Шах-Назар был молчалив. Вероятно, воспоминания нахлынули на него. Но он как благочестивый и суеверный мусульманин не хотел в этом месте говорить о трагедии, происшедшей неподалеку от этих диких скал, в далекие годы его юности.

Незадолго перед рассветом кони внезапно стали рваться с приколов, захрапели, забили копытами. Очнувшись, мы оба вскочили, подбежали, огладили, успокоили коней. Костер давно погас. Над пустыней стояла нерушимая тишина, только раз из тьмы донеслись непонятные звуки, напоминавшие сипение и клохтанье. Услыхав эти шипы, кони вздрагивали и приседали, прижав уши.

Успокоив коней, мы вновь прилегли, но заснуть уже не могли. При первых признаках рассвета я снова пошел вдоль скалистой гряды. Светало быстро, и с первыми солнечными лучами скалы порозовели, прочертились лиловые тени, стало теплеть.

Песок у скал местами был плотнее, темными пятнами проступала подпочвенная влага и серебрилась бахрома соляных отложений. Иногда на влажном песке пестрели мелкие птичьи следы.

Перепрыгивая с одного скалистого выступа на другой, я поднялся на щербатую поверхность кыра, и незабываемая картина открылась передо мною.

На северо-запад тянулось ровное унылое пространство каменистого плато, изредка нарушаемое трещинами и острыми пиками скал. На юго-восток шли бесконечные волны оранжевых песков. Сверху ясно виднелось место нашего ночлега, остатки колодезных сооружений, кони и Шах-Назар, склонившийся у костра.

Пройдя дальше по гребню кыра и спустившись в другом месте, чем взошел, я заметил темную глубокую щель под нависшей скалой. Приблизившись, я услыхал доносившееся из щели шипение, похожее на то, что испугало наших коней ночью. Отойдя за каменистый выступ, я бросил в щель обломок известняка. Оттуда опять раздалось шипение и клохтанье.

Когда я вновь кинул туда камень, из щели показалась голова огромного ящера-варана, покрытая роговой чешуей. Из раскрытой шипящей пасти с острыми зубами высовывался, извиваясь, гибкий раздвоенный язык, зло смотрели выпуклые зеленые глаза. Саженной длины, толсто-

брюхий буро-зеленый варан быстро выскочил из расщелины, угрожающе шипел, раздувая белую шею пузырем, подпрыгивал на месте, хлопал по бокам длинным хвостом с зубчатым роговым гребнем...

Из рассказов старых закаспийцев я уже знал, что в недосягаемых местах пустыни живут гигантские вараны, называемые туркменами эсдергха, пожирающие всяких, даже очковых, змей и очень за это почитаемые и охраняемые.

Но я впервые встретился столь неожиданно с «крокодилом пустыни» и в нерешительности замер, выжидая, что будет дальше.

Обычно вараны, как и все зверье, прячутся от людей. Но тут варан бросился на меня. Отступая, я поскользнулся, упал и покатился вниз. Удержавшись за каменный выступ и вскочив, я получил сильный удар хвостом варана по своим ногам и едва не упал снова. Эсдергха злобно и смело нападал, шипел и старался вцепиться зубами в мой сапог, а ударами хвоста сбить с ног.

Мое любопытство оборачивалось неожиданной опасностью. Винтовка осталась у костра, и пришлось достать из заднего кармана брюк маленький пистолет, с каким никогда не расставался в пути... «Но куда стрелять?.. Пуля моего пистолета не пробьет роговой панцирь этого дракона!.» — думал я, осторожно отступая и увертываясь от ударов хвоста ящера.

Вдруг эсдергха прыгнул на меня, попытавшись укусить в лицо, ударить передними лапами. Этим он себя погубил. Я сунул ствол пистолета в оскаленную пасть и выстрелил. Ящер упал, несколько раз ударил хвостом, судорожно дернулся и замер...

Я замерил ящера — длиной он был в четыре шага.

В расщелине скалы я нашел кучку грязновато-белых продолговатых яиц величиной с гусиные, лежавших в мягкой песчаной ямке,— причину злобного нападения эсдергхи, отважно защищавшего свое будущее потомство.

Когда Шах-Назар узнал о моей схватке с эсдергхой, то был заметно недоволен и решительно потребовал немедленно уехать отсюда. Однако перед тем я вернулся к эсдергхе.

Снять шкуру, если можно так назвать роговой панцирь варана, оказалось делом невероятно трудным, и я удовольствовался огромным гребнем с хвоста «крокодила пустыни», впоследствии долгое время украшавшим мой письменный стол, вызывая изумление.

Много позже, в советское время, впечатление от этой поездки и встречи с эсдергхой помогли мне написать рассказ «В песках Каракума».

4. ПОСЛЕДНИЕ ПЕРЕХОДЫ

Вопреки опасениям Шах-Назара, мы благополучно выбрались на торную караванную дорогу к Хиве. В пути мы осмотрели и другие колодцы и места, где ясно проступала влага. Впоследствии, после моего рапорта начальнику области, к колодцам Аджи-кую были посланы специалисты по копанию колодцев. Они восстановили старые и выкопали новые колодцы. Вода в них оказалась не хуже, чем в других, а путь караванов сократился.

На дальнейшем пути к Хиве мы несколько раз попадали в туркменские кочевья. Шах-Назар своим удивительным чутьем умел их находить именно тогда, когда они были весьма кстати.

Гостеприимные хозяева встречали Шах-Назара как своего, а с ним и меня. У туркмен мы давали отдых коням и сами отогревались в кибитках, этих войлочных домах пустыни, замечательном изобретении кочевников, где прохладно днем и тепло ночью.

Дальше наш путь к Хиве проходил без особых приключений.

Однажды мы увидели мираж — большой караван, беззвучно шагавший на горизонте, все выраставший в размерах, подымавшийся в небо и расплывшийся в нем.

Но в другой раз, когда в стороне от обычной дороги мы увидели не призрачный, а живой караван, бредущий на север, вероятно из Персии в Хиву, то душа старого аламанщика не выдержала и Шах-Назар стал меня убеждать арестовать этот караван, наверняка везущий контрабанду для хана хивинского.

«Подумай, бояр, что эти тридцать верблюдов везут шелка, серебряные краны, териак, чай!..»

Однако я послал Шах-Назара «к шайтану», сказав, что ловить контрабандистов не моя обязанность, и добавил: «Ты думаешь, хан хивинский меня поблагодарит? Он посадит меня и тебя вместе со мною в яму и сгноит там, сообщив в Асхабад, что мы погибли в пустыне на пути к нему!»

Действительно, у меня не было никаких полномочий, чтобы задерживать караваны, не говоря уже об отсутствии средств для их задержания. Но Шах-Назар никак не мог понять, почему я отказался от такого богатства, потому что, по тогдашним законам, задержавший контрабанду получал 25% ее стоимости.

Дальше в пути сильное впечатление произвели на меня две картины.

Первой из них был момент перехода через Узбой. Огромная впадина, старое русло Амударьи, некогда впадавшей в Каспийское море, уходила далеко на запад и вся была покрыта блестевшими на солнце осадками — кристаллами соли.

Когда-то здесь текли могучие волны, шумела жизнь, цвели сады и паслись стада, а теперь, у этих ставших бесплодными берегов, туркмены лечили от чесотки, обкладывая лежавших верблюдов солью.

Затем незабываемым был момент, когда после долгого тяжелого пути по однообразной пустыне, где мы непрерывно то поднимались на песчаные склоны, то спускались с них, взобравшись на высокий бархан, мы вдруг увидели перед собой роскошный зеленый оазис Хивы.

Квадраты полей, где работали пахари, высокие тополя и платаны, а вдали за ними — стройные минареты мечетей, выложенные сверкавшими издалека голубыми изразцами...

Расстояние от Ашхабада до Хивы составляет около пятисот километров. Теперь этот путь каждый может спокойно и безопасно проделать на автомобиле-вездеходе за одни сутки, а самолетом пролететь за один час.

Я же с моим спутником, опытным и умелым проводником, ехал верхом в одну сторону, правда с остановками для осмотра колодцев, больше двух недель. Причем это путешествие тогда считалось выдающимся и опасным предприятием, требовавшим подготовки, выносливости и мужества.

После этой поездки (даже в Военном собрании) никто не мог говорить обо мне как о «зеленом шпаке»...

IV. В ХИВИНСКОМ ХАНСТВЕ

1. АУДИЕНЦИЯ У ЕГО СВЕТЛОСТИ ХАНА

После того как русские войска в 1873 году вступили в Хиву, они убрали головы казненных, торчавшие на копьях перед ханским дворцом, освободили рабов и положили конец работорговле, прекратили деятельность множества разбойничьих шаек, нападавших на мирных земледельцев и грабивших караваны, и для населения Хивинского ханства наступила пора мирной жизни.

Номинально Хива осталась под властью своих феодалов,

но в ней появились представители русской администрации, военные, купечество, а кое-где — русские переселенцы. Сыновья богатых и знатных хивинцев направлялись на учение в Петербург, хивинцы стали служить в русской армии.

Внешний облик Хивы мало чем изменился.

Ко времени моего приезда это был маленький грязный и пыльный город с лабиринтом узких кривых улочек, состоявших из одних стен, не имевших окон и выходивших на пустыри, базары, кладбища, окруженных осыпавшимися рвами и разваливающимися глинобитными стенами с башнями и воротами.

В городе насчитывалось примерно десять тысяч жителей, десяток ханских дворцов, полсотни мечетей и медресе, несколько караван-сараев и множество базарных лавок, мастерских ремесленников, торговых складов.

Но напрасно было искать здесь школу или больницу, книжный магазин, театр или клуб. Хивинское ханство продолжало жить по своим феодальным законам и обычаям, лишь отчасти смягченным русским влиянием.

Высшая власть продолжала оставаться в руках хана — верховного и непогрешимого судьи для своих подданных. Он решал судьбу кошелька и живота своих беков, наибов и хакимов, числом свыше двух десятков, управлявших, в свою очередь, через старейшин родов — аксакалов — простым народом.

Судьи, бии, казии и прочие представители феодалов отправляли суд быстро и несложно: все тяжбы решались по Чингиз-хановой «Ясе»[1], хотя великий завоеватель уже шесть столетий покоился в могиле.

До прихода русских наказания оставались вполне в Чингиз-хановом вкусе: от битья палками, отсечения уха, пальца, ладони, руки и до отрубания головы. Теперь они соответствовали установленным в России.

В Хиве я был принят с почетом, остановился в небольшом домике с традиционным внутренним двориком, посредине его поблескивал прохладный хаус (водоем), отведенном мне ханом для отдыха и пышно именовавшемся дворцовым покоем.

Дважды был я на приеме у Сеид Мухаммед Рахим-хана и у его сына-наследника Эсфендиар-Тюря, а под конец получил в подарок фотографию хана в серебряной рамке и серебряный кумган (кувшин).

---

[1] «Яса» — свод законов, установленный в XIII в. Чингиз-ханом.

Но самой ценной для меня вещью, вывезенной из Хивы, было легкое туркменское седло с высокой лукой, державшееся на двух дощечках, ложившихся на конскую спину по обеим сторонам хребта. Наши казачьи седла мастерились примерно по такому же принципу. Седла такой конструкции применяются для дальней дороги, так как ими нельзя набить спину коню.

Я по неопытности отправился в далекий путь в английском (скаковом) седле, к которому привык, и вскоре натер бедному Ит-Алмазу большую язву на спине.

Шах-Назар одними ему известными средствами сумел вылечить Ит-Алмаза в пути, так что в Асхабад я вернулся на поправившемся коне, хотя и сильно истощенном. В дальнейшем я путешествовал только в хивинском седле.

Виденный мною хан был сыном хана, капитулировавшего перед войсками генерала Кауфмана, и предпоследним хивинским ханом. Он жил во дворце, окруженном высокой стеной с башнями и воротами в них, состоящем из скопления нескольких десятков одноэтажных глинобитных домиков, соединенных лабиринтами переходов, с множеством дверей, возле них стояли мрачные воины в восточных одеждах, со старинными винтовками и саблями, словно сошедшие с известной картины В. Верещагина «У дверей Тамерлана».

Хан сидел на стопке квадратных верблюжьих кож, выделанных до мягкости замши, лежавшей на небольшом кубическом возвышении, напоминавшем стол, слепленный из глины.

Ханский переводчик Корнилов, русский старожил, в форме полицейского пристава, сидел возле хана на пятках, прижавшись боком к этому «трону». Помня наставления Суботича, я сказал, что проехал через пески и нахожусь на аудиенции у хана по своей личной инициативе, как журналист.

Хан предложил мне сесть рядом с ним, но это было совершенно невозможно, так как на кубике свободного места не было, и вообще отсутствовала какая-либо мебель в зале.

Поэтому я сидел так же, как и переводчик, на собственных пятках, прижавшись к «трону». В беседе я все выжидал удобного случая затронуть тему о контрабанде, чтобы выполнить поручение Суботича, хотя с той поры прошло немало времени, но никак не мог этого сделать, ибо не полагалось задавать вопросы его светлости хану.

Хан поинтересовался, каков собою Уссаковский, а о Суботиче сказал по-русски: «Знаю, знаю, хороший генерал...»

Дальше хан говорил только по-хивински (или тюркски), а Корнилов переводил, хотя по всему было видно, что хан знает русский язык.

Хана заинтересовал мой рыжий Ит-Алмаз, и он дважды его осмотрел, сказав, что хотел бы иметь такого коня, но «...сам пойми, у жеребца подрезаны хвост и грива, а у нас это очень стыдно — ехать на жеребце с подрезанным хвостом. Скажут, что моя жена меня бьет...».

Когда хан заинтересовался тем, как я перенес поездку через пустыню, я сообщил ему о встрече с караваном, намекнув на то, что это, возможно, были контрабандисты, причем в Асхабаде есть сведения об участившейся контрабанде.

При таком известии хан оживился, подробнейшим образом расспросил о встреченном караване и одобрил мое поведение, сказав, что это, конечно, не мог быть караван с контрабандой, ибо он не допускает в своих владениях ничего нарушающего законы Белого царя.

Хан был явно доволен известием, а затем опять принял безразличный величественный вид и милостиво спросил, не хочу ли я получить чего-либо от него...

Я просил хана только об одной милости: разрешить мне запросто побродить по Хиве, поговорить с ее купцами и простыми людьми, так как я люблю восточные страны и предполагаю еще много путешествовать по Азии.

Хан ответил, что он мне это охотно разрешает. На том аудиенция закончилась.

Позднее Корнилов объяснил мне, что стопка выделанных верблюжьих кож — это настоящий трон потомка Чингиз-хана. Монгольский завоеватель не возил с собою трона, хотя у себя на родине имел золотой, считая, что истинный воин должен иметь сиденьем только потник коня.

Поэтому и хан хивинский выполняет завет Чингиз-хана — «всегда готов выступить в поход для защиты родины и мусульманской веры...».

После приема у хана я был еще у его наследника — Эсфендиар-Тюря, ставшего последним ханом хивинским и через двадцать лет зарезанного на стопке верблюжьих кож претендентом на хивинский трон Джунаид-ханом[1].

Эсфендиар, бледный молодой человек в шелковом восточном халате, свободно говорил по-русски, рассказывал

---

[1] В период гражданской войны в Советской Средней Азии, в 1919 году, известный предводитель басмачей Джунаид-хан, захватив Хиву, зверски расправился со своим «конкурентом» Эсфендиаром, недолго пробывшим хивинским ханом.

о своем посещении Петербурга, о жизни в нем. Он интересовался отношениями России и Афганистана, расспрашивал, «правда ли, что на афганской границе у нас постоянные стычки с афганцами, которым помогают англичане?..».

Эсфендиар учился в России и жаловался на то, что после Петербурга ему не нравятся местные хивинские жилища, и говорил, что «намерен заняться просвещением», построить себе «русский дом с печами и окнами».

Впоследствии во дворе ханского дворца действительно был построен «русский дом», куда переселился наследник, ставши ханом, но дальше этого деяния любовь к просвещению Эсфендиара не пошла.

2. ХАНСКАЯ ТЮРЬМА

Получив разрешение хана осмотреть город, вдвоем с Шах-Назаром мы много бродили по его пыльным улицам, заглядывая во все интересовавшие меня места.

Шах-Назар даже показал возле главного базара, в рядах медников и оружейников, темную, закоптелую кузню, где юношей он был рабом. Тогда такие же, как и он, рабы трудились на задворках и в других дымных мастерских, месили глину, пилили доски или тесали камни.

Теперь здесь рабов не было, но, как мог понять, в обиходе, самой работе и мастерских ничего не изменилось.

В полутьме светились огни кузнечного горна и вздыхали его мехи, поблескивала сырая глина, а над ними склонились голые, облитые пóтом фигуры, визжала пила, гудели удары молота, булькала вода...

На пороге мастерской стоял ее хозяин в чистом халате, разговорчивый, ласково приглашал заглянуть к нему, готовый за ваши деньги изготовить руками своих мастеров все, что только вам необходимо, и задешево!..

Бродя по городу, мы увидели поразительное зрелище — проезд хана через свою столицу. Эта картина напомнила мне описания поездок Ивана Грозного по старой Москве.

Впереди процессии ехали вооруженные всадники с копьями и саблями наголо, затем конюхи вели под уздцы множество коней хана поразительной красоты, всех мастей, накрытых дорогими коврами. Первыми шли два огромных битюга. Хан купил их в Оренбурге у архиерея, восхитившись мощью жеребцов.

Хан ехал один на молочно-белом черноглазом жеребце. Позади следовала сотня лихих джигитов с винтовками и копьями.

На всем пути следования процессии толпы жителей города стояли, согнувшись в поясе и скрестив руки на груди. Никто не смел поднять лицо и посмотреть на хана...

После этого зрелища я попросил Шах-Назара провести меня к ханской тюрьме. Мы подошли к невысокой пузатой башне. На коврике у низенькой железной двери сидел на корточках тюремщик со связкой больших ключей. Возле него стояла деревянная миска для подаяний заключенным.

Шах-Назар властным голосом приказал тюремщику открыть дверь башни «по распоряжению его светлости хана для осмотра тюрьмы важным русским бояром!..»

Тюремщик поспешно отворил дверь, завизжавшую, повернувшись на ржавых петлях, и мы прошли в небольшое помещение, полутемное и высокое, куда свет проникал сверху, сквозь узкое окно.

У стен, на каменном сиденье, выгнутом подковой, сидели угрюмые, молчащие заключенные, скованные одной цепью. Конец ее был прикреплен к стене. В центре подковы-сиденья, в каменном полу, находилось отверстие — клоака — для отправления естественных нужд узников. У стены печь, сложенная наподобие камина, уходила вверх, ее труба высовывалась снаружи над башней.

Заключенные смотрели равнодушно, мертвым взглядом. Лишь один хивинец, подвижный и нервный, увидав нас, быстро заговорил, а затем стал кричать, и Шах-Назар перевел мне, что тот «прикован уже тринадцать лет, невиновен, не знает, за что он в тюрьме, и только великий русский бояр может его освободить».

Услыхав крик хивинца, другие узники вскочили и, гремя цепью, закричали, что они «тоже ни в чем не виновны!..». На шум и крики прибежали два дюжих помощника тюремщика с длинными бичами.

Обеспокоенный тюремщик стал нас энергично выпроваживать из тюрьмы. Позади раздавались вопли, звон цепей и щелканье бичей, ругательства тюремщиков...

Позднее, в подробном рапорте Уссаковскому о своей поездке, я упомянул и об увиденном и услышанном в ханской тюрьме. На это через начальника канцелярии, где я числился, мне было выражено неудовольствие генерала и сделано внушение с предупреждением, чтобы я «впредь не превышал своих полномочий и не вступал в вопросы, его (меня) не касающиеся...».

Вернувшись после осмотра Хивы, мы увидели, что в красивом домике, где остановились, приготовлено обиль-

ное восточное угощение. Приближенный хана с радостной улыбкой сообщил, что по приказанию его светлости хана устраивается праздничный вечер, придут музыканты и бачи (танцоры), чтобы «увеселять мою душу».

Но я вспомнил рассказы Маргания о случаях, когда излишне любопытные путешественники после ласкового приема и обильного угощения у хана таинственно исчезали или, внезапно заболев, переселялись в «сады Аллаха»...

Так как после посещения тюрьмы сердце у меня совсем не лежало к увеселениям и, кроме того, Шах-Назар сказал мне, что, согласно обычаю, каждому баче и музыканту придется положить в рот «золотой», я начал кашлять и уверять, что очень нездоров и потому прошу, чтобы празднество не устраивалось. Приближенный хана удалился весьма недовольный, намекнув, что хан будет обижен и даже разгневан...

Хотя мои деньги и запасы были на исходе, а еще предстоял длинный обратный путь, нам надо было уезжать туда, где мы могли не опасаться дальнейших проявлений «милостивого внимания» его светлости хана.

Ночью Шах-Назар раздобыл у знакомого содержателя караван-сарая для меня тощего, длинноногого, чалого туркменского коня, оставив в залог Ит-Алмаза, чтобы затянуло рану на его спине, и рассвет застал нас обоих уже за пределами толстых стен Хивы, меня на чалом коне — на пути в Петро-Александровск [1], небольшой городок километрах в пятидесяти от Хивы, на правом берегу Амударьи.

Там была лодочная переправа. До городка доходила пароходная линия из Чарджуя (Чарджоу), туда доставляли грузы на хивинских лодках-каиках под парусами.

3. УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ ОРУЖИЕ

Часть дороги к Петро-Александровску шла берегом Амударьи.

Остановившись, примерно на полпути, на отдых, мы напоили коней водой из реки, спустившись с холмов, продираясь сквозь густые заросли — тугаи, скрывавшие прибрежные отмели под буйно разросшимися кустами тамариска, облепихи, ивняком, высоким камышом.

---

[1] Петро-Александровск — прежнее название Турткуля. Городок был основан как русское укрепление после занятия Хивы, заселявшееся с 1875 года ссыльными уральскими казаками, сосланными за протест против нового закона о военной службе, значительно урезавшего их исконные права.

Этот путь был противоположностью предыдущему, по мертвым раскаленным барханам Каракумов. Здесь всюду была видна или слышна жизнь.

Из зарослей выпархивали фазаны, со свистом резали воздух косяки диких уток и гусей. Мы пересекали тропки, по каким проходили на водопой джейраны, шакалы, кабаны. На холмах встречались остатки стен укреплений и мазаров. Из чащобы камыша или кустов кендыря, усыпанных розовыми цветами, иногда доносилось похрюкиванье, чавканье илистой почвы, шум возни зверья.

По рассказам хивинцев, даже тигры тогда встречались в этих зарослях. Пару раз мы слышали, как под напором чьей-то могучей туши с треском ломались сухие стебли камыша; хозяева тугаев — кабаны — беспрепятственно разгуливали в этих местах. Хивинцы-мусульмане обходили их стороной, следуя запрету для магометан есть «нечистое» свиное мясо.

От такого множества дичи во мне пробудилась душа охотника, и это едва не стоило жизни.

Я решил заночевать на берегу реки, в таком красивом и привольном месте, а заодно подкараулить джейрана и обновить купленную перед отъездом в магазине Аванесова полуавтоматическую американскую винтовку — многозарядный «винчестер».

Снаряжаясь в поход, я зашел в магазин Аванесова, бывший не только скобяным, но по совместительству оружейным. В магазине оказался большой выбор всяких ружей и винтовок — одноствольных и двухстволок. Но особенно Аванесов рекомендовал новенький винчестер, полуавтоматически перезаряжавшийся переводом рычага под шейкой ложа.

Аванесов всячески расхваливал механизм, подающий и выбрасывающий патроны. Он заряжал винтовку и быстро двигал рычагом, так что вскоре пол магазина оказался усыпанным гильзами, стремительно вылетавшими при открывании затвора.

«Обладая таким новейшим, усовершенствованным оружием,— убеждал меня Аванесов,— вы легко сможете один перестрелять шесть нападающих или поразить несколько самых резвых коз!»

Шах-Назар, взявший в дорогу старинную пистонную винтовку с очень длинным тонким стволом и узким ложем, изукрашенным серебряной насечкой, заряжавшуюся со стороны дула маленькой круглой пулькой, с сомнением осмотрел рычажный механизм винчестера, отрицательно зацокал и заявил, что не сменяет свою старую винтовку на это «усовершенствованное оружие».

Перед самым отправлением в дорогу я съездил на Ит-Алмазе в сторону Кеши и изрешетил ствол старого платана. Винчестер работал безотказно, и я с улыбкой думал о сомнениях Шах-Назара.

Я запомнил тропку неподалеку от ночлега, углубившуюся в мягкую лессовую землю со следами диких коз и кабанов. Шах-Назар остался стеречь коней, а я незадолго до рассвета направился на охоту. Осторожно раздвигая камыши, я вышел к берегу тихой реки и притаился возле группы тополей, росших несколько выше тропинки, ведущей к водопою.

Я устроился на песчаном бугорке в нескольких метрах от тополей и притаился в ожидании. Отсюда была хорошо видна густая щетина камышей, черневшая на фоне поблескивавшей воды.

Долго я ждал в полной тишине и неподвижности, никто не показывался на тропинке. Когда ночь стала сменяться предрассветными сумерками, над рекой пронесся словно глубокий вздох ветра, гладь воды зарябила, небо прочертили первые птицы.

Край небосвода порозовел, желтой чертой проступил противоположный, освещенный берег реки, и быстро, как это бывает только в пустыне, наступило утро.

В сумерках было довольно холодно, но с первыми лучами солнца стало припекать. Я уже огорчался, что моя охота сорвалась, и собирался возвращаться к ночлегу, когда услышал шорох позади себя...

Оглянувшись, я увидел, как, пригибая редкие камыши, в мою сторону движется несколько кабаних-свинок. Мотая головами, они рыскали по сторонам, за ними мелко семенили копытцами черные юркие кабанята. Глухо похрюкивая, стадо быстро приближалось.

Великолепное жаркое само шло ко мне в руки, хотя я и не мог рассчитывать при его изготовлении на компанию Шах-Назара.

Я прицелился под лопатку передней свинки, грохот выстрела разбудил тихую реку, стаи испуганных птиц взвились над камышами. Свинка ткнулась рылом в песок, завизжала, забила ногами. Стадо метнулось в сторону.

Но не успел я встать и шагнуть, как увидал, что, ломая камыши, взрывая песок, на меня стремительно катится огромная черно-бурая туша. «Секач!..» — понял я и сделал движение рычагом винчестера, чтобы перезарядить винтовку... второе... третье... Затвор «усовершенствованного оружия» заело после моего первого выстрела — гиль-

за выскочила, но новый патрон застрял безнадежно в магазине винтовки...

В одно мгновение нужно было решить, как поступить, чтобы спасти свою жизнь. Вот когда пригодились мне уроки веселого Жаколино Роше!..[1]

Я побежал навстречу секачу, бросил ему в рыло ставший бесполезным винчестер и, перескочив через щетинистую, вонявшую тиной черную спину, подбежал к одинокому тополю.

К счастью, я сумел с разбегу ухватиться за нижнюю ветвь, подпрыгнул, и в то мгновение, когда дерево задрожало от свирепых ударов клыков кабана, я уже сидел верхом на стволе тополя, обнимая его с пылом, какому мог бы позавидовать самый страстный любовник!..

Секач кружил вокруг тополя, рыл песок, от ствола отлетали кора и щепки, хриплое рычанье неслось из пасти с огромными клыками. Кабан становился на задние ноги, пытаясь добраться до меня, и его маленькие красные глазки сверкали ужасающей ненавистью. Иногда он подбегал к винчестеру, топтал его, схватив в пасть, мотал винтовкой в воздухе, и было слышно, как трещит расщепляемый приклад.

Солнце поднялось уже довольно высоко, но мой страж и не собирался снимать осаду. Он медленно ходил вокруг тополя, иногда обнюхивал и толкал рылом убитую свинку, но продолжал зорко следить за мною и прыжками возвращался к дереву при каждом моем движении, затем опять топтал и грыз винчестер...

Неизвестно, чем бы кончилось это приключение, если на выручку не пришел бы Шах-Назар. Он не стал стрелять в секача, а с дикими воплями и свистом поджег тугай. В мою сторону потянуло дымком, затем по песку заструилось, перебегая от одного сухого стебля к другому, быстрое пламя.

Только тогда кабан остановился, стал порывисто нюхать воздух и медленно ушел в камыши, к реке. Еще некоторое время слышалось чавканье копыт, ступавших по илу, а путь секача можно было проследить по качавшимся черным стрелкам камышей. Потом все затихло...

С трудом можно было узнать в жалких остатках винчестера щегольское «усовершенствованное оружие»! Дере-

---

[1] Жаколино Роше — известный акробат и клоун, у которого в годы юности В. Янчевецкий брал уроки гимнастики и акробатики.

вянные части были расщеплены, магазин изуродован, ствол погнут. Шах-Назар, вежливо улыбаясь и глядя в сторону, посетовал вместе со мной над потерей. Опираясь на свое старое ружье, он, должно быть, внутренне торжествовал.

В дальнейшем я всегда брал в путешествия по пескам только оружие самой простой конструкции, однозарядную винтовку Бердана, не боявшуюся песчинок, врага ружей-автоматов в пустыне.

Наше дальнейшее путешествие прошло благополучно.

После осмотра Петро-Александровска и переправы через Амударью мы вернулись в Хиву. Здесь я пересел на отдохнувшего и подлечившегося Ит-Алмаза, и, более не представая пред очи «его светлости хана», мы направились в обратный путь.

Продвигаясь на юг, мы вторично пересекли пустыню Каракум, но уже другим путем, западнее, выехав из песков около Геок-Тепе.

В Асхабаде меня ждало тяжкое известие.

1 апреля 1903 года в петербургской больнице скончался мой отец, «гомерид» Григорий Андреевич [1]. Получив внеочередной отпуск, я выехал в Петербург, а затем пробыл некоторое время у моей матери Варвары Помпеевны в Ревеле.

V. ЖИЗНЬ УШЛА ОТСЮДА

1. АМЕРИКАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Ко времени нашего возвращения в Асхабаде произошли две «сенсации». Приехала семья генерала Уссаковского, его маленькая жена, урожденная Неплюева, дочь основателя Оренбургского кадетского корпуса, и с ней три дочери. Судя по газетным заметкам, две старшие дочери отличались как наездницы на «конкур-иппик» в Петербурге.

Старшая, Елена, была роковой для сердец многих молодых людей, любила одиноко разъезжать на кобылице

---

[1] Г. А. Янчевецкий (1846—1903), переводчик греческих классиков (за что был прозван «гомеридом»), педагог, издатель и редактор журналов «Гимназия» и «Педагогический еженедельник», газеты «Ревельские известия», многих трудов по педагогике и поэзии Древней Греции.

английской породы по равнине близ Асхабада и с отчаянной смелостью брала опасные барьеры.

Вторая, «Звездочка», была замужем за французским офицером, жила во Франции и приезжала к родителям погостить. Младшая, Мума, славилась как пианистка и, кроме того, везде появлялась с фотографическим аппаратом.

Прибыл также новый начальник штаба Уссаковского генерал Неелов со своей женой-спириткой, немедленно занявшейся устройством спиритических сеансов и заразившей этим модным тогда увлечением все асхабадское «общество».

Другой «сенсацией», более серьезного свойства, был приезд в мае 1903 года в Асхабад американской геолого-археологической экспедиции научного института миллиардера-филантропа Карнеги.

Газета «Асхабад» писала тогда, что экспедиция прибыла «...по рекомендации министерства земледелия и государственных имуществ для научных исследований Копетдага, Гаудана, Хайдарабада, Карши и Термеза... Главный штаб по ходатайству посла США просил о содействии экспедиции, но с воспрещением раскопок и вывоза археологических ценностей...».

Возглавлял экспедицию Рафаил Помпелли, не ученый, а предприимчивый делец, приехавший со взрослым сыном. Возможно, поиски нефти или иных полезных ископаемых были действительной причиной прибытия этой экспедиции.

Генерал Уссаковский принял американцев весьма радушно, обещал им всяческое содействие, а мне, как знающему английский язык, поручил состоять при экспедиции.

Помпелли рассказывал, что его «снова потянуло в Россию», так как в юности он уже был в Сибири с какой-то научной экспедицией, оставившей у него «приятные воспоминания».

Научным руководителем экспедиции и правой рукой Помпелли был профессор Дэвис, известный американский ученый, автор капитального руководства по геологии, принятого тогда для преподавания во всех университетах Соединенных Штатов. Дэвис поднимался на горы Копетдага и впоследствии представил Уссаковскому доклад о своих наблюдениях с картой горных пород, разрезами гор, указанием геологического строения Копетдага.

Ассистентом Дэвиса был молодой геолог Эльсворс Хентингтон [1], позже прославившийся поездками в Тибет, на развалины Пальмиры, в Малую Азию, где ему посчастливилось открыть несколько разрушенных и засыпанных песками городов, и многими другими путешествиями и научными исследованиями.

Он рассказывал, что его старший брат служил в Константинополе; Эльсворс одно время жил у брата и получил первоначальное образование в армянском монастыре, расположенном около озера Ван, в Турции, где было американское училище, подготовлявшее миссионеров. Брат Эльсворса был тогда директором американского «Роберт-колледжа», где воспитывались дети из наиболее состоятельных семейств Турции.

Окончив училище, Эльсворс отказался от миссионерской деятельности, вернулся в Америку, где бедствовал, служил в какой-то фирме, занимавшейся постройкой железных дорог, и в то же время готовился к поступлению в университет. Он сумел поступить в него и затем, пройдя с отличием курс наук, выдвинулся своими способностями и интересными работами по геологии.

Однако школа в Ване дала Эльсворсу хорошее знание армянского языка, что не раз выручало его в будущих путешествиях, где он повсюду встречал армян, рассеянных по свету, помогавших ему в трудные минуты.

После первой же встречи с Еленой Уссаковской Эльсворс в нее безумно влюбился и не раз говорил мне, что нашел в Елене идеал своей будущей жены и был бы счастлив на ней жениться, но не решается в том открыться девушке. К тому же он «пока еще беден».

В экспедиции Помпелли был еще один выдающийся профессор, итальянский археолог, указавший на холм высотой десять — пятнадцать метров, на котором стоит полуразвалившаяся мечеть в Аннау [2], как на место, где можно найти интереснейшие археологические древности.

Экспедиция Помпелли вскоре уехала, но в начале 1904 года вернулась и занялась раскопками возле Аннау.

«Закаспийское обозрение» сообщало, что разрешено

---

[1] Эльсворс Хентингтон (1876—1947) — географ, историк и путешественник, автор теории связи климата с цивилизацией, многих научных трудов по Ближнему Востоку, Средней и Центральной Азии, Северной и Центральной Америке, был профессором Йельского и других университетов США.

[2] Аннау — в 10 километрах от Ашхабада, возле железнодорожной станции Аннау, в предгорьях Копетдага, находятся развалины древнего города, постройки его относятся к XV веку.

«...производство в Закаспийской области раскопок североамериканцу Помпелли в течение 1904 года... Для наблюдения прикомандирован профессор В. В. Бартольд и его помощники, они составят списки найденного и обеспечат охрану... Все предметы останутся в России. Помпелли разрешено описание, зарисовки и издание труда о раскопках в Аннау».

Была проведена траншея через холм и несколько курганов. Со всей научной тщательностью археологи углубились в землю, и были найдены несколько слоев поселений разных культурных эпох и могила древнейшего периода человечества.

«Американским геологом Р. Помпелли принесена в дар областному музею богатая коллекция предметов домашней утвари и древних орудий, собранных в развалинах крепости Аннау»,— писала газета «Асхабад».

Эти раскопки Помпелли были новым вкладом в изучение истории Средней Азии. Институт Карнеги напечатал в роскошном издании отчет об экспедиции, а мне тогда было досадно, что эти открытия сделали американцы (с участием В. В Бартольда, впоследствии академика), а не мы, русские, самостоятельно.

2. «НА СВОЙ СТРАХ И РИСК»

С Эльсворсом Хентингтоном мы были почти одних лет, получили одинаковое по степени и близкое по специальности образование, оба были холостяки, только начинали свою жизненную карьеру, оба мечтали о путешествиях и быстро сблизились. Мы решили вместе пересечь великую соляную пустыню в центре Ирана и проехать по Персии и Афганистану, вдоль персидско-афганской границы — к Индии.

С первых дней своего прибытия в Среднюю Азию и с началом поездок по ней я стал готовиться к задуманному далекому путешествию — через Персию и Афганистан — к Индии. Еще в Лондоне, затем в Петербурге и Асхабаде я изучал страны, через какие намечал проехать. По собранным материалам я написал и опубликовал тогда несколько статей об Афганистане, напечатанных в газетах «Асхабад» и петербургском «Новом времени».

Перед отъездом генерала Суботича на Дальний Восток, в ноябре 1902 года, я подал ему рапорт с просьбой о командировании в Персию и Афганистан и обоснованием целей своего замысла, где писал, что «главной моей целью изучения остается Афганистан и знакомство с народами, его

населяющими, в политическом, этнографическом и других отношениях» [1].

«Основательно познакомившись с литературой русской и иностранной об Афганистане, изучив его досконально теоретически, я бы желал возможно ближе ознакомиться с этим государством практически, как для того, чтобы представить научные труды относительно современного состояния Афганистана, так и равно для того, чтобы оказаться полезным правительству в случае дипломатических, торговых или иных сношений с Афганистаном...

Из многочисленных расспросов лиц, имевших сношения с афганцами, а также из расспросов самих афганцев, постоянно прибывающих в область, я убедился, что *обаяние русского имени настолько велико*, что, если только проехать пограничную черту, где не пропускаются русские подданные, можно проехать русскому человеку через весь Афганистан, не встретив никакого противодействия.

Поэтому план моей поездки состоит в том, чтобы избежать встречи с афганскими отрядами в пограничной черте, далее вполне открыто в европейской одежде проехать до Кабула. Если же афганские власти меня и арестуют, то все-таки часть моего плана будет выполнена, так как мне удастся побывать внутри этого замкнутого государства и увидеть его современную жизнь.

Начать поездку я бы полагал либо из Персии, либо из юго-восточной части Бухары и, делая возможно большие переходы, проникнуть как можно дальше в глубь страны, надеясь на дальнейшие счастье и удачу...»

Генерал Суботич представил в копии мой рапорт Туркестанскому генерал-губернатору Иванову со своим ходатайством об удовлетворении просьбы.

В ответном письме из Ташкента генерал Иванов писал: «Мне очень симпатично сообщенное вашим превосходительством намерение губернского секретаря Янчевецкого отправиться в Афганистан для ознакомления с этой страной, и желал бы, чтобы г. Янчевецкий осуществил это намерение на свой страх и риск, но... я затрудняюсь дать разрешение ему отправиться туда без предварительного согласия г. военного министра, вследствие чего ходатайство этого чиновника я вместе с сим представил его высокопревосходительству...»

---

[1] В описываемый период при эмире Хабибулле (1901—1919) между Россией и Афганистаном не было дипломатических отношений. После Второй Англо-афганской войны (1878—1880) Афганистан подпал под влияние Англии, осуществлял ее политику — враждебную интересам Афганистана и России.

В декабре 1902 года в Асхабад поступила телеграмма из Петербурга от военного министра: «На поездку на свой страх Янчевецкого согласен...»

Таким образом, еще в конце 1902 года вопрос о моей поездке к Индии решился положительно и можно было приступать к реализации замысла. Однако без малого лишь через год сложившиеся обстоятельства позволили воплотить мечту в жизнь.

Своими планами я делился с Хентингтоном, и осенью 1903 года мы вместе приняли сложное решение: совершить научное путешествие в Персию и оттуда (это облегчало бы нашу задачу) попытаться вблизи Сеистана проникнуть в Афганистан и проехать к Индии...

Поэтому в августе 1903 года я подал одновременно два рапорта, один о поездке в Персию, другой — конфиденциальный — о поездке в Афганистан и в Индию.

Вследствие отсутствия дипломатических отношений России с Афганистаном, с целью избежать излишней огласки нашей экспедиции и ее маршрута, в приказе и документах о моей командировке указывалась только Персия. Остальное, то есть Афганистан и Индия, относилось на мой «страх и риск»...

Было известно, что я сотрудничаю в петербургских газетах, и Уссаковский отпустил меня в эту поездку как журналиста — «без расходов от казны, с сохранением содержания»; поэтому для меня снаряжение в экспедицию было очень затруднительно — денег у меня было в обрез.

Я получил триста рублей командировочных и свое содержание за три месяца вперед — триста рублей (позже командировку продлили еще на месяц) — и должен был рассчитывать только на эту сумму, а все расходы с Хентингтоном, получавшим крупные денежные переводы из-за океана, мы делили пополам.

3. НАШ КАРАВАН

В нашей экспедиции было шесть человек. Три верблюда несли бурдюки с водой, вьюки с провиантом и походным снаряжением, складную палатку и войлоки, на которых мы спали. У Эльсворса еще были с собою привезенные из Америки складные кровать, стул, стол и ванна, какими он пользовался при каждом удобном случае, бывавшем весьма редко, и это сердило моего американца.

Меня сопровождали два джигита, прикомандированные Маргания: молодой веселый туркмен Хива-Клыч и мрачный старый беглый афганец Мердан.

Живший раньше в Герате, Мердан застал свою жену с любовником и зарезал обоих. Поэтому постоянные думы о волосяной петле, ожидавшей его в Афганистане, делали Мердана молчаливым и хмурым спутником. А Хива-Клыч, наоборот, сбежал от четырех надоевших ему жен и был постоянно весел.

Хентингтон нанял себе в помощники туркмена-переводчика Курбана и русского молоканина[1] Михаила, хорошо знавшего персидский и туркменский языки, отличного охотника, постоянно снабжавшего нас в пути подстреленной дичью и учившего Эльсворса русскому языку.

Михаил сам напросился в нашу экспедицию, сказав мне по секрету, что он очень страдает в своем молоканском селении из-за того, что его жена объявлена «богородицей», и потому какой-то молоканский проповедник, считавшийся у них «святым апостолом», жалует ее своим вниманием...

Экспедицию сопровождал еще пес Трезорка, долгое время живший у меня маленький белый фокстерьер, бежавший впереди, а иногда отдыхавший в пути, лежа между горбами вьючного верблюда, и усердно охранявший спящий караван по ночам, будя путников отчаянным лаем при чьем-либо приближении.

Хентингтон, вздыхавший в пути о «прекрасной Елене», всегда очень тщательно вел дневник в специальных тетрадях с копировальной бумагой. Копии записей он при первой возможности посылал в Бостон, своему отцу, так что потеря дневника в пути не была непоправимым несчастьем. Вернувшись в Америку, он опубликовал подробный отчет о нашем путешествии со множеством фотографий и чертежей в книге «Исследование Туркестана» [2].

Много лет спустя, в советскую эпоху, работая в московской Ленинской библиотеке, я встретил эту книгу, а также обнаружил другую работу Хентингтона — «Пульс Азии»; в приложении к ней были указаны все его научные работы, в том числе и «Исследование Туркестана» («Соленые озера Персии»), и сообщалось, что Эльсворс Хентингтон — профессор естественной истории Гарвардского университета. Там же были приведены имена его жены (не Елены!) и семи детей.

Отец Хентингтона, известный бостонский пастор, воспи-

---

[1] Молокане — русская христианская секта, возникшая в XVIII веке, отрицавшая весь церемониал официальной церкви, обряды, иконы, храмы и т. п., преследовавшаяся и высылавшаяся на окраины России. В Туркмении молоканские селения были на персидской границе.

[2] Эл. Хентингтон Исследование Туркестана. Экспедиция 1903 г. Вашингтон, 1905 (на англ. языке).

тал сына своим верным последователем, и Эльсворс был высоконравственен и очень религиозен, никогда не расставался с Библией, напечатанной мелким шрифтом в одном томе карманного формата, и каждый день ее перечитывал.

Насколько я успел разгадать его характер, Хентингтон относился к русским, за редким исключением, презрительно, тщательно скрывая такое отношение под напускной вежливостью. По его убеждению, все русские были развратны, нечестны, безбожны, и потому дружить с ними не следовало.

Вообще мы, русские, были для него нацией «второго сорта», а «первоклассными людьми» являлись сперва американцы, а затем англичане. Достоинства русских Хентингтон предпочитал не замечать, говоря, что «русские — азиаты, обладающие всеми недостатками, характерными для азиатских народов».

Меня Эльсворс считал недостаточно и религиозным, и серьезным.

Его отношение к «азиатам» особенно проявлялось, когда он сердился. Тогда выдержка изменяла Хентингтону, и он начинал кричать, что «в Америке все лучше!», а всех «восточных» людей называл «хэмбог» (обманщик).

Для моих отношений с Хентингтоном характерен такой эпизод. Однажды, в середине пути, еще в Сеистане, когда выяснилось, что мои средства кончаются, а новых денежных поступлений в скором времени не будет, я объяснил это печальное обстоятельство Хентингтону и, так как мы продолжали делить все расходы пополам, спросил, как будем действовать дальше.

Эльсворс ответил: «Я могу снабдить вас небольшой суммой, достаточной для возвращения в Асхабад. Но дальше по Персии я поеду один...»

Мне кажется, что при путешествии двух русских друзей между ними существовала бы более тесная взаимная выручка и поддержка и совместное путешествие не смогло бы прерваться по такой причине.

В этом путешествии мы оба относились друг к другу по-товарищески, но в дальнейшем наши пути разошлись. Десять лет позже поездки по Персии, работая корреспондентом СПТА[1] в Констатинополе, я написал Хентингтону в Америку и получил вежливо-холодный ответ. На том закончились наши отношения.

---

[1] СПТА — Санкт-Петербургское Телеграфное Агентство, предшественник советских РОСТА и ТАСС.

4. «АЛЛАХ НАС НЕ ПОКИНУЛ!..»

Караван нашей экспедиции выступил в путь из Серахса в середине ноября 1903 года, намереваясь использовать для путешествия тот осенне-зимний период года, когда после испепеляющей жары летних месяцев в Средней Азии наступает прохладная пора, а ночами подмораживает. Это время наиболее пригодно для людей и животных при дальних экспедициях по пескам и пустынным скалистым местностям.

«Далекий путь заставляет меня быть крайне осторожным»,— написал я в Асхабад перед выступлением экспедиции из Серахса. И первые же дни путешествия оправдали эти опасения, развеяв некоторые планы и надежды.

Путь по иранской земле начался с Зюльфагара, ущелья, где скрещивались границы трех государств: России, Персии и Афганистана. Оттуда караван направился на юг вдоль персидско-афганской границы. В пути мы придерживались системы, по какой то шли пустынными равнинами, то — иногда — останавливались в редких персидских селениях.

Вдвоем с Хентингтоном, я на вороном Моро, а Эльсворс на кауром иноходце, мы часто отъезжали в сторону от каравана, следовавшего намеченным путем, и осматривали местность.

Однажды, сбившись с пути, мы углубились на несколько километров в Афганистан, где нас окружили и задержали афганские крестьяне, поправлявшие арыки. Нас сопровождали только два джигита, а караван по иранской земле продолжал свой путь к ночлегу.

Когда стало ясно, что афганцы не намерены нас отпускать, Хентингтон предложил отстреливаться и уходить вскачь. Мердан шептал мне: «Аллах нас покинул! За каждого пойманного русского англичане платят тысячу рупий! У англичан здесь везде шпионы! Придется драться, иначе нас сперва сгноят в клоповнике-зендане, а потом посадят на колья перед дворцом английского резидента в Кабуле!..»

Подумав, я предложил испробовать хитроумную уловку Одиссея и ответил Мердану: «Подожди! Аллах нас еще не покинул. Это мы покинули Аллаха!..» — и приказал Мердану объявить афганцам, что я, великий сархэнг (полковник), прибыл сюда специально как посол, с кем попало говорить не стану, а требую встречи с кем-либо из самых больших здесь начальников!

Услышав такую речь Мердана, афганцы ответили, что

ближайший афганский ага (начальник) находится отсюда в нескольких километрах — в военной крепости.

«Проводите меня к нему! — приказал я.— И пошлите гонца вперед, чтобы нам приготовили чай и достархан!..»

Несколько афганцев вскочили на лошадей и умчались. Два афганца хотели взять моего коня под уздцы, но Моро, подстрекаемый шпорами, стал так злобно кусаться и брыкаться, что афганцы отбежали, и мы спокойно двинулись дальше.

Окруженные конвоировавшей толпой босоногих афганцев, мы приехали в маленькую, глиняную, полуразвалившуюся крепостцу, где уже были разостланы ковры, дымился плов и на костре стояли, подогреваясь, бронзовые кумганы с чаем.

Начальник крепости и пограничной стражи на этом участке границы, старый афганский офицер Абдул-Гамид, высокий, с бородой, наполовину выкрашенной хной, говорил с нами злобно, но вежливо, иногда проводя ладонями по красной бороде: «Как вы осмелились проехать без разрешения по афганской земле? Вы должны знать, что русским въезжать в Афганистан запрещено! Зачем вы приехали?..»

Через переводившего нашу речь Мердана мы объяснили, что это научная экспедиция, один из нас русский, но другой американец, и мы сбились с дороги, так как в этой пустынной местности пограничных знаков нет. Поэтому мы приехали сюда, чтобы нам объяснили, каким путем двинуться дальше, чтобы добраться до Сеистана, а оттуда мы направимся в Белуджистан и в Индию. Затем я добавил: «Афганцы — храбрые и благородные воины! Они не задержат мирных путников, следующих своим путем, обратившихся к ним за помощью. Разве афганцы исполняют приказы только инглезов (англичан), а не свои? Разве они не вольны поступить так, чтобы у путников осталась память об афганцах как о свободолюбивых и великодушных хозяевах?.. Или старый храбрый воин Абдул-Гамид не начальник крепости на своей родной земле?..»

Мердан старательно переводил мою речь, и мне показалось, что суровость Абдул-Гамида смягчилась. Он приказал подавать угощение, пожелал осмотреть оружие путников.

Я протянул ему свою обыкновенную старую солдатскую винтовку укороченного (кавалерийского) образца и попросил показать мне афганское ружье. Абдул-Гамид показал свою винтовку, на ее стволе было выбито английское клеймо.

Когда мы приступили к достархану, завязалась беседа, в которой Абдул-Гамид много расспрашивал о России и ее

среднеазиатских владениях. Он сказал, что я первый русский, с каким ему приходится вести разговор, и дал понять, что сам он ничего против России и русских не имеет, но, как и другие афганцы, должен выполнять приказы из Кабула своих вчерашних врагов — англичан...

Мы простились дружески. Я оставил Абдул-Гамиду в подарок свои часы, и предварительно съев весь плов (мы изрядно проголодались, плутая в поисках пути), поблагодарив за прием и указание дороги, мы сели на лошадей.

Во все время беседы Хентингтон молчал, подозрительно посматривал на Абдул-Гамида и по сторонам, иногда доставал из внутреннего кармана меховой куртки Библию, заглядывал в нее.

Мы отъехали из крепостцы спокойно, понемногу ускоряя шаг коней, перевели их на рысь и пустили вскачь, когда уже смеркалось.

За нами, наблюдая, следовало несколько афганских всадников.

Достигнув места ночлега своего каравана, где наши спутники уже разбивали лагерь, удивляясь, почему это нас нет так долго, мы услышали издалека знакомый лай Трезорки и дружно возблагодарили «Аллаха, не забывшего нас!»

А некоторое время спустя, достигнув Сеистана, в русском консульстве в Хорасане мы узнали, что капитан пограничной стражи Абдул-Гамид был вызван в Кабул, где подвергся телесному наказанию за то, что отпустил, а не задержал и не доставил в Кабул «дерзких русских путников».

5. НОВОГОДНИЙ СОН

Хентингтон, специально изучавший географию и геологию, во время пути вел записи, делал зарисовки местности, фотографировал окрестности и рассказывал мне о процессе геологических изменений земной коры, объясняя, как произошли пустыни, по каким мы проезжали, почему на них нет жизни.

Он говорил, что в течение многих тысячелетий высочайшие горы, некогда существовавшие в Иране, постепенно размывались, образуя пологие холмы и широкие долины, и лишь кое-где оставались невысокие скалы, следы некогда грозных хребтов.

В древние времена восточный Иран был густо населен, имел высокую культуру. Нам постоянно попадались развалины городов, остатки крепостей, следы каналов. По мнению Хентингтона, раскопки в восточной части Персии еще принесут необычайные открытия, обнаружив следы исчезнувших культур, о которых мы до сей поры ничего не знаем.

Лишь изредка мы встречали кочевья и небольшие поселения.

Путь шел большей частью по голой, выжженной солнцем безводной пустыне, где лишь иногда на горизонте проносились стада пугливых диких куланов и сайгаков да высоко в небе парили орлы.

Почему исчезли те селения, поля, сады и арыки, следы которых мы встречали? Ведь геологические изменения, о каких рассказывал Хентингтон, происходили много тысячелетий раньше и создали благодатную почву для развития жизни, а она, распустившись однажды пышным цветением, исчезла, словно ее и не было...

Останавливались на ночлег мы в открытой степи. Ночью слышались завывания и визг шакалов. Стреножив, напоив и накормив коней, уложив верблюдов, лежа возле тлеющего костра или забравшись в раскинутую палатку, мы мгновенно засыпали, усталые, измученные трудной дорогой.

Вглядываясь в окружающую мертвую пустыню, я невольно думал:

«Наверное, и климат здесь раньше был другой. Ведь по этой равнине некогда проходили многотысячные армии Александра Македонского, Чингиз-хана, Тамерлана, других завоевателей. Чем они питались? Где поили вьючных животных и коней? Что принесли они с собой и что после себя оставили?..

Разрушения, смерть, развалины городов и селений, гибель созданной веками культуры, узкую караванную тропу тысячелетней давности — все остальное занесено песком и пылью... Ради чего же воевали эти «потрясатели вселенной»?..»

Новый 1904 год мы встретили в пустыне, отметив его наступление залпом из винтовок и скромным пиршеством.

Эта новогодняя ночь, морозная и тихая, какой начался год, оказавшийся роковым для России, стала знаменательной и для меня. В эту ночь, под утро, я увидел странный сон.

Мне приснилось, что я сижу близ нарядного шатра и во сне догадываюсь, что большой, грузный монгол с узкими

колючими глазами и двумя косичками над ушами, кого я вижу перед собой,— Чингиз-хан.

Он сидит на пятке левой ноги, обнимая правой рукой колено. Чингиз-хан приглашает меня сесть поближе, рядом с ним, на войлочном подседельнике. Я пересаживаюсь поближе к нему, и он обнимает меня могучей рукой и спрашивает:

«Ты хочешь описать мою жизнь? Ты должен показать меня благодетелем покоренных народов, приносящим счастье человечеству! Обещай, что ты это сделаешь!..»

Я отвечаю, что буду писать о нем только правду.

«Ты хитришь!.. Ты уклоняешься от прямого ответа. Ты хочешь опорочить меня? Как ты осмеливаешься это сделать? Ведь я же сильнее тебя! Давай бороться!..»

Не вставая, он начинает все сильнее и сильнее сжимать меня в своих могучих объятиях, и я догадываюсь, что он, по монгольскому обычаю, хочет переломить мне спинной хребет!

Как спастись? Как ускользнуть от него? Как стать сильнее Чингиз-хана, чтобы ему не покориться?.. И у меня вспыхивает мысль: «Но ведь все это во сне! Я должен немедленно проснуться и буду спасен!..»

И я проснулся. Надо мною ярко сияли бесчисленные звезды. Пустыня спала. Наши кони, мирно похрустывая, грызли ячмень. Не было ни шатра, ни Чингиз-хана, ни пронизывающего взгляда его колючих глаз...

И тогда впервые появилась у меня мечта — описать жизнь этого завоевателя, показать таким, каким он был в действительности, разрушителем и истребителем народов, оставлявшим за собой такую же пустыню, как та, где спал наш караван...

Но еще много суждено было мне странствовать, видеть и пережить после этого рокового сна, прежде чем — только тридцать лет спустя — я смог осуществить эту свою мечту!..

6. ЛЮТАЯ ПУСТЫНЯ

Продвигаясь дальше на юг, наш маленький караван пересек безводную пустыню Дешти-Лут, вполне оправдывающую свое название («Лут» — означает «Лютая»). В центре восточной части Ирана на сотни километров тянутся ее песчаные равнины, прорезанные невысокими скалистыми горами, покрытые солончаками и редкими мертвыми озерами.

На берегу одного такого горько-соленого озера Немексар мы потеряли вьючного верблюда, по уши провалившегося в солончаковую трясину, и сами чудом выбрались из беспощадной западни. Все наши попытки спасти погибавшее животное и вьюки не помогли, и пришлось пристрелить обреченного на ужасную смерть несчастного верблюда, одну из бесчисленных жертв Лютой пустыни.

Трудно было представить себе, что в этой суровой местности может теплиться какая-нибудь жизнь.

Однако когда, измученные борьбой с трясиной, мы остановились на ночлег у подножия невысокой мрачной голой горы, где из трещины в черной скале слабо сочилась тонкая струйка пресной воды, к нашему костру из темноты вынырнул тощий старик в войлочном белом плаще, с пастушеским посохом, а следом за ним робко подошел мальчик лет восьми с лохматой собакой.

Приняв угощенье и греясь у костра, пастух, посасывая длинную самодельную трубку, рассказал нам много интересного о пустыне. Он не считал ее мертвой и говорил, что такой она кажется только чужеземным пришельцам вроде нас, а для того, кто тут родился, в пустыне есть все, что нужно,— вода, пища, животные и люди.

«В этой пустыне живет свободолюбивый кочевой народ Люти, кочующий между Индией и Красным морем. Люди этого народа хорошо знают свою родную землю, где и в какое время года появляется вода в колодцах, побеги растений, и постоянно меняют стоянки своих кочевий.

Молодые люти любят подстерегать купцов на караванных путях, а старики пасут баранов, сеют просо и собирают в горах дикие фисташки и миндаль...

У люти есть своя столица — Атеш-Кардэ, затерянная в глубине пустыни и окруженная лабиринтом гор, где постоянно никто не живет, только раз в три года посещают ее «священные камни». Дорогу в столицу знает только «посвященный».

Управляет народом Люти женщина, «Правительница народа», при которой действует Совет старейшин. Они тоже в столице не живут, а постоянно кочуют...»

Ночью пастух, мальчик и собака исчезли в темноте так же тихо, как появились, а караван утром двинулся дальше по такой же наводившей уныние и казавшейся нам безжизненной седой солончаковой пустыне с редкими засохшими стеблями ползучих растений, покрытых соляным кристаллическим налетом.

Продолжая спускаться на юг, мы вскоре оказались в совершенно первобытных местах, лишенных всяких при-

знаков человека, без дорог, сильно пересеченных множеством скал и глубоких расщелин. Нам стало ясно, что, блуждая между ними, мы потеряли ориентировку, заблудились.

Наш проводник, нанятый несколько дней назад в последнем персидском селении, оказался териакешем (опиекуром). Он и раньше внушал подозрение, а тут заговорил о том, что «впереди три дороги, все три плохие, без воды, а на дорогах много карапшик...»[1].

Он стал требовать прибавки себе в десять кранов и териак, пояснив, что без опиума не может идти дальше. Получив деньги и опиум, проводник завернул краны в чалму, проглотил коричневый шарик опиума и предложил нам повернуть обратно...

Положение каравана стало опасным.

Погибший верблюд унес с собою два бурдюка с водой и часть продовольствия и снаряжения.

Кроме этого, на прошлом переходе приступ лихорадки охватил молоканина Михаила, и он почти лежал в седле без сознания, обхватив руками шею своего жеребца. Курбан постоянно ехал рядом с ним, следя за тем, чтобы Михаил не упал с седла.

Чем дальше мы продвигались, тем больше убеждались в том, что заблудились. Уже смеркалось, а мы еще не встретили ничего похожего на дорогу или признаки ручья или колодца. Разбивать ночлег на солончаке не хотелось, он не принес бы отдыха ни людям, ни животным.

Хентингтон в ярости называл проводника хэмбогом, ругал карту и возмущался, крича о том, что «теперь вся равнина от Зюльфагара до Белуджистана через несколько дней будет знать, что мы простаки, которых может легко обмануть последний териакеш, и все азиаты станут над нами потешаться!..».

Эльсворс опасался и того, что проводник нарочно завел нас сюда, в это дикое место, чтобы передать в руки бродячих разбойников, и требовал продолжать путь, строго идя на юг по компасу.

Я же прислушался к совету старого многоопытного Мердана, предложившего повернуть на восток, к афганской границе, туда, где, по его словам, «в предгорьях можно встретить селения и кочевья, туда докатываются горные ручьи. А на юг продолжает тянуться голая безводная пустыня...».

Наши мнения разделились, и мы решили идти дальше

---

[1] **Карапшик** — «черная кошка», грабитель, разбойник.

разными путями, наметив пункт встречи примерно на сто километров южнее, в расчете попасть туда через три-четыре дня. Если бы встреча не состоялась, то каждый должен был идти на выручку другому.

Хентингтон с караваном, проводником, больным Михаилом и Курбаном направились на юг.

Когда звон верблюжьих боталов затих вдали, Мердан, Хива-Клыч и я повернули своих коней головами на восток.

7. ПРАВИТЕЛЬНИЦА НАРОДА ЛЮТИ

Первые сутки пути не принесли нам облегчения, но Мердан был уверен в том, что мы найдем воду, и продолжал вести нас на восток.

Когда снова спустилась ночь и наши кони вновь пошли чутьем, то спускаясь, то поднимаясь по склонам каменистых холмов, то в непроглядной темноте вдали сверкнул и погас огонек. А где огонь — там люди, вода и пища; и надежда придала нам силы.

Подъехав ближе, мы увидели большой костер, вокруг которого двигались, закрывая его пламя, женские фигуры в длинных развевающихся одеждах. Отблески костра освещали несколько черных шатров, распластавшихся, как крылья летучей мыши.

Под ноги нашим вздыбившимся коням, давясь хриплым лаем, бросились огромные лохматые собаки. Женщины всполошились, забегали, пронзительно закричали и, подбирая с земли, стали бросать в нас камни.

Когда мы подъехали к самому костру, из темноты выбежал седобородый старик в чалме и, яростно размахивая руками, отгонял нас. Мердан что-то кричал старику по-афгански, а Хива-Клыч пытался объясниться по-персидски и туркменски, но это плохо помогало.

Женщины, закрывая рукавами нижнюю часть лица, продолжали визжать. Камень пролетел мимо моего уха, другой ударил в коня Мердана.

В растерянности мы попятились, но тут из-за шатров выбежала маленькая смуглая девочка в красной одежде, расшитой звенящими серебряными монетами, что-то крикнула женщинам, и те сразу успокоились. Старик отошел, продолжая ругаться и шипеть. Подойдя к нам, девочка очень быстро заговорила на языке, похожем на персидский.

Хива-Клыч приступил к переговорам, и оказалось, что мы попали в кочевье Машуджи — одного из племен народа

Люти, где живут одни женщины, и поэтому мужчинам, а тем более кяфирам (неверным), тут нечего делать. Но в кочевье есть старшина, тоже женщина,— Биби-Гюндюз, она хочет повидать путников и просит нас пройти в ее шатер.

Женщины отозвали собак, приняли и увели наших коней.

Законы восточного гостеприимства свято соблюдаются всеми народами Азии, и поэтому с той поры, как мы были приняты в качестве гостей в чужом кочевье, нам больше не следовало беспокоиться ни о себе, ни о своих конях.

Звеня монистами, девочка повела нас за собой и, приподняв полог, ввела в полутьму одного из шатров, усадила на ковер перед струйкой голубого дымка, дрожавшего над тлеющими углями очага.

Немного присмотревшись, мы увидели по другую сторону очага неподвижно сидящую в позе Будды женскую фигуру с опущенными глазами. Это и была Биби-Гюндюз — правительница племени.

Красная шелковая одежда с нашитыми золотыми монетами и украшениями покрывала ее плечи. Голову укутывала шаль, поверх нее надета золотая конусообразная тиара с золотыми подвесками на цепочках. Блики костра освещали красивые застывшие тонкие черты коричневого лица рано постаревшей или очень моложавой женщины, насурьмленные прямые брови, синюю точку над переносицей. На бронзовой шее и груди висело несколько ожерелий крупных изумрудов и бирюзы.

Хива-Клыч начал вежливый восточный разговор о здоровье баранов, коней и верблюдов Биби-Гюндюз, о ее здоровье и о здоровье всех женщин ее племени, а потом рассказал о пути нашего каравана через соляную пустыню к границам Индии.

Биби-Гюндюз слушала молча, неподвижно, опустив взор.

Услышав, что в экспедиции есть «большой мулла» американец, рисующий горы, она подняла узкие черные глаза и остановила на мне пристальный загадочный взгляд.

«Я знала о вашем караване и раньше,— сказала Биби-Гюндюз тихим мелодичным голосом.— Твой товарищ рисует горы, чтобы потом отнять их у тех, кто живет в этих горах? И ты тоже?.. А в Индию вас не пропустят. В Белуджистане стоят большие отряды англичан, они никого не пропускают...»

Я успокоил Биби-Гюндюз, сказав о себе, что я «искатель истины», брожу по свету, чтобы узнать, где и как живут люди и в чем их счастье...

Взгляд Биби-Гюндюз немного потеплел. «Так ты дервиш? Дервиш-ференги? Таких я еще не встречала...» И она попросила рассказать ей о моих путешествиях.

Услыхав о том, где я побывал, Биби-Гюндюз сказала:

«О! Ты еще очень мало видел, немногое знаешь! Ты еще совсем молодой! Долго тебе еще предстоит ходить и искать, прежде чем ты поймешь, что за счастьем никуда ходить не надо. Оно у каждого народа на его земле. Счастье — в свободе народа, у его родного очага, в его любимом занятии, в кругу его родных и соплеменников!..»

Затем Биби-Гюндюз рассказала о племени машуджи, о том, что свой шатер она раскидывает и на зеленых высокогорных лугах Гималаев, и в желтых песках Аравии. Когда я заинтересовался тем, как это она может так свободно кочевать через границы многих государств, Биби-Гюндюз поведала чудесную легенду о своем племени; в ее правдивость она глубоко верила, а мне этот рассказ показался сказкой.

«В очень древние времена, когда на вершинах здешних гор еще росли кедры, а в рощах щебетали птицы, Искендер Двурогий пересекал со своим войском пустыню Дешти-Лут. Искендер умирал от жажды, а с ним погибало все его войско, не подозревавшее о близости колодцев со сладкой водой.

Находившаяся неподалеку в своей столице Атеш-Кардэ правительница свободного народа Люти пожелала увидеть Великого завоевателя, явилась к нему в лагерь и указала Искендеру на ключ сладкой воды.

Искендер напоил свое войско, провел ночь в беседах с правительницей Люти, а уходя в поход, оставил ей фирман (указ), разрешающий на вечные времена свободный проход народу Люти по всем землям, через все границы основанного Искендером государства, и освобождающий Люти от налогов и сборов на десять тысяч лет вперед, с одним условием: главой народа всегда должна оставаться женщина.

Женщины миролюбивы, не устраивают заговоров, восстаний и не любят войн.

В том же году у правительницы родилась дочь, ставшая правительницей народа после смерти своей матери, а от нее произошли все остальные правительницы свободного народа Люти, и Биби-Гюндюз — потомок той правительницы, что провела ночь в беседах с Искендером...

С той поры нигде, ни в одном государстве Азии, не спрашивают у Люти разрешения пересечь границу, и ни один сборщик налогов не осмеливается заглядывать в их шатры...»

Когда я заинтересовался судьбой фирмана Искендера, Биби-Гюндюз сняла с груди и показала большой, висевший на цепочке, серебряный амулет, похожий на початок кукурузы или еловую шишку, сказав, что в нем, передаваемый из рода в род, хранится легендарный фирман.

В амулете, открывающемся наподобие медальона, лежал свиток пергамента, высохший и кофейного цвета от времени, испещренный слабо различимыми значками, похожими на древнегреческие буквы. Узнав, что мне знаком греческий язык, Биби-Гюндюз разрешила прочесть и переписать то, что разберу, чтобы потом перевести на язык ее племени.

Женщины, закрывая лица головными платками, принесли восточные сладости и после угощения отвели нас в другой шатер, где уже были сложены наши уздечки, седла и хуржумы, и там мы провели остаток ночи.

Часть времени я провел в рассматривании и копировании при слабом свете огонька масляного фитиля, плававшего в глиняной плошке, тех немногих сохранившихся строк, по-видимому письма «Великому Александру» от его воина, попавшего в плен к скифам после неудачной для македонцев битвы у Яксарта (Сырдарьи)...

Ночью Мердан несколько раз выходил из шатра смотреть наших коней и ворчал, подозрительно оглядываясь, что мы «попали к ворам-цыганам, только и ждущим момента, чтобы нас зарезать и забрать наших коней».

До известной степени у него были основания так думать.

С нами ночевал старый мулла, вскакивавший при каждом нашем движении, посылавший проклятия «всем кяфирам!», всматриваясь в нас ненавидящими глазами.

Утром те же женщины принесли нам плов с финиками, а затем подвели хорошо выстоявшихся, отдохнувших, накормленных и напоенных, оседланных наших коней.

Перед самым отъездом подошла и Биби-Гюндюз. На этот раз на ней не было надето никаких украшений, и внешне она ничем не отличалась от других женщин ее племени. Биби-Гюндюз деловито осмотрела коней, потрогала подпруги, проверила, наполнены ли наши бурдюки, и пожелала счастливого пути.

Рядом с ней была так на нее похожая смуглая девочка, встретившая и проводившая нас в шатер Биби-Гюндюз минувшей ночью...

Возвращая амулет со свитком, я не стал разочаровывать Биби-Гюндюз; наоборот, подтвердил древность папируса и, поблагодарив за гостеприимство, пообещал при-

слать ей точный перевод фирмана Искендера через первых же встреченных нами кочевников-белуджей.

Биби-Гюндюз разрешила сделать несколько фотоснимков ее шатров и женщин Люти, я обещал прислать ей и фотографии, конечно, уже из Асхабада; несколько фотографий, сделанных в кочевье женщин машуджи, чудесным образом сохранились до наших дней (В архиве В. Яна.— *М. Я.*).

Так, с невольной помощью проводника-териакеша, завлекшего нашу экспедицию в эти дикие места, на отлете от проторенных караванных троп, я увидел необычайное — побывал в кочевье амазонок племени Машуджи, повидал правительницу свободного народа Люти и «фирман Искендера».

Впоследствии эти встречи и впечатления помогли мне написать рассказы «Ватан» и «Письмо из скифского стана».

8. «ЗАДЕРЖАТЬ ДЕРЗКИХ ПУТНИКОВ!»

К вечеру следующего дня в условленном месте встречи, поднимаясь по крутому склону оврага, мы увидели на вершине холма маленькую человеческую фигуру. Хентингтон, сидя на складном стуле, читал свою любимую Библию. Невдалеке виднелась растянутая палатка, возле нее лежали верблюды и паслись стреноженные лошади, возле костра ходили Курбан и Михаил.

«Все ли благополучно? Отчего вы не в походе?..» — радостно закричал я издали Эльсворсу и галопом поскакал на холм.

«Все отлично... О'кей!.. Но сегодня воскресенье! Как истинный верующий я считаю своим долгом в этот день предаваться отдыху и размышлениям...» — объяснил мой американский спутник.

После долгого тяжелого пути мы прибыли в Сеистан. Эта очень болотистая область восточного Ирана, лежащая на кратчайшем пути из Средней Азии в Индию, орошается и затопляется разливами реки Гильменд, теряющейся далее в песках, не добравшись до Персидского залива.

В древнейшие времена Сеистан славился как родина легендарного иранского героя Рустема, был богатейшей провинцией Персии. Он не раз подвергался нашествиям и опустошениям, а в последний раз был разгромлен и начисто ограблен Тамерланом и после того уже не смог оправиться.

При посещении Сеистана нашей экспедицией, по этой наполовину заболоченной равнине, пустынной и невозделанной, кочевали воинственные белуджи со своими стадами.

Сеистан (или Белуджистан) долго был «яблоком раздора» между Ираном и Афганистаном, пока в 1872 году он не был разделен между ними, конечно, при «посредничестве» Англии. Однако такое искусственное разделение страны, выгодное только «посреднику», никак не смогло устроить единое по национальности население Сеистана, привело к возникновению множества постоянных пограничных инцидентов.

В Сеистане мы посетили одного из местных белуджийских ханов и, как водится, «поднесли дары». Хан нас принял радушно и в разговоре за достарханом сказал:

«Я благодарен вам за подарки, но мне нужно другое... Со мной все время воюет мой брат, правитель соседнего округа в Афганистане. Ему тайно помогают англичане — дают оружие. Почему русский царь, такой могучий, не пришлет мне несколько пушек? Я бы тогда справился со своим братом и стал жить в вечной дружбе с русским царем!..»

В Нусретабаде, административном центре провинции, мы были приняты в русском консульстве и узнали, что дальше, через афганский Сеистан (Белуджистан), к индийской границе (до нее оставалось менее 100 километров!) англичане нас не пропустят. Между тем незадолго до нас несколько немецких путешественников свободно проехали здесь в Индию.

В консульстве мы узнали и о том, что англичане, оберегавшие и старавшиеся удерживать в своих руках все подступы к Индии, зорко следившие за каждым русским, направлявшим свои шаги в сторону «жемчужины британской короны», были встревожены и этой нашей экспедицией.

Английские консулы получили приказ — чинить нам в пути всяческие препятствия и, если удастся, задержать экспедицию, вероятно потому, что один из ее руководителей был русский!

Шайки бродячих разбойников высылались нам навстречу с целью перехватить караван и разделаться с ним в пустыне, навсегда скрывшей бы тайну его исчезновения.

Но у меня в пути было правило, по какому, расспрашивая у встречных о предстоящей дороге, я своими вопросами наводил собеседника на ложный след, сам направляясь вовсе по иному пути. Так нам удалось избежать нежелательных встреч и преследований, благополучно пересечь Персию.

В своем рассказе «Афганские привидения», написанном вскоре, я поведал об одной такой нежелательной встрече, едва не закончившейся трагически для нашей экспедиции.

В Сеистане пришлось прервать наш путь к Афганистану, Индии и Персидскому заливу еще и по другим причинам.

Поступили известия о коварной атаке японскими миноносцами русского флота в Порт-Артуре[1].

Мои денежные средства совсем иссякли.

Хентингтон неожиданно получил телеграмму от директора института Карнеги с распоряжением вернуться в Америку.

Мы «повернули головы коней обратно» и двинулись на север, но другими, более западными путями, через персидские города.

9. КРЕПОСТЬ ЯЗЫЧНИКОВ

На обратном пути мы видели еще немало удивительного.

Город, разрушенный землетрясением накануне приезда нашей экспедиции, и другой город, в Сеистане, расположенный посреди болотистого озера.

Этот необитаемый город, по улицам его можно было ездить только на плотах, сделанных из связок камыша в форме сигар, покинули по неизвестным причинам все его жители в давние времена.

Его единственной обитательницей оказалась рыжая лисица, метавшаяся по городским крышам и переулкам, снова и снова выбегавшая нам навстречу.

Мы посетили «священный город Мешхед», центр Хорасанской провинции, где фанатичные правоверные мусульмане считали за высшую честь быть похороненными. Поэтому туда отовсюду привозили покойников, часто издалека, и город окружало сонмище бесчисленных могил, отмеченных однообразными надгробиями.

В Мешхеде мы воспользовались очень любезным приемом у русского генерального консула Панафидина. Здесь моя командировка была продлена еще на месяц, консул снабдил меня небольшой суммой денег и пообещал продать наших двух уцелевших верблюдов; надобность в них миновала, большинство вьюков опустело, мы всегда имели воду в пути и приближались к русской границе.

Вскоре после выезда из Мешхеда, на последнем этапе обратного пути, мы услышали от местных жителей о каких-то развалинах на вершине одинокой горы, где будто бы в древние времена жил грозный разбойник, державший в страхе всю округу и хранивший там сокровища. Гора называлась Кяфир-Кала (Крепость язычников).

Суеверные Мердан, Курбан и Хива-Клыч отказались

[1] Японские миноносцы атаковали русскую эскадру на рейде Порт-Артура в ночь на 27 января 1904 года.

лезть на гору, и, оставив караван с джигитами в селении, Хентингтон с Михаилом и я выехали к Кяфир-Кале.

Подняться на гору сперва показалось делом невозможным.

С трех сторон скала была почти отвесной и гладкой. С четвертой стороны громоздились огромные обломки скал. Все же на одной отвесной стороне мы увидели еле заметные следы горных коз и решили не отступать. «Если на вершину прошли козы, то проберется и человек!..»

Мы с Эльсворсом оба хотели доказать, что американец и русский не уступят друг другу в настойчивости и ловкости, и стали ползти по едва заметной тропинке.

Вскоре она прервалась возле отвесной стены. Дальше предстояло взбираться вверх под углом в сорок пять градусов по совершенно гладкой, точно отшлифованной скале. Мы поглядели друг на друга и сказали: «Иншалла!» (С нами бог!)

Хентингтон полез первым, я вслед за ним, готовый подхватить, если сорвется.

До сих пор я вижу перед собою этого маленького, слегка сутулого, настойчивого человека и то, как он, распластавшись, карабкается, стараясь воспользоваться каждым незначительным бугорком. Наконец он взобрался наверх, уселся над обрывом и сейчас же раскрыл Библию, посматривая на меня и подавая советы.

Ощупывая каждую выпуклость, я подымался следом, и до вершины уже оставалось ползти метра четыре, но тут из ножен, висевших на поясе, выскользнул кинжал, задержался и остался лежать на откосе.

Я уже близко видел толстые, подбитые гвоздями подметки сапог моего американца, но сделал движение, пытаясь поймать кинжал, мой сапог соскользнул с бугорка, на какой опирался, и я стал медленно сползать в пропасть...

Мысли завертелись вихрем: «Неужели конец?.. Еще пара метров, и я свалюсь в пропасть!..» Бросив взгляд искоса вправо, я увидел глубоко внизу Михаила и наших коней, маленьких, как муравьи... Но тут я почувствовал, что нога оперлась о небольшой бугорок, и перестал соскальзывать вниз.

Взглянув влево, я не поверил глазам своим: из-за грани скалы показалась смуглая волосатая рука, высунулась лохматая голова с всклокоченной полуседой черной бородой, и полуголая, в лохмотьях, фигура выскочила на скалу, ловко схватила кинжал и быстро сползла в пропасть...

С отчаянной энергией дополз я до вершины горы, и там мы с Эльсворсом пожали друг другу руки.

На каменной площадке вершины горы Хентингтон нашел остатки какой-то постройки и зарисовал их.

Обратно мы спустились иным путем, по обломкам скал.

В персидском селении, где нас ожидал караван, жители рассказывали о таинственной фигуре, схватившей выпавший кинжал.

«Это полусумасшедший Мамед-Али, ставший дервишем после того, как при сильном землетрясении его жена и дети провалились в разверзшуюся землю. Он живет на Кяфир-Кале, умеет туда пробираться по одному ему известной тропе над пропастью...»

О рискованном подъеме на Кяфир-Калу и своих переживаниях я написал уже в советское время рассказ «Демон Горы».

От Кяфир-Калы наша экспедиция быстро и без приключений достигла русской границы и 1 марта была в Асхабаде.

Хентингтон вернулся в Америку не задерживаясь.

В Асхабаде по итогам экспедиции я написал подробный отчет, представив его начальнику области, а тот переслал его в штаб Туркестанского военного округа, оттуда отчет направили в Военное министерство.

Четвертый месяц шла русско-японская война, и я вскоре выехал в Петербург, чтобы добиться назначения в Маньчжурию, на фронт, военным корреспондентом.

Так же, как Хентингтон, я вел дневники и делал зарисовки в пути, фотографировал, но почти все записи об этой экспедиции, как и о других поездках по Средней Азии, погибли в огне войн и революций.

Остались немногие заметки, очерки, рассказы, напечатанные в петербургской и асхабадской прессе тех лет, фотографии, рапорты в архивах Ашхабада и Ташкента, да в советское время я написал несколько рассказов, в основу каких легли воспоминания о моих путешествиях по Средней Азии начала нашего века.

10. КЛАДОВАЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

За этот свой первый период службы в Средней Азии я много раз отправлялся в поездки и путешествия по пустыням и горам, кочевьям, поселкам и городам.

Трижды я посетил Ташкент, будучи членом «Саранчового комитета», изучая методы борьбы с саранчой и договариваясь в Туркестанском губернаторстве о приобретении французских конных аппаратов Вермореля (своих, русских, аппаратов тогда не было) для уничтожения «кобылки».

На обратном пути из Ташкента побывал я в Ферганской долине и в столице Бухарского эмирата.

Для «Саранчового комитета» я составил программу действий и проехал по прикопетдагской полосе в поисках участков, где притаились личинки саранчи, а затем руководил отрядами по уничтожению этого ужасного губителя посевов и растительности.

Я сопровождал Суботича в его поездке на полуостров Мангышлак и в некоторых других инспекциях, а позже посетил Северную Персию уже как член «Сельскохозяйственного комитета» — для ознакомления с экономическим и продовольственным положением населения в соседних с нами персидских провинциях. Там, как и в Закаспии, часто свирепствовал голод, бывали засухи, неурожаи, и все растущее пожирала саранча.

Несколько продолжительных поездок верхом вдвоем с туркменом-переводчиком были у меня по восточным землям, аулам и поселкам Асхабадского уезда для выяснения положения и нужд туркменского населения в землепользовании, распределении воды, народном образовании, в необходимости продовольственной помощи.

Тогда же напечатал я несколько очерков и статей в местных газетах на актуальные темы: «О мерах сближения населения Туркестанского края с русскими», «О ташкентских русско-туземных школах», «О вражде туркменских племен из-за нехватки земли и воды», о нашествиях саранчи и борьбе с нею, о своих поездках по Закаспию, наблюдениях жизни туркмен.

Помня наставления своего отца и учителя о том, что «детям принадлежит будущее», куда бы меня ни забрасывала судьба, я не оставлял без внимания детей, заглядывал в школы, если встречал их на своем пути.

А так как тогда не было школ для туркменских детей (в лучшем случае дети богатых и знатных родителей-туркмен учились грамоте и счету по корану и шариату в мусульманских духовных школах у мулл, ишанов, табибов и прочих местных мракобесов), я думал о том, как организовать школы для всего туркменского народа, пытался это сделать.

Посещая туркменские кочевья, я обычно собирал туркмен на сходы, где выслушивал и записывал их жалобы и пожелания для доклада начальнику области.

Здесь, в Туркмении, как и прежде в России, в период своего «хождения по Руси», меня особенно волновала неграмотность коренного населения, отсутствие школ. В одном из рапортов осени 1903 года я написал от имени туркмен кочевий, где побывал:

«Аул Безмеин: мы очень просим, чтобы правительство помогло нам и открыло школу, где бы наши дети учились разным ремеслам...»

«Аул Геокча: мы очень желаем, чтобы наши дети учились в какой-нибудь школе русскому и мусульманскому письму...»

«Аул Кипчак: кипчакцы желают, чтобы их дети учились разным ремеслам... теперь умеют читать и писать по-туркменски только 5—10 мальчиков из 100...»

«Аул Янкала: просим построить в ауле... школу, хотя бы самую простую. Наши дети ничему не учатся, растут дикарями...»

На этот рапорт начальник области наложил резолюцию: «Вот это — дело! Нужно обсудить».

Впоследствии, в январе 1904 года, когда я был в Персии, на заседании областного «Сельскохозяйственного комитета» присутствовавшие старшины поименованных в рапорте аулов «...заявили, что их общества подобных ходатайств не возбуждали...», однако они высказались в поддержку желательности устройства школ в аулах.

Как я узнал позже, в конце того же года в Ташкенте обсуждалась возможность открытия в Асхабаде ремесленного училища для мальчиков-туркмен.

Начавшаяся русско-японская война надолго отвлекла общественное внимание от поставленной проблемы организации школ для туркменских детей, и решена она была окончательно только через два десятилетия, в советскую эпоху.

Когда весной 1904 года я покидал Асхабад, генерала Уссаковского повидать мне не пришлось, а его адъютант ротмистр Качалов очень надменно сказал мне, чтобы я не рассчитывал на свое возвращение в Асхабад.

«Если вы вздумаете потом вернуться с Дальнего Востока сюда, то мы вас обратно не примем!..»

«Как понимать слово «мы»? Кто это «мы»? — спросил я.— «Мы» — это вы или генерал Уссаковский?..»

«Это одно и то же»,— ответил Качалов.

Таково было отношение чиновничье-офицерского «общества» Асхабада, вначале дружески принявшего меня за «своего», а потом, за малым исключением, относившегося враждебно.

Этих людей снедала зависть, порождавшая ненависть, потому что, погруженные в заботы только о собственном благополучии, любопытные только в части провинциальных дрязг и сплетен, они не видели дальше своих эгоистич-

ных интересов, а на страну, где жили, и на ее народы смотрели как на свою колонию и на туземцев.

Я же, за годы, проведенные в Средней Азии, полюбил ее голубые дали, изучал историю, культуру, языки среднеазиатских народов, написал ряд статей и рассказов о них, держал себя независимо, не прислушивался к власть имущим, а шел своей дорогой, мечтал о новых путешествиях, накапливая знания и впечатления, продолжая искать, где же он, счастливый «Зеленый клин» — мечта обездоленных землепроходцев...

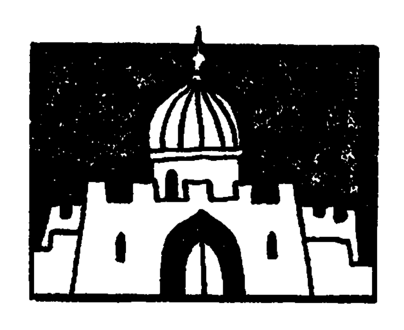
В своем последнем, прощальном письме из Ревеля (куда заехал проститься с матерью, уезжая на фронт в Маньчжурию), я написал генералу Уссаковскому:

«...Оставляя Закаспийскую Область, прошу принять мою искреннюю признательность за все предписанные мне командировки в Каракумские пески, Афганистан, Персию и за всю мою работу в области, исполненную по мере сил, что все дало мне драгоценнейшие сведения и знакомство со Средней Азией...»

Увиденные на рубеже двадцатого столетия картины полуфеодальной жизни народов Средней Азии много лет спустя дали стимул моему воображению, чтобы воскресить из небытия сцены жизни древнего Хорезма в повести «Чингиз-хан». Внешность эмира бухарского помогла созданию облика Хорезм-шаха Мухаммеда, посещение Хивинского ханства, островов прокаженных, путешествие через Каракумы и Персию помогли изобразить эпизоды жизни и гибели Хорезма...

Эти поездки дали мне краски, впечатления и понимание души восточного человека...

1947—1948; 1955—1985



ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

О своей работе над повестью «Юность полководца»[1] автор писал[2]: «...в Ленинской библиотеке я изучаю медвежью охоту, надо ее показать в описании Александра *Ледового*... С утра занимался биографией Александра Невского (я бы лучше назвал его *Ледовый*). Загадочная личность для начала XIII в. В сражении на Неве с Биргером — ему было 20 лет! А он руководил небольшой новгородской дружиной и сделал такое стремительное наступление, что разметал соединенное войско шведов, финнов (сумь и ямь). Затем «изгоном» (стремительно, внезапно) налетел на Псков, захватил переветчиков (сумь и ямь), а немцев привез в Новгород... Затем было его великолепное *«Ледовое побоище»*, где он татарским приемом заманил немецких рыцарей на лед и растрепал их в пух! Ведь таков был только Александр Македонский!..» (Москва, 12—13.III.40).

В процессе творчества автор привлекал к обсуждению избранной им темы близких ему писателей, историков. Так, изучая отношения Александра Невского с Золотой Ордой и государями Западной Европы, В. Ян посетил академика И. М. Майского, «...беседовал с этим выдающимся политическим деятелем и очень умным, талантливым человеком, рассказал о своей работе, вопросах, на какие жду ответа» (1.IV.45), получил дельные советы.

«...Каждый день в 9 часов утра я в Ленинской библиотеке... Бьюсь над тем, чтобы описать Чудское озеро и битву новгородцев на нем так, как никто и не подозревает, что можно с такой стороны описать. Изучаю новгородскую речь того времени, сказочный говор, пословицы и поговорки и не выпущу из рук моих страниц, пока сам не похвалю себя. А потом — «пущай ругають, али хвалють», а я перейду к другой теме...»,— писал мне отец 22 мая 1945 года. «...приходится взрывать неизвестную целину. Показать Александра новым, живым, необычайным, во всех разрезах его многогранной натуры, настоящим русским самород-

---

[1] О создании этого произведения см. также т. 3 наст. издания, стр. 523—525.

[2] Здесь и далее приводятся выдержки из дневников и писем В. Яна за 1940—1952 гг., конспектов его докладов и бесед с читателями (Архив писателя), а также из его статьи «Путешествия в прошлое» (журнал «Вопросы литературы», 1965, № 9).

ком, очень оригинально и по-своему решавшим самые труднейшие политические, военные и житейские вопросы, показать таким, каким еще никто не показывал... нужно нарисовать еще и фон — такой разнообразный и многогранный: и Вольный Новгород, и отношения к Северным соседям, и Золотая Орда, и происки папы римского, желавшего посредством обращения в католицизм захватить Русь в свои руки...» (2.VII.45).

«...Обдумываю, как передать столкновение Александра с немцами,— записывает он в дневник.— Их надо показать самовлюбленными, гордыми, самоуверенными, готовыми уничтожить всё и всех на пути, чтобы утвердить свое (немецкое) государство, где царят немецкие рыцари, а всё население на коленях, склонило головы до земли, рабски исполняет немецкую волю... Александр (22 лет!) воодушевляет всех, созывает ушкуйников, крестьян, кого только может, и гениально заманивает немцев на лед озера, начавший трескаться; а из Пскова уже прискакали гонцы предупредить, чтобы уходить с озера! — «уже на реке Великой, в верховьях пошел ледоход!..».

«Кому ледоход — горе, а нам подмога!» — решил Александр и приказал готовиться отступать и заманивать рыцарей на озеро» (15.IX.45).

Автор встречается со своими читателями и коллегами-писателями, рассказывает о работе над повестью: «...я пытаюсь осветить образ замечательного русского северного богатыря — Александра Ярославича Новгородского, одного из первых великих собирателей Русской земли... Назван он в моей повести *«Беспокойным»* потому, что в одной древней летописи о нем говорится: «Очень он о родной (земле) Русской *беспокоился...* и дума о ней никогда его не покидала...»

«...Что такое *великий человек?* Это человек, чьи индивидуальные способности делают его наиболее пригодным для служения великим общественным нуждам своего времени. Великие люди всегда являются *«зачинателями»,* они видят дальше и хотят сильнее других. Сила выдающейся личности в ее связи с массами, с народом, в умении организовать массы, предвидеть ход исторического движения.

Это определение сущности *«великого человека»* послужило мне отправной точкой, *«ориентиром»*, как говорят артиллеристы и летчики. Эти «ориентиры» являются самым необходимым обязательным условием при создании образа личности великой, но о которой мало известных исторических данных.

У каждого великого человека имеются свои единственные индивидуальные черты, отличающие его от других. Искусство биографа-романиста состоит именно в выборе индивидуальных черт. Ему нечего заботиться о безусловной научной точности в описании жизни своего героя, отдаленного туманом столетий, в особенности когда нет описаний очевидцев, закрепленных собственных слов, сказанных героем. Биограф должен, с одной стороны, придерживаться некоторых безусловно точных «ориентиров», с другой стороны — свободно творить, имея художественное прозрение, бросая лучи критического творческого прожектора в далекое прошлое, выбирая из хаоса возможностей наиболее характерные, индивидуальные черты своего героя, стараясь создать образ живой, полнокровный, незабываемый и в то же время правдивый.

Писать о *«потрясателе вселенной»* Чингиз-хане было сравнительно легче, чем об Александре Невском. В распоряжении автора были многие летописи, речи и поучения, «История монголов» Рашид ад-Дина, воспоминания современников, другие материалы. Но писать повесть-биографию Александра Ярославича несравненно труднее. Слишком мало «ориентиров». Хотя имеется ряд исторических исследований о жизни Новгорода, особенно его материальной культуре, напрасно искать в них тех индивидуальных, характерных черт, из каких создается *живая картина* кипучего народоправства в эпоху Александра, смелого хранителя русских пределов от вторжений разноплеменных сильных интервентов... Время было исключительно тяжелое, города разрушены, летописцы и «книжные люди» перебиты, некому было описывать происходивший разгром Руси... С юга продолжали угрожать татары, еще не потерявшие желания ограбить уцелевший богатый Новгород. С Запада и Севера напирали немцы, шведы и крайне воинственные, могущественные тогда, князья литовские...

Но страшные враги угрожали не только извне, они гнездились также внутри страны. Богатые немецкие торговые компании имели свои склады и гостиные дворы в Новгороде, Пскове, других местах, вербовали себе сторонников среди знатного боярства, добиваясь изгнания из Новгорода неугодного им *«беспокойного»* князя... Александру было всего 20 лет, когда он разбил шведов на Неве, и 22 года во время битвы на Чудском озере... После этого Александру пришлось более двадцати лет провести в непрерывных битвах, и он всегда одерживал победы...»[1]

«...В процессе работы над повестью возникает бесконечный ряд вопросов. Возьмем простейшие: как прошло детство Александра? Известно, что, когда его отец, князь Ярослав, уехал во Владимир, а затем в Киев, он оставил правителями Новгорода сыновей — семилетнего Александра и его, тоже малолетнего, брата Андрея. Оба мальчика со своими воспитателями тайно бежали в Переяславль, спасаясь от грозящего им убийства...

Как далее учился Александр? Какие книги он читал?.. Какова была дружина Александра: конная или пешая?.. Был ли у нее какой-нибудь воинский строй?.. Какую роль играла в жизни Александра его жена Васса?.. Каковы были отношения Александра и Батыя?.. Как и чем сумел Александр завоевать дружественное доверие грозного владыки Золотой Орды?.. Какой вид имела в то время ее столица Сарай на Ахтубе, одном из семидесяти устьев Волги?.. И так далее...

Какие главные источники дают возможность выяснить образ и жизнь Александра? Их до крайности, до боли мало. Основным является написанное неизвестным монахом в конце XIII — начале XIV века «Житие Александра», очень краткое, многократно переписывавшееся и подвергавшееся переделкам... Слишком краткие описания *Невской битвы,* и *битвы на Чудском озере,* где каждое слово должно быть особенно дорого.

---

[1] «Александр Невский и Батый». Конспект доклада. 1950.— Архив В. Яна.

Александр в этом «житии» постоянно *«обливается слезами»,* становится на колени, *«воздевает руки к небу»* и произносит длинные, якобы им сочиненные молитвы.

В очень тщательном исследовании В. Мансикка, вышедшем в 1913 году, «Житие Александра Невского», его автор установил, что все эти якобы «молитвы, слезы и воздевание рук к небу» — текстуально списаны из других, более древних, так называемых «военных повестей» и «житий». В. Мансикк сразу очистил Александра от слащавого, умильного «божественного» сюсюканья, и перед взором его биографа стал вырастать более живой, четкий, правдивый образ русского смелого богатыря, беспощадного к врагам Родины, зоркого и беспокойного борца, настороженного, вдумчивого *«печальника о земле Русской»...*

Постепенно прибавлялись новые ориентировочные точки. Я стал искать каких-нибудь данных об эпохе Александра и о нем лично в шведской, немецкой, литовской исторической литературе... Так, небольшая запись шведской хроники примерно за пятьдесят лет до Невской битвы (приведена в книге шведского историка Олафа Далина, 1746, Стокгольм)... позволила сделать вывод о том, что в середине XII века некоторые финские племена во главе с карелами были в столь дружественных отношениях с новгородцами, что участвовали совместно в борьбе со шведами,.. что русские, главным образом новгородские, мореходы и рыбаки свободно плавали по Балтийскому морю, не боясь даже самой сильной в то время морской державы — Швеции...

А какой славой пользовались русские рыбаки в то время, сообщает древняя литовская сказочка о том, как «...русские мужики, ловкие рыбаки, знают тайну отпирать пещеру (подводную), куда прячется рыба от рыбаков, и потому-то им всегда как нельзя лучше удается лов рыбы... Русский мужик, придя на озеро Катежирис, окунулся в воду, отпер подводную пещеру и вернулся на поверхность, держа в зубах замок. С того времени озеро (что неподалеку от города Крожа в Жмуди) стало изобиловать рыбой...»

Мудрый политик Александр Новгородский сумел приобрести доверие Батыя. Нож завоевателя был отведен от груди северных русских земель, где новгородский князь положил начало объединению русских людей, их подготовке для борьбы с татарским игом, завершившейся победой полтораста лет спустя... Он не пошел «завоевывать вселенную» вместе с Батыем (как того требовал основатель Золотой Орды), а сумел убедить татарского владыку, что ему необходимо оставаться хранителем северных границ «Батыевой вотчины» — Северной Руси. И в то время как татарский завоеватель отправился в поход на Запад до «Последнего моря», прозорливый Александр спас Русь от дерзкой попытки немецких авантюристов проникнуть в сердце России и, лишив Русь выхода к Балтийскому морю, торговых путей и связей, превратить Русь в свою колонию...»[1]

«...Был 1239 год, только что войско хана Батыя прошло по Северной

[1] «Александр Беспокойный (Невский) и Золотая Орда», конспект выступления перед читателями. 1945. Архив В. Яна.

Руси, разгромило города и села, ушло на Юг в Черноморские степи, уведя с собой в тяжелую неволю много пленных. Это наше несчастье вызвало радость соседей.

В 1240 году, по призыву Дерптского епископа, ливонские рыцари из Риги, в компании со всякими авантюристами, напали на Изборск и захватили его; двинувшись дальше, после недельной осады они овладели Псковом. Одновременно с ними на Северную Русь стали наступать датчане и шведы... Римский папа Григорий IX возвестил «крестовый поход» против «диких язычников финнов и неистовых русских еретиков»... Во главе «священного ополчения» стал королевич Биргер, зять шведского короля... Летописец того времени пишет: «...неприятель собра силу велику, мастеры и бискупы, и свея, и мурамант, и сумь, и емь, и наполни корабли многи зело плков своих, и подвижени в силе велицей, пыхая духом ратным, и прииде в реку Неву, и сташа усть Ижоры, шатаяся безумием своим...»

Новгородцы, пробравшись лесными тропами, стремительно набросились на неприятеля, «не давая им,— по выражению летописца,— опоясать мечи чресла свои...». Впереди всех бился князь Александр «и самому королю,— говорит летописец,— возложи печать на лице острым мечом своим...». Множество неприятелей было перебито, «...остаток, побеже посрамленный... в тое нощи побегоша все... во-свояси...».

Ливонские рыцари, завладев Псковом, продолжали набеги, строя новые планы захвата русских земель. Но через два года после Невской битвы прибалтийские немцы были разгромлены в знаменитой битве на Чудском озере[1]... Услыхав о подвигах Александра, встревожился и Батый, потребовал его к себе в Золотую Орду. Александр... (как до того его отец князь Ярослав) поехал в низовья Волги с несколькими телегами «сребра и злата» и выкупил из татарской неволи многих русских пленных[2]. Эти поступки сделали имя Александра Ярославича любимым в народе. Его считали истинным защитником Родины и ходатаем за обездоленных, попавших в татарскую неволю. Помнит его русский народ и сегодня...»[3].

Живописности картин и достоверности персонажей в повести В. Яна о юности Александра Ярославича способствует то, что автор жил на Прибалтийских землях, бродил по Новгородчине, где видел описываемые им места, встречался с людьми, какие могли стать прототипами некоторых его героев.

Гимназические годы писателя прошли в Риге и Ревеле (Таллинне), где, кроме возвышающихся и ныне крепостных стен и костелов, высились сохранившиеся феодальные замки и дворцы с гербами «прибалтийских баронов», потомков крестоносцев.

Отец писателя, инспектор и директор мужских гимназий, воспитывал

---

[1] Невская битва — 15 июля 1240 г.; Ледовое побоище — 5 апреля 1242 г.

[2] Александр заплатил за это ценой своей жизни. По преданию, он был отравлен на обратном пути из Золотой Орды (как и его отец князь Ярослав) и умер в Городце на Волге 43 лет от роду (14.XI.1263 г.).

[3] «Александр Невский — защитник Родины», конспект выступления перед читателями. 1945.— Архив В. Яна.

своих детей и учеников в патриотическом духе и, не ограничиваясь курсом гимназических знаний, в летние месяцы выезжал с гимназистами на места, где происходили памятные события отечественной истории. «Была устроена поездка, — вспоминал В. Ян, — в Нарву, Юрьев (Тарту), Псков; оттуда пароходом по Чудскому озеру. Мы останавливались возле Псково-Печерского монастыря, близ которого видели в лесу деревянных идолов крестьян-эстонцев «полуверцев», молившихся православным иконам и тайно поклонявшихся своим древним языческим богам. Пароход специально остановился близ «Вороньего камня», у которого, по преданию, произошло «Ледовое побоище», откуда Александр Невский наблюдал за битвой и мы видели место разгрома армады тевтонских завоевателей...»

После окончания Петербургского университета В. Ян в «мужицкой одежде» с котомкой и посохом отправился «ходить по России». Начал он свои скитания «...с древнего Новгорода. Оттуда прошел берегом Ильмень-озера к Югу» по новгородской земле. «Я шел в деревню потому, — вспоминал В. Ян, — что меня тянуло бродить среди толпы, сблизиться с народом, великим, загадочным, таящим в себе неизмеримые силы, которому все мы, интеллигенты, должны служить»[1].

В очерке «Святое беспокойство», напечатанном в 1942 году газетой «Кызыл Узбекистон» (в Ташкенте, на узбекском языке), В. Ян писал: «В корреспонденции ТАСС от 26 октября, при описании ожесточенного боя сталинградцев с наступающими немецко-фашистскими войсками, упоминалось одно имя, прославленное в веках: «...на одном из участков Сталинградского фронта сражается рота автоматчиков, которой командует *Александр Невский.* Этот девятнадцатилетний юноша, решительный, смелый командир, сочетая риск с точным расчетом, внезапно атакует врага и наносит ему сильные удары... Четыре раза был ранен А. Невский, но не покинул поле боя. Его знакомая бойцам фигура во время сражения появлялась в самых опасных местах...».

Таков же был 700 лет назад новгородский удалой богатырь, князь Александр, прославивший на Неве и Чудском озере победами свое юное имя... Только впоследствии (в XV — XVI веках) при его «приобщении к лику Святых» он был канонизирован православной церковью, как *«Невский».* При жизни он так не назывался. Современники называли его *«Беспокойным»* — уж очень он за родную землю *«беспокоился»,* и говорили, что князь очень «сечу любит», т. е. «сечет» (рубит) врагов...

...И «беспокойный» юноша Александр Новгородский и Сталинградский Александр Невский являются образцами истинных героев, на которых держится Родина, ее спокойная вера в непобедимость, величие и дальнейший расцвет...»

Александр Ярославич, *Беспокойный* князь Новгородский, был одним из любимых героев автора — «богатырей духа», и когда книга уже была в производстве, тяжело больной В. Ян записывал: «...О! Если бы я мог еще ярче описать победы Александра Невского!..» (22.V.50 г.), «... стараюсь выправить Александра Н., хочу показать его необычайным, молодым,

---

[1] О хождениях В. Яна по Руси см. «Записки непохода» в наст. томе.

пламенным...» (14.XII.50 г.), «...у меня в плане: закончить битву на Омовже, в которой участвовал 15 летний Александр...» (20.VI.51 г.), «...написать новое начало повести «Юность полководца». Создать совсем новое, без монахов, вековой старины, чтобы это действительно была *юность* во всех отношениях!..» (22.VIII.51 г.), «состоялось чтение «К „Последнему морю“», ...а чтобы написать это потребовалось 10 лет труда, радости и огорчений!..» (22.VIII.51 г.), «...хочу написать книгу... о великих сражениях, менявших ход истории, победах, одержанных не посредством превосходства сил, а искусством полководца, его изобретательностью, смелостью... Таков был Александр Невский в битвах на Неве и Чудском озере...» (15.X.52 г.).

Повесть «Юность полководца (Александр Невский. XIII век)», впервые изданная в 1952 году «Детгизом», переиздавалась 15 раз, переведена на многие языки, насчитывает десять зарубежных изданий.

Повесть «Молотобойцы» создана в начале 30-х годов. В эту пору автор работал одновременно над несколькими темами и в разных жанрах. Много было у него замыслов, планов начатых и незавершенных произведений; некоторые из них сохранились в его архиве, большая часть погибла в годы войны.

Конец двадцатых — начало тридцатых годов были эпохой коллективизации и индустриализации недавней «лапотной» России, какую писатель наблюдал в свои молодые годы. Основным предметом изображения в советской литературе наряду с колхозной жизнью стала тема овладения народом высотами науки и техники. Журналы «охотились» за произведениями на индустриальные темы. В ответ на призыв М. Горького «создать историю фабрик и заводов» писатели выезжали на промышленные предприятия для сбора материала.

Даже издательства специальной технической литературы, такие как Машметиздат, Металлургиздат, Госстройиздат, охотно заказывали и печатали художественные произведения на темы, посвященные рабочему классу, героям науки и техники, изобретателям, особенно в Сериях книг для юношества.

В. Ян в этот период, наметив ряд исторических тем для будущих книг, как он считал, «созвучных» современности и близких советскому читателю, со свойственным ему глубоким подходом к задаче обратился к капитальным трудам в области научно-технической мысли. В его «рабочих тетрадях» тех лет — списки и аннотации прочтенных книг, планы, конспекты и фрагменты задуманных произведений, схемы и чертежи машин, строений, зарисовки предметов быта и обихода, одежды, наброски образов его литературных героев.

В те же годы В. Ян написал повесть-биографию об изобретателе парохода — «Роберт Фултон», изданную Машметиздатом в 1934 году.

Тогда же писатель предложил Металлургиздату, что он напишет «книгу для юношеского возраста в полубеллетристической форме (научно-художественные очерки, рассказы и пр.) — «От домницы до домны», рассказав в ней об истории металлургии...». Он составил подробный план

будущей книги и готовился к поездке на металлургический завод, но замысел этот так и остался незавершенным, однако привел в дальнейшем к созданию цикла произведений, названных автором «Повести о железе», или «Рудознатцы». Сюда вошли дошедшие до нас в рукописях повести «Секрет алхимика» («Алхимик Ашкинази») и «Поездка по Московии»[1], а также уже опубликованная повесть «Молотобойцы». Все эти произведения связаны авторским замыслом воедино — преемственностью темы, историческими событиями, литературными героями (или их потомками), продолжающими повествование из книги в книгу.

Действие «Секрета алхимика» происходит в небольшом средневековом городке Хемнице[2], столице Саксонского герцогства, славившегося своими угольными и железорудными шахтами, замечательными мастеровыми и выдающимися учеными мужами; там много лет работал основоположник горнорудной науки Георг Агрикола (Бауэр, 1494 — 1555), один из героев повести В. Яна. Содержание повести — рождение точной науки в обстановке мракобесия и суеверий средневековья, трагическая судьба ученых-алхимиков, искателей «флогистона» и «философского камня»[3], ощупью пробиравшихся среди тьмы невежества к свету познания и гибнущих на этом пути.

В «Поездке по Московии» главные герои — потомки персонажей «Секрета алхимика». В ту пору, когда Петр I «в Европу прорубил окно», в Россию с Запада устремился поток иностранцев; среди них наряду с мастерами своего дела встречались и искатели легкой наживы. Автор показывает «Московию» глазами иностранцев. Те ожидают встречи с дикими варварами, которых они призваны просвещать, но с удивлением видят народ со своей древней культурой, «рудознатцев» и «молотобойцев», владеющих секретами высокого мастерства, зачастую не уступающих европейцам. Повесть осталась незавершенной.

Третья книга этого цикла — «Молотобойцы» — по времени и месту действия, ее героям — является продолжением «Поездки по Московии».

О работе В. Яна над циклом «Повестей о железе» мы можем судить по его записям в дневнике: «...пишу потихоньку «Поездку по Московии», углубляюсь в старину Москвы XV — XVII веков... С утра в библиотеке работал над историей железного дела на старой Руси... Получил письмо от Литкружка Новотульского Металлургстроя... Я бы хотел поехать туда недели на две, присутствовать и при постройке, и при первом пуске домны. Хочу побыть в мире большого, горячего производства, почувствовать темп 12 тысячной коллективной работы... Нашел в библиотеке собственные русские имена, собранные Чечулиным по писцовым книгам. От этих прозвищ — Ширяй, Жук, Урюка и проч. пошли фамилии. Продолжаю изучать железное дело в Древней Руси... изучал опять железные заводы,

---

[1] Архив В. Яна.

[2] Хемниц — ныне Карл-Маркс-Штадт — крупный промышленный центр в ГДР.

[3] По представлениям средневековых ученых-алхимиков, флогистон — огненная материя; философский камень — вещество, способное превращать одни металлы в другие.

читал опись каких-то деревень и «анбаров» царя Алексея Михайловича...» (10.IX — 31.XII.33 г.).

В 1933 году В. Ян получил две комнаты в доме № 4 (квартира 15) по Столовому переулку и впервые смог оборудовать себе рабочий кабинет; это жилище за скромность обстановки и аскетизм его хозяина называли «хижиной дервиша». Здесь вскоре были созданы первые романы исторической эпопеи об ордынских нашествиях XIII века и начата завершающая ее книга «К „Последнему морю“».

Зима 1933 — 1934 годов была морозной, а отапливали дом, где жил В. Ян, весьма скудно; за работой мерзли руки и ноги — он их отогревал, держа над кирпичом, нагретым на керосинке. «...С утра работал в библиотеке. Нашел материалы по кузнечному делу... Читал исследование Чарыкова о Павле Мензеле, которого он считает первым учителем малолетнего Петра I...» В библиотеку, несмотря на «адский мороз», ходил в летнем пальто, так как не было шубы, и в результате простудился. «Сижу дома, забинтованный, но работаю, сам переписываю... не выхожу никуда, кроме доктора, который лечит мое левое ухо, настолько воспаленное, что я им совсем не слышу, и слабо слышу правым... «Будь же слеп, как Гомер, и глух, как Бетховен. Слух же духовный скорей напрягай, и духовное зренье...» ...За это время написал дальше «Московию», читал Устрялова «Историю Петра I» (17 — 25.I.34 г.).

Когда «Молотобойцы» в конце 1933 года вышли из печати[1], В. Ян записал в дневник: «...днем заходил в «Молодую гвардию», получил 25 экземпляров повести о Московии «Молотобойцы». Красивые рисунки Вышеславцева. Перечитывал страницы с какой-то непонятной грустью. Так от них веет русской деревней, русским духом, березовыми рощами, среди которых я давным-давно ходил по «Святой Руси», отыскивая какую-то *«правду»*. «Молотобойцы» — прямое продолжение «Записок пешехода», которые я писал и напечатал 33 года назад» (29.IX.33 г.).

В последующие годы автор несколько раз предпринимал попытки завершить и опубликовать первые «Повести о железе», но, занявшись с конца 1934 года исторической эпопеей о нашествиях XIII века на Русь и Европу, не смог осуществить свой замысел в полном объеме.

«Скоморошья потеха» — глава из первоначально созданной автором книги под названием «Александр Беспокойный (Невский) и Золотая Орда», входившая в ее четвертую часть («Александр в Великом Новгороде») и имеющая самостоятельный характер. Здесь завершалась сюжетная линия юношеской встречи княжича Александра с дочерью лесника Еремы, выручившей его из западни на лося. Глава была исключена из книги при ее переработке.

Впервые как самостоятельный рассказ «Скоморошья потеха» опубликована в сборнике В. Яна «Загадка озера Кара-Нор», М., «Советский писатель», 1961.

---

[1] Повесть «Молотобойцы» издана «Молодой гвардией» в 1933 году, впоследствии несколько раз переиздавалась; отрывки из нее под названием «Тульские самопальщики» печатались в журнале «Знание — сила», 1932, №№ 1—2.

Рассказ «Скоморошья потеха» в настоящем Собрании как бы завершает цикл произведений В. Яна, посвященный теме вторжений завоевателей XIII века на земли, издревле населенные предками народов нашей страны.

«Рассказы «Старого закаспийца» — цикл произведений, созданных В. Яном под впечатлением от первого пребывания в Средней Азии и поездки на Ближний Восток в начале XX века.

«Колокол пустыни» — написан (предположительно) в Ташкенте, где В. Янчевецкий служил в Туркестанском переселенческом управлении, основан на впечатлениях от поездки верхом через Каракумы в Хиву в 1903 году (см. «Голубые дали Азии», стр. 481 наст. тома). Впервые рассказ «Колокол пустыни» напечатан в Петербурге в газете «Россия» от 22 апреля (5 мая) и 27 апреля (10 мая) 1907 года.

«Тач-Гюль» — написан в Петербурге по воспоминаниям о поездке в горы Копет-Дага и Северную Персию в период службы в Ашхабаде в 1902 — 1904 годах. Впервые, под названием «В горах Персии», напечатан в газете «Россия» от 24 января (6 февраля) 1910 года.

«Видения дурмана» — написан в Петербурге по воспоминаниям о жизни автора в Ташкенте в 1906 году. Впервые, под названием «Душа», напечатан в газете «Россия» от 18 апреля (1 мая) 1910 года.

«Рогатая змейка» — написан в Петербурге в 1907 году вскоре после возвращения из морского плавания на пароходе «Россия» от Одессы до Каира. В основу его легло происшествие, случившееся с автором и его семьей на обратном пути. Впервые напечатан в газете «Россия» от 25 декабря 1907 года (7 января 1908 г.) под названием «Рассказ капитана».

«Рассказы о необычайном» — цикл произведений о событиях в советской стране 20-х годов.

«Партизанская выдержка» — написан в 1922 году в Минусинске со слов партизана П. Каллистратова, служившего тогда смотрителем городского «Домзака» (в то время так именовались тюрьмы); тогда же напечатан минусинской газетой «Власть труда».

«Загадка озера Кара-Нор» — написан в конце 20-х годов в Москве по впечатлениям от пребывания в Туве, где автору доводилось встречаться в Саянских горах с бывалыми охотниками и рыбаками, героями рассказа, выведенными под своими именами, подтверждавшими достоверность события. Впервые опубликован в журнале «Всемирный Следопыт», 1929, № 7.

«В песках Каракума» — написан в Москве в конце 20-х годов. В рассказе отразились впечатления от поездки автора через Каракумы, а также впечатления от пребывания в Средней Азии в 1926 — 1927 годах (после службы в Самарканде), когда еще продолжалась борьба с басмачеством. Впервые опубликован в журнале «Всемирный Следопыт», 1928, № 9.

«Плавильщики Ванджа» — написан в Москве в начале 30-х годов, в период работы писателя над циклом произведений, посвященных металлургии и горному делу («Повести о железе», «Молотобойцы», «Роберт

Фултон» и другие). В рассказе отразились впечатления от поездки писателя в Среднюю Азию в 1926 — 1927 годах, когда басмачи вторгались из-за рубежа в Таджикистан и Туркмению. Впервые опубликован в сборнике рассказов В. Яна «Загадка озера Кара-Нор», М., 1961.

«Записки пешехода». Первыми напечатанными литературными произведениями В. Яна были стихи и репортерские заметки его гимназических лет — в газете «Ревельские Известия». В студенческий период появились несколько стихотворений в «Студенческом Сборнике»[1], изданном с благотворительной целью «для воспомоществования неимущим студентам»; участвуя в «Сборнике», В. Ян познакомился с его редакторами — авторитетными литераторами Д. В. Григоровичем, Я. П. Полонским, А. Н. Майковым и помогавшими изданию П. П. Сойкиным и Н. С. Лесковым.

«На третьем курсе,— вспоминал В. Ян,— возобновилось мое увлечение литературной работой... Я писал стихи, печатая их в «Ревельских Известиях»... В течение трех месяцев я состоял на положении литературного секретаря сотрудника «С.-Петербургских Ведомостей» Баталина... через него познакомился с редактором «С.-Пб. Ведомостей» князем Эспером Эсперовичем Ухтомским; и это знакомство впоследствии оказалось для меня роковым... Издание «Студенческого Сборника» послужило поводом к знакомству и работе, тоже литературным секретарем, у С. Н. Сыромятникова... писавшего в те годы полемические фельетоны в газете «Новое Время» под псевдонимом «Σ» (Сигма)[2].

Получив университетский диплом, я вернулся в Ревель, имея... намерения... осуществить свою заветную мечту — отправиться бродить по Руси... Отец принял меня с трогательной нежностью. Тут же он заявил, что мне уже готова невеста... и он переговорил с начальником Казенной палаты... туда я могу поступить на государственную службу. Не желая огорчать отца, я временно послушался его совета, стал посещать Казенную палату на Вышгороде в надежде на то, что этот период моей деятельности продлится недолго...

Раздумывая над тем, как скорее двинуться в путь, я написал Сигме... отправил также письмо в «С.-Пб. Ведомости» Ухтомскому с просьбой ответить,— будет ли газета печатать мои заметки, если я пущусь в «скитания по Руси»?.. К письму я приложил «краткий план» намеченных скитаний...

Проходило время, я посещал Палату, ответов не было... Я приуныл... С отцом мы съездили к моей предполагаемой «невесте». Она действительно оказалась очень привлекательной девушкой... самая счастливая и желанная находка для всякого жениха, тем более, что она

---

[1] «Литературный Сборник произведений студентов С.-Пб. Университета», СПб. 1896.

[2] С. Н. Сыромятников-Сигма (1860—1932); окончил СПб. Университет; был библиотекарем «Студенческого Научно-Литературного Общества», где был и студент А. И. Ульянов; после ареста и казни участников заговора (покушение на жизнь Александра III), Общество закрыли, его членов арестовали и сослали. Сигма тоже отбыл ссылку.

обладала богатым приданым; родители невесты, эстонцы, владели большим пивоваренным заводом... и поместительным домом...

Когда мы вернулись в Ревель и оба родителя спросили: «Ну, как?», я в ответ показал им письмо, только что полученное с почты. В нем Ухтомский писал, что он приветствует мое желание отправиться бродить пешком по Руси, «как будто затерявшись в народе», и предлагает на путевые расходы — 50 рублей в месяц и по 50 копеек за каждую строчку напечатанных статей...

Отец, прочитав письмо, пришел в ужас: «Ты станешь бродягой!» Мать заплакала... Но я уже принял решение: «Чего вы боитесь? — ответил я,— ведь Ломоносов ушел пешком из деревни в Москву, а я пойду, наоборот, из Петербурга в деревню. Я хочу узнать, как и чем живет мой народ. Хотя я изучил четыре языка и множество наук, а простой русской речи и народной жизни не знаю. Не бойтесь за меня! Я смело нырну в людское море и сумею вынырнуть на другом его берегу!..»

Начав осенью 1898 года свои «хождения» с Новгорода, новый, 1899 год «пешеход» встретил во Ржеве, где провел почти две недели, обрабатывая свои записки, потом с попутным обозом отправился на Смоленщину. Продолжив весной 1899 года свой путь и «продвигаясь дальше по России,— вспоминал В. Ян,— встречал я радушный приют и в землянках лесорубов, и у звероловов-охотников, и у сельских учителей, тайно кипевших радикальными и революционными убеждениями. И у всех встреченных крестьян я видел, под скромной, часто полунищенской, как тогда говорили «сермяжной», внешностью, великодушные сердца, глубокие думы, упорство и стремление вырваться из мучительных тисков нужды...».

С конца 1898 года в «С.-Петербургских Ведомостях» и «Ревельских Известиях» стали появляться очерки «пешехода». Они были замечены некоторыми редакторами и издателями, и ему было предложено «для сравнения» путешествие по Европе. Конец 1899 и начало 1900 года В. Янчевецкий провел в Англии корреспондентом газет «Новое Время» и «Ревельские Известия». Там его встретил и во многом помог знакомый студенческой поры, англичанин, стажировавшийся в СПб. Университете «русофил» Б. Пейрс.

Вдвоем с ним, на велосипедах, они проехали по многим дорогам, городам и селениям Англии, были у шахтеров Ньюкасла, докеров Портсмута, в сельских школах, Кембриджском и Народном Университетах. В. Янчевецкий работал и в знаменитой библиотеке Британского Музея, где впервые смог ознакомиться с запрещенной царской цензурой русской революционной печатью.

В Великобритании эпохи ее колониального могущества он наблюдал картины шовинистического угара периода англо-бурской войны, слышал воинственные речи молодого У. Черчилля, патриотические песни Р. Киплинга, беседовал с А. Конан Дойлом и другими выдающимися общественными деятелями. Ряд его корреспонденций о «лондонских впечатлениях» напечатали (январь — февраль 1900 г.) «Новое Время» и «Ревельские Известия».

Вернувшись весной 1900 года на родину, В. Ян жил в Ревеле, наведываясь в Петербург, периодически продолжая свои «скитания по Руси». Это нашло отражение в его новых очерках и рассказах.

Книга «Записки пешехода» вышла в свет летом 1901 года (напечатана типографией «Ревельских Известий») на средства автора (вернее, его родителей), очень малым тиражом. В нее вошла небольшая доля очерков о хождениях «пешехода», и потому книга не дает о них полного представления. Неопубликованные записи впоследствии были утрачены.

На титульном листе вышедших «Записок пешехода» автор проставил: «Том первый». Впоследствии, в дореволюционный период и в советское время, его преследовала мысль продолжить «Записки пешехода», переиздать их с дополнениями или опубликовать «Второй том». В дневниках писателя сохранились планы этого замысла, к нему добавлялись произведения, созданные много позже, но относящиеся по содержанию к тому же периоду «хождения по Руси».

Исходя из авторского замысла составлена подборка произведений, которую можно отнести ко второй книге, или «Второму тому» путевых заметок. Сюда включены произведения, созданные и опубликованные в разное время; они, как хотел автор, дают картины жизни России в канун революций 1905 и 1917 годов. Сохранилось несколько десятков очерков и рассказов В. Яна тех лет. Из них наиболее, на наш взгляд, интересные современному читателю вошли во вторую книгу «Записок пешехода». В дореволюционное время созданы и впервые опубликованы в «Ревельских Известиях»: «Дорожная панорама» (1898, 8.XII); «Последние могикане» (1898, 9.XII); «Стрекозы и муравьи» (1898, 10.XII и 1899, 7(19).I); тогда же эти очерки напечатаны в газете «С-Пб. Ведомости». В журнале «Русский Труд», 1899, опубликован очерк «На супрядке»; «Иконописцы-неудачники» — в «С-Пб. Ведомостях», 1899, 23.III (4.IV); «На плоту» — в «России», 1907, 27.V (9.VI).

В советское время (30-е годы) созданы и впервые опубликованы: «На Мариинском канале» — Альманах «Детская литература — 1972 г.» (под названием «Колесо с крючком»); «Богоискатель» — Альманах «Детская литература — 1972 г.»; «Встреча с Л. Н. Толстым» — журнал «Звезда», 1960, № 10. «Встреча с Л. Н. Толстым» — написана на основе рассказа брата автора — Дмитрия, посетившего Л. Н. Толстого после окончания русско-японской войны. Толчком к созданию этого произведения явилась поездка В. Яна в Ясную Поляну, откуда он сообщал дочери (Е. В. Можаровской): «...много стало мне ясным из характера и методов творчества великого Льва Николаевича, после осмотра дома и его рабочих комнат, в которых прошла его долгая жизнь. „Старца великого тень — чую смущенной душой"» (18.VI.38).

Некоторые очерки, вошедшие в «Записки пешехода», публикуются в настоящем издании с небольшими, несущественными сокращениями.

«Голубые дали Азии». В декабре 1901 года начался новый этап жизни и творчества В. Яна, на этот раз «в седле всадника». Только на восьмом десятилетии жизненного пути, по моему настоянию, он набросал «план» своих воспоминаний об этом и предыдущих периодах своей жизни. Он утверждал, что писатель должен «до последней своей возможности» создавать оригинальные художественные произведения, как плоды своей фантазии, а не писать мемуары, и следовал этому принципу до преклонных лет, до своих последних дней. Поэтому он поставил условие, что сам писать их не станет, а это будет моя запись его рассказа о «Картинах жизни и времени В. Яна», которую он, где нужно, подправит.

Зимой 1947/48 года мы обсуждали рождавшуюся книгу воспоминаний. Придерживаясь плана, отец рассказывал о пережитом, об ушедших в небытие людях и временах. Я наскоро конспектировал беседу, потом восстанавливал его рассказы. Обычно к следующей встрече я приносил перепечатанное на машинке то, что записал в прошлый раз, и оставлял для просмотра отцу.

Работая таким образом, к весне 1948 года мы записали детские, юношеские и молодые годы В. Яна, первые тридцать лет его жизни. Продолжить запись дальше — не удалось.

Сделанная мною черновая запись ждала «своего дня», пролежав в архиве отца, почти десять лет. К тому времени писателя уже не было в живых. С конца пятидесятых годов я стал готовить рукопись к печати, используя также другие беседы с отцом, воспоминания и письма нашей родни, друзей, газетные публикации, документы, фотографии. Пришлось разделить рукопись на части и главы, дать им названия, подобно тому, как это делал сам писатель.

В. Ян предполагал назвать эту книгу «Поиски Зеленого клина» — в память о своих странствиях по России. Первые ее две части — «На заре туманной юности» (детские и юношеские годы) и «Хождение по России» (странствия «пешехода») — впервые были опубликованы в сокращенном виде в Альманахах «Детская литература — 1971 г.» и «Детская литература — 1972 г.».

Третья часть книги — «Голубые дали Азии» (путешествия в начале века по Азии), названная так по одному из высказываний автора о Средней Азии («я полюбил ее голубые дали»), дорабатывалась и дополнялась мною новыми материалами о В. Яне до середины 80-х годов; впервые она опубликована (сокращенно) журналами «Ашхабад» (1961, № 3), «Подъем» (1975, № 1); отрывки из нее печатались в журналах «Звезда», «Нева», еженедельнике «Литературная Россия». Полностью она впервые напечатана в сборнике произведений В. Яна «Огни на курганах» в 1985 году («Советский писатель»), переведена на туркменский язык.

Пользуясь возможностью, выражаю признательность — библиографу Ленинградской Публичной Библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Д. А. Берман, проделавшей большую работу по составлению первой библиографии и выявлению напечатанных в дореволюционное время рассказов и очерков В. Яна, использованных для второй книги «Записок пешехода»; а также ашхабадцам-«яновцам» — поэту А. Мурадову (покойному) и сотруднику Института истории АН ТССР, кандидату исторических наук Г. Г. Меликову, обнаружившим в архивах ТССР некоторые, использованные в «Голубых далях Азии», документы о пребывании В. Яна в Закаспии.

М. В. Янчевецкий,
ответственный секретарь Комиссии
по литературному наследию В. Яна

ПОПРАВКИ

В третьем томе настоящего издания в части тиража на обороте титула не указан автор цветных иллюстраций — художник И. Глазунов; на стр. 190, в конце эпиграфа (из Пушкина), напечатано: «вздыхающей Россией» — надо: «издыхающей Россией»; на стр. 521, в конце второго абзаца, указана дата: (9.V.39) — надо: (9.V.40).

СОДЕРЖАНИЕ

Настоящее издание — первое Собрание сочинений В. Яна. Комиссию по литературному наследию писателя интересует мнение читателей о составе томов Собрания, о вошедших в него произведениях автора, о сопровождающих издание статьях. Просим отзывы и пожелания присылать по адресу: 121825, Москва, ул. Воровского, 52, Союз писателей СССР. Комиссии по литературному наследию В. Яна.

Василий Григорьевич ЯН

Собрание сочинений
в четырех томах

Том IV

Редактор тома
Е. А. Ромашкина

Оформление художника
А. А. Шпакова

Технический редактор
В. Н. Веселовская

ИБ 1968

Сдано в набор 11.02.89. Подписано к печати 24.08.89.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 30,66. Усл. кр.-отт. 31,50.
Уч.-изд. л. 32,28. Тираж 1 700 000 экз. (7-й завод: 1 450 001 — 1 700 000).
Заказ № 277. Цена 3 р. 20 к.

Набор и изготовление фотоформ в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137,
ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии изд-ва «Уральский рабочий», 620151,
г. Свердловск, проспект Ленина, 49.

Индекс 70579

